ЮЛИАН СЕМЕНОВ
12
ЮЛИАН СЕМЕНОВ

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Семья

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ЭКСПАНСИЯ-II

Москва
ЭГСИ
1995

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
В. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1984
© Составление, подготовка текста–Фирма ЭГСИ, 1995

ЭКСПАНСИЯ-II

МАЙКЛ СЭМЭЛ
(Лондон, ноябрь сорок шестого)

– Вот, посмотрите хорошенько фотографии, – сказал человек, сидевший напротив Сэмэла в маленьком ресторанчике на Чаринг-кросс роад. – Это он. Здесь этот господин снят в профиль, в штатском, видите, с летчиками эскадрильи «Кондор»? Это и есть мистер Штиглиц... Или Штиблиц... Я не отвечаю за точность написания его фамилии... Здесь его фото в Португалии... Кстати, вам знаком человек рядом с ним, который смотрит на Эсторил?..

– Нет.

– Это Шелленберг, шеф политической разведки рейха, непосредственный босс Штиблица...

– Когда он бывал в Португалии?

– До войны. Или в самом начале. Это вам предстоит уточнить, мистер Сэмэл. Вам, а не мне. А вот наш знакомый в Берлине, в сорок четвертом, тут он в форме, видите? А эта фотография сделана швейцарскими службами на границе, в сорок пятом. Тогда он был Бользеном. Видимо, если вас заинтересует эта тема, целесообразнее всего подавать его именно под этим именем, тогда будут вовлечены швейцарцы. Их подтверждение – добейся вы официального запроса властей – крайне ценно для дела поиска этого господина со свастикой... Ну и, наконец, вот его последнее фото, сделано в Мадриде, месяц назад. Это все, что я имею, мистер Сэмэл.

– Материал в высшей степени интересен. Благодарю вас. Как вас зовут?

– Скажем, мистер Вестминстер. Или сэр Эдвард. Называйте, как угодно, я не буду возражать.

– Признаться, я не очень-то люблю людей, скрывающих подлинное имя, особенно когда они безвозмездно передают «жареный» материал... За публикацию несу ответственность я, сэр Эдвард.

– Чем может грозить вам опубликование фальшивки?

– Увольнением. Судебным процессом, если я ошельмовал честного человека...

– Вот видите, мистер Сэмэл... А мне грозит смерть... Не только мне, но и моей семье, если вы сошлетесь на меня, потому что я теперь живу в Австрии, но раньше, при Гитлере, сидел в Освенциме... – Человек задрал рукав: – Видите татуировку? Это мой номер в концлагере. Не думайте, что с нацистами покончено, мистер Сэмэл. Они затаились. Но они умеют мстить. Вы их не знаете. Я – знаю...

– Почему вы обратились в мою газету?

– Я обратился не в газету, а к вам.

– Странно. Я ведь не имею имени... Я не так давно начал, я еще не сделался «звездой», сэр Эдвард.

– Поэтому я к вам и обратился. А главное, я знаю, что у вас нет семьи. Вы одиноки, мистер Сэмэл, поэтому можете рисковать. Это и побудило меня обратиться к вам... Вот еще, – он достал что-то из кармана поношенного, но тщательно выутюженного серого пальто (сшито в талию, по фасону конца тридцатых годов – широкие лацканы, карманчик, воротник черного бархата, тоже потерт, но явно

не куплено, а заказано у очень хорошего портного), – я вам и это оставляю, здесь несколько страничек из архива, связанного с деятельностью Бользена. У наци был прекрасно поставлен учет документов...

– Кто вы по национальности?

– Австриец. Или натурализовавшийся американец – на выбор.

– Хорошо, я поставлю вопрос иначе: ваше вероисповедание?

– Я католик, мистер Сэмэл... Не думайте, что обижусь, если вы откажетесь работать с этим материалом. Я буду искать другого журналиста, и я его найду, обещаю вам... Обидно только, если я потеряю время: этот Бользен почувствовал, что петля затягивается, и начал действовать. Я не знаю, в Мадриде ли он сейчас...

– Почему он должен был почувствовать петлю?

– Потому что... Да вы посмотрите архив, поймете... Начали крутить конкретные дела: убийство некоего Вальтера Рубенау и госпожи Дагмар Фрайтаг...

– Кто именно начал крутить эти дела?

– Мы, мистер Сэмэл, мы, антифашисты.

Сэмэл прочитал пять страниц, сколотых аккуратной маленькой скрепкой. «Похоже, – подумал он, – удача сама плывет в руки, зачем же отталкивать ее?»

– Я могу получить ваш адрес? Телефон?

Человек покачал головой:

– Достаточно того, что у меня есть ваш телефон и адрес. В случае надобности я окажусь рядом.

«Номер его лагерной татуировки – 962412, – подумал Сэмэл, – в крайнем случае, можно будет выяснить имя. Он прав, отчетность у наци была отменной... Он мог прийти ко мне еще и потому, что я опубликовал три материала о Рудольфе Гессе и о них заговорили на Флит-стрит... Он прав, когда говорит о силе наци: все-таки Борман исчез, да и смерть Гитлера еще надо доказать, не зря же "Мэйл" печатала сообщение, что фюрер скрылся на подводной лодке, причем якобы плыл через Ирландию...»

– Если этот материал опубликуют, – сказал наконец Сэмэл, постучав пальцем по страничкам, – и он будет хорошо принят читателем, я должен буду продолжать поиск. А где я получу дополнительные архивные материалы про нацистов? Риск – риском, я готов на риск, но, перед тем как начнешь играть втемную, надо все тщательно взвесить. Вы отказываетесь назвать свой адрес, я публикую этот материал, читатели запросят продолжения, а что я отвечу?

– Ответите, что идете по следу, – усмехнулся человек. – Почему бы нет? А я буду рядом... Я в этом больше заинтересован, чем вы, поверьте.

– Если бы вы назвали какого-то третьего человека... Нет, нет, это не форма гарантии, которую я прошу... Просто в случае успеха материала я бы обратился к этому третьему и сказал, что хочу вести эту тему и впредь...

– Адрес третьего человека? Что ж, об этом можно подумать. Очень вероятно, что я дам положительный ответ... То есть наверняка я дам положительный ответ: в том случае, конечно, если этот ма-

териал, – он ткнул тонким пальцем в фотографии Штирлица, лежавшие на дубовом столике, – прозвучит так, как ему надлежит прозвучать... Я дам вам адрес и телефон вдовы Вальтера Рубенау. Вас это устроит?

– Пожалуй.

– Ну вот и договорились.

...Сэмэл проснулся поздно; солнце било в глаза сквозь жалюзи, веселое, как щенок. Год назад он купил маленькую дворняжку с глазами персидской княжны. Умна, дрессировку брала с лета: стоило Майклу показать ей, как надо прыгать через скакалку, Нелли (он дал ей это странное имя) сразу же повторила его движение – с такой можно в цирк.

Перед тем как идти в редакцию с готовым материалом о Бользене, он завез Нелли маме: собака не переносила одиночества, скулила; когда он возвращался, бежала ему навстречу, забрасывая зад, словно грузовик с плохо отрегулированным развалом колес; только в этом и проявлялась ее непородистость. Вообще-то, глупое слово в приложении к собакам; породистые колли жрут своих стареньких хозяек, когда те отдают богу душу, – очень «породисто», ничего не скажешь.

Сэмэл сладко потянулся, зевнул; подумал о том, что сегодня, если газета с его статьей хорошо разойдется в розницу, можно сесть за книгу; правда, чем больше он входил во вкус репортерской работы, тем меньше оставалось времени на литературу. Все-таки главное дело засасывает, газетная общность навязывает свой ритм жизни, и, что ни говори, он прекрасен: в редакции за чашкой кофе, среди грохота пишущих машинок, бормотания телетайпов, в общении с коллегами ощущаешь всю нужную малость этого тревожного мира и свою высокую перед ним ответственность.

Сэмэл поднялся с тахты, не надевая трусов (спал голым), прошел на кухню, посмотрел, что осталось в холодильнике: не густо – пяток яиц, чуть-чуть масла, ломтик ветчины; на завтрак хватит; надо бы успеть купить продуктов на неделю, пока не закрыли магазины; присел к столику, открыл потрепанный блокнот, в который записывал хозяйственные траты, посчитал, сколько придется истратить на тушенку, яичный порошок, пять упаковок сыра, пачку кофе, масло и три ломтика ветчины. Покачал головой и начал считать наново – слишком большая трата; ограничился тремя упаковками сыра и ломтиком ветчины; вместо тушенки решил взять дешевые куриные потроха: после крепкой выпивки горячий бульон – истинное спасение. Надо бы проверить печень, сосет под ложечкой; нет ничего важнее печени – «котел организма», точнее не скажешь.

Потом он пустил чуть теплую воду, забрался в ванну и десять минут блаженствовал; вспомнил давешнего собеседника. Интересный старик. В наше время колоритных людей мало, идет какая-то штампованная продукция, а не люди. Отчего так? Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, жда-

ли их публикаций; теперь ждут кратких сообщений, как одета Джоан – диктор второй программы радиослужбы Би-би-си; не очень-то даже и вслушиваются в то, что она читает; только когда дают динамику роста доллара и соответственно падения фунта, кончают болтать, пить чай или мыть посуду: деньги есть деньги – жизнь, говоря точнее. Все-таки радио убивает журналистику; оно открывает дверь в любой дом ногой, снисходительно и властно, причем особых усилий на это и не затрачивает; материалы читают серые, слова нет, чистая фиксация фактов. А тут, в газете, надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. О сенсации и говорить нечего, это стало редкостью. Статьи об «угрозе Кремля», о стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции стали бытом, к этим трафаретам уже привыкли, своих забот хватает; люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на Острове, слишком много нерешенных проблем.

Поэтому-то Сэмэл так искал сенсационные материалы, паблисити для журналиста прежде всего: знакомился с замшелыми историками, которые рассказывали забытые страницы биографий писателей, художников и актеров. Кстати, про художников читают меньше, особенно интересуются актерами, потому, видимо, что каждый человек в душе актер; все мы играем дюжину ролей одномоментно, поди иначе проживи, вмиг сомнут.

Сэмэл вылез из ванны, докрасна растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил сковородку, разболтал в воде яйца, сделал омлет, заварил кофе и включил радио; он называл его «мусоропроводом», держал на кухне, на подоконнике. Вспомнился отчего-то диск русского певца Вертинского – совсем недавно поступил в продажу в цикле «Голоса минувшего». Там была прекрасная песня «Как хорошо проснуться одному в холостяцкой постели». «Действительно, – подумал Сэмэл, – всего одна строка, а сколько в ней высокого смысла. Бедная мама, она мечтает, чтобы я женился. А я не женюсь, ни в коем случае не женюсь. Я не смогу тогда сидеть на кухне голым и мечтать, о чем хочется; я должен буду гнать самого себя с утра и до вечера – еще бы, семья. Конечно, я люблю мамочку, но какая мука сидеть у нее в гостях и выслушивать ее советы; старики все-таки несносны, живут своими представлениями, считают нас детьми, несмышленышами. То же самое ждет и меня, если я женюсь и заведу оболтуса. Он, так же как и я, будет придумывать отговорки, только бы не прийти ко мне вечером и не выслушивать мои сентенции: воистину, все возвращается на круги своя. Лучше заведу еще двух собак, если почувствую себя старым; что может быть прекраснее Нелли? Никогда не предаст, не человек ведь. И никаких претензий – накорми и выгуляй, всего лишь. Одиночество? Я не знаю, что это такое. Во мне живут двадцать разных людей, поди управься с ними. Одиночество страшно для глупых, слабых или больных. А жить больному ни к чему. Десять таблеток снотворного – и никаких мучений. При всех издержках середины века именно эта пора учит кардинальности решений. Как это говорят на Востоке? «Страшно умирать лишь тому, кто за всю жизнь не посадил дерева». Все-та-

ки на Востоке думают совершенно особенно, очень емко и афористично».

Сэмэл подчистил сковородку корочкой горячего хлеба, выпил кофе и, вернувшись в комнату, набрал телефон редакции. «Сегодня дежурит Бен, циник и пьяница. Циники – умные люди: никаких условностей, все обговорено с самого начала, самая удобная позиция; только отчего-то люди бегут именно ее, сочиняют условности, в которых сами же потом путаются и клянут их на чем свет стоит. Какая все же глупость – наша жизнь, сколь она несовершенна, а мы уже и в небо забрались, хотя здесь, на земле, ничего толком так и не решили».

– Бен, привет, это я.

– Хорошо, что позвонил.

– Что-нибудь случилось?

– Ничего особенного, кроме того, что твой репортаж оказался гвоздем, газеты раскуплены, даем дополнительный тираж.

– Да ну?!

– Именно так, малыш, именно так.

– Слушай, я сейчас приеду, а?

– Ты лучше не приезжай, Майкл. Ты лучше садись за продолжение. Поверь неудачнику от журналистики: если ухватил тему – не слезай с нее до конца! Садись и пиши, понял?

– Понял, – ответил Сэмэл и, положив трубку, подумал: «Я бы с радостью сел за продолжение, но ведь у меня больше ничего нет. Черт, зачем я не оседлал этого самого сэра Эдварда, или мистера Вестминстера?!»

Незнакомец, однако, позвонил ночью, поздравил с удачей, продиктовал адрес миссис Рубенау в Швейцарии, пояснив: «Это совсем недалеко от Лозанны, сказочной красоты место. Женщина осторожна, не спугните ее. Обязательно возьмите с собой газету, несколько экземпляров, она вам будет признательна. Только не передавайте ей то, что скажу вам я: мистер Бользен, видимо, в ближайшее время объявится в Аргентине, скорее всего – в провинции Мисьонес, на границе с Бразилией. Возможно, какое-то время он пробудет в Асунсьоне, Парагвай. Я поставлю вас об этом в известность, когда вы вернетесь от миссис Рубенау. До свиданья, желаю вам удачи! Убежден, что ваш новый материал вызовет еще больший интерес, чем первый».

...Аппарат Гелена озаботился тем, чтобы газета с материалом Майкла Сэмэла сразу же ушла в Аргентину, Парагвай и Чили – по нужным адресам; так угодно комбинации.

В том, что этим материалом займется британская разведка, Гелен не сомневался: на фото, опубликованном в газете, Штирлиц был сфотографирован вместе с Шелленбергом. Надо подготовиться к возможному контакту с английской службой.

Но Гелен никак не мог предположить, что более всего этой статьей заинтересуется сеньор Рикардо Блюм, он же бывший группенфюрер СС Генрих Мюллер.

ШТИРЛИЦ (рейс Мадрид – Буэнос-Айрес, ноябрь сорок шестого)

Прижавшись лбом к иллюминатору, Штирлиц смотрел на огни ночного Мадрида. «Словно пригоршня звезд, упавших на землю, – подумал он, – только в небе звезды таят в себе постоянную напряженность дрожания, а эти, земные, неподвижны, и цвет их разный: голубые, желтоватые, тускло-серые, мертвенно-белые – бутафория. То, что есть жизнь на земле – освещение улиц, свет в окнах, игра реклам, отсюда, сверху, кажется чужим, а истинные звезды, наоборот, становятся близкими тебе, ведь именно по ним пилот будет вести аэроплан через Атлантику, только они и будут связывать меня с надеждой вновь увидеть землю. Надежда... А что это? Ну-ка, ответь, – сказал он себе, – попробуй ответить, тебе надо ответить, потому что внутри у тебя все дрожит и ты подобен загнанному животному, которому отпущен короткий миг на передышку, прежде чем гончие вновь возьмут потерянный след и снова сделаются близкими голоса охотников, лениво продирающихся сквозь осеннюю хрусткую чащобу.

Спасибо тебе, папа, спасибо за то, что ты был! Господи, какое же это таинство – от кого родиться, с кем жить под одной крышей, от каких людей набираться ума... Закономерность людских связей непознанна, да и закономерность ли это: от кого кому родиться? Впрочем, – заметил он себе, – ты же всегда стоял на том, что случай закономерен в такой же мере, как иной закон – случаен...

Наверное, все-таки таинство родственных уз важнее даже, чем лотерея с местом рождения. Появись я на свет где-нибудь в Новой Зеландии, на маленькой ферме возле берега океана, прошли бы мимо меня революция, интервенция, войны... А ты хотел бы этого? У тебя была бы семья, камин в углу холла, дети, может быть, уже внуки. Это так радостно – иметь внука в сорок шесть лет! Ты хотел бы этого – взамен того, что тебе дала жизнь? Ишь, инквизитор, – подумал он о себе, – разве можно ставить такие вопросы? Даже врага грешно спрашивать об этом, а уж себя тем более. А вообще-то я бы хотел жить одновременно несколькими жизнями: и в тишине новозеландской фермы, и в Бургосе тридцать шестого, и в Берлине сорок пятого, и, конечно же, в октябре семнадцатого, как ни крути – главный стимулятор истории, пик века. Нет, – сказал себе Штирлиц, – ответ обязан быть однозначным – «да» или «нет». Иди-ка ты к черту, Штирлиц, – сказал он себе и с ужасом подумал, что к черту он гнал не Севу Владимирова, под этим именем он жил до двадцать первого, не Максима Исаева, он был им до двадцать седьмого, а Штирлица, им он был девятнадцать лет, добрую половину сознательной жизни. – И самое ужасное заключается в том, что думаю-то я чаще по-немецки... Менжинский в свое время говорил мне, что русские разведчики будут с ы п а т ь с я на манере счета: только в России загибают пальцы, отсчитывая единицу, десяток или тысячу; во всех других странах – отгибают пальцы от ладони или загибают их, начиная с большого пальца. Русские же поначалу загибают мизинчик, потом безымянный, средний, указательный, а прикрывают пальцы, окончив счет, большим – вот тебе и кулак... Кстати, Воленька Пимезов – помощник шефа влади-

востокской контрразведки, знаток российской «самости» – причислял и это качество к мессианскому призванию нации; покончил с собой в Маньчжурии в сорок пятом, накануне краха Японии, а как перед этим разливался в «Русском фашистском союзе», как пел, голубь...»

«Никто так не предает Родину, как человек, тянущий ее назад, полагающий – по бескультурью ли, наивности или душевной хвори, – что, лишь консервируя прошлое, можно охранить собственную самость», – эти слова отца Штирлиц вспоминал часто, особенно когда ему пришлось изучать книгу гитлеровского «философа» Розенберга «Миф XX века».

...Он до мельчайших подробностей помнил руки отца: Владимир Александрович был худ и тщедушен, но руки у него были крестьянские, хваткие, однако они преображались, когда отец прикасался к книге, делались женственными, мягкими, отдающими, но и одновременно вбирающими.

«Даль – это память России, – сказал однажды отец. – Если Пушкин – неосуществленная Россия, опережающая проекция мечты на невозможность тогдашней реальности, то Владимир Даль – кладовая, которая еще не разобрана потомками. Если тебе станет трудно и ты захочешь найти ответ на мучающий тебя вопрос – не пустяшный какой, мы все страдаем оттого, что маемся из-за пустяков, тратим на них время и нервы, – возьми "Толковый словарь русского языка" и погрузись в него, сын, это – очищение и надежда».

Именно отец и спросил его: «Знаешь, что такое надежда?»

– А как же, – удивленно, несколько даже обескураженно ответил тогда Всеволод, – это если веришь в то, что сбудется.

Отец улыбнулся и, покачав своей красивой седовласой головой, ответил:

– Надежда, точнее говоря «надеяться», означает частицу «авось», выраженную глаголом. Впрочем, так же абсолютны и другие толкования Даля: «считать исполнение своего желания вероятным», «опора», «приют», «отсутствие отчаянья», «призыванье желаемого», «вера в помощь»... Только с одним понятием в трактовке Даля я не могу согласиться.

– С каким? – спросил тогда Всеволод.

– Возьми второй том и открой двести семнадцатую страницу.

Всеволод достал толстый том вольфовского издания и прочитал:

– «Культура... Обработка и уход, возделывание, возделка; образование умственное и нравственное; говорят даже «культивировать» вместо «обрабатывать, образовывать»...

– Тебя все устраивает в этом объяснении?

– Да, – ответил Всеволод.

– Ну, хорошо, а может ли считаться культурным человек – «образованным», то есть закончившим университетский курс и придерживающимся определенного нравственного кодекса, в конкретном случае я имею в виду догмы Ватикана, – тот, кто санкционировал сожжение Джордано Бруно? Или гнал под пулю Пушкина? То-то и оно что нет. Так что же тогда «культура»? Все-таки жизнь рождает слово как выражение понятия, а не наоборот, – сказал тогда отец. – Преклоняясь перед великим, не бойся спорить с ним, иначе мир ос-

тановится. В споре рождается не только истина, в нем сокрыта двигательная мощь прогресса... Но – при этом – обязательно посмотри у Даля трактовку понятия «упрямство». Грань между тем, кто спорит, желая понять сокровенную суть предмета, и самовлюбленным Нарциссом, который всегда болезненно эгоистичен, весьма важна при определении жизненной позиции...

«Сколько ж мне тогда было лет, – подумал Штирлиц, с какой-то невыразимой грустью наблюдая за тем, как пригоршня земных звезд постепенно превращалась в мерцающую пыль, а потом и вовсе потонула в чернильном мраке ночи. – Пятнадцать? Или шестнадцать? Наверное, все-таки пятнадцать. По-моему, этот разговор случился у нас после того, как отец вернулся из Циммервальда; он тогда еще сказал про Муссолини, который представлял социалистов Италии: «Я боюсь людей с тяжелым подбородком и страстью к литым формулировкам, особенно когда они заказывают шикарный обед в закусочной».

Я никогда не называл папу словом «отец». Почему? Видимо, из-за того, что оно какое-то жесткое. В нем сокрыта заданная подчиненность; некоторые считают, что «папа римский» есть производное от «папы» людского, привычного и близкого; какая ошибка! Чем больше в мире будет людей, чем выше скорости аэропланов, дерзающих перелетать океан, тем важнее для человечества научиться понимать друг друга. Нет ничего загадочнее языка; все-таки ни в музыке, ни в живописи не сокрыто столько таинственных значимостей, оттенков, отчаяний и надежд людских, как в языках...

...Разве еще вчера я мог надеяться, что буду лететь из столь любимой Испании Лорки – и одинаково ненавистной Испании Франко – к свободе? Сашенька и Санька, она и он, любимая и сын, господи, как это страшно – увидеть женщину, с которой расстался двадцать четыре года назад! Ты ведь кажешься себе таким же, как и прежде, мы не стареем в своей памяти, даже когда смотримся в зеркало, выскабливая по утрам щеки и подбородок синеватым лезвием опасной бритвы. Стареют лишь окружающие нас, такова уж человеческая натура. Можно ли изменить ее в этом, отправном? Вряд ли.

Разве я мог надеяться еще два месяца назад, когда отдал полторы песеты на Растро продавцу газет и журналов Пепе, получив взамен очередную «Семану» с фотографией на обложке легендарного Манолете на мадридской корриде и с сообщением на последней странице о том, что министр индустрии и коммерции Испании сеньор Суансес будет приветствовать в аэропорту шефа пилотов новой линии Мадрид – Буэнос-Айрес сеньора Ансальдо, провожая в Аргентину заместителя министра иностранных дел сеньора Суньера и генерального директора испанской аэронавтики полковника Банью в первый межконтинентальный полет, что буду сидеть возле иллюминатора этого ДС-4, четырехмоторного гиганта, в котором нет более привычной тебе холодной ребристости металла «юнкерсов» и «дорнье», а вместо этого мягкая матерчатая обивка, будто дом поднялся в небо? Никакого ощущения полета, лишь нудный, словно бормашина, гул двигателей позволяет тебе осмыслить передвижение – полет, говоря точнее...

Я должен отдышаться, – сказал он себе и повторил: – Я должен отдышаться, и, прежде чем я стану думать о будущем, надо вспомнить прошлое. Без прошлого будущее невозможно, впрочем, возможно ли прошлое без будущего? Ну, давай, – сказал он себе, – у тебя есть шестнадцать часов форы, и, если все случившееся не есть игра, условия которой ты не понял, надо поразмыслить над тем, что случилось, а после этого придумать, как ты сможешь сбежать из аэропорта Рио-де-Жанейро – там будет посадка; затем будет в Буэнос-Айресе, но туда русские дипломаты еще только едут, а в Бразилии они уже давно: там надежда, то есть приют. Спасибо тебе, папа, за Даля, все-таки лучшим определением «надежды» надо считать слово «приют», а уж потом «авось», выраженное глаголом...»

– Что будете пить? – услышал он голос высокого стюарда в белой форме «Иберии». – Перед ужином мы можем предложить вам виски, вино, херес – если вы испанец, ну и, конечно, хинебру[1]...

Штирлиц хотел было спросить, сколько это стоит, но потом вспомнил про конверт с долларами, который перед вылетом ему передал Роумэн, подивился тому, как быстро человек привыкает к нищете, и ответил:

– Я бы выпил виски...

– Со льдом?

– Нет. Безо льда и без содовой.

– Какое виски предпочитаете? «Уайт лэйбл»? «Балантайн»?

– Да черт с ним, любое.

– У нас также есть легкое снотворное. Если желаете, я могу предложить вам, полет над океаном несколько утомителен, проснетесь, когда мы увидим континент...

– Спасибо, я, наверное, попрошу у вас снотворное, – ответил Штирлиц, – только сначала я хочу выпить: я вижу, у вас здесь даже дети пьют вино...

Пить он не любил; в той среде, где он воспитывался, – а это были профессиональные революционеры – сама мысль об алкоголе казалась противоестественной, дикой, однако здесь, в небе, на борту испанского лайнера, где все пьют, нельзя выделяться ни в чем – даже в самой малости.

«...Ну, – сказал он себе, – ты, наконец, один; ты даже не на земле, ты надмирен и вознесен, ты подданный логики, которая только и может созидать формулы, конечным результатом которых является это четырехмоторное чудо, переносящее тебя в Новый Свет за шестнадцать часов, а не за год, как триста лет назад. Думай, вспоминай, выстраивай схему, чтобы было что ломать и с чем спорить. С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой...

Сколько же раз я повторял эти строки, – спросил он себя. – Отчего именно эти слова так запали мне в душу? Отчего из сорока тысяч слов моего языка именно эти постоянно живут во мне? Мы погружены в тайну, – подумал Штирлиц, – и эта высшая тайна не идет ни в какое сравнение со всеми остальными, земными, здешними. Каждое мгновение, которое грядет, – тайна: я могу обернуться и

[1] Хинебра *(исп.)* – джин. Здесь и далее примечания автора.

встречусь взглядом с пустыми глазами двух или трех цинковоморд ых; которые и здесь неотрывно следят за мной, или, наоборот, увижу лицо давнего друга. Тайна. Самолет держится устойчиво, и нет болтанки, к которой я привык, когда летел сюда, в Испанию, в тридцать шестом на "юнкерсах" эскадрильи "Кондор", или позже, в Краков, зимой сорок четвертого, когда все на борту дребезжало и звенело и не было нынешней надежности полета. Но ведь впереди, возможно, громоздятся сахарные головы грозовых туч и зреет тот именно разряд, который ударит в крыло нашего самолета. Раздастся сухой треск, фюзеляж треснет пополам, и я, захлебнувшись собственным криком, рухну вниз, думая, однако, при этом, что мне повезет и я сумею войти в зеленую жуть океана "солдатиком", заставлю себя раздвинуть руки, остановлю погружение, вынырну пробкой, а рядом будет качаться на волнах маленькая рыбачья шхуна – обязательно польская или болгарская, и я смогу подняться на борт, там меня напоят горячим грогом, и я усну без снотворного, которое так услужливо предлагают здесь, на борту этого таинственного чуда. Нет, – возразил себе Штирлиц, – тайна заключена еще и в том, что ты, думая о чуде вторым слоем своего сознания, прекрасно понимаешь, что спасение – если ударит молния – невозможно, и в глубине души ты остро жалеешь себя, свою неприкаянность, то, что жизнь – как ее понимают миллиарды твоих собратьев – прошла мимо: ты не знал семьи, ты был один, всегда и везде, словно волк в облаве; ты жил среди волков большую часть жизни, ты был затаен, это верно, но ты не имел права исповедовать волчьи законы выживания, ты должен был пройти между Сциллой долга и Харибдой нравственности... А еще, – подумал он, – если что-либо случится с самолетом, тебе будет мучительно, до слез жаль всех тайн, которые исчезнут вместе с тобой».

Штирлиц вдруг улыбнулся, оттого что явственно увидел лица Миньки, ванюшинского слуги, и его квартиранта – доцента Шамеса, когда они сидели в подвале, во Владивостоке, незадолго перед тем, как в город пришли войска Уборевича, и услышал слова Шамеса, который говорил, что мысли человеческие не исчезают со смертью плоти, они – в воздухе, они сохраняются вечно, и придет время, когда человечество сконструирует аппарат, который запишет мысли Цезаря и Христа, Леонардо и Пушкина, Баха и Чаадаева...

«А ведь придет это время, – сказал себе Штирлиц, – и оно не за горами, потому что двадцать лет назад полет через океан казался утопией, а сейчас сидят в аэроплане семьдесят человек – действительно пятиэтажный дом в небе, и это уже перестало быть чудом... Но это перестало быть чудом после войны, – подумал он. – Как страшен Мальтус, ведь в подоплеке его теории лежит угодность мора, а нынешняя война была самым страшным мором изо всех, какие переживало человечество...»

Штирлиц вдруг усмехнулся: «Интересно, сколько еще времени придется ждать, пока Центр сможет уловить его, Штирлица, мысли и записать их на хитрые машины, не сконструированные еще учеными? А что такое мысль? Концентрат памяти плюс фантазия – раскрепощенные представления о том, чего еще не было. Впрочем, ви-

димо, так следует определять идею – мысль более вещественна, это скорее суммарный вывод из пережитого, конкретика».

И вдруг он снова – в который уже раз – с мучительной ясностью услышал то, о чем говорили в соседней комнате, на конспиративной квартире Мюллера, куда тот привез его во время сражения за Берлин, вычислив с абсолютной точностью, что Штирлиц работает на русскую разведку. Быстро, захлебываясь, час за часом гестаповцы диктовали машинистке компрометирующие данные на французских политиков и русских военных, с которыми работало СД, когда те сидели в немецких концлагерях.

«Эти имена всегда жили в тебе, – подумал Штирлиц. – Этот страшный груз памяти не давал тебе покоя, но ты понимал, что лишен связи и не можешь передать Центру эти страшные данные об измене. А потом ты истязал себя одним и тем же вопросом: "Почему Мюллер, который мог все, умел учитывать любую мелочь, рассчитывал каждый свой шаг, не сделал лишь одного: не приказал Ойгену и Вилли сразу же закрыть дверь в твою комнату?" Ведь он хотел, чтобы я остался жив и стал его гарантом для Центра, отчего же позволил мне услышать то, что было высшей тайной рейха?! Что, как не высшая тайна, подлинное имя агента? Да еще такого уровня, какого достигли те, чьи имена гвоздями вошли в мой мозг и сидят там постоянно, – боль лишь на время затихает, но потом снова и снова рождается безответный вопрос: "Но почему же, почему такие люди пошли на вербовку к наци?! На чем их могли сломить? Кто? Где? Каким образом?!"»

Самолет резко тряхнуло, хотя сахарных голов грозовых туч не было. Перемигиваясь, мерцали близкие звезды, а под крылом медленно («Ничего себе медленно, пятьсот километров в час!») проплывали пики гор, освещенные мертвенным светом луны.

«Интересно, – подумал вдруг Штирлиц, – а наступит ли время, когда люди перестанут бояться летать в аэропланах? Наверное, да. Сто лет назад все боялись поезда, каждое путешествие из Петербурга в Москву было событием в жизни человека: дьявольская скорость – тридцать верст, колесики махонькие, рельсы тонюсенькие, склизкие, неровен час – соскользнут, грохнемся с откоса, костей не соберешь, страх господень! А кто теперь думает о возможности катастрофы, устраиваясь в удобном купе? Думают, наоборот, о том, сколь ползуча скорость, как много времени, которое можно было бы употребить с пользой, пропадет зря, – писать трудно – качает, а думать – так тянет на минор, расслабление, в то время как нынешний ритм жизни предполагает постоянную собранность – никаких отвлечений, даже окна квартиры целесообразнее завешивать плотными шторами или металлическими жалюзи; стол, стена, привычные корешки нужных книг и все. Изволь думать предметно, то есть узко и про то именно, что вменено тебе в обязанность».

Он резко поднялся и сразу же заметил в глазах пассажиров испуг: неожиданное движение в самолете воспринимается как возможный сигнал тревоги; нигде, кроме как в небе, люди не ощущают так остро своей беспомощности, ибо добровольно отдали свои жизни в руки пилота, удерживающего штурвал.

«И олень, подумал Штирлиц, – таясь в чащобе, ни на что так

не реагирует, как на резкое движение. Вот где ты усмотрел общие корни с меньшими братьями.

Цинковомордых нет, – понял Штирлиц, мельком оглядев пассажиров, – во всяком случае, здесь, в хвосте; и все пьют, даже женщины. Неужели только алкоголь дает ощущение храбрости? Иллюзию – да, – сказал он себе. – Человечество, лишенное возможности по-настоящему выявить себя, придумало виски, джин, коньяк, водку, только бы погружаться в иллюзию предстоящих поступков – обязательно добрых, умных, смелых; ан проснулся – голова разваливается, пропади все пропадом, свет не мил... Ничего, отоспятся, когда прилетим в Новый Свет... «Если прилетим», – поправил он себя. – нельзя быть категоричным в небе, когда ты – ничто и лишен всех прав, кроме одного: сидеть, пить виски и вспоминать, что было, пытаясь ответить себе на один только вопрос: случившееся сегодняшней ночью – игра Роумэна, или все же произошел тот Случай, который по справедливости следует называть Его Величеством?

Подход ко мне на авениде Хенералиссимо американцев, появление Кемпа, затем Роумэн; ИТТ, Эрл Джексон, брат которого возглавляет разведку на юге Америки; Криста, повязанная с наци.. Можно предположить, что мой полет есть звено неведомой мне игры, разведка умеет закручивать такие интриги, которые не под силу Аристофану с Шекспиром, ибо художник страшится вседозволенности, а Шелленберг нацеливал всех именно на это. Но нельзя же допустить, что ради какого-то Штирлица в Америке устроят фарс с привлечением к суду Бертольда Брехта и Ганса Эйслера, а ведь именно на этом дрогнул Пол Роумэн...»

В туалете пахло горькой лавандой, на полочке стояли три сорта туалетной воды: чего не сделают владельцы авиакомпании, лишь бы привлечь людей, – и виски тебе, и джин, и коньяк, и даже горькая лаванда из Парижа.

«Нет, – подумал Штирлиц, разглядывая свое отечное, еще более постаревшее лицо в зеркале, подсвеченном синеватым светом невидимых ламп, сокрытых где-то в отделке маленькой аптечки, набитой упаковками аспирина, – Роумэн не играл со мной, особенно в последний день. Им, может быть, играли. Но не он мной.

Если его не пристукнут сегодня, а по раскладу сил им надо убирать его, этот парень поможет мне вернуться домой. Когда-нибудь моя ситуация может показаться людям дикой, невероятной, фантасмагорической: человек сделал свое дело, намерен вернуться на Родину, она всего в семи часах лета от Мадрида, но реальной возможности возвращения не существует. Потомки отметят в своих изысканиях одну из главных отличительных черт национал-социализма: закрытость. Именно так. При нескрываемой агрессивности – тотальная закрытость государства, табу на знание иных культур, идей, концепций; невозможность свободного передвижения, запрет на туризм: "Мы – нация избранных; тысячелетний рейх великого фюрера есть государство хозяев мира, нам нечему учиться у недочеловеков, мы лишь можем заразить нацию чужеземными хворобами, гнусными верованиями и псевдознаниями; немцам – немецкое". Франко скопировал Гитлера, несколько модифицировав практику его го-

сударственной машины с учетом испанского национального характера: чтобы отвлечь народ от реальных проблем, во всем обвиняли коммунистов и русских. Зато празднества теперь были невероятно пышны и продолжительны, готовились к ним загодя, нагнетая ажиотаж; всячески культивировали футбол, готовили страну к матчам, особенно с командами Латинской Америки, словно к сражению, отвлекая таким образом внимание людей от проблем, которые душили Испанию; тех, кто не поддавался такого рода обработке, сажали в концентрационные лагеря; разжигали страсти вокруг тех или иных фламенко[1]; коррида сделалась, особенно благодаря стараниям профсоюзной газеты "Пуэбло" и еженедельника "Семана", прямо-таки неким священным днем: пятница и суббота – ожидание, воскресенье – таинство, понедельник и вторник – обсуждение прошедшего боя, а, глядишь, в среду какой-нибудь футбол, вот и прошла неделя – и так год за годом, ничего, катилось. При этом абсолютная закрытость границ, не столько для иностранцев, как у Гитлера, сколько для своих: чтобы получить визу на выезд во Францию, надо было тратить многие месяцы на ожидание, заполнять десятки опросных листов, проходить сотни проверок. С моими-то документами, – усмехнулся Штирлиц, – я бы не выдержал и одной... А французы? Соверши я чудо – переход испанской границы, французы должны были бы поверить мне? "Почему же не вернулись раньше?" "Почему не написали в Москву?" Как ответить людям, живущим в демократическом обществе? Они ведь не поймут, что вернуться из фашизма не просто; написать – нельзя, перехватят, особенно если на конверте будет стоять слово "Москва". А разве бы я поверил на их месте? Нет, конечно. Человек с никарагуанским паспортом, нелегально перешедший границу, говорит, что он полковник советской разведки, и это спустя полтора года после окончания войны... Этика взаимоотношений между погранзаставами заставила бы французов передать меня испанцам – слишком уж невероятна моя история... Да и я – поставь себя на место моего Центра – долго бы думал, признавать меня своим или нет, особенно после того, как Роумэну передали отпечатки моих пальцев в связи с делом об убийстве Дагмар Фрайтаг и бедняги Рубенау...

Только в Рио я могу прийти в наше посольство, – сказал он себе. – Риск сведен до минимума. Даже если вход в посольство охраняют – а его наверняка охраняют, – у меня теперь в кармане надежный паспорт, который дал Роумэн: "Я обращаюсь к русским за визой", там я в безопасности, там я спасен, и случится это через шестнадцать часов, если аэроплан не попадет в грозу и молния не ударит по крылу, не откажут два мотора и не случится самозагорания проводки, сокрытой – для максимального комфорта – под мягкой кожей обивки фюзеляжа.

Кстати, – подумал Штирлиц, – я однажды вспоминал уже наш разговор с папой о культуре; это было на той страшной конспиративной квартире Мюллера, когда его доктор делал мне уколы, чтобы парализовать волю... Я то и дело цепляюсь, словно за спасатель-

[1] Фламенко *(исп.)* – исполнители танцев и песен.

ный круг, за папу. И тогда папа спас меня, не дал сломаться; он постоянно во мне; воистину, веков связующая нить. Лицо его у меня перед глазами, я слышу его голос, а ведь последний раз мы виделись двадцать пять лет назад в нашей маленькой квартирке в Москве, когда я обидел его, – никогда себе не прощу этого. Видимо, ощущение вины и дает человеку силу быть человеком; тяга к искуплению – импульс деятельности, только в работе забываешь боль.

А каково будет Роумэну, если я выйду из самолета, чувствуя, что сил продолжать борьбу нет? Каково будет ему остаться одному? Я ведь пообещал ему не уходить, обговорил формы связи, породил в нем надежду на то, что буду рядом. Я готов к тому, чтобы стать лгуном? Изменить данному слову?»

Штирлиц вернулся на свое место; стюард попросил его пристегнуть ремни.

– Через тридцать минут мы сядем в Лиссабоне, сеньор. Еще виски?

– А почему бы и нет? Вы давно летаете на этом рейсе?

– Третий месяц, сеньор. Я был среди тех, кто открывал линию.

– Полет утомителен?

– В определенной мере. Но зато абсолютно надежен. Не зря ведь ученые считают, что на земле и в океане куда больше возможностей попасть в катастрофу. Вы, кстати, застраховались перед вылетом?

– Нет. А надо было?

Стюард пожал плечами:

– Я-то застраховался на пятьсот тысяч, пятую часть оплатила фирма; у меня жена ждет ребенка...

– Боитесь перелета?

– Ну что вы, сеньор, – ответил стюард, – такая надежная машина, гарантия безопасности абсолютна...

По тому, как парень ответил ему, Штирлиц понял, что тот боится. «Да ты и сам побаиваешься, – сказал он себе, – нет людей без страха; есть бесстрашные люди, но это те, кто умеет переступать страх, знакомый им, как и всем другим; очень скверное чувство, особенно если боишься не только за себя, но и за тех, кого любишь, а еще за то, что у тебя в голове, что необходимо сохранить для пользы дела, рассказав об этом, известном одному лишь тебе, всем, кого это касается. А ведь то, что знаешь ты, касается всех, потому что никто не знает нацизма, как ты, никто из выживших. Не было людей, переживших инквизицию, ибо она не рухнула, подобно нацизму, но медленно и ползуче сошла на нет, обретя иные формы в мире. Остались иносказания и намеки. Летописи инквизиции, оставленной жертвами и свидетелями, не существует; значит, всегда будет возможное двоетолкование фактов. Я в этом смысле уникум: человек враждебной нацизму идеологии двенадцать лет – всю его государственную историю – проработал в его святая святых – в политической разведке. Кто скажет миру правду, как не я? Но почему, – в который уже раз, прерывая самого себя, Штирлиц задал себе вопрос, который постоянно мучил его, – почему Мюллер позволил мне узнать больше того, что я имел право знать? Почему его люди называ-

ли в соседней комнате имена своих агентов – такие имена, от которых волосы становятся дыбом?! До тех пор, – сказал он себе, – пока ты не найдешь этих людей, имена которых знаешь, а еще лучше Мюллера, – он жив, он готовился к тому, чтобы уйти, – ты ничего не поймешь, сколько бы ни бился. Хватит об этом, смотри в иллюминатор. Снова кто-то швырнул на землю сине-бело-желтую гроздь звезд – Лиссабон, столица Салазара, друга фюрера; сколько же у него осталось в мире друзей, а?!»

Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался Штирлицу знакомым. «Я встречал этого человека. Но он знает меня лучше, чем я его. Это точно. Цинковоглазый? Нет. Другое. Вспомни его, – прикрикнул он на себя и, усмехнувшись, подумал невольно: – Мы, верно, единственная нация, которая и думает-то проворно только в экстремальной ситуации. Американец вечно торопится, он весь в деле; британец величав и постоянно озабочен тем, чтобы сохранить видимость величия; француз рад жизни и поэтому отводит от себя неугодные мысли, а более всего ему не хочется терять что-либо, не любит проигрыша, прав Мопассан; мы же витаем, нам угодно парение. Мысль как выявление сиюминутного резона не в нашем характере, пока гром не грянет, не перекрестимся».

Пассажир обвалисто устроился в кресле; он как-то до отвратительного надежно обвыкался на своем месте, ерзал локтями, поводил плечами, потом, почувствовав себя удобно, обернулся, встретился глазами со Штирлицем, нахмурился, лоб свело резкими морщинами, рот сжался в узкую щель; тоже, видимо, вспоминал.

Первым, однако, вспомнил Штирлиц: это был адъютант Отто Скорцени штурмбаннфюрер Ригельт.

– Привет, – кивнул Ригельт. – Это вы?

Штирлиц усмехнулся – вопрос был несколько странным.

– Это я.

– Я к вам сяду или вы ко мне? – спросил Ригельт.

– Как угодно, – ответил Штирлиц. – Простите, я запамятовал ваше имя...

– А я – ваше...

– Зовите меня Браун.

– А я – Викель...

РОУМЭН (Мадрид, ноябрь сорок шестого)

– Быстро же вы добрались до Мадрида, господин Гаузнер, – сказал Роумэн.

– Да, я действительно добрался очень быстро, – хмуро ответил Гаузнер. – Идите в комнату, Роумэн, у нас мало времени.

– Знаете, мы привыкли к тому, что сами приглашаем, особенно в собственном доме... Идите в комнату, господин Гаузнер. Устраивайтесь на диване, я приготовлю кофе...

– Перестаньте. Не надо. Вы проиграли, смиритесь с этим. Если не смиритесь, вашу подругу шлепнут. Через полчаса. Можете засечь

время. Вас убирать у меня нет указаний, хотя я бы лично пристрелил вас с превеликим удовольствием.

– Руки поднять за голову? – усмехнулся Роумэн.

– Да, руки поднимите за голову.

– Неужели вы рискнули прийти ко мне один? – спросил Роумэн, усаживаясь на высокий табурет, сделанный им на заказ у столяра Освальдо, как и маленький г-образный бар («Американец остается американцем и в Старом Свете, привычка к бару – вторая натура, как у британцев – клуб, – объяснял он Кристине. – Если англичанин попадет на необитаемый остров, он обязательно сначала построит тот клуб, куда он не будет ходить, а уж потом соорудит клуб для себя»).

– А это не ваше дело, – ответил Гаузнер, сунув пистолет в задний карман брюк, и по тому, что он спрятал оружие, Роумэн понял, что в квартире есть еще кто-то.

– Один на один я с вами разговаривать не стану, – сказал Роумэн. – Я хочу иметь свидетеля. Пусть это будет ваш человек, но все равно свидетель.

– Вы хотите другого, – заметил Гаузнер, посмотрев на часы, – вы хотите убедиться, что меня страхуют. Иначе бы вы начали ваши ковбойские штучки с бросаньем бутылок и опрокидыванием стульев. Эй, ребята, – Гаузнер чуть повысил голос, – откликнитесь.

– Все в порядке, – ответили с кухни, – мы здесь.

– Тогда действительно свидетели не нужны, – вздохнул Роумэн. – Я могу достать сигареты?

– Откуда?

– Я же не иллюзионист. Из воздуха не умею. Они лежат у меня в левом кармане брюк.

– Эй, – Гаузнер снова повысил голос, – помогите ему.

Из кухни вышел невысокий, квадратноплечий крепыш, подошел к Роумэну, словно к какому-то предмету, споро и заученно прохлопал его по карманам, залез под мышки («Я же потный, как не противно») и молча удалился, не сказав Гаузнеру ни слова.

– Можете курить.

– Вы очень любезны.

– К сожалению, я даже слишком любезен. Увы! Мы уже потеряли четыре минуты. Не по моей вине. Это работает против вашей подруги. Поэтому я потороплюсь перейти к делу. Мы освободим вашу девицу, если вы сейчас же, прямо здесь, за этим баром, – Гаузнер не сдержался, добавил: – за этим паршивым баром нувориша напишете обязательство работать на меня, лично на меня, Гаузнера, снабжая секретной информацией о практике разведывательной работы Соединенных Штатов. При этом, чтобы ваше обязательство не оказалось клочком бумаги, которым можно подтереться, вы дадите мне ключ кода, по которому сноситесь с Вашингтоном. Если солжете, я имею возможность это проверить, вашу подругу уберут, Роумэн...

– «Мистер Роумэн», пожалуйста. Я ценю корректность.

– Повторяю: у вас осталось двадцать шесть минут на раздумье, Роумэн.

– «Мистер Роумэн»... Я настаиваю на такого рода обращении, господин Гаузнер. Как-никак вы предлагаете серьезную сделку, партнеры должны быть уважительны по отношению друг к другу.

– Это не сделка. Это вербовка.

– По-вашему, вербовка не является наиболее утонченной формой сделки? Как же вы тогда работали, господин Гаузнер? Не является ли ваше поражение следствием того, что и в вербовке вы унижали человека? Того, который вас делал героем, за которого вы получали кресты и повышение по службе?

– Я всегда ценил моих агентов, Роумэн, потому-то они работают на меня и поныне.

– Ну так и стреляйте на здоровье своего агента. Девица, как вы изволили заметить, работает на вас и поныне, она – ваш человек и неплохо меня размяла, но не считайте американцев слюнтяями, это весьма распространенная ошибка, она не приводит к добру.

Гаузнер поднялся, несколько недоуменно пожал плечами и громко сказал:

– Ребята, пошли.

Он не стал даже смотреть на Роумэна, дожидаясь его реакции, и неторопливо двинулся к двери. Из кухни, сообщавшейся с холлом, вышло двое почти совершенно одинаковых крепышей, валко потянулись следом за Гаузнером, одетым в поношенный, но тщательно отутюженный костюм с высокими подложенными плечами и спортивным хлястиком. (Именно такие обычно носили немецкие киногерои перед началом войны. Перед забросом в рейх Брехт предложил Роумэну посмотреть все гитлеровские ленты, которые были в Голливуде. «Ты их почувствуешь, – сказал он тогда, – их довольно трудно понимать, так они тупы, но чувствовать надо непременно, я буду комментировать, и тебе станет хоть кое-что ясно, Пол».)

Лишь когда хлопнула входная дверь, Роумэн понял, что они убьют Кристину, потому что она является его, Роумэна, коронным свидетелем, поскольку одна дает ему реальную возможность доказать в Вашингтоне, что организация в Мюнхене не просто борется с угрозой большевистской инфильтрации в Европу, а начала работу по вербовке офицеров американской разведки – тех, которые для всего мира являются победителями, оккупирующими четвертую часть поверженного германского рейха.

«У него, у этого Гаузнера, нет иного выхода, – понял Роумэн с абсолютной, тоскливой ясностью, – они убьют Крис, это, увы, по правилам».

Роумэн спрыгнул с табуретки и бросился к двери.

Если бы он заставил себя сосчитать секунды, прошедшие после ухода Гаузнера, и помножить их на количество шагов, сделанных немцем по ступеням широкой лестницы, он бы мог понять, что Гаузнер шел излишне медленно, не шел даже, а крался, ожидая того момента, когда Роумэн, отворив дверь, крикнет: «Вернитесь!» Если бы он понял это, весь дальнейший разговор пошел бы иначе, но Роумэн не смог сделать этого, он просто явственно увидел веснушки на выпуклом лбу Кристы, ее прекрасные глаза и, резко распахнув дверь, крикнул в лестничный пролет:

– Пожалуйста, вернитесь!

...Кирзнер, один из помощников Кемпа, находившийся все эти месяцы «в резерве» и включенный в нынешнюю операцию впервые за шестнадцать месяцев после своего побега из рейха, посмотрел на часы, потом перевел взгляд на усталое лицо женщины, обернулся к молчаливому человеку, сидевшему возле двери с короткоствольным охотничьим ружьем на коленях, и сказал:

– Милая фройляйн, давайте отрепетируем все, что вам нужно будет сделать, когда мы отправим вас к любимому... К мистеру Полу Роумэну... Кстати, вы его любите? Действительно, любите?

– Нет, – ответила Криста, потому что знала: никому нельзя признаваться в двух ипостасях человеческого состояния – в любви и ненависти; друзья и так все поймут, а враги умеют пользоваться этим знанием. «Дурочка, – подумала она, – как много нужно было потерять, прежде чем я смогла понять это; никто, ни один человек на земле не должен был знать, как я любила отца, тогда бы в гестапо на этом не играли, надо было казаться равнодушной – "Ох, уж эти дети, у них каменные сердца!"... А они знали правду... Верно говорят: знание – это путь в ад, по которому гонят тех, кто позволил себе открыться».

– Вы говорите правду?

– Абсолютную.

– Вы всего лишь добросовестно выполняли просьбу вашего руководителя?

– Нет. Я не очень-то жалую моего руководителя...

– Почему так?

– Я перестала ему верить.

– Вы сказали ему об этом?

– Каждый человек верит в ту соломинку, которую ему кидают... Особенно женщина...

– Тем не менее результаты вашей работы с мистером Роумэном были поразительны...

– Он хорош в постели.

Кирзнер неторопливо закурил, вновь внимательно взглянул на женщину, поняв, что она говорит неправду: ему было известно, что к Роумэну применяли особую степень допроса и это наложило отпечаток не только на его психику, но и на физическое состояние – когда только намечалась комбинация, ему удалось подвести к американцу джазовую певичку из Лиона, бедняга была в отчаянии, ей не удалось расшевелить американца, а она была большой мастерицей на эти дела: «Он ничего не может, это бесполезно».

– Вы мне солгали, – заметил Кирзнер. – Зачем?

– Я сказала вам правду.

– Нет. – Кирзнер покачал головой. – У меня есть основание не верить вам.

– Почему?

– Потому что физические качества Роумэна – простите меня, бога ради, но мы с вами оба работаем в разведке, тут нельзя ничего утаивать друг от друга – далеки от того, чтобы увлечься им в постели. Для этого в Испании есть более интересные экземпляры мужского пола.

– Во-первых, мы о б а в разведке не работаем, – ответила Криста. – Вы работаете в разведке, а я вам служу... Точнее говоря, вы пользуетесь мной в вашем деле... Во-вторых, – не обратив внимания на протестующий жест Кирзнера, – во-вторых, – жестко повторила она, – вы можете узнать про меня то, что вам кто-то скажет, вы можете разглядывать фотографии, сделанные потайными камерами, или слушать магнитофонные записи, но вы никогда не поймете, что я ощущаю, когда мужчина смотрит на меня, когда он улыбается мне, обнимает, что я чувствую, когда он прикасается к моей руке или гладит по щеке... Как всякий мужчина, вы лишены той чувственности, какой обладаем мы. Мужчина чувствует и любит прямолинейно, женщина воспринимает любовь опосредствованно... Вы, видимо, знаете, что я по профессии математик, так что, если вы заменили Гаузнера и Кемпа, или, точнее говоря, они передали меня вам, вы должны знать, что я тяготею к точности в выражениях: ничего не попишешь, печать на человека накладывает ремесло, а не наоборот... Вы бы, например, не смогли быть моим партнером... Простите, я не знаю, как к вам обращаться, вы не представились...

– А никак не обращайтесь. Обходились до сей поры, ну и продолжайте в этом же роде. Только хочу заметить, фройляйн, если вы по-прежнему будете лгать, разговора у нас не получится, а вы в нем заинтересованы куда больше, чем я.

– Вы меня сломали, мой господин. А когда человек сломан, его перестает интересовать что бы то ни было.

Кирзнер посмотрел на часы, потянулся с хрустом и, закурив, заметил:

– В таком случае через двадцать две минуты Роумэна шлепнут. Хотите кофе? Вы же устали, бедняжка.

– Я действительно очень устала, – ответила Криста, чуть поправив волосы, – но я бы выпила виски, это меня взбодрит лучше, чем кофе.

– Пепе, – обратился Кирзнер к молчаливому человеку, сидевшему возле двери, – пожалуйста, откройте бутылку, у нас там что-то стоит в шкафу. Фройляйн не взыщет, если мы угостим ее не отборным виски, какое держит в баре мистер Роумэн, а тем, что есть в этом доме.

– Фройляйн устала, – тихо, с какой-то внутренней тоской ответил мужчина. – Не надо ей пить ваше паршивое виски, лучше я сделаю ей крепкий кофе и дам хорошего коньяка.

– Вы сострадаете фройляйн? – поинтересовался Кирзнер. – Что ж, я понимаю вас, фройляйн действительно очаровательна, но все-таки сделайте то, о чем она – просит, а я – рекомендую.

Пепе съежился еще больше, снова посмотрел на Кристину с состраданием, поднялся и, как-то по-старчески шаркая (хотя был молод, лет тридцать от силы, очень высок, крепок, но худой, несмотря на то, что в его торсе чувствовалась сила), вышел в холл, отделанный темным мореным деревом.

– Через полчаса, – продолжал между тем Кирзнер, потеряв всякий интерес к беседе, – мы отвезем вас на квартиру к Роумэну, запрем дверь снаружи и вызовем полицию. Заранее придумайте вер-

сию его смерти, это – единственное, чем мы можем рассчитаться за вашу службу. Благодарите Гаузнера, именно он выбил для вас эту привилегию. Он предполагал, что вы откажетесь, хотя я не очень-то верил ему... Молодец, он понял вас отменно...

– Я не стану придумывать версий, – ответила Криста, чувствуя в себе безнадежную усталую тоску. («Скорее бы все кончилось, нельзя идти в темноте годы; ночь – даже зимняя – так или иначе проходит, но если она продолжается уже тридцать месяцев, то ждать больше нечего... И не от кого... А дважды предательницей я быть не смогу. Я же не актриса. И я люблю Пола».)

– Да? – Кирзнер прикрыл рот рукой, зевнул и снова глянул на часы. – Что вы намерены сказать полиции?

– Правду.

– Всю?

– Да.

– Стоит ли?

– У меня нет больше сил... Врут, когда верят во что-то; у меня сейчас и это кончилось...

– Ну-ну... Не боитесь, что пресса станет вас называть «нацистской подстилкой»?

– Здешняя? Испанская?

– Эта не станет... Мы позаботимся, чтобы ваши показания сделались известными в Норвегии, милая фройляйн. Вас освободят из здешней полиции после двух-трех недель допросов, но вас вышлют отсюда... Куда возвращаться? Вы же математик, а не писатель... Тот бы нацарапал книжонку, они умеют из дьявола делать ангела, но вы ведь тяготеете к точности в выражениях, вы правы, на человека накладывает печать ремесло, а не наоборот...

– Что вам нужно от меня? – спросила Криста, чувствуя, как обмякает ее тело, ноги становятся ватными, чужими.

– Да ничего мне от вас не нужно, – так же лениво ответил Кирзнер. – Мне было поручено Гаузнером отрепетировать с вами встречу с любимым. Вы отказались. Других указаний я не получал. Подождем, пока он позвонит и скажет, когда вас везти на квартиру мистера Роумэна.

– Мертвого?

– Естественно.

– Что-то не сходится, – сказала Криста, приказав себе сжаться в кулак, затаиться, стать. – Сначала вы мне предложили репетировать, потом сказали, что По... Роумэна убьют... Не связывается...

– Я сказал, что его убьют, когда понял, что вы лжете, стараясь ввести меня в заблуждение по поводу ваших с ним отношений. Если вы скажете мне правду о том, как вы к нему относитесь, его еще можно спасти, у нас осталось, – он посмотрел на часы, – несколько минут. Впрочем, если вы скажете правду, судьба Роумэна попрежнему будет в ваших руках, ибо после того, как мы отрепетируем – в мельчайших деталях – сцену вашей встречи, дело, как нам кажется, закончится обручением. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы продолжать быть с нами, сделавшись миссис Роумэн? Я помогу вам, милая фройляйн. Я, видимо, обязан помочь вам понять

правду... Честно говоря, мы попали в засаду. Понимаете? Ваш любимый заманил нас в засаду...

Пришел Пепе, принес чашку кофе и рюмку коньяка.

– Я сделал вам очень горький кофе, Криста, без сахара... И глоток коньяка... Попробуйте... Вот так... Вкусно?

– Спасибо. Действительно вкусно, – усмехнулась Криста, – если только вы не подсыпали туда какой-нибудь гадости.

Лицо человека снова дрогнуло, в глазах что-то вспыхнуло, но это было один лишь миг, потом он снова сгорбился, опустил голову и отошел на свое место к двери.

– Тебе жаль фройляйн, Пепе? – усмехнулся Кирзнер. – Должен тебя обрадовать – мне тоже. Если ты не чувствуешь в себе силы продолжать работу с ней, пригласи Хайнца, я не буду на тебя в обиде, правда... Так вот, – не дождавшись ответа Пепе, продолжал между тем Кирзнер, – в Севилье вас опекал не наш человек... Нашего человека выкрали, понимаете? Его подменили парнишкой Роумэна... И он смог переиграть вас, вы открыли ему имя Гаузнера, хотя вы ни при каких условиях не имели права этого делать – вас предупреждали об этом в высшей мере дружески. Согласитесь, что это так. Вы, таким образом, нарушили наш закон, понимаете? Из-за этого жизнь многих моих товарищей находится сейчас под ударом. И валить их намерен Роумэн. Но ударим мы. Мы, фройляйн. С вашей помощью – бескровно, как и полагается в игре профессионалов. Без вашего участия мы точнее закончим дело, но шумно, несмотря на то, что у Гаузнера особый пистолет, с насадкой на дуло, выстрел подобен громкому щелчку пальцами... Вот, собственно, и все. У вас одиннадцать минут на то, чтобы принять решение... И давайте я глотну из вашей чашки и из рюмки – вы удостоверитесь, что вас не намерены травить... В самом деле, – отхлебнув, сказал Кирзнер, – Пепе не страшно увольнение, он вполне обеспечит себя работой в хорошем кафе. Ну, милая фройляйн? Надумали? Или – черт с ним со всем?

Кристина обернулась к Пепе; тот сидел в прежней позе, совершенно недвижимый.

– Хорошо, – сказала она, почувствовав, что слезы вот-вот покатятся по щекам, внезапные, как у ребенка, выпустившего из рук воздушный шарик. – Говорите... Я стану вас слушать... Объясняйте, что я должна сделать...

– Видите, как много неприятных минут нам пришлось пережить, милая фройляйн, пока вы не признались в том, что любите мистера Роумэна... Вы его очень любите, не правда ли?

– Я же объяснила вам... Он устраивает меня как партнер... Он очень... добрый...

– Допустим. Значит, если мы попросим вас влюбиться в него без памяти, – это никак вас не будет травмировать?

– Нет.

– Очень хорошо. Просто замечательно, милая фройляйн. Тогда давайте репетировать... Вы готовы?

...Кемп сидел за стеной, в двух метрах от Кристины. Он слышал

ее голос, несколько усиленный звукозаписью, представлял ее лицо страдальческое, осунувшееся, а потому еще более прекрасное, и думал, как жесток этот мир, но – в этой своей жестокости – разумен, то есть логичен.

«Сотни тысяч отцов, какое там, – усмехнулся он, – миллионы – пора научиться признавать правду – оказывались исключенными из жизни рейха, но ведь лишь единицы, я имею в виду их дочерей или сыновей, пошли на сотрудничество с нами во имя их спасения. Природа – главный селекционер; упражнение агрономов – детская игра в угадывание, подход к главной теме; в подоплеке прогресса сокрыто именно это таинство цивилизации, всякое приближение к его разгадыванию чревато всеобщим катаклизмом; создатель не позволит людям понять себя, это было бы крушением иллюзий: бог и вождь должны быть тайной за семью печатями, иначе человечество уничтожит само себя...

...А работать Кирзнер не разучился, – подумал Кемп, – я не зря берег его все эти месяцы. Рихард Шульце-Коссенс всегда повторял: «Этот парень обладает даром артистизма, он не ординарен, его призвание – театр, не надо его ставить на работу с мужчинами, берегите его для женщин, верьте мне, он чувствует их великолепно, а вне и без женщин ни одна долгосрочная комбинация в разведке нереальна – особенно теперь, когда фюрер ушел и нам предстоит поднять нацию из руин. Примат национальной идеи привел нас к краху. Что ж, сделаем выводы. Наша новая ставка будет ставкой на дело, которому мы подчиним дисциплину немецкого духа. Дело – сначала, величие нации – после, как результат новой доктрины. Американцы состоялись именно на этом, и за нами Европа, а это, если подойти к делу по-новому, посильнее, чем Америка. А всю черновую работу сделает «Шпинне»[1], мы отладим нашу всемирную паутину, будущее – за будущим».

Что ж, «Шпинне» работает славно, – подумал Кемп, продолжая слушать Кирзнера и Кристу, – можно только поражаться, какую силу мы набрали за эти полтора года, если Гаузнер, представитель растоптанных и униженных немцев, смог оказаться здесь, в Мадриде, сразу же после того, как вернулся Роумэн, имеющий все права и привилегии для передвижения по Европе, – еще бы, «союзник», победитель, хозяин...

Гелен не отправил бы Гаузнера по нашим каналам, он слишком мудр и осторожен, чтобы светить своих людей транспортировкой покойника, а Гаузнер, который сейчас ломает Роумэна, – покойник, ему осталось жить считанные часы, чем скорее он сломит американца, тем быстрее умрет. Вот ужас-то, – подумал Кемп с каким-то затаенно веселым, но при этом горестным недоумением. – Впрочем, – сказал он себе, – все действительно разумно – так, кажется, говорил основатель враждебной идеологии? Да, это, конечно, ужасно, да, я, видимо, долго не смогу засыпать без сно-

[1] «Шпинне» (нем. «Паук») – тайная организация СС, созданная Скорцени в марте 1945 года. О. Скорцени был родственником президента имперского рейхсбанка Ялмара Шахта, оправданного в Нюрнберге; связи Шахта с американским капиталом начались еще в 1918 году.

творного после того, что должно случиться, но сначала общее дело, а уж потом судьба личности; все то, что не укладывается в эту жестокую, а потому логичную схему, – чуждо нам, идет от другой идеи, а ее никогда не примут немцы, их государственно-духовная общность.

...А Пепе хорош, ничего не скажешь... Темная лошадка, а не человек... Что я знаю о нем? Мало. Практически – ничего, потому что я не мял его, он пришел на связь от генерала; «профессионал, работает автономно, иностранец, чужд национальной идее, в деле проявляет себя мастерски». В конечном счете генерал знает, кого привлекать, я не вправе судить его посланцев, если прислал – значит, так надо, все остальное – приладится, главное – незыблемая и убежденная вера в авторитет того, кто стоит над тобой. К вершинам прорываются самые достойные, остальные гибнут внизу при горестной попытке подняться, перескочив ступени. Мир трехслоен: единицы – вверху, миллиарды – внизу; но среди миллиардов есть те, которые довольствуются достигнутым, – а их подавляющее большинство, ибо создатель далеко не всех наградил смелостью дерзать, – и меньшинство рвущихся наверх. Это меньшинство претенциозных индивидов так или иначе обречено на уничтожение – балласт, общество не терпит претенциозности».

«Нет, но каков Кирзнер», – снова подивился Кемп, прислушиваясь к тому, как коллега тянул свое:

– Милая фройляйн, если вы настаиваете на том, что в предложенных обстоятельствах самое верное – броситься к любимому, я снова начинаю сомневаться в вашей искренности. Не надо, не сердитесь, я хорошо запомнил, что вы математик по призванию, поэтому я подстроюсь под ваш строй мыслей и докажу вам: либо вы своенравничаете, отказываясь принять мое предложение, либо что-то таите... Ну, давайте анализировать состояние женщины, которую похитили, и во имя ее спасения – вы, понятно, догадываетесь об этом – любимый пошел на что-то такое, что выгодно его врагам, но никак не выгодно ему, ничего не попишешь, во имя любви на закланию отдавали империи, не то что свое «я». И вы хотите – при мне, Пепе и Гаузнере, который сейчас сидит у Роумэна и позвонит к нам через минуту, от силы две, – броситься на шею любимому? Это плохой театр, милая фройляйн, а я кое-что понимаю в театре, я, изволите ли знать, актерствовал в молодости. Смысл сцены, если она претендует на то, чтобы остаться в памяти потомков, заключен в контрапунктах, построенных по принципу математики: идти к правде от противного... Вы ни в коем случае не бросьтесь к Роумэну, а, наоборот, истерически засмеетесь. Лишь тогда он вам поверит, лишь тогда он не заподозрит вас в том, что вы в сговоре с нами и что мы играем одну пьесу. Это слишком прямолинейно: делать шаг к любимому. Это – провинциальный театр, милая фройляйн... А в провинциальные театры не ходят...

– Ходят. На бенефис «звезды».

– Ого! Считаете себя «звездой»?

– Я считаю себя женщиной. Этого достаточно. И я лучше вас знаю, чему он поверит, а чему нет.

– Я был бы рад согласиться с вами, если бы речь шла просто о мужчине, милая фройляйн. Но Роумэн – разведчик. Причем разведчик первоклассный, таких мало в Америке, у них либо костоломы Гувера, либо еврейские слюнтяйчики Донована... Так что давайте уговоримся: после того как вы останетесь одни, ведите себя как хотите, говорите ему что угодно, – это за вами... Но встречу с милым будем играть в моей режиссуре...

– Когда мы останемся одни... Если мы останемся одни, – уточнила Криста, – я вам не очень-то верю, мой господин. Я имею право сказать Роумэну про эту нашу репетицию?

– Да. Почему бы нет? Разве можно что-то таить от партнера, который держит вас не умом, а мужскими статями? – Кирзнер усмехнулся, снова посмотрев на часы, и обернулся к Пепе:

– Дружочек, пожалуйста, позвоните к портье мистера Роумэна, там сидит наш приятель, возможно, у американца что-то с телефоном? Пусть проверит, хорошо?

Пепе поднялся, и снова Криста заметила в его глазах что-то особенное, вспыхивающее – тоску или, быть может, страх?

Проводив его спину немигающим взглядом, Кирзнер приблизился к Кристе, поманил ее к себе тонким пальцем и шепнул:

– Вы можете рассказать ему все, кроме того, что вы сейчас сделаете...

– А что я сейчас сделаю? – спросила Криста.

– Вы подпишете обязательство сообщать нам и впредь о каждом шаге мистера Пола Роумэна и выполнять те наши просьбы, с которыми мы к вам обратимся как к миссис Роумэн.

Кирзнер достал из кармана три экземпляра идентичного текста и вечное перо.

– Вот, – сказал он. – Это надо сделать сейчас.

– Я это сделаю, когда вернется Пепе и скажет, что с телефоном у мистера Роумэна ничего не случилось и мы можем ехать к нему играть ваш спектакль.

– Такого рода документы, милая фройляйн, подписывают только с глазу на глаз.

– Вы отправите Пепе посмотреть, не прилетел ли на кухню черт. Или генералиссимус Франко. На метле и в красных носках. В это время я подпишу ваш текст. Только перед этим я хочу услышать голос Роумэна и сказать ему, что я к нему еду.

– Хм... Я вынужден согласиться с вашими доводами, – сказал Кирзнер. – Хотя мне очень не хотелось бы с вами соглашаться. Вы жесткая женщина, а? – и он засмеялся своим колышущимся, добрым смехом.

«Подпишет, – понял Кемп, – с этой все в порядке, сработано накрепко, привязана на всю жизнь; даже если решит признаться ему во всем, он перестанет ей верить; она понимает, что Роумэн не сможет переступить свою память».

[1] Даунинг-стрит – резиденция английского премьер-министра.

ШТИРЛИЦ (рейс Мадрид – Буэнос-Айрес, ноябрь сорок шестого)

– Что, в самолете не чисто? – спросил Ригельт. – Отчего вы конспирируете?

– Оттого, что представляю разгромленную армию. А вы живете под своим именем?

– Конечно!

– Вас минула горькая чаша ареста?

– Три месяца я провел вместе со Скорцени... В мае сорок пятого мы никак толком не могли сдаться американцам, те гоняли колонны вермахта по дорогам вокруг Зальцбурга. Ах, как они пили, эти янки! Отвратительно, по-животному, из горлышка своих плоских бутылок, остатки предлагали нашим солдатам и хохотали: «Пейте, парни, сегодня ночью мы все равно всех вас перевешаем!» Наконец, Скорцени, штурмбаннфюрер СС Радль и я кое-как уговорили янки взять нас в плен: мне пришлось объяснять, кто такой Скорцени, чтобы они согласились посадить его в джип... Смешно и горько... Когда вы в последний раз видели Скорцени, дорогой Штирлиц?

– Браун.

– Вы не прошли проверку?

– Нет.

– Живете нелегально?

– Да

– Тогда – простите великодушно... Сытый плохо понимает голодного.

– Учили русский?

– Я? Почему? Никогда!

– Это русская пословица: «Сытый голодного не разумеет».

– Знаете русский?

– Немного... Почему вы спросили, когда я видел Скорцени в последний раз?

– Вы бы его не узнали: так он подсох и еще больше вытянулся... Мне пришлось устроить пресс-конференцию, чтобы на него хоть кто-нибудь из американцев обратил внимание... Я сказал им, что мой шеф – человек, который должен был похитить Эйзенхауэра во время Арденнского прорыва... Только тогда они, наконец, доперли, что это Отто освободил Муссолини... Ну, отношение после этого сразу изменилось – взрослые дети, падки на имя и сенсацию, слушали открыв рты... Потом я подбросил американскому полковнику Шину новую идею: мол, именно Скорцени вывел фюрера из Берлина... Тут они совсем ошалели, допросы за допросами, но уже с соблюдением уважительного политеса. Поняли, наконец, кто перед ними... Переводил, конечно, я, мы так уговорились с Отто, не думайте, что это была моя инициатива, – вот они меня и освободили...

– Когда?

– Да летом же сорок пятого!

– А Скорцени?

– В главном – избежать самосуда или выдачи макаронникам – мы выиграли, он стал персоной, со всеми вытекающими отсюда

последствиями... А потом его отправили в Висбаден, на улицу Бодельшвинг, там разместился штаб янки... Прискакали британцы, ревнивые, как черти... Загоняли в угол вопросами по поводу калийных шахт с культурными сокровищами в Линце, которые мы должны были взорвать, когда этого не сделал Кальтенбруннер, чтобы не отдать янки Рафаэля и Рубенса. Отто прекрасно им ответил: «Да, действительно, мы должны были взорвать входы в шахту специальными фугасами, на которых стояло клеймо «мэйд ин Ингланд». Вы взрывали точно такие штуки в Голландии, Бельгии и Франции и не считали это «военными преступлениями». Победителям все можно, так?» Ну, а потом нас рассадили, потому что Отто поместили в одну камеру с доктором Эрнстом Кальтенбруннером, они жили вместе пять дней, с глазу на глаз; всех нас турнули – янки соблюдают табель о рангах...

Ригельт не знал и не мог знать, что накануне того дня, когда Скорцени перевели в помещение, где содержался начальник имперского управления безопасности Эрнст Кальтенбруннер, «любимца фюрера» вызвал не капитан Бовиаш, обычно допрашивавший его, а незнакомый штандартенфюреру полковник с седым бобриком и почти таким же, как у Отто, шрамом на лице.

– Я ваш коллега, Скорцени, потому разговор у нас будет совершенно открытым, следовательно, кратким. О'кей?

Говорил он по-немецки почти без акцента, на очень хорошем берлинском, видимо, работал в посольстве, слишком отточен язык, несколько отдает мертвечиной: Скорцени, как и Кальтенбруннер, любил австрийский диалект, сочный, красочный, но при этом резкий, как выпад шпаги.

– О'кей, – ответил Скорцени. – Это по-солдатски.

– По-солдатски? – задумчиво переспросил полковник. – Нет, само понятие «по-солдатски» неприложимо к людям, носившим черную форму. И давайте не будем дискутировать на эту тему: вашу позицию по поводу «неукоснительного выполнения присяги» и «повиновения приказу начальника» оставьте для мемуаров. Вы отдаете себе отчет в том, что подлежите суду как ближайший пособник главных нацистских военных преступников?

– Я могу ответить только абзацем из будущих мемуаров, – усмехнулся Скорцени. – Я выполнял свой долг и подчинялся не преступникам, а людям, с которыми Соединенные Штаты до декабря сорок первого поддерживали вполне нормальные дипломатические отношения.

– Верно, – поморщился полковник, – все верно, но это для суда. А я не посещаю судебные заседания, я передаю судьям человека, признавшегося в совершенных преступлениях или же изобличенного в них. И – умываю руки. У меня не вызывает содрогания образ Понтия Пилата, он не был злодеем, судил по совести, никто не вправе вменить в вину ошибку, – с кем не случается. Не ошибись он, кстати, не было бы в мире Христа; люди чтут мучеников, особенно безвинных. Вопрос в другом: вашей выдачи требуют не толь-

ко итальянцы, но и чехи, поляки, венгры и русские. Каждый из них вздернет вас, вы отдаете себе в этом отчет?

– Вполне.

– Наконец-то я получил ответ, который меня вполне устроил. Боитесь смерти?

– Нет.

– Правда? Тогда идите в камеру и собирайте пожитки. Меня не интересуют психи. Люди, лишенные естественного страха смерти, – психи. Разведке от них нет пользы.

– Хотите что-то предложить мне?

– Я предлагаю здоровым людям, Скорцени. Итак, еще раз: вы боитесь смерти? Я имею в виду повешение в маленькой камере, без свидетелей, один на один с палачом?

– Боюсь. Вы правы. Боюсь.

– Ну и прекрасно. Вопрос не для протокола: Гиммлер вам поручил создание тайной сети «Шпинне», которой вменялось в обязанность восстанавливать третий рейх после его крушения?

– Рейхсфюрер мог отдать такого рода приказ только двадцать седьмого апреля, после того, как он предал Гитлера, решив вступить с вами в прямые переговоры. Я в это время был в Зальцбурге, а он на севере.

– Вы настаиваете на этом своем показании?

Скорцени усмехнулся:

– Вы же сказали, что мы беседуем без протокола?

– Верно. Но, как разведчик, вы прекрасно понимаете, что наша беседа записывается. Итак, вы настаиваете на этом своем показании?

– Бесспорно.

– Вы знаете штурмбаннфюрера СС Хёттля?

– Да.

– Кем он был?

– Связным офицером доктора Эрнста Кальтенбруннера.

– У вас нет оснований не доверять ему?

– Нет.

– Что вы можете сказать о нем?

– Это был офицер, верный присяге.

– О'кей, – вздохнул полковник. – Сейчас я приглашу его к нам. Не возражаете?

– Наоборот. Я рад этой встрече. Он содержится здесь же?

– Нет. Он доставлен сюда из своего особняка. Он живет в Бад-Ауозе, там же, где работал последний год при Гитлере. Только он приобрел – с нашей помощью – новую виллу, ближе к набережной.

Полковник снял трубку телефона, попросил «пригласить доктора Хёттля», поинтересовался, курит ли Скорцени, хватает ли сигарет, как кормят, не душно ли в камере, корректны ли охранники. Ответы узника – весьма обстоятельные, Скорцени в этом смысле был немцем, а не австрийцем – слушал рассеянно, разглядывая короткие ногти на крепких, боксерского склада пальцах.

Когда дверь отворилась и вошел Хёттль – в прекрасно сшитом костюме, тщательно выбритый, принеся с собой запах, видимо,

очень дорогого английского одеколона, – полковник поднялся, протянул ему руку, предложил место рядом с собой и спросил:

– Господин Хёттль, вы знаете этого человека?

– Конечно, мистер Боу...

Полковник перебил его:

– Я здесь аноним, господин Хёттль, я еще не убежден, что у меня получится разговор со Скорцени... Так что, пожалуйста, без фамилии.

– Да, конечно, господин полковник, – дружески улыбнулся Хёттль, по-прежнему не глядя на Скорцени.

– Кто этот человек?

– Штандартенфюрер СС Скорцени.

– Вы давно знакомы?

– Вечность.

Полковник засмеялся:

– А еще конкретнее?

– Лет двадцать как минимум.

Полковник обернулся к Скорцени:

– Вы подтверждаете это?

– Да.

– Господин Хёттль, а теперь, пожалуйста, расскажите, что вы знаете об организации «Шпинне». Когда она была создана? Кто ее возглавлял? Цели? Сеть? Возможности?

– Лучше бы это сделал штандартенфюрер Скорцени. Он был назначен фюрером «Шпинне», он знает все детали.

– Ну как, Скорцени? – спросил полковник. – Вы расскажете, или мы будем просить помочь нам господина Хёттля?

Скорцени вздохнул, пожал плечами:

– Мне горько слушать вас, Хёттль. О чем вы? Какой паук? Проигрывать надо достойно. Разве можно так ронять достоинство германского офицера?

– Мы его потеряли, надев черную форму, Отто, – ответил Хёттль.

– Так сняли бы! Мы никого не неволили, – усмехнулся Скорцени. – И начали бы борьбу против нас!

– Он начал борьбу против вас своевременно, Скорцени, – заметил полковник. – Он начал ее в сорок четвертом, когда до конца понял, что из себя представляет Эйхман. Не так ли, господин Хёттль?

– Да, Отто, это так. Я был в черной форме, но я вел борьбу против Гитлера.

Полковник кивнул:

– Господин Хёттль сотрудничал с Даллесом с зимы сорок пятого, Скорцени. Продолжайте, пожалуйста, Хёттль. Помогите бывшему штандартенфюреру вспомнить.

– Организация «Шпинне» была самой законспирированной в СС. Насколько мне известно от Кальтенбруннера, штандартенфюрер СС Скорцени получил приказ о своем назначении в феврале сорок пятого, но кто именно отдал ему этот приказ – лично Гиммлер, Шелленберг, а может быть, и сам фюрер, я затрудняюсь сейчас ответить. Но я утверждаю, что Скорцени получил в свое распоряжение

значительное количество людей, обладающих явками, денежными средствами и связями в Испании и Аргентине. Ближе всех к Скорцени стоял Рихард Шульце-Коссенс, бывшая руководительница германского Красного Креста фрау Луиза фон Эртцен, оберштурмбаннфюрер СС Дитрих Цимссен...

– Это какой Шульце-Коссенс? Офицер разведки, прикомандированный к штаб-квартире фюрера в «Вольфшанце»?

– Именно.

– Он был последним адъютантом Гитлера?

– Совершенно верно.

– А Цимссен?

– Офицер разведки лейб-штандарта СС «Адольф Гитлер».

– Хм... С этим я еще не говорил...

Скорцени снова вздохнул:

– Ах, бедный, дорогой, наивный Хёттль... Никогда еще предательство не приводило к добру, а уж оговор – тем более.

– Перестаньте, Скорцени, – отрезал полковник и достал из портфеля пачку документов. – Тут есть ваши подписи... Как фюрера «Паука». Можете ознакомиться. Спасибо, господин Хёттль... Как вас устроили?

– Прекрасно.

– Завтра вам придется побыть в Висбадене, а в пятницу мы перекинем вас в Зальцбург. До свидания и еще раз спасибо.

Проводив взглядом Хёттля, полковник поднялся, походил по кабинету, забросив короткие руки за крепкую спину, остановился перед столом, написал что-то на листке бумаги, показал написанное Скорцени: «Я предложу вам сотрудничество еще раз, но вы достойно откажетесь от моего предложения», сложил бумагу, тщательно уравнял ее ногтем и спрятал в нагрудный карман.

– Ну вот, Скорцени... Карты на столе, от вас зависит решение... Либо мы передадим вас русским – они с вами чикаться не станут, либо вы согласитесь на сотрудничество с нашей службой.

«А что, если после моего зафиксированного звукозаписью отказа, – подумал Скорцени, – они и в самом деле выдадут меня русским? Что, если он играет мной, этот седоголовый? Такое вполне можно допустить, янки берут не силой, а коварством. Хорошо, а если я скажу ему, что мне надо подумать? Каждое мое слово записывается, Хёттль раскололся, я в ловушке... Но ведь просьба отложить разговор может трактоваться будущими историками как косвенное согласие на вербовку... Вправе ли я упасть лицом в грязь, я, Отто Скорцени, освободитель Муссолини, любимец фюрера, герой рейха? А дергаться в петле я вправе? Время, всегда надо думать о времени, выигрыш времени равнозначен выигрышу сражения – аксиома. В воздухе носится то, о чем говорил фюрер: союзники передерутся, Трумэн никогда не уживется со Сталиным. Кто тогда будет нужен Трумэну, чтобы спасти Европу от большевизма? Мы, солдаты рейха, мы – больше эта задача никому не по зубам. Поверить этому седому? В конечном счете я могу согласиться на сотрудничество, если действительно пойму, что меня выдают русским, но я скажу об этом братьям по СС, и они задним числом санкциониру-

ют этот поступок, ибо и в логове янки я стану работать на нас, на будущее немцев».

Поняв, что он нашел оправдание себе, ощутив какое-то расслабленное успокоение и одновременно брезгливость к себе, Скорцени ответил:

– Я никогда ни с кем не пойду ни на какое сотрудничество.

– Хм... Что ж, пеняйте на себя... Но ответили вы как солдат. Едем.

– Куда? – спросил Скорцени, ощутив, как внутри у него все захолодело; голос, однако, его не выдал – был по-прежнему спокоен.

– Я приглашаю вас на ужин. Пусть ваш последний ужин в жизни пройдет лицом к лицу с вашим врагом.

Он привез Скорцени на вокзал, забитый американскими солдатами – шумно, весело, угарно; тут же, конечно, никакой записи быть не может (ее действительно не было); в офицерском буфете было, однако, пусто; полковник заказал по стэйку[1], пива и московской водки, пояснив, что русские союзники в Берлине отдали большую партию чуть не за полцены, не знают бизнеса – именно сейчас, на гребне братства, надо было б продавать втридорога.

После первой рюмки полковник жадно набросился на мясо, но его манера не была Скорцени отвратительна, потому что он видел в этом характер человека: кто быстро и сильно ест, тот умеет принимать решения, а это дано далеко не многим.

– Знаете, я довольно давно изучаю прессу и радиопрограммы Геббельса, – расправившись со стэйком, продолжил полковник, отхлебнув сухого, беспенного, какого-то вялого американского пива. – И чем дольше я изучал Геббельса, тем яснее мне становилось, что он таил в себе постоянное, глубоко затаенное зерно ужаса перед фюрером... Видимо, поэтому он так безудержно лгал, извращал факты, переворачивал явления с ног на голову, чтобы доказать любой – самый вздорный – постулат Гитлера... Я поднял его досье... Вы знаете историю доктора Геббельса?

– Меня интересовало будущее, полковник... Когда воюешь, постоянно думаешь о будущем, то есть о жизни... В историю обрушиваются только после побед...

– И поражений. Причем я затрудняюсь сказать, после чего нации охотнее всего растворяются в истории, может быть, даже после поражений... Так вот Геббельс. В принципе Гитлер как фюрер государства должен был судить его за каждодневную дезинформацию, ибо хромой уверял народ в неминуемой победе даже тогда, когда кончился Сталинград. И народ верил ему – врать он умел талантливо, он по призванию не пропагандист, а драматический актер, он верил своей лжи, он бы Отелло мог сыграть, право... Я посещал его публичные выступления, знаю, что говорю... Я видел напор, атаку, взлет, но каждый раз во время его речей – а я садился в ложу прессы, близко от него, – я порой замечал в его пронзительно-черных, круглых глазах ужас. Да, да, ужас... Он вспыхивал и моментально исчезал... Но он вспыхивал, Скорцени... Просмотрев в Нюрнберге до-

[1] Стэйк *(англ.)* – кусок жареного мяса.

сье, которое мы на него собрали, я порадовался своей наблюдательности... Нет, я не хвастаюсь, это в общем-то не в характере американца, мы прагматики, а хвастовство слишком женственно, это угодно порабощенным народам, лишенным права на свободу поступка... Вам известно, что наиболее талантливым оратором, громившим Гитлера в середине двадцатых годов, был именно Геббельс?

– Этого не может быть, – отрезал Скорцени, сделав маленький глоток пива. – Не противополагайте его пропаганде – свою, это недостойно победителей.

– Изложение фактов – пропаганда?

– Вы пока еще не назвали ни одного факта.

– Назову... Имя Штрассера вам, конечно, знакомо?

– Вы имеете в виду изменника или эмигранта?

– Изменником вы называете истинного создателя вашей национал-социалистской рабочей партии Грегора Штрассера?

– Истинным создателем партии был, есть и останется фюрер.

– А вот это как раз пропаганда. Я дам вам архивы, почитаете... Архивы, Скорцени, страшнее динамита... Именно поэтому – и я понял, что вы догадались об этом, – мы приехали сюда, на вокзал, из-под записи, чтобы ничего не попало в архив: я дорожу вами, потому что вы уже Скорцени... А когда Гитлер начинал, он был Шикльгрубером, вот в чем беда... И состоял на контакте у капитана Эрнста Рэма – в качестве оплачиваемого осведомителя... Не надо, не дышите шумно ноздрями, я же сказал – вы познакомитесь с архивами... Я нарочито огрубляю проблему, называя фюрера осведомителем политического отдела седьмого, баварского то бишь, округа рейхсвера. Скорее Шикльгрубер был неким агентом влияния, он работал в маленьких партиях, освещая их Рэму, который руководил всеми его действиями... Вы не слыхали об этом, конечно?

– Я слыхал... Это ваша пропаганда...

– Если прочитаете документы – измените свою точку зрения или останетесь на своей позиции?

– Если документы истинны, если я смогу убедиться – с помощью экспертиз, – что это не ваша фальшивка, я соглашусь с правдой, но во имя будущих поколений немцев я никогда – публично – не отступлюсь от того, чему служил.

– То есть, вы покроете проходимца только потому, что вы ему служили?

– Не я. Нация. Нельзя делать из немцев стадо баранов, даже если фюрер и был, как вы утверждаете, на связи у изменника Рэма.

– Факты измены Рэма вам известны? Или предательство Штрассера? Не надо, Скорцени, не прячьтесь от себя... Я продолжу про Геббельса, иначе мы с вами заберемся в дебри, а я вывез вас с санкции охраны на два часа – фактор времени, ничего не попишешь. Так вот, после ареста Гитлера, когда он сидел в ландсбергском «санатории» – так называли тюрьму, где он отбывал год после мюнхенского путча двадцать третьего года, – братья Штрассеры обосновались в Руре и начали битву за рабочий класс, партия-то была «рабочая» как-никак... И, между прочим, преуспели на севере Германии. Но более всего им там мешал блестящий оратор, пред-

ставлявший интересы «Дойче фолькспартай» – доктор Йозеф Геббельс. Он поносил нацистов и Гитлера с такой яростью, он произносил такие страстные речи против вашей идеи, что Штрассер пошел ва-банк: узнав, что Геббельс нищенствует, живет на подаяния друзей, он предложил ему пост главного редактора газеты национал-социалистов с окладом двести марок. И Геббельс принял это предложение. Более того, он стал личным секретарем Грегора Штрассера. Об этом вам известно?

– Я не верил.

– Но слыхали об этом?

– Да.

– И о том, что Гиммлер был личным секретарем «эмигранта» Отто Штрассера, тоже слыхали?

– Я знаю, что Гиммлер руководил ликвидацией изменника Грегора Штрассера и санкционировал охоту за эмигрантом Отто. Про другое – не знаю.

– Не знаете, – задумчиво повторил полковник. – Еще водки?

– Нет, благодарю.

– Пива?

– Если можно, кофе.

– Конечно, можно, отчего же нельзя...

Полковник попросил принести кофе, достал алюминиевую трубочку, в которой был упакован кубинский «умпан», раскурил толстую сигару и вздохнул:

– По профессии я адвокат, Скорцени. Моя проблематика в юриспруденции любопытна: защита наших нефтяных интересов в Латинской Америке. Я провожу с вами эту беседу потому, что меня интересует ваша концепция национализма... Что это за феномен? Однозначен ли он? В Латинской Америке вот-вот произойдет взрыв национальных чувствований, а мы к этому, увы, не готовы. Вот я и решил проработать эту проблему с вами – австриец, отдавший свою жизнь немцам.

– Я не знаю, что такое «австриец», – сразу же ответил Скорцени, – такой нации не существует. Есть диалект немецкого языка, австрийский, а точнее говоря – венский. С этим смешно спорить, а нации не существует, это чепуха.

– Хм... Ладно, бог с вами, – усмехнулся полковник. – Давайте я, наконец, закончу с Геббельсом... Вам известно, что именно он предложил исключить из партии Гитлера? В двадцать пятом году? И его поддержали, помимо братьев Штрассеров, гауляйтеры Эрик Кох, Лозе, Кауфман?

– Дайте архивы, – повторил Скорцени. – Я не могу верить вам на слово, это опрокидывает мою жизненную позицию...

– Дам... Но я это все к тому, что Геббельс – при том, что умел великолепно говорить речи, – все же был дерьмовым пропагандистом и большим трусом. Как и Геринг, Гиммлер, Лей, да и вся эта камарилья. Каждый из них понимал, что животный антисемитизм Гитлера, как и его постоянные угрозы капиталу, раздуваемые, кстати, Геббельсом, не позволят Западу серьезно разговаривать с ним. Если бы Геббельс не был замаран грехами молодости по отноше-

нию к Гитлеру, у него бы хватило смелости скорректировать политическую линию фюрера, и единый фронт против большевизма был бы выстроен в тридцатых годах... Он, фюрер, держал подле себя замаранных, Скорцени, он их тасовал, как замусоленные карты... Так вот, единый фронт – если всерьез думать о будущем – придется налаживать вам... Вам и вашим единомышленникам – не тупым партийным функционерам, чья безмозглость и безынициативность меня прямо-таки ошарашивают, не палачам гестапо – но состоявшимся немцам... Не думайте, что у нас многие поймут мой с вами разговор: беседа с нацистским преступником Скорцени в Вашингтоне многим не по вкусу... Я рискую, разговаривая с вами, Скорцени, я поступаю против правил, против наших правил, потому-то я и не хотел, чтобы наш разговор писали... Его бы потом слушали марксистские еврейчики, которых привел в ОСС президент Рузвельт... Или русские, вроде Ильи Толстого, – его тоже пустили в нашу разведку... Да его ли одного?! Словом, готовы ли вы сотрудничать со мной и моими единомышленниками? Если да, то я смогу уже сейчас освободить ваших доверенных людей, не столь заметных, как вы... Ваш черед наступит позже... Если нет – я умываю руки.

– Шульце-Коссенс у вас?

– Да.

– Сможете освободить его?

– Постараюсь.

– Ригельта?

– Этот болтун? Ваш адъютант?

– Он не болтун. Он знает свое дело.

– Вам не кажется, что он трусоват?

– Нет. Он играл эту роль – с моей санкции.

– Хорошо... Я попробую освободить его.

– Я назову еще двух-трех людей, которые будут полезны нашему делу, если они окажутся на свободе.

– Но не больше. И пусть принимают мои условия, подготовьте их к этому. Офицерские сантименты оставьте для будущих книг, сейчас надо думать о деле, земля горит под ногами, Скорцени... А Кальтенбруннера с Герингом вы все равно не спасете. Как не стали бы спасать Геббельса – по прочтении архивов, которые я вам передам завтра. Балласт есть балласт: все, что мешает дороге вверх, должно быть отброшено, не терзайтесь муками совести...

Той же ночью Скорцени перевели в камеру Кальтенбруннера. Быть провокатором он не собирался, считая, что лучше покончить с собой; его, впрочем, об этом полковник и не просил; наоборот, посоветовал: «Будьте самим собой. Меня интересует всего-навсего психологический портрет Кальтенбруннера. Говорите с ним о чем хотите... Вы же единственный, с кем он будет чувствовать себя раскованно, поймите ситуацию правильно».

...Ничего этого, естественно, Ригельт не знал.

Но он помнил, что после того как он дал подписку о работе на американскую секретную службу и получил свободу, возможность выехать в Португалию, службу в местном филиале ИТТ, его ни разу ни о чем не просили: резерв есть резерв, ожидание своего часа.

Его удивил сегодняшний неожиданный, лихорадочно-торопливый визит связника; назвал пароль от Скорцени, известный только им двоим; говорил по-немецки с варварским испанским акцентом; передал приказ: сесть в самолет, следующий рейсом Лиссабон – Дакар – Рио-де-Жанейро – Буэнос-Айрес; положил на стол билет, поручил встретить там человека: «Вот его фото; он здесь, правда, в форме, постарайтесь его запомнить, возможно, он изменил внешность». – «Погодите, но ведь это Штирлиц!» – «Тем лучше, это прекрасно, что вы знакомы, едем в аэропорт, время, цейтнот!»

Задание показалось ему таким незначительным, несколько даже унизительным, что первый час, проведенный в разговоре с «Брауном», он чувствовал себя не самым лучшим образом, слишком много и беспричинно смеялся, захлебываясь, пил виски, рассказывал отвратительные в своей грубости солдатские анекдоты, пока, наконец, не обвыкся с ситуацией и начал думать, как выполнить приказ, отданный фюрером «Шпинне».

Фюрер «Шпинне» еще находился в американской тюрьме – работал; только-только кончился Нюрнберг, там Скорцени встречался с Герингом; новые руководители продолжали готовить достойную мотивацию для его освобождения – слишком одиозен, будет много шума, если отпустить без достаточных на то оснований.

Все связи Скорцени контролировали люди Макайра.

Финансировали связников люди полковника Бэна. ИТТ.

Гелен, зная все, наблюдал, инфильтруя в цепь американцев своих людей; работал крайне осторожно, понимал всю сложность сцепленностей, которые были завязаны в «Шпинне».

Тем не менее приказ Ригельту смог отдать он, через те свои контакты, которые ткали свою паутину, никак не замахиваясь на низовое руководство подпольем, которое наивно считало, что идет подготовка к схватке с американскими финансистами и московским интернационалом, а на самом-то деле работало – с той памятной ночи на Висбаденском вокзале – на секретную службу противника.

Впрочем, и в Вашингтоне руководству об этом не было известно – шокинг, грязь, потеря идеалов.

Только Аллен Даллес держал тонкие, мягкие пальцы на пульсе всего предприятия – идея-то чья? Его, конечно, кого же еще?!

Именно ему было необходимо, чтобы Штирлиц был под контролем; именно ему было нужно, чтобы немцы из «Шпинне» контактировали с ним; именно ему было необходимо и то, чтобы потом – подконтрольным – Штирлиц вновь встретился с Роумэном, а уж после этого вышел на контакт с русскими, – цепь замкнется, текст драмы будет окончен, останется лишь перенести его на сцену; такое зрелище угодно тем, кто думает о будущем мира так же, как он.

Гаузнер отрицательно покачал головой:

– Я сострадаю вам – так выражались в старину, – но устная договоренность меня не сможет удовлетворить, Роумэн.

– Догадываюсь. Давайте я подпишу вашу бумагу.

Гаузнер снова покачал головой:

– Нет, я не ношу с собой никаких бумаг, это не по правилам. Ключ к коду напишите на отдельной страничке и сами сочините нужную мне бумагу.

– Диктуйте, господин Гаузнер. Я дам код и напишу все, что вы продиктуете, только сначала я хочу слышать голос Кристы. Мы с вами несколько заговорились, прошло тридцать две минуты, жива ли она?

– У вас плохие часы, Роумэн. Именно сейчас настало время звонка. – И Гаузнер достал из кармана большие часы самой дорогой фирмы – «Ланжин».

«Кажется, «Филипп Патек» ценится выше, – подумал Роумэн, – но у Гаузнера золотые, ими драться можно, боже, о чем я? Наверное, шок, меня всего внутри молотит, даже игра в предательство страшна, не только само предательство».

Гаузнер набрал номер, закрыв аппарат спиной, чтобы Роумэн не мог запомнить цифры, долго ждал ответа; Роумэн хрустнул пальцами: волнуется американец. «Смотри, как я волнуюсь, – подумал Роумэн, – я еще раз хрустну, я заработал ревматизм в ваших мокрых карцерах, суставы щелкают, как кастаньеты. Ты возьмешь это, Гаузнер, у тебя спина офицерская, с хлыстиком, ты весь понятен со спины, радуйся, слушая, как я волнуюсь, ликуй, Гаузнер...»

– Алло, добрый вечер, можно попросить к аппарату сеньориту?.. Добрый вечер, сеньорита, – он говорил на чудовищном испанском, имен не произносил, конспирировал, – я передаю трубку моему другу.

Зажав мембрану ладонью («Этой же ладонью он гладит по голове свою дочь, – подумал Роумэн, – какой ужас, весь мир соткан из нравственных несовместимостей»), Гаузнер шепнул:

– Никаких имен и адресов. Пенять в случае чего вам придется на себя.

Роумэн кивнул, взял трубку, прокашлялся:

– Здравствуй, веснушка... Алло... Ты меня слышишь?

– Да.

– Ты не рада моему звонку?

– Почему же... Рада...

– Хочешь приехать сюда?

– Очень.

– Чáпай. Жду тебя.

– Ты уже сделал все, что надо было?

– Почти. Остальное доделаем вместе. Здесь, у меня.

– Хорошо, еду.

– У тебя плохой голос.

– Я очень устала.
– Но ты в порядке?
– Да.
– Очень голодна?
– Очень.
– У меня есть сыр... И больше ничего. Заезжай по дороге в «Чиколете», возьми что-нибудь на ужин, хамона[1], масла, булок, скажи Наталио, чтобы записал на мой счет, ладно?
– А вино у тебя есть?
– С этим – в порядке. Нет минеральной воды.
– Обойдемся.
– У тебя плохой голос, конопушка.
– Когда я увижу тебя, он изменится. Еду.

Роумэн положил трубку на рычаг, посидел мгновение в задумчивости, потом, снова хрустнув пальцами, обернулся к Гаузнеру («Нацисты сентиментальны, – говорил Брехт, – даже палачи там весьма чувствительны; манеру поведения они склонны считать характером человека, пользуйся этим, я советую, как режиссер, актер и драматург«).

– Я напишу все, что вы требуете, – сказал Роумэн, – когда увижу ее здесь. У нее очень плохой голос. Как и вы мне, я вам не верю. Согласитесь – у меня есть к тому основания.

Гаузнер кивнул:

– С этим – соглашаюсь. Пока будем ждать даму, проговорите мне текст документа, который вы намерены подписать.

– Я же сказал – диктуйте. Я подпишу все, что вы захотите.

– Вы подпишете все, что я захочу, для того чтобы сегодняшней ночью, получив любимую, отправиться в посольство и передать в Вашингтон содержание нашего разговора? И попросить срочно заменить код?

– Я отдаю себе отчет в том, что Криста будет постоянно находиться под прицелом, тем более если, как вы говорите, у вас есть ключ к действующему ныне коду.

– Да, но у вас есть возможность взять два билета и отправиться с нею в Вашингтон.

– Это довод. Но я выдвигаю контрдовод: если вы, раздавленный наци, паршивый немец...

– Но, но, но!

– Не перебивайте, господин Гаузнер, комплимент порой начинается с грубости, это самый сладкий комплимент, поверьте... Так вот, если вы, паршивый гитлеровец, раздавленный немец, смогли оказаться здесь, в Мадриде, миновав все пограничные барьеры, то, значит, и в Штатах ваша организация располагает весьма крепкой сетью... Разве я стану рисковать женщиной, которую – вы правы, увы, – люблю?

– Вы намерены жениться на ней?

– Это зависит от того, каким образом вы станете передавать мне гонорар за работу. Оплата будет сдельной или ежемесячной? В какой валюте? В каком банке?

[1] Хамон *(исп.)* – сухая ветчина.

Гаузнер не смог скрыть изумления:

– Какой гонорар?! Мы возвращаем вам женщину, Роумэн!

– Любая разведка оплачивает риск, господин Гаузнер. Отныне я стану рисковать жизнью. А моя жизнь кое-чего стоит. Вы отбираете у меня честь, компенсируйте ее отсутствие роскошью.

– Вас тогда немедленно разоблачат. Ваше финансовое ведомство тщательно следит за тем, кто живет по средствам, а кто скрывает доходы.

– Это уж моя забота, как я стану обходиться с федеральным ведомством по налогам, господин Гаузнер.

– Какой гонорар вы бы хотели получать?

– Не менее пяти тысяч швейцарских франков должны быть депонированы ежемесячно на счет моей жены в любом цюрихском банке...

– Я передам ваши условия, мистер Роумэн.

«Он клюнул, – понял Роумэн. – Он назвал мистером впервые за весь разговор. Только сейчас я взял инициативу на себя, и это случилось, когда я упомянул о деньгах. Хорошо, что я не заговорил об этом раньше. Я опускаюсь по ступенькам вниз, это понятно ему, мы ж, прагматичные американцы, за деньги готовы на все, за золото продадим родину, не моргнув глазом, развращены финансовым капиталом – куда как понятно и ребенку... Что ж, они научат нас работать их методами – на их же голову; с волками жить, не с кем-нибудь...»

– Очень хорошо. Когда я могу ждать ответа?

– Скоро. Так же скоро, как я догнал вас здесь. А теперь давайте фантазировать текст. Он должен быть готов вечерне до приезда вашей подруги...

– Диктуйте, господин Гаузнер. Я сжег мосты. Диктуйте.

– Нет, я ничего вам не стану диктовать. Вы достаточно умный человек и вполне подготовленный профессионал, чтобы подсказывать вам то, что надо сказать.

– Наш разговор записывается?

– Конечно.

– По-моему, у вас достаточно материала, чтобы в случае нужды убедить мое руководство в том, что я раздавлен вами и на вербовку пошел добровольно.

– «Раздавлен». Вы подметили очень точно структуру нашего сегодняшнего собеседования, мистер Роумэн... Именно это меня никак не устраивает... Я хочу, чтобы вы фантазировали как мой союзник... Причем союзник, датированный не сегодняшним днем, такого рода альянс недорого стоит... Нет, вам придется напрячь память и вспомнить имена своих следователей в нашей тюрьме... Вам придется написать обращение к мертвецам... Человеческое обращение... В котором был бы слышен вопль замученного узника, который потерял себя после страшных допросов гестапо... Вы должны будете предложить свои услуги не мне, а им, Роумэн, им, в сорок третьем еще году... Вы должны будете, пока ваша подруга станет хлопотать на кухне, готовя для вас праздничный ужин, написать два рапорта о поведении ваших соседей по камере... Причем это я легко проверю,

данные я вожу с собой, здесь, – он постучал себя по голове, – это надежнее бумаги, это – мое.

«Будет моим, – подумал Роумэн, – погоди, придет время, скотина».

– Этого я писать не стану, господин Гаузнер. У вас не хватит денег, чтобы оплатить унижение такого рода.

– Повторяю, мистер Роумэн, я вам глубоко сострадаю, но не вижу иного выхода. Карты на столе, темнить нет смысла: мне нужны гарантии; иных, кроме тех, о которых я упомянул только что, я не вижу. Встаньте на мое место, вы поймете меня.

Роумэн покачал головой:

– Нет, господин Гаузнер, я никогда не смогу понять этой логики. Зачем делать из агента заведомого врага? Я никогда не смогу простить вам такого унижения, к которому вы меня подталкиваете. Я бы на вашем месте не верил ни одному донесению агента, принужденного к сотрудничеству таким образом.

Гаузнер мелко засмеялся:

– Роумэн, откуда вы знаете: а может быть, мне и не нужны ваши будущие донесения? Может быть, моя цель заключается в том, чтобы дезавуировать то, что вами было передано в Вашингтон?

– Не вижу логики.

– Было бы плохо, имей вы возможность понимать мою логику. Итак, я жду...

Роумэн пожал плечами, закурил и, вздохнув, достал из кармана ручку.

– С вашего позволения, я пофантазирую на бумаге.

– Нет, вслух. Сначала вслух.

– Для записи?

– Да.

Роумэн поднялся, прошелся по холлу, ожидая запрещающего окрика Гаузнера; тот, однако, молчал; остановившись возле радиоприемника, он закурил, задумчиво ткнул пальцем в клавишу, на счастье поймался Мадрид. «Пусть моей фантазии сопутствует испанская песня, – подумал Роумэн, – недорого стоит такая фантазия...» Тяжело затянувшись, он забросил руки за спину и начал неторопливо диктовать:

– Господин Цимссен, надеясь на вашу доброту, я готов дать чистосердечные показания на тех, к кому я был заброшен Отделом стратегических служб Соединенных Штатов. Хочу сказать, что в случае, если ко мне не прекратят применять допрос с устрашением, я сойду с ума и никакой пользы в будущем не смогу вам оказать. Пол Роумэн.

– То, что надо, – сказал Гаузнер. – В десятку.

Обернувшись к кухне, он спросил:

– Как запись, мальчики?

Один из квадратных («Видимо, тот, что заходил сюда, – подумал Роумэн, – лица второго я не рассмотрел, он топал за Гаузнером, ни разу не обернувшись, неужели я встречал его где-то?») ответил:

– Отменно.

– Спасибо. А теперь, Роумэн, выключите, пожалуйста, радио.

сядьте на место и повторите ваш текст еще раз – с испанским аккомпанементом это будет слушаться довольно нелепо, хотя голосом вы умеете владеть как хороший актер. И ходить не надо, в тюрьмах нет паркета, там цементные полы, как помните.

Роумэн остановился, словно взнузданный:

– Вы полагали, что я сам не выключу радио?! Вы же просили меня фантазировать! Я фантазировал. Вас устроило? Пишем.

Он выключил приемник, сел на табурет возле бара, снова тяжело затянулся, приготовился говорить, но потом оборвал себя:

– Нет, пожалуй, я все-таки продиктую это, когда моя подруга станет сервировать ужин на кухне.

– Там все слышно, Роумэн. Вы готовы пойти даже на то, чтобы она обо всем узнала?

– Видимо, вы и так ее посвятили во все.

– Ни в коем случае. Вам будет трудно с женщиной, которая видела ваше унижение.

– Хм... Разумно... Отведите ее на балкон... Как вы не верите мне, так и я не верю вам...

Гаузнер вздохнул:

– Ее не приведут сюда, пока я не получу то, что должен получить. Это условие.

– Что ж, уходите, Гаузнер. Но вы не сможете уничтожить запись нашего разговора. Я согласился на все. Я готов на все. Но я ставлю одно непременное условие: Криста должна быть здесь. Мужчина и женщина, безоружные, – против трех вооруженных специалистов. Риска для вас нет никакого. Так что сейчас вы, господин Гаузнер, просто-напросто мстите за унижение, которое испытали давеча в Мюнхене, раскрыв мне все, что могли. Ваше руководство не простит вам потери такого агента, как я. Все. Вон отсюда, Гаузнер, вы мне отвратительны!

– Мальчики, – крикнул на кухню Гаузнер, побледнев еще больше. – Как запись?

– Запись идет нормально.

– Ну и прекрасно. Сотрите пассаж джентльмена, пожалуйста. Он мешает операции.

– Мальчики, – крикнул Роумэн, – как резидент американской разведки в Испании, я не советовал бы вам делать этого. У Гаузнера есть руководитель – он обязан знать все и слышать каждую нашу фразу. Да и потом, я не стану работать с Гаузнером в дальнейшем. Он омерзителен мне. Я сам выберу человека, с которым смогу сотрудничать без содрогания, господин Верен[1]... Да, да, мальчики, я обращаюсь именно к немецкому генералу Верену, имя которого мне открыл Гаузнер... Так что поверьте: вы испортите выигрышную для вас партию... Старый полуимпотент клюнул на вашу наживку: да, я люблю Кристину, да, я готов ради нее на все, но всегда есть предел, который человек – даже предатель – преступить не в силах...

И в это время в прихожей зазвенел звонок.

Роумэн сорвался с места.

[1] «Господин Верен» – один из псевдонимов генерала Гелена.

– Сидеть! – тихо сказал Гаузнер. – Сидеть, мистер Роумэн. Сидеть, пока я не позволю вам встать...

Роумэн обмяк в кресле, впервые за всю жизнь ощутив живот, раньше он никогда его не чувствовал – доска какая-то, а сейчас он сделался мягким и по-старчески сдвинулся вниз.

Он услышал мягкие шаги, какой-то тихий вопрос, потом дверь отворилась и воцарилась долгая тишина, только в висках гулко стучало и сердце ухало вверх и вниз, подолгу застревая в горле, а после он услышал голос:

– Пол.

Это был ее голос, усталый, какой-то пустой, очень тихий.

– Крис.

– Это я, Пол.

– Иди сюда.

– Иду.

«Она чуть косолапит, – подумал Роумэн, – это так прекрасно: так ходят маленькие, загребая под себя, когда только учатся держаться на ножках».

Криста вошла в комнату и остановилась возле косяка. За спиной стоял высокий черноволосый человек, разглядывавший Роумэна со скорбным, нескрываемым интересом; Роумэн видел его только одно мгновение, он сразу погрузился в прекрасные, сухие, тревожные, любящие глаза Кристы. Она сдерживалась, стараясь не разрыдаться, губы ее постоянно двигались, словно она хотела сказать что-то, но не могла, будто лишилась дара речи.

– Иди сюда, человечек, – сказал Роумэн, – иди, маленький...

Криста ткнулась ему лицом в грудь; руки ее как-то медленно, словно ей стоило огромного труда поднять их, скрестились у него на шее; ему показалось, что они вот-вот разожмутся и упадут бессильно.

– Все хорошо, конопушка, – сказал он, – все прекрасно... Тебя никто не обидел?

Она покачала головой; тело ее дрогнуло, но так было одно лишь мгновение; Роумэн почувствовал, как напряглась ее спина. «Сейчас она поднимет голову, – подумал он, – и посмотрит мне в глаза».

Кристина, однако, головы не подняла, откашлялась и сказала:

– Я... Мы привезли хамона, как ты просил... И две булки... И еще кесо[1]... Самый сухой, какой ты любишь. И еще я попросила у Наталио десяток яиц, чтобы сделать тебе тартилью.

– Иди, приготовь все это, – сказал он. – Я освобожусь минут через двадцать. Даже раньше. И они уйдут.

Криста прижалась к нему еще теснее и покачала головой. По спине ее еще раз пробежала дрожь.

– Ну-ка, выйдите отсюда, Гаузнер, – сказал Роумэн.

– Я погожу отсюда выходить. Мне приятно наблюдать. Вы действительно очень подходите друг другу.

Роумэн почувствовал, как тело женщины стало обмякать. Он прижал ее к себе, шепнув что-то ласковое, несуразное.

---

[1] Кесо *(исп.)* – сыр.

– Выйдите, повторяю я, – еще тише сказал Роумэн. – Неужели вы не понимаете, что вдвоем умирать не страшно?

– Страшно, – ответил Гаузнер. – Еще страшнее, чем в одиночку.

– Ну-ка, идите ко мне, Гаузнер, – тихо сказал высокий из коридора. – Вы нужны мне здесь.

Тот деревянно поднялся; лицо его враз приняло иное выражение: вместо затаенного ликования на нем теперь была написана сосредоточенная деловитость. Роумэн оглянулся – даже спина Гаузнера сейчас сделалась иной, в ней не было униженности, подчеркнутой спортивным хлястиком («Что я привязался к этому хлястику, бред какой-то!»), наоборот, она была развернутой, офицерской, только лопатки очень худые – карточная система, маргарина дают крохи, да и те, верно, он себе не берет, хранит для дочери.

– Закройте дверь, Гаузнер, – так же тихо сказал Пепе. – Оставьте мистера Роумэна с его любимой наедине.

Роумэн взял лицо Кристы в свои руки, хотел поднять его, но она покачала головой; ладони его стали мокрыми. «Как можно так беззвучно плакать, – подумал он, – так только дети плачут; сухие волосы рассыпались по ее плечам, какие же они густые и тяжелые. Бедненькая, сколько ей пришлось перенести в жизни!»

– Все хорошо, человечек, – повторил Роумэн. – Ну-ка, посмотри на меня.

– Нет. Дай мне побыть так.

– Ты не хочешь, чтобы я видел, как ты плачешь?

– Я не плачу.

– Маленькая, нас рядом на кухне пишут на пленку, так что, пожалуйста, погляди на меня и ответь: с тобой все в порядке?

Она подняла на него глаза, и в них было столько страдания и надежды, что у Роумэна снова перехватило горло.

– Ты все знаешь про меня? – спросила она.

– Да.

– Ты знаешь, что я работала на них?

– Да.

– И ты знаешь, как я работала на них?

– Знаю.

– И ты не хочешь прогнать меня?

– Я хочу, чтобы ты всегда была со мной.

– Ты будешь жалеть об этом.

– Я не буду жалеть об этом.

– Будешь.

Он поцеловал ее в лоб, в кончик носа, легко коснулся пересохшими губами мокрых щек, прикоснулся к ее губам, таким же пересохшим и потрескавшимся, легонько отстранил ее от себя, но она прижалась к нему еще теснее:

– Можно еще минуточку?

– Можно.

– Ты как аккумуляторчик – я заряжаюсь подле тебя.

– А я – от тебя.

– Я никогда и никого не любила.

– Ты любишь меня.

– Нет, – сказала она чуть громче, и он удивился тому, как громко она это сказала. – Просто мне с тобой надежно. Не сердись, это правда, и теперь ты можешь сказать, чтобы я убиралась отсюда вон.

– Зачем ты так?

– Я не могу тебе врать. Вот и все.

– Мне – нет. Себе – да, – сказал он и снова отодвинул ее от себя, но она, покачав головой, еще теснее прижалась к нему.

– Еще капельку. Ладно?

– Нет. Время, – сказал он. – Я люблю тебя.

– Ты... Не надо... Тебе просто... Я оказалась для тебя подходящей партнершей в посте...

Он ударил ее по щеке, оторвал от себя, вывел на балкон, сказал, чтобы она не смела входить в комнату, и отправился на кухню. Гаузнер, двое квадратных и тот, что привез Кристу, стояли возле диктофона.

– Как вас зовут? – обратился Роумэн к высокому, что привез Кристу.

– У меня много имен, мистер Роумэн. Сейчас я выступаю под именем Пепе. Я к вашим услугам.

– Если вы к моим услугам, то передайте вашему паршивому генералу, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану работать с Гаузнером.

– И не надо, – вздохнул Пепе. – Работа – это всегда добровольно, мистер Роумэн. В разведке ничего нельзя добиться принуждением. У меня к вам только один вопрос. Можно? В знак благодарности за то, что я вернул вам Кристу, можно просить вас, чтобы вы не раскручивали то, что в Мюнхене вам открыл господин Гаузнер, проявив понятную слабость?

– Вряд ли. Так что кончайте всю эту историю, кричать я не стану.

– Вы делаете глупость.

– Скорее всего.

– Напрасно, мистер Роумэн. Я не из этой команды. Я работаю на тех, кто хорошо оплачивает мой труд. Я с симпатией отношусь к вашей подруге, она любит вас, мистер Роумэн. Она вас очень любит. Не глупите.

– Переквалифицируйтесь в священника, – сказал Роумэн. – Я сказал то, что хотел сказать. Кончайте эту хреновину, мне все надоело.

– Я слишком много грешил. И грешу. Так что в священники меня не возьмут, папа не утвердит, он очень блюдет кодекс нравственности. А что касается хреновины... Э, – он обернулся к квадратным, – отнесите эту аппарату в машину, что стоит у подъезда. И сразу отваливайте вместе с ними, они знают, куда ехать.

– Нет, – сказал Гаузнер. – Ждите, пока я спущусь. Если у тех людей, которые сидят в авто, возникнут какие-то замечания по записи беседы, поднимитесь и скажите мне.

– Можно и так, – согласился Пепе. – Топайте отсюда. И спросите, что делать с грузом... Как его отсюда вывозить...

– Вы что – сошли с ума? – Гаузнер резко обернулся к Пепе. – Вы не...

– Шат ап[1]! – сказал тот. – Делайте, что я вам сказал, парни. Теперь вы в моем подчинении, вас предупреждали?

Квадратные, взяв диктофон, молча ушли, не взглянув на Гаузнера.

Пепе дождался, когда дверь за ними закрылась – щелчок был сух и слышим, – достал из заднего кармана брюк пистолет, взвел курок, деловито навернул глушитель и, не говоря ни слова, выпустил три патрона – один за другим, не целясь, в Гаузнера.

– Мне очень понравилась ваша подруга, – пояснил Пепе Роумэну, не обращая внимания на то, как Гаузнер катался по полу, зажимая сухими ладонями крошечные черные дырки на животе. – И потом это, – он кивнул на затихавшего Гаузнера, – не моя инициатива, это было обусловлено заранее. Я должен был спросить, сделано ли дело, и, если он ответит, что сделано, мне предписали убрать беднягу. Он ответил, что сделано. Теперь от вас зависит дальнейшее развитие событий: либо вы платите мне больше, чем они уплатили, и мы занимаем круговую оборону, пока не приедут ваши люди из посольства, – полицию втягивать нельзя, сами понимаете, – он снова кивнул на вытянувшегося на кафельном полу Гаузнера, – либо вы пишете обязательство работать на них, датированное сорок третьим годом и подтвержденное сорок шестым, я забираю эти бумажонки и желаю вам прийти в себя после пережитого... Только не верьте ей, когда она говорила, что не любит вас, мистер Роумэн. Она вас очень любит, я в этом убедился, когда они беседовали с ней.

– О чем? – спросил Роумэн, не отрывая глаз от Гаузнера («Его дочка слишком хорошенькая, чтобы выжить, – подумал он. – И он ее оберегал от мира; она тепличное растение, пойдет по рукам, наши ребята в Мюнхене ее не упустят, аппетитна». И поразился тому, что в его мозгу сейчас смогло родиться слово «аппетитна»: «Какой ужас, а?!»).

– О вас.

– Что они от нее хотели?

– Она отказала им.

– Что они хотели от нее?

– Они пытались высчитать вас – через нее. Она им лгала. Она сказала, что не любит вас, мол, хороший партнер в постели – и все. А они ей сказали, что она врет, потому что у вас не очень хорошо по этой части. И пообещали пристрелить вас, если она будет врать... Ну, обычная работа: вас берут на ней, ее – на вас. Она врала им, мистер Роумэн. Она понимала, что им нельзя говорить про свою любовь: мы ведь умеем считать, у миллионеров воруем только самых любимых детей – за них платят, сколько бы мы ни потребовали...

– У меня нет ста тысяч, Пепе.

– Плохо. Я профессионал, я получил деньги вперед, аванс, двадцать пять процентов, как и полагается. Я обязан вернуть им двадцать пять, а себе получить семьдесят пять, работа есть работа. Я отдаю девяносто процентов компаньонам, договор подписан, так что – при

[1] Шат ап! *(англ.)* – молчать!

всей моей симпатии к женщине – я не хочу подставлять свою голову, у меня тоже семья.

– Хорошо. Я сейчас напишу обязательства...

Пепе достал из кармана конверт, протянул листок бумаги – тоненький, в синюю клеточку:

– Здесь должно быть обращение к тюремным властям, датированное семнадцатым ноября сорок третьего... Вот карандаш, тоже немецкий, – он протянул ему зеленый «фабер», третий номер, очень мягкий. – А второе можете писать на чем хотите.

– Я могу найти вас, если достану сто тысяч?

– Можете. Но ваши бумаги будут у них.

– Вы дадите показания о том, как они были написаны?

– Это нарушение контракта. Я не знаю, во сколько это оценят компаньоны.

– Кто сидит в машине?

– Не знаю.

– Я помогу вам. Кемп?

– Зачем тогда спрашиваете?

– Как я смогу вас найти, Пепе?

– Повторяю, я работаю по договору, мистер Роумэн. Я вас могу найти в любую минуту. Вам меня найти очень трудно. Давайте обговорим дату, я выйду на связь.

– Хорошо. Кто уберет груз? – Роумэн посмотрел на быстро желтевшего Гаузнера.

– Люди ждут внизу. Если вы не напишете им обязательства, убирать его придется вам. Если напишете, его не будет здесь через десять минут; вы обождете на балконе, пока мы кончим упаковку, это довольно неприятное зрелище.

– Вы говорите как житель Бруклина.

– Иначе нельзя.

– Значит, вам понравилась моя подруга?

Пепе вздохнул:

– Знаете – очень. Такая девушка выпадает раз в жизни, по сумасшедшей лотерее. Она очень вас любит. Перед тем как покинуть вас, я загляну к ней на балкон, минутный разговор с глазу на глаз, ладно? Кстати, у вас нет молока? Меня с утра мучает жажда. Можно я погляжу в холодильнике?

И, не дожидаясь ответа, он повернулся к Роумэну спиной, открыв дверцу холодильника.

То, что он повернулся к Роумэну спиной, означало высшую степень доверия к хозяину квартиры.

РИКТЕР, КАВИОЛА
(Аргентина, сорок шестой)

Одним из переломных дней в жизни группенфюрера Мюллера после майской трагедии оказался тот, когда на виллу «Хенераль Бельграно» доставили американские газеты и журналы с подробным описанием взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

Он сразу же вспомнил отчеты, которые проходили через его

подразделение, о соблюдении мер секретности, сообщения агентуры о настроениях в берлинском центре урановых исследований профессора Гейзенберга, который базировался в институте физики, и во франкфуртском, который возглавлял профессор Дибнер. Поскольку люди в этих центрах постоянно писали друг на друга – какие-то пауки в банке, – было принято решение создать единое управление ядерных исследований во главе с профессором Герлахом – посредственным ученым, но крепким организатором. Он начал править довольно круто, подчиняясь профессору Озенбергу, возглавлявшему отдел планирования имперского совета по научным исследованиям; тот, в свою очередь, находился в ведении министерства образования; лишь министр имел право непосредственного выхода на Геринга, который курировал в рейхе вопросы науки.

В свое время, когда Мюллер доложил Гиммлеру (дождавшись, когда Кальтенбруннер уехал на отдых в Линц; «ах, Мюллер, мало ли что пишут друг на друга безумные физики! Неужели у вас нет дел поважнее, чем эти сплетни! Порох изобретен китайцами, пусть наши гении усовершенствуют его, этого достаточно, поверьте!»), что данные прослушивания разговоров ученых явно свидетельствуют: мир стоит на грани создания качественно нового оружия, которое в тысячи раз превосходит по своей мощи все известные ранее взрывчатые вещества.

Гиммлер отнесся к сообщению Мюллера достаточно серьезно, не менее часа изучал данные прослушивания, поинтересовался, отчего профессор Гейзенберг позволяет столь резкие выпады против режима, выслушал ответ группенфюрера, что «на месте этого достойнейшего немца я бы выражался еще более круто, повязан по рукам и ногам бюрократами из десятков ведомств, которые стоят над ним, дают указания, требуют отчетов, предписывают делать то и не делать этого, путаются под ногами, мешают».

– С какого года Гейзенберг состоит в НСДАП? – спросил Гиммлер.

– Он, как и Отто Ган, не вступил в партию.

– Почему?

– Ган совершенно малохольный, а Гейзенбергу в этом нет нужды – он предан идее великой Германии не меньше, чем мы, и это ему здорово мешало во времена Веймара: его называли «расистом, фанатиком национальной идеи»...

– Тем более, – Гиммлер пожал плечами. – Если он идейно с нами, отчего бы не вступить в НСДАП?

Мюллер усмехнулся:

– Потому что он и нас обвиняет в недостаточно твердой великогерманской линии.

Гиммлер несколько удивленно покачал головой и вновь вернулся к расшифрованным записям бесед физиков, делая быстрые пометки на полях разноцветными карандашами. Глядя на его аккуратную прическу, на скошенный, безвольный подбородок, на маленькое учительское пенсне, Мюллер с тоской думал – в который раз уже! – о том, кто руководит рейхом. Если бы рядом с фюрером по-прежнему были Рэм и Штрассер, закаленные годами борьбы за на-

циональную идею, не боявшиеся крутых поворотов и неожиданных коалиций, все могло бы идти по-другому: не было бы ни Сталинграда, ни сокрушительного разгрома под Минском, ни американского продвижения на север Италии, ни безжалостных бомбардировок Германии, которые превратили бо́льшую часть городов в руины...

Докладывая рейсхфюреру о возможности создания нового оружия, он не очень-то верил в успех начинания с «уранщиками», но, к его вящему удивлению, Гиммлер, оторвавшись от бумаг, решительно заметил:

– Это интересно, Мюллер, в высшей степени интересно. Конечно, с Рунге надо разобраться, это безобразие, если в урановое предприятие проник еврей, займитесь этим, но в принципе то, что они могут нам дать, впечатляет, я расскажу фюреру...

Однако фюреру об этом Гиммлер рассказывать не стал, потому что в тот день, когда он прилетел в ставку для очередного доклада, Гитлер за обедом, во время «тишгешпрехе», заметил:

– Главная ошибка германского командования во время прошлой войны заключалась в том, что генеральный штаб не уделял должного внимания вооружениям, росту производства техники; и в этой войне победит тот, кто будет иметь больше самолетов и танков, это азбука военной доктрины. Не урановые утопии, не болтовня по поводу новых видов оружия, а наращивание темпов выпуска того, что мы имеем, а мы имеем прекрасные «мессершмитты» и могучие «тигры».

Гиммлер понял, что его предложение о помощи «уранщикам» Гейзенберга не получит поддержки у фюрера; надо ждать того момента, когда он будет в ином настроении; тем не менее фугас п о д в е л, рассеянно предложив:

– Было бы разумно создать некий объединенный фонд военно-научных исследований СС, чтобы как-то координировать всю исследовательскую работу в сфере военной техники.

Гитлер, видимо, не очень-то его и услышал, потому что, рассеянно кивнув, начал распространяться о той кардинальной разнице, которая совершенно очевидна, если сравнивать классическую венскую школу живописи с французским импрессионистским кривляньем...

Тем не менее на слова рейхсфюрера Гитлер не ответил отказом. Помолчав, он кивнул, и это было замечено Борманом, министром почт Онезорге и группенфюрером Фегеляйном, приглашенными на обед. Значит, руки развязаны, можно действовать. Однако после того, как фонд СС был создан, Борман, внимательно следивший за тем, чтобы поддерживать постоянную свару среди ближайшего окружения фюрера, озаботился тем, чтобы фонд научных исследований СС подчинялся не Гиммлеру, но рейхсмаршалу Герингу. Так дело было обречено на медленное умирание: Гиммлер потерял к нему интерес; Геринг метался по городам рейха, занимаясь установкой новых зенитных батарей; идея об урановом чуде з а в и с л а; как раз в той стране, где Ган впервые доказал возможность создания ш т у к и, идея была потеряна из-за некомпетентности фюрера, который руководил рейхом, не имея сколько-нибудь серьезного школьного образования, не говоря уж об университетском.

В марте сорок пятого, давно поняв, что крах неминуем, Мюллер вновь запросил данные на авторов уранового проекта. Гейзенберг, Вайцзеккер и Ган были эвакуированы, группа Гартека работала где-то в окрестностях Гамбурга, Макс фон Лауэ, Дибнер и Герлах также перебрались на Запад. Мюллера заинтересовало, кто же именно отправил их туда, поближе к американцам? Чувствовалась чья-то рука; последнее известие пришло двадцать четвертого апреля, когда уже началась битва за Берлин; доверенная агентура, внедренная в близкое окружение ученых, сообщала, что якобы профессор Гартек, попав к американцам, немедленно написал письмо в Вашингтон: «Мы готовы сделать взрывное вещество, которое даст стране-обладательнице подавляющее преимущество перед другими». Мюллер тогда смачно выругался; но не Гартека он бранил, а Гитлера; несчастному профессору ничего не остается, как торговать своей головой, если его страна погублена одержимым безумцем; спасайся, кто может!

Лето сорок пятого Мюллер акклиматизировался, вживался в новую обстановку: не до физиков, он попросту забыл о них. Сначала надо залечить раны, а они у него страшнее тех, которые получаешь на поле брани, – моральное крушение значительно страшнее физического. Лишь в конце июля он свыкся с мыслью, что здесь, в горах, он действительно в полнейшей безопасности, в кругу единомышленников, преданных, как и он, великогерманской идее – любым путем восстать из пепла! Немцы еще скажут свое слово, они поднимутся к былому могуществу – только так и никак иначе!

«Это лозунг, – возразил он себе. – У меня нет реального предложения, которое бы дало дельную, а не декларативную возможность подняться. Да, я имею людей, деньги, явки, свои фирмы, но у меня еще нет той идеи, которая бы рекрутировала приверженцев из тех, кто так или иначе, но будет приведен оккупантами к административному управлению несчастной Германией. Вылезать с повторением национальной доктрины преждевременно, слишком свежа память о том, к чему привел массовый психоз: «Мы – самые великие, умные, смелые!» Вот и сидят в дерьме арийцы, да еще в каком! Да, пугать мир повторением нового Гитлера нужно и можно; пусть пройдет этот год, и я выпущу на арену тех, кто умеет нагнетать национализм, но это не есть кардинальное решение, паллиатив».

...Мюллер понял, что может дать ему реальную силу, в августовский день сорок пятого года, прочитав об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, а поняв, сразу же начал комбинировать. На это ушли долгие месяцы. Следом за тем, как комбинация оформилась в голове, словно литая формула, пришло время сбора информации; дело оказалось крайне деликатным, ибо все немецкие физики были вывезены из Германии и жили теперь в Соединенных Штатах. Лишь летом сорок шестого года он, наконец, получил кое-какую информацию о том, что происходило с учеными, когда их начали готовить к возвращению в западные зоны оккупации.

Мюллеру сообщили, что профессор Отто Ган, узнав о взрыве атомной бомбы, тяжело запил, был близок к самоубийству, навязчиво повторял коллегам, что это он виноват в трагедии, ведь именно он был первым, кто доказал возможность создания этого чудовищ-

ного оружия. Гейзенберг, забыв обо всем, интересовался только одним: как это удалось американцам? «Вы посредственность, старина, – пьяно посмеивался Ган, – вы ученый средней руки, вы никогда не были в силах предложить идею». Более всего Мюллера потрясла реакция профессора Виртца (всегда был благополучен, агентура не сообщала о нем ничего тревожного, вполне добропорядочный последователь фюрера): «Слава богу, что мы не смогли сделать бомбу, это была бы трагедия для Германии!» Гейзенберг фыркнул: «И это говорит немец!» Тем не менее Виртца в какой-то мере поддержал профессор Вайцзеккер: «Между прочим, ужасно и то, что бомбу сделали американцы, это акт безумия». – «Будет вам, – усмехнулся Гейзенберг, – никакое это не безумие, а вернейший способ выиграть войну... Если бы я получил от фюрера такие же средства, как Вернер фон Браун, мы бы имели бомбу, я в этом не сомневаюсь!»

То, что Гейзенбергу на это заметил Вайцзеккер, повергло Мюллера в ярость. «Вы ничего не смогли сделать потому, дорогой Гейзенберг, – сказал профессор, – что большая часть физиков этого не хотела – из принципиальных соображений. Если бы мы все желали победы Германии, мы бы добились успеха».

Однако основной толчок к действу дала информация о том, что американцы подвели к Гейзенбергу профессора Блекета. Великолепный ученый и организатор, давно связанный с Пентагоном, он беседовал с немецкими физиками о том, что они думают по поводу возрождения науки в Германии: «Вы же нация мыслителей; мир ждет новых открытий; думаю, если мы опубликуем в прессе историю нашей работы над бомбой, это придаст новый импульс для дальнейших исследований».

– Вы с ума сошли! – Гейзенберг всплеснул руками. – Русские никогда не согласятся на контроль в этой области! Вы не знаете их! Они пронизаны духом завоевательства, а мы еще не готовы им противостоять!

Эта фраза Гейзенберга и решила исход дела; информация – матерь поступка; Мюллер почувствовал себя помолодевшим на десять лет, пригласил Шольца и дал ему рубленое задание:

– Во-первых, наши люди должны войти в контакт с Гейзенбергом, он уже в Мюнхене. Во-вторых, беседу с ним должен провести привлеченный – из старой кайзеровской гвардии, никаких связей с национал-социализмом. В-третьих, он должен поработать с Гейзенбергом таким образом, чтобы профессор принял приглашение Аргентины, когда к нему обратятся люди Перона, и приехал сюда для работы над атомным проектом.

Шольц удивился:

– А почему люди Перона должны к нему обратиться, сеньор Рикардо?

– Дружище, – ответил Мюллер, – разве мы с вами подписывали договор о том, что вы обязуетесь быть таким же умным, как и я? Занимайтесь тем, что вам поручено, и не тревожьтесь о том, что не входит в вашу компетенцию.

Потом уже, ночью, Мюллер подумал, что зря он так ответил Шольцу. «Я пытаюсь реанимировать порядки рейха – напрасно; сле-

пое следование приказу себя не оправдало, это пеленает людей, мешает делу; я найду возможность как-то смягчить мои слова, бедный Шольц был так растерян».

Он не сделал этого не по злой воле, а потому лишь, что утром прилетел связной от сеньора Отто Бемберга. Потомок немецких эмигрантов, прибывших сюда еще в девятнадцатом веке, Отто получил от отца крупнейшие заводы и поместья; от него же наследовал страстную веру в величие немецкого национального духа; связь с этой семьей поддерживалась с тридцать третьего года, тогда это осуществляла НСДАП. С сорок четвертого года Мюллер смог внедрить в окружение Бембергов своего человека, и именно он, Карлос Маннман, сумел стать ответственным за связи с наукой; заводы Бемберга славились новейшей технологией, фирма обращалась за консультациями не только в Германию, но и в Англию и Соединенные Штаты.

На шифрованный вызов «Рикардо Блюма» Карлос Маннман откликнулся сразу же. Встреча была вполне дружеской, он подробно обрисовал ситуацию, ответил на вопросы, показавшиеся поначалу несколько странными, – о состоянии дел в физической науке; рассказал о фанатике атомных исследований докторе Энрике Кавиоле, его ближайших сотрудниках: докторе Вюршмите, Галлони, Гвидо Беке, Иснарди, Балсейро, Симоне Гиршанчике и Якобе Гольдшварце; упомянул Риктера, который, однако, работает сольно, замыкаясь лишь на полковнике Гутиересе; базируются физики в обсерватории в Кордове и в университете Ла Плата.

Мюллер поинтересовался, кто по национальности Гиршанчик.

– Аргентинец, – с некоторым недоумением ответил Маннман; лишь спустя мгновение понял, чем вызван вопрос Мюллера; чуть сконфуженно пояснил: – Вы же знаете, здесь не существует национального вопроса: если ты имеешь паспорт и дом – значит, аргентинец.

– Это прекрасно, – серьезно ответил Мюллер. – В той задумке, которая меня сейчас занимает, не исключено присутствие еще парочки таких же аргентинцев, как этот самый Гиршанчик, прекрасное прикрытие... Как вы думаете, ваш шеф согласится финансировать начало грандиозного проекта, связанного с изучением атомной проблемы?

– Если нужно – согласится.

– Прекрасно. А вы можете устроить встречу моего человека с Риктером?

– Бесспорно.

– Вполне возможно, что я тоже буду там... Риктер надежен?

– Он из нашего братства, сеньор Рикардо.

– Предают именно братья, – отрезал Мюллер.

– Он надежен.

– Замечательно! А можете вы сделать так, чтобы доктор Кавиола, который, как я понял, является фанатиком атомной идеи, написал приглашение профессору Гейзенбергу, в университет Гейдельберга?

– Этому великому физику?

Мюллер кивнул.

– Конечно, – ответил Маннман. – Но я далеко не убежден, что Гейзенберг согласится сюда приехать.

– Ну, это уж не ваша забота, дружище, – ответил Мюллер и сразу же понял, что со здешним немцем, который Гиршанчика считает аргентинцем, нельзя говорить так, как с теми, кто родился в рейхе. – Это забота старого, больного Мюллера, который доживает свои дни в изгнании. У вас и так слишком важный фронт работ, дорогой Карлос, мне неловко вас обременять лишний раз...

– Может быть, лучше это сделать профессору Беку? Он прибыл сюда осенью сорок третьего, очень помог здешним физикам, пусть он и сочинит послание.

– Погодите, погодите... Он прилетел сюда после того, как здесь к власти пришли военные, а Перон стал министром?

Карлос Маннман понимающе улыбнулся, кивнул.

– Ни в коем случае, – возразил Мюллер. – Письмо должно быть подписано именно Кавиолой... Кстати, этот Бек тоже... аргентинец?

...Через несколько дней в Гейдельберг ушло письмо от профессора Кавиолы:

«Уважаемый сеньор профессор Гейзенберг! Прибытие в Аргентину в 1943 году профессора Гвидо Бека принесло огромную помощь нашим научным изысканиям. Спасибо за то, что Вы воспитали такого замечательного ученого! Меня Вы вряд ли помните, хотя я имел счастье аплодировать Вам в Дюссельдорфе во время очередного научного конгресса в двадцать шестом году, когда Вы отметили свой четвертьвековой юбилей таким блистательным докладом, которому мог бы позавидовать любой корифей, убеленный сединами.

Я обращаюсь к Вам в связи с тем, что ныне возникла возможность пригласить в Аргентину трех наиболее выдающихся физиков и радиотехников Европы, поскольку министерство флота и университет организовали специальное училище радиокоммуникаций.

Здесь Вы получите возможность не только преподавать, но и вести исследовательскую работу на передних рубежах науки.

Я предлагаю Вам контракт сроком на пять лет при оплате Вашего труда в восемьсот долларов в месяц.

Поскольку я являюсь директором обсерватории и президентом Ассоциации аргентинских физиков, министерство флота уполномочило меня заверить, что для Вас будут созданы самые престижные условия.

При этом Вы вправе назвать имена ассистентов, которых захотите привезти с собой».

Ознакомившись с проектом письма, Риктер добавил строку:

«Заключая контракт, мы, тем не менее, не можем не оговорить заранее, что в Ваших публикациях не должны затрагиваться проблемы, которые могли бы в любой форме вызвать возражения цензуры по вопросам секретности, ибо речь идет об исследованиях, которые являют собой новую эпоху в южноамериканской науке».

Приписку эту он сделал уже после того, как встретился с сень-

ором Браньолли[1]. Сеньор «Рикардо Блюм», прилетевший вместе с ним, участия в беседе не принимал, хотя слушал очень внимательно; Риктер не мог избавиться от впечатления, что этот человек ему знаком, лицо чем-то похоже на шефа гестапо, только у этого значительно более мягкие глаза, увеличенные линзами очков, – видимо, очень большая дальнозоркость.

Во время встречи договорились о том, что, делая бомбу Перону, думают о Германии; атомное оружие в руках немцев есть не что иное, как путь к национальному возрождению.

Штирлиц (рейс Мадрид – Южная Америка, ноябрь сорок шестого)

– Почему вы не пьете? – спросил Ригельт. – Я не могу спать в самолете, если не напьюсь как следует.

– Боитесь?

– Я совершенно лишен чувства страха в небе.

– Да? Завидую. Я, говоря откровенно, побаиваюсь. Дом в облаках – с обедами, ужинами, сортиром, шотландским пледом и откидывающимся мягким креслом – вызов создателю. На вызов отвечают действием. Создатель в этом смысле не исключение. Вон, глядите, как гонит масло из второго двигателя...

Ригельт резко обернулся к иллюминатору, ухватился пальцами за ручку кресла:

– Перестаньте шутить!

– Да не шучу я. Просто отдаю вам часть своего страха, чтобы самому не было так жутко.

– Так надо же срочно сказать пилотам!

– Зачем? Не надо создавать лишней паники. Все равно, если что-то случилось, до берега мы не дотянем, как-никак три часа висим в воздухе...

«Что ж ты так побледнел, бедный, – подумал Штирлиц, – даже испарина появилась на висках; они у тебя совсем молодые, без впадинок еще; сорока тебе нет, лет тридцать семь; казалось бы, три года, какая ерунда, а на самом деле – некий незримый рубеж, отделяющий одно душевное состояние человека от другого, совершенно иного уже; тайна; воистину, все реализуется лишь во времени и ни в чем ином; даже мечты матери в ее ребенке реализует не она, но тайна времени».

– Вы фаталист, Штир... Браун?

– Какой я, к черту, фаталист, – улыбнулся Штирлиц. – Год назад я говорил моей служанке, что считаю себя стареющим мужчиной. Она, кстати, ответила, что ей такие нравятся... Я тогда был юношей, милый Викель. А сейчас – старик. Древний дед, а не фаталист. Это качество рождено молодостью – риск, отвага, авось пронесет, чем черт не шутит, а старость – это осторожность, нерешительность; старость – это когда занимаешь место в хвосте самолета, больше шансов остаться в живых, если упадем, и запасной выход – рядом. Вы, кстати, пишетесь через «к» или «г«?

[1] Штандартенфюрер СС, обермайстер.

– Через «к», я же южанин, мы говорим мягко – в отличие от вас, коренных берлинцев, – солгал Ригельт.

– Полагаете, я коренной берлинец?

– Судя по выговору.

– Так ведь можно наработать...

– В такой мере – нельзя, – Ригельт покачал головой. – Можно изменить внешность, даже характер, но язык не поддается коренному изменению, это в человеке навечно.

«Дурачок, – подумал Штирлиц, – трусливый, претенциозный дурашка; сейчас он обернется на то место, где сидел я, поглядит, рядом ли запасной выход, и предложит перейти в хвост, здесь, скажет, дует. Если не сразу, то через какое-то время он обязательно предложит перейти в "безопасное" место. Черт, как грустно наблюдать людей, в голову которых ты заложил идею животного качества, – а сколько, увы, таких?! Неужели именно такого рода животный фермент вызывает немедленное действие? Кажется, Герцен сказал, что мы продали свое человеческое достоинство за нечеловеческие права над своими ближними... Верно, кстати: земские соборы легко предали власть приказам и думским дьякам за полную свободу в делах своих имений; за установление крепостного права – высшее проявление животности верхних ста тысяч, – самодержавие получило всю полноту власти в стране... И начался застой... А Запад в это время менял одно сумасшествие на другое: то безумие крестовых походов, то всеобщий поиск дьявола, принявшего людское обличье, потом всеобщая эпидемия: "назад к античности, к древнему миру, к утраченному благородству римлян и греков!" По счастью, именно эта эпидемия вызвала у них интерес к знанию, к книгам и языкам, – а не отсюда ли один шаг до бунта? Вот и появился Лютер... Записать бы все, что у тебя в голове, – сказал себе Штирлиц, – попробовать оформить это в схему, могло бы получиться небезынтересно. Девятнадцать лет – в себе, все время в себе, действительно как затаившийся зверь. Олень или волк? – спросил он себя. – А может, кабан? Многотолкуемое понятие – животное. Поди ж, начал за здравие, а кончил за упокой».

– У вас деловой визит, Браун?

– Да.

– Куда? Если, конечно, не секрет...

– А их больше нет, секретов-то... А дальше – того хуже: сейчас рентгеном только легкие и кишки просвечивают, а скоро, надо ждать, научатся смотреть мозги. Поставят к свинцовой стенке, возьмут за руку хваткими пальцами в резиновых перчатках и айда вертеть: «А это что у вас за мыслишка? Беспокоит? Надо бы удалить – лишняя». Ничего перспектива, а?

– Да уж, страшновато... Мне даже что-то зябко стало от ваших слов... Кстати, не замечаете, здесь дует от иллюминатора? Давайте переберемся подальше в хвост, если не возражаете...

Штирлиц усмехнулся, покачал головой. «Будь все трижды неладно, – сказал он себе, – противно жить, когда знаешь, от какой болезни помрешь и в каком возрасте...»

– Там дует еще хуже, Викель. Я бы сразу вас пригласил к себе, в хвост, но там еще сильнее дует, я поэтому отсел на второе кресло,

да и потом, если запасной выход ненароком откроется, нас высосет, как в трубу, а здесь мы надежно прикрыты теми, кого первыми будет волочить по проходу...

– Ну вас к черту, Штир... Браун, от того, что вы говорите, отдает садизмом.

– Прошли одну школу, – усмехнулся Штирлиц, – чему ж удивляться? Вы где работаете?

– Я? – Ригельт не ждал такого прямого вопроса; это только янки назойливо представляются: «Я – Джим Смит из Чикаго, владею обувным магазином, женат на молоканше и имею трех детей»; все-таки немец значительно более тактичен, а любой прямой вопрос, обращенный к малознакомому человеку, в определенной мере некорректен. – Я служу в компании.

– В какой? – так же сухо осведомился Штирлиц.

– В... В ИТТ, – ответил Ригельт, невольно поддаваясь менере Штирлица ставить вопросы и досадуя на себя, что он не предусмотрел возможности такого оборота разговора. Впрочем, он не мог себе этого представить, потому что авторитарность нацизма предполагала всепозволенность лишь после соответствующего приказа начальника; тогда ответа было необходимо добиться любым путем; в обычной же жизни, вне стен рабочего кабинета, люди как раз и находили отдушину в том, чтобы не ставить однозначных вопросов, – страх сделался нормой жизни; именно ответ таил в себе особый страх; вдруг что не так скажешь, – поэтому беседы велись по касательной, были осторожны и оттого лишь казались корректными.

– Да? Любопытно, – заметил Штирлиц. – Чем занимаетесь? Насколько я понимаю, эта контора работает в сфере связи. Вы же не инженер, нет?

– Я филолог.

– Ах, вы филолог... Знаете португальский?

– Выучил. Но в основном я имел дело с английским. Вы же помните.

– Я не помню. Иначе бы не спрашивал.

– А вы где работаете? – преодолевая какой-то внутренний страх, спросил Ригельт. – В какой сфере?

– Во многих, – отрезал Штирлиц. – На меня навалили столько дел... Кого из наших видели?

– Полагаете, я стану отвечать на такой вопрос? – с испугавшей его самого резкостью спросил Ригельт. – Мы же не виделись два года, а за это время много воды утекло и люди поменялись. Вон, вы тогда были юношей, а сделались стариком... Выходите в Рио?

– Вместе выйдем, дружище, выйдем вместе, куда мы друг без друга? Одно слово – братство... Ладно, пойду к себе спать...

– Знаете, я все же пойду с вами... Я укутаюсь пледом и сяду возле иллюминатора, что-то мне не хочется лететь одному.

– Попросите снотворного. Здесь дают снотворное. И проснетесь, когда взойдет солнце. Хоть мы и бежим от него, оно все же скоро догонит нас... И под крылом будет не безбрежный океан, а земля, все не так безнадежно... Никогда не садились на вынужденную?

– Нет. А вы?

– Дважды.

– Страшно?

– Нет. В последний момент, когда ясно, что пожар не затушить и мотор весь в черном дыму, не страшно. Во-первых, это мгновения, доли минуты, а потом чувствуешь себя как спортсмен перед прыжком с трамплина: готовишься к спасению, придумываешь тысячу версий, тянешься к выходу, чтобы прыгнуть в самый последний момент – как раз перед тем, как самолет врежется в дом, гору или сосну... Столько напридумываешь, так перенапряжешься, что потом, когда летчики чудом усаживали машину на поле, тело болит, как после игры на чемпионате...

– По-прежнему играете в теннис?

– Начну... Последние месяцы я был не в форме...

Ригельт достал из портфеля бутылку:

– Пробовали? Это «виньу верди»; мой портье не произносит «в»; вместо «вино» говорит «бино», вместо «верди» – «берди», смешной старик. Разопьем? Чудо что за напиток...

– Спасибо, не хочу.

– Как знаете. Но я вам оставлю глоток. В самом деле не пробовали?

– По-моему, нет.

– Его подают к жареным сардинкам, очень распространено в Лиссабоне...

– Каплю попробую.

Ригельт сокрушенно вздохнул:

– Салфетка нужна, оно шипучее, обрызгает...

– Платок не подойдет?

– И это вы предлагаете адъютанту Скорцени?! Он бы меня публично унизил за такое предложение. Вы не представляете себе, как он утончен, когда речь идет о застолье... Впрочем, не только о нем одном... Послушайте, Браун, попросите у стюарда салфетку, два высоких фужера и, если есть, соленый миндаль...

– Соленый миндаль не обещаю.

– А вот и не убежден, что вы правы. На таких самолетах вполне могут быть деликатесы, они же не зря делают посадку в Лиссабоне, загружают любопытную пищу, что вы хотите – жители океанского побережья...

– Хорошо, попрошу. Что еще нужно к этому зелью?

– Жареные сардины, но это, как я понимаю, невозможно.

Штирлиц поднялся, пошел в голову самолета; там, за загородкой, сделанной из тонкой фанеры, облицованной пленками с картинками испанских городов, сидели два стюарда; здесь же был небольшой рефрижератор для бутылок и полки, в которых хранились бутерброды, взятые на борт во время часовой стоянки в Лиссабоне.

– Мой сосед отчего-то убежден, – сказал Штирлиц, – что у вас есть соленый миндаль...

– Вот уж чего нет, того нет, – ответил стюард, что подходил к Штирлицу, – очень сожалею, сеньор.

– Значит, и сардинок нет?

– Сардинки есть! Мы получили ящик сардинок, могу предложить вам банку.

– Это в масле?

– Да, конечно! А какие же еще?

– Мой сосед сказал, что в Лиссабоне подают жареные...

– Ах, это к «виньу верди»? – поинтересовался второй стюард. – Нет, таких у нас, конечно, нет, это только в Португалии, они действительно делают по здешнему рецепту, на углях, объедение, что за рыбка!

– Но высокие бокалы у вас есть?

– Это – да, – кивнул стюард. – Говорят, скоро станут делать первые классы в аэропланах такого типа, тогда наверняка будем возить и соленый миндаль. Я начну торговать вашим интересом, сеньор, мне за это наверняка уплатят премию, у нас платят премии за рациональные идеи.

– Валяйте, – согласился Штирлиц, – торгуйте рациональной идеей, но только мне сдается, что «идея» и «рационализм» не очень-то сочетаются, хотя по смыслу весьма близки.

Когда Штирлиц вышел из-за перегородки, Ригельта на месте не было, а в хвосте самолета тревожно горела красная лампочка. «Зачем человек, вошедший в туалет, должен пугать пассажиров? – усмехнулся Штирлиц, – просто-напросто объявляется ко всеобщему сведению: «Внимание, человек в сортире!» Тоже, кстати, вполне «рациональная идея», можно продать этому парню: пусть уберут красную лампочку; все резкое, будь то движение, цвет или рев мотора, отпугивает пассажира, в следующий раз поплывет на пароходе».

Штирлиц сел в кресло и понял, отчего Ригельт так стремительно убежал в туалет: кресла были забрызганы вином. «Еще хорошо, что впереди никто не сидел, а будь там дама с перманентом, – почему-то представил себе Штирлиц, – а ее в Рио ждет любимый, а она выйдет к нему со склеенными волосами! А почему я решил, что вино сладкое, – подумал он. – Потому что оно шипучее, если Ригельт так все обрызгал; ох уж мне эти «утонченные» адъютанты! А где бутылка? Не понес же он ее с собой в туалет?»

Бутылку – вина в ней осталось всего ничего, на донышке, – Ригельт сунул в карман, сделанный на чехле кресла. Вино пахло сыростью и молодым виноградом. И правда – океанский запах.

– Что значит желание угодить собрату, – сказал Ригельт, вернувшись на свое место. Вид его был весьма комичен: брюки были залиты вином и левый лацкан пиджака тоже был мокрым. – Но и вы хороши... Я думал, вы мигом обернетесь, снял проволочки, де́ржал пробку, как мог, но ведь Португалия – страна пробки, они ее не жалеют, она стреляет у них как петарда... Попробуйте вино, мне можете не оставлять, ради вас старался...

...Штирлиц никак не мог проснуться, хотя понимал уже, что он летит в самолете, что рядом с ним сидит Ригельт, а за плечо его трясет стюард – наверняка что-то случилось.

Он спружинился, широко открыл глаза и сразу зажмурился: ос-

лепительное солнце пронизывало салон, пыль в его лучах казалась фрагментом декорации какого-то балета; действительно, маленькие пылинки плавно, словно под музыку, перемещались в воздухе. «Они меня усыпляют, – подумал Штирлиц, – будто какие щелкунчики; единственный балет, который мне удалось посмотреть с папой, там было какое-то действие, когда все засы...»

– Сеньор, – стюард снова потряс его за плечо, – вам надо заполнить пограничную анкету, мы подлетаем к Рио-де-Жанейро...

Штирлиц заставил себя подняться с кресла. Ригельта рядом не было, спал возле запасного выхода: «лишен страха», чудо что за адъютант у Скорцени, с таким не пропадешь!

– Давайте вашу анкету, – сказал Штирлиц и потер лицо пальцами. – Сейчас мы ее одолеем, голубушку.

– Вы знаете португальский?

– Нет. А зачем мне это?

– Вопросы напечатаны на португальском, сеньор, я переведу...

– Так ведь он похож на испанский... Разберусь, – улыбнулся Штирлиц. Он полез в карман, за паспортом... В левом кармане паспорта не было, хотя он был убежден, что положил его с билетом именно туда; не оказалось паспорта и в правом кармане.

"Виньу верди", – понял он сразу же, – Ригельт специально открыл бутылку без меня, ай да Ригельт, ну, молодец, ай да адъютант Скорцени, как же он меня работнул, а?! И ведь в туалет его не потащишь! Ну, а что произойдет, если я все же затащу его в туалет? Да нет, у меня на это не хватит сил, он здоров как бык. Да и наверняка он сжег мой паспорт в туалете, когда усыпил меня. Он не случайно в этом самолете, теперь это ясно. Я не мог себе представить игру, но игра идет. Участвует в ней Роумэн? Нет. А кто иной мог так быстро связаться с Лиссабоном? Ну, вопрос быстроты и надежности связи – это компромисс с самим собой, с моей верой в Роумэна. Если операция планировалась, то он вполне мог организовать весь этот спектакль с его похищенной девушкой заранее, за две или три недели до того, как я поддался ему... Хорошо, а если все же нет? Зачем ты играешь с собой? – спросил себя Штирлиц. – Я играю с собой потому, – ответил он себе, – что рухнула моя надежда: без паспорта никто меня не выпустит с аэродрома в Рио. И в Буэнос-Айресе меня не выпустят, если только я не обращусь к Ригельту за помощью. Все ясно как божий день: я должен обратиться к нему, в этом смысл их комбинации. Их? Чьей же? Стоп, – сказал он себе, – я не зря пытался отвести Роумэна от этой комбинации. Я имел к этому какие-то основания. Какие же? Не знаю. Но я чувствую, что я не просто так отводил его, не из-за того, что он мне стал симпатичен. Нет. Нет, – повторил он, – не только поэтому. Видимо, я споткнулся на другом. Ну, а на чем? Видимо, на том, – ответил он себе, – что Ригельт ответил: «Я работаю в ИТТ»... Он очень не хотел мне этого говорить, но я знаю, как заставлять их говорить правду, я их всех играю в себе, поэтому у меня получается с ними. Он не должен был говорить мне этого, но он не был готов к моему прямому вопросу и поэтому ответил правду, ибо боялся, что маленькой ложью, к которой он не успел приладиться, сорвет то дело, ради ко-

торого его отправили в этот самолет. Я нужен ИТТ. То есть Кемпу. А за Кемпом стоят немцы. Но кто меня убедит в том, что за теми немцами, которым я нужен, не стоит служба Роумэна?»

Обернувшись, Штирлиц поманил к себе Ригельта. Тот показал ему глазами на анкету: мол, сейчас закончу и подойду, и спокойно углубился в заполнение полицейского бланка. «Весь мир уже учтен, причем не раз и не два, но все равно продолжают учитывать, хотя, с другой стороны, пойди не учти его – вот бы я через два часа и оказался на советской территории: собственность ли, аренда, не важно уже; можно лечь хоть на столе и спать несколько дней кряду; спать, ничего другого я сейчас не хочу, спать спокойно. Могу же я позволить себе такую мечту, не правда ли?»

Ригельт засмеялся:

– Да будет вам, право! А в портфеле смотрели? Я всегда сую билет в портфель, чтобы не рвать карманы: ведь у каждой двери вынь и покажи, можно разориться на подкладочном материале... А потом паникую...

– У меня нет портфеля, дружище.

– Ах, так... Ну-ка, еще раз тотальную проверку!

Штирлиц послушно обыскал себя; ничего, конечно же, не было.

«А если я сейчас попрошу у стюарда завтрак, – подумал Штирлиц, – разверну маленькие вилки, а ножик суну ему в сонную артерию? Меня не интересует, как он будет вопить, а он будет вопить; он сделается отвратительным в своем страхе смерти, отвратительным – то есть явственным, зримым. Ну, и что тебе это даст? – спросил себя Штирлиц. – Ты в западне, поэтому думать надо абсолютно спокойно, всякая паника лишь усугубит дело. Что тебе это даст, кроме сладости отмщения человеку, в котором ты вновь увидел концентрированный ужас нацизма? Чего же тогда ты не пырнул Мюллера? Он фигура куда более серьезная. Ты ведь не сделал этого, потому что надеялся на выигрыш. Нет, – возразил он себе, – я просто выполнял приказ: "приказано выжить". А если я суну вилку в шею Ригельта – без содрогания и жалости – меня передадут полиции в Рио-де-Жанейро, где я сделаю заявление, отчего я убил этого наци, и раскрутка дела приведет в ИТТ, к Кемпу, к их цепи, а у них крепкая цепь, если этот бес успел получить приказание подскочить ко мне в Лиссабоне и лишить документов. Ну и что? Какое дело Бразилии до их цепи? У них своих забот хватает. Да, но я потребую вызвать в тюрьму нашего консула, назову свое русское имя, объясню, отчего все случилось. Ну и как же ты это объяснишь? – спросил себя Штирлиц. – Почти год как здесь произошел государственный переворот, на смену президенту Жетулио Варгасу пришли военные, разгромили левых и начали травить коммунистов как "агентов Кремля". Народ, правда, смог остановить это, даже в сенат прошел коммунист на выборах, но ведь травля всего того, что связано с левыми, продолжается! И вот заявляешься ты, весь в крови этого борова, и говоришь: "Я – русский, я зарезал нацистского кабана, верните меня домой". Фи, Штирлиц, ты запаниковал, это недостойно, спокойствие и еще раз спокойствие».

– Послушайте, Викель, – сказал Штирлиц, – а ведь у меня надежда только на вас... В силу понятных вам причин я не могу заявить о потере паспорта, это провал...

– Куда вы летите?

– В Асунсьон.

– Это через Игуасу, – сразу же сказал Ригельт. – Вам здесь надо делать пересадку, лететь на маленьком самолете в джунгли, а из Игуасу – это, правда, Аргентина: тоже требуют визу – вы бы легко добрались до Асунсьона... Здесь у меня нет контактов, Штир... Браун... В Игуасу вы пропустите самолет – уснете в сортире, напьетесь, придумаем что-нибудь, да и я попробую кое-что предпринять... Где ваш билет?

– Вот он.

– Ну-ка, дайте... Значит, вы летите до Асунсьона, – он ткнул пальцем в талон. – Багажа у вас нет, пересадка с одного самолета на другой – всего лишь. Паспорт, думаю, не нужен – во всяком случае до Игуасу...

– А вы-то куда летите?

– Я летел в Буэнос-Айрес, но теперь, видимо, придется сделать крюк, чтобы попробовать уладить ваше дело.

«Пусти слезу, – сказал себе Штирлиц, – они же все берут п о в е р х у, он будет убежден, что я тронут до глубины души его братством, это вселит в него убежденность, что я не заподозрил его, это поднимет его в собственных глазах. – «Каков я профессионал!» Видимо, с ним надо вести себя именно так, сесть в бразильскую кутузку без документов неразумно».

– У вас есть деньги? – спросил Ригельт.

– Нет, – ответил Штирлиц; деньги, по своей давней привычке, он сунул в задний карман брюк. «Посмотрим, предложишь ли ты мне деньги – если да, значит, к о м б и н а ц и я; важно – какую купюру ты предложишь; если долларовую, значит, версия непричастия Роумэна к этому делу летит ко всем чертям, а жаль».

– Погодите, а вы глядели под креслом? – спросил Ригельт.

Вопрос был столь искренен, что Штирлиц даже оторопел от неожиданности, потом резко поднялся:

– Ну-ка, давайте посмотрим! Черт возьми, конечно, он там!

Они заглянули под кресло Штирлица, потом пошли на место Ригельта; паспорта, понятно, не было.

Подплыл стюард:

– Что-нибудь случилось, сеньоры?

– Ровным счетом ничего, – ответил Ригельт на варварском испанском, ну и акцент. – Я ищу свой блокнот, но, видимо, он в портфеле, благодарю.

«Я сделал ошибку, – понял вдруг Штирлиц. – Я слишком рано обратился к нему. Сначала я должен написать письма Роумэну и Спарку. Я должен объяснить им, что случилось, и предупредить, что и с ч е з а ю. Ригельт здесь оказался для того, чтобы я исчез».

Штирлиц поднялся, не ответив на вопрошающий взгляд Ригельта, и пошел в туалет; по пути достал из кармана одного из кресел конверты с эмблемой трансатлантического рейса «Испания – Арген-

тина» (реклама должна быть броской) и, запершись, написал два письма.

Когда он вернулся, Ригельт передал ему сто франков:

– Это – на всякий случай, Браун. Когда устроитесь – вернете.

– Адрес оставьте.

– Я думаю, вы вернете мне деньги лично, – сказал Ригельт. – Глядите, глядите, какая красота, весь город под нами!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (ИТТ, сорок второй – сорок пятый)

После того как японцы разбили американскую военно-морскую базу на Пёрл-Харборе и Белый дом объявил войну странам «оси», деятельность ИТТ сразу же попала в сферу пристального интереса Федерального ведомства связи. Одному из талантливейших аналитиков, Алану Сэйлеру, было поручено провести негласное изучение контактов ИТТ с противником; в секретном докладе, подготовленном им для Вашингтона в конце сорок третьего года, сообщалось, что «полковник Бэн продолжает поддерживать связи с врагом через нейтральные страны, поставляя Берлину стратегические товары и оказывая конфиденциальную помощь в информации нацистам, работающим в Испании и Латинской Америке, особенно в Аргентине, Чили и Эквадоре. Только в 1942 году аргентинская компания "Юнайтэд ривэр плэйс тэлэфон компани", купленная людьми Бэна у англичан, провела 622 телефонных разговора с Берлином из Буэнос-Айреса. Есть основания предполагать, что фирма "Ол американ кэйбл оффис", купленная ИТТ, также поставляет информацию Берлину. В "Компаниа унион телефоника" работает Руис де Беренбрух, который заявляет себя антинацистом, однако ночи он проводит в германском посольстве, а затем отправляется в компанию, где имеет возможность подслушивать телефонные переговоры американцев и англичан со всем миром.

В 1942 году в Мадриде была зафиксирована встреча вице-президента ИТТ Кеннета Стоктона с послом рейха в Мадриде и двумя представителями Геринга. Эта информация государственного департамента была тщательно перепроверена и подтвердилась полностью.

В том же году представитель полковника Бэна, некий Грюн, посетил Швейцарию, где встретился с одним из высших чинов СС доктором Вестриком, принужденным в свое время покинуть США, поскольку был изобличен как нацистский агент. Во время этой встречи Грюн подготовил для доктора Вестрика торговую сделку, в результате которой Геринг получил необходимые для его "люфтваффе" цинк и меркурий, категорически запрещенные к продаже не только странам "оси", но даже нейтральным странам. (Эти стратегические товары были затем переданы для нужд авиаконцерна "Фокке-Вульф", возглавляемого эсэсовцем доктором Танком.)

Все это дает основание передать материалы об антиамериканской деятельности полковника Бэна, возглавляющего ИТТ, в соответствующее подразделение ФБР для начала постоянной работы по этому преступному концерну».

...Прочитав документ, сфотографированный людьми начальника службы безопасности концерна Грюна, полковник Бэн долго сидел в задумчивости, положив тяжелые кулаки на стеклянную полированную поверхность своего громадного – красного дерева – стола, потом усмехнулся чему-то и спросил:

– Что, страшно, Грюн?

– Ну, не то, чтобы страшно, – ответил тот (щупленький, близорукий, плешивый, он никак не походил на тот стереотип разведчика, который начал создавать Голливуд), – но думать есть о чем.

– А я чем занимаюсь? Полировкой яиц? – раздраженно заметил Бэн.

– Получается? – усмехнулся Грюн. – Научите.

– Я ничему не учу бесплатно. Давайте взятку. Или приобретайте лицензию. Первое – дешевле, второе – дороже и ненадежней. Налейте-ка нам по глотку виски.

Выпив, Бэн поднялся, походил по кабинету, остановился возле громадного американского флага, установленного за его креслом, повернулся в профиль и сказал:

– Пусть сделают хорошие снимки и распространят в прессе. Фас у меня дурной, а в профиль смотрюсь. Эта страна любит, когда о патриотизме говорят крикливо. Пойдем им навстречу.

Потом он подошел к телефону и, сняв трубку, заметил:

– Учитесь у меня делу, Грюн. Я люблю вас, поэтому учу бесплатно.

Набрал номер телефона генерала Стонера, руководившего в Пентагоне подразделениями связи и оповещения.

Девять лет назад Стонер работал в наблюдательном совете ИТТ, потом концерн делегировал его в Пентагон; там он стал его представителем; рекордно быстро получил генеральские погоны и пост, который позволял ему передавать Бэну самые выгодные заказы для армии.

– Добрый день, генерал, – сказал Бэн. – Было бы очень славно, найди вы время поужинать со мною. Если завтра свободны, я берусь зарезервировать столик в ресторане, который вы мне сейчас назовете. Я бы выехал в Вашингтон первым поездом и в двенадцать готов встретить вас там, где скажете.

Уговорились встретиться в двенадцать тридцать, за полчаса до ленча.

Бэн опустил трубку, постоял у телефона в задумчивости, поинтересовался:

– Вы не находите, что я худею, Грюн?

– Чуть-чуть.

– Рак?

– Не кокетничайте.

– Я говорю серьезно. У меня появились боли под ложечкой.

– Значит, надо лечь на обследование.

– А кто будет обедать с генералом Стонером? Вы?

– Мог бы. Он дубина, мне с такими легко договариваться.

– Ошибаетесь. Он не дубина. Он играет эту роль и делает это ловко. Поверьте, я знаю его восемь лет, в ИТТ он был совершенно

другим, вас тогда еще не было, Грюн. А теперь обсудим второй вопрос: кому мне звонить – Вильяму Донована, непосредственно в штаб-квартиру ОСС, или же Джону Фостеру Даллесу?

– Конечно, Даллесу.

– Почему так категорично?

– Потому что Донован плохо относится к вам, он вам не верит, считает европейцем, а не американцем, и к тому же подозревает в конспиративных связях с нацистами.

– Аллен Даллес связан с наци более тесно, чем я.

– Он связан лишь с теми, кто так или иначе стоит в оппозиции к Гитлеру. Донован слепо ненавидит фюрера. Он не допускает мысли о контактах с теми, кто относится к Гитлеру иначе. И главное – у него нет никаких интересов ни в ИТТ, ни в рейхе.

Бэн набрал телефон Даллеса; один из руководителей республиканской партии, он, тем не менее, чаще всего работал в своей адвокатской конторе «Саливэн энд Кромвэл» на Уолл-стрите.

– Здравствуйте, полковник, – пророкотал Даллес своим сильным, хорошо поставленным голосом, – рад слышать вас, что нового?

– Как говорят, все новое – хорошо забытое старое. А что мы все позабывали? Дружество! Когда сможете найти для меня время?

– Хотите поручить мне судебный процесс против врагов? – хохотнул Даллес. – Это будет дорого стоить, у вас сильные противники.

– Можете назвать их поименно?

– Поскольку по условиям военного времени нас могут подслушивать и это не есть нарушение конституции, лучше бы сделать это при встрече.

– Назначайте время.

– Давайте завтра пообедаем.

– Идеально было бы сегодня поужинать, завтра я занят.

– К сожалению, у меня сегодня вечером встреча с людьми из Швеции. Впрочем, я бы смог освободиться, скажем, в пять. До шести я в вашем распоряжении.

– Спасибо, Джон. В пять я буду у вас. Или встретимся на нейтральной почве?

– Имеете в виду Швейцарию? – снова усмехнулся Даллес. – Мы не успеем туда добраться к пяти.

...Выслушав полковника, Даллес ответил не сразу; помолчав, сказал задумчиво:

– Заманчиво, бесспорно заманчиво. Вы обговаривали это предложение с Донованом?

– Нет.

– Почему?

– Потому что сначала я решил обговорить его с вами.

– А с государственным департаментом?

– Ах, Джон, это невозможно! Вы же прекрасно знаете, в чем сокрыта трагедия нашей административной машины...

– В чем же? – улыбчиво поинтересовался Даллес.

– Ладно, я – проклятый воротила, акула бизнеса и так далее, а вы – соловей, все верно, легко заткнете меня за пояс, если нам случится соревноваться в красноречии, но в вопросах стратегии дела не тягайтесь со мной, положу на лопатки... Что получает чиновник государственного департамента от удачи той или иной внешнеполитической акции? Хрен в сумку, ноль. А я получаю. Вы как адвокат тоже. Если бы им платили с выгоды, если бы они хоть в малости были заинтересованы в результате своего труда, тогда бы я мог с ними говорить. А при нынешнем положении вещей это бесполезная затея, меня тамошние мыши не поймут.

– Хорошо, отложим контакты с государственным департаментом до лучших времен. Пентагон?

– Там все в порядке.

– Военная разведка вас поддержит?

– Да.

– Как я понимаю, этот вопрос вы еще до конца не обговорили?

– До конца – нет.

– Когда решится?

– Завтра.

– Прекрасно. Я найду возможность связаться с Алленом. Если вы заручитесь поддержкой Пентагона, его интерес к доктору Вестрику будет вполне оправдан. Но... – Даллес полез за сигарой, заботливо обрезал ее, но раскуривать не стал. – Очень существенное «но», полковник. Вестрик должен приехать к Аллену не с пустыми руками. Как вы сможете изложить вашему компаньону свой дерзкий план? Закажете разговор с Берлином? «Подумайте, дорогой Вестрик, как будет прекрасно, если вы уговорите Геринга стать агентом Аллена Даллеса!»

Бэн засмеялся:

– Сюжет можно продать Хичкоку, отчаянно веселая комедия... О Вестрике не беспокойтесь, он приедет к Аллену не с пустыми руками. И я вернусь к вам в Нью-Йорк с полными руками. В пятницу я готов подробно рассказать и про Вестрика, и про Пентагон, дело за вами.

В тот же день Грюн вылетел в Буэнос-Айрес, к Арнолду, генеральному представителю ИТТ в Аргентине.

Наутро тот устроил Грюну телефонный разговор с Вестриком (был использован шифр, которым компаньоны обменялись за два дня перед катастрофой на Пёрл-Харборе): «Полковник Бэн просит доктора Вестрика найти возможность приехать в Швейцарию и посетить в Берне мистера Даллеса для того, чтобы обговорить с ним возможность постоянных контактов. Вопросы, которые надлежит обсудить, касаются интересов ИТТ в рейхе и тех странах Европы, которые ныне стали частью Германии. При этом дальнейшее развитие предприятий ИТТ в рейхе гарантирует поддержку мистером Даллесом тех проектов по приобретению запрещенных предметов экспорта, в которых заинтересованы дочерние предприятия концерна, в

том числе и заводы "Фокке-Вульф". Однако для обеих сторон представляется целесообразным оформлять эти деловые контакты не как встречи, связанные с бизнесом, но как обмен политической информацией секретного характера».

Доктор Вестрик записал шифрованное послание, пообещал позвонить завтра вечером, поехал с текстом в штаб люфтваффе, был принят Герингом и получил от него санкцию на действия.

Через двенадцать часов он позвонил Грюну и, используя тот же шифр, сообщил, что отправится в Швейцарию на следующей неделе; было бы идеально встретиться там с полковником или его наиболее доверенным представителем накануне беседы с мистером Алленом Даллесом. «Лучшее место встречи – отель "Гельвеция". Мои друзья сожалеют, что информация о выходе британских судов со стратегическими товарами стала поступать в Берлин нерегулярно; активизация этой работы поможет мне заручиться еще большей поддержкой у тех, кто питает традиционные чувства уважения к полковнику и тому делу, которому он служит».

Когда Грюн позвонил в концерн, ему передали, чтобы он вылетал не в Нью-Йорк, а в Вашингтон, полковник ждет его незамедлительно.

Назавтра Грюн – злой, помятый и невыспавшийся (плохо переносил полеты) – был в Вашингтоне. Вечером генерал Стонер поздравил Грюна с присвоением звания майора вооруженных сил США и определил его на работу в военно-воздушную разведку Пентагона.

Через семь дней Аллен Даллес сообщил в штаб-квартиру ОСС, что им «привлечен доктор Вестрик, понявший неизбежность краха Гитлера». Даллес подчеркивал, что доктор Вестрик принял на себя обязательство охранять – используя свои связи в нацистском партийном и дипломатическом мире – интересы ведущих концернов США не только во время войны, но и после ее окончания. О том, что Вестрик возвращается в Берлин с контрактом, подписанным для него представителем ИТТ, на поставку заводам бомбардировщиков «Фокке-Вульф» радиоаппаратуры и механизмов слежения за караваном союзников, он, естественно, в Вашингтон не сообщил, там далеко не все понимали, что политика – это политика, она меняется, а вот бизнес неизменен и сиюминутным интересам не подчинен.

...Когда доклад Алана Сэйлера был, наконец, отправлен в государственный департамент и ФБР, верхние этажи Пентагона и ОСС встали на защиту человека, который «так много делал и делает для американской армии и разведки; лишь понятная некомпетентность А. Сэйлера, который не допущен к высшим секретам, позволила ему поставить под сомнение искренность выдающегося патриота, каким по праву считается полковник американской армии С. Бэн».

...Когда первые американские части 25 августа 1944 года вошли в Париж, Бэн вместе с сыном Вильямом въехал в город в военной форме; джип был набит ящиками с шампанским; он сразу же направился в здание, где помещался французский филиал ИТТ.

– Граждане, друзья, братья! – сказал он собравшимся там работ-

никам. – Поздравляю вас с освобождением от мерзкой нацистской тирании! Американцы всегда были, есть и будут самым надежным гарантом вашей свободы! Да здравствует Республика!

Через пять дней Бэн воссоздал форпосты своей империи во Франции. Затем он ринулся в направлении Брюсселя и Антверпена, захватил и там плацдармы. Как только войска союзников вступили в рейх, Бэн встретился в Берне с доктором Вестриком, однако после сигнала, который получил от своих друзей из разведки Пентагона, контакты с ним временно прервал, поручив текущую работу по Германии своим вице-президентам Гордону Керну и Кеннету Стоктону; этому было легче работать, потому что Бэн добился – с помощью руководства Пентагона – присвоения Стоктону звания бригадного генерала. Люди Бэна захватили громадные заводы «Лоренц», выпускавшие телефонное оборудование, сообщив прессе, что это сделано в интересах американской армии, поскольку оккупационным властям необходима надежная связь для «продолжения борьбы с нацистами и их последышами, а никто не сможет помочь армии в этом деле, кроме ИТТ, традиционно сотрудничающей с Пентагоном». С подачи Вестрика люди ИТТ наложили руку на филиалы концерна «Сименс» и на предприятия авиационного гиганта «Фокке-Вульф». Это и переполнило чашу терпения конкурентов, которых Бэн обошел на две головы; «обиженные» банки и концерны имели своих людей в министерстве юстиции; удар против Бэна был нанесен сложный, обходный: от Белого дома потребовали – уже заранее, до победы, – продумать поэтапную декартелизацию и денацификацию германской промышленности, чтобы она никогда впредь не стала орудием в руках маньяков типа Гитлера. Замах был хорош, только удара не получилось: конкурентам удалось договориться лишь о декартелизации «И. Г. Фарбениндустри», было решено разделить гигант на семь фирм; ни «Лоренц», ни «Сименс», ни «Фокке-Вульф», готовившие Гитлеру базы для производства самолетов, фау, радиостанций и средств связи, не подпали под проект закона о декартелизации и денацификации. Тем не менее «драка под одеялом» продолжалась: генеральный прокурор Том Кларк незадолго перед окончанием войны подготовил заявление:

«"Интернэшнл стандард электрик компани" (ИСЭК), являющаяся европейским филиалом ИТТ, поддерживала постоянные контакты с нацистским агентом доктором Герхардом А. Вестриком. Это позволило ИТТ передать нацистам огромное количество стратегических материалов и лицензий, что нанесло существенный урон не только престижу Соединенных Штатов, но и частям нашей армии, сражавшимся в Европе против гитлеровской тирании. Все это происходило по прямому указанию президента ИТТ Состенса Бэна». Джон Фостер Даллес позвонил Бэну и, по своей привычке посмеиваясь, сказал:

– Полковник, надо продержаться пару месяцев, это последние всплески... Деловую сторону вопроса я беру на себя, а вы придумайте какой-нибудь спектакль для публики; хлеб у вас есть, устройте зрелище.

И через три дня после обеда Состенса Бэна с генералом Стоне-

ром и Форрестолом, обеда, который перешел в ужин, Пентагон объявил о награждении Бэна высшей наградой Соединенных Штатов «за заслуги перед армией».

...А после этого он срочно вылетел в Швейцарию, на встречу с Алленом Даллесом.

...Поскольку провинциализм въедлив и трудно изживаем, Бэн, конечно же, устроил прием в роскошном «Паласе»; закрыл ресторан для посетителей, откупив его на ночь только для себя; отправил за Даллесом два роскошных «паккарда», хотя тот предпочитал ездить в неприметном «фордике» (бензин в Швейцарии нормировался, жестокая карточная система была введена еще после того, как немцы оккупировали вишистскую Францию, – последняя артерия подвода топлива из Марселя была прервана, английская блокада давала себя знать); зачем-то повелел остаться музыкантам, и поэтому, помимо двадцати официантов, на гостя полковника таращились скрипачи, трубач, пианист, ударник и тромбонист, игравшие арии из оперетт вперемежку со старомодными фокстротами конца двадцатых годов.

Конечно же, на столе стояла серебряная ваза с икрой (не менее двух фунтов), омары; вместо горячей закуски принесли лобстеров[1], огромных, как ботинки; на хрустальных подносах (совершенно диковинной работы) высились тропические фрукты, даже плоды авокадо, которые и в Штатах-то стали роскошью в дни войны.

Бэн произнес тост; поначалу он был витиеватым, затем, однако, обрел форму повестки дня, ибо он умудрился заложить туда все пункты, которые намеревался обсудить с «личным представителем президента Соединенных Штатов», с тем, кто бесстрашно направляет борьбу народа на той линии огня, которая выдвинута далеко вперед, ибо будущее Америки немыслимо без Европы, которая восстанет из пепла, превратившись в бастион демократии и прогресса, старая вражда уступит место новой дружбе, поскольку, воистину, существует время бросать камни и время собирать их, есть время уклоняться от объятий и время заключать в них тех, кто помнит заповедь, гласящую: «Род приходит и род уходит, но земля пребывает вовеки».

Даллес ответил экспромтом на отвлеченную тему, спросил, какой чудесник доставил сюда лобстеров, поинтересовался, сколько времени потребовалось Бэну на то, чтобы организовать такую сказку Шехерезады в Берне, выслушал ответ («всего два дня, пока еще есть деньги на то, чтобы оплатить самолет в Касабланку и Танжер»), понял, что за это время стол мог вполне быть оборудован звукозаписывающей аппаратурой, – кому не хочется узнать, о чем говорит ИТТ с разведкой, – и поэтому за все время приема ни на один заход Бэна прямо не ответил, много шутил, а когда полковник, не выдержав размытых дипломатических штучек, прямо поставил вопрос, какой Даллес видит послевоенную Европу и что он, Бэн может сделать для того, чтобы не повторилась трагедия Версаля, Даллес, мягко улыбнувшись, спросил разрешения прочесть стихи любимых им китайцев и, естественно, получив это разрешение, продекламировал:

– Милее нет осенних хризантем,
Весной сплету венок из орхидей...

[1] Лобстер – средиземноморский рак.

Но с этим после. Надо между тем
Предвидеть все. Нигде не проглядеть.
А император? Если против он?
И вот стою, в раздумье погружен.

Бэн слушал Даллеса несколько по-детски, чуть приоткрыв рот от восхищения («Не любит читать, – сразу же отметил Даллес, – видимо, относится к числу тех, кто предпочитает слушать или смотреть, для таких людей кинематограф сделался главным источником информации; довольно опасно, если они сделаются неуправляемыми, слишком сильными, но в то же время крайне удобно, если удается взять верх над такого рода характерами»); когда тот закончил стихотворение, полковник искренне и громко – по-детски – захлопал в ладоши.

– Кто ж это такое сочинил, а?!

– Синь Цицзи, воин и поэт, романтик, мечтатель и стратег, совершенно поразительная фигура в гирлянде китайских талантов. Заметили, как тонко и точно он проводит свою линию, обращаясь к императору? Весь смысл этого стихотворения в том, чтобы император впредь не допускал несправедливости; неужели ему, Синю, придется прожить жизнь в стороне от политической борьбы? Он оставил это стихотворение в императорском дворце, на том столе, который обычно готовили к чайной церемонии самые доверенные слуги монарха, поэтому был убежден, что стихи будут доложены наверх... Как и всякий истинный поэт, он был наивен, полагая, что слуги императора имели непосредственный выход на верховную власть... Нет, главный соглядатай точно дозировал ту информацию, которая обязана появляться на столе живого бога; радостные новости легко шли в спальню, а грустные предавались уничтожению, как и те, кто пытался отправить их наверх...

– Ну и что случилось с этим поэтом? Посадили?

Даллес рассмеялся своим заразительным смехом:

– Полковник, в Китае арест никогда не считался наказанием. Это у них форма продолжения университетского образования, так сказать, докторантура...

Все попытки Бэна разговорить Даллеса наталкивались на шутки, они сыпались, как из рога изобилия.

Когда Бэн, не вытерпев, открыто спросил, что Даллес думает по поводу того, что ищейки министра финансов Моргентау накладывают аресты на контракты, заключенные серьезными людьми с Уолл-стрита даже в третьих странах, особенно в Латинской Америке, жонглируя тем, что в этих сделках заинтересованы нацисты, Даллес, разрезав авокадо, вытащил косточку, положил в открывшуюся лунку плода, чем-то напоминающего яблоко, ложку черной икры и предложил:

– Как вы отнесетесь к тому, чтобы мы прогулялись? Обед был фламандский, его необходимо хорошенько утрамбовать.

На улице было темно уже; швейцарские власти ввели светомаскировку еще в сорок третьем, боялись случайных налетов союзников, а может, как думал Даллес, не хотели дразнить гусей – пересе-

чение границы голодного, затемненного рейха и сытой, ярко освещенной Швейцарии вызывало у берлинских бонз, приезжавших сюда, острые приступы завистливой ярости, словно бы они не получили то, чего добивались, словно бы в этом были виноваты (как же это удобно винить других – кого угодно, только не себя!) большевики, евреи и толстосумы с Уолл-стрита.

– Видите дорогу? – спросил Даллес, беря полковника под руку. – Я, как кошка, вижу в темноте.

– Ну, а я, значит, вроде тигра, – ответил Бэн. – Вижу лучше котов. Даже десятицентовую монету замечу, поверьте слову...

– Не бросайтесь словом, – вдруг очень резко, как-то неожиданно сурово сказал Даллес и швырнул на тротуар монету. – Ищите.

– Со спичкой найду, – несколько растерянно ответил Бэн.

– За спичку на улице вас оштрафуют. И правильно сделают. Закон войны для всех один, кому это знать, как не вам, военному человеку... Я – что? Беззащитная штатская крыса, а вы – сокол, уставы учили... Не сердитесь, у вас слишком много врагов, чтобы легко бросаться не чем-либо, но словом, дорогого стоит... Вот что я намерен вам сказать... Если вы будете по-прежнему слишком уж открыто лезть в Германию, Голландию или Бельгию, можете не выдержать конкуренции, не вы один имеете здесь серьезные интересы... Как мне известно, у вас много друзей в Испании и Латинской Америке. Почему бы вам – вернув себе в Европе то, что законно и не вызовет бешеной конкурентной злобы, – не сосредоточить максимум внимания на Аргентине, Чили, Боливии, Никарагуа, Парагвае, Кубе? Там ведь все еще очень сильны позиции немцев, с которыми у вас сохраняются завидные отношения... Свято место пусто не бывает...

– Я думаю, недруги несколько преувеличивают мои возможности в Латинской Америке, – ответил Бэн, тщательно взвешивая каждое слово («Спасибо тебе за урок, Даллес, ты меня учи, я способный»). – Кое-что, конечно, есть, но все это далеко не безгранично.

– Не безгранично? Что ж, я готов помочь расширить ваши границы, – сказал Даллес. – Но для этого вы должны поделиться со мной той информацией о полковнике Пероне, которую вам в свое время подарил Геринг.

Бэн почувствовал, как во рту пересохло: «Во время того разговора с рейхсмаршалом в его замке Каринхалле никого не было, ведь об этом мы говорили у подъезда; стоп, рядом с боровом всегда торчали три мумии из охраны; неужели Даллес и туда подкрался? Конечно, подкрался, как он мог иначе получить эти сведения?»

– Какую информацию вы имеете в виду, Аллен?

– Ту самую, – так же жестко, без улыбки, ответил Даллес. – Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. На всякий случай замечу, что я не вношу предложений дважды.

– Ах, это вы имеете в виду возможность национализации телефонно-телеграфной сети в Аргентине? – довольно неуклюже отыграл Бэн. – Геринг сказал, что в окружении Перона есть люди, разделяющие некоторые аспекты национал-социализма, причем его максималистского, ультралевого направления, штрассеровского, – добавил он, – если мне не изменяет память.

– Память вам не изменила. Меня интересуют эти имена.

– Я должен запросить Буэнос-Айрес, моего директора Арнолда, он там ведет все дело...

– Если Арнолд ответит, что он наладил, после вашего визита к Герингу, дружеский контакт с Гутиересом, будет ли это означать, что он и есть тот человек, который симпатизирует ультралевому нацизму?

«Знает, сукин сын, – понял Бэн, – все знает. И купить – не купишь, на Уолл-стрите он всех обслуживает, богат и независим. Он меня втянул словно в воронку. Как теперь выйти, не роняя достоинства? Что ж, на силу – силой, только так и никак иначе. А какая у меня сила, если он знает, а я нет? Между силой и хамством большая дистанция, нет ничего обиднее, чем выглядеть в глазах победившего глупым».

– Оранья, если мне не изменяет память, придерживался ортодоксальных взглядов... Он когда-то работал с Франко, поддерживал прямой контакт с людьми Геринга... Что же касается Гутиереса, то я готов вам ответить завтра, Аллен... После того, как снесусь с Арнолдом.

– Вы понимаете, что в Аргентине вам будет значительно сложнее получить компенсацию за ваш концерн, если его все-таки национализируют, чем в Бухаресте, у Антонеску?

– Нет, – Бэн покачал головой, – я не думаю, что это будет много труднее. Если же я почувствую определенное неудобство, разрешите мне обратиться в ваш «Саливэн энд Кромвэл», все-таки именно вы помогли Рокфеллеру в Венесуэле, когда там подняли голову левые.

– Вот теперь наш разговор обрел предметный характер. Конечно, «Саливэн энд Кромвэл» готов оказать вам помощь, но лучше, чтоб ее не потребовалось, не так ли?

– Понятно, лучше, кто спорит.

– Не мне вам говорить, что Гитлер всем нам подложил большую свинью. Не начни он своего террора, не развяжи войну, мы были бы по-прежнему крепки на юге нашего континента. Но теперь – и вы это знаете не хуже, чем я, – большинство стран на юге легализовали компартии и установили – или же устанавливают – дипломатические отношения со Сталиным. Пока Рузвельт сидит в Белом доме, окруженный Моргентау, Уоллесами, Икесами и прочими, мы связаны по рукам, он не санкционирует решительных действий. Но он не вечен. Однако за то время, пока он правит, левые успеют закрепиться на континенте, и это плохо. Вы согласны?

– Согласен.

– Что же, по-вашему, можно предпринять, чтобы еще сейчас, пока мы лишены реальной политической силы, оттереть левых, заставить их уважать те правила, которые исповедуем мы, а никто другой?

– Вы говорите, Аллен, говорите, я слушаю. – Бэн ответил сухо, просчитав, что Даллес подходит к тому моменту, когда он, полковник, будет нужен ему больше, чем Даллес ему, Бэну.

– Единственная сила, которая может рьяно противостоять большевизму на юге нашего континента, не оглядываясь на какие бы то ни было нормы морали, – это люди типа Гутиереса, то есть тамошние крайне правые. Единственная сила, которая может вселить в латиносов ужас и страх перед диктатурой, – это национал-социалис-

ты: как те, которые ринутся туда из рейха, когда мы похороним Гитлера, так и местные афесионадо[1] нацизма. А если они родят страх перед террором диктатуры, то единственной силой, которая может помочь избавлению от нее, должны стать мы – общество свободы и демократии. Чем поначалу хуже, тем впоследствии лучше. Конкретно: готова ли ваша ИТТ дать укрытие, дом, работу, документы тем тысячам бывших клевретов нацизма, которые уже сейчас держат в своих сейфах аргентинские документы?

– То, что вы предлагаете, осуществимо. Ваш стратегический замысел я принимаю целиком, но какое все это имеет отношение к возможной национализации моего филиала в Аргентине?

– Прямое. Как только кончится драка, я оставлю на юге Джекобса... Да, да, брата Эрла, вашего представителя в Испании. Я посмотрю его в серьезном деле, а потом передам ему мои здешние связи. А это вполне надежные связи. Надо сделать так, чтобы те немцы, которым вы дадите укрытие, зацеловали Перона, надо, чтобы он был весь в коричневой помаде, это повод к тому, чтобы давить на него в нужном для нас направлении. Сколько вы думаете получить с него – в случае, если он решится национализировать ИТТ?

– Не менее семидесяти миллионов.

Даллес остановился и, хмыкнув, предложил:

– Ну-ка бросьте монету. Бросьте, бросьте, человек с глазами тигра.

Бэн стремительно кинул на тротуар двадцатипятицентовую монету, так, словно все время держал ее в кулаке. Даллес сделал пять быстрых шагов, наступил ногой на темноту, нагнулся и поднял вашингтона:

– Кошка видит лучше тигра. Так-то... Сто миллионов! Я вам обещаю не семьдесят миллионов, а сто. Если, конечно, мы подпишем вечный договор о дружбе и взаимной помощи. Эрго: если вы согласны поставить свою подпись под нашим договором, если вы обещаете сделать ваши аргентинские, чилийские, уругвайские, колумбийские и эквадорские филиалы моими, я готов способствовать тому, чтобы ваши границы значительно расширились. Повторяю, моими, а не всей нашей конторы, – я имею в виду и ОСС, и Донована.

– Вы чего-то не договорили, Аллен. Договор без секретных статей – не серьезен.

– Я все сказал. Вопрос в том, насколько верно вы меня поняли. Точнее: правильно ли вы поняли то, что кандидатуры каких-то людей, которых мистеру Арнолду придется приютить, должны быть необсуждаемы? Какие-то внешнеполитические шаги, которые вы задумаете, придется – если, конечно, найдете время – обговаривать заранее со мной? А какие-то деньги – из тех ста миллионов, которые вы получите, – вам придется обратить на наше общее дело, обсудив, опять-таки со мной, их вложение?

– Какой может быть сумма вложений?

– Скажем, десять миллионов.

– Не проблема, принято. Во что вкладывать?

[1] Афесионадо *(исп.)* – любители.

– Вы не очень обидетесь, если я отвечу вам на этот вопрос несколько позже?

– Не обижусь. Но я привык рассуждать о грядущем заранее, даже если не знаю всего, что меня ждет.

– А кто об этом знает? Об этом не знает никто, полковник. Об этом знает бог, а в него мы верим.

– Вам не кажется, что вы со мной слишком жестко говорите?

– Мы победители, Бэн, нам можно...

– Верно, мы победители...

Даллес покачал головой:

– Нет, полковник, мы, – он тронул себя пальцами в грудь. – Архивы Геринга, Риббентропа, «И. Г.», Гиммлера перейдут – а частично уже перешли – ко мне. А вы очень не заинтересованы в том, чтобы эти архивы сделались достоянием гласности. Вам тогда не подняться. Вас сомнут, как это случилось с Уолтером Тиглом, а он был крепким парнем, Рокфеллер считался с его словом так, словно Тигл был не генеральным директором «Стандард ойл оф Нью-Джерси», а рокфеллеровским дедом. И это случилось в сорок первом, когда архивами нацистов и не пахло.

– Что-то все это смахивает на шантаж, Аллен. Не находите?

– Это не шантаж, а констатация факта. Или – если говорить языком паршивой дипломатии – гарантия выполнения вами секретных статей предлагаемого мною договора о вечной дружбе.

– У вас есть еще одна монета? – спросил Бэн.

Даллес порылся в карманах легкого, чуть коротковатого для его роста пальто, вытащил медяшку и поинтересовался:

– Хотите взять реванш?

– Очень.

Даллес бросил монету; Бэн достал стодолларовую купюру и протянул ее Даллесу:

– У вас есть зажигалка? Попробуйте поджечь. Мы же не уговаривались, каким образом я стану искать монету, важно, чтобы я ее нашел.

– Я должен вас понять так, что вы отказываетесь от моего предложения?

– Именно так. Честь имею.

Через неделю ФБР вызвало для допроса помощника Бэна. В тот же день, только вечером, министерство юстиции уведомило начальника отдела безопасности Грюна (формально он числился «экспертом по внешнеэкономическим связям»), что он должен представить документы о договорах ИТТ с европейскими фирмами, контролируемыми Берлином. Наутро против ИТТ был дан залп в ведущих газетах Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Детройта и Чикаго; вечерние газеты Парижа, Лондона, Брюсселя, Рима и Осло перепечатали статьи из американских газет, сопроводив комментариями, полными многозначительных недомолвок.

В двадцать один час Бэн позвонил Аллену Даллесу и предложил ему выпить чашку кофе; тот посетовал на занятость, поинтересовал-

ся, нельзя ли перенести встречу на следующую неделю, и спросил, не может ли он чем-либо помочь, если дело носит экстренный характер.

– Можно подождать до уик-энда, – ответил Бэн. – Просто я тут подписал один договор, и мне хотелось, чтобы вы его проглядели своим соколиным оком – нет ли каких накладок.

– Прекрасно. В субботу я жду вас на ланч, лобстеров не обещаю, икры тем более, что поделать, дипломат не в силах тягаться со столпом Уолл-стрита, но мясо приготовлю сам, я вымачиваю его в красном вине, думаю, вам понравится.

РОУМЭН (Мадрид, ноябрь сорок шестого)

Он чувствовал, что Криста не спала, затаилась; одна рука была вытянута вдоль тела, а левая лежала у него на груди. Ему даже казалось, что она старается держать ее на весу, чтобы ладонь не давила на сердце, потому что однажды, в самом начале ноября, когда резко изменилась погода и, как обычно, сердце начало колотиться, словно заячий хвост, он осторожно снял ее руку с сердца, виновато при этом улыбнувшись.

Криста поняла и запомнила.

И хотя сердце сейчас уже не молотило, успокоилось после того, как он был с ней, – нежно, исступленно, отрешенно, вместе – она касалась ладонью его груди едва-едва. «Смог бы я так держать свою руку, – подумал он, – вряд ли; женщины сильнее мужчин – даже в этом, ведь она держит руку на весу вот уж минут пятнадцать, а может, больше, ждет, пока я усну, и сама сладко посапывает, хочет обмануть меня, глупышка».

– Не притворяйся, – сказал Роумэн.

– Женщины всегда притворяются, – ответила она, словно ожидая его слов, и рука ее, наконец, расслабилась, опустившись ему на грудь, как раз на сердце. – Им нельзя верить.

– Тебе я верю.

– Зря.

– Почему?

– Не знаю.

– Ты рада, что мы вместе?

– Нет.

– Ты говоришь неправду.

– Я говорю правду. Я не рада этому. Я счастлива. И поэтому очень боюсь, что все кончится.

– Закури мне сигарету.

– Я тоже закурю, можно?

– Очень хочется?

– Ужасно.

– Ты делаешься вульгарной, когда куришь.

– Ну и что? Во-первых, ты меня в темноте не увидишь. Во-вторых, мужчин тянет именно к вульгарным женщинам.

– Молодых – может быть.

– Всех.

– Значит, я – исключение.

– Нет, – сказала она, протянув ему зажженную сигарету. – Не обманывайся.

– Ты говоришь это, потому что снова хочешь быть со мной?

– Не бери это в голову. Я как кошка – хочу быть с тобой постоянно, мне очень хорошо с тобой, только я сразу от тебя уйду, если ты когда-нибудь спросишь: «Было ли тебе так же хорошо с другими?» Извини, что я это сказала, но ужасно боюсь потерять тебя. Нет, я сказала плохо... Потеря – это когда кошелек пропал... Слишком вещественно... Я боюсь потерять себя... Вот...

– Хорошо, что ты это сказала, человечек... Я бы обязательно спросил тебя об этом, такова уж наша природа, вроде оленей, сшибаемся рогами – кто выиграет бой на глазах у подруги... Знаешь, я, тем не менее, – только не сердись – спрошу тебя один раз, сейчас, раз и навсегда, не иначе... У нас с тобой большая разница в годах...

– Нет... Ты говоришь не то.

– Пожалуйста, не перебивай. Потом возразишь. Я не хочу тебя обидеть и так же, как ты, очень боюсь потерять себя. У нас с тобой очень большая разница в возрасте... К сожалению...

– К счастью, – сказала Криста. – К счастью для меня.

– Ты снова перебиваешь. Зря...

Криста села и, усмехнувшись, глубоко затянулась. В этот миг он заметил, какие у нее ужасные синяки под глазами; потом сигарета утратила свой тревожно-траурный свет, снова сделавшись пепельной, – только красный кружок в ночи определяет то, что через несколько минут исчезнет навсегда, превратившись в прах, который раньше был табаком, вымоченным в меду.

– Я перебиваю тебя, потому что воспитывалась в эпоху оккупации; пять лет – это срок... Поэтому не умею слушать...

– Ну, постарайся...

– Хорошо.

– Когда я читаю Шекспира, то думаю о доброте человечества, конопушка... Мир очень поумнел с той поры, когда он публиковал свои пьесы... Биология и медицина стали общедоступными науками... Мы все знаем о физиологии... От нее никуда не денешься... Так что нет нужды врать друг другу с самого начала... Поэтому, когда ты, храня свою любовь ко мне вот здесь, – он притронулся пальцем к ее груди, – и здесь, – он медленно переместил палец к ее голове, – тем не менее почувствуешь, что тебе недостает меня вот тут, – он постучал ладонью по кровати, – ты скажешь мне об этом открыто, и мы, как друзья, только так и никак иначе, подумаем, как следует поступить. Ты можешь мне обещать это?

– Должна.

– Почему «должна»? Я спрашиваю: сможешь ли?

– Хочешь прочесть лекцию о физиологии женщины? Мне это ужасно интересно... никто ничего не знает о физиологии, потому что этой паршивой, но, увы, необходимой науки не существует отдельно от духовности. Если ты постоянно думаешь: «Как ей со мной, чувствует ли она меня?» – значит, ты мне не веришь и считаешь шлюхой, которая забралась к тебе в постель... Да, да, так! Значит, я

умею притворяться, то есть лгать тебе, если могу делать вид, что мне хорошо, а на самом деле я мечтаю совершенно о другом... А как можно быть вместе с такой женщиной? Это же сплошное страдание... – Она жестко усмехнулась. – Разведка какая-то, а не любовь... Запомни: нет плохих мужчин. Все зависит от того – любит его женщина или нет, хорошая она или плохая, лгунья или честная, ханжа или умная... Вот и все. Ты умеешь замечательно слушать... И я никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никого не любила, кроме тебя, и только с тобой, здесь, – она тоже хлопнула ладонью по кровати, – я впервые узнала, что такое чувствовать мужчину... Если б ты был со мной одногодком, я бы постоянно просила у бога красоты себе, я бы бежала возраста, я б жила в страхе за то, что ты увлечешься другой, они же еще такие хлипкие, наши одногодки, такие неперебесившиеся, а ты... Я молю бога только о том, чтобы ты всегда был рядом и ни в чем не разочаровался во мне...

– Иди ко мне, – сказал Роумэн.

Она легла, прижалась к нему и сразу же опустила левую руку на его сердце; плечо сделалось твердым – держит руку на весу.

– У меня сейчас не болит сердце, – сказал он.

– Да?

Плечо обмякло, расслабилось.

– Оно у тебя часто болит?

– Когда меняется погода. И не болит, а молотит.

– Хочешь, вылечу?

– Конечно.

Она стала целовать его грудь, прикасаясь к соску губами осторожно, словно к новорожденному.

«Как странно, – подумал Роумэн, гладя ее по голове, по тяжелым, разбросавшимся волосам, – женщина, только-только родив ребенка, уже знает, как его надо держать на руках, как обнимать, а все мужчины пугаются, что малыш сломит шейку или подвернет ножку, они же такие у них нежные, как у цыплят... А женщина бесстрашна со своим младенцем, это ее. Страшно терять себя, она права, но еще страшнее потеря своего ребенка, и в этом нет ничего от собственника, в этом – преступление перед родом человеческим, потому что каждый ребенок – это чудо и тайна, неизвестно, кем он мог стать. Христос сделался Христом потому, что его распяли, когда он состоялся уже, а ведь, может быть, множество маленьких пророков ушли в небытие, не успев оставить по себе память словом...»

– Ты не хочешь сменить профессию? – спросил он, продолжая гладить ее тяжелые, словно бы литые волосы.

– Нет.

– Намерена продолжать возиться с цифрами?

– Да, – ответила она, оторвавшись на мгновение от его груди.

– Я против.

– Тогда поменяю. На кого?

– На врача-кардиолога.

– Хорошо.

– А я уволюсь со своей паршивой службы и сделаюсь твоим менеджером.

– Наладишь рекламу?

– Еще какую!

– Как это будет звучать?

– Пока не знаю. Это очень трудно выразить, не подумав... Данте Алигьери долго ломал голову, прежде чем сделал свою работу.

– Тебе не кажется, что он очень скучный?

– Каждый возраст рождает свое качество интереса, человечек... В литературе, бизнесе, любви, религии. В двадцать лет я не мог его читать, засыпал над страницей.

– А я просила папочку рассказывать про этого самого Данте. Он умел самые скучные вещи рассказывать невероятно интересно... Ему самому было интересно, знаешь... Он был как большой ребенок – так увлекался всем, так влюблялся бог знает в кого...

– А мама?

– О, мамочка его обожала... И потом она знала, что он великий ученый, поэтому прощала ему все... нет, я сказала неверно, она просто на все то не обращала внимания, это же не главное, это нижний этаж, а художники и поэты всегда живут в мансардах... то есть наверху... Им верх важнее, чем низ... Знаешь, как папа привил мне любовь к математике?

– Откуда же мне знать?

– Да, действительно...

– Расскажи.

– У тебя прошло сердце?

– Совершенно.

– Я тоже так думаю... Оно не молотит...

– Расскажи...

– Папа прекрасно изображал сказки... Он больше всего в литературе любил сказки... Когда он прочитал вашего писателя... Как же его... А, вспомнила, Хемингуэй... Вы странные люди, пишите «Хэмингвай», а читаете «Хемингуэй»... Вы, наверное, очень хитрые и скрытные... Как японцы... Те вообще себя закодировали в иероглифах... Так вот, когда папа прочитал «Фиесту», он сказал: «Это – сказочная книга». А он так лишь про Ибсена говорил, Чапека, Рабле и Шекспира... «Сказочные книги»... Да... Ну вот, он и начал путать меня с гусями, на которых летал Нильс, чтобы научить решать простейшие задачи... Я забыла, как он меня путал, втягивая в игру...

– Родишь ребенка – вспомнишь.

«Ох, как же она замерла, – подумал он, – бедная девочка, каждое мое слово она просчитывает сейчас, она все время хочет мне сказать что-то и не решается, а я не должен помогать ей, это как подсматривать... А показывать свое всезнание – рискованно, да и есть ли оно? Обыкновенный навык работы, профессия. Дураку ясно, что просто так ее ко мне не привезли: со мной торговали ею, с нею – мной. Чего они требовали от нее?» И вдруг он услышал в себе вопрос, которого не имел права слышать: «Ты убежден, что требовали? А если вся операция рассчитана именно таким образом?»

– Закури-ка мне еще раз, а? – попросил он.

– О чем ты сейчас подумал? Ты подумал о чем-то дурном, да?

– Да.

– Скажи мне, о чем. Ну пожалуйста, скажи мне! Я думала тоже о дурном, скажи мне, прошу тебя!

– Скажу. Только мы сейчас с тобой оденемся и поедем в город, все равно не уснем после сегодняшнего.

– Вчерашнего. Сегодня уже завтра, милый. Три часа, люди спят.

– Это в Норвегии люди спят. Или в Штатах. Колбасники в Мюнхене тоже спят. А испанцы только-только начинают гулять. Одевайся. Едем.

– Куда?

– Увидишь.

Свернув от Пуэрто-дель-Соль направо, они проехали по маленьким улочкам до Пласа Майор, бросили машину на площади, окруженной коричневыми декорациями средневековых домов, спустились на улицу (*улочку* – так точнее) Чучиньерос; задержавшись на миг возле скульптурного креста в языках металлического пламени. Роумэн спросил:

– Знаешь, что это?

Криста покачала головой.

– Это памятник ста пятидесяти тысячам евреев, которых здесь сожгли инквизиторы.

– А говорят, что у Гитлера не было учителей.

Он кивнул:

– Знаешь, что такое Чучиньерос?

– Нет.

– Улица названа в честь ложечников и вилочников; всего триста лет назад она была за городом, можешь себе представить? Здесь хорошие ресторанчики, мы с тобой пойдем в «Каса Ботин», самый древний в городе – четверть тысячелетия...

– Зачем? Ты не хотел быть дома? Думаешь, нас с тобой подслушивают, и не надо говорить в твоей квартире?

– В нашей квартире. Говори что хочешь. Постарайся забыть, что было.

– Нет, этого я никогда не смогу забыть.

– Забудешь. Обещаю тебе. Идем.

В маленьком ресторанчике веселье шло вовсю, хотя был уже четвертый час, – табачный дым, музыка, громкий смех. Испанцы разбиваются в ресторанах на *громкие* столы – каждый совершенно автономен, живет своей жизнью, не обращая внимания на то, что происходит рядом: мой стол – мой мир, все остальное не касается меня, пусть живут как хотят.

Хозяин сокрушенно покачал головой, поздоровавшись с Роумэном:

– Надо было б заранее позвонить, сеньор. Очень трудно с местами. Если не обидитесь, я вынесу вам столик из кладовки... Он, конечно, не дубовый, придется накрыть скатертью...

– Да хоть бумагой, – ответил Роумэн. – Моя жена и я хотим попрощаться с Мадридом.

– Сеньор покидает Испанию?

– Испанию нельзя покинуть. Мы уедем в Штаты на медовый месяц. Оттуда прилетают к вам, а мы отсюда поедем к ним, – видите, я уж и про своих родных американцев стал говорить как про чужих: Испания растворяет в себе каждого, кто провел здесь больше года.

– Щелочь, – согласился хозяин. – Разъедает без остатка. Моя мама была француженка, но я так ненавижу лягушатников, словно она была немкой. Правда! Пока будут делать стол, я покажу сеньоре наши подвалы. Прошу вас, сеньора. Только нагните голову, чтобы не набить шишку, очень крутые ступени. Наш дом построен на обломках крепостной стены, сложена из кремня, никакая бомба не достанет. Когда начнется новая война, приходите ко мне, никакого риска, абсолютная гарантия жизни.

– Нет уж, – усмехнулся Роумэн. – Спасибо, но лучше не надо.

– Надо, – обернувшись к нему, тихо сказала Криста. – Чтобы добили тех гадов, кто уцелел...

– Это ты про тех, кто сегодня был у нас в гостях?

Женщина ничего не ответила, пошла вниз по крутым лестницам еще быстрее; подвал был сложен из красного кирпича; балки крашены яркой белой краской; кое-где видны глыбы кремня, не задекорированные новым дизайном, – кремень таил в себе запах пороха и ожидаемого огня. Память выборочна, она хранит в себе стереотипы, но в зависимости от уровня интеллекта того или иного человека высверкивает такая аналогия, по которой можно прочитать характер личности.

«Это она сказала про кремневую ожидаемость огня или я подумал об этом?» – спросил себя Роумэн. По тому, как хозяин, рассмеявшись, ответил Кристине, что об этом ему говорил великий дон Пио Барроха, он понял, что Криста сказала именно то, о чем он только что думал.

– Мы действительно летим к тебе в Штаты? – спросила Криста.

– Да.

– Когда?

– Потом, ладно?

Она показала глазами на спину хозяина, который двинулся к следующей двери, что вела в бодегу, и Роумэн чуть кивнул ей в ответ.

– Я веду вас в святая святых, – пояснял между тем хозяин, спускаясь первым. – Здесь мы храним лучшие вина из Ламанчи, от сеньора Дон Кихота, даем только самым уважаемым гостям. Вы, – он улыбнулся, – получите от меня одну из этих бутылок. Правда. Вот эту, – добавил он, взяв с металлического стеллажа старую бутылку; так, однако, только казалось – пыль обсыпалась, и стала явственно видна свежая этикетка. «Ну, хитрецы, – понял Роумэн, – они специально присыпают новую бутылку пылью и землей, чтобы она за месяц приобрела соответствующую товарную ценность: «пятнадцатилетняя выдержка»!»

– Ах, я всегда путаю стеллажи, – смутившись, заметил хозяин. – Винами занимается мой младший, Доминго... Эта бутылка свежая, позапрошлогодняя. Правда.

«Зачем врать в малости, – подумал Роумэн. – Это же та мелочь, которая ставит под сомнение всего человека. Ну отчего мы столь

эгоцентричны, что полагаем, будто другие не заметят то, что заметил ты сам?!»

Когда они поднялись в зал, столик уже накрыли; свет, однако, притушили, хотя народу за те минуты, пока их не было, стало, казалось, еще больше, – четыре часа утра, разгар мадридского веселья...

– В чем дело? – спросил Роумэн хозяина. – Будет сюрприз?

– Да, – ответил тот. – Ко мне попросились два безработных артиста. Я их кормлю и пою, пока они ищут себе антрепренера, а по ночам за это раза два они выступают перед постоянными гостями. Один наш, Педро Оливьера, другой француз, – как же я ненавижу эту нацию скряг, если б вы знали! Правда! Извращены, жадны до глупости и при этом огромный гонор! Но фокусничает этот парень хорошо, убедитесь сами... Очень странный парень, он к тому же рисует и прекрасно играет на скрипке. Правда. Я спросил его, отчего бы ему не поступить в оркестр, а он ответил... Знаете, что он ответил?

– Знаю, – сказала Криста. – Он ответил, что лучше быть «звездой» в маленьком, но своем деле, чем последней скрипкой в самом лучшем оркестре.

– Вы знакомы с ним? – удивился хозяин, и по тому, как он удивился, Роумэн понял, что Криста угадала. «А я бы ответил иначе, спроси он меня, а не Кристу. Я бы ответил так: "Фокус – власть; люди – подданные. Скрипка слишком нежна и хрупка, чтобы позволить мне ощущать свою силу". Каждый о своем, – подумал он, – а обгаженный – о горячей ванне».

Фокусник был маленький, сутулый, причем он не играл сутулость, он действительно был таким. с круглыми водянистыми глазами; веки набухшие, видимо, болен парень, почки или сердце.

Он достал из кармана старого, лоснящегося фрака пачку «Дукадо», открыл ее, вынул сигарету, протянул людям, сидевшим ближе всех к нему, попросил пощупать – достойным жестом, ничего от клоуна, который хочет рассмешить собравшихся, нет, просто человек делает свою работу: «Сейчас я стану вас дурить, а вы поймайте меня, попробуйте-ка, тогда можете освистать, прогнать взашей, опозорить, только сначала поймайте, вы же за этим пришли сюда; когда вы смотрите мою работу, вам более всего хочется заметить, как я дурю вас, бедные вы мои люди, но я не доставлю вам этого удовольствия, не ждите; фокус – математика, ее понимают единицы из миллионов; наука избранных; холодная, отрешенная, а потому чуть снисходительная к другим, но очень при этом требовательная».

Сигарету фокуснику вернули, он легко бросил ее в угол рта, сжевал, достал следующую и так же легко, поймав ее ртом, прожевал, словно кусок торта. И так он сжевал все сигареты, одну за другой, – двадцать штук; он не стал икать, хвататься за живот, изображая резь в кишечнике (Роумэн, кстати, ощутил ее), или падать на пол, дрыгая ногами, а можно было бы: здесь любят предметное выявление состояния, люди платят деньги за то, чтобы видеть.

Он постоял несколько секунд в задумчивости, обводя притихших посетителей своим грустным взглядом, а потом – неожиданно хлопнув ладонями над головой – начал пускать из носа, ушей, рта клубы табачного дыма, а после выплюнул на пол кусок огня и, не

поклонившись даже, ушел, потому, видимо, что над ним слишком уж животно смеялись...

– Ты заметил, какие у него руки? – спросила Криста.

– Да. Странно, у него испанские руки. В Прадо... – начал было он и запнулся. – В Прадо, – повторил он, – ты можешь заметить, что у тех испанцев, которые позировали Эль Греко, Гойе, но особенно Мурильо, – апостольские, указующие руки. У этого – такие же.

– Ты споткнулся, когда помянул Прадо... Почему? Оттого, что именно там меня видели с Кемпом?

– Да.

– Ты думал, что упоминанием Прадо можешь обидеть меня?

– Да, пожалуй. Но мне самому тоже было неприятно произносить это слово, хотя я так любил его раньше...

– Отведешь меня завтра в Прадо?

– Конечно.

– Я там работала, – сказала Криста чуть не по слогам, – поэтому не смела смотреть живопись.

– Ты хочешь сейчас выговориться про свою работу? – спросил он. – Можешь, если тебе это надо.

– Я не знаю, чего я хочу, милый... не сердись... Я должна тебе рассказать...

Она не успела закончить, потому что вышел второй фокусник, испанец, и все зрители зааплодировали ему, выражая свою симпатию сдержанным дружеским «оле!».

Этот вел себя иначе: слишком ломко поклонился («Я так смеюсь, – подумал Роумэн, – давно я так не смеялся, целую вечность, с того дня, когда Штирлиц сказал о Прадо»), слишком фамильярно подмигнул хозяину, слишком резко выбросил в сторону правую руку и, чересчур фокусничая, провел левой рукой по большому и указательному пальцам сплошную красную линию каким-то особенным, очень мягким и ярким мелком – получился рот. Затем он надел на безымянный палец куклу, и красный рот начал диалог со смешным, встрепанным человечком. Рука смешила гостей, рассказывала про собравшихся какие-то истории. Потом брат хозяина, Доминго, вынес клетку с огромным попугаем, и начался разговор троих, а после сам хозяин вытащил громадную голову из папье-маше. Теперь разговаривали уже четыре существа – встрепанный человечек на безымянном пальце, рот, составленный из указательного и большого, попугай и голова из папье-маше. Фокусник был недвижим, только заметно, как резко напряжена его шея: чревовещание – трудная профессия, не меньше шести часов ежедневных репетиций, а когда же он, бедный, бегает в поисках антрепренеров?!

– Это искусство, – сказала Криста, зааплодировав первой.

Чревовещатель заметил это; кукла и красный рот немедленно повернулись к ней:

– Мы нравимся вам, сеньора? Спасибо, нам очень приятно, что мы пришлись по душе такой гвапе[1], свои-то мало что понимают в нашем искусстве, свои никогда не ценят при жизни артистов, толь-

[1] Гвапа́ *(исп.)* – красавица, душенька.

ко чужаки отмечают в нас талант, правда? – обратился встрепанный человек к попугаю.

– Ходер[1] – ответил тот, – истинная правда.

– А ты эмигрируй! – воскликнула страшная голова из папье-маше.

В зале притихли: такого рода шутки были не по душе Пуэрто-дель-Соль[2].

– Оле! – крикнул Роумэн и зааплодировал. Все засмеялись успокоенно – кто-то рискнул первым, слава богу, на мне никакой ответственности, однако от аплодисментов люди воздержались, ограничились одобрительным «оле!», к делу не пришьешь, да и потом голос в толпе еще надо доказать, а жест заметить значительно легче, – в каждом ресторане ночью появляются шпики из секретной полиции, кто знает, нет ли их и сейчас?

– Меня заставляли репетировать встречу с тобой, – сказала Криста. – Ты не представляешь себе, как это было унизительно... Они спросили, правда ли, что я люблю тебя. Я ответила, что ты просто хороший партнер в постели...

– Да?

– Ты понимаешь, отчего я именно так ответила?

– Нет.

– Потому что палачам никогда нельзя показывать, кого ты любишь. Они обязательно этим воспользуются, будут жать именно на это, выкручивать руки, сулить, доказывать, унижать... Я знаю, я испытала это на себе, потому что просила за па...

– Я знаю.

– Я понимаю, что знаешь. Но ты дослушай меня все-таки. Я не скрывала своей любви к нему. Более того, я объясняла им, за что я люблю... любила папочку... Я пыталась рассказать им, какой он умный, честный, красивый, как он добр к людям... Понимаешь? Я рассказала им такое, что они смогли использовать в тюрьме – против папы. Они пугали его, что я тоже арестована... иначе откуда бы они узнали такое о нем?

– Ты рассказывала об этом Гаузнеру?

– Ему тоже. Ты ведь теперь, наверное, знаешь имена всех, кому я рассказывала про папу...

– Да.

– Ох, как хорошо, что ты так ответил, милый...

– А как бы я мог ответить иначе?

– Ты мог солгать.

Он покачал головой:

– Ложь укорачивает жизнь.

– Когда как.

– Ты имеешь в виду «ложь во спасение»?

– И это тоже.

– Может быть. Только я всегда стараюсь говорить правду.

– Даже когда говоришь со своими агентами?

---

[1] Ходер *(исп.)* – ругательство.

[2] Пуэрто-дель-Соль – площадь в Мадриде, где находилась франкистская охранка.

– Да, – он усмехнулся. – Им-то как раз довольно трудно врать, они здесь очень высокие люди, могут меня перепроверить... А что касается Гаузнера... Ты слышала три хлопка?

– Какие?

– Когда ты стояла на балконе?

– Да. Я подумала, что вы обмываете сделку... Гаузнер очень любит обмывать договор... Обязательно открывает бутылку шампанского...

– Больше не откроет.

– Откроет.

– Нет, – Роумэн покачал головой, – больше не откроет. Это было не шампанское, человечек. Это были выстрелы из пистолета с бесшумной насадкой, из которого Гаузнера пристрелили... Так что живи спокойно.

– Хорошая новость... Жаль, что этого не сделала я... Но ведь репетировал со мной другой человек.

– Пепе?

– Нет.

– Кемп?

– Нет, другой. Я не встречала его раньше.

– По фото узнаешь?

– Конечно. Но ты дослушай меня. Ладно?

– Конечно, – ответил он, чувствуя, как сердце снова заколотилось, словно заячий хвост, и колышаще зашумело в висках.

– Так вот, он репетировал со мною нашу встречу... Каждый мой жест и слово... Торговал он при этом твоей жизнью... Он не поверил, что ты просто хороший партнер в постели... Они мне рассказали, что тебя пытали и ты перестал быть мужчиной... Я ответила, что мне как женщине лучше знать, мужчина ты или нет... Но это все пустое, милый... Я подписала обязательство работать против тебя.

– Я предполагал это.

– А почему не спросил?

– Потому что я знал, что ты непременно расскажешь мне об этом.

– Я сама не знала, расскажу ли я тебе. Вот. Ну и рассказала.

– Спасибо, человечек. Мне стало сейчас так легко и счастливо на душе, так спокойно на сердце...

– И от этого оно у тебя так молотит? И поэтому ты стал белым, да?

– Сейчас это пройдет... Минут через пять... Я побелел, когда понял, что ты хочешь мне сказать то, о чем очень трудно говорить, прямо-таки невозможно... Но и мне придется сделать это в Вашингтоне... Я тоже подписал обязательство работать на них. Когда понял, что они дейсвительно убьют тебя... У них ведь не было иного выхода...

– Значит, я не должна была тебе ничего говорить...

– Почему?

– Потому что ты будешь обязан сказать в Вашингтоне и про меня. И тогда я перестану быть твоей... женой... Если, конечно, ты продолжаешь еще хотеть этого... Я стану перевербованным агентом... Ты ведь не вправе, сказав им про себя, утаить обо мне?

...В девять утра Роумэн отправил в Вашингтон шифротелеграмму Макайру с просьбой разрешить ему текущий отпуск в Штатах, чтобы жениться на родине.«Если люди Гаузнера действительно читают наш код, то пусть прочтут и это сообщение. Они не могут не проявить себя, если так. Очень хорошо. Рядом с Кристой сидит мой помощник Джонсон, надежен, как булыжник. А я теперь готов к встрече. Они проявят себя в течение ближайших двух дней».

Однако ответ от Макайра пришел через пять часов: «Поздравляю от всего сердца, можете считать себя в отпуске с сегодняшнего дня, сердечно ваш».

Дома Джонсон сообщил, что звонков не было, вообще ничего подозрительного; команда, наблюдавшая за улицей, тоже не обратила внимания ни на одну машину или пешехода; все как всегда, только один раз проехал полковник Эронимо, но ведь он наш друг.

– Он наш друг, – повторил в задумчивости Роумэн. – Мне к нему звонить не с руки, сборы и все такое прочее, – он замолчал, включил радиоприемник, нашел музыку и продолжил: – Возьмите какую-нибудь ерунду – продлить визу больной американской старухе или что-нибудь в этом роде – и поезжайте на Пуэрто-дель-Соль... Сделав, что нужно, загляните к Эронимо, поманите его пальцем в коридор и там спросите: «Кто отправил вас вчера... нет, теперь уже позавчера из города?» Объясните, что ответ должен быть честным... Нет, так нельзя говорить испанцу – пусть даже и полицейскому, взовьется от обиды, потеряем... Скажите, что ответ должен быть исчерпывающим, потому что это позволит Роумэну, только это и ничто другое, продолжать поддерживать с ним дружеские отношения – со всеми вытекающими отсюда последствиями. О результате разговора скажете мне в аэропорту, перед нашим вылетом. И если он ответит исчерпывающе, проведете работу по тому человеку или, возможно, людям, которые отправили его из Мадрида, когда я вернулся из Мюнхена. О'кей?

– О ка, – ответил Джонсон, техасец, он экономил время даже на гласных, сокращая привычный «ол коррект», то есть «О'кей», до типично техасского, стремительно-глотающего «о'ка»; «пусть что угодно говорит, только бы сделал то, что я ему поручил»; на аэродроме Джонсон сказал, что приказ поступил от бессменного министра правительства Бласа Переса Гонсалеса; «вот куда тянется цепь Верена; ай да молодцы, лихо работают!».

МЮЛЛЕР (Аргентина, март сорок шестого)

Он оглядел собравшихся, улыбнулся им своей неожиданной, доброй улыбкой, чуть шмыгнул носом и сказал:

– Ну, вот мы, наконец, и собрались все вместе, дорогие мои друзья. И я счастлив этому, неизбывно счастлив, – только старый баварский крестьянин так радуется первым весенним ручейкам в горах, предвестникам плодородия и праздника будущего урожая. Поэтому я открываю наше совещание, испытывая уверенность в том, что пройдет оно конструктивно и по-деловому. Я дам общий обзор положения в мире, каким он видится мне, моим друзьям и нашим

старшим товарищам, и остановлюсь на некоторых аспектах ситуации в Аргентине. А потом свои соображения выскажете вы. Есть возражения? Возражений нет. Прекрасно. Итак, по первому параграфу. Думаю, всем ясно, что мир вступил в эру глобального противостояния Кремля и Белого дома. С той поры, как Британская империя – благодаря лейбористам – станет Содружеством наций, Лондон как объект мировой политики будет играть подчиненную роль, европейская эпоха истории человечества на какое-то время прекратила существование, и теперь на арену всемирной схватки выходят новые силы – Китай в первую очередь, затем Латинская Америка, страны Ближнего и Среднего Востока, то есть нефть как кровь войны.

Сталинский ставленник Мао Цзэдун является, конечно же, личностью вполне устремленной, хотя и не лишенной какой-то парадоксальности. Победа над Японией, крах Квантуна – все это разрушило миф о величии острова, на смену этому мифу пришел призыв к борьбе за окончательное освобождение от «своих угнетателей». Несмотря на помощь, которую Белый дом оказывает генералиссимусу Чан Кайши, я не думаю, что он удержится, ибо у него нет национальной концепции, он хочет сохранить статус-кво, а это на данном этапе невозможно.

В какой мере Москве выгодна победа Мао Цзэдуна? С точки зрения пропагандистской – выгодна по всем позициям. С точки зрения экономической – не думаю, поскольку Кремлю придется помогать, – Мюллер смешливо дернул носом, – товарищам по классу, иначе они поступить не смогут, но это будет означать удар по русским, это затормозит все их восстановительные работы, а им надо восстановить территорию бóльшую, чем Германия и Франция, вместе взятые.

Какой вывод? Об этом – в конце, суммируя общий итог.

Латинская Америка – мы это видим, как никто другой, потому что смотрим глазами новых людей, кроме, конечно, тех, – Мюллер улыбнулся Людвигу Фрейде, сидевшему возле камина, – кто прожил здесь большую часть жизни, – являет собой кипящий котел с крепко закупоренной крышкой. Однако, как ее ни закручивай, результат будет один – пар найдет выход; впрочем, пар можно выпустить, но можно и довести ситуацию до взрыва. Вопрос, на который мы должны дать ответ, очевиден: что выгодно нам, нашему братству? Взрыв? Или выпускание пара?

Во-первых, престиж, завоеванный русскими во время минувшего сражения, не мог не отразиться на здешних коммунистах. Хотели мы того или нет, хотя, – Мюллер усмехнулся, – мы этого, конечно, не хотели, русские подтвердили правоту своей идеи делом. Все левые силы здесь потребовали прав, и власть не могла им их не дать; мы – далеко, британцы, традиционно сильные в здешних банках и на железных дорогах, были, как и янки, связаны по рукам и ногам союзом с Кремлем: не могли же они помогать врагу?!

Во-вторых, попытки Перона и боливийцев обуздать левых были преподаны американской прессой как путчи, организованные нашей секретной службой. Увы, должен вас огорчить: хотя наше влияние на лидеров путчей было весьма значимым, они не коллаборировали

с нами в той степени, в какой нам бы хотелось. Таким образом, вместо поддержки Перона и подобных ему Вашингтон оттолкнул их ногой. Трумэн сейчас пытается наладить добрые отношения; поглядим; думаю, без нашей помощи ему не обойтись.

В-третьих, если левые не будут обузданы на континенте раз и навсегда, ситуацию трудно предсказать, а мы с вами лишимся плацдарма, столь необходимого для процесса нашего восстановления.

Эрго: на нынешнем этапе наши интересы и понятный страх янки перед возможной потерей своих позиций в Латинской Америке практически смыкаются.

Эта ситуация не есть некий парадокс истории, это реализация того, что предсказывал фюрер, особенно в последние месяцы битвы.

Теперь по поводу положения в Греции и на Ближнем Востоке.

Гражданская война в Афинах делает невозможным диалог между Москвой и Западом. И это прекрасно. Южнее Греции тоже пахнет порохом. Крах британского колониализма, явившийся прямым следствием их победы, – а вот это как раз парадоксальная ситуация, не правда ли: реальное поражение вместо мифической победы?! – породил новое качество не только арабского народа, еврейского населения Палестины, но и Африки в целом. Там грядут события, трудно предсказуемые, однако ясно одно: Англии и Соединенным Штатам рискованно открыто поддерживать евреев в их сражении за создание своего государства. Единственной силой, которая честно заявляет о возможности создания такого рода общности, является Кремль. Сталина можно понять: в отличие от Лондона у него есть своя нефть в Баку. Англичане поддерживают и арабов, и евреев, стремясь при этом сохранять видимый нейтралитет. Не позволим. Белый дом пока еще не занял определенной позиции. Подождем. Ну, а мы – благодаря искусству нашего товарища Йозефа Менгеле – имеем возможность знать всю правду и про арабов, и про евреев. Наши люди работают в обоих направлениях. Будем уповать на будущее.

Африка. В Намибии и Уганде мы имеем свои опорные пункты – как-никак были нашими колониями. Конечно, роль наших людей в Намибии пока что мизерна, но мы должны научиться высокому искусству ожидания. В том, что мы еще скажем свое слово, и особенно в Намибии, – а это подступы к золоту и алмазам – не приходится сомневаться.

Европа. Этот регион в настоящее время не может быть включен в сферу нашего геополитического интереса. Продолжаем составлять досье, вести картотеки на лиц, вызывающих наш интерес, – в основном перспективный, пугаем западных союзников самим фактом своего незримого присутствия – и все. Такова наша доктрина на ближайший год. Год – я не оговорился.

Мюллер отложил конспект, в который он заглянул всего лишь дважды, и снял свои очки в тоненькой золоченой оправе – ни дать, ни взять учитель пения из сельской школы.

– Я изложил основную препозицию. Каждый вправе внести коррективы, не согласиться с чем-то из сказанного; увы, мы часто грешили тем, что не слушали никого, кроме фюрера, а это есть не-

уважение к нации, у нас много умных людей. И если раньше было опасно иметь собственную точку зрения, то отныне – смею вас заверить со всей определенностью – мы будем ценить тех, кто предлагает свое, не думая, понравится это руководству или нет. Мы, – Мюллер чуть откинул голову, словно собираясь запеть, – сами решим, что в ваших предложениях интересно, а что – мизерно и не заслуживает поддержки. Карман наших общих идей и желаний должен быть полным, нельзя – и это доказала история – упираться лбом лишь в одну возможность; их – много; задача состоит в том, чтобы выбирать оптимальную на данном конкретном этапе.

Позволю себе проанализировать кое-какие частности, ибо они могут превратиться в основоположения для дальнейшей практической работы. Начну с Аргентины. Вы все знаете, что пресса Штатов клеймила Перона как агента рейха. К счастью, он не был нашим агентом – в том смысле, какой янки вкладывают в это понятие: они хорошо работали по чикагской мафии, но опыта сотрудничества с перспективными политиками у них еще нет. Да, действительно, и Алигьери, прикомандированный к Перону спецслужбой дуче, и наш полковник абвера Кинглер работали с ним, стараясь привить ему вкус к политике, объясняли структуру работы нелегальной организации оппозиции, – опыт Кальтенбруннера, когда он сражался за Вену, весьма богат в этом смысле, – и они преуспели; Перон вернулся в Буэнос-Айрес человеком, осознавшим собственную силу. Мы смогли пробудить в нем лидера, это крайне важно. Людвиг Фрейде, – Мюллер кивнул ему подбадривающе, – в эпоху кризиса был на высоте, он находился все время рядом с Пероном. Заметьте себе: как только Белый дом понял, что Перон закусил удила, как только умные люди в Штатах до конца осознали, что, подвергая унижению популярного лидера, они могут потерять Аргентину, так сразу же государственного секретаря Хэлла понудили уйти в отставку – по состоянию здоровья. Действительно, рыцарство Хэлла, который клеймил Перона в пронацизме, било по самым умным людям на севере – по Уолл-стриту, по его интересам на юге континента; именно поэтому, объявив об уходе Кордэлла Хэлла, об отводе флота от уругвайских берегов и признав режим генерала Фарелла и Перона, Уолл-стрит начал тур вальса с Розовым домом[1], пригласил Аргентину на Чатапультекскую конференцию и гарантировал ей членство в ООН, несмотря на пронацизм Перона... А он, кстати, был не меньше, чем у Франко. Того. однако, в ООН не пустили; Перон же – член этой организации.

Я располагаю достоверной информацией, что посол Англии в Аргентине сэр Кэлли по личному указанию Черчилля посещал Перона и генерала Фарелла, чтобы сказать им: «Мы сами заложники «младшего брата», положение наше сложное, но мы понимаем вас и будем оказывать вам посильную поддержку».

Пассаж ясен: британцы боятся потерять здесь свои позиции. Они не зря этого боятся, они их потеряют.

Полагаю, что встреча Перона с сэром Кэлли привила ему вкус к

[1] Так называется дворец президента Аргентины.

играм: только этим я объясняю установление отношений Перона с Кремлем; ему сейчас необходима третья сила. Лондону угодно пребывание здесь русских, янки – нет. Возникает вопрос: а что выгодно нам? Кого поддержать? А ведь мы – несмотря на военное поражение – достаточно сильны экономически и организационно, чтобы сказать свое слово, и оно будет весомым...

Стратегическая линия, определенная нами по отношению к Перону в начале сорок пятого года, себя оправдала; он, с подачи Людвига Фрейде, сделал то, что вызвало ярость в Вашингтоне, да и в Москве: он разрешил массовую эмиграцию немецких умов и рук в эту страну. Позиция Перона: «Мир устал от войн и жестокостей, мы сделаем свой первый взнос в гуманное отношение к людям, на чьей бы стороне они ни были во время битвы». Эта позиция так великолепна, что не может быть расстреляна с американских канонерок, – тот же Ватикан не позволит. Да и потом – с пропагандистской точки зрения – дурно расстреливать из орудий само понятие «гуманизм».

Популярность Перона поставила его над толпой, он стал живым богом, он дал стране реальные блага и этим победил левых.

Но в Колумбии, Боливии, Перу, Венесуэле и Коста-Рике очевиден взлет левой тенденции. Там нет личностей нашей ориентации, и – как результат – во всех этих странах открылись русские посольства.

Таким образом, я подобрался к главной позиции.

Если вы помните, я задал вопрос, в определенной мере риторический: кого нам выгодно поддержать? Думаю, нам выгодно поддержать не британцев, которые ближе нам, но янки, потому что только они могут здесь, на этом континенте, на деле, а не на словах, увидеть нашу умелость в борьбе против Кремля.

Возможна ли такого рода борьба без хорошо отлаженных контактов с секретными службами янки? Возможна. Никто так не знает большевиков, как мы. Но выгодно ли нам тайное рыцарство? Думаю – нет. Всякий контакт – суть начало диалога. Диалог – путь к взаимному выяснению позиций. Но диалог должен состояться именно здесь. Почему? Потому что тут мы докажем нашу нужность! А не в камерах нюрнбергской тюрьмы! Равные с равными, только так!

Поэтому, заключая это короткое выступление, я хочу задать вам, прибывшим сюда со всех точек континента, только один вопрос: сможем ли мы подготовить крупномасштабные операции, следствием которых будет безусловный разрыв дипломатических отношений между всеми странами юга Америки с Россией? Всеми, но не Аргентиной, ибо присутствие русских здесь выгодно не столько даже Перону, сколько великогерманской идее – я имею в виду Риктера и его работу по атомной бомбе для нас с вами, а не для этой страны пеонов и кабальерос... Пока здесь русские, прямой санкции янки не будет, не решатся, это может привести – особенно если мы подтолкнем Перона обратиться к Советам за помощью – к открытой конфронтации между Москвой и Вашингтоном. И та, ни другая страна к этому пока еще не готовы.

Во всех странах этого континента разрыв отношений с Кремлем поможет здоровым силам армии покончить с левой тенденцией. Это

также гарантирует нужную информацию по поводу всего, что будет происходить на юге Америки, ибо вместе с русскими дипломатами отсюда вышвырнут и русских журналистов.

(По тому, как собравшиеся зааплодировали, Мюллер понял, что не зря провел последние полтора года здесь, в уединении: главное — схема, во всем и всегда важна схема, а уж как ее сделать живым организмом — его забота, его, а не тех, кто здесь собрался.

Он знал, кто будет его контактом на севере. Он не сказал об этом, потому что имя слишком широко известно в мире — полковник Бэн, создатель ИТТ.)

Первым после Мюллера выступил Людвиг Фрейде.

— Я приветствую концепцию дона Рикардо. В ней присутствуют твердость и вера. А это ли не основа успеха в любом начинании? Я не вправе выдвигать какие-либо идеи, связанные с другими регионами мира, потому что фюрер и партия национал-социалистов поручили мне работу именно в этом районе. Поэтому я сосредоточусь на проблемах, которые перед нами ставит жизнь в Аргентине.

Я не буду говорить, сколь трагичным оказался для нас, национал-социалистов, сорок второй год, когда в руки левых, проникших в министерство внутренних дел Аргентины, попали все наши архивы. Был раскрыт код, захвачены списки наших людей, а их было немногим менее пятидесяти тысяч, потому что практически в каждом городе мы имели нашего немца и аргентинского связника. Но мы смогли ударить по врагам — и пришли военные. Мы тогда не рискнули сразу же организационно восстановить всю цепь; мы закончили эту работу после победы Перона, но был уже конец прошлого года, мы только сейчас стали на ноги, отладив связь с нашими друзьями по совместной борьбе. Нам приходится действовать в обстановке строжайшей конспирации, потому что янки развивают свою активность, и сделать им подарок, засветив нашу структуру, — непростительно.

Я бы не разделял оптимизма дона Рикардо по поводу русского присутствия здесь как некой антисилы, которую Перон сможет использовать в наших интересах. Русские есть русские, фюрер назвал их, наравне с евреями, нашим главным врагом, и мы не вправе ревизовать указание Адольфа Гитлера, хотя, не спорю, отдельные вопросы тактики нашей борьбы поддаются рабочим коррективам, увязанным с изменившейся ситуацией. Мы установили свой контроль над прибывшим русским дипломатом, помимо того, который осуществляет спецслужба Перона. Наши пункты слежения находятся рядом с опорными базами аргентинцев: это улица Коперника, прямо напротив «Петит отель», где поселился русский представитель Жуков и его помощник Чимбрадзе, и улица Генерала Жели-и-Обеса; все встречи контролируются, лица, входящие в контакт с русскими, вносятся в картотеку; хорошо был отработан слух: каждый, кто решит посетить «Петит отель» без санкции на то властей, может быть привлечен к дознанию. Машина русских, голубой «паккард», номер СД-264, как и его водитель Луис Гонсалес, взята под непрерывное наблюдение. Мы отдаем себе отчет в том, что, когда сюда прибудет русская колония, она — хоть и незначительная по числен-

ности – не будет сторониться попыток, предпринимаемых рядом янки, выявить наших товарищей по борьбе, нелегально перебравшихся сюда после окончания битвы в Европе. Осторожность и еще раз осторожность. В случае необходимости – резкий ответный удар, но главная стратегия сегодняшнего дня – выжидание.

Поскольку мы смогли в кратчайший срок наладить атомный проект, поскольку в Кордове работают наши специалисты, заканчивая для Перона создание самого скоростного в мире истребителя, поскольку мы – в целом – восстановили ядро партии здесь, в Аргентине, нам предстоит еще год ожидания, чтобы проложить новые пути на континенте, в первую очередь в Парагвай, Боливию, Чили и Перу, прежде чем мы сможем предложить серьезный, а не авантюрный план той комбинации, о которой говорил дон Рикардо.

...Следующим поднялся Бернардо Майер. Он не сразу начал говорить; помял лицо маленькой ладонью («Маникюр, сукин сын, делает, – сразу же отметил Мюллер, – и кольцо носит, хоть заранее снял его, потому что знает, как я не люблю показные штучки, но след-то остался, что ж ты эдак-то, малышок?!»), потом пожал плечами и, словно бы удивляясь чему-то, ему одному видному, заметил:

– Мне труднее других как выступать перед вами, так и приехать сюда. Все же я единственный, кто по-настоящему фигурировал в документах комиссии по антиаргентинской деятельности. Но я приехал. Я приехал потому, что в душе наболело. А наболело оттого, что мы чересчур последовательно и бездумно проводили линию доктора Фрейде. Мы слишком дисциплинированно выжидали и осторожничали. А надо было еще более активно действовать. Мы выпустили ситуацию из-под контроля в начале сорок пятого. История нам этого не простит.

Мюллер мягко улыбнулся:

– Не клевещите на себя. Ситуацию выпустили из-под контроля не вы, а изменники-генералы на полях сражений. Если бы они удержали армию, вы бы диктовали Розовому дому наши условия. И вы, и доктор Фрейде, и партайгеноссе Зандштедте честно выполняли свой долг перед рейхом. Простите, что перебил, продолжайте, пожалуйста.

– Вы просили быть откровенным, дон Рикардо... Я стараюсь, но это вовсе не просто, как-никак мы все привыкли глазеть наверх – как там? – а уж после этого решались говорить сами...

– Не забывайтесь, Майер! – крикнул Фрейде. – Отдавайте отчет своим словам!

– Я отдаю отчет своим словам. Если вы погрязли в коммерции и нашу общую с Пероном победу обернули на самообогащение, то я как был идеалистом, верным движению, так им и остался. Вы живете на своем острове в окружении олигархов и паршивых еврейских буржуев, а я ютюсь в фанерном бараке среди полуголодных рабочих. И мне очень не нравится, когда вы говорите здесь, как надо жить. Дон Рикардо внес дельное предложение. Я кожей чую, что сейчас самое время подготовить не одну, а пять-шесть комбинаций, чтобы продемонстрировать неумирающую силу национал-социализма. Мы ничем не рискуем, кроме возможной победы. А вы рискуете ваши-

ми счетами в банках и дворцами на островах! Вам есть чем рисковать! Придет время, когда наш партийный суд разберется, как вы разбогатели на нашей работе!

Фрейде поднялся:

– Дон Рикардо, это возму...

– Сядьте, – сохраняя улыбку, но, тем не менее, холодно, заметил Мюллер. – Умейте слушать, партайгеноссе Фрейде. Вы ответите после, здесь собрались друзья, мы говорим о том, что наболело, вы получите право ответить по всем пунктам своему оппоненту.

– Спасибо, дон Рикардо, – прочувствованно сказал Майер. – Так я вот про что... Моя линия связи с Боливией и Парагваем работает надежно, как и раньше. Я держу опорный пункт связи в Мадриде и Милане, я не открыл их никому, они функционируют. У меня есть надежные люди среди русской колонии в Асунсьоне, они сотрудничали с вами, – он выразительно посмотрел на Мюллера, – не с партией...

– Странная позиция, – Мюллер пожал плечами. – Зачем отделять партийное ведомство рейхсляйтера Бормана от моего? Мы все служили и служим одному делу – идее германского национального возрождения...

– Верно, – согласился Майер, – только я это к тому, что вы своих не берегли, вот им повсюду головы-то и поотрывали, а мы верных и нужных людей щадили... Вам каждый день сводку подавай, а мы впрок думали... Поэтому я и сохранил в Парагвае русский фашистский центр, там люди готовы на все... Вот я и намерен предложить использовать их в той комбинации, которая позволит нам организовать разрыв дипломатических отношений между здешними режимами и Россией. Я готов предложить план комбинации по Боливии и Колумбии в течение месяца... Пусть ждут трусы, которые не верят в наше дело. Я – верю. Поэтому идею дона Рикардо поддерживаю целиком и полностью: за работу!

– Как фамилия руководителя русского фашистского союза в Асунсьоне? – легко поинтересовался Мюллер.

– Артахов, – после колебания ответил Майер. – Очень интересный человек.

– Чем он там занимается? Я имею в виду легальное занятие?

– Могу я ответить вам с глазу на глаз, дон Рикардо?

Мюллер изумился:

– У вас есть основания не доверять кому-либо из присутствующих?! Назовите этого человека, Майер! Это ваш долг!

– Нет, я никого не подозреваю... Просто нельзя называть имя твоего доверенного человека открыто... Меня же инструктировали... Только твой руководитель, ты и он, и больше никто.

– Верно. Так и будет впредь. Но здесь собрался костяк будущих руководителей движения, Майер. Вы – в том числе. Люди, собранные здесь, прошли надлежащую проверку. И занимался этим я. Десять месяцев, Майер, десять месяцев...

– Он редактирует журнал «Оккультизм», его выписывают в Америке, Британии, Канаде, – хорошая форма связи с теми из наших, кто там уцелел, вот почему я так его берегу...

– Спасибо, Майер. Вы имели право не ответить мне, и я бы не посмел принуждать вас. Спасибо. Кто следующий? Пожалуйста. Слово Карлу Губнеру.

– Я поддерживаю ваше предложение, группен... дон Рикардо. Мы имеем все возможности в самое ближайшее время провести несколько комбинаций, чтобы на этой почве начать диалог с янки. Возникает лишь один вопрос: степень риска? Конечно, чем более рискованна операция, то есть чем более она крупномасштабна, тем возможнее выгода нашему движению. Например, если бы мы смогли втянуть русских в интерес по отношению к авиационному центру Перона в Кордове (а они не могут не быть заинтересованы в работах штандартенфюрера СС профессора Танка), то разрыв отношений между Аргентиной и Москвой стал бы очевидным фактом, но в условиях задачи, поставленной доном Рикардо, присутствие русских здесь признано допустимым в интересах конечного успеха всей комбинации. Я не берусь оспаривать концепцию дона Рикардо, его авторитет не позволяет мне этого. Следующее предложение: поскольку мне приходилось постоянно курировать работу нескольких групп в Колумбии, у меня остались надежные связи среди разумных кругов страны. Они, как дон Рикардо, с тревогой отмечают рост коммунистических, да и вообще левых тенденций. Определился лидер – профсоюзный деятель Гаэтан. Если будут назначены выборы, он, и только он, получит власть. Это – смерть для янки, он выступает против их экспансии, как он выражается, с фактами в руках. Каковы предложения? У меня есть надежные контакты, через третьих лиц, с группой колумбийских анархистов. В нужное время, в надлежащий момент мы санкционируем нейтрализацию Гаэтана, организовав перед этим ряд контактов русских с нашими подконтрольными левыми группами. Крайне левые щелкают просто левых – с санкции Москвы. Разве это не повод для разрыва отношений с Кремлем и прихода к власти военных, получивших воспитание в классах, руководимых немецкими офицерами?! В этом же наша главная сила! Большинство военных в Латинской Америке прошли прусскую военную школу, армию Чили и Боливии создали мы – от начала и до конца...

– Не мы, – улыбнулся Мюллер. – А предатель Эрнст Рэм.

– Когда он создавал армию Боливии и Парагвая, – возразил Карл Губнер, – он не был изменником, дон Рикардо! Он тогда был братом фюрера! Неужели его измена в тридцать четвертом может зачеркнуть все то, что он сделал до этого?! Давайте научимся уважать историю нашего движения!

– Давайте, – согласился Мюллер. – Тем более, что он никогда и никому не изменял. Доводите свою мысль до конца, пожалуйста. Обычная – после каждой национальной революции – борьба лидеров. Разве Дантон или Робеспьер изменяли идеалам своей революции? Сейчас в мире начнется процесс тщательного изучения нашего движения, и изучать его будут не по учебникам истории, написанным в министерстве пропаганды доктора Геббельса, а на основании документов. И мы должны быть готовы говорить молодому поколению правду. Дозированную, взвешенную, но – правду. Если де-

лать ставку на одних лишь фанатиков, мы не сможем противостоять противнику, который будет оперировать не слухами, но архивными документами и показаниями очевидцев. Мракобесие не в силах одержать окончательную победу над наукой — только временную, только сиюминутную и на очень короткий период исторического времени. Что для мира столетие? Ерунда, малость, крошечная величина, а мы обязаны думать о тысячелетиях... Предложение, связанное с колумбийским узлом, мне по душе, очень интересно, будем думать, спасибо. Следующий?

Следующим выступил доктор Зобель. Поигрывая толстыми, на американский манер, подтяжками, он говорил быстро, будто горох по столу сыпал:

— Дон Рикардо, у меня создается впечатление, что мы тщимся открыть открытые уже Америки. Меня удивляет, что собравшиеся здесь коллеги тщательно мнут себя под соображения, высказанные вами. Спору нет, те параграфы, которые вы изложили по поводу ситуации в мире, крайне точны, собранны, никакой демагогии и болтовни, все по делу, но когда вы коснулись проблем Латинской Америки, то здесь стала очевидной наша всегдашняя болезнь: те или тот, кто здесь работает с вами, не решились выставить контрдоводы — издержки рабского чинопочитательства. А это — ущерб общему делу, дон Рикардо! Вы говорите: «Целесообразна комбинация, которая даст нам вес для диалога с янки». И приглашаете нас к совместному раздумью и планированию. Но почему-то никто не обратил ваше внимание, что президент Эквадора сеньор Веласко Ибарра, впустивший в свой кабинет коммунистов, — он не мог этого не сделать — получил власть на гребне левой волны. Когда же коммунисты не позволили ему передать янки под их военные базы Галапагосские острова, он пять месяцев назад — без нашей комбинации — самостоятельно или с подачи «малоопытных» янки объявил о наличии в Эквадоре коммунистического заговора, коммунистов-министров отправил прямехонько в тюрьму, отменил конституцию и навел в своем доме порядок. Кто вам доложил подробности его комбинации? Кто просчитал механизм его дела? Да никто! А почему? Потому что смотрят вам в рот! И не хотят видеть живые факты! А подводят в конце концов не только вас, но движение!

— Но ведь в Чили, совсем рядом с нами, — Мюллер кивнул на окно, — за Андами, в правительство по-прежнему входят три коммунистических министра, Зобель. Вы правы, мы еще недостаточно изучили эквадорский феномен, но мы его знаем и думаем над ним. Именно топорность, с которой он был осуществлен, та топорность, которая делает недолговечным режим Ибарры, и надоумила нас придумать рецепты комбинаций, приложимые к каждой стране здешнего континента в отдельности, учитывая особенности нации и своеобразие ее лидеров. Тем не менее спасибо вам за то, что вы заостряете мое внимание на возможном чинопочитательстве моих ближайших сотрудников, работающих со мною постоянно, я учту ваше замечание.

— Дон Рикардо, вы призывали говорить то, что мы думаем...

— По-моему, я никак не мешал вам говорить то, что вы думае-

те, — заметил Мюллер. — Наоборот, меня радует ваша открытость. Кто следующий?

...Ночью, после славного ужина, во время которого Мюллер размяк, произнес три спича вместо одного, отрепетированного заранее («Пить нельзя категорически — становлюсь сентиментальным, тянет в слезы, явный признак склероза»), он долго не мог заснуть, ворочался в своем гамаке, потом позвал индианочку (в районе Игуасу очень дешевы, белые охотники их продают за гроши), только это позволило ему ненадолго забыться. Проснулся со странным, тяжелым ощущением тревоги; оно не было похоже на то, что он испытывал здесь после бегства из рейха; лишь по прошествии месяцев он признался себе, что жил в атмосфере постоянного животного ужаса. Спасением была, как это ни странно, речь Черчилля в Фултоне: все возвращается на круги своя, но в новом круге. «Слава богу, нет фюрера с его садизмом, который шокировал цивилизованный мир, с виселицами в Минске и Загребе, с гетто в Варшаве, с идиотством Гиммлера, культивировавшего новую породу арийцев, словно скороспелые сорта картофеля. Однако провозглашенная фюрером идея борьбы с большевистским Востоком оказалась угодной новому кругу — в большей даже мере, чем раньше. Дело понятное: русский медведь проснулся, наработал жесткие приемы борьбы, сделался колоссом — конкурент, страшно, вот заокеанские живчики и засуетились».

Нет, тревога, которую он ощутил сейчас, была прежней, той, которую он начал забывать уже, — постоянной, въедливой, трудно поддающейся логическому анализу. «Ты кому-то не веришь? — спросил он себя. — Кому? Какие к этому есть основания? Если ты докажешь себе, что прав, что кто-то в чем-то опасен тебе, то дело легко поправить: участники совещания утром полетят в Кордову на твоем самолете; ничего страшного, купишь новый, деньги есть. Но самое обидное, если ты уберешь нужных тебе людей, — мания подозрительности невозможна у политического лидера. У политического лидера, — повторил он. — Вот почему ты испытал ту отвратительную, изматывающую душу тревогу, которая ломала тебя и унижала, когда ты жил под Гиммлером, — понял он. — Ты сейчас вновь поставил себя на роль исполнителя, ты не смог заявить себя если и не фюрером, то хотя бы вторым после него человеком; порой вторым выгоднее быть, чем первым. Ты говорил с резервом, ты боялся раскрыть карты, а эти люди пришли сюда получить приказ, они не умеют обсуждать и вырабатывать линию, они, как и ты, раздавлены фюрером и его стилем. Нет, — возразил он себе, — ты ошибаешься. Они, может быть, и раздавлены им, но более всех раздавален ты сам. Вместо того, чтобы бесстрашно отдавать приказы: «Ты, Фрейде, продолжаешь готовить операцию с подводом Штирлица к Риктеру, к переправке его на остров Уэмуль в Барилоче»[1]; «Ты, Пратт, организовываешь канал, по которому Штирлиц должен пойти на связь с русским посольством в Бу-

[1] Барилоче — курортный город на границе с Чили, где разрабатывался проект Риктера — Перона.

энос-Айресе, а он обязательно пойдет на связь, или я ничего не понимаю в людях»; "Ты, Губнер, организуешь мне встречу с Пероном, и я, лично я, отдаю ему Штирлица, делаясь спасителем его идеи"; "Ты, Зобель, готовишь информацию обо всем этом для Бэна"; вместо того, чтобы стать ключевой фигурой предприятия, одним из самых компетентных стратегов антирусской борьбы на континенте – как на севере, так и на юге, вместо того, чтобы приказать Майеру завтра же отправиться в Боготу и привезти мне подробный план комбинации по Гаэтану, я расточал елей: я не готов еще к той роли, о которой мечтал. А не готов я потому, что раздавлен Борманом и жду, когда он придет сюда, сядет в кресло возле камина и скажет: "Ну, докладывайте!" И я стану докладывать, вот в чем весь ужас! Половая тряпка, – сказал он себе, – ты несчастная половая тряпка из грубой мешковины, которая легко впитывает, а еще легче выжимается... Ну хорошо, хорошо, легче легкого топтать себя ногами, тем более что ты сам определил себя половой тряпкой. А выход? Каков выход? Да и есть ли он? Может быть, я раздавлен самой структурой национал-социализма как личность и ничто не поможет мне? Воистину, богу – богово, а кесарю – кесарево, только надо это выражение примерять не на тех, кого ты собрал, а на самого себя. Хорошо, а что, если сделать так, чтобы Борман исчез – раз и навсегда? Тогда ты, только ты, группенфюрер Мюллер, остаешься правопреемником идей национал-социализма. Да, но ведь Борман жив, – возразил он себе. – А кто об этом знает, кроме тебя? Да и потом – Борман ли это? Ведь в случае надобности ты всегда сможешь доказать, что это никакой не Борман, а обыкновенный двойник, и тебе поверят. Поверят? Да, поверят, если ты не будешь тряпкой, а заставишь себя раскрепоститься, ущипнешь себя: это не сон, а реальность; все происходящее – въяве; психа шлепнули, ты – свободен, богат, не стар еще, тебе досталась доктрина, которая сохранит свою надобность до тех пор, пока существует большевизм, живи! Живи же! Это так прекрасно, когда ты живешь, ощущая свое незримое таинственное могущество! Мне нужны мои люди, – сказал он себе, поднимаясь с гамака, – мне нужен Эйхман, Менгеле, Рауф, Швендт, Скорцени, мне нужна моя гвардия, а не эти провинциалы, вот что мне нужно, чтобы осознать себя фюрером, – по-настоящему».

Он достал с полки папку с черно-бело-красным символом национал-социализма и, пролистав несколько страниц, углубился в чтение документа; очки не надевал. «Это ведь игра, очки-то, лишние мгновения на то, чтобы продумать ответ, когда Борман или какой другой дьявол задают тебе вопрос, а ты знаешь, что этот вопрос задан неспроста, и тебе нужны секунды, чтобы просчитать в уме все то, что надлежит калькулировать, когда имеешь дело с оборотнями, иначе снесут голову, легко снесут, без сожаления, такова жизнь, ничего не попишешь...»

Он начал читать литые строки Гитлера, увидел сразу же его зеленые глаза, по-совиному беззащитные, услышал его австрийский, столь любезный ему, баварцу, голос, ощутил слезы на щеках и, в который раз уже, подивился себе самому: какая непоследовательность – плакать, вспоминая человека, который привел к краху?! «Нет, нет, рабство, в нас въелось рабство, как его извести поскорее?!

А надо ли? – спросил он вдруг себя. – Зачем? Рабство позволяет в пять раз скорее делать то, что не под силу джентльменству, потому что самое понятие рабство вертикально и времени на дискуссии не оставляет: или ты поступаешь так, как я приказываю, или исчезаешь – третьего не дано!»

...Наутро за завтраком Мюллер оглядел несколько помятые после вчерашнего застолья лица единомышленников и, надев тонкие очки на кончик носа, сказал:

– Я был счастлив видеть вас здесь. Сердце мое преисполнено гордости за то, что наша общность выдержала все испытания. Они были нелегкими, ибо это были испытания на горечь поражения, а не на пьянящую радость побед. Перед тем как мы расстанемся, я бы хотел – поскольку вы все выразили согласие с теми основополагающими принципами, которые я изложил, – распределить обязанности в комбинациях, спланированных мной. Отчеты о работе, порученной мной каждому из вас, будут передаваться мне. И никому другому. Извольте в недельный срок представить исчерпывающие данные на все наши связи. Итак, Фрейде... Вам я поручаю следующее...

Через три дня генерал Гелен запер в сейф подробный отчет о совещании «у дона Рикардо», ибо Майер был завербован его организацией еще в конце сорок пятого. Работал истово, не за страх, а за совесть. Иначе не мог: его единственный сын – гауптштурмфюрер СС – жил в американской зоне оккупации по фальшивым документам. Вопрос о его вызове в Латинскую Америку мог решить только один человек – Гелен.

В отличие от Мюллера генерал Гелен разработал иной план, и ему, Гелену, было выгодно, чтобы Аргентина – получив данные о русском шпионе Штирлице – немедленно, раз и навсегда, расторгла дипломатические отношения с Москвой.

Гелен думал дальше, чем Мюллер, в данном конкретном вопросе. Он полагал, что незачем таскать все каштаны из огня для американцев. Какие-то – да, но самые вкусные надо сберечь для немцев. Чем труднее будет американцам в Аргентине, тем легче германская промышленность, восстав из пепла, войдет туда, чтобы стать монополистом богатейшего рынка. Естественно, присутствие русских помешает этому, поэтому надо сделать все, чтобы отношения между двумя странами были прерваны в зародыше.

ШТИРЛИЦ (Латинская Америка, ноябрь сорок шестого)

В аэропорту Рио-де-Жанейро «Галеао» Штирлиц с тоской поглядел на Ригельта:

– Дружище, на вас надежда. И помогайте мне с языком: я же не знаю толком ни английского, ни португальского...

«Дурашка, – сказал он себе, – ты думаешь, он станет говорить при тебе с кем-то из своих на английском? Он же профессионал; как-никак школа Скорцени, а это высокая школа...»

– Давайте сначала выпьем кофе, осмотримся, а потом я отправлюсь в разведку, – сказал Ригельт. – Я очень боялся, что у вас потребуют паспорт при выходе из самолета, говоря откровенно...

– А я схожу в сортир. У меня схватило брюхо, видно, на нервной почве... Слушайте, а в самолете, когда я спал, ко мне никто не подходил?

– Так я же заснул раньше вас! Что, не помните?

«Он ждет, что я стану ловить его, – подумал Штирлиц. – А я не буду тебя ловить, собака, потому что ты сейчас победитель, я подставлюсь тебе, я же прекрасно помню тебя, когда ты нес какую-то околесицу, а я чувствовал, что засыпаю, и не мог даже представить себе, что ты намешал мне гадость, вот что значит дохнуть воздуха надежды и расслабиться, урок на всю жизнь. А сколько мне отпущено? Откуда знать, что случится сегодня, если он вывезет меня в эту самую Игуасу?»

Штирлиц зашел в туалет, остановился возле зеркала, осмотрел свое изображение в потрескавшемся местами стекле и вдруг рассмеялся: за последний час два раза в сортире и оба раза по делу – первый раз писал в самолете письма, стиснут, будто в гробу; а сюда его привела память: из таинственных глубин ее всплыл рассказ эсэсовца Ойгена (или второго – Вилли?), как тот в какой-то латиноамериканской столице зашел в туалет, открыл окно и вылез на улицу – без всякого штампа пограничников в паспорте: «Там бардак; можно вытворять что душе угодно».

Штирлиц прошелся вдоль кабин: кто-то шуршал в первой, у входа; остальные были пусты. Ребристое, матовое стекло окна было полуоткрыто; он подошел к нему и распахнул створки, предварительно развязав галстук (мотивация дурноты, хочется свежего воздуха), выглянул и улыбнулся: во-первых, высокий первый этаж, а во-вторых, окно выходило на стоянку такси и вдоль машин прогуливались два автоматчика, провожая жадными глазами каждую хорошенькую девушку. «Побег из сортира! Такого боевика, по-моему, не было еще. Вот смех-то – прыжок на автоматчиков с полуспущенными брюками. Годится для Бестера Китона, он бы это сыграл блистательно, прекрасный комик».

Штирлиц вернулся в зал, разменял стофранковую купюру, купил почтовых марок, приклеил их на письма и, посмотрев, нет ли рядом Ригельта, опустил в почтовый ящик.

Он вернулся к стойке маленького бара, заказал два кофе и с тоской посмотрел вокруг себя: жизнь в аэропорту бьюще пульсировала, прилетевших можно было определить сразу же – расслабленно улыбались, двигались медленно, упиваясь счастьем ощущения под ногами земли, а не хляби небесной; нет ничего прекрасней привычного, хотя именно здесь, на земле, вон ту старуху в пелерине сегодняшней ночью может хватить инсульт, а того кабальеро в черной шляпе – банкротство, выход из которого один: бегство или пуля в висок. Те, кто улетал, были, наоборот, стремительны в движениях; какая-то гигантская воронка, засасывает – билет куплен, выбор сделан, ничего другого не остается, как доверить свою жизнь пилоту и господу.

Ригельт пришел озабоченный, бросил на стол пачку газет:

– Посмотрите «Нотисиас».

– Я не понимаю португальского.

– Это – поймете, – он ткнул пальцем в маленькую заметку, набранную жирным петитом.

Штирлиц надел очки (зрение катастрофически ухудшалось), пробежал глазами текст; языки действительно очень близки; перепечатка материала из лондонской газеты о нацистском преступнике «Бользене», он же «Стиглис» («Испанцы бы перевели Эстиглиц, хотя, может быть, так переводит только Клаудиа, она вкладывает в мое имя свою любовь»): скрылся из Испании, поскольку его выдачи требует вдова убитого им Вальтера Рубенау. Родственники второй его жертвы, сеньоры «Такмар Фрёдин» («Дагмар Фрайтаг, – машинально поправил Штирлиц, – нельзя так перевирать фамилии»), разыскиваются ныне не только полицией, но и лондонским журналистом Мигелем Сэмилом. («Наверняка Майкл, – сразу же подумал он, – даже Лермонтова испанцы переводят как "Мигеля"».)

«Что ж, кто-то включил счетчик. Я чувствую себя по-настоящему собранным, когда выхожу на финиш: прошлое отринуто, настоящее подчинено будущему, устремленность, нет ничего надежнее устремленности, когда ты, только ты можешь победить, но в равной мере и проиграть, – все зависит от тебя. Да, верно, – согласился он с собой, – но раньше все-таки я планировал комбинацию, и мои друзья – будь то Базилио и Пальма в Бургосе в тридцать седьмом, Зорге в сороковом, полковник Везич в Белграде в сорок первом, Кэт, Плейшнер, пастор Шлаг в марте сорок пятого – верили мне, и мы побеждали. Только один Плейшнер посмел забыть и поэтому погиб. В разведке память так же необходима, как и в литературе, сюжет одинаково напряжен, характеры ясны, акценты расставлены ненавязчиво, а главный смысл скорее угадывается, чем записывается открытым текстом. А с Эдит Пиаф я победил. Пастор считал ее кафешантанной певичкой, а я предрекал ей великое будущее и оказался прав; все-таки в людях церкви невероятно живуч догматизм; впрочем, иначе следует слагать с себя сан – не веря в глубине души догме и не подчиняя ей себя без остатка».

– Вы как ангел-спаситель, – сказал наконец Штирлиц, сняв очки. – Я удивлен. Откуда такие подробности у британского журналиста?

– Сволочи. Наглые островные сволочи, – ответил Ригельт. – Как я понимаю, именно в связи с этим обстоятельством вы столь скоропалительно покинули Мадрид?

– Я и не знал об этом, Викель, клянусь.

– Будет вам, Штирлиц!

– Браун.

– Нас никто не слышит.

– А если у вас в портфеле микрофон?

– Скажите еще, что я вытащил у вас паспорт, – усмехнулся Ригельт, не отводя взгляда от лица Штирлица.

– Между прочим, а почему бы и нет? Об этом я как-то и не подумал, – ответил он, поняв, что паспорт гражданина США, выдан-

ный Роумэном, этот подонок не сжег. «Им нужен этот паспорт, потому что, во-первых, он может быть уликой против Роумэна, если он действительно начал против них драку, во-вторых, это улика и против меня – нацист, скрывающийся от правосудия под американским картоном: кто дал, почему, когда, где? Если же Роумэн затеял крупномасштабную комбинацию и темнит против меня, этот паспорт нужен ему, именно ему и никому другому. Неужели Ригельт – его человек? Почему бы и нет? Слишком быстро выскочил из лагеря, так отпускают перевербованных; даже при том, что американцы прекрасные организаторы и бюрократизм им не грозит – дело сметет его с дороги, – даже они бы не успели за месяц составить необходимые картотеки на всех, кого посадили. О чем ты? – возразил себе Штирлиц, – ведь если бы Даллес подписал соглашение с Карлом Вольфом, тот бы вообще не сидел в лагере, там речь шла не о чем-нибудь, а о новом правительстве Германии, какой уж тут лагерь... Но зачем тогда Роумэну организовывать против меня публикацию в английской прессе? Как зачем?! Чтобы привязать к себе – раз и навсегда. Но ведь он сам дал мне материалы, которые ставят под сомнение это обвинение Мигеля... Смешно, "английский журналист дон Мигель". Ригельт убежал сразу же, как мы вышли в зал, чтобы передать кому-то мой паспорт. Наверняка поэтому он так торопился. Но зачем Роумэн забрал у меня прежний, никарагуанский? Ведь и тот мне дал он. По логике, тот паспорт был липовым. Если бы я с ним легально пошел через границу, меня бы арестовали и выдали Пуэрто-дель-Соль, а там у него, судя по всему, надежные контакты. Хотя слишком уж униженно он добивался этого самого полковника Эронимо, так хозяин не говорит. Если б не мой разорванный живот, и ватные ноги, и боль в пояснице, я бы мог навалиться на Ригельта в самолете и отнять паспорт, хотя на это было бы смешно глядеть со стороны: дерутся два взрослых человека, да не где-нибудь, а в громадине ДС-4, который совершает трансатлантический полет. Постоянный страх скандала – вот что живет во мне! Желание быть в стороне, но так, чтобы при этом находиться в самой сердцевине событий, – вот моя постоянная позиция. Характер можно сломать, но изменить нельзя, это верно; из сорока шести прожитых лет – двадцать девять в разведке, привычка – вторая натура, точнее не скажешь».

– Что вы еще узнали, дружище? – спросил Штирлиц.

– Я узнал, что мой чемодан улетел в Буэнос-Айрес, вот что я узнал. Тю-тю! Это вам не Европа. А там два костюма, пальто и пара прекрасных малиновых полуботинок. Наша авиетка вылетит через два часа, по дороге три посадки, в Игуасу будем к вечеру... Это, кстати, хорошо, вечером здесь полная анархия, – сейчас здесь начинается лето, жара, они клюют носом...

– Это все, что вам удалось разведать за двадцать минут?

Ригель вздохнул:

– Мало?

– Да уж не много.

– Молите бога, что вы встретили меня, Штирлиц. Сидеть бы вам без меня в каталажке. А здешние тюрьмы весьма и весьма унылы.

– Сажали?

– Рассказывал Герман Нойперт, из пятого управления, помните?

– Совершенно не помню.

– Ну, и бог с ним... Но рассказывал красочно; мокрицы, крысы; жарища – летом, холод – зимой, совершенно не топят, еда два раза в день... Ну и, конечно, пытки, они здесь не церемонятся.

– Можно подумать, что у нас церемонились...

Ригельт пожал плечами:

– У нас никого и никогда не пытали, Штирлиц.

– Браун.

– Да будет вам, право! Тем более, что в газетах про вас написано как про «Стигliса».

«Скорцени учился в одной школе с Кальтенбруннером, – вспомнил отчего-то Штирлиц. – И сидел за одной партой с Эйхманом, друзья детства. Интересно, этот из их же компании? Ну и что, если из их? А то, что в параллельном классе учился Хёттль, вот что, – ответил себе Штирлиц. – А ему, только ему я открылся: он знает, что я был на связи с русской разведкой. Ну и что? – снова спросил он себя. – Мюллер тоже знал об этом. Кальтенбруннер повешен в Нюрнберге, Скорцени сидит в лагере, Эйхмана нет и Мюллера тоже. А где они? – спросил он себя. – Ты знаешь, где они? Ты можешь дать гарантию, что их нет в этой самой Игуасу? Остановись, – сказал себе Штирлиц, – ты испугался, мне стыдно за тебя. Ну и что, допусти я возможность того, что Эйхман встретит меня в аэропорту? К тому, что тебя могут шлепнуть, ты был готов все двадцать девять лет, что служил в разведке, так часто был готов к этому, что перестал уже пугаться; пугает то, что человеку в новинку. Хорошо, а если Мюллер? Или Эйхман вместе с этим Ригельтом – какая в конце концов разница – получат меня в свое безраздельное владычество? Ну и что? Я пока что не вижу, какую они могут извлечь из этого выгоду. Месть? Нет, это уже сюжет для Александра Дюма, несерьезно. Задумывать такую комбинацию, чтобы отомстить мне? Не верю. Хорошо, а если все, что произошло за последние сутки, – сцепление случайностей? Что если я действительно потерял паспорт, сунул его мимо кармана? Я запутался, вот что произошло, – сказал себе Штирлиц. – А это дурно. Но выпутаться я смогу только в том случае, если хоть в малости верну былое здоровье. Выживает сильный».

– Вы голодны? – спросил Ригельт.

– Нет, – ответил Штирлиц, но, подумав, что на голодной диете силу не вернешь, от голода только дух светлеет, поинтересовался: – А что здесь можно получить? Сандвич?

– В другом конце зала есть некое подобие ресторана... Духота, мухи, но мясо хорошее, я унюхал.

– Пошли.

– И выпьем, да?

– Не буду.

– Напрасно, здесь очень хорошие вина.

– Не буду, – повторил Штирлиц. – Бурчит в животе и голова потом пустая, а это тяжело, когда несешь пустое.

– Я завидую тому, как красиво вы говорите, Браун. Где вы учились?

– На дому.

– Я спрашиваю серьезно.

– Я так же и отвечаю.

– Да будет вам!

– Что вы такой недоверчивый? Мужчины вашей комплекции должны источать доверие, открытость и абсолютное бесстрашие.

– Спасибо за совет, только я считаю, что самое выгодное – это скрывать то, чем на самом деле обладаешь.

– Может быть, не знаю. Я придерживаюсь другой точки зрения. Все зависит от уровня, – нажал Штирлиц. – Битву вы закончили в каком звании?

– Штурмбаннфюрера.

– Тогда понятно, – кивнул Штирлиц; это разозлит его, честолюбив, значит, в чем-то откроется.

– Но, по-моему, должность адъютанта Отто Скорцени будет цениться – а в будущем особенно – значительно выше рун в петлицах. В истории остаются имена, а не звания.

– Как сказать.

– Вы спорите для того, чтобы спорить, Браун.

– Как угодно... Только книга древнего классика называлась «Жизнь двенадцати цезарей». Название, продиктованное титулом, если хотите, званием. Юлий и Август под одним корешком – и только потому, что были цезарями. Не обижайтесь, Викель, не стоит, я же сказал вам не при публике, а один на один, это не обидно, наука.

– Вы постоянно разный, Шт... Браун. Это ваша всегдашняя манера?

– Жизнь научила, – усмехнулся Штирлиц, проводив взглядом очаровательную мулатку. «Надо же так вертеть попой, а?! И это не срепетированное, это в ней от рождения: солнце, не знают холода, меньше калорий расходуют на защиту от морозов, вот все и уходит в секс».

Он снова вспомнил слова отца. Когда Правительство РСФСР переезжало в Москву, он, восемнадцатилетний тогда, отправился вместе с Дзержинским, первым; в купе набилась почти вся когорта Феликса Эдмундовича – Артузов, Бокий, Беленький, Кедров, Трифонов, Уншлихт; гоняли чаи, говорили почему-то очень тихо – может быть, сказывалась конспирация последних недель, когда только начали готовиться к передислокации.

Отец должен был приехать через неделю, однако – изможденный, поседевший еще больше – он добрался до первопрестольной (это слово, вспомнившееся здесь, в аэропорту Рио-де-Жанейро, сжало сердце острым, как боль, приступом тоски) только в середине апреля и сразу же свалился. Дзержинский послал доктора Гликмана, тот отбывал с ним ссылку в Восточной Сибири, с тех пор дружили нерасторжимо, хотя Гликман был членом партии левых эсеров и далеко не все принимал в большевизме. Выслушав отца, обстукав его своими пергаментными, длинными пальцами, доктор сказал, что воспаления легких нет; обычное истощение организма, пройдет к лету, когда на базарах появится хоть какая-то зелень, прописал микстуру и откланялся.

Проводив его задумчивым взглядом, отец тогда сказал:

– Может быть, он хороший чекист и понимает в судебно-медицинской экспертизе, но врач он легкий.

– Что ты, па, он многих на ноги поставил, из тифа вытянул.

Отец покачал головой, взъерошил костистыми крестьянскими пальцами свою седую волнистую шевелюру и вздохнул:

– Он же не спросил, сколько мне лет, сын. Он дал мне на глаз семьдесят, не спорь, я сейчас так выгляжу, а мне пятьдесят четыре, и этот возраст более страшен, чем семьдесят, потому что наступает пора мужской ломки; былое, ежели позволишь, молодое, уходит, наступает новая пора... Вот, – он достал из-под подушки растрепанную книжку, – Иван вчера утром занес, лекции по антропологии, крайне интересно и оптимистично. Микстуру твоего доктора я пить не стану, сын, не обижайся, и упаси господь ему про это сказать, может ранить его профессиональную честь... Все верно, сын, все верно, нас живет на земле великое множество, человеков-то, многие похожи друг на друга, но ведь одинаковых нет. Ни одного. Да и форма каждой личности постоянно меняется, пребывая в безостановочном развитии: от мгновения, когда оплодотворяется яйцо, становясь зародышем, плодом, ребенком, юношей, мужчиной, стариком, трупом, каждый – а в данном конкретном случае (отец прикоснулся пальцем к груди) я, Владимир Александрович Владимиров, – переходит рубеж, при котором круто изменяется форма его субстанции. А что такое изменение формы? Это, увы, изменение... отправлений. Не зная отправлений, совершающихся в нашем организме, нельзя понять суть формы человека, то есть того, что он являет собой... Я ныне являю собой человека, начинающего стареть... Я о внуках мечтаю, сын, видишь ли, штука какая... Не надо ни на что надеяться – сверх меры... И не следует бояться того, что грядет: мы всегда более или менее живы, но обязательно станем мертвыми, причем опять-таки – более или менее.

«Что же я тогда ответил ему? – подумал Штирлиц. – Я сказал ему что-то обидное, мол, ты хандришь, надо начинать работать, это лучший лекарь от душевной хворобы, а папа, подмигнув мне, ответил: "Сынок, чтобы человеку нахмуриться, потребно напряжение шестидесяти четырех мускулов лица. А улыбка требует работы всего тринадцати. Не расходуй себя попусту, экономь силы, пожалуйста, почаще улыбайся, даже если ты с чем-то не согласен"».

– Не думаете ли вы, что штандартенфюрер ближе к цезарю, чем я? – усмехнулся Ригельт («Он что-то готовил мне в ответ, – понял Штирлиц, – я крепко задел его, он сейчас отомстит»). – Ошибаетесь. Наши с вами звания – чем выше, тем громче – преданы анафеме, «проклятые черные СС». А Скорцени всегда был зеленым СС, а их приравняли к вермахту...

– Кто?

– Союзники.

– Русские?

– Ах, перестаньте вы об этих русских, Шт... Браун! Американцы уже собрали в лагерях – прекрасные домики в Алендорфе, Кенигштайне и Оберзукле – начальника генерального штаба Гальдера, Гу-

дериана, Цейтлера, их заместителя генерала Блюментритта, генералов Хойзингера, Шпейделя, Варлимгита, Мантейфеля, да не перечесть всех, и засадили за подписание истории второй мировой войны. Имя Скорцени в такого рода истории будет присутствовать, а вот звание «штандартенфюрер» даже и не упомянут.

«Ах вот как, – подумал Штирлиц. – Уже собрали голубчиков? Всех под одну крышу. Оправдали вермахт и предложили генералам Гитлера писать историю боев... Каких только? Минувших? Или делают прикидки на будущее? Он не имел права говорить мне об этом. Но сказал. Что ж, запомним: открывается на честолюбии. А эта информация – если она достоверна – многого стоит... Голубки воркуют, занимаются историей, а по ним петля плачет...»

Ригельт предложил Штирлицу сесть, – по счастью, был свободен столик возле двери, тянуло хоть какой-то прохладой; как можно переносить такую жару? «Я вспоминаю отца всю сегодняшнюю ночь и начавшийся день не зря, он всегда является мне как спасение, он никогда не унывал, он размышлял со мной вслух, и я поныне нахожу в его словах то, что мне именно сейчас и необходимо найти, надо только настроиться на старика, понять, на что он намекает, он же никогда не говорил директивно, он всегда наталкивал на размышление, дав отправные точки отсчета в поиске ответа на то, что меня тревожило. И тревожит».

– У них нет меню на каждый стол, Браун. Но я уже все посмотрел: прекрасный стэйк, это тут делают отменно, гуляш я бы не рекомендовал, слишком перчат, есть жареная рыба – не знаю, не пробовал, боюсь предлагать, салат из овощей и фруктов совершенно отменен, они мешают огурцы и бананы, вкус получается совершенно особенный – дынный. Кстати, знаете, евреи мажут огурцы медом, и получается вкус дыни?

– Не знал.

– Вкусно. Эйхм... Один мой друг все про них знал, про этих выродков...

– Не рискованно говорите?

– Вообще-то вы правы, теперь надо таиться, все-таки они на этом этапе победили.

– Именно они?

– А кто живет в Америке? Кто правит Россией? Кто всесилен во Франции?

– В Америке живут протестанты, негры и мексиканцы, Россией правит грузин, а во Франции всемогущ Де Голль.

– Ах, перестаньте, Штирлиц, вы же прекрасно знаете, что я имею в виду их всемирную таинственную силу...

«И этот – псих, – подумал Штирлиц, – все-таки шовинизм такого рода не есть классовое выявление, это психическая патология».

– Ладно, будет об этом, – вздохнул Ригельт. – Но мы еще сломим их, мы их сломим, поверьте.

– А для этого следует хорошо подкрепиться, – улыбнулся Штирлиц. – Стэйком. И салатом из огурцов и бананов.

– Там не только огурцы и бананы, – почему-то обиженно ответил Ригельт и взмахнул рукой, подзывая официанта.

(Человек, с которым Ригельт за десять минут перед этим встретился у выхода в город, сфотографировал Штирлица портативным аппаратом и, войдя в ресторан, присел за столик рядом с тем, где сидел Штирлиц. Заказав себе ананасовый сок, кофе и сладкий кекс, он углубился в чтение газеты, ему надо было записать голос Штирлица: идентификация личности должна быть абсолютной.)

Когда Ригельт сказал, отодвинув от себя маленькую чашку, где был горьковатый, очень крепкий кофе (густой, как показалось Штирлицу, просто тягучий, до того мощный), что он расплатился, Штирлиц окончательно убедился в том, что штурмбаннфюрер его пасет, – слишком щедр, но обязательно возьмет счет у официанта, чтобы отчитаться перед тем, кто его отправил; за отчетностью в СД следили всегда в высшей мере скрупулезно.

Счета, однако, Ригельт не взял: зачем ему брать счет, когда в ИТТ, в секторе «Б» давали деньги на выполнение операции, не требуя отчета? Если, конечно же, речь шла о суммах, не превышающих двухсот пятидесяти долларов: экономить на малом неминуемо означает потерять в большом.

В самолетике местной авиакомпании Штирлицу сделалось плохо. Подлетая к Игуасу, он временами терял сознание.

В местный госпиталь – крошечный, две палаты, доктора нет, только фельдшер, получивший образование в иезуитской миссии, – его привезли в ужасном состоянии; не до паспорта; человек умирает, удар по престижу как авиакомпании, так и Игуасу, стоящей как раз на границе Аргентины с Парагваем и Бразилией.

После того как фельдшер сделал Штирлицу два укола – для поддержания мышцы сердца (из-за жары здесь держали эти ампулы для иностранных охотников, приезжавших в сельву) и сильный витамин, стимулирующий улучшение обмена (на случай, если гость ослаб или началось какое-то инфекционное заболевание), Ригельт, погладив Штирлица по руке, сказал:

– Я очень сожалею, дорогой Браун... Постарайтесь уснуть, я нанял индейца, он будет все время при вас, захотите чего-нибудь, сразу же скажите, я – рядом.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (Хуан Доминго Перон и Ева Дуарте)

Судьба того или иного политика подчас зависит от событий, произошедших за много тысяч километров от того места, где он живет и действует; на задний план отступает все то, что его ранее формировало как личность; все вроде бы остается таким, каким было вчера еще, какое там вчера – за час, даже за минуту перед тем как произошло то, что оказало исключительное воздействие на политика; на поверхности все может оставаться – во всяком случае, какое-то время – так, как было ранее, однако исследователям надле-

жит искать в документах, прессе, дневниках, воспоминаниях сподвижников мельчайшие симптомы того изменения, которое может оказаться если и не кардинальным, то весьма существенным; лишь это позволяет объективному историку анализировать того или иного лидера не в одном, что всегда легко, но в нескольких пересекающихся измерениях.

Именно такого рода событиями, оказавшими громадное влияние на политическое реноме Хуана Доминго Перона, следует считать как битву под Курском, так и блистательную Берлинскую операцию маршала Жукова.

Чтобы это утверждение не было голословным, необходимо оперировать фактами.

(Они – отнюдь не прямые, но косвенные – появились в Аргентине после свержения военной хунты и прихода к власти демократического правительства, разрешившего публикацию ряда документов и брошюр, которые ранее были запрещены к печати).

...Что наложило главный отпечаток на личность Хуана Перона?

Видимо, то, что он появился на свет в маленьком селении Лобос, в ста километрах к юго-востоку от столицы, как «натуральный ребенок», то есть незаконнорожденный. Клеймо «ихо натураль» в стране клерикалов было в глазах маленькой деревни позорным, тем более что мать его была «сельская девушка» – креолка с сильной примесью индейской крови. Впрочем, дед, Томас Перон, известный врач, был одно время членом Национальной комиссии здравоохранения, сенатором, личностью достаточно популярной в стране, но умер он за шесть лет до рождения внука, ставшего не просто Пероном, но создателем одной из самых мощных – и поныне – политических партий в Аргентине.

Сын выдающегося доктора и был отцом Хуана Доминго, но отцом, как говорят здесь, незаконным.

Именно поэтому мальчик сызмальства нарабатывал в себе силу, чтобы отомстить обидчикам, дразнившим его унизительным прозвищем «натураль». Там, в Лобосе, он начал вместе с пеонами, в поле, во время выпаса табунов, пить матэ[1] и воображать себя членом бандитской шайки легендарного силача и защитника бедняков Хуана Морейры – некоего аргентинского Робин Гуда.

Когда семья переселилась в Патагонию, на легендарную Огненную Землю, никто уже не бросал обидное слово в лицо мальчика – он был достаточно силен, умел за себя постоять. Оттуда он отправился в столицу, и в девятьсот одиннадцатом году, когда ему исполнилось шестнадцать, надел форму кадета. Как и в других странах юга континента, ведущие преподаватели военных училищ были немцами; изучал немецкую военную доктрину; преподаватели – ненавязчиво, исподволь – прививали ученикам немецкий стиль, причем проявлялся он во всем: в отношении друг к другу («Моя честь – это моя верность»), и в манере поведения на улицах («Я – профессио-

[1] Матэ – ароматный аргентинский чай.

нал, я – человек армии, меня не интересует толпа, я служу только правительству»), и в отношении к самому себе («Я есть сила»).

Получив отличные оценки по тем предметам, которые были связаны с физической подготовкой, тактикой рукопашного боя и умением преодолевать неприступные горные преграды, и хорошие – по стратегии и военной истории, Перон был определен в пехоту; сказалось, конечно же, проклятие «ихо натураль»; большинство выпускников были приписаны к кавалерии, самому престижному подразделению армии; «незаконного» загнали на пограничную Парану. За два года службы он исходил здешнюю сельву и горы – от Санта-Фе до Игуасу и получил аттестацию: «великолепный инструктор-альпинист».

После окончания срочной службы Перон был направлен в офицерскую школу. Здесь под руководством немецких инструкторов он не только проходил курс наук, но и написал цикл статей, а также перевел с немецкого ряд глав для инструктажа солдат. Ему, в частности, принадлежал авторизованный перевод главы о том, как надо мыть руки: для солдат это было весьма важно – новобранцы приходили из маленьких деревушек, где личная гигиена была неизвестна, жили в поле, мылись редко. Вот она, проблема Аргентины – вопиющая, немыслимая в первой четверти двадцатого века! (Именно в это время в маленькой деревне Ла Унион у Хуаны Дуарте родилась младшая дочь Ева – «незаконная», как и Перон.) Сталкиваясь каждый день с теми негативными явлениями, которые не могли не ранить его сердце, Перон увлекся самоанализом, прочитал множество переводных книг, в первую очередь немецких; это научило его искусству говорить с солдатами – без комплексов, доходчиво, но в то же время зажигающе. Тогда же он увлекся атлетизмом и боксом – эпидемия пришла из Соединенных Штатов; дрался отважно. Когда молодой англичанин переломил ему нос на ринге, Перон долго разглядывал себя в зеркале, а потом улыбнулся своему изображению, – он теперь нравился себе еще больше: то, о чем говорили немецкие инструкторы (шрамы на лице, столь угодные офицерской чести, – зримые признаки отваги), сделалось ныне явственным, каждый мог сказать, что перед ним настоящий офицер, боксер, эталон бесстрашия.

Затем он вступил в аристократический «Жокей клаб де Буэнос-Айрес» и сразу же зарекомендовал себя блистательным наездником...

Поступление в Высшую военную школу было делом вполне логичным, он сам пробил себе дорогу.

Получение диплома отмечали в столичном районе Ла Бока, в царстве песни и танго, в кабачке настоящих портеньяс[1]. Там он познакомился с семнадцатилетней преподавательницей игры на гитаре Аурелией Тизон. Друзья звали ее Потота, – пожалуй, единственная испанка в этом итальянском районе столицы, рыжая, стремительная, Потота была душой здешней молодежи; восьмого января двадцать шестого года она была помолвлена с Пероном.

(Восьмого января этого же года в автомобильной катастрофе погиб отец «незаконной» Евы Дуарте. Его официальная жена Эстелла

[1] Так в Аргентине называют жителей Буэнос-Айреса.

Крисолиа запретила матери Евы и «незаконным детям» проводить их родного, хотя и «незаконного», отца в последний путь. Хуан Крисолиа, мэр района, мучительно посредничал между своей сестрой и матерью детей, которых так любил покойный, дав им свое имя. Человек, который тогда утешал маленькую Еву, стал ее наставником, а потом сделался советником и «серым кардиналом перонизма», был Мойсес Лебензон, сын эмигранта из Херсона.)

Пятого января двадцать девятого года Аурелия Тизон стала сеньорой Перон.

(Двадцатого января того же года Ева Дуарте переехала в Буэнос-Айрес – ей тогда было десять лет – и поселилась у своей сестры на улице Рок Васкеса, – сегодня она переименована в улицу Мойсеса Лебензона.)

Именно в это время среди военных зрел заговор против либерального правительства Ипполито Иригойена.

Поначалу, мальчиком еще, в Патагонии, Перон – как и все пеоны в округе – поддерживал концепцию политического мэтра аргентинского радикализма, вызревшего на идеях французской революции и потаенного антиамериканизма.

Иригойен требовал гарантий основных прав человека; настаивал на необходимости соблюдения «моральной чистоты» аргентинской жизни, выступал против коррупции (открыто) и против помещичьей олигархии (сдержанно), поддерживал право рабочих-ремесленников на создание профсоюзов и на забастовки; повторял, что аграрная реформа необходима, дабы позволить землевладельцам (не помещикам) объединяться для совместного использования сельскохозяйственных машин и продажи сельскохозяйственного продукта непосредственно самими производителями, и – что самое главное – выступал за национализацию нефти и наиболее крупных мясобоен.

При этом он настаивал на реформе армии, которую и вознамерился, наконец, провести в девятьсот тридцатом году.

Армия, являющаяся государством в государстве, не могла, естественно, быть безучастной к предстоящим событиям, и если солдаты и капралы выступали за предложение президента, то верхушка – генералитет, связанный незримыми узами с земельной олигархией и владельцами нефти, крупных мясобоен, британским капиталом, – выступала, совершенно понятно, против всего того, на чем настаивал президент.

Капитан Перон, назначенный для продолжения службы в генеральный штаб, был вовлечен в антиправительственный заговор генерала Хосе Урибуру – выученика прусской школы (с детства, как и Перон, генерал получил от своих немецких наставников сильнейшую инъекцию ненависти по отношению ко всем и всяческим «марксистам», «социал-демократам» и «коммунистам»). При этом нужно отметить, что и жена Перона, и его тесть были активными членами радикальной партии Иригойена, так что капитану приходилось соблюдать конспирацию, таясь не только от своих коллег, но и от семьи, – психическая нагрузка не из легких.

Риск, которому он подвергался, окупил себя; сразу же после свержения Иригойена и прихода к власти военных Перон сделался

личным секретарем министра обороны. Вскоре же (поработав два месяца военным следователем в специальной комиссии) капитан Перон был направлен в качестве профессора в Высшую военную школу Аргентины. Получив звание майора, он одновременно становится адъютантом начальника генерального штаба.

Именно там, в Высшей военной школе и генштабе, он написал свои книги «Восточный фронт первой мировой войны», «Ряд вопросов военной истории» и «Анализ некоторых аспектов русско-японской кампании 1904 – 1905 годов».

Наиболее примечательной была работа, посвященная вопросам военной теории, потому что именно в этой книге Перон впервые превознес концепцию немецкого генерала фон дер Гольца о «вооруженном народе».

(В этом же, тридцать пятом году Ева Дуарте поселилась в отеле на Кажао, между улицами Сармьенто и Кориентес, чтобы по вечерам принимать участие в спектакле, который давали в театре на улице Карлоса Пелигрини; т о л к а л ее в театр известный певец Агустин Магальди; старик, он видел в молоденькой девушке не столько талант, сколько характер, это, он полагал, – дорогого стоит; актером, тем более сейчас, когда появился кинематограф, может стать каждый; из десяти отснятых дублей вполне просто выбрать подходящий, а вот устремленный, яркий характер полуребенка Евы Дуарте, характер совершенно определенный, да еще в той стране, где место женщины было заранее определено в детской и на кухне, – это редкость куда большая, чем талант лицедейства.)

Не опираясь на факты, трудно утверждать что-либо с полной определенностью, но некоторые исследователи, как, например, Джозеф Пейдж в своем двухтомном труде «Перон», опубликованном издательством Ксавьера Вергара в восемьдесят четвертом году в Барселоне, Буэнос-Айресе, Мехико и Сантьяго-де-Чили, утверждают, что, когда Перон получил назначение на работу в Чили, – а было это в тридцать шестом году, он уже стал подполковником, «теньенте коронель», – именно там, в пригородах Вальпараисо, состоялся первый контакт между секретной службой рейха и молодым военным из Аргентины.

Впрочем, этому посылу возражают другие исследователи, которые связывают факт выдворения Перона из Чили с тем, что левое правительство страны не хотело терпеть у себя дома человека, открыто выражавшего свое негативное отношение к республике и ее политике, приближавшейся в чем-то к позиции «Народного фронта» республиканской Испании.

Но Перона, вернувшегося в Буэнос-Айрес в тридцать восьмом году, мало тревожили эти обвинения: в санатории умирала его молодая жена от рака почек.

Похоронив рыжую, которая так была к нему привязана, Перон купил машину и отправился в путешествие по бескрайней Патагонии. Он проехал через Вьедму, миновал Барилоче, жил в Андах, спустился к океану, изъездил всю Огненную Землю и лишь в тридцать девятом году, накрутив двадцать тысяч километров, вернулся в Буэнос-Айрес.

(Именно в этом году Ева Дуарте объявила о своем намерении выйти замуж за кавалера Франсиско Де Паула.)

Семнадцатого февраля тридцать девятого года подполковник Перон отплыл в Европу на борту итальянского трансатлантического лайнера «Конте Гранде», осуществлявшего рейсы между Европой и Латинской Америкой.

С июля тридцать девятого по конец мая сорокового года Перон проходил тренировку в альпийских подразделениях итальянской армии. Здесь, в Европе, он наблюдал, как Гитлер вошел в Варшаву, оккупировал Бельгию, Голландию и Францию; именно здесь он вкусил то, чего так недоставало его стране, – жесткого, хрусткого порядка. Однако между порядком и «новым порядком», провозглашенным фюрером, была огромная разница, в которую посвящали только избранных, кому безусловно верили; Перона тогда еще только изучали.

Рожденного в стране, где население было по своей сути интернационально, – громадная волна русских, югославских, английских, еврейских, немецких, украинских эмигрантов врастала в Аргентину легко: страна словно бы растворяла в себе пришельцев; не внуки даже, а дети эмигрантов теряли родной язык за три, от силы пять лет, становясь настоящими аргентинцами, даже распространенное сочетание букв «лл» произносили как «ж», нигде в мире так не произносят, определишь человека сразу, тайна какая-то, – Перона не могли не коробить расизм Гитлера, его слепая ненависть к славянам, болезненный антисемитизм, брезгливость по отношению к неграм. «А там недалеко и до отторжения цветных, а ведь мамочка – индианка, разве можно так, кто на свете добрее мамочки, нежнее ее и умнее?!»

Когда он поделился этими своими мыслями с полковником итальянской армии Карло Алигьери, тот посоветовал:

– А вы не обращайте внимания на то, что вас ранит. Вы берите то, что нравится. Вам ведь нравится что-то в том эксперименте, который начали мы, фашисты, дети великого дуче Бенито Муссолини? Вам не может не нравиться то, что мы покончили с безработицей, прекратили изматывающую душу болтовню в парламенте, а вместо этого создали вертикальные профсоюзы, подчиняющиеся лишь логике и озарению руководителя? Вам не может не нравиться, что мы заставили рабочих стоять у станков, а не болтаться по улицам под красными флагами бунтовщиков? Вам не может не нравиться, не спорьте, и то, что мы – благодаря этому прессингу – построили для рабочих больницы, которых у них раньше не было, повысили им заработную плату и подняли социальную страховку. Вы возразите мне: «Да, но они поплатились за это потерей политических свобод!» И я вам отвечу, что они поплатились правом на болтовню и забастовки. Но их жен и детей интересует не болтовня, а жилье, хлеб, оливковое масло и кофе. И они это получили. При этом мы ограничили аристократов, контролируем банки, даем рекомендации промышленникам. Все это ныне в наших руках, подполковник, в руках дуче и Движения. И служим мы не кому-нибудь, а нации. Вот так-то. Что же касается несколько аффектированного отношения Гитлера к славянам и евреям, то это с годами пройдет, уверяю вас.

Как и всякое молодое государственное образование, рейх понял, что антисемитизм есть вполне понятное для всех людей объединяющее начало, вы же католик – не правда ли? – а инквизиция именно под этим лозунгом провела объединение церкви... Да, конечно, жестоко, но и Ватикан отказался от гонения на евреев, как только была достигнута главная цель, столь угодная католичеству: спасение Европы от чуждых влияний.

– Каких? – поинтересовался Перон.

Алигьери рассмеялся:

– А любых, подполковник! Любых, которые неугодны Ватикану. Не станете же вы спорить с тем, что, санкционировав аутодафе, папа думал о чем-либо другом, кроме блага большинства?

Перон углубился в изучение принципов вертикальных профсоюзов Италии и Германии, много времени уделил исследованию вопроса об отношениях между государством, капиталом и рабочим классом в условиях режимов личной власти и, конечно же, более всего интересовался открытыми (пропаганда, конституционные ограничения) методами борьбы против того, что стало ненавистным ему еще в кадетской школе, – против коммунизма.

Затем он посетил Германию; там ему устроили ряд встреч, результатом которых явилась совершенно беспрецедентная поездка молодого подполковника на русско-германскую границу. Здесь, у Бреста, он наблюдал в бинокль красноармейцев, и сердце его впервые похолодело от странного, непонятного ему самому чувства изумления, страха и некоторого преклонения перед подполковником Пероном, который – единственный изо всех аргентинцев – получил право видеть врагов человечества воочию, лицом к лицу.

Когда он возвращался из Бреста в Берлин, полковник абвера, сопровождавший его, предложил оформить их отношения деловым образом. Перон не обиделся; посмеявшись, он легонько потрепал полковника по плечу, заметив:

– Я уже не мальчик и поэтому умею отказывать, но я и не старик, которому безразлично его будущее. Я – политик, мой дорогой оберст, прошу это запомнить и относиться ко мне, исходя лишь из этого моего качества.

(В это время Ева Дуарте получила роль в фильме «Еще одно несчастье народа», снятом Луисом Байоном Эррера по сценарию Луиса Сандрини.

Тогда же она начала работать на «Радио Архентина» в кинематографическом конкурсе, проводимом журналом «Гуйон»; Ева Дуарте интервьюировала таких заметных деятелей культуры, как Хуан Хосе Пинейро Роланд, Глориа Грэй, Натан Пинсон, и близко сошлась с ними.

А в день, когда Перон, покинув Испанию, где его принимали франкисты, отпрыл в Буэнос-Айрес, Ева выступила в главной роли в спектакле «Любовь Шуберта», написанном Алехандро Касона и поставленном на «Радио Прието», одной из самых мощных в то время станций страны.)

Восьмого января сорок первого года, вернувшись на родину, Перон получил довольно странное назначение – в Мендосу, профессо-

ром в школу горнолыжных подразделений; многие из его друзей расценили это как ссылку. Он вспомнил шутку, услышанную им в Мадриде, – именно в это время Франко раскассировал людей, с которыми начинал путч против республики, по посольствам (не хотел, чтобы в стране жили те, кто знал о нем слишком много); быстрые и острые на язык мадриленьяс говорили тогда: «Есть два вида послов: один – "чрезвычайный и полномочный", а второй – "посол к черту"».

(Именно тогда, в дни пика творческих удач Евы Дуарте, творческих, но не материальных, – жила впроголодь, экономила на хлебе и кофе, – некий человек из германского посольства, встретившись со «звездой», передал ей подарок – восемь тысяч четыреста долларов США.

Равнодушно посмотрев на деньги, Ева поинтересовалась:

– У вас ко мне какие-то просьбы?

– Одна, – ответил немецкий дипломат, смущенно улыбаясь. – Всего лишь одна.

– Изложите ее, – сказала Ева, по-прежнему не прикасаясь к деньгам.

– Продолжайте и впредь быть такой же замечательной актрисой, работающей на благо дружественного рейху народа Аргентины. Это наша просьба, выполните же ее!

Восемь тысяч четыреста долларов равнялись тогда тридцати трем тысячам шестистам песо – невиданное богатство, позволившее молодой женщине не только приобрести достойный ее гардероб, но и маленький автомобиль и даже снять пристойную квартиру в престижном районе.)

В Мендосе у Перона завязалась дружба с генералом Эдельмиро Фареллом, – так же, как и Перон, тот прошел «альпийскую военную школу» в Италии. Вскоре Перона произвели в полковники; в мае сорок второго года он был переведен в Буэнос-Айрес и назначен инспектором горнолыжных соединений армии – с подчинением непосредственно генералу Фареллу.

Именно с ним, Фареллом, он и обменялся мнением о ситуации в стране: левые подняли голову, коммунисты призвали социалистов и радикалов объединиться в единый «Народный фронт» для того, чтобы потребовать от правительства Кастильо присоединения к союзникам и объявления войны странам «оси», – в развитие резолюции Конгресса профсоюзов, принявшего решение бойкотировать товары Германии и Италии.

– Это безумие, – сказал тогда Перон. – Я с м е ю говорить так, генерал, не потому, что я ценю идеи господина Муссолини и Гитлера, отнюдь нет, но ведь совершнно очевидно, что Аргентина может получить максимум выгод от политики нейтралитета, это заставит и Белый дом, и Кремль, и Имперскую канцелярию д е л а т ь все, чтобы удержать нас от войны, а следствие такого рода отношения к нам однозначно: наивыгоднейшая конъюнктура для нашего мяса и зерна на мировых рынках, что, конечно же, даст нам немало врагов среди янки, куда больше, чем сейчас, но – ничего не попишешь, зависть есть зависть, древнейшее человеческое качество.

– Вы емко выражаете мысли, – заметил тогда генерал Фарелл. – Это завидное качество редкостно среди испаноговорящих народов, мы слишком темпераментны, личностны и амбициозны, любим выпячивать на первый план свое «я» и совершенно игнорируем экономические проблемы... Скажите, Перон, а как вы отнеслись к тому, что Ортис[1] поддался давлению левых и распустил «Национальную фашистскую партию» вкупе с «Трудовым фронтом» наших здешних немцев?

Перон ответил не сразу, но вовсе не потому, что хотел угадать, какое мнение угодно генералу, – нет, он уже осознал себя как личность и чувствовал свое предопределение, особенно ночью, перед тем как уснуть; более всего любил шум прибоя; если закрыть глаза, то возникает явственное ощущение восторженного рева трибун; он тогда ответил генералу медленно, ибо взвешивал каждое слово, понимая, что рискованный вопрос Фарелла был задан не случайно.

– Если бы президент Ортис запретил коммунистическую партию и социалистов наравне с фашистскими организациями, я бы, безусловно, согласился с такого рода шагом. Я четко вижу возможную модель аргентинского общества – корпоративную и организованную в единое целое. Меньше болтовни – больше дел. Аргентина для аргентинцев, коими я считаю и украинцев, и немцев, и евреев, и югославов, прибывших сюда в качестве эмигрантов. Мы не можем слепо проецировать опыт Гитлера на Аргентину, наша нация в чем-то сродни американской – мешанина, но если там протестанты против католиков, те, в свою очередь, против негров, евреев и мексиканцев, то у нас такого просто не может быть – котел. И этот аргентинский котел может добиться чуда: по величине и богатству мы входим в первую десятку стран мира. Я не очень-то понимаю, отчего нам не войти в первую тройку? Да и посмотрим, как пойдут дела, – почему бы вообще не стать первой державой мира? Кто нам мешает?

– Как кто? – улыбнулся генерал. – Гитлер бы сказал: русские. Или евреи. Я же говорю – мы. Потому что не чужой дядя пустил сюда британцев, а мы. Не какая-то тетя открыла дверь янки, а мы, именно мы. И если мы слишком качнем в другую сторону, я бы даже сказал – шарахнемся, то я не исключаю возможность того, что немцы займут место янки и британцев, а это – при всей моей к ним симпатии – тоже не есть рождественский подарок. Что ж, я удовлетворен разговором, Перон.

Этот вечер оказался определяющим в карьере Хуана Доминго Перона: он был вовлечен в глубоко законспирированную ложу (наподобие масонской), созданную среди высших военных. Называлась она ГОУ («Групо организадор и унификадор») и состояла поначалу из десяти членов, одним из которых и стал сорокавосьмилетний полковник.

(В том же году Ева Дуарте вместе со своим возлюбленным – известным режиссером и актером – создала свой театр «Кандильехас», который получил часовую программу на «Радио Эль мундо» и «Радио Архентина». Играли пьесы о любви; писал для них, в частности,

1 Ортис – президент Аргентины в 1938 – 1940 годах.

и Мартинелли Маса. Никаких просьб от немецкого посольства по-прежнему не поступало; впрочем, приглашения на просмотры фильмов и на торжественные приемы присылали регулярно, целовали ручки, восхищались прекрасной манерой говорить («Совершенно мужская логика!»), красотой и талантом.

Материальное положение Евы Дуарте сделалось вполне престижным: она теперь арендовала роскошный апартамент на улице Карлоса Пелигрини, в самом центре столицы.)

В ГОУ Перон отвечал как за внешнеполитические вопросы, так и за внутренние – в плане борьбы против левых сил, особенно коммунистов, «связанных с международным Коминтерном и Кремлем». Именно ему принадлежала идея создания «тройственного пакта» Аргентина – Чили – Парагвай, что позволило бы, по его словам, сделать юг континента доминирующей силой Латинской Америки, а выходы как в Атлантический, так и в Тихий океан обеспечили бы региону невероятно благоприятную экономическую ситуацию.

Перон не спрашивал своих коллег по ГОУ, кто финансирует подготовку к военному перевороту; прошел слух, что посол рейха в Испании нелегально прибыл в Буэнос-Айрес и имел ряд тайных встреч с военными; однако слух – он и есть слух, не пойман – не вор. (Гиммлер, Риббентроп и Боле, однако же, именно в это время старались делать все, чтобы создать для союзников «болевую точку», подобную Италии, которая выбывалась из войны. Следовательно, версия, бытующая среди части аргентинских историков, о том, что посол передал военным чемодан с золотом, отнюдь не лишена права на существование.)

Следует также помнить, что тайная активность ГОУ наращивалась по мере того, как комиссия сената по расследованию антиаргентинской деятельности нацистов собирала все большее количество документов, из которых явствовало, что законспирированное гитлеровское подполье во главе с резидентом НСДАП Зандштете и натурализовавшимся немцем Людвигом Фрейде, ведет активнейшую подрывную работу в пользу присоединения Аргентины к странам «оси».

Когда президент был свергнут, ГОУ одержала победу и привела к власти генерала Рамиреса, желаемого единства нации, однако, достигнуто не было, ибо голоса в правительстве разделились: министр иностранных дел адмирал Сегундо Сторни выступал за блок с союзниками; ему противостоял близкий друг Перона полковник Энрике Гонсалес; большинство кабинета заняло выжидательную позицию.

Тем не менее работа комиссии сената по расследованию антиаргентинской деятельности была прекращена, документы вывезены в генеральный штаб; любое упоминание в печати об этом было запрещено и нещадно вымарывалось цензурой.

Государственный секретарь США Кордэлл Хэлл направил Сторни беспрецедентное по своей резкости послание – «в стране растут нацистские тенденции»; Сторни пытался смягчить удар с севера, заверив Белый дом, что новый режим всей душой ненавидит тоталитаризм, симпатизирует союзникам, но не может вступить в войну на их стороне в силу внутренних обстоятельств, сложившихся в Аргентине, – отнюдь не по ее вине, добавил, однако, он.

Когда генералы разрешили опубликовать оба эти письма и ознакомить народ с текстом ноты государственного секретаря США Хэлла, в стране разразился взрыв: так еще никто и никогда не смел говорить с аргентинцами. Адмирал Сторни был снят, на его место назначили генерала Альберто Жильбера, а пост министра внутренних дел занял ультраправый генерал Луис Пелингер, который сразу же обрушился на левых, загнал в подполье коммунистическую партию; не скрывая, высказывался в поддержку нацистов и их «героической борьбы против мирового большевизма»; провел закон о контроле над средствами массовой информации. Генерал метался, как слон в лавке, наводил террор; Перон в это время был в тени, отошел в сторону, посиживая в кафе «Дель Молино» напротив Конгресса и в маленьких барах на улице Флорида, прислушиваясь к тому, что говорят люди, – по традиции именно в этих местах аргентинской столицы вызревало общественное мнение.

Когда генерал Рамирес начал формировать свой кабинет, полковник Перон мягко отклонил предложение войти в него и начал кампанию за избрание генерала Фарелла вице-президентом, оставаясь его адъютантом и ближайшим помощником; Фарелл в то время стал министром обороны.

Перон продлил начатые ранее, до переворота еще, контакты с ФОРХА («Фронтом радикальной ориентации аргентинской молодежи»), созданным группой молодых интеллектуалов, философов, писателей и экономистов еще в тридцать пятом году. Молодые люди требовали сохранения верности идеям Иригойена, но добавляли к его доктрине «социальной справедливости» экстремистские пункты, содержавшие резкую критику империализма – как британского, так и «североамериканского колосса», – но не с марксистских позиций, а с тех, которые весьма и весьма смыкались с демагогией Муссолини.

Следствием конспиративных встреч Перона с радикалами явилось опубликование в столичной газете «Ла Пренса» сообщения некоего анонимного чилийского журналиста о том, что три тысячи шестьсот офицеров Аргентины считают своим истинным каудильо не президента Рамиреса и не генерала Фарелла, а именно полковника Перона. Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Перон напечатал опровержение: «Я служу армии и родине, у меня нет и не было никаких персональных амбиций».

Генерал Рамирес, исполнявший обязанности президента, отправил ему благодарственное письмо: «Так и только так может поступать истинный патриот Аргентины!»

Слово генерала не разошлось с делом: Перон был назначен министром труда; странное и, по аргентинским понятиям того времени, не престижное назначение было, тем не менее, истинной победой Перона: он получил под свой контроль триста тридцать тысяч филиалов профсоюзных организаций по всей стране, соединив, таким образом, головы ФОРХА с руками «Всеобщей конфедерации труда».

...В конце сорок третьего в Боливии тоже произошел переворот; правительство возглавил Вильярроэль; незадолго до переворота в Буэнос-Айресе была зафиксирована встреча одного из друзей Вильяр-

роэля с Пероном, Соединенные Штаты открыто объявили о том, что в Латинской Америке начинается аргентинская экспансия, подогреваемая из-за рубежа; военно-морские силы США остановились у берегов Уругвая в непосредственной близости от Аргентины; в Вашингтоне не скрывали подготовки к тому, чтобы арестовать все золото Аргентины в американских банках.

(Именно в это время Ева Дуарте сошлась с подполковником Анибалом Франсиско Имбером; именно он представил ее своему шефу, генералу Доминго Мартинесу, возглавлявшему инженерный аппарат армии, а до того он был одним из начальников полиции. Ева совершенно очаровала генерала, и тот разрешил Имберу, руководившему отделом почт и телеграфов, подписать указ, предоставлявший сеньорите Дуарте особые привилегии на радиостанции «Бельграно».

После этого она переехала в еще более роскошный апартамент на улицу Посадас, 1567, – как раз напротив радиостанции; в случае экстренной необходимости выход в эфир мог быть обеспечен в любое время суток...

В эти же дни она познакомилась и подружилась с писателем Франсиско Хосе Муньос Аспири, тесно связанным с факультетом философии и литературы; вместе начали готовить цикл радиоспектаклей о выдающихся женщинах мира.)

Пятнадцатого января сорок четвертого года в городе Сан Хуане произошло страшное землетрясение, тысячи людей остались без крова. Перон обратился к актерам, писателям и художникам Аргентины с просьбой собраться на фестиваль в Луна Парке: «Все сборы от фестиваля должны пойти нашим сестрам и братьям в Сан Хуане! Мы – аргентинцы! Мы – общность! Если мы не поможем себе, нам не поможет никто!»

Здесь, на фестивале, он и встретился с Евой Дуарте; через два дня Перон приехал в студию, где работала Ева, на радиостанции «Бельграно». В прессе появились первые фотографии, на которых Перон и Ева были вместе. Затем он съехал со своей квартиры на улице Ареналес, где жил с молоденькой медичкой, и переселился в тот дом, где этажом выше жила Ева. Писатель Муньос Аспири – по представлению Перона – был назначен директором управления пропаганды в министерстве информации.

Именно он, Аспири, и внес предложение выдвинуть Перона кандидатом в президенты Аргентины на предстоящих выборах.

Директор жандармерии генерал Фортунато Дживанони пригласил Перона к себе в ставку:

– Полковник, это правда, что актриса Ева Дуарте посещает вас в министерстве труда?

– Истинная правда, – ответил Перон, помолодевший за эти недели на десять лет, подобранный, улыбающийся, со светящимися глазами. – Она посещала меня там и будет посещать, потому что она борется за права женщин, а я – за права армии.

– Вы считаете, что это хороший пример для офицеров?

– Да, если они имеют таких же подруг, как великая актриса Ева Дуарте.

И он отправился в Сенат, где выступил в защиту феминисток, требовавших предоставления женщинам права участвовать в выборах. Выдающиеся актрисы страны, писательницы и художницы немедленно поддержали полковника.

Не скрываясь, Перон поддержал фильм по сценарию Алехандро Касона, в котором Ева играла главную роль, получив за это немыслимый гонорар – пятьдесят тысяч песо!

(Неизвестно, какую сумму уплатила Ева Дуарте своему другу, натурализовавшемуся немцу, члену НСДАП Людвигу Фрёйде, но именно тогда она приобрела у него маленький отель по улице Теодоро Гарсиа, 2102.)

Все эти месяцы Ева работала день и ночь, выпуская радиоспектакли о выдающихся женщинах мира: тут была и Анна Австрийская, и госпожа Чан Кайши, и Сара Бернар, и Элеонора Дузе, и, наконец, леди Гамильтон.

А когда по просьбе Евы ее старый приятель Оскар Николини получил назначение – опять-таки с подачи Перона – на пост директора почт и телеграфа, армия поднялась на дыбы.

Перон, тем не менее, стоял на своем.

Армия отказывалась утвердить это назначение.

Тогда Перон отрекся от всех своих должностей и вышел из правительства.

Капитаны генерального штаба подняли части столичного гарнизона и окружили его дом. Ева и Перон успели выйти черным ходом на улицу; там их ждал автомобиль Людвига Фрёйде, он вывез их в свой маленький замок на острове в курортном местечке Тигре.

В Буэнос-Айресе трудно сохранить тайну: на остров прибыл шеф полиции столицы Аристобуло Миттльбах и арестовал Перона, отправив его в заключение на остров Мартин Гарсиа.

В тот же день Ева вернулась в Буэнос-Айрес и поселилась у своей подруги – актрисы Пьерины Далесси. Именно оттуда, на машине испанской певицы Кончиты Пикер, она отправилась на фабрики столицы, в рабочие окраины, в студенческие общежития; позже к ней присоединился руководитель профсоюзов холодильной индустрии анархист Чиприано Рейес; назавтра сотни тысяч рабочих, причем самых бедных, собрались на Пласа де Майо; множество людей пришли без рубашек. «Вы, безрубашечники, – воскликнула Ева, – являетесь армией Перона! Он пришел, чтобы дать вам права, труд и счастье!» С площади она отправилась на радиостанцию «Бельграно» и повела оттуда репортаж о происходящем на Пласа де Майо. В тот же день Перон был освобожден и прибыл в дом правительства; оттуда – уже в качестве нового руководителя страны – он вместе с Евой отправился в имение Сан Николас к доктору Роману Субица, будущему министру иностранных дел. Через неделю он бракосочетался с Евой; ни один журналист на церемонию не был допущен; акт подписал Хуан Антонио Ордиалес, будущий директор «Комиссии по вопросам собственности немцев и японцев» в правительстве Перона.

Следом за этим Перон отправился в турне по стране – приближались выборы; все ключевые посты заняли его сподвижники; однако исход дела решали голоса аргентинцев.

И когда Перон впервые вышел к микрофонам для того, чтобы произнести речь в качестве претендента на пост президента Республики, и Ева стояла рядом с ним – двадцатичетырехлетняя женщина с умом опытного политика, – он почувствовал растерянность, а «безрубашечники», собравшиеся слушать человека, который должен дать им труд, хлеб и свободу, напряженно ждали его программу.

А он стоял у микрофонов, и перед глазами проходила его жизнь, и сквозь прекрасное лицо Евы, которая теперь постоянно была с ним, где бы он ни находился, он вспоминал и свое детство в Патагонии, и Рим, и немецких друзей и слышал свои слова восторга по поводу их побед над большевиками, а после он вспомнил, каким ударом для него было крушение Гитлера под Сталинградом, а потом был Курск, когда он как военный историк понял неизбежность краха третьего рейха, – воистину, война есть продолжение политики иными средствами, – а после он видел кадры хроники о штурме Берлина. И тут он осознал, что в нынешнем мире, в сегодняшней ситуации он не сможет сказать ни одного слова в поддержку разгромленных друзей, наоборот, он должен отдать их на заклание, и говорить сейчас следует совсем не то, что было написано на тоненьких листочках людьми из его предвыборного штаба, но то именно, чего ждут «безрубашечники»; лишь выиграв их, можно будет подумать о прошлом, а сейчас следует жить будущим.

И Перон, отложив листочки с написанным текстом, заговорил о том, как богата страна и как беден народ, как бесправны неграмотные, женщины, юноши, сколь могучи силы олигархии, именно она парализует любое начинание, связанное с попытками улучшить жизнь крестьян; он называл болезни общества, которые были понятны всем, и призывал покончить с ними тем способом, который известен ему одному; он говорил о том, что лишь реализм должен отличать настоящего политика: «Мы не боимся контактов с тем миром, который неприемлем, – я имею в виду Россию. Если народ хочет, мы установим с ней дипломатические отношения, пусть все убедятся воочию, что между американским империализмом, британским колониализмом и русским большевизмом нет особых различий, наш путь, аргентинский, свой, особый, приведет нас к победе, пусть только мне поверят!»

Рев толпы, столь похожий на шум прибоя, был ответом ему. И еще – напряженная, какая-то осторожная при всей ее открытой ослепительности – улыбка Евы...

ШТИРЛИЦ (Игуасу, ноябрь сорок шестого)

Когда индеец уснул – а он мужественно боролся со сном почти до самого рассвета (раннего, весеннего, ноябрьского, многокрасочного), – Штирлиц, продолжая тихонько постанывать, качаясь, поднялся с койки, оделся, держась за стену, вышел, еле передвигая ноги, в пустой коридор, освещенный тусклой бело-голубой, какой-то покойницкой лампочкой, добрел до туалета, только что не падая, открыл фанерную дверь, ввалился в насквозь пропахшую тюремной хлоркой щель и, ищуще набросив крючок, выпрямился. Продолжая

стонать, кряхтеть, он достал из кармана ручку, конверт испанской аэролинии «Иберия» и записал на нем колонку цифр. Сверив эти цифры с циферблатом часов, он начал хрипеть, изображая приступ рвоты. Никто, однако, к двери туалета не подошел: тишина; только в пальмах кричат какие-то странные птицы («Уж не попугаи ли? А ведь и впрямь попугаи, вот чудеса!»). Он записал колонку цифр еще раз, снова изобразил приступ рвоты и в это время завел часы – неизвестно, когда удастся завести еще раз, упаси бог встанут, а это непростительно, потому что колонка цифр – время прилета и вылета самолетов из Игуасу. Он запоминал по-настоящему, лишь когда несколько раз записывал: цифры после этого делались своими. Все время игры в болезнь он мучительно повторял их про себя, дожидаясь того момента, когда сможет записать; холодные, отрешенные цифры станут после этого его собственностью, будь она трижды неладна. Он очень боялся, что его сморит и, проснувшись, он забудет эти чертовы «семь часов пятьдесят три минуты» и «пятнадцать двадцать две». «Почему прибытие и вылет планируют не круглыми цифрами, а как бы специально путая пассажира?! Какая разница: вылетит самолет в семь или в шесть пятьдесят восемь?! Почему вы мудрите, люди? Надо стремиться к простоте! Ну да, – возразил он себе, – из этих минут набегут часы, которые позволят компании пустить еще один рейс, а ведь это деньги, чистое золото!»

...Он отчетливо понял, как ему надо поступить, когда в Рио они ждали служащего аэропорта, который должен был отвезти их на знойное летное поле – туда, где прогревала моторы маленькая авиетка. Он понял это, увидав расписание вылета самолетов из Игуасу на Буэнос-Айрес – через Посадас и Корриентес. При полетах на внутренних рейсах паспорта не спрашивают, просят лишь номер страхового полиса, имя и адрес родственников (чтобы перевести деньги в случае катастрофы – три тысячи песо; вполне хватит на белую надгробную плиту для комочка обгорелой земли, который будет выдан семье погибшего, – останки, подлинность подтверждается экспертами, принимавшими участие в осмотре «фрагмента трупа»). Номер страховки пассажира, стоявшего перед ним, он запомнил; главное – не напутать с количеством цифр (люди всегда сгорают на мелочах), адрес он тоже запомнил: толстая дама летела в Корриентес, улица Росалес, тысяча семьсот пять; почему такие большие улицы? Наверное, они нумеруют подъезды; судя по тому, что служитель аэропорта не удивился и не переспросил удивленно: «Как вы сказали? Дом номер тысяча семьсот пять?», здесь такого рода нумерация была не в новость. Верно, именно в Бразилии проявил себя Шарль Эдуард Ле Корбюзье, новатор двадцатого века, фюрер обещал приковать его к позорному столбу за «кощунство над самой идеей градостроительства, полное отрицание традиций; фиглярство и служение беспочвенным идеалам интернационала».

Он понял тогда, что единственным выходом (попытке, актом отчаяния, страстным желанием вырваться) будут симуляция болезни в самолете, госпитализация, бегство; в Игуасу можно купить билет до Буэнос-Айреса, деньги в заднем кармане брюк.

«Жаль, если разденут в клинике: Ригельт наверняка заберет мой

костюм себе для анализа; перед посадкой успел переложить доллары в карманчик, который был нашит на трусы, такая уж у испанцев мода – всюду, где только можно, ляпать кармашки. Спасибо, испанцы, ну, выручили, ай да молодцы!

Только б не забыть даты прибытия и вылета самолетов, только бы затвердить до той поры, пока не представится возможность записать их, посмотреть на колонки цифр раз двадцать, тогда они врежутся в память, не вырубишь топором; мужик, что бык, – втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь, – эк точно, а! Ведь как просто: казалось бы, мужик – человек упрямый. Вот и все. Но это пройдет мимо сознания, не споткнешься, не задумаешься, лежит наверху, а вот если поставить нужные слова в точный ряд, как это сделал Некрасов, родится образ, который – единожды прочитав – никогда не забудешь.

Ну, хорошо, ты вызубрил даты рейсов, – сказал себе Штирлиц, выбрасывая мелко порванный конверт «Иберии» в очко. – Очень замечательно, молодец, а что тебе это дало? Авиетка уходит в двадцать три сорок две; уже ушла. А вторая отправляется в девять пятнадцать, попасть на нее – утопия. Или уж вместе с Ригельтом. А чем, собственно, он мне мешает? Прилетим в Буэнос-Айрес и расстанемся. Как он сможет не отпустить меня? Очень просто. Он обратится к первому встречному автоматчику: «Держите, его ищет полиция, он – наци»?! Вряд ли. Да нет, такое просто исключается: в полицию поедем в одной машине. Я нужен ему, а точнее – тем, кто за ним стоит. Нужен, вероятно, в ином качестве. Поскольку они обладают организацией и поэтому информированы, игра пока что идет в их пользу. Но если я им нужен, то мне это не нужно, хотя через Ригельта я бы смог выйти на всю их цепь. Вышел, допустим. Ну и что? Кто об этом узнает? Как кто? Люди. Это не ответ, а сопли. Если я бы мог выйти на их цепь, но рядом был бы Роумэн... Или Клаудиа... Тогда про их четко функционирующую цепь стало бы известно людям. Я ведь помню адрес и телефон Старка? Помню. А через него это ушло бы в газеты. Или через того же Мигеля из Лондона, которому сунули информацию про «Стиглиса», он же «Бользен». Подставиться ригельтам, судя по всему, никогда не поздно. Только сделать это следует в нужное время. А сейчас надо уходить, – сказал себе Штирлиц. – Только сейчас. Утром может быть поздно. Утром, видимо, сюда приедут люди из его банды. И тогда я лишусь хоть какой-то, может быть, даже иллюзорной, но все же инициативы. Уходить надо здесь и сейчас. И ложиться на грунт. А потом идти в Буэнос-Айрес. Или в Асунсьон. Почему в Асунсьон? – удивился он. – Потому что у меня билет выписан до парагвайской столицы? Нет, – очень медленно и выверенно ответил он себе, – надо пытаться уйти туда, потому что там живет доктор Артахов, редактор «Оккультизма», с которым тебя познакомил добрый маленький старый генерал Серхио Оцуп, который и по-испански-то говорит с одесским акцентом, ан – генерал франкистской армии. Ну, двадцатый век, ну, судьбы людские! Артахов – зацепка, через него я вернусь в Буэнос-Айрес, но осмотревшись, это так важно – иметь время на то, чтобы осмотреться! А куда здесь, в этой деревне, можно уйти? На чем уехать? Не

знаю, – ответил себе Штирлиц, – но если ты подумал об этом, значит, что-то дало тебе повод так думать. Да, – ответил он себе, – когда меня несли на носилках через маленький домик аэродрома, я видел объявление, там было написано, что желающие получить экзотический отдых в сельве – охота и рыбная ловля, могут обращаться к Джеймсу О'Карри – калле Виктория Агирре, сто двадцать пять. Очень хорошо, – сказал себе Штирлиц, – прекрасно, что ты запомнил это, но там были еще какие-то объявления, почему ты не заложил их в пеналы памяти? Попробуй вспомнить, это важно, два предложения – не одно, это уже выбор, а что может быть прекраснее возможности выбирать? Ладно, не можешь. Тогда давай сейчас подумаем, как найти эту чертову Виктория Агирре. А вообще ты зря рассуждаешь, – сказал себе Штирлиц, – детская игра; наверняка индеец, нанятый Ригельтом, давно уже стоит около дверей, прислушиваясь к твоему жалобному кряхтенью. Ну, зачем же так резко? Не надо так шутить с самим собой. Нет индейца. Он спит. Я хочу этого. Я очень этого хочу, и поэтому будет только так. Навязанная воля – явление непознанное, я в нее верю, пусть уж бог простит мне эту мою веру».

Он отворил дверь – индейца в коридоре не было; закраины неба сделались фиолетово-красными, хотя месяц еще висел в чернильном провале неба, окруженный далекими (не то, что из самолета) звездами, которые переливно калились изнутри бело-сине-зеленым пульсирующим подрагиваним.

Штирлиц вышел во двор клиники, продолжая раскачиваться («Мне совсем плохо, не могу лежать, Ригельт!»), огляделся, заметил под навесом двух коней и повозку, тихо подошел к каурому мерину, понял, что время игры кончилось, быстро оседлал коня, с трудом залез на высокое, странной формы седло (раньше легко взбрасывал тело, каждый раз ощущая при этом все свои мышцы, – нет ничего прекраснее этого спорта, разве что только теннис) и тихонько тронул коня.

Выехав на улицу, – слава богу, земля не асфальт или булыжник! – тихо, нет грохочущего цокота копыт (этот звук всегда ассоциировался в нем с временем гражданской войны), – он с трудом поборол в себе желание пустить каурого аллюром к аэродрому. «Глупо: через час-два меня хватятся, Ригельт сразу же намылится именно на аэродром. Только Виктория Агирре, сто двадцать пять, О'Карри: «экзотический отдых в сельве – охота и рыбная ловля», только туда. Я не знаю, отчего именно туда, но если меня тянет туда – значит, так надо, доверься чувству».

В поселке было тихо, центральная улица взбегала вверх, две другие расходились вниз, к коричневой паране, на другой стороне – Бразилия. «Ни одного пограничника, тишина, только б так быстро не светало, черт возьми! Пусть бы подольше был этот серый, размытый рассвет при полоске ослепительного неба на западе. Тут все наоборот, может, у них восток с другой стороны, но пусть бы так было с полчаса, потому что я могу разобрать названия улиц и номера домов, свет идет какой-то горизонтальный, и водопады гудят, в серой темноте слышно их бело-кипящее обрушивание, второе чудо

света или восьмое, бог с ним, только б найти калле Виктория Агирре!» И он нашел ее, соскочил с коня, скрючился от боли, пронзившей поясницу, на этот раз застонал по-настоящему, без игры. «Если найдут, скажу Ригельту, что увидал каких-то двух подозрительных типов, решил бежать, подумал, не полиция ли ищет, потребует документы; в авиапорту Ригельт хорошо поднял шум: «Не до проверки, человек умирает, скорее в клинику». Все же я славно придумал эту игру, только б конь послушался меня и отправился восвояси. Ну, иди, конь, иди к себе под навес, там стоит твоя подруга и пахнет свежим сеном, иди, я бы пошел на твоем месте, ах, как я бы припустил, коли б меня пустили, не пускают, конь, а ты — иди, я очень тебя прошу, иди, вот молодец, до свиданья, конь, спасибо тебе, ты очень меня выручил!»

— Погодите, какая к черту охота? — удивился человек, зевая с собачьим подвыванием. — Откуда вы? Как черт из преисподни, право.

— Вы угадали, — Штирлиц тоже зевнул. — Я — оттуда. Я стою перед дилеммой: лететь в столицу, чего мне не очень хочется, или плюнуть на все и недельку поохотиться в сельве. Сколько стоит это удовольствие?

— А что у вас есть с собой?

— Ничего.

— О, это будет дорого стоить... Только объясните, откуда вы?

— Из больницы.

— Что вы там делали?

— Лечился. Меня прижало в самолете, делали клизму.

— А, это вас сегодня... Нет, вчера уже... привезли туда помирать? В поселке рассказывали... Ну, проходите, что ж мне с вами делать...

Он пропустил Штирлица в маленький холл, увешанный какими-то странными рожками и застеленный шкурами незнакомых животных, включил свет, достал из скрипучего, старого шкафа бутылку джина, налил из ведра воды в стаканы, спросил, не хочет ли гость чего поесть, выслушал вежливый отказ и только после этого поинтересовался:

— В какой валюте намерены платить?

— В долларах.

— Но вы не американец?

— А если?

— Значит, натурализовавшийся. У вас есть акцент.

— Я испанец. Максимо Брунн, доктор Брунн.

— Ни разу не видел испанцев. Так вот, неделя охоты вам будет стоить... Погодите, а вы один?

— Да.

— Девка не нужна?

— Сколько стоит?

— Это недорого. За неделю я с вас возьму тридцать долларов... Ей потом отдам пятнадцать песо, а себе оставлю остальное, — бизнес, ничего не поделаешь. Так, значит, оружия у вас нет?

— Откуда...

– Да, действительно... А костюм? Что, вы хотите охотиться в этом?

– Я оплачу все расходы, мистер О'Карри.

– Почему вы решили, что я О'Карри? Он хозяин фирмы, живет в Посадас; я – Шиббл... Имейте в виду, это удовольствие станет вам... Почему не пьете?

– Боюсь, меня снова будет корчить...

– Отравились?

– Наверное.

– В сельве я вам дам трав, все вылечат... Или отведу к Катарине.

– А это кто?

– Как то есть кто?! Колдунья!

– Интересно.

– Значит, вот что... Придется вам положить триста баков за все удовольствие...

– Вы что, с ума сошли?

– Дорого?

– Вы сошли с ума? – повторил Штирлиц и шагнул к двери, поняв, что он ведет себя правильно, особенно после того, как Шиббл, растерявшись, сказал «дорого». В этом его «дорого» было и удивление собственной наглостью, и какое-то усталое лихачество, и скука, и надежда. Одно это слово дало Штирлицу возможность нарисовать психологический портрет человека, в чем-то даже придумать его. «Пусть ошибусь, только нельзя говорить с пустотой, всегда надо говорить с личностью».

– Я дам вам сто долларов. Это очень хорошие деньги.

– Вы с ума сошли? – поинтересовался, в свою очередь, Шиббл. – Вы в своем уме? Двести.

– С девкой? Сто пятьдесят.

– Вы тоже не очень-то зарывайтесь! Торг должен быть честным.

– Я хочу, чтобы мы вышли в сельву сейчас же.

– Да вы что?! В такую рань! Ничего же не готово!

Штирлиц повторил:

– Я хочу, чтобы мы вышли сейчас. Я не желаю встречаться с братом моей... жены... Он спит в госпитале... Я не хочу его видеть, понятно?

– За неурочные сборы вам придется надбавить тридцать баков.

– Десять.

– Вы уже могли понять, что я удовлетворюсь только пятнадцатью, – усмехнулся Шиббл. – И последнее: мокрое дело за собой не волочите? Только честно! Мы будем пересекать шоссе, можем встретить полицию, они будут в курсе, если что случилось этой ночью... Брата жены бритвочкой по сахарному кадычку – жик-жик! И – ко мне: «Хочу отсидеться в сельве»...

– Можете съездить в клинику. Он там спит.

Шиббл добавил себе джина и деловито поинтересовался:

– Вечным сном?

Штирлиц рассмеялся:

– Часто перечитываете Джером Джерома?

– Заметно?

– Очень. И у него, и у вас юмор отмечен печатью аристократической сдержанности.

– Это комплимент... Ладно, сейчас тронемся. Какой у вас размер обуви?

– Девятый.

– Годится. Есть хорошие бутсы, всего пару раз надеванные. Куртка? Двадцать восьмой размер?

– А черт его знает...

– Как понять? Не помните своего размера?

– Мой портной помнит, – нажал Штирлиц; каждый европеец знает, что костюмы шьют лишь очень состоятельные люди, большинству не по карману, сумасшедшие деньги, на них вполне можно приобрести три великолепные тройки в достаточно дорогом магазине.

Шиббл окинул быстрым взглядом фигуру Штирлица и убежденно повторил:

– Двадцать восьмой, третий рост. Такой тоже есть. Носки натянете шерстяные, ноги не будут потеть. В тропиках часто бывали?

– Первый раз.

– Хорошо, что не соврали. Как переносите жажду?

– Вообще не переношу.

– Значит, потащите большую флягу. У меня брюхо луженое, могу пить из тех озер, где живут змеи и гады.

– Тяжелая фляга?

– Десять литров.

– И мне ее тащить?

– Пять баков – и потащит конь.

– Не хотите перейти работать Гобсеком? Были бы прекрасным ростовщиком.

– Я добрый. Простите, запамятовал ваше имя...

– Брунн. Максимо Брунн.

– Так вот, я слишком добрый для этой работы, сеньор Брунн. Я и здесь-то оказался из-за того, что не умел посылать к черту всякого рода подонков... Теперь вот что... в каком направлении пойдем? В красоту – к Бразилии? Или вниз по Паране – к Асунсьону? Там не так жарко. Или на юг – к центру Аргентины?

– До Асунсьона далеко?

– Не очень.

– Какая там охота?

– Любая.

– То есть?

– Можно стрелять все живое.

– Я же не бывал в тропиках, не знаю, что тут за охота.

– Есть рисковая. Аристократическая. И забавная.

– Объясните про каждую... только когда выедем из города, по дороге уже, ладно?

– Нет, поздно будет. В зависимости от того, на что хотите охотиться, я подберу вам оружие... Собраться – раз плюнуть, кони во дворе, через десять минут отправимся...

– Рисковая – это как?

– Это ягуар. Пума. Или медведь. Есть бурый, встречается муравьед. Охота достаточно интересная, но придется раскошелиться на десять долларов – наймем проводников, там без индейцев даже я не смогу вывести вас на зверя.

– А что такое аристократическая охота?

– Погодите, а вы ружье-то в руках держали?

– Держал.

– Ну, аристократическая – это если вы захотите пострелять оленя корсуэла-мазам, очень красив, прекрасный трофей. Любопытна охота на тапиров и туканов, но для меня – слишком мелко...

– Пойдем на ягуара, оленя жалко.

– Бросьте. Молодой и сильный олень-корсуэла редко гибнет, под пулю идут старики, у них – нюх и ноги, у вас – ружье, шансы равны. Причем он не может сверзиться в пропасть с камней, а вы можете.

– Пойдем на ягуара, – повторил Штирлиц. – А что такое забавная охота?

– Это на любителей, вам вряд ли понравится...

– Так что это?

– Ну, это когда мы уговариваемся стрелять обезьян или аче-гуаяки...

– Брр, стрелять обезьян... Какая уж тут забава?

– Их довольно трудно отстреливать, они очень быстры и лихо прячутся в сельве... забавно отстреливать аче – живая мишень.

– Я никогда не слыхал про таких животных...

– Ну, в общем-то они не совсем животные... Это индейцы... На них в Парагвае объявлена свободная охота...

– Вы с ума сошли!

– Почему? Правда. Это даже поощряется... Не верите? Наймем гуарани[1], они вам про это расскажут подробно, они получают деньги за отстрелянных аче-гуаяки... Значит, берем штуцер? Ягуара можно взять только из штуцера... Аче ложатся от дроби, даже шестеркой их можно класть наповал... Впрочем, гуарани особенно любят подранков – они пытаются обратить их в католичество... Ладно, я пошел за амуницией, сейчас отправимся. Только правду скажите: есть совсем не хочется? Мы встанем на отдых только в десять, когда наступит зной... Шесть часов без пищи, выдержите?

– Выдержу, идем...

– Сейчас... У меня амуниция на втором этаже. Пока раздевайтесь, все равно костюм надо оставлять здесь...

Шиббл поднялся на второй этаж, посмотрел на свежий оттиск объявления, которое Штирлиц заметил (не мог не заметить, весь аэропорт з а л я п а л и, для того и было вчера напечатано в местной типографии), взял трубку телефона, набрал номер госпиталя. Ригельт поднял трубку сразу же, ответил шепотом:

– Слушаю.

– Он здесь.

– Очень хорошо. Спасибо, мистер Шиббл. Когда вы оставите

[1] Гуарани – представители индейского племени.

его там, где он решит кончить охоту, возвращайтесь и получите вторую половину гонорара. Но я должен знать точный адрес, по которому он остановится. Вы пришлете мне телеграмму или позвоните сюда... Из Парагвая звонок возможен?

– Конечно.

– Хорошо. Сколько времени он намерен охотиться?

– Неделю.

– Чем расплачивается?

– Деньгами, чем же еще...

– Это я понимаю. В какой валюте?

– Доллары США.

– Сколько вы запросили?

– По тарифу, – ответил Шиббл и положил трубку.

Спустившись вниз, он бросил на спинку стула тропический костюм и пробковый шлем; патронташ, набитый разрывными, аккуратно положил на стол и, распахнув створки скрипучего шкафа, вделанного в стену, предложил:

– Мешалку[1] выбирайте по прикладистости; советую взять немецкий штуцер, он хорошего боя, только чуть низит, но мы с вами постреляем по мишени, приладитесь... Переодевайтесь, я иду запрягать коней, спускайтесь следом.

ПОЗИЦИЯ (Нью-Йорк)

Посол Громыко понимал, как труден будет сегодняшний день; судя по всему, обсуждение испанского вопроса в Совете Безопасности продлится не день и не месяц – годы; тон правой американской прессы явно свидетельствовал о том, что определенные силы в Соединенных Штатах крупно поставили на Франко; не удивительно: самый последовательный, несколько даже маниакальный борец против «красной угрозы и русского большевизма» на Европейском континенте.

Обращение в Совет Безопасности польского представителя доктора Оскара Ланге по поводу ситуации в Испании оказалось для англо-американского блока в определенной мере неожиданным; в Вашингтоне и Лондоне полагали, что после безрезультатного обсуждения этого вопроса в Потсдаме, когда Трумэн и Черчилль заблокировали предложение Сталина о санкциях против мадридского диктатора, русские и их союзники не станут возвращаться к проблеме Франко еще раз.

Громыко готовился к заседанию Совета Безопасности с присущей ему тщательностью; в кабинете работать удавалось только рано утром и поздним вечером, вплоть до глубокой ночи, потому что день был расписан по минутам: встречи с государственным секретарем Стеттиниусом; адмиралом Дэвисом; Генри Моргентау и Бернардом Барухом, автором «Атомного проекта»; французским представителем

[1] Ружье *(охотн. жаргон).*

Бонэ; министром военно-морского флота Форестолом; Генри Уоллесом, бывшим вице-президентом Рузвельта, уволенным в отставку Трумэном.

Человек этот был особо симпатичен Громыко — и как политик, и как личность.

После того как Уоллес в качестве вице-президента совершил путешествие по Советскому Союзу, он, вернувшись, заметил Громыко:

— Я перечитал французского путешественника Торквилля — он совершил длительную экскурсию по России и Америке в середине прошлого века: «Никто так не похож в мире, как русские и американцы... Хоть и начали они с разных отправных точек и каждый идет своим путем, но их цели видятся мне весьма схожими, — именно они будут доминировать на большей половине глобуса», — Уоллес усмехнулся. — Что касается глобуса, то оставим это на совести французского географа, но я убедился, что мы и русские очень похожи, как только прилетел к вам на Дальний Восток. Но в чем Торквилль прав абсолютно, так это в том, что и мы, и вы пережили горестные эпохи изоляционизма... Именно эта консервативная тенденция наших расистов не позволила Штатам занять место в Лиге Наций — форменное преступление. То, что мы не работали в Лиге Наций, должно быть открыто вменено в вину нашим правым, на которых — именно поэтому — лежит большая доля вины за начало второй мировой войны... Как же был прав ваш предшественник мистер Максим Литвинов, когда он предлагал в Женеве решить вопрос о коллективной безопасности, чтобы мир мог противостоять Гитлеру!

Громыко с улыбкой вспомнил, как на приеме, когда он был еще послом в Вашингтоне, а не представлял Советский Союз в Организации Объединенных Наций, встретился с Уоллесом. Тот поинтересовался: «Отчего господин посол один, где миссис Лидия?» Громыко ответил, что жена приболела, мигрень, раскалывается голова.

Назавтра в восемь утра комендант посольства позвонил на квартиру посла:

— Андрей Андреевич, извините, что отрываю вас от работы, но тут пришел какой-то Уоллес, сидит в приемной, говорит, что он вице-президент и принес Лидии Дмитриевне лекарство. Что с ним делать?

«Какой-то Уоллес» — вице-президент Соединенных Штатов — ночью после приема заехал к своему лечащему врачу и попросил у него самое хорошее лекарство от головной боли для миссис Громыко; в семь пятьдесят утра пришел в посольство с упаковкой пилюль от мигрени.

После того как Громыко, спустившись к Уоллесу, поблагодарил его и угостил кофе, тот задумчиво сказал:

— Знаете, чем больше я думаю о будущем послевоенного мира, тем больше убеждаюсь, как много зависит от позиции Вашингтона и Москвы. Наши правые полны предубеждений против вашей страны... Когда я рассказывал им, что ваши ведущие ученые, писатели и артисты имеют значительно большие заработки, чем народные комиссары и высшие руководители страны, надо мной посмеивались. Когда я заметил, что русский социализм гарантировал всем нацио-

нальностям равные права, меня стали обвинять в приверженности к коммунизму. А когда я заявил, что ваша культурная политика и просвещение совершенно блистательны и что женщина на практике, а не на словах, получила равные права с мужчинами, у наших правых начались форменные корчи... Я сейчас готовлю заявление о том, что лишь Соединенные Штаты и Советская Россия могут гарантировать мир на Земле – после нашей общей победы над Гитлером. Я непременно скажу об этом во всеуслышание, но не думаю, что правая банда мне это простит... Увы, в этой стране, особенно на юге, есть свои фашисты, которым Рузвельт стоит поперек горла...

Слова Уоллеса оказались пророческими: правые не пустили его в Белый дом на второй срок, подведя к Рузвельту своего Трумэна – первое звено в тайном заговоре реакции против великого президента.

Громче всех Уоллеса травил в прессе Игорь Касини, сын последнего царского посла в Америке. Он и его брат Олег (тот был модельером в Голливуде, одевал первую леди) славились громкими скандалами; сплетники, они постоянно вращались в салонах; не пропускали ни одного приема у Громыко. Игорь подвизался в «Херальд трибюн», писал в разделе «Светские новости». Однажды после того, как он оболгал кого-то из крепких бизнесменов в своей статье (писал хлестко, но как-то исподтишка, слишком уж злобствуя, – впрочем, такая манера нравится лавочникам и неудачникам от искусства), его схватили люди обиженного, обмазали дегтем и обсыпали перьями.

Громыко очень потешался, когда редактор газеты, рассказав ему эту историю, изумленно заключил:

– И ведь знаете, что сделал, проказник? Другой бы тайком прибежал домой отмываться, так нет! Этот – в дегте и перьях – пришел в редакцию и радостно воскликнул: «Снимайте меня! Вот что значит честно служить делу свободы информации!» И умолил напечатать его фотографию! Каково?! Или я чего-то не понимаю, или времена меняются: даже позор превращен в рекламу...

Встречаясь с Игорем Федоровичем Стравинским, посол любил слушать, как тот увлеченно рассказывал о Рахманинове. Генеральный консул в Нью-Йорке Федяшин познакомил их; Рахманинов, уже тяжело больной, приехал говорить о том, что после войны намерен возвратиться на Родину: «Грежу Россией, сны про нее вижу. Если не дождусь победы и умру, завещаю похоронить себя в свинцовом гробу, чтобы потом перевезли в Новгород»... Познакомился Рахманинов с Федяшиным в ноябре сорок первого года, когда переслал в советское консульство четыре тысячи долларов: «Это единственный способ, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли...» Рахманинов именно тогда рассказал о письме Ванды Тосканини, дочери великого дирижера, вышедшей замуж за пианиста Владимира Горовица: «Концерт моего отца и мужа в Лос-Анджелесе в пользу русских воинов возбудил большой интерес публики, и полагают, что доход составит около двадцати тысяч долларов. Сумма огромная для такого города, как Лос-Анджелес...».

Громыко всегда помнил, сколько грусти было в глазах Стравинского, когда тот сказал:

– Мне порой тычут: «Эмигрант, эмигрант»... А ведь я из царской России уехал-то, мне наши салонные традиционалисты руки выламывали, а никакие не комиссары. Да разве мне одному?! Почему Дягилев свой балет создал в Париже, а не в Санкт-Петербурге?! Все потому же, Андрей Андреевич, потому же: самодержавие, православие, народность, не смей искать, делай, как прежде, попроще да попривычней... Хоть Победоносцев и умер к тому времени, а все равно его крыла были распростерты над несчастной Россией... Труден путь художника, Голгофа...

...Громыко пролистал свое расписание на следующий день: беседа с американским представителем в ООН Джонсоном, встреча с дирижером Сергеем Кусевицким (подружились еще два года назад в Вашингтоне), пресс-конференция, затем составление отчета о сегодняшнем и завтрашнем заседаниях; судя по всему, предстоит сражение; спустя полтора года после разгрома Гитлера у его союзника Франко появились могущественные покровители; если отбросить в сторону словесную шелуху, станет ясно: постановка «испанского вопроса» явно нежелательна для большинства его коллег по Совету Безопасности.

Приехав в здание ООН, понял, что его предположения правильны, особенно когда выслушал речь английского представителя сэра Александра Кадогана:

– У правительства Соединенного Королевства нет сведений о каких-либо германских военных преступниках или нацистских лидерах, которым было бы предоставлено убежище в Испании. Мы не можем чем-либо подтвердить недавно сделанные в газетах заявления, будто нацистский генерал Фаупель находится в Испании и возглавляет какое-то иберийско-американское учреждение.

Посольство Соединенного Королевства в Мадриде сообщило в январе, что нет никаких доказательств того, что немецкие ученые в Испании занимаются научно-исследовательской работой, относящейся к разработке новых методов ведения войны, и у нас нет в настоящее время сведений, которые подтверждали бы такое утверждение. Союзные миссии в Мадриде следят за немецкими техническими специалистами в Испании, и если бы последние занялись нежелательной деятельностью, то об этом, по всей вероятности, стало бы известно. В действительности большинство находящихся в Испании немцев ведут спокойный и скромный образ жизни.

Я не могу признать, что обвинения, которые до сих пор были выдвинуты против испанского правительства, подтверждают существование угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии, и поэтому не считаю, что было бы правильно требовать сейчас коллективного разрыва дипломатических отношений. Исходя из только что мною сказанного, я также не считаю, что такой шаг был бы благоразумен.

Я уже указал, что в Испании что-то делается для искоренения немецкого влияния. Это делается по настоянию наших дипломатических миссий, которые внимательно следят за всеми действиями испанского правительства и постоянно оказывают на это правительство давление, требуя выполнения им своих обязательств. Если бы

эти миссии были отозваны, то немцам в Испании было бы предоставлено свободное поле деятельности, и у нас не было бы возможности за ними следить.

По всем этим причинам я не могу голосовать за резолюцию, внесенную в Совет Безопасности представителем Польши.

Громыко выступил сразу же после Кадогана в своей обычной манере – суховатая сдержанность и доказательность каждого положения:

– Господин Кадоган пытался доказывать, что обращение польского правительства и тот сигнал тревоги, который это правительство подает, являются будто бы необоснованными и что положение в Испании якобы не представляет никакой угрозы для дела мира и безопасности. И далее делается вывод, будто Совету Безопасности незачем предпринимать какие-либо практические шаги в связи с обсуждением этого вопроса.

Я позволяю себе решительным образом не согласиться с подобными утверждениями и постараюсь показать, насколько такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Я позволю себе остановиться на трех главных вопросах, с моей точки зрения требующих рассмотрения в связи с обращением правительства Польши: во-первых, на природе режима Франко, во-вторых – на вопросе внешней политики Франко во время второй мировой войны и, в-третьих, на вопросе о том, что продолжение существования режима Франко действительно представляет угрозу миру и безопасности.

Вряд ли кто-либо из членов Совета Безопасности возьмет на себя смелость отрицать фашистскую природу режима Франко. К каким бы методам камуфляжа ни прибегал Франко после полного разгрома его покровителей и друзей – Гитлера и Муссолини, эти жалкие попытки не могут ввести в заблуждение мировое общественное мнение. Для всех, кто хочет видеть вещи такими, какими они являются на самом деле, существующий в Испании режим был и продолжает оставаться фашистским со всеми характерными для такого режима атрибутами.

Невозможно подписываться под международными актами, призывающими добиваться искоренения остатков фашизма, и в то же время мириться с существованием фашизма в Испании. Невозможно быть последовательным, если в одно и то же время принимать меры к уничтожению остатков фашизма, например в Германии и Италии, и спокойно допускать существование фашизма в Испании.

Смысл выступлений господина Кадогана сводится к тому, что будто бы можно, не нарушая Устава, в одно и то же время вести борьбу за искоренение фашизма и не обращать внимания на наследие Гитлера и Муссолини, каковым является режим Франко. Если это называется логикой, то тогда нужно договориться о том, чтобы логику и здравый смысл называть абсурдом.

Перехожу к вопросу о внешней политике франкистского режима во время второй мировой войны.

В настоящее время на свет появилось много документов, вскрывающих отношения Франко с гитлеровской Германией, доку-

ментов, которые ранее были скрыты от общественного мнения мира. Теперь эти документы стали достоянием общественности. Они лежат, в частности, на столе международного трибунала в Нюрнберге. В числе этих документов имеется донесение гитлеровского посла в Мадриде Шторера от 10 августа 1940 года, в котором изложены условия, выставленные Франко для немедленного вступления в войну на стороне держав «оси». Уже 11 ноября 1940 года тот же Шторер сообщил в Берлин, что министр иностранных дел Испании подписал испано-германское соглашение о вступлении Испании в войну.

Громыко постоянно чувствовал на себе пристальный, тяжелый взгляд американского представителя Джонсона, который тщательно прижимал к уху наушник синхронного перевода. В кулуарах Громыко разговаривал с ним по-английски, язык знает отменно, помнит наизусть почти всего Роберта Бернса; однако на такого рода заседании, представляя ко всеобщему сведению позицию Советского Союза, говорил по-русски, неторопливо, обстоятельно, сдерживая понятное волнение, – только на щеках появились два едва заметных розовых пятнышка, знак чрезвычайного душевного напряжения.

Он выдержал паузу, посмотрел на Джонсона; тот ответил обязательной светской улыбкой, ничего не скажешь, политесу учен. Перед глазами снова возникло лицо Стравинского: «Вы себе не представляете, что было с Пикассо, когда в Испании случилась трагедия; он сильный человек, этот неистовый Пабло, но он не умел скрыть слез, когда Франко начал этот ужас. Его "Герника" слышится мне, это трагический реквием по тем, кто погиб в той прекрасной и несчастной стране».

– Если в дальнейшем Испания формально в войну не вступила, – продолжил Громыко, – то это произошло лишь в силу обстоятельств, от нее не зависевших. Я говорю – формально не вступила в войну, потому что абсолютно неверны утверждения, что Испания вообще не принимала участия во второй мировой войне, оставаясь «невоюющей стороной». Достаточно вспомнить о фактах, на которые неоднократно обращало внимание мое правительство, а именно на участие испанской так называемой «Голубой дивизии» в боях против Красной Армии, чтобы стало очевидным, что и формальный довод о том, будто бы Испания Франко не принимала участия в военных действиях против Объединенных Наций, является неправильным. Испанские солдаты, высланные Франко на Восточный фронт, отправлялись не для участия в лыжном спорте, тем более что лыжники они, говорят, плохие. Они были направлены для того, чтобы принимать участие на стороне фашистской Германии в военных действиях против Красной Армии.

В мировой печати были опубликованы и продолжают публиковаться сообщения о той роли, которую играли и играют германские нацистские агенты в Испании, очутившиеся там после окончательного разгрома Германии. Эти данные, поступающие из самых различных источников, подтверждают, что в настоящий момент в Испании находится не менее восьмидесяти тысяч нацистов, бежавших в разное время из Германии. Среди них – крупные деятели герман-

ской военной промышленности, видные фашистские чиновники, дипломаты и другие... Нацистские военные преступники продолжают оставаться в Испании, вместо того чтобы предстать перед Международным трибуналом.

Дело, однако, не только в наличии в Испании военных преступников, бежавших туда и нашедших приют под крылышком Франко. Серьезного внимания заслуживает тот факт, что в Испании нашли приют ряд видных германских индустриальных фирм. В этом контексте полезно сослаться на официальные материалы, представленные Комитету Кильгора департаментом финансов Соединенных Штатов второго июля сорок пятого года. Эти материалы дают ясное представление о влиянии, которое имеют в Испании такие германские предприятия, как производящие сталь и так далее. Известно, какую роль они играли в качестве экономической базы германского империализма.

Ряд источников утверждает, что в Испании сосредоточено не менее ста миллионов долларов германских капиталов. Перечень фактов, подобных приведенным выше, можно было бы продолжить.

К сожалению, не все хотят признать тот факт, что история должна чему-то учить людей и что государственные деятели современности не могут уподобляться династии Бурбонов, о которых говорят, что они ничего не забыли, но ничему и не научились. Было бы непростительной ошибкой не извлечь уроков из печальной истории последних пятнадцати – двадцати лет, ознаменовавшихся ростом фашизма в некоторых странах, особенно в Германии, ввергнувшего человечество в кровопролитнейшую из войн...

Громыко вспомнил недавнюю беседу с сенатором Джозефом Гаффи; он рассказывал о встрече с Эрнестом Хемингуэем, когда тот улетал в Лондон, чтобы принять участие – в качестве военного корреспондента – во вторжении в Нормандию. «Он тогда сказал мне, – заметил сенатор, – что крах Гитлера будет означать немедленный конец Франко; наши правые и называют Хемингуэя «якобинцем», он сделал фильм "Земля Испании" вместе с коммунистом Йорисом Ивенсом, его "По ком звонит колокол" есть не что иное, как приговор франкизму».

– Совет Безопасности не может легко отмахнуться от испанского вопроса, – продолжил Громыко. – Народы Объединенных Наций требуют, чтобы наша Организация была действительно орудием поддержания мира и безопасности. Такой она может быть только при условии, если она будет орудием борьбы против фашизма, в каких бы формах он ни находил свое проявление, орудием борьбы против поджигателей войны, какими бы фразами эти поджигатели войны ни прикрывали свои намерения и действия. Все громче и громче раздаются голоса действительных борцов за мир и безопасность, требующих разрыва с Франко.

Я мог бы привести пространный список органов печати Соеди-

ненных Штатов Америки и имен видных американских политических деятелей и организаций самого разнообразного направления, которые призывают к международным действиям в отношении Франко. Перечисление списка этих органов печати, лиц и организаций заняло бы много времени. Я ограничусь в этой связи ссылкой лишь на таких известных политических деятелей, как сенаторы Артур Каппер, Клод Пеппер, Джозеф Гаффи, члены палаты представителей Кофи, Селлер, Савадж, Петерсон, бывший министр финансов Генри Моргентау и другие.

Решение Совета Безопасности о санкциях против Франко соответствовало бы интересам испанского народа, так как помогло бы ему скорее избавиться от существующего в Испании фашистского режима и занять достойное место в семье других миролюбивых народов мира.

Сразу же после Громыко выступил представитель Бразилии Веллозо:

– Вообще говоря, я сомневаюсь в том, чтобы вопрос, поднятый представителем Польши, входил в компетенцию Совета. Форма правительства в Испании, как и в любой другой стране, независимо от ее происхождения, не относится к категории обстоятельств, которые Устав называет «международной ситуацией». Это национальный вопрос...

Да, Громыко убедился, что предстоит сражение. Главное заключается в том, чтобы добиться включения польского предложения в серьезное, предметное рассмотрение Советом Безопасности; видимо, следует ждать попыток передать «дело Франко» на заседание Генеральной Ассамблеи; там, понятно, будут жать на послушное большинство; режимы Южной Америки станут защищать Франко; право «вето» применимо лишь в Совете Безопасности; значит, предстоит сделать все, чтобы публичный суд над франкизмом состоялся именно здесь, – единственно реальная форма помощи прекрасному народу Испании, задавленному диктатурой. Как бы ни свирепствовала фалангистская цензура, все равно слово правды дойдет до Мадрида и Барселоны.

Память об испанской трагедии жила в сердце посла постоянно: всего десять лет назад, когда переехал в Москву и получил с женой Лидией маленькую комнату в старых домах студенческого общежития на Ново-Алексеевской улице (печка дымит, с дровами проблема – пойди достань, стена сырая), он повесил на дверь карту Испании и каждый день передвигал красные и черные флажки, прослушав из шершавой тарелки репродуктора последние известия; первая схватка с фашизмом – репетиция второй мировой войны; многое можно прощать людям, лишь беспамятство преступно и прощению не подлежит.

РОУМЭН (Нью-Йорк, ноябрь сорок шестого)

Нью-Йорк ошеломил Кристину, когда их самолет еще только кружил над городом: на шоссе по направлению к аэропорту змеилась сплошная белая река, а от него, к центру, – красно-желтая.

– Боже, сколько машин! – крикнула Криста, прижавшись к Роумэну; уши заложило, слышала плохо, поэтому говорила, как глухая, – очень громко. – Ну и ну!

– Красиво, да?

– Ох, как красиво!

– Нет города более прекрасного, чем Нью-Йорк.

– А почему его ругают ваши писатели?

– Так полагается. Ругают обычно то, без чего жить не могут. К чему равнодушны – то не ругают.

– Мы поедем к тебе, или ты сначала покажешь мне город?

– Мы совместим эти два занятия, человечек. Поскольку мне некуда везти тебя, квартиры-то у нас нет, придется побродить по городу, ты решишь, в каком районе мы снимем номер. А заодно я покормлю тебя.

Она прижалась к нему, ткнулась лицом в шею:

– Тебе не приходило на ум, когда мы летели через океан, что людям Гаузнера стоило бы нас взорвать?

– Еще как приходило.

– Боялся?

– А мы бы с тобой все равно уцелели. Упали б около острова, там рыбаки живут, пять домиков на берегу океана. Промерзли бы, конечно, но это не беда, согрелись бы в кровати.

– Послушай, за что мне выпало такое счастье, а?

– За твои прегрешения.

– Неужели бог такой добрый?

– Мой – очень. Я его часто вижу. Точь-в-точь, как на маминой деревянной иконе; он мне часто подмигивает: давай, мол, Пол, все идет как надо, жми.

– Ты это сейчас выдумал?

– Честное слово. Только не кричи так, я тебя слышу.

– А я ничего не слышу.

– Открой рот и начни глотать, сразу уши прочистятся.

– А я не хочу. На посадке моторы так страшно ревут, что кажется, вот-вот пропеллеры заклинит от напряжения.

– Ты плохо пристегнулась.

– По-моему, все в порядке.

– Затяни ремень потуже.

– А как же отстегиваться, если начнем падать? Не успею к выходу.

Он засмеялся:

– Глупышка, ты не успеешь ничего понять, если он начнет падать, это все происходит в секунду, в этом вся прелесть аэроплана: трах – и нет!

– Не пугай.

– Страшно?

– Обидно.

– Выбрались, летим домой – и на тебе?! Ты про это думаешь?

– Конечно.

«Хорошо, если выбрались, – сказал он себе. – Очень хорошо, если все кончилось, но скорее всего дело только начинается, слишком

уж ювелирная была работа, чтобы отпустить нас просто так. Главное – впереди, только б скорее началось. Самое страшное в жизни – ожидание, когда сердце тянет, а душу крутит и жмет; ожидание живет вместе с ощущением бессилия – ужасное чувство собственной малости; не зря человека заключают в тюрьму и держат неделями одного в темной камере... Тогда – по прошествии томительных недель, а то и месяцев – даже следователь кажется посланцем надежды; полная аберрация представлений, как мало человеку надо...»

В аэропорту – шумном, громадном, многоязычном – Роумэна окликнули.

– Представьтесь, пожалуйста, – Роумэн оглядел человека, который подошел к нему, неумело сжимая в руке букет красных гвоздик.

– Я Роберт Гилл, меня прислал мистер Макайр, чтобы приветствовать вас на родине.

– Как это мило, мистер Гилл, познакомьтесь, это моя жена.

– Очень приятно, меня зовут Крис.

– Это вам от мистера Макайра, – сказал Роберт Гилл, протягивая ей цветы. – А от меня – самые сердечные поздравления.

– Спасибо, – сказал Роумэн, тряхнув руку Гилла, – тронут, Роберт, сердечно тронут.

– Мистер Макайр просил меня помочь вам, если в этом возникнет нужда.

– Да пока никаких трудностей нет, еще раз спасибо.

– Вы намерены остановиться в Нью-Йорке?

– На несколько дней, чтобы завершить необходимые формальности, я ведь уроженец Нью-Йорка, поэтому хочу именно здесь обвенчаться. Миссис Роумэн понравился наш город даже с воздуха, возможно, она захочет поселиться здесь навсегда.

– О, я убежден, что ей так же понравится Фриско.

– Что это? – спросила Кристина.

Роумэн пояснил:

– Джентльмен так называет Сан-Франциско. Наверняка он с того побережья.

– Точно, я оттуда! – подтвердил Гилл. – Вот моя карточка, там живут родители, они будут рады, если вы решите остановиться у них на недельку-другую.

– Спасибо, Роберт, вы очень любезны, – ответил Роумэн, спрятав визитку в карман.

– И последнее, – заключил Гилл. – Если вы хотите встретиться с мистером Макайром перед тем, как начнете свадебное путешествие, он готов принять вас в любое удобное для вас время.

– Это замечательно. Если бы он нашел для меня минут сорок завтра утром – было бы прекрасно, мне очень нужно с ним поговорить...

...Макайр выслушал Пола, рассмеялся чему-то, хлопнул в ладоши, словно аплодировал невидимым актерам, поднялся с кресла и, расхаживая по кабинету, украшенному стягом Соединенных Штатов и портретами Линкольна, Рузвельта и Трумэна, заговорил:

– Итак, у них есть наш код, они вербуют наших людей и норовят играть своим агентом Полом Роумэном даже в Штатах?! Нет, каково, а?! Погодите, Пол, неужели вы всерьез верите, что у них есть ключ к нашему коду?

– А черт их знает.

– Как они могли получить ключ? От кого? Я не верю, что в наших рядах может быть изменник, я не верю в это.

– Я не думаю, что они блефовали, – сказал Роумэн.

Макайр долго расхаживал по кабинету; остановившись у окна, тихо спросил:

– Что подвигло вас на полет в Мюнхен, Пол?

– Информация, которую мне удалось получить. Я вышел на Гаузнера. Промедление было бы смерти подобно.

– Информация надежна?

– Абсолютно.

– Кто источник?

– Человек, которому я доверяю.

– Хм... Уж не думаете ли вы, что какие-то сведения просачиваются из этого кабинета в Мюнхен? – спросил Макайр.

– Вот уж чего не думаю – того не думаю, – улыбнулся Роумэн. – Хотя не грех было бы посмотреть, откуда к вам пришла секретарша. Слишком уродливая, такие падки на мужскую ласку, за это женщина готова таскать из огня каштаны.

– После вашей телеграммы я уже начал проверку, – ответил Макайр. – Всех без исключения, Пол. Даже друзей, которым верю как себе.

«Это он про Кристину, – сразу же понял Роумэн. – Он мягко стелет, этот Макайр, но держится абсолютно точно. Он прекрасно понимает, с чем я пришел, и он работает свою линию поведения мастерски. Я правильно сделал, что не отдал ему всю цепь Гаузнера, она еще пригодится мне, если придется идти ва-банк. Ох, лучше бы мне не пришлось идти ва-банк, но ведь он подталкивает меня к тому, чтобы я сказал ему про Кристу. А что, если он лгал в шифровке и ему известно, что «некой неустановленной женщиной» – агентом Гаузнера была не кто-нибудь, а Криста, которая стала моей женой? Все, что происходило до того, как она приняла мою фамилию, было моим личным делом, и я мог послать каждого куда подальше: не суйте нос в мою личную жизнь; есть вопросы по существу – задавайте, отвечу, но не подглядывайте в замочную скважину, это недостойно нашего образа жизни».

– Это мужественно и достойно, – медленно затянувшись, согласился Пол. – Друзья вас поймут, но вряд ли вы делитесь с ними государственными секретами... Дело не в ваших друзьях или родных. Если существует утечка информации, то искать надо где-то здесь, в этом здании.

– Если она есть, – кивнул Макайр. – Вы правы, педалируя на спасительном «если». Мы не вправе поддаваться панике и скатываться в тотальное недоверие друг к другу. Тогда нельзя работать, упаси нас бог от подозрительности, это к добру не приводит... Тем не менее, – Макайр ослепительно улыбнулся, – я позвонил маме,

она у меня родом из Голландии, и спросил, кто ее посещал в последние годы из валлонцев, черт их всех знает, гестапо работало там во время оккупации очень лихо, глядишь, и зацепили кого...

«Он подталкивает меня к тому, чтобы я сказал о Кристине, – снова подумал Роумэн. – Это он не про себя сказал, он врет, что спрашивал маму о ее родственниках, это он спрашивал меня. Ай да Криста, ай да умница, как же она пронзительно и трагично предсказала, что, открыв ему все, я стану обыкновенным офицером разведки, перевербовавшим вражеского агента. А ведь я должен сказать, иначе придется жить с динамитом под кроватью... Я должен, он загнал меня в угол – правда, с моей подачи: если бы я не начал игру, отправив ему шифровку из Мадрида, он бы молчал. А он давит. Но тогда, выходит, я п о п а л в десятку? Зачем бы ему иначе давить? Нападают только в том случае, если видят угрозу, – особенно в нашей работе».

– Мне бы хотелось послушать ваши рекомендации, Роберт. Что мне делать? Как будем и г р а т ь? – спросил Роумэн.

– Хм... Думаете, я готов к ответу? Да и потом, вы сильнее меня в разведке, за вами не только фронт, но и нацистская тюрьма, вы видели их во всех обличьях... У вас есть какие-нибудь предложения? Я не верю, что вы пришли ко мне без какого-то, хотя бы даже прикидочного, плана.

– У меня есть план.

– Какой?

– Ждать.

– Хотите вернуться в Испанию?

– Черт его знает...

– Вы готовы втянуться в игру? Если она действительно начнется? Или склонны к тому, чтобы отдать ФБР первого же человека от них, если он придет к вам?

– Зависит от вас. Если вы сочтете игру заслуживающей интереса, я поступлю так, как вы прикажете.

Макайр поморщился:

– Пол, мы в достаточной мере добро относимся друг к другу... Я не могу вам приказывать... Я могу рекомендовать, но только после того, как выслушаю вас и поделюсь вашей новостью с высоким шефом.

– Заместителем государственного секретаря?

– Видимо, да, вы того заслуживаете... Не допускаете мысли, что в Мадриде была какая-то темная афера?

– Все допускаю.

– Мне только не ясно – если поверить, что на вас действительно вышла какая-то тайная нацистская организация, – чего они от вас хотят? Ну, хорошо, компрометация: вы их старый агент, завербованный еще в гестаповской тюрьме, сломленный на пытках, контакт возобновлен после войны; служите за деньги; гонорар достаточно высок; все понимаю, но ведь каждая разведка обязана ставить перед любым агентом – а уж такого уровня, как вы, и подавно – конкретную задачу. Если бы они ориентировали вас на что-то – одно дело, можно было бы просчитать, кого интересует та или иная ин-

формация... А здесь все непонятно... «Организация Верена» предполагает, что Гаузнер мог быть русским агентом... Мог... Они не употребляют императива, сослагательное наклонение...

– Вы этому верите?

Макайр неожиданно жестко ответил:

– Сначала я хочу поверить всему, что исходит от немцев, чтобы потом, после проверки, не верить ничему.

– Значит, вы хотите, чтобы я был им подставлен?

– Боюсь, что это необходимо.

– На чем есть смысл подставиться?

– Я сейчас не готов к ответу... Может быть, атомная индустрия – это особенно интересует русских...

– А немцев?

– Они раздавлены, Пол. Им не дотянуться, нет необходимой экономической мощи, Германия превращена в картофельное поле Европы...

– Ой ли?

– Лично я был бы рад этому.

– Я тоже. Но жизнь отучила меня от иллюзорного мечтательства. Надо жить реальностью.

– Что ж, попробуем... Наших противников не могут не интересовать вопросы обороны, позиции Штатов в Латинской Америке, Китае, Греции, Италии... Это основные узлы, где сейчас скрещиваются наши интересы с русскими...

– Вы все же склонны считать визит Гаузнера и его коллег акцией русской секретной службы? Немцев отводите?

– Ни в коем случае. Я отвожу их – с вашей, кстати, подачи – только от атомного проекта и Китая. Греции, впрочем, тоже. Латинская Америка и Рим вполне могут интересовать их, там остались их опорные базы... От кого вы получили информацию по Гаузнеру, Пол? Может быть, нам стоит начать поиск, исходя именно из этого? По Брунну-Штирлицу – он, кстати, исчез из Мадрида – мы еще поговорим... Вы, случаем, не от него получили информацию на Гаузнера?

«Что ж ты так нетерпелив? – подумал Роумэн. – Зачем ты толкаешь меня на признание? Или ты боишься выказать знание, которое могло прийти только от немцев из Мюнхена?»

– Нет, Штирлиц не знал Гаузнера. Или очень талантливо скрыл это от меня... Где он? Информация еще не поступила?

– Ищем. А как вы думаете, где он может быть?

– Или он сейчас получает награду в Кремле, если поверить немцам, или отправился в Латинскую Америку.

Макайр кивнул:

– И я так думаю. Но он обложен, его найдут, если только он отправился в Латинскую Америку. Его найдут обязательно.

– Нет, Роберт... Выход на Гаузнера дал не он... К сожалению. Я сделал так, что выход на Гаузнера назвала моя жена.

Макайр даже споткнулся, словно наткнувшись на невидимый шнур, протянутый поперек комнаты:

– То есть?!

«Надо уходить из этого предприятия, – подумал Роумэн. – Сказав ему правду, я буду слишком рисковать Кристой, если решусь продолжать дело. Черт с ними, с этими наци, здесь они не страшны, а в Европе пусть их ловят другие. А я поеду в Голливуд к Спарку – консультировать фильмы про войну. К черту, мне не так уж много осталось, чтобы я ставил на карту Кристу, слишком она дорога мне».

– Пол, объясните, о чем вы?!

– Ее отца арестовал Гаузнер, Роберт. Тот профессор, о котором вы упоминали в телеграмме по поводу Гаузнера, – его звали Кнут Кристиансен – помните, наверное? – отец моей жены. Чтобы спасти его, она согласилась работать на них. И Гаузнер нашел ее после войны... Он сказал ей, что назовет имя человека, виновного в расстреле отца, если она познакомится со мной и станет моим другом... Она это сделала... И я на ней женился, когда узнал правду... Трагическую правду... Как вы понимаете, я обещал ей не рассказывать вам это – не потому, что нам есть что скрывать, ей скрывать нечего, я знаю все, а просто потому, что она очень не верит людям, работающим в разведке... Вы подвели меня к тому, чтобы я сказал вам то, что вы услышали. И поскольку вы достаточно точно подвели меня к этому, я вынужден сказать, что мое присутствие во всем этом деле невозможно, ибо повлечет вольное или невольное участие в нем моей жены. А я этого не хочу...

– Господи, – простонал Макайр, – господи, какой ужас, Пол! Что там Шекспир с его драмами...

– Шекспир не писал драм. Только трагедии или комедии, – усмехнулся Роумэн, вытягивая из мятой пачки «Лаки страйк» очередную сигарету. – Зря я вам все это рассказал, да?

– Наоборот, Пол, я бесконечно признателен вам, я высоко ценю ваше доверие...

– Иначе не умею, – заметил Пол. – Я беспрекословно верю тем, с кем имею дело... Но вы должны мне дать слово: то, о чем я сказал вам, останется нашей тайной.

– А как же иначе?! Бедная женщина, Пол, какое счастье, что мы живем в стране, где такое невозможно!

– Вот это верно. Счастье. Мне здесь даже дышится, будто в сосновом лесу, хотя воздух насквозь пропитан бензиновым перегаром. Поэтому, Роберт, мне лучше уйти из этого дела.

– Не хотите им отомстить? – тихо спросил Макайр.

– Так ведь за меня уже отомстили: Гаузнера нет больше, я удовлетворен.

– Гаузнера нет, вы правы... А гаузнеры, гаузнерята?

– Эти есть, – согласился Роумэн, внимательно посмотрев на Макайра: очень симпатичное лицо, открытое, сильное, и глаза печальные, нет в них того блеска, который свойствен безмозглым гончим. «А если я ошибался в нем? Господи, как страшна бацилла подозрительности! Страшнее нее есть только одна бацилла, – сказал себе Роумэн, – и эта бацилла называется телячьей доверчивостью».

– Пол, конечно, вы и только вы вправе принять решение. Я соглашусь с ним, каким бы оно ни было. Если хотите отойти – воля ваша. Спасибо, что рассказали мне обо всем; я чувствую опера-

цию, которая может оказаться коронной. Когда и если мы завершим ее, вы найдете себя в списках тех, кто стоял у ее начала, был, строго говоря, инициатором. Так что, повторяю, — решение за вами. Что же касается слова по поводу миссис Роумэн, то я даю его вам от всего сердца.

«Ну вот, не хватало мне еще начать шмыгать носом, — подумал Роумэн. — Нельзя, нельзя быть подозрительным, это — ржавчина, она разъедает душу, превращает человека в мышь, трусливую, загнанную и жадную. Он мог бы, он имел право просить меня написать обо всем, а уж о Крис тем более. Но ведь он не сделал этого! Он поступил как джентльмен, товарищ по общему делу. В конце концов, этот самый генерал Верен действительно может играть им, Макайр может и не предполагать даже о том, что из себя представляют все эти наци, он же не сидел у них! Я стал таким подозрительным после Штирлица, — подумал Роумэн. — До встречи с ним я был совершенно нормальным человеком. Неужели они влияют через него таким образом, чтобы превратить меня в осторожничающего, оглядывающегося на каждый взгляд и шорох скунса?! Если он исчезнет, а он имеет возможность исчезнуть, хотя я и дал ему денег, но их не хватит на возвращение в Европу самолетом, — успел просчитать, слава богу, — значит, он говорил мне правду, он не наци, следовательно, он уйдет к своим... Или будет стараться уйти... В Асунсьоне нет русского посольства... Он мог выйти из самолета в Рио, вот и весь разговор... Стоп, все выстраивается: если он ушел, значит, он вернулся к своим и дал мне таким образом понять, что его работа кончена. Если же он проклюнется, значит, он в игре. Погоди, — остановил себя Роумэн, — не вали все на Штирлица. Задай сначала вопрос: на чьей он стороне? С Гаузнером против меня? Или со мной против гаузнеров? Вполне может быть и так, и эдак. Я знаю, что мне сейчас нужно сделать. Я должен потребовать у Макайра право на абсолютно самостоятельную работу, вот что мне нужно. Скорее всего он откажет, я бы на его месте отказал. Это все и решит».

— Роберт, а что происходит с Брехтом?

— По-моему, ничего особенного. Обычная проверка — иначе нельзя. Если я намерен проверять родственников матушки — а я говорю это серьезно, — то отчего мы не можем задать человеку вопросы, если они возникли?

— Что грозит Эйслеру?

— Ничего ему не грозит... Наслушались сплетен в Европе — и запаниковали... Мне тоже не по душе дилетантство и некомпетентность тех, кто задает вопросы в Комиссии, но даже конституция не гарантирует нас от дураков. От фальшивого обвинения — да, а это, по-моему, важнее.

— Вы знаете, что он помогал мне перед тем, как я был заброшен в тыл к наци?

— Знаю.

— Его нельзя дать в обиду, Роберт.

— А кто вам сказал, что мы намерены дать его в обиду? Будьте уверены, в Штатах умеют защищать честных людей.

Роумэн помолчал, оценивая сказанное Макайром: сейчас нет

смысла давить; он достаточно ясно определил свою позицию, вполне пристойна.

– Послушайте, Роберт... Я хочу внести предложение... Нет, погодите, перед этим я хочу спросить вас: вы мне верите?

– Как себе.

– Спасибо. Второе. Имеете ли вы контакты с пунктами охраны и слежения за русскими миссиями в Латинской Америке?

– Конечно.

– Информация поступает ежедневно?

– Да.

– А копии фотографий лиц, входящих в русские посольства?

– Это – с почтой, раз в две недели.

– Если вы запросите Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и Сантьяго-де-Чили... Впрочем, Венесуэлу и Боготу тоже... Вам смогут прислать фотографии новеньких?

– Хотите поглядеть Штирлица? Или Пепе?

– Штирлица. Пепе вряд ли. Думаю, он объявится здесь.

– Мы его хорошо встретим.

– Не сомневаюсь...

Макайр снял трубку телефона, набрал номер, поинтересовался, можно ли соединиться с Барри, выслушал ответ, кивнул, пояснил Роумэну, что тот в соседнем зале проводит совещание, сейчас его позовут; мило поприветствовал шефа отдела, занимавшегося контактами с секретными службами на юге континента, изложил просьбу, снова кивнул Роумэну, шепнул, что дело сработано, привезут самолетом, поблагодарил собеседника за помощь, попросил передать привет его очаровательной жене – она помолодела на десять лет, пусть запатентует свой секрет – и сразу же набрал второй номер.

– Кэлли, это Макайр, не сочтите за труд посмотреть, причем срочно, сейчас же, телеграммы с юга. Меня интересуют данные о лицах, не зарегистрированных ранее при входе в советские миссии, корреспондентские пункты и отели, где проживают русские дипломаты. Да, это крайне срочно. Сколько потребуется времени? Полчаса? – Он посмотрел на Роумэна. – У вас есть полчаса?

– Конечно.

– Хорошо, – сказал Макайр, – мы будем ждать, благодарю вас, Кэлли.

– Я не очень отрываю вас, Роберт?

– Вопрос неправомочен, – улыбнулся Макайр. – Человек, только что женившийся на прекрасной девушке, должен ценить свое время, мир сейчас должен существовать лишь для него и любимой.

– Тогда перейдем к третьей позиции.

– Пожалуйста.

– Если я решу остаться в комбинации, можете гарантировать автономность моей работы? Абсолютную автономность?

– Конечно.

– Я сам попрошу о помощи, если потребуется. Вы сможете выделить мне пару надежных людей?

– Назовете человека, в котором заинтересованы, и он сразу же перейдет в ваше подчинение.

– Даже если этот человек сейчас работает в Мадриде?

– Конечно. Кого вы имеете в виду?

Роумэн едва удержался, чтобы не ответить «Джонсон», но вспомнил Кристу. Никогда нельзя признаваться в том, кого любишь, это значит отдавать себя в заклад; грустно, но точно: никогда нельзя показывать свою любовь, ты сразу делаешься беззащитным; дружба близка любви, хотя несет в себе более жесткое качество, проверка на слом более беспощадна; женщины редко дружат, их призвание – любовь.

– Никого конкретно, – ответил Роумэн, снова достав из кармана мятую пачку сигарет. – Просто я подумал о некоторых парнях в Мюнхене и Мадриде... Я, возможно, буду заинтересован в костоломах, Роберт.

– Тогда обратимся в ФБР, – рассмеялся Макайр, – эта работа по их части, и они делают ее весьма профессионально. Но позвольте и мне выдвинуть свое условие, Пол.

«Вот оно, – понял Роумэн. – Сейчас он и задвинет все то, что должен был задвинуть. Не зря я ждал этого мгновения. Долго же он готовил это, хорошо стелил, я размяк, время прижимать руку к столу, как это показывают в наших ковбойских фильмах. Ну, давай, Роберт, дави, посмотрим, кто кого пережмет».

– Вы должны мне дать слово не подвергать свою жизнь риску.

– Обещаю. Что дальше?

– Все. Вы слишком честно воевали, чтобы погибнуть после победы.

– Допускаете такую возможность?

– Да.

– Есть какие-то основания?

– Нет. Но меня насторожил Пепе. Он не укладывается в существующую схему представлений о наци... Да и о русских тоже... Будет очень страшно, если синдикат войдет в контакт с теми или другими... Процесс – во всяком случае, на первом этапе – может оказаться неуправляемым.

«Ну и что? – спросил себя Роумэн. – Съел? Он же не потребовал от меня ничего, что входило бы в противоречие с общепринятым пониманием чести и благородства. Он не стал просить меня записывать мои показания, свидетельствовать их под присягой, привести к присяге Кристу. Я не вправе предъявить ему никакой претензии: он был корректен от начала и до конца. Считается, что Отелло погиб от доверчивости, а не от подозрительности; ревность лишь одно из ее выявлений – плотское. Он бы навсегда остался добрым, доверчивым воином и возлюбленным, доведи до абсолюта прекрасное качество, отпущенное создателем, – доверчивость. Не в гибели Дездемоны он виноват, а в том, что утерял веру в любимую. Отелло повинен перед потомками, которые являют собой высшую справедливость; современники лишены такого дара... Не Отелло злой, никому не верящий ревнивец, а именно Яго; это сразу трудно заметить, потому что Шекспир наделил его такими страшными пороками, что подозрительность как-то отошла на задний план, стушевалась... А ведь если прочесть Отелло с карандашом в руке, забыть про театр и

бесстрастно исследовать текст, то станет очевидно: Яго мстил Отелло за то, что его собственная жена ему изменяла с ним, именно с этим добрым и доверчивым, таким благородным и нежным мавром. Не погибнуть бы и мне как личности из-за постоянной – день ото дня все более мне самому заметной – недоверчивости, – подумал Роумэн. – И самое отвратительное то, что я мну в себе ногами недоверие и к Кристе... Я боялся услышать это в себе, запрещал себе – зная, что знаю про это, – даже и думать, а сейчас перестал запрещать. Потому что поверил Макайру. Спасибо, Роберт. Прости меня за то, что я был так несправедлив к тебе. Я отплачу тебе добром и дружбой, Макайр. Я не умею говорить такие слова вслух, но зато умею быть другом, так что я помолчу и взгляну тебе в глаза, ты должен понять мой взгляд. Пожалуйста, постарайся, парень, и не сердись за то, что я думал плохое... Мне еще нужно пару недель, чтобы прийти в себя и во всем разобраться. Не сердись, я пережил несколько очень страшных часов, постарайся меня понять, а потом я сделаю ту работу, которую обязан сделать».

...Данные обо всех мужчинах и женщинах, почтальонах, курьерах, работниках протокола, бизнесменах, врачах, работниках ветеринарной службы (жена русского посла в Боливии держала спаниеля; в Бразилии второй секретарь приобрел бульдога, время прививок, начало летней жары, канун декабря), журналистах, водопроводчиках, слесарях, деятелях литературы, науки и искусства, посещавших русские представительства в Латинской Америке за последний месяц, Роумэн смотреть не стал; сосредоточился на информации, поступившей за последние четыре дня; ни одного человека, внешний портрет которого хоть как-то походил на Штирлица, не было, зафиксировали только трех человек, ранее неизвестных службе: один (очень небольшого роста) посетил русских в Бразилии; второй (очень худ, седовлас, приехал на «линкольне» номер МА-76-93, владелец устанавливается через контакты в службе автосервиса Мехико) вышел через сорок семь минут, провожал его советник по культуре, долго стояли возле автомобиля, договариваясь о следующей встрече: «Ждем вас с супругой, если экселенц сможет выбрать время, труппа будет крайне этому рада»; третьим был юноша лет двадцати, видимо, студент (посетил посольство в Сантьяго-де-Чили), служба слежения довела его до общежития юридического факультета университета, личность устанавливается.

– Подождем фотографий, – сказал Роумэн. – Я хочу слетать в Голливуд... Криста не была в Штатах, ей тут все интересно, надо показать страну, тем более что нам есть что показывать... Только посидев в Европе, начинаешь по-настоящему понимать, как чертовски красива Америка. Все же мы славные люди, правда, а?

Макайр поднялся из-за стола, крепко пожал руку Полу:

– Хорошего путешествия, Пол. Если увидите в Голливуде Спарка, обнимите его от меня. Жену не целуйте, он патологически ревнив. Говорят, только у очень ревнивых людей рождаются такие прекрасные дети. Вы влюбитесь в его мальчишек, чудо что за люди. Ес-

ли возникнет какая надобность во мне – звоните, я всегда к вашим услугам.

Он проводил его до двери, вернулся к столу, нажал потаенную кнопку, вмонтированную под ручкой нижнего ящика правой тумбы, открыл его, отмотал пленку диктофона на несколько метров, прослушал фрагмент записи: «Великолепна, очень чувствительный микрофон, брал мои реплики даже от окна, с такой техникой можно работать».

Достав пленку, он положил ее в сейф и, забросив руки за голову, начал делать упражнения для шеи: самое страшное – дать развиться новомодной болезни, называется дико мудрено – не подагра, как раньше, и не отложение солей, как в простонародье, а остеохондроз.

Он испугался было слышимого хруста шейных позвонков, но ощутил тепло, которое разливалось вниз по позвоночнику, и подумал, что здоровье находится в наших руках: либо ты бережешь его и думаешь о нем постоянно – и тогда тебе не грозит дряхлость как сопутствие старости, либо живешь по принципу стрекозы – лишь бы это лето было солнечным, а там все равно засыпать вечным сном! Ничего подобного, стрекоза! Зиму можно оттянуть, во Флориде купание круглый год, там нет возраста, и даже зимой ночи не так длинны, как здесь.

«Бедный Роумэн, – подумал вдруг он. – Мне его все-таки жаль, видимо, очень порядочный человек. Будь неладна наша профессия, но в моем возрасте профессию уже не меняют, поздно».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (Мюллер и Стресснер, Парагвай)

Изучая архивы Гитлера, НСДАП и, особенно, Эрнста Рэма, который из «брата» фюрера был превращен пропагандистской машиной рейха во «врага нации», Мюллер подчас диву давался: сколь же глубинно было недоверие друг к другу среди тех, кто плечом к плечу стоял на спортивных трибунах во время «партайтагов», кто перед объективами фото- и кинокамер сердечно обнимал «соратника по борьбе», отдав перед этим неподписанный приказ одному из наиболее приближенных эсэсовцев готовить уничтожение именно этого человека.

За долгие месяцы, проведенные здесь, на окраине маленького местечка в горах, весьма гордо называвшегося «Вилла Хенераль Бельграно», он, Мюллер, воспринимал все, что происходило в рейхе, по-новому, с еще более обостренным интересом, ибо теперь он владел архивами, то есть знал всю правду, – впрочем, в тех пределах, которые были определены документами. Самое главное, как он теперь убедился, не фиксировалось на бумаге; Гитлер предпочитал оперировать устным словом, когда речь шла о внутрипартийной борьбе и битве за вермахт, без которого он бы не стал фюрером.

Мюллер четко расписал график работы: прежде всего поиск в архивах наиболее секретных документов о связях НСДАП и хозяйственного управления СС, которое отвечало за концентрационные

лагеря рейха, с теми аристократами и магнатами Германии, которые наиболее широко использовали каторжный труд заключенных.

Затем – сбор компрометирующих данных на тех политиков, которые тайно поддерживали Гитлера в его борьбе против Веймарской республики, а сейчас – по еле заметным признакам, но, однако, вполне симптоматичным – выходят на ту орбиту, путь из которой один – к руководству в воссоздаваемом государственном аппарате Германии.

Третий этап работы был наиболее приятным для Мюллера: подбор картотек на соратников; оказание помощи таким проверенным борцам, как Эйхман, Рауф, Скорцени, Штангль, Менгеле, Бест, – да разве всех упомнишь? Из тех, кто уцелел (неважно, кто сейчас скрывается в подполье или содержится в лагере союзников, это уже техника), можно составить легион блестящих борцов за национальное возрождение.

Судьбы штандартенфюрера СС профессора доктора Танка, тайно возглавившего производство военной авиации для Перона, и вождя хорватских усташей Анте Павелича, который сумел вывезти сюда, в Аргентину, золото и бриллианты, вполне благополучны, они весьма крепко связаны с окружением Перона и поныне. Полковник люфтваффе профессор Губертус Струхгольд, директор берлинского института авиационной медицины (оперировал заключенных в Дахау в интересах научного эксперимента, успехи были вполне обнадеживающими; Геринг как-то сказал рейхсфюреру СС, что Струхгольд стоит на грани мировых открытий), ныне приглашен в США, в медицинский центр ВВС «Рандольф», штат Техас. Оберштурмбаннфюрер СС профессор доктор Вернер фон Браун, создатель ФАУ, также трудится в Штатах. Судьба этих людей, их прежние связи, резолюции на документах, расписки в получении денег на эксперименты, тексты докладов, произнесенных по случаю дня рождения «великого фюрера германской нации, лучшего друга германской науки, пророка новой цивилизации», – все это, да и многое другое интересовало Мюллера, что называется, в рабочем порядке – с в о и. Вопрос состоит в том, как помочь им в расширении «арийских плацдармов», подключить их к борьбе за освобождение тех, кто еще томится в лагерях янки, как заставить их в л и я т ь на тех, кто р е ш а е т, чтобы те поступали в интересах дела, но не сухой, абстрактной буквы.

Сложнее было с иностранной агентурой – Мюллер только сейчас понял, сколь специфична эта работа. «Бедный Шелленберг, – подумал он как-то, – мы бы сейчас могли работать, как настоящие друзья, теперь бы мы были равны, и над нами не было бы этих чудовищ Гиммлера и Кальтенбруннера, простор для дружеской работы товарищей по духу». (О Бормане старался не думать; более всего страшился, что тот однажды появится в его доме; видение это – порой навязчиво близкое, фотографическое – гнал, отправлялся в горы, на охоту, заставлял себя делать тяжелые переходы, мерзнуть в палатке, только б устать, свалиться, уснуть, тогда о т п у с к а л о.)

Он имел в своей картотеке довольно много политиков, которые – в своей честолюбивой, а потому корыстной борьбе за президент-

ские и министерские кресла, особенно здесь, на Латиноамериканском континенте, – давно и прочно продали душу дьяволу.

(Впервые употребив эту фразу – естественно, в мыслях, а не прилюдно, – Мюллер споткнулся, спросив себя: «Что же, выходит, я представляю интересы дьявола?» Посмеялся своим колышащимся, мелким смехом, вызвав недоумение Шольца, – помощника доставили сюда в декабре сорок пятого, после тщательной проверки: более всего боялись, не сидел ли у союзников, прежде всего, понятно, русских, – те переломят в два счета, заставят работать на себя как миленького.)

Мюллера не очень-то интересовали политики такого рода: слишком на плаву, связи с ними рискованны, нет ничего более бесполезного в игре, чем единожды сыгранная карта; воистину, дорого яичко к христову дню.

Хваткий ум Мюллера подсказал путь значительно более разумный: поискать опору среди тех, кто еще не состоялся, но алчет этого, не засвечен связями с рейхсляйтером Боле, вполне лоялен по отношению к существующим правительствам и не принадлежит ни к какой партии, тем более радикального толка.

Поначалу он отсек кандидатов, которых ему представил Шольц; так и должно быть, потому что, дав задание, Мюллер инстинктивно, не отдавая, видимо, отчета себе самому, запутал задачу, чтобы тот ни в коем случае не понял конечной задумки группенфюрера. (Потом уж посмеялся, передразнив самого себя: «Как можно не верить друг другу?! Это падение нравов, недостойное национал-социалистов!») Затем углубился в изучение архивов партайляйтера Боле, причем не главных, а тех, что сваливались в кучу в подвалах на Вильгельмштрассе, как малоперспективные: Гитлер требовал, чтобы в рапортах, представлявшихся на его имя, фигурировали фамилии лишь тех политиков, которые «имеют вес и могут сказать решающее слово». Таким образом, чиновники рейха были вынуждены жить сегодняшним днем, никак не заботясь о будущем, ибо перспектива, допускавшая поражение, называлась «изменой», а тот, кто находил мужество говорить о такого рода возможности, привлекался к партийному суду, если не трибуналу СС – того хуже.

Именно здесь он натолкнулся на фамилию капитана Стресснера, потом – после долгих поисков – получил данные о нем из архива Шелленберга: Вальтер занимался этим военным в сорок третьем году, накануне антиправительственного выступления генерала Фарелла и полковника Перона в Аргентине. Как ни странно, вполне перспективный командир был отведен Гиммлером, несмотря на протесты Шелленберга, – тот умел защищать тех, в будущее кого он верил.

Проклиная таинственную пересекаемость архивных документов, их подчас взаимоисключающую категоричность, молчаливую сокровенную значимость, Мюллер поднял данные абвера, – те работали по Латинской Америке очень тонко, материалов своих старались не отдавать ни НСДАП, ни тем более, РСХА. При Канарисе это удавалось, а после ареста адмирала на все его документы наложил руку Вальтер. («Пострел везде успел», – с неожиданной для него самого

ласковостью подумал Мюллер о своем сопернике, томящемся у британцев. Он чувствовал, как ему недоставало Шелленберга; куда как сподручнее работать, опровергая мнение самого ближнего, труднее всего раскручивать дело в вакууме. «Если бы он был рядом, мы бы в пять раз быстрее решили то, что нам предстоит. Надо сделать все, чтобы как можно скорее его вызволить, получить у него всю ту информацию, что он хранит в голове, – это надежнее любого сейфа, – а уж потом нейтрализовать».)

Как раз здесь, в материалах абвера, Мюллер и натолкнулся на один документ, который поначалу промахнул, не задерживаясь толком на машинописных строчках. Лишь при повторном чтении он подчеркнул фразу: «В конце двадцатых годов молодой Альфредо Стресснер был прикомандирован парагвайским генеральным штабом к военному советнику капитану Рэму, когда тот, по приглашению боливийского правительства, руководил созданием регулярной армии. Стресснер был рекомендован герою первой мировой войны Эрнсту Рэму преподавателем высшей военной школы в Рио-де-Жанейро Куртом Штранебахом; в 1936 году Штранебах подал заявление о приеме в члены НСДАП, но принят не был».

Это удивило Мюллера. Семь дней он копался в архивах, посадил за эту же работу Шольца и, наконец, обнаружил то, что искал: на заявлении Штранебаха стояла резолюция рейхсляйтера Боле: «В приеме отказать, соблюдая высшую форму корректности. Разъяснить, что сейчас – по указанию фюрера – прием в НСДАП временно ограничен; к обсуждению его ходатайства вернемся через год. Однако, если он обратится через год, в приеме так же – под благовидным предлогом – отказать, ибо Штранебах скомпрометирован дружескими связями с врагом нации Эрнстом Рэмом, когда тот работал в Латинской Америке».

Вернувшись к изучению документов, собранных на Стресснера, группенфюрер понял, отчего Боле не порекомендовал генералу Эстигаррибиа, совершившему (по рецептам, разработанным в Берлине) военный переворот, капитана Стресснера, несмотря на то, что этот офицер был связан с нацистами еще с двадцать девятого года, когда учился у Рэма. Военному диктатору были рекомендованы Хосе Агуэро и Винсенте Лопес Падилья, которые были значительно менее подготовлены, чем Стресснер, но именно этого жесткого, немногословного офицера, внука немца и сына индианки из племени гуарани, упомянуть з а б ы л и.

Его не рекомендовали и генералу Мориниго, ставшему президентом в сороковом году, а именно тогда потребность в Стресснере была очевидной, поскольку Мориниго утверждал новую конституцию, которая предоставляла ему, президенту, авторитарную власть и позволяла по собственному усмотрению распускать политические партии, именно его «новому революционному националистическому Парагваю» были нужны люди типа Стресснера, но по рекомендации из Берлина – впрочем, не категорической, а высказанной вскользь, в сослагательной форме – капитана не советовали выдвигать на руководящий пост.

Лишь в сорок втором году, после того как генерал Мориниго

был вынужден – под давлением Соединенных Штатов – разорвать дипломатические отношения с рейхом, отношение к Стресснеру в Берлине изменилось, причем до странного внезапно.

Мюллер докопался до причины. В реестре кратких записей о корреспонденции, поступавшей на имя фюрера из-за границы, он нашел три строки: «Письма офицера парагвайской армии Стресснера, в которых выражается восторг перед гением фюрера и содержится обещание всегда быть его верным солдатом». (Мюллер тогда подумал: «Бедный Стресснер, наверняка его письмо было очень красиво написано, в истинно креольском стиле, вероятно, не один день сочинял, а чиновник все опошлил, выжав лишь то, что выгодно».)

В графе «Принятые меры» записали: «Капитану А. Стресснеру отправлен акт о его арийстве, подписанный рейхсфюрером СС, и портрет с дарственной надписью фюрера; документы вручены в Асунсьоне во время конспиративной встречи. В случае просьбы г-на Стресснера о приеме в члены НСДАП отказать под тем предлогом, что он более выгоден движению и делу национальной справедливости в борьбе против большевистского интернационала и американо-еврейской финансовой олигархии в качестве беспартийного, растущего военачальника Парагвая. Для сведения: в ряды НСДАП не может быть принят из-за совместной работы с изменником Э. Рэмом».

Зацепившись за эти строчки, Мюллер приказал своей сети начать поиск всех документов на Стресснера, не вошедших в его формуляр; ответы – из Мюнхена (связь осуществляется через семь звеньев, каждое звено надежно изолировано, никаких прямых контактов), Лондона и Каира – пришли в «Виллу Хенераль Бельграно» по прошествии долгих четырех месяцев.

Материалы, переданные Мюллеру, были настолько крепкими, что он ощутил в себе уверенность: на этом человеке он может проявиться именно в том качестве, в каком Шелленберг зарекомендовал себя как непревзойденный ас, – в работе с наиболее перспективной зарубежной агентурой.

Однако, прежде чем дать поручение устроить ему контакт со Стресснером, группенфюрер заново изучил папку, касавшуюся взаимоотношений Гитлера и Рэма. Именно эта – столь дорогая Мюллеру – подробность могла помочь ему выстроить стратегию и тактику предстоящей встречи со Стресснером; от нее – первой такого рода на земле Латинской Америки – зависело многое.

Мюллер хотел до конца точно понять, в чем же – помимо понятной ошибки честолюбий людей, стоявших у истоков национал-социализма, – был сокрыт главный узел противоречий между Гитлером и Рэмом. Только с двумя ветеранами фюрер был на «ты» – с редактором ведущего антисемитского издания «Штюрмер» Юлиусом Штрайхером и с Эрнстом Рэмом. Даже с Гессом «ты» носило спорадический характер, порой односторонний, а после совместного пребывания в тюремной крепости Ландсберг вообще закончилось. (Мюллер не без злорадства подумал, прочитав полицейское дело на Гесса, заведенное еще во времена Веймарской республики: «Поделом, бровастый дьявол! Если бы ты – еще задолго до Гиммлера – не назвал Гитлера на собрании борцов "фюрером", а продолжал бы,

как и раньше, обращаться к нему и говорить о нем, как о "партайгеноссе", кто знает, как бы дело повернулось, может, нашлись бы вожжи и на самого; а ведь когда о тебе повсюду "фюрер" да "фюрер", невольно начнешь отделять символ, то есть "фюрера", от личности Адольфа Гитлера».)

Проработав архивные документы, которые его люди смогли вывезти, Мюллер пришел к выводу, что могуществу Гитлера как лидера НСДАП Рэм не угрожал никогда. Однако то, о чем он открыто беседовал с фюрером, делясь с ним своими мыслями, как с «братом», могло при определенной ситуации поколебать легенду Адольфа Гитлера – «героическую» легенду «фюрера» и «мессии арийского духа».

Более всего Мюллера интересовало: отдавал ли Рэм себе отчет в том, что, делясь с фюрером своими соображениями о будущем имперского вермахта, он подписывал себе смертный приговор?

Действительно, в конце тридцать третьего года, за восемь месяцев до расстрела, Рэм высказал Гитлеру ряд соображений о будущем германской армии. (Поскольку беседа проходила в апартаменте отеля «Адлон», что напротив Бранденбургских ворот, – там всегда останавливался фюрер, когда ненадолго приезжал в Берлин, – служба Гиммлера записала беседу «братьев». Даже став канцлером, большую часть времени фюрер проводил в Мюнхене – утром в «Коричневом доме», штаб-квартире НСДАП, затем в своих любимых ресторанах, чаще всего с молодым архитектором Альбертом Шпеером, разрабатывая планы будущих германских городов; там не писали, – в Баварии все свои; Берлин – сложный город, его еще надо по-настоящему завоевать, дело не одного года; слишком глубоко здесь засели зловредные бациллы интернационального интеллектуализма, слишком здесь близка память о Тельмане и Люксембург, Бебеле и Либкнехте; работать еще и работать.)

Судя по расшифрованной записи беседы фюрера с вождем СА – тех нацистских объединений, которые вышли вместе с ветеранами против Веймарской республики в двадцать третьем, когда Гитлер и Рэм стояли плечом к плечу, глядя на строй солдат, целившихся в них, – Рэм настаивал на том, что штурмовиков СА необходимо влить в ряды вермахта как самостоятельную единицу, подчиняющуюся лишь ему, Рэму, – некая гвардия национал-социализма в рядах армии.

Поскольку беседа носила интимный характер, все ее повороты не были внесены в расшифровку беседы, документ должен быть чистым, ибо отныне он принадлежит истории человечества, а не одному лишь архиву НСДАП: фюрер стал канцлером тысячелетнего рейха, каждое его слово будет занесено на скрижали благодарными потомками.

Но из текста явствовало, что Рэм настаивал на главном: «Ты, как и я, отдаешь себе отчет в том, что все эти генералы из главного штаба относятся к нам с тобой как к ефрейтору и капитану. Каждый из этих старцев влачит за собой историю; за каждым из них поместья и счета в банках, у нас же с тобой нет ничего за душой, кроме национальной идеи, которая привела нас к победе. Ты думаешь, мы им будем нужны до конца?»

Ответ фюрера приведен не был, следовала лишь ремарка, в которой было сказано, что фюрер не разделяет скептицизма Рэма, полагая его прогноз чересчур пессимистическим; у генералов много пороков, но вряд ли можно сомневаться, что они, как и Гитлер, думают о величии немцев, попранном в Версале.

– Ты не прав, Адольф, – продолжал между тем Рэм, наивно полагавший, что ветеранам не пристало ничего таить друг от друга. – Рано или поздно, но тебе и мне придется выполнить то, что мы обещали немцам, когда шли к власти. Нам придется потрясти мошну у некоторых финансистов; Геббельс доказал, что блок с ними был временной мерой, но ведь придет время – и нация потребует реализации слов в дела! Именно в эту годину нам и потребуется гвардия в вермахте, которая понудит генералов отдать войскам тот приказ, в котором будем заинтересованы мы, движение национал-социалистов. Я думаю, что инфильтрация СА в вермахт позволит тебе провести мое назначение главнокомандующим вермахта, на худой конец – начальником генерального штаба; лишь в этом случае наше с тобой дело окажется в надежных руках.

Гитлер ответил, что слова национал-социалистов никогда не расходились с делом.

– Да, но ведь не кто иной, как генералы, отдают приказ войскам стрелять по толпе, – возразил Рэм.

– Отныне в Германии нет толпы, – ответил фюрер. – Есть немцы.

– Прости меня, – возразил Рэм, – но это смахивает на то, что все мы говорили до того, как стали правительством! Это лозунг для выступления на предвыборном митинге, а не рецепт для управления такой сложной страной, которая нам с тобой досталась. Ты прекрасно знаешь, что уже сейчас среди части старых борцов, особенно на заводах Рура, начались разговоры, что мы пошли на поводу у крупной буржуазии, погрязли в роскоши и все такое прочее! Ты же знаешь, как умеют варьировать словами наши враги – как на Востоке, так и на Западе.

– Я погряз в роскоши?! (Эта тирада – к удивлению Мюллера – была приведена в расшифровке целиком.) Да ты же сам брал мне напрокат фрак и цилиндр, когда я должен был ехать к Гинденбургу! Ветераны знают, как я живу, и верят мне! Никому не удастся поссорить их со мной. Но, если когда-либо кто-либо докажет, что мои «партайгеноссен» действительно погрязли в роскоши, разврате или в чем-либо, что позорит звание национал-социалиста, я лично дам приказ о расправе. И сердце мое не содрогнется, Эрнст, ты меня знаешь!

«Он же этим сказал все, – удивился Мюллер, перечитав еще раз, слово за словом, пассаж Гитлера. – Он дал ему понять, что никогда и ни при каких условиях не о т д а с т «старых борцов» даже Рэму, тому именно человеку, который п р и в л е к его в девятнадцатом, сказав молодому австрийскому ефрейтору: "Пойди посмотри, что это за Социалистическая рабочая партия, и, если, как говорят, она того стоит, возьми ее и сделай своей: пригодится в борьбе против большевиков, евреев и масонов". Гитлер же пригрозил ему сейчас, в "Ад-

лоне", намекнув, что расправится с тем, кто позорит звание национал-социалиста, а ведь и он, фюрер, и уж тем более все окружающие знали о тайном недуге Рэма – о его гомосексуальных склонностях. Неужели человек, ставший членом триумвирата, не понимал, что речь идет о нем?! Да, видимо, с теми, кто пробкой вырвался наверх, уравнявшись в чем-то с большим капиталом, и в самом деле происходит некая метаморфоза: они перестают идентифицировать себя с той фамилией, которая ежедневно мелькает на страницах газет, и лицом на цветных обложках иллюстрированных журналов. Они начинают верить в то, что о них пишут, забывая, что они из себя представляют на самом деле».

– Тогда посмотри, как устроился Герман, – смеясь, заметил Рэм. – Даже старый господин[1] не жил так, как живет он, не говоря уже о всяких там Брюнингах и Штреземанах.

– Я отвергаю это как пустые разговоры! Ты у него был?

– Конечно. Вместе с тобой, – несколько удивленно ответил Рэм.

– Этот дом принадлежит не Герингу, а прусскому правительству! Геринг не несет ответственности за то, что кайзер обожал роскошь. Он не может самовольно ломать традицию власти. Он солдат и ведет себя по-солдатски! Если я прикажу ему переехать в рабочий Веддинг, он переедет туда и поселится в подвале!

«А ведь Гитлер, судя по всему, не сразу решил сделать Рэму бобо, – подумал Мюллер. – Он помогал ему, намекая на то, что Геринг "по-солдатски выполнит приказ". Он ведь подсказывал "брату": опомнись, Эрнст... Но почему же он ему подсказывал? Разве друзья не обязаны говорить друг другу правду, выложив на стол все, что им известно?! Почему фюрер не сказал Рэму открыто и резко: "Мне известно, что ты уже беседовал со Штрассером о своем желании возглавить генеральный штаб и подчинить вермахт штурмовикам СА. Так или нет?" Пусть бы Рэм ответил! Ведь нигде, ни в одном документе это намерение шефа СА не было зафиксировано! Он сам пришел с этим разговором к фюреру! Почему Гитлер не задал ему вопрос: "Тебе известно, что Грегор Штрассер не отвечает на выпады некоторых малодушных из числа тех, кто рискует себя называть ветераном движения? Тебе известно, что эти "ветераны" смеют открыто говорить о том, что в наших рядах созрела "измена", что мы отступили от принципов национал-социализма и превратились в партию, защищающую тех же Круппов и Тиссенов, как и прежние правители?!" Пусть бы Рэм ответил! Но ведь ни разу за весь полуторачасовой разговор фюрер не задал "брату" ни одного прямого вопроса, не назвал источников информации, не помог ему ответить так, чтобы сохранить братство. Почему? Не верил никому, кроме себя? Или действительно боялся Рэма, который создал СА и пользовался авторитетом среди ветеранов, знавших, что не Гитлер, а именно Рэм оплодотворил саму идею национал-социализма действием? Значит, все годы, начиная с девятнадцатого, Гитлер боялся его и не любил? Значит, он собирал вокруг себя раздавленных, типа Геббельса и Розенберга, а личности, вроде Рэма и Грегора Штрассе-

[1] В кругах Гелена так называли канцлера Аденауэра.

ра, были, опасны ему?! Но что тогда означает "ночь длинных ножей"?! И фарс с "изменой Рэма и Штрассера"?! А вот что, – ответил себе Мюлер: – Гитлеру необходимо было убить память. Расстреляв "изменников", то есть истинных создателей НСДАП, он расстрелял память о прошлом, приписав себе все их лавры. Расстреляв вместе с ними генерала Шлейхера, он расстрелял и дух немецкой армии, пригрозив тем военным, которые смели думать. Он получил еще один политический навар, убив "братьев": он показал генералам, что во имя достоинства и мощи вермахта он, фюрер, готов на личные жертвы: "Вы убедились воочию, что я отдам на заклание даже брата, если он покусится на касту германской армии, которая отныне, присягая на верность рейху, должна будет присягать и мне, лично мне, великому фюреру германской нации Адольфу Гитлеру"».

...Встреча с Альфредо Стресснером была подготовлена весьма тщательно, сугубо конспиративно, лично Шольцем и Пабло Суаресом (Паулем Сиерсом), связным ветерана СС Зандштедте, который уже с середины тридцатых годов представлял интересы РСХА в Аргентине. Пабло, ясное дело, не догадывался, кто такой «сеньор Висенте» (на этот раз Мюллер выступал под таким именем; паспорт на имя «Рикардо Блюма» хранил в тайнике: бесценный документ, абсолютно надежный. Оброс двумя визами; в Панаму и Венесуэлу летал слегка загримированный Эухенио Роблес, старый друг Людвига Фрёйде; использовали его втемную, надо было легализовать документ; Роблес это сделал без труда, а ведь в Венесуэле и – особенно – в Панаме американская секретная служба работала как у себя дома).

На самолете, присланном из Кордовы профессором Танком (у него на заводе было девять авиеток, распоряжался ими лично он, бесконтрольно. Пилоты подчинялись полковнику Руделю, возглавлявшему эскадрилью испытателей, – двенадцать аргентинцев, получивших образование в рейхе и Италии, и семнадцать офицеров «люфтваффе» – испытанные борцы, подвижники идеи, умеющие не знать того, что им было рекомендовано не знать), Мюллер прилетел в Корриентес; там его ждала другая авиетка, которая доставила его в аэропорт Посадас; оттуда, уже на самолете авиаклуба немецкой колонии Монте-Карло, Мюллера доставили в Эльдорадо – второе по величине немецкое поселение на границе с Парагваем; здесь он отправился в рыбацкий клуб на Паране – маленький ресторан и пять комнат на втором этаже, нечто вроде пансионата. Оттуда на моторной лодке его переправили в Парагвай; на берегу ждали Стресснер и его проводник – оба в хаки, с ружьями. По легенде, Стресснер отправился на пятидневный отдых в сельву; его охотничью страсть знали в Асунсьоне, никакого подозрения это вызвать не могло; проводником был Рикардо Ибанейра (Рикард Ибнер), такой же, как и он, потомок немецких эмигрантов; в НСДАП вступил еще в тридцать седьмом году.

Беседа проходила во время похода вдоль по Паране. От посещения охотничьего домика Мюллер отказался наотрез, хотя знал, что

там нет электричества, так что записать беседу не было возможности, допусти он хоть на миг двойную игру Стресснера; тем не менее береженого бог бережет, а дьявол тогда шустрит, когда господь изволит почивать, отдыхая от трудов праведных.

Поначалу Мюллер расспрашивал Стресснера о ситуации в Асунсьоне, интересовался, в какой мере президент Мориниго владеет ситуацией:

– Как я слышал, левые группировки в армии открыто выражают свою ненависть по отношению к тем генералам и офицерам, которые пришли вместе с ним к власти «по подсказке фашистов». В какой мере это соответствует действительности?

– Это соответствует действительности, – ответил Стресснер, исподволь поглядывая на сильное лицо собеседника, скрытое седоватой бородой и усами, так что разглядывать (да и то украдкой) удавалось только глаза «сеньора Висенте» и высокий лоб, чем-то напоминавший лоб Эрнста Рэма, старшего брата и учителя. – Если бы я получил поддержку из Берлина в сорок первом году, когда Мориниго пришел во дворец, мне было бы легче занять в армии соответствующие позиции; правили бы мы, люди рейха, а не профессионалы генерального штаба...

«Ах, птичка, – подумал Мюллер, – вот почему тебя не пускал наверх рейхсляйтер Боле, вот почему тебя затирали в нашей партийной канцелярии! Ты же открыто повторяешь крамольные слова твоего дорогого учителя Рэма о противоборстве касты генерального штаба и подвижников идеи национал-социализма!»

– Скажите, – поинтересовался Мюллер, – в чем вы видите причину краха Эрнста Рэма?

Вопрос был столь открытым, дружеским и доверительным – сугубо отличным от тех обтекаемостей, к которым привык Стресснер, контактируя со службой, представлявшей РСХА в имперском посольстве в Асунсьоне, – что он не сразу нашелся, как ответить.

Это его мгновенное замешательство Мюллер отметил сразу же, понял, что Стресснер являет собой тип военного, принадлежного нацистской доктрине, уровнем еще не поднялся до самостоятельности мышления, хочет отгадать, чего ждет собеседник. С одной стороны, это хорошо – податливый материал, глина, которую можно мять, придавая нужную форму; с другой – явный недостаток, ибо перспективный политик должен сразу же заявлять себя, бесстрашно навязывая собственную точку зрения; тогда ему, Мюллеру, оставалось бы лишь корректировать его, чуть подстраховывая и направляя в нужное русло.

– Рэм посмел отойти от идеи фюрера, – ответил, наконец, Стресснер.

«Формулирует ловко, – подумал Мюллер, – нет "предателя", "изменника" и "наймита", и то слава богу».

– В чем же конкретно он отошел от его идеи? – мягко поинтересовался Мюллер.

– Отвечая, я оперирую той информацией, которая поступала из Берлина, сеньор Висенте, – по-прежнему осторожничая, ответил Стресснер. Ему сказали, что он встретится с человеком, представля-

ющим тайное могущество рейха; обладает исключительными возможностями незримого влияния на события не только в Европе, но и в Латинской Америке: с таким надо быть настороже.

– Информация была фальсифицированная, – отрезал Мюллер. – Она была бесчестна по отношению к Эрнсту Рэму.

– То есть вас надо понять так, что фюрер ошибся?

– Его неверно информировали... Его попросту обманули, сеньор Стресснер... Кстати, не возражаете, если мы придумаем вам имя, которым будем оперировать в переписке?

– Пожалуйста...

– Называйте, – улыбнулся Мюллер; агент может взбрыкнуть, когда речь заходит о кличке; этот принял спокойно, слава богу.

Поразмыслив самую малость, Стресснер ответил:

– Эрнесто... Как вам?

– Очень достойно, – сказал Мюллер. – Видимо, вы взяли такое имя в память о вашем учителе – Эрнсте Рэме?

– Мне приятно, что вы так сказали о Рэме, – не ответив на прямой вопрос, отыграл Стресснер. – Как жаль, что правда восторжествовала так поздно. В чем же ошибся фюрер, сеньор Висенте?

– В том, что отверг предложение Рэма... А оно было такое же или почти такое же, как и ваше: армией должна править гвардия, узкий круг идейных военных, а не профессионалы генерального штаба...

– Жаль, что об этом заговорили после краха рейха...

– Военного поражения рейха, – поправил его Мюллер, ликуя от того, как точно он вел беседу с тем, кого вознамерился сделать диктатором Парагвая, превратив страну в ту базу, где старые борцы национал-социализма смогут собраться перед новой фазой борьбы. – Между «крахом» и «поражением» существует огромная разница, не так ли?

– Да, вы правы.

– Не сердитесь, дон Эрнесто, но я бы на вашем месте так легко не соглашался с собеседником, кто бы он ни был. Я знаю вас по тем документам, которые проходили через мои руки. Наиболее дальновидные стратеги политической борьбы говорили о вас как о возможном лидере Парагвая... Нарабатывайте в себе качества лидера – даже со мной, я это буду только приветствовать, право.

– Слишком поздно, – ответил Стресснер, ощутив в груди сладкую, замирающую пустоту, ожидая при этом, что Мюллер возразит ему, докажет его неправоту, и не ошибся.

– Отнюдь, – сказал Мюллер. – Поражения учат, сеньор Эрнесто. – В какой мере вы знакомы с историей Германии?

– В достаточной. Как-никак, но там моя настоящая родина, сеньор Висенте.

– Вы прекрасно ответили. Спасибо. Я спокоен за вас и за будущее вашей страны... Что вы знаете о судьбе тех семей, которые олицетворяли собой промышленную и финансовую мощь Германии?

– Я знаю, что Круппа с трудом удалось спасти от позорного приговора в Нюрнберге.

– Но ведь смогли! А Сименс? Его называли «нацистским преступником», но он уже начал деловые контакты со своими зарубеж-

ными коллегами. Сименсы, – усмехнулся Мюллер, – не просто немцы, они баварцы, а это самые умные немцы... Погодите пару лет, они еще скажут свое слово в мире... А возьмите дело Георга Гише... Слыхали?

– Нет.

– Рассказать?

– Это будет очень любезно с вашей стороны, сеньор Висенте...

– Так вот, еще в семьсот пятом году Иосиф Первый, коронованный императором Священной Римской империи германской нации, продал странствующему торговцу Георгу Гише право разрабатывать месторождения цинкового шпата в Верхней Силезии... Разработал... Стал дворянином, передал наследство своим дочерям, а их потомки – семьи Тейхман, Вильдштейн и Погрелль – еще круче повели дело предка; раскрутили так, что в начале века владели капиталом в триста миллионов золотых марок... Неплохо, а? Одним из потомков Гише стал известный вам барон Ульрих фон Рихтгофен, цвет империи, отец военной авиации. После первой мировой войны их рудники отошли к Польше. Крах? Отнюдь! Поражение, временный отход на запасные рубежи. Отто Фицнер, фюрер военной промышленности, вернул семье все утраченное, приумножив капитал в три раза. Миллиард рейхсмарок. И случился май сорок пятого. Что, кончилось дело Гише? Разгром? – Мюллер покачал головой. – Нет, дорогой Эрнесто, – он легко пропустил «сеньор», поставив этим себя над Стресснером; ждал, удивится ли тот, поправит; нет, не удивился и не поправил, – краха не последовало. Дело уже восстановлено, не в Бреслау, но в Гамбурге. Какая разница? Дело поддерживает нашу идею. Семья Гише – Рихтгофенов – Фицнера переживает военное поражение рейха не меньше, чем мы, а возможно, и больше. Думаете, они смирятся со случившимся? Да ни в коем случае... А возьмите барона Карла фон Штумм-Хальберга? Он продолжил дело Штумма, начатое в семьсот пятнадцатом году, превратил компанию в концерн, стал членом рейхстага у кайзера, его зять Рихард фон Кюльман поставил в Брест-Литовске на колени Россию, определял всю восточную политику империи. Его родственник, муж дочери Викко фон Бюлов-Шванте, был не только шефом концерна, но и штандартенфюрером СС, человеком, близким к Гитлеру... Проштрафился, бедняга, – вдруг рассмеялся Мюллер, – в Риме, где он сопровождал фюрера, не подсказал канцлеру вовремя, что нужно надеть мундир, поплатился за это ссылкой в послы, представлял рейх в Бельгии. Но его родственник, граф Макс Эрдман фон Редерн, был до конца нашим – оберфюрер СС... Что, после сорок пятого крах? – Мюллер снова покачал головой. – Где сейчас барон фон Штумм ауф Рамхольц, родственник Бюлова-Шванте? В Мюнхене, дорогой Эрнесто, в Мюнхене, на взлете, раскручивает бизнес... Продолжить? Или достаточно? Я рассказал вам об этом, чтобы проиллюстрировать разницу между военным поражением и крахом...

Несколько минут шли молча, потом Мюллер заговорил – рублено, коротко, властно:

– Я верю вам, Эрнесто. А я – это значит мы. И это очень много – мы. Итак, к делу... Поражение учит... Поражение заставляет пе-

ресматривать позицию, но это не есть отход от основоположений, наоборот, приближение к ним. Предложения: во-первых, наладите контакт с американцами... Да, да, именно с ними... Никаких антиамериканских лозунгов, пусть о «гринго» и «проклятых империалистических янки» кричат левые, вы войдете с ними в блок... Вы, именно вы, проинформируете их посла о ситуации в армии и объясните, что лишь вы и ваши друзья могут гарантировать устранение левых с арены политической борьбы...

– Да, но их посол...

– Ну и что? Прекрасно, что еврей. Фюрер допустил ошибку, навалившись на всех евреев. Умных и сильных надо было, наоборот, приблизить...

(«Ну и ну, – подумал он, – сказал бы я такое полтора года назад? Какое там сказал – позволил бы произнести эти слова про себя? Я запрещал себе даже допускать возможность появления этих слов, вот ужас-то, а?!»)

– Это облегчает задачу, – согласился Стресснер. – Среди наших левых интеллектуалов масса отвратительных евреев, зараженных большевизмом, но без содействия «Первого банка», который возглавляет сеньор Абрамофидж, я бы лишился поддержки в ту пору, когда Берлин не замечал меня... Сеньор Абрамофидж ненавидит большевизм, а своих соплеменников из писательской ассоциации называет «сбродом, по которому плачет каторга».

– Ну, вот видите, – вздохнул Мюллер. – Прекрасная иллюстрация моим словам... Теперь второе: необходимо организовать пятерки по типу аргентинского ГОУ. К будущему надо готовиться загодя. У вас есть контакты с Пероном?

– Он полевел...

– Он поумнел, – отрезал Мюллер. – Он – у власти. Чтобы удержаться, надо делать дело, а не болтать. Он делает свое дело, и делает его неплохо. Я бы советовал вам наладить отношения с людьми Перона. Мы можем помочь вам в этом, если возникнет нужда.

– Благодарю. Весьма возможно, я обращусь к вам...

– Третье. Можете ли вы уже сейчас, еще до победы, организовать в Парагвае несколько надежных поместий в глухой сельве, – о деньгах не думайте, мы уплатим сколько надо, – где бы поселились мои друзья?

– Это не вопрос.

– Но в таких местах, где можно построить аэродромы и мощные радиостанции...

– Это не вопрос, – повторил Стресснер.

– Прекрасно. И, наконец, четвертое... Есть информация, что левые готовят у вас бунт... Возможно, они будут в состоянии выступить летом... У вас нет таких данных? Я имею в виду абсолютно проверенные данные.

– Нет. Есть *слухи*.

– Ну, что касается слухов, то мы их умеем делать, как никто другой. Школа доктора Геббельса – что бы о нем сейчас ни говорили – достойная школа... Мы попробуем провести кое-какую работу... Если наши сведения подтвердятся настолько, что я сочту их

правдой, вам сообщат детали... Что вы тогда будете намерены предпринять?

– Ударить первым.

Мюллер покачал головой:

– Очень хорошо, что вы ответили столь определенно... Только, пожалуйста, ни в коем случае не ударяйте первым, Эрнесто... Пусть первым ударит Мориниго, он – сыгранная карта... После того как он раздавит левых, вы ударите по нему. Вот так... Все понимаю: чувство благодарности, уважение к позиции, но в политике побеждает тот, кто первым угадал в былом союзнике запах ракового гниения... Вы должны быть полезны новым силам. Вы обязаны проявить себя как выдающийся стратег, но – пока что – военный стратег, без претензий на политику... Пусть янки заметят нашу беспощадную умелость наводить порядок и убирать левую шваль... Когда и если они в этом убедятся – придет ваше время... Я держу руку на пульсе, я скажу, когда настанет ваш черед, Эрнесто. Он – не за горами...

В июне сорок шестого года левые офицеры восстали против президента Мориниго, они требовали изгнания нацистских военных. Стресснер вывел свой полк на улицы, чтобы сохранить порядок. Он не поддержал ни Мориниго, ни молодых офицеров: служил присяге, заявив себя (американцы отметили это первыми) человеком военной касты, чуждым политическим интригам.

Профашистские элементы были изгнаны из армии. Мориниго разрешил деятельность ряда партий, в том числе и левых; одновременно присвоил Стресснеру внеочередное звание – «чистый военный». Как же угоден нейтрализм в критической ситуации, когда еще нет сил, чтобы все взять в кулак, уничтожив как левых, так и недостаточно правых!

РОУМЭН (Голливуд, ноябрь сорок шестого)

Почти весь перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес Роумэн спал на плече Кристы. Уезжая из отеля, где они остановились, на те встречи, которые было необходимо проводить с глазу на глаз, он не только просил Кристу никому не открывать дверь («Несмотря на то, что мы поселились в благополучном районе, город наводнен гангстерами, особенно много их развелось после демобилизации, – нет работы, грабеж становится профессией»), но и уплатил пять долларов привратнику, чтобы тот периодически проверял, что происходит в семьсот девятом номере («Моя жена – иностранка, возможно, ей понадобится помощь, позванивайте ей, пожалуйста, вдруг что потребуется, она крайне скромный человек, не решится вас лишний раз потревожить»). Тем не менее страх за Кристу не покидал его все то время, что он отсутствовал. «Неужели любовь всегда соседствует со страхом?! Какая противоестественность! Самое прекрасное чувство, дающее человеку отвагу и силу, уверенность в себе, счастливое ожидание завтрашнего утра, которое обязательно видится солнечным (впрочем, Брехт говорил, что его самая счастливая погода – это когда моросит дождь и на улицах пузырятся лужи, работается особенно хорошо. Он сопрягал это с работой, надо будет его спросить, каким

ему виделось утро в пору влюбленности). Ах, как нехорошо я подумал! Нельзя думать про любовь – даже если соотносишь ее с человеком, который чуть старше тебя, – в прошедшем времени; то, что мы определяем расизмом, оказывается, может быть и возрастным, странно!»

Поэтому в самолете, как только стюард привязал Роумэна при взлете к топкому креслу, он сразу же обрушился в сон, впервые, пожалуй, за последнюю неделю спокойный.

Когда он проснулся, Кристина вытерла его вспотевшее лицо, – солнце било в иллюминатор, и, хотя она все время закрывала глаза Роумэна ладонью, было душно и жарко, что-то случилось с вентиляцией, воздух казался прокаленным.

– Хорошо поспал, милый?

– Ну, еще как!

– Голова не болит?

– Я плохо переношу холод, жара – моя стихия.

– А я совершенно разваливаюсь.

– Давай попросим аспирина.

– Так ведь это, чтобы еще больше потеть, против простуды...

– Все-таки вы, европейцы, дикие люди, – улыбнулся Роумэн. – Аспирин разжигает кровь, следовательно, кровь сразу же начинает потреблять значительно больше кислорода, организм омолаживается – вот в чем смысл аспирина. Поняла, конопуша?

– Если ты так считаешь, я готова сжевать три таблетки.

– Человечек, я тебе очень люблю.

– И я к тебе довольно неплохо отношусь, – улыбнулась она и попросила проходившего мимо стюарда принести таблетку аспирина.

– Ну, так что станем делать? Остановимся у Спарков или снимем квартирку на берегу океана? – спросил Роумэн.

– А как ты считаешь?

– Я спрашиваю тебя, человечек.

– Мне очень приятно делать все, что ты считаешь нужным, Пол. Я плохо отношусь к эмансипации. Женщина должна быть покорной. В этом ее сила. А все феминистки какие-то коровы. Или, наоборот, карлицы. Честное слово, – глядя на сломившегося от смеха Роумэна, улыбнулась Криста. – У нас, когда были живы папа и мамочка, в доме часто бывала фру Ельсен. Феминистка. Я ее очень боялась: громадная, как этот самолет, голос – что иерихонская труба: «Свобода женщины – это свобода мира! Дайте нам точку опоры – и мы перевернем земной шар! Пусть президентом будет мужчина, хорошо, я готова на это пойти, но пост премьера отдайте женщине, она, а не мужчина, калькулирует бюджет семьи, а разве это не есть смысл работы правительства?! Дайте нам власть – и человечество войдет в эру спокойствия и мира, потому что женщины боятся ружей и не знают, куда нажимать, чтобы они стреляли!»

Роумэн каким-то чудом смог переломиться в своем кресле еще больше, чуть не пополам: так он смеялся, только если искренне веселился.

Криста поцеловала его в висок, подумав, что не надо ему рассказывать о том, что фру Ельсен нацисты тоже расстреляли: она ук-

рывала у себя русских, которые сбежали из концлагеря, а сама была наполовину еврейкой. Что другому простили бы, посадив в тюрьму, – хоть какая-то надежда на спасение – ей простить не могли: представитель народа, который должен быть сожжен в печах, осмелился помогать славянским недочеловекам!

– Мы вернемся в Европу, Пол?

– Ты хочешь?

– Нет.

– Честное слово?

– Да. Я боюсь.

– Хочешь жить в Штатах?

– Да.

– Понравился Нью-Йорк?

– Очень. Мир в миниатюре: и китайцы, и мексиканцы, и негры, и французы... Я никогда не могла представить себе, что твой город так красив, дружелюбен и открыт... Я счастлива, что ты взял меня с собой.

– Это я счастлив, что ты полетела со мной.

– Ты простишь мне один вопрос?

– Прошу.

– У нас будет дом? Или снимем квартиру в отеле?

– Я хочу показать тебе Лос-Анджелес... Если тебе там понравится, а тебе там понравится, убежден, тогда попробуем купить в рассрочку дом. Грегори кое-что подобрал для меня... не очень дорогой, довольно маленький, две спаленки, холл и кухня... Кухня, правда, большая, метров пятнадцать, сейчас у нас мода совмещать кухню и гостиную, получается довольно удобно – тут тебе и рефрижератор, и электроплита, и радиоприемник, и большой стол с низким абажуром... Правда, так устраиваются обычно в больших семьях, где есть дети...

– У меня есть деньги, Пол... То есть они могут быть...

– Как это надо понять?

– Это надо понять так, что после папочки остался красивый дом. Его купят немедленно. Прекрасный парк, спуск к фьорду, там у нас раньше стояла красивая яхта с очень сильным мотором, папа прекрасно водил яхту, как заправский моряк...

– Не надо продавать его дом. Лучше мы станем ездить туда в отпуск.

Криста покачала головой:

– Ни за что. Я хочу, чтобы ты продал тот дом.

– Хорошо. Только не торопись это делать. Единственное, что растет в цене, так это земля.

– Ты хочешь, чтобы я все время сидела в нашей квартире?

– Не понял. – Роумэн закурил, повторив: – Я что-то не понял тебя.

– Знаешь, я ведь действительно люблю эту чертову математику.

– Тебе хочется продолжать занятия?

– Собственно, занятия я давно закончила, мне осталось защитить докторскую диссертацию... Не сердись, это, наверное, очень страшно – спать с магистром, но я магистр...

– Оп-па! Хорошо, что ты не сказала об этом раньше, я бы ни за что не женился на магистре, это противоестественно!

– Пол, какой цвет ты любишь больше всего?

– Зеленый.

– А число?

– Тринадцать.

– Нет, правда...

– Клянусь тебе: моя любимая цифра – чертова дюжина.

– Тебя больше тянут брюнетки или блондинки?

– Больше всего меня тянет к тебе.

– Это же тест, милый! Я тебя изучаю.

– Во время тестов надо говорить правду?

– Только.

– Вот я и ответил тебе правду.

– Ты хочешь, чтобы я придумала наш будущий дом? Или он у тебя в голове?

– Он у меня в голове, но я буду счастлив, если ты сделаешь наш будущий дом на свой лад.

– Нет, лучше, если ты сделаешь все так, как тебе нравится. Мне по душе твой стиль. Это только кажется, что у тебя беспорядок. Я заметила, ты прекрасно ориентируешься в своем мнимом беспорядке, значит, так задумано... Мне очень нравится, как ты устроил свою мадридскую квартиру...

– Да я и не устраивал ее вовсе, веснушка!

– Нет, устроил... Ты очень легко обживаешься на новом месте, ты и в Нью-Йорке освоился в нашем номере, словно прожил там целый год. Это завидное качество – уметь легко и без комплексов обживаться на новом месте... А ты хочешь навестить своих родственников?

– У меня двоюродный брат и какая-то там тетя... Я не верю в эти самые родственные связи, если про них вспоминаешь только перед Рождеством, когда надо рассылать поздравительные открытки... Я никогда не был избалован родственными связями, знаешь ли... Мама меня не очень-то и хотела, она жила другим, – он как-то странно поморщился, словно гримаса пробежала по лицу. – Отец погиб в автомобильной катастрофе, а я с восемнадцати лет, когда поступил в университет, – один. Хотя нет, неверно, у меня всегда было много друзей, с тех пор я и уверовал, что родственные связи порой бывают формальной обязанностью, а дружество – настоящим братством. Кстати, мы с тобой летим к брату, Грегори – брат мне, настоящий брат по духу... Ты себе не представляешь, какой прекрасный он парень...

– Я ни разу не слышала от тебя плохого слова про людей, с которыми ты знаком... Они у тебя все «прекрасные» и «замечательные», «умницы» и «храбрецы».

– Если человек твой друг, он обязательно самый прекрасный, храбрый, умный и честный.

– Тебе никогда не приходилось разочаровываться?

– Это слово неприложимо к понятию «друг«, конопушка. Это значит, что некто играл, чтобы понравиться мне, войти в доверие,

приблизиться... Такой человек не был другом... Чего ж тогда расстраиваться? Потеря только тогда похожа на кровоточащую рану, когда есть что терять.

– Ты позволишь мне выпить?

– Что это ты вдруг?

– Не знаю. Можно попросить у стюарда? Очень хочется выпить.

– Конечно, человечек, – ответил Роумэн и подумал, что она, видимо, взяла на себя его слова об игре того человека, который хотел войти в доверие. «Ужасно! Она именно так и подумала, женщина всегда воспринимает слово через себя. А как ей сказать, что я совершенно другое имел в виду, что я чувствую ее частью самого себя, что я верю ей беспредельно? А если я ошибаюсь в этой вере, то надо вставлять ствол ружья в рот и нажимать пальцем правой ноги на спусковой крючок, – незачем тогда жить на земле, если здесь возможно и такое... Но если я ей ничего не скажу, тогда она будет нести в себе эту боль, я должен, я обязан сказать ей...»

– Послушай, человечек, – Роумэн взял ее прекрасное лицо в свои ладони. – Я понял, отчего ты захотела сейчас выпить... И мне стало обидно за то, что ты посмела так подумать... Только не перебивай меня... И еще... Если мне придется выбирать слова, когда я говорю с самым дорогим мне человеком на земле, тогда... Понимаешь? Это очень трудно – подводить под чем-то черту, но если мы уговорились, что мы подвели черту под чем-то, то давай этот уговор выполнять. Ладно?

Криста кивнула, легко прикоснулась губами к его руке и, откашлявшись, сказала:

– Спасибо.

– За правду не благодарят.

– А я не тебя благодарю, а бога.

– Это – можешь, – согласился он. – И еще: мы, американцы, очень вольны в словах, это шокирует европейцев... Поэтому, пожалуйста, научись принимать нас такими, какие мы есть, иначе тебе здесь будет довольно трудно... Наши отцы-основатели были прожженные прагматики, они точно рассчитали, что слово произнесенное не таит в себе угрозы строю. Опасны слова непроизнесенные. У нас говорят все, что хотят, но при этом делают так, как решат дедушки с Уолл-стрита – весьма компетентные деды, знают, как держать общество в состоянии полнейшей свободы слова и при этом абсолютнейшего подчинения своему делу. Потому-то, когда и если тебе что-то покажется, не уходи в себя, не терзайся сомнениями, не проси виски, а задавай вопросы: не бойся, задавай любые, у нас не обижаются на вопрос, потому что имеют право на ответ – пусть такой же резкий или даже неприятный. Более всего в спорте мне нравятся ничьи: два-два; в жизни – тоже, потому что чей-то выигрыш обязательно соседствует с проигрышем, а это – нарушение баланса, поняла?

– Господи, за что же мне такое счастье привалило? – Криста снова прикоснулась губами к его руке. – Ты все знаешь, хотя и не магистр, ну, объясни же: почему – мне и за что – ты? Можешь?

– Могу.

– Ну?

– Всякий человек, перестрадавший столько, сколько хватит на жизнь многих людей, обязательно получает компенсацию. Это тоже закон ничьих. Если бы ты не встретила меня, сделалась бы великим ученым, по-настоящему великим, как Альберт Эйнштейн. Или Бор. Или Кюри. А может быть, стала бы сочинять сказки. Вроде твоего папы, когда он по-своему пересказывал тебе Андерсена. Я верю в это... Через себя верю. Мне ведь тоже досталось в жизни... И вдруг на голову свалился прекрасный агент гестапо, которого я полюбил. А этот гестаповский агент понял, что я ему тоже послан богом. Вот и произошло чудо. К тому же у нас с тобой абсолютная совпадаемость, это тоже чертовски важно. Можно любить женщину, восторгаться ею, но – днем. Это – трагедия. Можно, наоборот, ждать, когда наступит ночь, близость, а утром не знаешь, как бы поскорее слинять, такая рядом с тобой лежит дура. Или истеричка. Или стерва, которая только и думает, как вытрясти из тебя побольше баков. Тоже трагедия. А вот если засыпая после того, как был с тобой, любил тебя, хотел тебя, мечтаешь поскорее проснуться, чтобы снова видеть твое лицо, слышать твой голос, смеяться твоим шуткам и задумываться над твоими словами – так много в них сокрыто мысли, тогда получается то, что в мире редкостно. Кое-кто называет это счастливым браком.

– Ты читаешь мои мысли?

– Большинство.

– Все. Ты говорил то... нет, не так... Ты повторял то, что я говорила про себя... Только я не решалась назвать себя агентом гестапо...

– Плохо, когда оставляешь в себе тайну. Она ест тебя, как соль металл. Боишься, что кто-то ненароком прикоснется к ней, закрываешься, как улитка, и живешь в постоянном страхе. Зачем? Черта подведена, никаких тайн. Кстати, на твоем месте я написал бы книгу «Я была агентом Гитлера».

– Ты сошел с ума?

– Почему? Это сенсация, заработаешь уйму денег, Грегори поможет продать сюжет в Голливуде, арендуем сейф в швейцарском банке, будем получать десять процентов годовых – чудо что за жизнь!

– Это ты так шутишь?

– Да почему?! Мы очень серьезно относимся к возможности заработать деньги, человечек!

– Вот сейчас ты сказал неправду, Пол.

– Да правду же, правду! У нас свой строй мыслей, нам сто шестьдесят лет, мы молодые, у нас нет истории, как у вас, мы поэтому не боимся отсекать прошлое: было – и нет! Мы не замучены вашими условностями, к былому относимся как к отрезанному куску хлеба: не как к части целого, насильственно от него отторгнутого ножом, а будто к ломтю, который надлежит полить кукурузным маслом, положить сверху кусок сыра, сунуть в электроплиту, слегка обжарить и с аппетитом съесть.

– И твое сердце не сжимается, когда ты вспоминаешь, с чем я пришла в твой дом?

– А твое сердце не разрывается от того, что я, поняв, что ты пришла в мой дом совсем не случайно, играл любовь, отправляя тебя в Севилью? Я перестал играть, когда Гаузнер открыл мне правду. Тогда я снова позволил себе понять, что люблю тебя. Мы квиты, человечек. Я играл в такой же мере, как и ты... Скажи, когда ты полюбила меня?

– Когда нашла котенка.

– Какого котенка? – удивился Роумэн.

– Рыжего. Я нашла его в Севилье. Он очень мяукал в подъезде. Когда я стала кормить его с рук, я поняла, что люблю тебя. А сначала я тебя ненавидела.

– Да?! Почему?

– Потому что мне сказали, что ты держишь в своих руках все нити, потому что немцы перешли в твое подчинение, тебе известно, кто погубил моего папу, ты поддерживаешь этого человека и лишь в твоей воле открыть мне это имя... Или нет... Я мучительно боялась признаться себе в том, как ты мне мил... Ну, спрашивай... Ты же хочешь спросить...

– Да.

– Ты хочешь спросить: ложась с тобой в постель, чувствовала ли я тебя, желала ли? Да?

– Да.

– Ну, тогда я отвечу... Я потому и напилась в тот день, что ничего не хотела... Я никогда, никогда, никогда, никогда не хотела этого... Ни с кем... Знаешь, почему женщины несчастнее мужчин?

– Не знаю.

– Потому что вы не можете спать с той, которую не хотите... У вас это просто не получится. А женщине приходится... Вот я тебе все и сказала – как наизнанку вывернулась. И сажусь писать книгу про агента Гитлера. Только писать я буду на своем языке, а ты сделаешь авторизованный перевод, ладно?

– Авторизованный? Это как? Больше заплатишь?

– Да, в триста сорок два раза.

– Хорошо, – он поцеловал ее в нос. – В Голливуде сразу же заключим договор. Только, пожалуйста, любимый мой человечек, нежность моя и чистота, никогда не таи в себе вопросы. Я тебя очень чувствую, я чувствую тебя постоянно, я, как радио, настроен на тебя, поэтому воспринимаю твои перепады словно свою боль и начинаю копаться в себе, и замыкаюсь, и свет мне делается не мил... Понимаешь? Запомни раз и навсегда: американцы не боятся вопросов – самых прямых и нелицеприятных. Но мы бесимся, чувствуя, что нас хотят спросить, но отчего-то не спрашивают. Тут мы начинаем терять веру, понимаешь?

– Спасибо, что ты все это говоришь мне.

– Мне стало так спокойно, что снова захотелось поспать.

– Не надо. Через полчаса мы прилетим, будет болеть голова... Аспирин действительно здорово помог.

– А я что говорил...

– Пол, а на каком языке мы сейчас с тобой беседовали?

Он недоуменно посмотрел на нее:

– Черт, действительно? На каком?

– На немецком, любимый.

– Правда?

– Правда. Ты меняешь языки, как носовые платки. И по-испански можешь так же?

– По-испански мне легче, я и думаю-то на испанском. Неужели мы говорили по-немецки?

– Ты правда не помнишь?

– Даю тебе слово.

– На немецкий перешла я, Пол.

– Почему?

Она кивнула на человека, который сидел в кресле перед ними:

– Джентльмен очень интересовался нашим разговором.

– Тебе показалось.

– Нет. Он очень интересовался нашим разговором. А в тебе я открыла еще одно удивительное качество: ты доверчив как маленький.

Он покачал головой:

– Неверно. Маленькие более недоверчивы, чем взрослые. Попробуй, помани на руки малыша, если ты не брит и неряшливо одет... Он так зальется плачем, так станет хвататься за маму...

– Если поманит женщина – пойдет.

– К тебе – может быть. Я бы на его месте пошел. Сразу же. А к какой другой женщине – будет раздумывать. Я очень часто вспоминаю свои чувствования, когда был маленьким. Правда. Я с годами научился верить людям. Чем больше меня обманывали, тем больше я верил. Очень странно. Знаешь, это как в боксе навязывать сопернику ближний бой. Надо навязывать окружающим доверчивость, тогда им будет стыдно делать тебе зло. В каждом человеке живут и бог, и дьявол: кого в нем вызовешь, того и получишь.

Криста снова поцеловала его руку.

– Только б подольше все это продолжалось, – шепнула она, – только б это продолжалось как можно дольше, боже милостивый... Я никогда, никогда, никогда не была такой счастливой, как сейчас.

Когда в аэропорту Лос-Анджелеса он бросился к Грегори Спарку и Элизабет, чуть не сшибая всех на своем пути, Криста вдруг сделалась белой, как бумага, ноги ее ослабли, она прислонилась к стене. Так же побледнел и Спарк, когда увидел ее, поняв, что она и есть миссис Роумэн.

И у нее, и у него были основания для этого: Криста работала по Спарку осенью сорок четвертого, когда была отправлена в Лиссабон Гаузнером; в свою очередь, Спарк был увлечен ею, и ему тогда стоило большого труда (если допустимо определить таким словосочетанием все то, что он тогда пережил) разомкнуть ее руки на шее и сказать ей про Элизабет, которую он не может бросить, а пуще того сыновей, без которых мир для него кончится.

– Криста, скорее же! – крикнул Роумэн, оглянувшись.

– Ей плохо, – сказала Элизабет и бросилась к Кристе, по-прежнему стоявшей возле стены; бледность ее сделалась какой-то синюшной; тени под глазами казались столь темными, что даже пропал морской цвет громадных глаз, они сделались пепельными, пустыми.

– Ей плохо, – повторил Роумэн и, бросившись следом за Элизабет, обогнал ее, стремительно лавируя между людьми – точно так, как его учили в диверсионной школе перед забросом в немецкий тыл.

Спарк стоял на месте, не в силах двинуться с места, до странного явственно ощутив себя маленьким мальчиком, которого мама потеряла на вокзале; они тогда ехали в Питтсбург, это было перед Пасхой; тьма народу; мама сказала, чтобы он постоял у стены, никуда не отходил, он и стоял, но потом увидел щенка, которого вела на тоненьком металлическом поводке седая дама, и вдруг заметил, как щенку режет шею; бросился следом за маленьким шоколадным пуделем. Тот все оглядывался на него, они же были на одном почти уровне, а как собака выразит свою боль, если не посмотрит в глаза богу, он ведь все понимает, громадный пятилетний бог на двух ногах (как они могут держаться на них, это же такое искусство, воистину, хозяева – существа высшего порядка, попробуй не подчиняться им). Когда мальчик поправил ошейник и пудель лизнул его руку, попрощавшись с ним глазами, Грегори понял, что стоит возле дверей на перрон и не знает, куда возвращаться. Он ощутил такой ужас, что у него враз похолодело лицо и в груди сделалось пусто. Так было и сейчас, только еще хуже.

Роумэн подхватил Кристу, прижал ее голову к груди:

– Что такое, человечек?! Что с тобой?! Тебя никто ничем не угощал? Почему ты белая?! Ну, ответь же!

Подоспела Элизабет, обняла Кристу за плечи, прижалась губами к ее холодному виску:

– Миленькая, что?! Господи, какая красивая! Сейчас все пройдет, сейчас. Погодите, а вы не ждете ребеночка?

Резко, будто от удара, плечи женщины вздрогнули, а после Роумэн ощутил на своих ладонях слезы Кристы; она плакала беззвучно и неутешно, все теснее и теснее прижимаясь к нему.

– Тебя никто ничем не угощал, пока я спал? – спросил Роумэн требовательно и строго. – Ну-ка, ответь.

Она покачала головой, вытерла слезы со щек, и он почувствовал, как собралась ее спина.

– Сейчас, – шепнула Криста, – все в порядке, любовь моя, уже проходит, просто меня укачало. Прости, пожалуйста.

– Ее укачало, бедняжку, – повторила Элизабет, – боже, как красива, какая прелесть, вы так прекрасно смотритесь вместе, я счастлива за тебя, Пол.

– Ну, – улыбнулся Роумэн Кристе, – можешь протянуть руку моей сестричке? Ее зовут Элизабет, она душенька и настоящий дружок.

Криста с трудом оторвалась от него и протянула руку Элизабет:

– Я счастлива, что у Пола такая замечательная сестра.

Элизабет крикнула Спарку, который по-прежнему стоял там, где его оставили Пол и Элизабет:

– Ты что, стережешь чемоданы, Спарк?

Его словно бы подтолкнули, и, деревянно вышагивая, он двинулся сквозь толпу загорелых, смеющихся, веселых людей в легких костюмах, ощущая с каждым шагом все большую и большую тяжесть в ступнях, словно они внезапно покрылись нарывами, наполнились горячим, свинцовым гноем.

– Здравствуйте, Грегори, очень рада встретить вас, – сказала Кристина.

– Добрый день... то есть вечер... Очень приятно, Кристина, как хорошо, что вы, наконец, приехали.

– Поцелуй же его! – сказал Роумэн, подтолкнув Кристу к Спарку. – Брат как-никак! Настоящий, единственный, верный!

Криста потерянно поцеловала Роумэна, еще теснее прижавшись к нему, и протянула Спарку руку:

– Как хорошо, что вы есть у Пола... Он вас так любит...

– Девушка засмущалась, – рассмеялся Роумэн. – Пошли, люди, мечтаю сесть за стол вместе с вашими сыновьями и съесть очень много спагетти.

– Я сделала яблочный пирог, какой ты любишь, – взяв Кристу под руку, сказала Элизабет, – очень мягкий, совсем без сахара, а Спарк съездил к нашему приятелю на ферму и привез телячью ногу! Я запекла ее в тесте – с чесноком, морковью и луком, ты будешь стонать и плакать над этим блюдом! Вы любите готовить, Крис?

– Очень. Только у меня все недожаривается и недосаливается.

Роумэн толкнул Грегори локтем в бок:

– Ты что окаменел, мужчина? Тебя ошеломила красота моей жены?

– Есть маленько, – улыбнулся Спарк каменной, натянутой улыбкой. – Просто я... Мы очень долго вас ждали, самолет опаздывал, и я начал психовать, что с вами... Реакция на ожидание, не обращай внимания. У вас много багажа?

Роумэн кивнул на сумку:

– Все наше носим с собой. Можем сразу же ехать к вам.

– А мы арендовали вторую машину, – сказала Элизабет. – Мы думали, вы притащите тройку чемоданов, ждем вас на месяц, раньше не отпустим, поэтому арендовали для вас машину, у нас маленькая, боялись, что с багажом не уместимся... Я поеду с Крис, только не обгоняйте нас, ладно? Подействуй на Спарка, Пол, он гоняет как безумный, на его страховку я не смогу воспитать мальчиков, они станут бандитами, а я умру возле тюремных стен с передачей в руках...

– Я надаю ему подзатыльников, обещаю тебе, маленькая. Он будет ездить со скоростью тридцать миль в час, не больше... Грегори, я с тобой?

– Конечно, – неожиданно обрадовался Спарк. «Я должен все сказать ему, иначе жить под одной крышей будет просто невозможно. Но, сказав ему это, я убью их любовь, она ведь явно ничего ему не говорила про меня. Какая дикость, а?! Я не имею права ничего

ему говорить, это жестоко, это пытка, бедный Пол, вот уж невезучий человек, вот уж бедолага, нежный мой, большой и доверчивый братик... Что же делать?»

Криста обернулась к Элизабет:

– Вы не обидитесь, если я поеду с Полом? Мне Америка внове, я трудно привыкаю к... А Пол так прекрасно рассказывает про все... Я дикая, и поэтому... Вы не будете сердиться?

– Господи, какая красивая, – снова повторила Элизабет, поцеловав Кристу в щеку, и обернулась к Полу, – ну и отхватил красулю! Я таких еще не видела, хотя у нас в Голливуде есть женщины, поверь мне. Спарк, едем первыми, ребята пристроятся за нами, если ты их потеряешь, я подам на развод, понял меня?

– В таком случае считай, что ты его получила, – буркнул Спарк.

Мальчишки, Питер и Пол, повисли на Роумэне с визгом и писком, потом с таким же визгом бросились к Кристе. Глядя на ее лицо с закрытыми глазами, на медленные движения ее рук, прижимавших к себе мальчишек, особенно младшего, трехлетнего Пола, который висел у нее на шее, Роумэн подумал о том, какой нежной и прекрасной она будет матерью: «Скорее бы; мечтаю об этом; в ней так много неосознанного материнства, даже в том, как она боится положить мне ладонь на грудь, чтобы не услышать заячий хвостик, трепыхание сердца...»

– К столу, к столу! – крикнула Элизабет. – Начинается пир!

И по тому, как она весело бросилась на кухню, подмигнув Полу, Кристе стало ясно, что Спарк ни о чем не сказал жене; да и под силу ли такое? «Но ведь мне нельзя не сказать, это как принести в чистый дом грязь, намеренно не вытерев обувь у порога. Я не знаю почему, – сказала она себе, – но я должна это сделать, я не знаю как, но то, что я должна, ясно мне, если я не хочу потерять Пола. Спарк расскажет ему все, он не сможет ему не рассказать о том, что было в Лиссабоне, как я делала все, чтобы он стал моим, как я почти добилась этого. Да, все, что было, – страшно, это как рана, она будет гноиться до тех пор, пока ее не вычистят и не промоют перекисью водорода. Верно, не всякая правда нужна человеку, кто-то из русских писал, что есть правда, которая унижает, люди инстинктивно отталкивают ее от себя, закрываются, придумывают оправдания. Но ведь если она, эта правда, существует, от нее никуда не денешься! Надо найти форму, – сказала себе Криста, – это очень важно – форма правды, это важнее всего на свете, а для меня так и вовсе вопрос жизни и смерти. Если я потеряю Пола, мне нечего делать на земле».

– Элизабет, вы разрешите мне немного поиграть с детьми в прятки? – спросила Криста. – Я до сих пор люблю эту игру, можно? Пять минуток хотя бы.

– Я буду прятаться, я, я, я! – закричал трехлетний Пол и сразу же бросился за штору. – Криста, ищи меня, только не сразу находи!

Роумэн, Спарк и Элизабет сели за стол, прислушиваясь к тому, как мальчишки визжали во дворе, – игра переместилась уже туда.

– Она – чудо, – сказала Элизабет. – Я счастлива за тебя, Пол. Правда, Спарк?

– Да, – кивнул тот. – Очень красивая девушка. Ты никогда ее раньше не встречал?

– Где? – усмехнулся Роумэн. – В немецкой тюрьме? На фронте? Где я мог ее встречать? А почему ты спросил об этом?

– Сколько ей? – спросила Элизабет. – Она смотрится как ребенок. Это, кстати, замечательно: чем больше в женщине ребенка, тем легче мужчине. Это некий консервант мужской нежности. Когда я начала работать домашним министром финансов, торговли, иностранных дел и шефом налоговой службы, Спарк стал реже бывать дома, ему скучно со мной, нет противоположного. Правда, Спарк?

– Слушай-ка, Пол, – медленно, словно бы выдавливая из себя слова, начал Спарк, – мне сдается, что я где-то видел Кристу.

– Так спроси ее, – Роумэн пожал плечами, алчно обсматривая телячью ногу. – Крис! Скорей! Потом поиграете! Люди, за стол! Ты права, сестра, в ней много от ребенка...

Криста привела мальчишек, вымыв перед этим их разгоряченные лица горячей водой: «Запомните, если после бега брать ледяной душ, будете долго потеть, а после горячей воды вам сразу станет прохладно, так мне говорили лучшие боксеры мира, они-то уж это знают – будь-будь!»

Элизабет посмотрела на сыновей, те моментально замолкли, улыбнулась Роумэну и сказала:

– Вы очень красивая, Криста, а значит, умная, да, да, чем женщина красивее, тем она умней. Поэтому вам очень повезло. Вы полюбили одного из самых прекрасных людей на земле. Я просто не знаю, кто есть лучше. Спарк, конечно, лучше, но он моя собственность, к этому привыкаешь... И это самое ужасное в браке, Крис. Пожалуйста, никогда не привыкайте к Полу. Всегда ждите его: он может не вернуться, такая уж у него работа. Всегда радуйтесь ему: может быть, бог дал вам последний день радости. Всегда оберегайте его: чем сильнее мужчина, тем он мягче и ранимее. И знайте, что теперь вместе с мужем вы получили добавку – брата и сестру, нас со Спарком.

– И племянников, – закричали мальчишки. – Крис, мы твои племянники, скорей доедай это мясо и пойдем играть!

– О, неблагодарные, – вздохнула Элизабет. – Какое же это мясо?! Это телятина!

Крис спросила Элизабет, как нужно готовить такое чудо, та принялась с увлечением объяснять. Роумэн обратился к Спарку:

– Ты не сказал Брехту, что я прилетаю?

– Он теперь живет где-то в Нью-Йорке, не выходит из отеля, совершенно сломан. Эйслер там же... Я звонил Фейхтвангеру, он ждет нас, совсем раздавлен, ждет вызова в комиссию по расследованию... Крис, где я мог вас видеть? – неожиданно спросил Спарк, хотя всячески уговаривал себя не задавать ей этого вопроса.

– Как где? – Она вымученно улыбнулась. – В Лиссабоне в сорок четвертом, но вы там, кажется, жили под другой фамилией?

Роумэн почувствовал, как у него кусок телятины застрял в горле. Криста положила ладонь на его руку:

– Это романтическая история, я непременно расскажу об этом.

– Как интересно! – Элизабет всплеснула руками. – Так вы знали Спарка?

– Спарка я узнала в аэропорту, – ответила Кристина. – Я знала американского дипломата с другой фамилией, но с обличьем Грегори. Кстати, Пол, я сейчас придумала поразительный сценарий, если Грегори поможет его пристроить, мы прославимся и разбогатеем.

– Расскажите, Крис, пожалуйста, расскажите, – попросила Элизабет. – Это так интересно!

– При мальчиках не стоит, это связано с наци, очень жестоко... Я расскажу за кофе, ладно? Когда мы перейдем пить кофе, я расскажу все.

– Эта история началась в... Бельгии, – Крис спросила у Роумэна глазами разрешения взять сигарету, он чуть прикрыл веки, она закурила, глубоко задохнувшись синеватым дымом, и продолжила: – В сорок третьем году наци особенно неистовствовали, хватали на улицах всех подозрительных, расстреливали заложников, разлучали детей с родителями... Это надо пережить, это трудно понять людям, которые не знали оккупации... Ну вот, представьте, что каждую ночь, ложась спать, вы не раздеваетесь, потому что до четырех утра проводят аресты. Раздеться можно только в четыре часа... Они ведь не давали толком одеться, выволакивали в чем был человек, а камеры в тюрьмах не отапливались... Никогда люди в Европе так истово не молились по утрам, как в те годы: бог дал день, слава богу, а уж пища – это второе, потом как-нибудь... Ох, Элизабет, вам, наверное, грустно слушать это? Зачем я, действительно?!

– Рассказывай, – попросил Роумэн. – «Грустно» к тому, что ты пережила, – неприложимо. Рассказывай.

– Рассказывайте, Крис, это страшно, но это надо знать, – сказала Элизабет, – да, Спарк?

– Сколько тогда вам было лет, Крис? – спросил Спарк.

– Это не моя история, Грегори, я хочу рассказать историю моей подруги... Хотя... Увы, история в определенной мере типическая... Ей... моей подруге, тогда было двадцать два года. Так вот, однажды семья облегченно вздохнула, потому что пробило четыре часа, отец первым разделся, потом легла дочь, а мама отправилась на кухню затопить печь: отопления же не было тогда, грелись только от печки... моя подруга... Ее звали... Ани... подумала тогда, что через три часа мама напоит их горячей водой, настоянной на травах, которые люди собирали летом в лесу и на полях, – чая не было, даже по карточкам не давали, только пачку морковного кофе в месяц, да и то при наличии члена семьи, работавшего на немецкую оборонную промышленность. Она только-только задремала, счастливая, что и эта ночь о б о ш л а их, как в дверь забарабанили... Европейцы, мы ведь дисциплинированные, раз стучат – надо сразу же открывать. Мама бросилась вниз, ворвались ч е р н ы е. Бедный папа – из-за того, что матушка сразу же отворила дверь, – не успел толком одеться, его увезли без пальто... А мамочка была в свитере, поэтому ей

было легче выживать – поначалу... Но ведь тогда все думали, что не сегодня, так завтра высадятся союзники и освободят всех арестованных, важно было прожить час, не то что день, надежда всегда спасает... И Ани осталась одна в доме... Конечно, двадцать два года – это уже возраст, не пятнадцать же лет, но все равно... Карточек студентам не давали, цены на рынке чудовищные, фунт хлеба меняли на обручальное кольцо, полотно Рембрандта – на козу, а мешок муки – на бриллиант в два карата... Через неделю к Ани пришел человек – ночью, таясь, немец – и передал письмо от отца: «Верь этому человеку, он – друг, пытается помочь мне. Перешли с ним пачку сигарет и батон с маргарином. Он будет к тебе приходить каждую неделю и, рискуя, поддерживать меня. Одолжи еды у Рилье... Ниельсона, он не откажет, у него ферма...» Ани пошла к Ниельсону, тот выслушал ее, сказал, что принесет кое-что вечером; он пришел незадолго перед комендантским часом...

– Что это? – шепнула Элизабет, обратившись к Спарку.

– Это когда за то, что ты вышел из дома после восьми вечера без пропуска оккупантов, тебя расстреливают на месте, – пояснил Роумэн.

– Осенью комендантский час начинался с семи, – поправила Криста. – Рано темнеет... Так вот, господин Ниельсон – папа принял его сына в университет, учил, тащил, сделал из него неплохого специалиста – положил на стол батон, пачку маргарина и кусок сала. И начал сразу же расстегивать пояс: «Всего полчаса, Ани, ты должна меня отблагодарить». Ему было за шестьдесят, очень маленький, с грязными руками, и потом от него чем-то отвратительно пахло, плесенью какой-то, говорила мне потом Ани, именно плесенью, как в земляном погребе, когда весной ушли подземные воды, но осталось много мокрых, склизлых досок... Ани бросила на пол хлеб и маргарин с салом, попросила господина Ниельсона уйти. Тот пожал плечами, собрал продукты в сумочку и ушел, заметив, что он готов помогать, стоит лишь Ани позвонить ему, только теперь он не удовлетворится получасом: «Я работаю на воздухе, вполне здоров, придется вам принимать меня весь воскресный день».

Тогда Ани взяла уникальные книги отца – кольца, часы и браслеты забрали при аресте, это так полагалось, – и отправилась на рынок. В субботу на центральной площади была меновая торговля, она думала обменять книги на хлеб, но кого тогда интересовали уникальные издания?! Конечно, каких-то спекулянтов это интересовало, но они работали очень конспиративно, на них надо было иметь выходы, а откуда они у нее, девушки из интеллигентной семьи, воспитанной на Гёте и Гамсуне? Ну и, конечно, на Шарле де Костере, без этого нельзя... в Бельгии и Голландии... Ани весь день промерзла на этом рынке, домой вернулась ни с чем... И дрова кончились... Поэтому она легла спать, не раздеваясь, навалив на себя все перины, какие были в доме... А ночью пришел тот друг, спросил, приготовила ли Ани посылку для папоч... для ее отца... «Мне жаль, что у доктора такая жестокосердная дочь, – сказал он. – Вы его единственная надежда, он верит в вас, как в бога». Ани рассказала, как она пыталась сделать хоть что-то для пап... отца и матери... Тот спросил: «Но вы го-

товы для их спасения на все, разве не так?» Ани ответила, что она готова на все, как же иначе, понятно, на все что угодно... «Это кольцо вашего отца, обручальное кольцо, он прислал его вам... То есть он смог передать его мне – для вас. Сможете поменять на хлеб? Или это сделаю я?» – «Конечно, вы! Спасибо вам огромное!» – «Это мой долг немца, – ответил друг, – за это не благодарят... Не считайте, что все немцы – даже в форме – думают так, как Гитлер. Если к вам придут офицеры в зеленой форме и скажут, что хотят помочь вам, верьте им, как мне». И к Ани пришел офицер в зеленой форме, он жил по соседству, она видела его на своей улице, она очень маленькая, их улочка, там все друг друга знали, ну, как в любом пригороде, у вас ведь так же, правда? И этот офицер тоже передал девушке записку от папы и мамочки, те благодарили за передачу. «Хлеб и маргарин так вкусны, мы живем твоими заботами, Ани, пусть тебя сохранит господь...» И тот офицер сказал, что, видимо, отца передал в руки гестапо один доцент из университета, он всегда завидовал отцу, сейчас получит его кафедру. «Он, скорее всего. провокатор, держит английские листовки в своем доме, но подсовывает их тем, кто ему неугоден... А тут еще наши суда взрываются на рейде... Если вы, Ани, сможете понять правду, вашего отца освободят; бедная, бедная, девушка, как мне жаль вас...» Он прислал денщика, тот принес Ани дров, хлеба и сыра; сам пришел вечером, откупорил бутылку... Она не знала, насыпал он ей снотворного или же она свалилась от голода, но проснулась она... Вот так... Нет, нет, никакой грубости или насилия, как можно, это же друг, ненавидит фюрера, только и думает, как разоблачить провокатора, который пишет доносы на людей ни в чем не повинных... И Ани потянулась к нему; однажды она с отцом заблудилась в море, хотя он прекрасно водил лодку, – и под парусом, и на моторке, – настала ночь, и папа тогда сказал: «Если ты увидишь всплеск света, знай, что это маяк. Значит, мы спасены. В жизни, как и в море, всегда ищи маяк, верь ему, равняйся на него, пока сама не набрала сил, чтобы стать...»

Когда папа и мама были дома, Ани жила домом, она была счастлива; даже когда случилась война – если семья дружна, общее горе переносится легче, – она еще не очень-то отдавала себе отчет в том, что произошло, все ведь думают, что их минет чаша скорби, никто не думает, что приуготовленное соседу обрушится на тебя. Когда они жили семьей, Ани не очень-то задумывалась над тем, что она есть... Как девушка... А когда осталась одна, к ней стали липнуть все, как пчелы... И тот доцент, про которого ей сказали, что он-то и есть провокатор, виновный в трагедии, тоже обрушился, говорил ей такие слова, с такой нежностью, что сердце ее переворачивалось от ужаса и ярости: «Как же бог наделил его даром речи, если он злодей, исчадие ада, подводящий под расстрелы гестапо своих сограждан?!» Она нашла у него листовки, именно те, которые патриоты печатали в Англии. Его тоже арестовали, но потом по радио было объявлено, что он-то и был на самом деле истинным руководителем подполья. Он никого не выдал, его гильотинировали, потому что он не сказал ни о ком ни единого слова, а папоч... папа моей подруги был его соратником, они вместе дрались против наци... Тоталитар-

ный режим многорук, одна рука не знала, что творила другая. Так вышло и тогда: офицер, который сломал в Ани человека, не смог, а может, не успел предотвратить сообщение о том доценте... А может быть, говорила мне потом Ани, они это сделали специально, чтобы отрезать ей дорогу назад: вокруг нее прямо-таки роились мужчины, оказывается, она была красива, но я же говорю – в семье она жила отцом, матерью, их прекрасной, доброй общностью... Что ей было делать? Она не поняла, что случилось, она умела считать, а тут был несложный счет, прямо-таки на пальцах... Можно было, конечно, покончить с собой... Но она постоянно колебалась, понимаете? Потому что жила лишь одной жаждой мщения... А тут возникла новая проблема. В семье, где она воспитывалась, привыкли поклоняться отцу, он был главным, принимал все решения, его слово было истиной в последней инстанции... Она просто не умела принимать самостоятельные решения, ей нужен был совет, подсказка, так уж получилось; чего тут больше – вины ее или беды, трудно сказать, но так было; что называется, условия задачи. Люди в зеленой форме легко меняют ее на штатский костюм, они очень многолики, но работают, исходя из грубой, понятной ими реальности... Они и сказали Ани, что в Лиссабоне работает один... английский дипломат... Он вместе с американцами организовывал транспортировку нелегальной литературы в... Голландию и Бельгию... В его-то цепи и скрывается истинный провокатор, который повинен в случившейся трагедии... «Мы развязываем вам руки, мы не вправе ни о чем вас просить, мы открыли вам высший секрет рейха, это грозит нам казнью, но если вы найдете этого человека, подружившись с английским дипломатом... и его американским другом, тогда вы отомстите гитлеровскому шпику... Гестапо нам не открывает своих секретов, мы военная разведка, верьте нам, Ани». А что ей оставалось делать? Когда человек заблудился, он мучительно ищет в темном море любой всплеск света – ведь это маяк, спасение, что же еще. И Ани отправилась в Лиссабон, и там ее познакомили с этим дипломатом... Он был такой прекрасный и добрый человек... Маленький, с очень чистыми голубыми глазами... А она привыкла к тому, что мужчины пикировали на нее, а тот человек был с нею добр, даже, ей казалось, чуточку неравнодушен, но у него в доме на столе стояло фото: он, его жена, дочь и сын... Он жил там один, рисковал каждый день, он нуждался в часе расслабления, – стакан виски или женщина, что же еще, отдушина как-никак... Но он не позволил себе пасть... Это потрясло Ани, в ней начался какой-то внутренний слом, но это оказалось для нее спасением, потому что она убедилась: мир состоит не только из скотов... В этом жестоком мире есть очень чистые мужчины, которые умеют сказать себе «нет», если любят жену, детей, семью... Ох, и трудно же пришлось з е л е н ы м после этого рыжего англичанина с Ани, ох, и заставила она их покрутить мозгами. С тех пор обманывать ее становилось все труднее и труднее, потому что рыжий англичанин с голубыми глазами оказался для нее истинным ориентиром, маяком в ночи... Чтобы спасти ее для себя, з е л е н ы м пришлось выдать ей одного шпика. Они дорожили Ани, потому что у них было мало умных, а моя подруга не дура; интеллигентные и при-

влекательные женщины к ним не шли, они подбирали мусор. Кто захочет иметь дело с животными? А после они придумали главное... Когда война шла к концу, Ани сказали, что ее архив можно сжечь, а можно и сохранить, все зависит от нее самой... И поиск убийц отца можно продолжить... Вот... Это, пожалуй, все... Пойдет как черновик сценария? – Криста впервые за все время подняла глаза на Спарка, до этого она рассказывала историю Роумэну и Элизабет, больше – Роумэну, каждый миг ожидая увидеть в его глазах то, что заставит ее замолчать, подняться и уйти из этого дома.

Спарк отошел к маленькому столику, где стояли бутылки, налил виски Роумэну и себе, обернулся к Элизабет и Кристе, спросил взглядом, что хотят выпить они, налил виски и им, вернулся к дивану, поцеловал Кристу в затылок, погладил по сыпучим волосам.

– Как звали того рыжего англичанина – Спарк? – спросила Элизабет.

– Как его звали? – Спарк погладил Кристу по щеке. – Не помнишь?

– Помню.

– Ну, ответь Элизабет, она же спрашивает...

– Его звали Спарк, малыш, – вздохнул Роумэн и обнял обеих женщин за плечи. – Его звали Грегори Спенсер Спарк. Или я ничего не понимаю в кинодраматургии...

– Я пойду к мальчишкам, – сказала Криста, – они скучают, я же обещала с ними поиграть после обеда. Ладно? – Она снова ищуще посмотрела на Роумэна, и столько в ее взгляде было любви, тоски и тревоги, что у него сердце замолотило заячьей лапкой, перехватило дыхание, глаза защипало: «Вот ведь какое дело, черт возьми, ну и жизнь, ну и время, ну и зверье – люди...»

...Именно маленький Пол, убегая прятаться в дом, зацепил ногой шнур телефона, стоявшего неподалеку от бара на низком столике возле перехода из гостиной в кухню. Дзенькнув, аппарат рассыпался. Роумэн засмеялся:

– Пусть это будет нашим самым большим горем, люди...

Он оглянулся, ища глазами Кристу, заметил осколки аппарата, диск, колокольчики, а рядом маленький черный квадратик, величиной в ноготь большого пальца. Ему достаточно было доли секунды, чтобы понять – это микрофон подслушивания: недавно партии таких новинок ему передали в Мадриде, выпускает ИТТ, работа безотказна, берет разговор с десяти метров, даже шепот...

Роумэн приложил палец к губам, потому что Грегори заметил его взгляд и поднялся, направляясь к осколкам.

– Не склеишь, – ровным голосом заметил Роумэн, – пусть Спарк купит тебе красивый новый аппарат, сестричка... Крис, выброси осколки в мусорный ящик, чтобы малыши не шлепнулись, а то исцарапаются.

– Вот так, – сказал Роумэн, когда они вышли со Спарком на веранду. – Ясно? Ты на подслухе. Но случилось это дня два назад – из-за моего приезда. Поскольку они могли всадить тебе не только

эту штуку, поспрашивай Элизабет и старшего, когда к вам приходил телефонист, электрик или мастер по холодильному оборудованию.

Приходил вчера: профилактика электросети; никто его не вызывал, обычная забота штатных властей о безотказной и безопасной работе электросистемы Голливуда.

...Через пять дней на адрес Спарка пришло письмо, запечатанное в конверт «Иберии»; корреспондент сообщал, что его маршрут несколько изменился по не зависящим от него обстоятельствам. «Один из моих прежних знакомых, оказавшийся со мной в самолете – подсел в Лиссабоне – был некий господин из ИТТ. Видимо, он решил надо мной подшутить – опоил чем-то и забрал все мои бумаги. Он же и предложил лететь в Асунсьон. Поскольку у меня там есть два адреса: редакция журнала «Оккультизм», доктор Артахов, и сеньор Пьетрофф, руководитель «Ассоциации культурных отношений с Востоком», прошу поискать меня по этим адресам, – вдруг мне удастся туда добраться».

Роумэн предупредил Спарка о возможности получения письма или даже о звонке заранее, в первый же день, когда они вышли на веранду; попросил письмо не вскрывать: «Сначала я хочу посмотреть, нет ли там чужих пальцев». Их было три; явно прошло перлюстрацию.

Роумэн отправился со Спарком на берег океана, там они выстроили план действий. Вернувшись к обеду, Роумэн позвонил в Вашингтон Макайру:

– Послушайте, Роберт, я думаю, мы с вами имеем возможность получить всю их сеть. У меня появилась реальная зацепка. Я принимаю ваше предложение, благодарю за него еще раз, но прошу иметь в виду: мое условие остается в силе.

– О'кей, Пол, я рад вашему звонку, все, как договорились. Привет вашей жене.

– Спасибо. А вам привет от Грегори Спарка, я остановился у него дома, – Роумэн подмигнул Грегори, кивнув на телефонный аппарат («Будто он этого не знал, подслушивал же с первой минуты»). – Если что – звоните, мы пока живем у них, телефон семьсот сорок два, восемьдесят четыре, шестьдесят один...

Положив трубку на рычаг (Спарки купили новый аппарат из искусственного малахита, сделанный под старину; устанавливал сосед, так что подслушки не было, хотя могла быть в любом другом месте дома), Роумэн покачал головой, усмехнулся чему-то и спросил:

– Ответь-ка мне, брат: сколько было войн на земле?

– В тебе просыпается садист? Задавать вопрос, на который невозможно ответить, – первое проявление садизма.

– Ответить может только умный человек, Грегори, ты умный человек, следовательно, ты можешь ответить. Поднапряги память, подвигай извилинами...

– Не знаю, брат, не казни...

– А как думаешь?

– Совершенно не представляю...

– Хм... Я делю людей на тех, кто раскованно фантазирует, не страшась ошибиться, и на тех, кто торгуется, словно боится продешевить, продавая старьевщику старую мебель. Ты стареешь, Грегори, стыдно, человек не имеет права стареть, мы должны умирать молодыми, здоровыми...

– Ну, хорошо, хочешь порадоваться моей ошибке – изволь: люди воевали тысячу тридцать два раза.

– Так. Допустим. А сколько погибло в войнах?

– Сейчас, дай пофантазирую... Пятьдесят два миллиона человек?

– Даю научный ответ: человечество – за последние пять с половиной тысяч лет – воевало четырнадцать с половиной тысяч раз. Это не бунты, распри, стычки, это – зафиксированные войны. А погибло в них более трех с половиной миллиардов человек. Ясно?

Назавтра, оставив Кристу у Спарков, Роумэн вылетел в Вашингтон.

Следующим утром, когда Грегори уехал на киностудию, а Элизабет возилась в саду, в холле рядом с диваном, на котором устроилась Криста, записывая в тетради длиннющие уравнения, – работа шла как никогда, она не могла оторваться, испытывая давно забытое звенящее ощущение покоя и расслабленного счастья, – раздался телефонный звонок (дом Спарков хорошо просматривался с улицы даже без бинокля) и мучительно знакомый голос произнес всего несколько фраз:

– Как бы нам повидаться, а? Это Пепе. Помните?

ШТИРЛИЦ (Аргентина, ноябрь сорок шестого)

– Значит так, мистер! – рассердился Шиббл. – Либо вы хотите попасть в курандейро[1], либо мы будем охотиться! Но имейте в виду, что визит к курандейро стоит двадцать долларов.

– Вы меня разденете, – усмехнулся Штирлиц. Он сидел в седле чуть откинувшись, чтобы не болела поясница, ощущая блаженную усталость в теле и налитость в ногах; последний раз был в конюшнях у князя фон дер Пролле, под Бранденбургом, в сорок третьем; вечность прошла с тех пор, Гитлер еще был в Смоленске, Орле и под Ленинградом, Кэт была рядом и Эрвин тоже; господи, как же быстротечно время, не успеешь оглянуться – святки, там, глядишь, – и Новый год...

– Наоборот, я вас одел. Вы были в потрепанном, старом костюме, а в моем тропикано вы вполне импозантны, настоящий антрополог из Глазго.

– Почему антрополог? Да еще из Глазго?

– Ну, не знаю... Из Лондона... Но совершеннейший англосакс.

[1] Курандейро *(исп.)* – колдун-врачеватель.

Нет, про дополнительный гонорар в сумме двадцати долларов я говорю с полной мерой серьезности. Чтобы попасть к хорошему курандейро, нам надо спуститься в район Гуарани, пройти через Форресталь Мисионера, в районе Бара Пепири есть хорошие курандейро из Бразилии; там нет границы, люди ходят друг к другу так, как из Аргентины в Парагвай в нашей богом покинутой Игуасу или через Пуэнтэ Пирай возле немецкого Монте-Карло...

– Почему немецкого?

– Потому что в поселках Монте-Карло и Эльдорадо живут одни немцы, они там спрятались от нас, победителей... Хорошо живут, черти, умеют работать...

– Год назад этого самого Монте-Карло не было?

– Нет, почему же... была маленькая деревушка, правда с прекрасным летным полем, немцы здесь всегда имели самолеты; шпионы – чего ж тут не понять... очень состоятельные люди; если говорят «да», то это «да», вполне надежны... Как десять немцев поселились здесь – до войны еще, в тридцатых, так сразу же поставили радиоклуб, передатчик, ох-хо-хо, Луну можно слышать, не то что Берлин, ну и, конечно, аэродром с самолетами, хайль Гитлер, и все тут!

– Я не очень-то ориентируюсь на местности... Покажите по карте маршрут, который вы наметили, во-первых, и как нам придется его скорректировать, если пойдем к курандейро, во-вторых.

– Значит, привал?

– Мы же еще только три часа в пути, а вы сулили шесть...

– Да? – Рыжеволосый, кряжистый Шиббл почесал переносье расплющенным в ногте указательным пальцем. – Странно. Впрочем, у меня дырявая память. Если не хотите со мной ссориться, не уличайте меня во лжи, – это получается чисто случайно, в принципе я не лжец. Как все люди с плохой памятью, я несколько неуемно фантазирую.

Он остановил коня, бросив поводья, достал из подсумка карту и начал выкладывать ее по квадратам. «Сразу видно военного человека, – подумал Штирлиц. – Но почему меня потянуло к курандейро? Прихоть? Вспомнил книги, которые читал в юности? Или ту папку, что удалось посмотреть краешком глаза, когда заинтересовался высшей тайной рейха – «оккультной тематикой рейхсфюрера СС Гиммлера»? Нет, – понял он, – я не поэтому спросил Шиббла о курандейро; видимо, в самолете, когда Ригельт забрал паспорт, документ свободы, последнюю мою надежду, и я мечтал только о том, чтобы воткнуть ему вилку в шею, именно вилку, ненависть – слепое чувство, что ни говори, я понял, что он легко выбьет вилку из моей руки, здоровый бугай, а я еле стою на ногах из-за постоянных приступов боли в пояснице, вот я и решил, что сначала надо по-настоящему встать на ноги, а потом сводить счеты со всеми эти ригельтами. Пока я не готов к тому, чтобы ударить так, как я ударил у себя в Бабельсберге Холтоффа, когда он начал меня провоцировать... Всего полтора года назад это было, а кажется, прошла вечность... Да, именно желание по-настоящему встать на ноги тянет меня к курандейро; в Асунсьоне, а особенно в Буэнос-Айресе мне надо прочно стоять на ногах и ощущать силу рук... Неужели ты по-настоящему веришь в этих курандей-

ро? – спросил он себя. – Это же побасенки. Но ведь человек жив надеждой, – возразил он себе, – когда кончается надежда, – а это качество сохраняется в нас с детства, чем больше в нас надежды, тем мы моложе, – становится меньше шансов на успех. Если больной надеется – доктору легче его врачевать. Если больной пребывает в апатии – все усилия лекаря обречены на неудачу; во всем и везде сокрыты две стороны одной и той же медали, никуда от этого не денешься...»

– Вот, смотрите, – Шиббл, наконец, управился с картой. – Так бы мы с вами завтра днем были на месте охоты, в районе Сан Педро. Около городишка Пуэнто Альто мы ушли бы в дельту реки Алегриа, там великолепная охота на ягуаров, встречаются и муравьеды, очень славные мишки с целебным мясом, да и проводники надежны... Оттуда, отохотившись, мы бы через Гамадо и районный центр Сан Педро – чертовски интересен, живут украинские эмигранты, собирают лекарственный чай матэ – двинулись бы на Монте-Карло, семьдесят миль, два дня хода... А там – на ваше усмотрение: или обратно, или вдоль по Паране к Асунсьону...

– Сколько туда миль?

– Около двухсот, я думаю... Но там охота – так себе... Рыбалка, правда, хорошая, какие-то особые рыбины, их тут называют «дора»... А еще есть «субуби», тоже, скажу я вам, объедение...

– А вдоль по Паране нет курандейро?

– Есть, но не те... Настоящие, которые говорят на своем языке или лопочут по-португальски, живут только на границе с Бразилией. Наши, здешние индейцы здорово окатоличились... Кроме, понятно, диких аче... Не до колдунов им, я же говорю, их отстреливают на кожаные сумочки, очень элегантно: «У меня сумочка из молодой индианочки».

– Бросьте вы к черту, Шиббл, не надо так шутить...

– Да я не шучу... Увижу в чащобе сельвы аче – грохну, освежусь, продам вам свежую индейскую кожу, возьму недорого, полста всего лишь...

– Шиббл, зачем вы хотите казаться хуже, чем есть?

– Откуда вы знаете, какой я есть? – тот пожал плечами и полез в подсумок за бутылкой; пил он из горлышка, помногу, отвратительно рыгал, каждый раз произнося при этом невнятное «пардон». – Если б вы знали, каков я на самом деле, вы бы вряд ли пошли со мной в сельву, мистер.

Штирлиц улыбнулся:

– Ну, в таком случае, если бы вы все знали про меня, тоже бы не порадовались.

– А может, я знаю?

– Хм, такого ответа я, честно говоря, не ждал.

– Так что, действительно хотите к курандейро?

– Да.

– Погадать?

– Нет, я в это не очень-то верю.

– Зря. Но про двадцать баков я вполне серьезно.

– А что вы так торгуетесь? Вы же знаете, что деньги у меня есть, здесь сельва, никто следов не найдет, шлепнете – и дело с концом.

– Вы мне сразу показались симпатичным, – заметил Шиббл. – Хорошо думаете, с перспективой.

«Сейчас самое время спрашивать, – подумал Штирлиц. – Его можно оттолкнуть вопросами к той стене, опершись о которую придется отвечать правду. Меру приближения к ней я почувствую, при известных коррективах даже версия правды оказывается настоящей правдой; во всяком случае, мне надо понять, как себя вести, парень далеко не простой; когда идешь по нехоженой тропе в сельве, необходимо знать о проводнике чуть больше того, что знаю я, а я знаю лишь то, что его зовут Шибблом».

– Откуда вы родом? – спросил Штирлиц атакующе, таким тоном, который предполагал однозначный ответ.

– А какое ваше дело? – Шиббл снова достал бутылку из подсумка. – Ваше-то дело какое?

«Он англичанин, – подумал Штирлиц. – Слава богу, хоть в этом я убедился. Немец поддался бы моему тону, назвал свой родной город или деревню; хотя – зависит от интеллекта. Бедный шофер Ганс, которого так любил Мюллер и так щедро отдал мне, чтобы парень следил за мной, и так спокойно приказал выпустить в него обойму из «парабеллума», на вопрос о том, где живет, начал описывать мельницу своего отца на развилке дорог возле Бранденбурга. Очень, кстати, поэтично описывал: и белые балки каркаса, на которых держался дом, и герань на подоконниках, помнил даже, на каком окне какого цвета, – ни в ком нет такой доверчивой поэтики, как в крестьянах, оторванных от земли. Парадоксально, но именно они хранят исступленную верность человеку, который оторвал их от деревенского дома и привел в каменный порядок города; действительно, этот Ганс был предан Мюллеру всецело, без какого-то внутреннего резерва, присущего осторожному – в привязанностях – горожанину».

– Вы женаты?

– Опять-таки не ваше дело.

«Вот что значит островное воспитание, – подумал Штирлиц. – Он отвечает только на такие вопросы, которые ему интересны или в чем-то выгодны; все остальное – его собственность, табу для посторонних».

– Разговорчивый вы парень, – заметил Штирлиц.

– А чего болтать-то? Каждый ответ – оружие, которое можно обратить против ответившего. Вы-то сами женаты?

– Гражданским браком.

– А где родились?

– В Берне.

– В Германии, значит?

– Да разве Берн в Германии? Всегда был в Бельгии, – усмехнулся Штирлиц.

– Нет, и не в Бельгии, я знаю французский, у вас нет акцента, французы поют, когда говорят по-английски. Кто вы по профессии?

– Филолог.

– Значит, преподаватель?

– Филолог может быть и писателем, и журналистом, и переводчиком...

– Ну, а вы кто?

– Я же сказал – филолог. Вас интересует не образование, а профессия? Извольте – занимаюсь бизнесом, телефон, телеграф, средства связи.

– ИТТ? – неожиданно для Штирлица спросил Шиббл.

Подумав мгновение, Штирлиц, тем не менее, ответил:

– Именно.

– Ваши ребята здесь лихо работают. Их должны вот-вот национализировать. Перон – крутой парень, а все равно роют землю копытами... Даже Игуасу связали с Европой, я раз в два месяца звоню домой, в Лондон... Я родился в Лондоне, там у меня мама...

– Я ценю ваше доверие, – сказал Штирлиц. – И обещаю никогда не оборачивать этот ответ против вас, как вы того боялись.

– Я боялся? – Шиббл обернулся, и по его скуластому, небритому лицу пробежала какая-то странная улыбка. – Я боялся только одного человека в жизни – отца. С тех пор, как он умер, я никого не боюсь. К сожалению.

– Почему «к сожалению»?

– Потому что человек не вправе жить без страха, мистер. Страх – это путь к дисциплине, а она, в свою очередь, гарантирует людей от всемирного хаоса. Я поддерживал сэра Освальда Мосли, к вашему сведению. Надеялся, что он наведет порядок на острове. Очень надеялся. Но или англичане его не приняли, или, может, он не смог донести до них свою идею вразумительно. Вот я и уехал сюда из нашего бардака и рад этому безмерно. Людьми я брезгую, а сельвы побаиваюсь, поэтому, наверное, и не спился: пьяные здесь погибают, тут можно жить только трезвому; смерть в сельве – очень страшная штука, мистер, воочию понимаешь, что такое безысходность... Знаете, что это такое?

– Догадываюсь, – ответил Штирлиц; тропа шла сквозь бескрайнюю, влажно-знойную, затаенную сельву; тишина подчеркивалась истошными криками попугаев в чащобе и смешливым пением кенарей.

– Нет, догадываться об этом нельзя. Вы же не Мэй, который фантазировал про индейцев, вы нормальный... Я чуть было не погиб здесь, заблудился, семь дней шел по реке, а уперся в пересохший ключ... Вот тогда я понял, что это такое – безнадежность. Я кричал все время, плакал и кричал... Унизительно это, да еще с моей-то мордой...

– А как выбрались?

– Индейца встретил... Он вывел меня... Вы думаете, я сейчас пью виски? Это чай, мистер, можете попробовать, если не верите...

– Я верю.

– Мы сегодня заночуем у этого индейца, его зовут Джонни... Это я дал ему такое имя, оно ему нравится, вообще-то он... Квыбырахи. Это значит «человек, в котором есть нечто от птицы». Красивое имя, да?

– Очень.

– Его жену зовут Канксерихи... Красивая... Вообще-то она своих хорошо врачует и предсказывает хорошо, про дождь или там грозу за два дня предупреждает... Это уникальные индейцы... Они по-

месь гуарани с аче-гуаяки, которых отстреливают... Они перебрались сюда из Парагвая, там их отлавливают сетями и продают в дома белых, здесь этого нет, поспокойнее... Может, ее попросить заняться вами? Тридцать баков на стол – уговорю...

– Ей-то хоть десять дадите?

– С ума сошли. Они не знают, что делать с этими бумажками... Подарю пару пуговиц, очень ценят пуговицы с униформы, гильзу дам. С каждым человеком надо жить по его закону, а не по твоему.

– За что вас судили, Шиббл?

Тот резко обернулся:

– А вам какое дело?

«Оп, птичка, – подумал Штирлиц, – вот я тебя и прихлопнул; когда слышишь, что "с человеком надо жить по его закону", считай, что тебе открылась правда; воистину, не поступок нас выдает и не взгляд, а слово...»

– Ровным счетом никакого, – усмехнулся Штирлиц. – Просто интересуюсь.

– Почему вы решили, что я был под судом?

– Я знаю об этом.

Шиббл остановил коня, медленно оглянулся, ловко бросил в рот маленькую трубку-носогрейку:

– Шпик?

– Вы меня не интересуете как личность, Шиббл. Меня волнуют ваши деловые качества. Мне очень не хочется повторять ваш эксперимент с безнадежным плутанием в сельве – всего лишь... Далеко еще до «человека, в котором есть нечто от духа птицы»? Я был бы чрезвычайно признателен вам, уговори вы его подругу... Вы сказали, ее зовут Канксерихи?

– Шпик, – убежденно повторил Шиббл. – Такое имя может запомнить только шпик.

Штирлиц показал глазами на тоненькую струйку дыма, поднимавшуюся из чащи:

– Пожар?

– Здесь влажно, пожары редки... Это поселок, – Шиббл повернул коня, резко отодвинув рукой листву пальмы; звук получился такой, словно перетаскивали тонкое кровельное железо. За этой кряжистой пальмой, невидная с тропы, шла едва приметная дорожка, прорубленная между кустарниками; по ней они вскоре добрались до индейского становища – десяти хижин под конусообразными соломенными крышами на берегу ручья; на вытоптанной площадке, вокруг которой стояли хижины, горел костер, пахло жареным мясом и паленой шерстью.

...Вождь Квыбырахи, названный Шиббломпривычным «Джонни», оказался высоким, очень сильным мужчиной в широкой набедренной повязке и в некоем подобии шапки из птичьих перьев; на щеках были вытатуированы продольные стрелы, а на лбу – таинственный символ разума: голова индейца с зажмуренными глазами на фоне восходящего солнца.

Он поздоровался с Шибблом достойно, неторопливо, оценивающе, потом кивнул, и крепкие юноши племени бросились к коням путников, чтобы распрячь их, сразу же угадав еле приметный жест вождя.

– Это мой друг, – Шиббл кивнул на Штирлица. – Богатый охотник.

Квыбырахи ограничился сдержанным полупоклоном, руки Штирлицу не протянул, повернулся и неторопливо, ощущая свое величие, направился в хижину из пожелтевших листьев лиан.

Шиббл подтолкнул Штирлица вперед, усмехнулся:

– Только говорите медленно, он слаб в испанском... Подбирайте слова попроще. И сразу же объясните, что вам не нужен его проводник, ищете целителя, прокомплиментируйте его жене, скажите, что все белые знают ее имя и восторгаются ее волшебством.

Выслушав Штирлица, Квыбырахи поинтересовался:

– Вы верите в то, что говорят о ней белые люди?

– Верю.

– Но ведь то, что умеют делать белые врачи, Канксерихи не практикует... Она лечит по-своему... Каждая медицина хороша для своего народа...

– Я верю Канксерихи...

– Хорошо, она займется вами.

Женщина, видимо, была рядом с хижиной, потому что появилась сразу же, без тени смущения или испуга улыбнулась гостям, заметила некоторое удивление в глазах Штирлица и сказала что-то на своем языке.

– Она не умеет объясняться так, как белые, – пояснил вождь. – Я стану переводить ее слова на ваш язык. Она говорит, что вы, – он посмотрел на Штирлица, – никогда еще не видели такой большой и сильной женщины. Это правда?

Действительно, Канксерихи была очень толстой, живот был прямо-таки громадным, и поэтому обнаженная грудь казалась детской, недоразвитой.

– Я редко встречал таких красивых женщин, – ответил Штирлиц.

Лицо Канксерихи было и впрямь красивым, нежно-шоколадного тона; красота ее при этом таила в себе не вызов (Штирлиц отчего-то вспомнил подругу Роумэна: воистину, вызывающе красива), а, наоборот, умиротворяющее спокойствие.

Вождь снова кивнул, перевел слова Штирлица женщине, та чуть улыбнулась и произнесла несколько фраз; говорила она нараспев, словно бы растягивая удовольствие.

– Канксерихи говорит, что вы правы. Она действительно очень красива. Что вы от нее хотите? Предсказания по поводу вашего здоровья? Или врачевания?

– И того, и другого.

– Что? – не понял Квыбырахи. – Какого «другого»?

– Он хочет и предсказания, и лечения, – помог Шиббл, повторив Штирлицу: – Говорите ясными фразами, я же предупреждал.

Женщина пошла в угол дома, вернулась оттуда с большим меш-

ком, развернула его посреди комнаты и начала раскладывать содержимое вокруг себя, словно девочка, готовящаяся к игре «во взрослых»: веера, высокую шапку из перьев, амулеты, острые деревянные палочки, кости, ракушки, опахала разной величины и цвета, баночки с сушеными травами и длинные, причудливой формы коренья; присмотревшись, Штирлиц заметил, что все коренья напоминают людей, замерших в той или иной позе.

Женщина надела на себя высокую шапку из перьев, взяла большое опахало и вышла на улицу. Штирлиц слышал, как она приказала что-то своим низким поющим голосом, – сразу же раздался топот босых ног, – потом произнесла несколько одинаковых, словно заклинание, фраз, и настала тишина.

– Сейчас ей принесут снадобье, – пояснил вождь. – Это сделает ребенок, потому что он чист. Без снадобья она не может делать свое дело, а вы – излечиться... Чем вы отблагодарите ее? Она после своего дела два дня лежит без движения, очень устает...

– Вот, пожалуйста, – сказал Шиббл, достав из кармана огрызок карандаша, три пуговицы, гильзу и красивую пудреницу.

– О, как красиво, – заметил Квыбырахи, взяв пудреницу. – Что это?

– Магический сосуд для окрашивания лица, – ответил Шиббл.

– А зачем окрашивать лицо? – поинтересовался Квыбырахи. – Перед церемонией обращения к душам отцов с просьбой о ниспослании хорошей охоты?

– Можно, – легко согласился Шиббл. – Но лучше, когда эту мазь используют перед днем любви.

– Ага, – кивнул вождь, – я понял, – и он положил пудреницу рядом с собой. – Я недавно взял двух молоденьких жен, попробую окрасить их лица из вашего магического подарка. Благодарю... Теперь скажите-ка мне, – он посмотрел на Штирлица, – вы понимаете смысл наших слов, которые необходимо знать перед тем, как женщина займется вами? Например, смысл слова «пейотль»?

– Нет, не знаю.

– Он, – вождь кивнул на Шиббла, – знает, пусть объяснит, ему проще.

– На языке науталь, – сказал англичанин, – так обозначают кактус... Самый маленький, паршивый, а не такой, что растет здесь, в сельве... Вообще-то странно, – Шиббл усмехнулся, – я расспрашивал наших дурачков с сачками, которые бабочек ловят, так они говорят, что словечко нездешнее, пришло из Мексики... Из пейотля варят зелье... Они его пьют, когда начинают танцевать – по-своему, с криками, плачем, угрозами, мольбой, копьями машут... Очень впечатляет. От него дуреешь, в нем сила какая-то, правда... Выпьешь полстакана и чувствуешь, будто вот-вот взлетишь. Говорят, что в этом самом... как его...

– Пейотль...

– Память у вас ничего себе... Точно – шпик... Да, так вот, в этом самом пейотле есть какие-то особые наркотики и витамины, нам, белым, толком неизвестные, вот и хочется вознестись к дедушке...

– Это вы о боге?

– О ком же еще? В Мексике, говорят, даже религия родилась из-за этого самого...

– Пейотля.

– Ну, да, верно... Называется «чост данс релиджен», ничего, а?

– Часто пробовали пейотль?

– Один раз. Больше не буду.

– Почему?

– А после него мир маленьким кажется, жить скучно...

Квыбырахи едва заметно улыбнулся и продолжил:

– Вы знаете, что такое манито?

– Нет.

– Это нужно знать. Он, – Квыбырахи кивнул на Шиббла, – так и не понял, что это означает... Наверное, он думал о другом и не слушал, что я ему рассказал... Не поняв манито, нельзя надеяться на исцеление. Это незримая сила, которой подчинена жизнь каждого человека. У тебя свой манито, у него – другой, а у меня – третий. Сколько на свете людей, столько и манито...

– А – бог? – спросил Шиббл. – Бог один. И для всех.

– Так говорят отцы-иезуиты. Поэтому мы и прячемся от них в сельве, – ответил вождь. – Один не может принадлежать всем. Он не может иметь столько глаз, чтобы увидеть каждого на земле, как же он может помочь им? Манито может, потому что опекает каждого, у тебя – твой, у него – свой, а у меня – мой... ну, а про скальп вы, белые, знаете, – улыбка его на этот раз была жесткой. – Вам кажется, что это срезанная кожа с черепа врага... Когда вы заставляли нас воевать, мы это делали. Но вы не знаете, отчего мы срезáли скальп: ведь значительно легче отрезать голову и принести мне, вождю, чтобы доказать свою верность делу нашей свободы... Волосы человека хранят его высшую силу, вот почему нужен скальп. По волосам человека можно понять его судьбу, Канксерихи умеет это... Если она получит прядь ваших волос, особенно с макушки, она может помогать вам, даже когда вы вернетесь в царство вечно спешащих белых.

«Уж не сон ли все это? – подумал Штирлиц. – Середина века, атом, полеты через океан, а здесь, рядом с аэродромом, тридцать всего миль, живет индеец, настоящий, не опереточный, а тишина окрест, спокойствие и надежность, и неторопливый разговор, таинство бытия, открытое в волосах...»

Канксерихи вошла с двумя плошками, наполненными серо-зеленоватой жидкостью, вытянула руки и, глядя на Штирлица, что-то негромко пропела.

– Она предлагает вам выбрать напиток, – пояснил вождь. – Чтобы вы не боялись, белые очень недоверчивы... один выпьет она, другой – вы, на ваше усмотрение...

Штирлиц взял с левой ладони женщины чалныгарбен[1] и медленно осушил плошку.

Женщина сразу же выпила содержимое своей чаши и опустилась на колени, не сводя круглых, пронзительно-черных глаз с лица

[1] Чалныгарбен *(индейск.)* – ритуальный напиток из трав.

Штирлица. Взяв большой веер, она обмахнула им несколько раз пол вокруг себя, потом положила в кожаный стаканчик несколько маленьких диковинного цвета и формы ракушек, две косточки неведомого животного (кости были очень старые, желтоватые, от частого употребления отполированные), гортанно – совсем другим, резким, очень высоким голосом – воскликнула что-то и бросила кости и ракушки прямо перед собой.

Начав раскачиваться над ними, – тело ее сделалось гибким, живот не мешал плавным, но при этом стремительным движениям – она быстро шептала что-то, одно ей понятное, Штирлиц заметил, как на лбу у нее начали выступать крупные капли пота; он даже чувствовал, как они солоны и невесомы, удивлялся тому, что никогда раньше не замечал, как много перламутрового, какого-то таинственного, глубинного высверка сокрыто в них, и вдруг ощутил, что тело его сделалось очень легким: толкнись кончиками пальцев в земляной, влажно-теплый пол хижины – и сразу же поднимешься над землей.

Женщина отбросила свое тело назад, чуть не коснувшись затылком пяток, взяла другое опахало, поменьше, легко, по-девичьи вскочила, обмела пол вокруг Штирлица, вернулась на свое место и снова начала раскачиваться, словно набирая силы для того, чтобы откинуться, а потом так же резко переломиться в стремительном поклоне, и начала выкрикивать визгливым голосом короткие, словно приказы, гортанные слова.

Внезапно замерла; пот теперь катился по ее лицу, словно капли дождя; потом прокричала несколько фраз, которые показались Штирлицу бранными, и снова начала раскачиваться из стороны в сторону.

– Она сказала, – перевел вождь, – что в белом нет злого духа. По счастью, дурные силы не смогли войти в него. Поэтому его можно вылечить, хотя он болен после того, как в него попало семь стрел врагов...

«Из меня вытащили семь пуль», – как-то отстраненно подумал Штирлиц; мысли тоже сделались л е г к и м и, существуя как бы отдельно от тела.

Женщина выбросила кости и ракушки еще раз, поклонилась им – очень быстро, рьяно даже – раз пятнадцать; пот капал на ракушки, разбиваясь на крошечные капельки, Штирлиц видел это отчетливо, несколько даже замедленно, в очень яркой, совершенно четкой цветовой гамме.

Она снова быстро заговорила, продолжая кланяться ракушкам:

– У белого человека болит нога, потому что одна из стрел его врагов задела главный ствол тела, но это сейчас пройдет, пусть только белый ляжет на живот, а руки забросит за голову.

Штирлиц быстро лег, удивившись тому, что обычной боли при резком движении не было сейчас. «Это из-за зелья», – решил он, словно бы думая о другом человеке, лежавшем на земляном полу, влажном, таившем в себе такие же влажные пряные запахи, особенно ощутимы были мята и шалфей.

Он почувствовал, как женщина задрала его легкий френч из тро-

пикаля, прижалась к его спине – именно к тому месту, где пронзало болью, – своим мокрым от пота лицом, и вдруг он ощутил рвущий, быстрый и глубокий укол; в голове зазвенело, казалось, что череп медленно раскалывается, разлетаясь по хижине желто-красными осклизлыми кусками.

На какое-то мгновение он, видимо, потерял сознание, потому что, когда снова открыл глаза, женщина уже стояла на коленях рядом с ним; в зубах у нее была зажата острая деревянная палочка, такая же, но еще короче, валялась рядом – со следами крови. «Она меня ею колола», – сонно подумал Штирлиц. Ему мучительно хотелось спать, потому что той постоянной боли, которая мучила его последние полтора года, не было более в спине. «А вдруг у меня отнялись ноги? – подумал он. – Она же говорила про главный ствол тела, а это позвоночник; она колола меня этой деревянной иглой в позвоночник. Зачем я придумал поход к курандейро? С болью можно жить, все люди несут в себе боль, одни меньше, другие больше, а вот если я не смогу ходить, тогда надо пускать пулю в лоб». Он испуганно пошевелил пальцами ног – слушались. Тогда он, замерев от страха, приказал себе поднять ноги – поднялись.

Канксерихи приблизила к его голове свое мокрое лицо. «Какие у нее громадные глаза, и совсем нет зрачков, она же ничего не видит: словно сомнамбула». Женщина нащупала его левое ухо, потянула к себе голову, и снова острая боль в мочке пронзила голову, но так было одно лишь мгновение, потом он ощутил, как от головы – вниз, по позвоночнику – стало растекаться волнообразное тепло.

Видимо, иголка осталась в мочке, потому что женщина стала кричать что-то требовательное, не отрывая взгляда от лица Штирлица.

– Она говорит, – услышал он далекий голос вождя, – что сейчас то зло, которое принесли в его тело стрелы врагов, будет выходить и он начнет ощущать в себе силу, которая из него ушла с кровью... Силы вернутся в его тело, потому что она открыла им путь через мочку уха, ту самую точку, которая управляет его мужской силой охотника. Только не засыпай, не закрывай глаза, ты должен чувствовать тепло! Скажи ей, ты чувствуешь тепло? Ты чувствуешь?! Тогда повтори – «ва-азза-йыр»!

– Вазаыр, – повторил Штирлиц машинально, – чувствую.

– Ты плохо сказал. Повтори: «ва-азза-йыр»!

– Ва-аза-йыр!

– Громче! Говори громче!

– Ва-азза-йыр!

– Вот теперь хорошо... Она спрашивает, ты ощущаешь тепло? Или тебе только кажется?

– Нет... Я чувствую тепло... Только оно идет по левой части тела, а у меня ведь болит и справа...

Вождь перевел, Канксерихи что-то грубо закричала. Штирлицу казалось, что она кричит на него, словно он ее обидел. Потом она прижалась мокрыми губами к шее, где-то около правого уха, ему показалось, что она высасывает из него кровь, испугался. Женщина снова откинулась назад и начала выплевывать на пол кусочки дерева, маленького кузнечика (какие-то странные, перепончатые у него кры-

лья), лапку како́го-то маленького зверька, и последнее, что он увидел, был кусок металла, по форме напоминавший автоматную пулю.

Потом он ничего не видел, потому что тепло пошло в голову и по всей правой половине тела, но он услыхал тихие слова вождя, обращенные к Шиббду:

– Сейчас он начнет говорить...

«Ах, зачем я не написал кому-нибудь заранее, что нельзя верить ничему тому, что я скажу, – подумал Штирлиц. – Все, что я сейчас им скажу, вызвано наркотиком, это неправда, пусть они слушают меня лицом к лицу, наедине, ах, ну почему я не предупредил об этом моих друзей? А где они, – услыхал он в себе какой-то другой голос, – где твои друзья?»

Больше он ничего не видел и не слышал, он только чувствовал тепло во всем теле – забытое ощущение, он не испытывал этого ощущения с того майского дня сорок пятого, ко́гда солдатик по́лоснул по его телу из автомата, вдавив приклад в свой впалый, совсем еще мальчишеский живот. «Ему лет семнадцать», – это было последнее, что успел подумать Штирлиц, прежде чем провалился в пульсирующее забытье...

ДЖЕК ЭР (Германия, Вашингтон, сорок четвертый – сорок шестой)

Он записался добровольцем в декабре сорок второго, хотя ему только-только исполнилось девятнадцать; комиссию прошел достаточно легко – хорошо сложен, спортивно подготовлен, знаком с кино и литературой в пределах колледжа.

В авиацию, однако, не взяли – слишком высок ростом (метр девяносто, в баскетбольной команде «Дайблс», выступавшей за школу, всегда играл в обороне, был очень надежен у кольца), приписали к инфантерии; после высадки в Нормандии перевели в мотобригаду, потому что великолепно водил машину (отец владел бензоколонкой), дали «виллис», набилось семь автоматчиков, ездили, свесив ноги, следом за «джипом» полковника Робинса – вроде бы взвод охраны, как-никак командир бригады.

Вместе с Робинсом (человек неуемной отваги) – с ходу, следом за танками – ворвались в концентрационный лагерь; прорыв был неожиданным и глубоким, охрана СС не успела сжечь трупы; на аппельплаце лежали штабеля скелетов с громадными коленями, – это прежде всего бросилось в глаза и еще непропорционально длинные руки, тонкие, как плети, и несоразмерно туловищам длинные.

Джека Эра стошнило; дали нашатырь – пришел в себя. Несколько дней после этого не мог спать – мучили кошмары, во сне кричал, жалобно плакал; зачастил к капеллану, тот подолгу говорил с парнем, утешал его, как мог, объяснял ужас нацизма.

Поэтому, когда напоролись на немецкий арьергард, Джек Эр вместо того, чтобы бросить «виллис» и свалиться кубарем в кювет (всегда возили с собой рацию, связались бы с летчиками, через полчаса из фашистов было бы месиво, самолеты крепко поддерживали з е м л ю), закричал что-то, бросил ветровое стекло на капот (оно,

дзенькнув, пошло белой метелью, посыпалось) и, достав из-под ноги автомат, схватил его левой рукой, нажал на гашетку, а правой держал руль, выжимая газ до предела: несся прямо на черных, засевших по обеим сторонам шоссе.

Он выжимал из мотора всю его мощь, он хотел давить этих гадов, сбивать их, ощущая тупые удары о человеческие тела, нет, это не человеческие тела, разве люди могут творить такое, что они творили с несчастными в том лагере, это звери, которых надо уничтожать, как чумных крыс...

Он не сразу понял, что ранен, он кричал что-то, оскалившись, и стрелял, пока были патроны в обойме, потом бросил легонькую машину в кювет — проходимость отличная, где угодно пролезет, — и погнался за черным, который поднялся на ноги, потому что «виллис» несся прямо на него; он догнал его, ударил сзади бампером, услышал хруст или ему показалось, что он услышал этот сладостный, ожидаемый им звук; развернул машину и погнался за вторым, но тут его что-то толкнуло в плечо, а потом рвуще укусило в шею, и он, ткнувшись враз закровавившимся лицом в руль мчавшегося по полю «виллиса», перестал что-либо чувствовать и воспринимать.

Пришел в себя он только через неделю, когда черный, похожий на того, за кем он гнался по полю, сбросил его с койки: именно в эти недели начался немецкий прорыв в Арденнах, немцы захватили госпиталь; всех, кто мог ходить, угнали в лагерь: тяжело раненных стащили в одну комнату, оставили врача: «Можете делать с ними, что хотите». Потом пришел черный с серебряными нашивками и сказал, что доктор — «фюрфлюхте юде», его расстреляли в комнате, даже во двор не вывели.

Джек, конечно, умер бы, но англичане отбили их; он тогда снова отключился, много дней был на грани смерти; когда оклемался, получил медаль; отправили в Париж, в большой госпиталь. Там он встретил победу, оттуда вернулся домой и, пожив на ферме у матери (Массачусетс, Грэмингэм, по дороге на Риверс-плэйс), поехал в Вашингтон и обратился в газету «Пэтриот»:

— Я знаю, что такое наци, я хочу бороться против них, иначе я сойду с ума... С ними чикаются в Нюрнберге, разбирают улики, а их надо рвать на части сахарными щипцами.

Разговор получился дружеский, добрый; в комнату, где сидел Джек Эр, набилась вся редакция, слушали его бесхитростный рассказ затаенно; под рубрикой «Наши гости» дали небольшую информацию о посещении газеты «самым молодым ветераном Америки» с хорошей фотографией; предложили написать цикл статей о злодеяниях наци; промучился месяц — ничего не получилось, не мог выразить то, что чувствовал; запил.

Вот тогда-то на ферму матери позвонил человек, отрекомендовавшийся старым приятелем отца: «Я Серж Пераузлл, вы меня должны помнить; я жил рядом с вами в Канзас-сити; Джеком очень заинтересовались в Вашингтоне, пусть позвонит, запишите номер...»

Через семь дней после того, как он позвонил, из Вашингтона прислали письмо — на бланке ФБР — с приглашением приехать для разговора.

...Чиновник, который принял его (отрекомендовался Уильямом Подбельски, лет пятидесяти, очень доброе лицо и огромные, надежные руки), ткнул пальцем в заметку, опубликованную в «Пэтриот»:

– Неужели вы и вправду смогли бы рвать нацистов щипцами?

– Смог бы. С радостью.

– Это вы сейчас говорите. А вот если бы вам дали щипцы, привели человека – такого же, как и вы, во плоти, – и сказали: «Рви», – вы бы не смогли, Джек. Вы американец, христианин, вы бы не смогли.

– Вы воевали? – спросил Джек Эр.

– В Европе – нет. Я воевал против нацизма здесь. А это была тоже довольно трудная война.

– Но вы не воевали в Европе?

– В Европе я не воевал, что правда, то правда.

– Тогда не говорите мне, что я мог бы, а что нет. Словом, у вас есть для меня такая работа?

– Такой – нет и не будет, Джек. Мы – конституционная страна, нравится вам это или нет. А вот посмотреть ваши документы, если вы их оставите, мы с радостью посмотрим. И заполните анкету, проверка у нас довольно серьезная.

Эр заполнил анкету, оставил документы и поднялся.

– Погодите, Джек, – остановил его Подбельски. – Я бы хотел еще чуток поговорить с вами...

– О чем?

– О жизни. О вас. О том, что вы любите, а что ненавидите... Есть время?

Джек опустился на стул и ответил:

– Сколько угодно...

– Вам нравятся фильмы про борьбу наших сыщиков против чикагской мафии?

– Смотреть можно... Вообще-то довольно толково, ничего...

– Если в кармане «ничего» – тогда совсем плохо, – усмехнулся Подбельски. – Про кино – а это вид искусства – такого рода ответ меня не удовлетворяет. Нравится или нет?

– Кое-что нравится.

– Что значит «кое-что»? Объясните.

– Съемки хорошие, погони... Музыка бывает неплохая.

– А люди? Работники ФБР?

– Они же картонные.

– Это как понять?

– Вырезаны из картона. Заранее известно, что самого доброго убьют, а плохой исправится.

– Но что-то вам в них все-таки нравилось? Что именно?

– Не знаю... Крепкие они... Но так с самого начала задано. Неинтересно, потому что знаешь, как дальше будет. На бейсболе никогда не известно, кто выиграет, поэтому людей и полно на стадионах... Всегда интересно, когда не знаешь, кто победит, а в фильмах сразу ясно, что вы победите, только обязательно одного из ваших ранят или убьют. Но меня бандиты не интересуют... Среди них есть хорошие люди, я в Бронксе встречал симпатичных бандитов...

– Они казались вам симпатичными, потому что не нападали на вас или на вашу девушку... У вас есть девушка?

– Есть, как же без нее можно...

– Намерены жениться? Или простое увлечение?

– Не знаю... Только я хочу, чтобы вы поняли: я пришел к вам потому, что в газетах читаю – наци затаились, не всех выловили... В армию меня не берут, я уж подавался в Джи Ай, но из-за ранения не прохожу... Если вам нужен человек, который ненавидит наци и готов на все, – я готов работать... Если это не ваша епархия, так мне здесь делать нечего.

– Во время войны именно мы занимались нацистами, которых к нам засылал Гитлер... Я не стану вас обманывать, мы работаем внутри страны, а здесь, как вы знаете, нацистов нет... Но какие-то связи вполне могли остаться... В основном мы работаем против гангстеров и левых заговорщиков, с гитлеровцами мы покончили...

– Да? Что-то в газетах другое пишут... В общем, если вам нужен человек, который хочет довести до конца свои счеты с наци, я – гожусь. Бандитов ловить не стану.

– Ну, а если надо будет работать против шпиона другой страны? Против русского? Или болгарского? Пойдете?

– Русские воевали вместе с нами. Они честно воевали. Это мне не подходит, это политика, а я в ней ничего не понимаю...

– Хм... Только наци, говорите... Хорошо, а кого из американских писателей вы знаете?

– Ну, этот... Как его... Лондон. У него про Север очень достоверно описано...

– Бывали на Севере?

– Нет.

– А почему же говорите, что описано достоверно? Может быть, он все выдумал?

– Если я поверил – значит, правда. Пусть себе хоть сто раз выдумывает... Правды для всех не бывает, есть правда для каждого, кто во что верит.

– В общем-то верно... По отношению к литературе и кино... Но ведь все люди верят в бога... Все честные люди, я бы даже сказал, цивилизованные.

– Те, которые перед едой моют руки? – усмехнулся Джек Эр.

– Ну, это не единственный эталон цивилизованного человека, есть и другие...

– Это верно... Черные наци в лагере были очень чистоплотные... После расстрелов кипятили воду на костре и мылись до пояса.

– Какой ужас, боже мой!

– Нет, это не ужас... Ужас был, когда они, помывшись после расстрелов, садились обедать и очень аккуратно, тоненькими ломтиками резали сало... Именно это – как они сало резали и крошки хлеба собирали, чтобы все было опрятно, – показалось мне самым ужасным... Я иногда думал, что брежу, я ж еле живой тогда был. Но когда стал один и тот же сон видеть – этот именно, с мельчайшими подробностями, – тогда понял: правда, а никакой не бред.

– А какие еще вы тогда заметили подробности?

– Хлеб был очень мокрый, тяжелый, но все равно крошился; но и крошки были аккуратные, какие-то немецкие, маленькими квадратиками.

– Вы это не придумываете?

– Принесите батон, я постараюсь слепить немецкие крошки, – ответил Джек.

– Нет, нет, я верю... Ну, хорошо, а еще? Я же не был в Германии, мне интересна любая мелочь.

– Вот что поразительно, – задумчиво откликнулся Джек Эр, – самые жестокие из этих черных как-то одинаково пахли. Нет, правда, у них у всех был одинаковый запах – какой-то затхлый... Так мокрые простыни пахнут, если они долго лежали в сырости.

– Любопытно... Может быть, всем эсэсовцам давали одинаковое мыло?

– А черт их знает. Только запах был одинаковый, это точно. Затхлый.

– Меня особенно интересуют визуальные подробности.

Джек Эр несколько удивился:

– А почему именно они?

Чиновник ответил не сразу, пытливо посмотрел на парня, поиграл остро отточенным карандашом (последняя новинка: трехцветный грифель, – нажмешь на левую сторону, пишет красным, на правую – синим, а посредине – ярко-черный) и, тщательно подбирая слова, сказал:

– Визуальные подробности интересуют нашу службу потому, что вам – поначалу, понятно, – придется зарекомендовать себя в качестве зоркого наблюдателя, который не упустит того человека, за которым надо смотреть в оба.

– Вы что, – усмехнулся Джек Эр, – в топтуны меня хотите пригласить?

– Я не знаю, что это такое, – Подбельски искренне удивился, – объясните, пожалуйста, значение этого слова.

– Да бросьте вы, – рассердился Джек Эр. – Будто кино не смотрите! Так называют того, кто топает следом за гангстером.

– Какое слово вам больше нравится: «солдат» или «вояка»?

– Конечно, «солдат».

Подбельски удовлетворенно кивнул:

– Вот видите... Ну и мне куда больше нравится слово «разведчик», чем «топтун». Петух топчет кур, на то он и петух... А человек, идущий по стопам врага, – все-таки разведчик. Ну-ка, попробуйте, закрыв глаза, описать мой кабинет. Только сразу, без подготовки. Зажмурьтесь, Джек, зажмурьтесь! И не обманывайте самого себя, не подглядывайте!

– Я и в школе-то не подглядывал, зачем же здесь?

– Ну, и прекрасно. Раз, два, три! Я слушаю.

– Про все говорить?

– Про то, что запомнили.

– Флаг за вами, портрет президента Трумэна, на столе два телефонных аппарата (один работал как диктофон, фиксируя каждое слово беседующих), в книжных шкафах много книг, два стула, два

окна, на окнах жалюзи, двери двустворчатые, а моетесь вы клубничным мылом...

Подбельски расхохотался:

– Последнее – совершенно точно! Замечательно, Джек, для первого раза отлично! А теперь я вам расскажу, что у меня в кабинете, ладно?

– Так вы его как свой дом знаете, неудивительно.

– Хм... В общем-то вы правы... Тогда я позволю себе сосредоточиться на ваших огрехах... Они не очень существенны, но, тем не менее, я хочу, чтобы вы сами убедились, как настоящему разведчику нужна холодная, несколько отстраненная наблюдательность. Итак, портрет президента Гарри Эс. Трумэна в деревянной рамке, три шкафа, в которых стоят книги с красными и синими корешками, среди них много золоченых, что свидетельствует о довольно высокой стоимости собранной литературы; в том шкафу, который стоит возле двустворчатой двери с большой медной ручкой, сделанной в форме лапы собаки, книги разной величины, часть из них потрепана, есть надписи, сделанные готическим шрифтом, что позволяет предположить знание немецкого языка человеком, которому они принадлежат; судя по тому, что на двух других шкафах есть следы пыли, можно допустить, что именно первым шкафом, где пыли нет, обладатель этого кабинета пользуется чаще всего; жалюзи серебристого цвета крепятся на медных болтах; стол покрыт зеленым сукном; стопка бумаги лежит с левого – если смотреть от двери – края стола; справа – небольшая скульптура Авраама Линкольна, сидящего в кресле; в центре лежат восемь карандашей, остро отточенных, разных цветов, и одна самопишущая черная ручка с монограммой желтого цвета, латунь или, возможно, золото... Вот так... Есть разница между тем, что сказали вы и я?

– Здорово, – согласился Джек Эр. – По тому, что вы сказали, можно делать выводы. Только в таком случае я бы еще добавил, что, судя по книгам с золотыми корешками, хозяин комнаты – юрист. Ведь по таким книгам у нас в школе сдавали зачет по основам права.

– Такого рода заключение может повести меня, вашего руководителя, то есть офицера, отвечающего за операцию, по ложному следу... Хозяином комнаты может быть не только юрист, но и бизнесмен, государственный деятель, военачальник, священник... Да, да, именно так, ибо прихожане идут в церковь за советом не только духовным, но и мирским... Профессиональный преступник высокого уровня, глава какого-либо подпольного синдиката, каждый свой шаг соотносит с буквой закона, чтобы – в случае неудачи и провала – взять на себя более легкую статью кодекса... Так что на первой стадии работы разведчику следует отказаться от всех собственных мнений... Только констатация фактов, скрупулезно точная, близкая к фотографической... Опишите мне, например, того черного, который расстрелял вашего несчастного доктора... Опишите так, чтобы я мог узнать его, когда встречу на улице... Сможете?

– Я его все время перед собой вижу... Попробую... Высокий, очень крепкий, но цвет лица землистый, как у человека, страдающего желудочным недомоганием...

– Простите, что перебиваю, Джек... Бои проходили неподалеку от того места, где был ваш госпиталь?

– Совсем рядом бомбили...

– И много зданий горело?

– Да, кругом чад...

– Вот видите... Вы настаиваете, что объект... что этот черный страдал желудочным недомоганием, цвет лица землистый, говорите вы, ну я и буду искать такого, а это на самом деле была копоть от пожарищ, въелась в кожу, лицо поэтому сделалось размыто-грязным, желтоватым... А после войны этот черный садист хорошенько помылся в ванной, и цвет лица у него ныне бело-розовый, отменно здоровый... Ну, дальше, пожалуйста...

– Вообще-то вы здорово все сечете, – улыбнулся Джек Эр. – Я не люблю, когда меня зазря тычут носом, но вы дельно все замечаете, вроде этого... Ну, как его... У нас Пинкертон, а у англичан... Рядом с ним еще вечно малахольный доктор трется...

– Шерлок Холмс?

– Точно, он! Так продолжить? – Джеку явно понравилось то, к чему его так мягко подвинул чиновник.

– Конечно, я весь внимание.

– У него глаза были, у того черного, какие-то водянистые, блекло-голубые, нос вздернутый, на подбородке – ямочка... Вообще, такие ямочки бывают у добрых людей, которые часто смеются, а тот не смеялся, насупленный был все время, словно дрова колол... Так, что же еще... Лоб у него гладкий, выпуклый, без единой морщинки... Ух, скотина, – лицо Эра вдруг сморщилось как от боли, – попался бы он мне сейчас! Ну, я бы показал ему! Криком бы изошел!

...Вернувшись домой, Джек Эр поужинал с матерью (миссис Патрисиа очень сдала после того, как ей сообщили, что мальчик погиб, поседела за месяц, хотя ей еще не было и сорока, родила его рано, в девятнадцать, души не чаяла, – мальчик был замечательным сыном, очень заботливым, золотые руки, все умел мастерить на ферме, хотя труд этот не любил, – мечтатель, его тянуло в город), поискал по шкале приемника интересные передачи, бейсбол уже кончился, транслировала Си-би-эс из Детройта; радиоспектакль о борьбе ФБР против мафии будет только в восемь, когда соберутся у очага все члены семьи, чтобы слушать сообща, ждать еще минуть двадцать; внезапно рассмеялся чему-то и сказал:

– Ма, ну-ка опиши мне нашу кухню... Только сначала закрой глаза.

– Зачем? Как я могу описать кухню с закрытыми глазами?

– В том-то и секрет. Ну, пожалуйста, попробуй, ма, я очень тебя прошу!

– Ну, хорошо, милый, – миссис Эр закрыла глаза. – Газовая плита около стены, стол, который купил еще твой папа, дубовый, на восемь человек, он ведь мечтал, что у тебя будет сестра, он очень хотел девочку... Все отцы почему-то хотят девочек, странно, почему?

– Это они просто не хотят огорчать любимых женщин, я, например, если женюсь, обязательно закажу себе сына.

Миссис Эр рассмеялась, поцеловала его в лоб:

– Какой ты у меня еще маленький...

– Ты продолжай, ма, это очень интересно, как азартная игра, правда! Даже интересней покера!

– Ну, хорошо, – миссис Эр снова зажмурила глаза. – Так, что же еще? Ну, конечно, стулья, восемь стульев, папа купил их на распродаже, вообще-то они стоили значительно дороже, ему тогда здорово повезло, мне даже не верилось, что за гроши можно купить такую прелесть... А знаешь, почему мы взяли их так дешево? Потому что один стул был с поломанной ножкой! А что для папы было выточить новую ножку?! У него же была страсть к столярной работе...

– Мамочка, ты все время отвлекаешься... Вот послушай, как надо работать... Профессионально... Итак, на кухне стол, восемь стульев; возле газовой плиты, которая стоит у окна, полочка, на которой расставлены специи – двенадцать разноцветных баночек, расположенных друг от друга на расстоянии одного дюйма, не больше; занавески закрывают два окна, выходящих во двор, откуда кухня просматривается совершенно свободно; занавески бело-голубые, в мелкую клетку; холодильник марки «Дженерал электрик» с морозильной камерой; на плите кофейник желтого цвета; в посудном шкафу стоит столовый сервиз не менее чем на шесть персон, бело-желтый, с рисунками, изображающими сцены охоты... Ну, как?!

– Мальчик, – удивилась миссис Эр, – ты намерен стать сыщиком?

– Разведчиком...

– Ты будешь выслеживать людей?

– Не людей, ма... Нацистов... Я буду охотиться за теми черными наци, которые убивали моих друзей и морили голодом в лагерях людей.

– Мальчик, их работа кажется красивой только в кино... Это очень... я даже не знаю, как тебе сказать... это очень гадко: следить за подобными себе...

– Ма, а разве можно прощать зло? Ты же слышишь по радио, как много нацистов скрылось, сколько отвертелось от суда? Разве можно допускать такое?

– Мальчик, ты сделал все, что мог... Ты это сделал на войне... Если с тобой случится что-нибудь сейчас, я ведь останусь одна, – она грустно улыбнулась, – совсем одна... Что я буду делать?

Полгода Джек Эр проходил специальное обучение. Поселили его в тихой квартире, попросили вернуть письмо, отправленное на бланке ФБР: «Вы должны быть тщательно законспирированы; маме скажете, что вняли ее советам и устроились работать в страховую компанию "Иншурэнс лимитэд", бокс 5236, Вашингтон; ваш шеф – мистер Забельски. Отныне это ваша легенда, о'кей?»

Он не понял, откуда им могло быть известно, что мама против его работы, но не удивился их знанию, – значит, так надо. Стажи-

ровку проходил в столице: ходил за мужчиной сорока – сорока пяти лет, брюнетом, нос с горбинкой, надевает очки, когда смотрит меню или читает газету, рост – сто семьдесят восемь сантиметров, размер обуви – девять с половиной, завтракает обычно в баре «Стар даст» на углу семнадцатой улицы, обедает в журналистском клубе, ужинает дома, квартира состоит из спальни и холла, в котором он работает на пишущей машинке.

Рапорты Джека Эра были образцовыми, но он не знал, что под надзорным был такой же, как и он, ветеран, журналист Леон Штайн, сотрудник левых газет, участник гражданской войны в Испании, где сражался в батальоне Линкольна, друг Брехта и Хемингуэя; в прессе выступал как раз по поводу тех гитлеровцев, которые избежали наказания. Ничего этого ему, Джеку Эру, не сообщали, приучив к тому, что на первой стадии его работы необходимо стать профессионалом, а борьба с нацистами, которой он добивался, начнется после того, как он получит квалификацию. Нельзя же победить врага, не овладев навыками тайной борьбы, не правда ли?

Рапорты о Штайне были положены в его формуляр: в случае, если когда-либо и почему-либо Джек взбрыкнет, ему выложат на стол документы о слежке за таким же, как и он, ветераном, написанные его рукой. Тогда же ему был присвоен псевдоним «Элза».

Вот именно его, Джека Эра, и передали – в конфиденциальном порядке, не проводя это документом, – Роберту Макайру для работы по Роумэну.

Инструктируя рослого парня, окрепшего за полгода, налившегося мускулами после ежедневных трехчасовых упражнений в гимнастическом зале, арендованном – через третьих лиц – у Фрэнка Никлбэри на берегу Потомака, Роберт Макайр неторопливо, словно бы рассуждая слух, говорил:

– Человек, которого вам показали и которого вы принимаете в наблюдение, не есть нацист, Джек, даже наоборот. Нам кажется, что он, как и вы, не любит черных наци. Но может получиться так, что он – сам того не понимая – выведет вас на серьезных нацистов. Посмотрите эти фотографии, – Макайр выбросил на стол десяток портретов, – запомните лица. Пожалуйста, запомните их хорошенько, потому что это наши с вами враги. Заучите номера телефонов, которые я вам продиктую... Только не перепутайте: где буэнос-айресский, где номер Боготы и Рио-де-Жанейро, а где Асунсьона... По моему опыту нелегальной работы против наци, удобнее всего запоминать, поставив перед номером первую букву города... Например, А пятьдесят два сорок четыре. Городишко Асунсьон маленький, они еще не перешли на пятизначные номера, только-только собираются, им помогает ИТТ. Когда вам ответят, скажете, что вы от Бобби, который ждет открытку ко дню рождения. Вам должны сказать, что готовы передать открытку с оказией. Вам назовут адрес, куда надо прийти на встречу. Имейте в виду, мои люди будут называть только четный номер квартиры. Если назовут любое нечетное число, на встречу не ходите, – это сигнал тревоги. Либо вы ошиблись номе-

ром. Перезвоните еще раз и, если вам снова назовут нечетное число, сразу же бросайте наблюдение и отправляйтесь в наше консульство, обратитесь к вице-консулу, занимающемуся охраной имущественного положения американских граждан, назовите ему свое имя и попросите связь со мной. Я дам указания... Не думайте, что вы один получили такое задание: вместе с вами в самолете, куда сядет объект, будет еще один наш человек. Все ясно?

– Да.

– Хорошо... Вот номера, запоминайте их... Только посмотрите еще раз на фото, надо, чтобы эти лица накрепко отложились у вас в памяти. Каждый из них обозначен буквой, запомните ее тоже.

Среди людей на десятках фотографий был и Штирлиц; помечен буквой «М».

ШТИРЛИЦ (Асунсьон, ноябрь сорок шестого)

...Когда Штирлиц открыл глаза, он ощутил себя лежащим на толстой тростниковой циновке в хижине Квыбырахи, рядом спал Шиббл; вождь широко раскинулся на белой циновке с каким-то странным, мистическим орнаментом; Канксерихи быстро ходила вокруг хижины, бормоча что-то монотонное.

Штирлиц пошевелился: боли в теле не было. Он заставил себя преодолеть страх перед резким движением, который родился в нем после ранения, потому что каждую минуту боялся потревожить боль, постоянно жившую в нем, и быстро, не готовя себя, сел, – никакого прострела; какое-то неудобство было в ухе; потянувшись к мочке, он отдернул руку, потому что наткнулся на деревянную иглу; по спине его прошла брезгливая судорога – столь странным было ощущение чего-то чужеродного в теле.

Штирлиц толкнул Шиббла; тот приподнялся на локте, потер глаза, зажег спичку и посмотрел на часы:

– Ну и ну, – шепнул он, прислушиваясь к монотонному бормотанию женщины, – вы проспали пятнадцать часов: свалились в два, а сейчас уже пять... Как себя чувствуете?

– Не поверите...

– Спали вы как убитый... Хорошо?

– Как заново родился...

– Ну-ну...

– А что это она бормочет?

– Вообще-то я не понимаю их языка, но Квыбырахи объяснял: мол, она всю ночь будет отгонять злых духов, чтобы они сквозь дырку в мочке снова не вошли в вас... Сейчас возвращается ваш добрый дух. Он говорит, что женщина должна стеречь вас, пока спите, во сне можно умереть, если она не углядит за злым духом и он войдет в дырку в мочке уха, вот она и бормочет, пятнадцать часов на ногах, с ума сойти...

– Я что-нибудь говорил, пока спал?

Шиббл удивленно посмотрел на него, потом со сладостным подвывом зевнул:

– Вы?

– Ну, да... Я же слышал, вождь сказал: «Теперь он заговорит».

– Ах да, верно... Она потом долго сидела над вами, слушала, как вы дышали... И он меня попросил, чтобы я непременно разобрал, какое слово вы скажете во сне... Я еще удивился: «А может, он ничего не будет говорить?» А он ответил: «Канксерихи говорит, что он обязательно будет шептать; ей важно разобрать первое слово. Она определяет, как сложится его будущая жизнь, вернется ли болезнь, ну и все такое».

– Что же я сказал? – рассеянно поинтересовался Штирлиц и сразу же почувствовал, что он перебрал, слишком уж рассеянно спросил, негоже так себя прятать, наоборот, демаскируешь.

И, верно, Шиббл усмехнулся:

– Вы сказали то, чего бы никогда никому не сказали. Всю правду о себе сказали. Вот вы теперь где, – он повертел кулаками в воздухе, – с потрохами.

– Нет, правда, интересно...

– Так и говорите. Вы меня изучаете, как плевок под микроскопом. Думаете, я так не умею? Еще как умею... А сказали вы какое-то странное слово, не на испанском... Но ей важно было не слово, а буква, у них же каждая буква с особым смыслом... А первая буква была «Эс»... Что-то вроде «Саченько»... Могли такое сказать?

– Мог.

– Что это значит?

– Имя... В Германии тридцатых годов, до тридцать третьего, была такая песня...

– Так вы немец?

– Нет. Но я там жил довольно долго... Что Канксерихи сказала по поводу буквы «Эс»?

– Обрадовалась. Потанцевала вокруг вас, всего веерами своими обмахнула, сказала вождю, что, мол, вы произнесли нужное для здоровья слово, если оно началось с этой буквы.

«Поди не поверь, – подумал Штирлиц. – Откуда эта индианка может знать про Сашеньку? Она в моем сердце всегда. Ее нет рядом, но мечта о ней дает силу жить и счастье верить, что прекрасное прошлое вернется... А если и нет, то все равно оно будет постоянно определять оставшуюся мне бесконечность, то есть те часы, которые мне еще предстоит прожить: то, что было, всегда в душе моей... Мы до сих пор шарахаемся от понятий "дух", "душа", хотя понятия эти совершенно разные по своей сути. Между двумя этими понятиями существует определенное соотношение – не статичное, как в античности, и не функциональное, то есть современное, европейское. Некая таинственная магия определяет соотношение между душой и духом. Мы вульгарно толкуем и понятие "магическое", сразу представляем фокусника, который шпагу глотает, а ведь понятие вполне предметно, рождено философской школой Багдада, той, которая дала миру и христианство, и манихейство, и неоплатонизм, а уж после ислам. Багдад, столица мавританской школы магического, к математике относился как к умному собеседнику, какой уж тут фокусник со шпагой... Как чего не знаем, так кричим "осанна"! Душа моя, Сашенька, дух твой всегда в моей душе, – разве эти слова для

меня не были магическими, спасительными все эти годы?! Разве не стали они моей верой?!»

– Вы давно спите? – спросил Штирлиц.

– Не знаю. Не очень. Но я выспался. Мы долго сидели с вождем, он любит беседовать. Все вожди любят говорить. А может, слушать себя, черт их разберет.

– А женщина? Она давно отгоняет злых духов?

– Я же говорю: с той минуты, как вы уснули... Слушайте, вам правда полегчало? Когда вы уснули, лицо у вас, честно говоря, разгладилось и порозовело. Сам-то я всему этому не верю... Но вы порозовели, что правда, то правда... Будем вставать?

– Пора идти?

– От вас зависит. Вы меня купили на эти дни, я служу, мне торопиться некуда... Чем дольше проторчу в сельве, тем деньги будут целее в банке. Или хотите еще поспать?

– Нет. Я себя чувствую бодро. Какая-то даже, знаете ли, повышенная активность.

– Будем охотиться?

– Мы далеко от Парагвая?

– Вы имеете в виду столицу?

– Да.

– Дня за четыре дойдем. Рыбачить хотите?

– Можно.

– А ягуара, как понял, отставим?

– Пусть живет.

– Мне легче.

– Тогда двинемся, пока нет солнца. Вы, кстати, хорошо переносите жару.

– Да, я люблю жару.

– Не все выдерживают здешнюю духоту... Да и влажно очень.

Шиббл поднялся, достал из кармана спички, чиркнул, зажег лучину, осторожно обложил ее щепочками; запахло сладким дымом; такой дым всегда ассоциировался у Штирлица с единственным летом, проведенным в Подмосковье, когда они с отцом жили в маленькой деревушке километрах в пятидесяти от Москвы со странным названием Малаховка.

Женщина вошла в хижину, бормоча что-то, приблизилась к Штирлицу; высвет пламени в очаге (Шиббл подложил три сухих поленца, затрещало) делал ее лицо старым и отечным; в ней сейчас ничего не осталось от той пышущей здоровьем Канксерихи, которую он видел пятнадцать часов назад: под глазами – даже на шоколадном лице – были заметны провалы-тени, белки сделались как у печеночного больного, даже живот, казалось, опал.

Она что-то сказала ему потухшим, усталым голосом.

Шиббл тронул Квыбырахи за плечо, тот, не поворачиваясь, перевел, словно и не спал:

– Сейчас она повяжет ему амулет, пусть он не снимает его тридцать три дня, а вообще-то он теперь здоров.

Женщина повесила ему на кисть тесемочку с костяшкой. Тесемка была скользкая, свита из какой-то травы, очень крепкая. Штир-

лиц не удержался, попробовал ее на разрыв. Потом она вытащила зубами острую деревянную палочку из мочки и, словно подрубленная, свалилась на пол.

– Теперь она будет спать столько часов, сколько спал белый охотник, – пояснил вождь. – Она устает после своей работы, несколько дней как не в себе, очень старается, да и злые духи, которых она отогнала, мстят – потеряли столько еды, они ж едят человечину изнутри, вкусно, не надо охотиться или ловить рыбу – все в твоем распоряжении... Поди, пойми, когда они в тебя забираются...

Отъехав километров десять, Шиббл спросил:

– Не хотите попробовать: сможете ли делать то, чего не могли раньше, до этой... как ее... тьфу, забываю все время...

– Канксерихи, – улыбнулся Штирлиц.

– Да, верно... Чего не могли делать до нее? У вас такие страшные шрамы от ран, я смотрел, когда она колдовала над вами...

– Попробуем, – сказал Штирлиц и остановил коня. – Мне самому интересно.

Какую-то секунду он сидел в седле недвижно, потом, переборов барьер страха (боль, которая живет в тебе месяцы, нарабатывает и осторожность, и особую манеру прислушивания к самому себе – не заворочается ли, не поднимется ли еще выше или, наоборот, опустится, – это и порождает страх, индикатор собственного бессилия), заставил себя резко соскочить на землю – так, как он умел раньше, до того, как пули разорвали тело и он ощутил сытный запах собственной крови.

Он смог перебороть страх, побудив свое тело к резкому движению; однако в те доли секунды, пока его ноги были в воздухе, ужас вновь обуял Штирлица: «Сейчас я коснусь земли, и боль вернется. Колдунья просто загипнотизировала меня, и я потеряю сознание. Зачем я все это затеял?!»

Штирлиц зажмурился и подумал, что сейчас упадет, потеряв сознание, а вокруг острые камни: «Черт, виском бы хоть, и сразу – к папе, в тишину».

Однако сознания не потерял, боли в пояснице не было; он – ликующе – понял, что ее не будет вовсе, едва лишь часть ступни коснулась земли (кажется, правая?); широко взмахнув руками, он, словно гимнаст, соскочивший с колец, удержал равновесие, постоял, не двигаясь, счастливый, потом вытер пот (мгновенно покрылся потом в воздухе, микродоли секунды, антивремя), посмотрел на Шиббла и счастливо рассмеялся:

– Послушайте, а ведь я ваш должник! Это вы меня сюда привели. Ей-богу, она меня вылечила.

– Попробуйте взобраться в седло, – посоветовал Шиббл. – Вы вчера забирались на коня как столетний дед на бабу, смешно смотреть.

Штирлиц вдел ногу в стремя, похлопал коня по атласной, коричневой с красноватыми переливами шее и, не чувствуя уже страха, легко взбросился в седло.

– Ну? – спросил Шиббл. – Как?

– Она меня вылечила, – повторил Штирлиц. – Я бы никогда этому не поверил.

– Если не будете бриться пару дней, станете похожи на ковбоя. Вам пойдет борода, очень мужественный облик. И вообще, вы первый европеец, который не скулит в сельве. Все остальные хорохорятся, когда проверяют у меня ружья на прикладистость, тоже мне, Фениморы Куперы поганые, а как до дела, так все время спрашивают, не потерял ли я тропу; я, говоря откровенно, и вас проверял, заглатывая чай, цветом похожий на виски... Люблю дразнить людей. Щекочет нервы. Ощущаешь собственную весомость...

В Асунсьоне они попрощались; Штирлиц отдал Шибблу деньги у входа в пансионат «Кондор»; пообещал вернуться через год, тогда и сходят на ягуара.

Хозяин пансионата, креол с примесью индейской крови («Совсем другой народ в Парагвае, – заметил Штирлиц, – каждый второй – индеец, чисто белых на улицах почти нет, как, впрочем, и машин, одни кабальеро, хотя, может, шоферы спят, время сиесты, три часа»), показал Штирлицу комнаты – их было пять, все свежепобеленные, как на Украине, и такая же мебель из сухого дерева, не крашенная, только проолифленная, и такие же голубые наличники на окнах, и даже герань такая же; вот только кактусики явно здешние – причудливой формы, в горшках из серой глины, неровной формы, сразу видно, что работал местный гончар.

– Принимаете доллары? – спросил Штирлиц.

– Вообще-то у нас запрещено принимать деньги «гринго», – ответил хозяин (представился нараспев: «Дон Педро-Мария-Хесус-и-Эухенио Перальта»). – Но я сделаю для вас исключение, сеньор.

– Буду вам очень обязан. Меня зовут Шиббл, Кристофер Шиббл, я англичанин, уплачу за три дня вперед. Надеюсь, паспорт не требуется?

Когда платят за три дня вперед, паспорт, понятно, не требуется – зачем обижать выгодного постояльца?

Штирлиц не стал брать квиток об уплате, который ему протянул дон Педро-Мария-Хесус-и-Эухенио Перальта, сказал, что пойдет оглядеться, в Асунсьоне в первый раз, поинтересовался, где же здесь калле Сан Мартин (из справочников, которые изучил в ИТТ, готовясь к Аргентине как к единственной надежде на возвращение, выяснил, что практически в каждом городе Латинской Америки есть улицы Сан Мартина, Боливара и Колумба), выслушал подробный ответ (если кто-либо когда-нибудь спросит хозяина, чем интересовался постоялец, он наверняка ответит именно про калле Сан Мартин, – так уж устроена людская психология) и попросил снять с ключа – обязательную в отелях и пансионатах очень тяжелую медную или деревянную, зависит от престижности, – блямбу:

– Я возвращаюсь поздно, а ухожу рано, мне совестно вас тревожить.

Такси, конечно, не было. Прошел по улицам – пустым и тихим,

сиеста здесь, видимо, соблюдается еще более религиозно, чем в Андалусии; солнце палило нещадно. А что будет в разгар лета, в январе? Настоящее пекло!

«Ну что, – сказал он себе, – ты, наконец, один? Все позади, вот счастье-то, а?! Осмотрюсь и потихоньку двинусь к свободе, домой. Теперь – пора, теперь – можно, время!»

«И ведь ничего не болит, – подумал Штирлиц, – я только по привычке приволакиваю ногу. За эти четыре дня у меня ни разу не было боли, привычной, режущей, постоянной, которая делает человека трусом, таящимся зайцем, соглашателем с самим собой. Я все-таки правильно сказал себе, что главное в той ситуации, в какой я оказался, – вернуть здоровье, все положить на это; инвалид – не борец. И хотя борьба моя несколько отлична от той, которую ведут киноковбои, ведь мне приходится думать, тем не менее мысль, не подтвержденная действием, обречена так и остаться мыслью. Нет, – поправил себя Штирлиц, – мысль – это уже дело, как и выдвинутая идея. Пустые слова – вот что такое рассуждение без действия. Ты нашел правильное слово, похвалил он себя; не мысль, не идея, но именно рассуждение, не подтвержденное действием».

Штирлиц зашел в единственный открытый магазин «Одежда для сеньоров», купил костюм и саквояж (доллары здесь приняли с почтением, мигом с м е л и под прилавок), пару рубашек, носки, смену нижнего белья; хозяин отправил ч и к о за туфлями для сеньора, выяснив предварительно, что необходим американский крой, на толстой кожаной подошве, желательно темно-коричневые; переоделся здесь же, спрятав тропикаль в саквояж (пришлось отдать Шиббу дополнительно тридцать четыре доллара; к концу путешествия тот начал оперировать с т р а н н ы м и суммами, видимо, для большей достоверности перестал называть круглые, но его отнюдь не новый тропикаль стоил не более пятнадцати долларов, да и то с большой натяжкой).

Из магазина – совсем другим уже человеком – он зашел в парикмахерскую. Мастер, взмахнув зеленой простыней, как мулетой перед мордой быка, сразу же усадил его в кресло, выбрил скрипящим опасным «золингеном», сделал массаж и в довершение ко всему с готовностью дал сдачу с пятидесятидолларовой купюры местными затертыми, словно старые игральные карты, бумажками.

После этого Штирлиц нашел семейный пансионат (так значилось на вывеске у входа в неприметный, но тенистый, свежепокрашенный особнячок), снял номер, оставил саквояж и отправился в центр, машинально п р о в е р и в ш и с ь, нет ли слежки. «Впрочем, откуда она может быть, я оторвался ото всех, – подумал он, – никто не знает обо мне в городе. Даже если Шиббл, если допустить недопустимое, скажет кому-то, что я здесь, то искать меня будут в пансионате у дона Педро-и-Христоса или как его там, да и потом нечего грешить на Шиббла, кому он может сказать, если он не ждал и не ведал о моем приходе. Я и сам не предполагал, что постучусь к нему в дверь, пока не заметил в Иугасу рекламу фирмы, где он служит. Нет, это уже симптом мании подозрительности, не иначе, Шиббл вне игры».

Он ошибался. Мальчишка, нанятый Шибблом за песо, проследил весь его маршрут.

Получив монету от «инглеса», мальчишка вернулся к семейному пансионату, где остановился Штирлиц, поглядел на окна – нет ли где света – и, вытянув ноги, удобно устроился возле теплой стены. Пока не придет сеньор, за кем он смотрел все время, – тот устраивался в семейном пансионате сеньоры Палайо, а потом расположился на веранде кафе «Ла ультима эсперанса» на калле Эндепенденсиа, как раз наискосок от того дома, где разместились красные; все в городе знают, что тут помещается штаб-квартира шпионов из Москвы, как же иначе, «Ассоциация по культурным связям», – вполне можно подремать, это так приятно, особенно когда наступает вечерняя прохлада.

...Штирлиц выпил чашку ароматного капучини («Господи, какое это счастье, когда не надо держать в руке обязательные здесь виски, хинебру, рислинг, коньяк, черта, дьявола, как же приятно ощущать сладостную горечь кофе!»), дожидаясь, пока из дома, где размещалась «Ассоциация по культурным связям» (там же помещались филиал бразильской фирмы «Трайдуш», адвокатские конторы Родольфо Переса и Серхио Пабло Хименеса, кабинет врача-гинеколога Родригеса Падилья Рейнальдо и компания «Рихаль контратистас индустриалес лтд»), начнут выходить служащие. Наблюдая за тем, как выключался свет в офисах пятиэтажного здания, прежде всего смотрел на второй этаж, потому что, проходя мимо подъезда, цепко запомнил медные указатели – где, на каком этаже какая фирма расположена (стиль заимствован у испанцев, те все пишут при входе, даже куда поворачивать – налево или направо).

«Если все пойдет, как я задумал, – сказал он себе, – тогда я вернусь в Аргентину так же, как попал сюда: лодка через реку, никакой пограничной стражи, курсируй себе на здоровье, оказывается, здесь это никого не интересует.

Люди "Ассоциации" должны знать адрес русских представителей в Буэнос-Айресе, наверняка они там запрашивают (или будут запрашивать) фильмы, книги и картины. Ходить в трехмиллионном городе Перона и спрашивать, где тут поселились красные, – по меньшей мере смешно, сразу угодишь в полицию; нельзя обращаться и в МИД – там откажутся отвечать по телефону; установление отношений с русскими – политический жест: выполнили обещание народу, данное Пероном перед выборами; это не так уж и трудно; его нелюбовь к нам – нескрываема; там, в столице, мне придется ходить по острию бритвы, особенно после публикации в Лондоне; те документы, что мне передал Роумэн о ликвидации Мюллером несчастного Рубенау, – косвенны; все равно можно манипулировать: "нацистский палач на службе у русских", вот ведь какая незадача, вот почему приходится оглядываться на каждом шагу... А вообще-то ужас: я своей любовью к России, тоскою по ней в нынешнем моем качестве – если состряпать против меня дело по обвинению в устранении двух несчастных – могу причинить ей только зло. Я должен понять, что из себя представ-

ляет президент "Ассоциации" Пьетрофф; как же зло говорил о нем у генерала Оцупа в Мадриде Артахов, с какой ненавистью... Я должен, я обязан принять, наконец, решение, я все еще чего-то медлю с принятием решения, я сам себя обманываю, потому что сердце мое уже там, в Аргентине, но ведь, помимо сердца, у человека существует разум, будь он неладен, и этот холодный, отрешенный от тела разум подвигает его на то, чтобы задержаться здесь и непременно связаться с Роумэном, потому что, видимо, сеть наци значительно более сильна, чем можно было предполагать: подсадить в самолет испанской авиакомпании Ригельта, успеть за каких-то два или три часа оформить для него билет и паспорт могла только могущественная организация с блестяще налаженной системой работы – четко атакующей, мобильной и глубоко законспирированной».

Когда в доме напротив на втором этаже остались освещенными всего два окна, Штирлиц положил на мраморный столик, рядом со своей чашкой две монеты и поднялся.

«Спасибо тебе, Канксерихи, – подумал он, переходя улицу, – и тебе, вождь Джонни, спасибо за то, что ты так понятно переводил ее, и тебе спасибо, Шиббл, никто бы меня не отвел в сельву к этой кудеснице, кроме тебя, спасибо вам всем за то, что я так легко поднимаюсь и во мне нет страха от предчувствия боли, спасибо вам за то, что я снова почувствовал себя солдатом, это прекрасное мужское самоощущение, нет его лучше, особенно, если ты далеко от дома, один среди чужих».

Нажав кнопку вызова портье, Штирлиц дождался, пока к стеклянной двери подошла женщина (тоже креолка, очень смуглая), и спросил:

– Сеньор Пьетрофф еще у себя?

– Да.

– Я могу пройти к нему?

– Но работа уже кончена, сеньор... Он задерживается на этой неделе допоздна, что-то пишет, он ведь сочиняет статьи и книги...

– Как интересно, я никогда не разговаривал с писателем... А про что он пишет?

– О, я не знаю, сеньор, я же не умею читать... Он очень много трудится, совершенно не думает об отдыхе...

– Может быть, вы спросите сеньора Пьетроффа, не согласится ли он уделить мне немного времени...

– Я попробую, сеньор, подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь.

Она вернулась довольно быстро, пригласила Штирлица подняться на второй этаж в комнату двести три – двести четыре: «Сеньор Пьетрофф ждет, не сердитесь, что я не сразу вас пустила, но в этом здании строго следят за порядком...»

Сеньор Пьетрофф оказался сравнительно молодым еще человеком, лет тридцати пяти; он был русоголов, скуласт, глаза маленькие, куньи, очень острые; улыбка на лице была какой-то отдельной от пронзительного, умного, но постоянно настороженного взгляда.

– Прошу вас, – сказал он по-русски, не сводя глаз с лица Штирлица. – Присаживайтесь.

Какой-то миг Штирлиц хотел ответить ему: «Спасибо, милый человек, сяду, а вы продолжайте-ка говорить, мне очень дорого, что вы говорите на нашем с вами языке». Но он не ответил ему по-русски, чуть улыбнулся, покачал головой и сказал по-английски:

– Простите, но я...

– Ах, какая жалость, – Пьетрофф вздохнул, ответив на очень плохом английском. – Я почти не говорю на вашем языке. Только по-испански и кое-как по-немецки... У вас ко мне дело? Я к вашим услугам...

– Но я оторвал вас от работы, – перейдя на испанский, улыбнулся Штирлиц.

– Это не работа, – улыбка Пьетроффа изменилась, он чуть приоткрылся, – это счастье... Пишу... Вот, извольте, письмо – он взял листочек бумаги – от отца Дмитрия... Вы только посмотрите, какова судьба! Хотя вам это неинтересно, русская трагедия, у вас же, по-видимому, дело...

– Почему же, мне интересно, сеньор Пьетрофф, любая судьба подобна книге.

– Правда? – как-то недоверчиво, несколько даже по-детски удивился Пьетрофф. – Тогда прочту... Это он мне из Парижа пишет: «Я был запрещенным в служении за неподходящее сану поведение, и если на Родине можно вымолить прощение, то здесь – у кого? Один храм, вакансий нет, да и с пожертвованиями туго, нищета, голь эмигрантская... Пришел к родственнику, тот заведовал хозяйством в гимназии; предложил ночевать в подвале, где топка, там тепло хоть; дам тебе мешков вместо матраца и одеяло... Что ж делать, поселился. Начал подыскивать работу, а как ее найдешь, когда профессия у меня – прощать грехи людские, причащать да крестить? Однажды родственник привел американца, тот искал сильного мужика, а силы мне не занимать, потому саном, кстати, я и поплатился... Американец говорит, что у него есть хороший "джоб"...» Это работа, да? – спросил Пьетрофф. – У меня тут словаря нет.

– Да, работа, – подтвердил Штирлиц.

– «"Я – это он, американец, – пояснил Пьетрофф Штирлицу, – могу вам ее дать". И вдруг тр-рах! – прямо мне в подбородок. Я упал. Ах, думаю, ты так?! Поднялся, развернулся и по-русски – как врежу американцу в ухо. Он и брык! Поднялся, почистил пиджак и говорит: "Едем, мне такой и нужен". Оказалось, он секретарь богатого американца, который в Венсене зверинец держал – тигра, леопарда, дикую африканскую кошку, гиену и обезьян всех пород. Секретарь объяснил, что звери приученные, по свистку выходят из клетки, по свистку возвращаются с прогулки из внутреннего дворика. "Только кормить их трудно. Сила нужна. Для этого вас и нанимаем". Ладно, что ж, покормлю. Объяснил мне этот секретарь, что перед тем, как входить к тигру и леопарду, надо принять душ, чтобы никаких человеческих запахов не осталось, только запах цветочного мыла, зверей от него воротит, потом тальком посыпаться, а уж после надеть желтую пижаму китайского шелка, чтоб выскальзывать

было сподручней, если все ж тигр озвереет... Поначалу я к зверям входил с молитвой, потом пообвыкнул и начал заглядывать к ним, напевая. Чего ж не петь? Сыт, пьян, да и богатей этот только раз в месяц хотел зверей своих смотреть. Но и то с превеликой, судя по всему, похмелки... Рысь, правда, стерва, меня донимала, поранила единожды, я б ее задушил, да работу боялся потерять. Страх, тем не менее, вскорости прошел, но постоянное напряжение оставалось. Был у меня домик о трех комнатах, вот туда однажды вечером и привалились ко мне друзья: писатель Куприн и редактор «Русской мысли» Лазаревский, оба в состоянии некоторого подпития. Попросили бутылку, выставил, ну и отправились зверинец смотреть. Куприн очень животных любил», – Пьетрофф поднял глаза на Штирлица: вы знаете такого писателя?

– Что-то слыхал, – ответил Штирлиц.

– Вряд ли, – улыбнулся Пьетрофф, – вы только Достоевского знаете... Эмиграция переиначила: «Толстоевского»... «Так вот, – продолжил он чтение письма, – попросил меня Куприн обезьян выпустить из клеток. Чего не сделаешь для любимого писателя! Выпустил. Те принялись носиться наперегонки, потом по деревьям расселись, спаси господь, поперескакивают через забор – не оберешься тогда горя. Но напрасны были мои страхи, обезьяны сели рядом с нами борщ хлебать, я отменно красный борщ готовлю. Одна из обезьян устроилась у Куприна на плече – к великому его удовольствию. Он себе ложку несет, а обезьяна, плутница, перехватывает ее – и себе в рот. Так и ели: одну – Куприн, а вторую – обезьяна... А после Куприн и говорит: "Митя, выпусти тигра! Ну, выпусти, а?! Что тебе стоит, пусть погуляет... Помнишь у Леонида Андреева "Проклятие зверя"?! Ну, выпусти". Я и согласился. Чего русский для друга не сделает?! Пошел в душ, протерся мочалкой, тальком обсыпался, пижаму эту чертову натянул и отправился к тигру в клетку... А он на меня такими глазами посмотрел, с таким удивлением! И глаза у него были строгие-строгие. Батюшки-светы, весь мой хмель соскочил, я выскочил из клетки и – дёру! А он вдруг как зарычит! Жутко! Обезьяны на деревья попрыгали, примолкли, почуяли недоброе. Только попугай – с метр величиной, говорит, как мы, – стал хохотать, приговаривая: "Мерд! мерд! мерд!" Ну, а назавтра меня погнали, сейчас нищенствую. Нету ли у вас для меня какой работенки и деньжат, чтобы океан переплыть?»

Пьетрофф поднял на Штирлица глаза, в них были слезы.

«Не хватало еще, чтобы и я заплакал», – подумал Штирлиц, чувствуя в горле комок.

– Сеньор Пьетрофф, – сказал он, поднимаясь, – я вижу, как вы увлечены... Если разрешите, я загляну к вам утром?

– Да вы мне ничуть не мешаете!

– Мешаю, – отрезал Штирлиц. – Мне совестно, что я оторвал вас от этой... От этого горького счастья...

– Что вас будет интересовать?

– Информация о Советской России. Условия вступления в вашу ассоциацию. Ваши мероприятия. Вы получаете книги из Буэнос-Айреса или Рио-де-Жанейро?

– Из Рио мы только что получили подборку Горького, Островского и Гайдара, но это чудо, вообще-то работать трудно, чинят препятствия. А в Байресе они ведь толком еще и не развернулись... Два человека в отеле живут, до культуры ли им?! Я буду рад посвятить вас в нашу работу... Простите, кто вы по профессии?

– Бизнесмен. Честь имею, господин Пьетрофф, до завтра...

После письма священника ему нужно было побыть одному – сердце сжало безнадежной тоской. Такое надо переживать в себе, чтобы никто тебя не видел; слишком больно за русских, а это трудно скрыть, могут прочитать; нельзя.

...Около пансионата его окликнул мальчишка. Штирлиц не сразу разглядел его в темноте, потом увидел белые зубы – мальчуган улыбнулся:

– Сеньор, если вы уплатите мне два доллара, я вам кое-что скажу.

– А что ты мне можешь сказать? – удивился Штирлиц, достав из кармана монету.

– Этого мало, сеньор, – сказал мальчик. – Дело касается не меня, а вас.

Штирлиц протянул ему еще одну монету:

– Слушаю тебя.

– Сеньор, дело в том, что другой сеньор, с которым вы приехали в город и пили воду возле остерии, уплатил мне песо за то, чтобы я прошел за вами по городу, вернулся и рассказал ему, где вы были и кого встречали.

– Да? Молодец, я тебя не заметил. Где ты оставил меня?

– В кафе «Ла ультима эсперанса», сеньор, когда вы пошли в дом, где живут шпионы, – ответил мальчишка и растворился в темноте...

«Вот так дела, – подумал Штирлиц. – А чему ты, собственно, удивляешься? Ты давно уже лишился права удивляться чему бы то ни было. Я лишил себя этого права, так точнее. Но это же какая-то мистика, Шиббл не мог быть в игре, немыслимо...»

Тем не менее в семейный пансионат Штирлиц не вернулся. «Черт с ним, с этим саквояжем, бельем и рубашками, деньги Роумэна меня пока что спасают, надо ложиться на грунт, искать квартиру, а не пансионат, в любом пансионате меня найдут, пусть их здесь даже две сотни, все равно это день работы для полиции, нужна какая-нибудь проститутка; тоже нельзя, на учете; но ни в отеле, ни в пансионате останавливаться теперь невозможно, ясное дело...»

Он отправился на центральную почту и, вспотев от волнения, заказал разговор с Голливудом; особого удивления в глазах сонной телефонистки не было. С Грегори Спарком соединили через сорок минут; не представившись, чуть изменив голос, Штирлиц сказал, что он уже на месте, но никак не дождется друга, посещает каждый день центральную почту, а писем все нет, надо срочно обсудить ин-

тересный сценарий за завтраком, что-нибудь в девять, но не позже половины десятого. Положив трубку, вытер пот со лба. «Я перехвачу Роумэна на улице; судя по тому, что Спарк слушал меня не удивляясь, не перебивая и не переспрашивая, Пол посвятил его во все».

Он только не мог себе представить, что, провожая Роумэна в Латинскую Америку, желая ему удачи, Макайр отправил в резидентуры шифротелеграммы, в которых обязывал своих сотрудников «обеспечить безопасность Пола Роумэна, выполняющего специальное задание, наладив – не ставя об этом никого в известность – наблюдение за всеми его контактами, поскольку операция допускает возможность похищения ветерана секретной службы Соединенных Штатов. Просьба не открывать – без особого на то разрешения – имена наиболее глубоко законспирированной агентуры, ибо пыток нацистов может не выдержать даже такой блистательный разведчик, как Пол Роумэн».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (Даллес – ИТТ, сорок пятый – сорок шестой)

На этот раз Даллес пригласил полковника Бэна не в клуб, где они обычно встречались раз в квартал, обговаривая дела на будущее и подводя итоги сделанному, но к себе в контору, на Уолл-стрит.

– Здесь у меня под рукой материалы, – объяснил Даллес, попыхивая неизменной трубкой, – дело такое, что они могут понадобиться.

– Все материалы вы храните вот здесь, – Бэн постучал себя по лбу, – не скромничайте, Аллен.

– Тем не менее, – ответил тот, пропуская гостя в кабинет, заставленный шкафами с книгами: в основном своды законов, исследования, связанные с китайской эпохой Сун, и литература по германскому вопросу.

Поинтересовавшись, что будет пить полковник, пояснил, что чай прислали жасминный, только-только с плантации: «Мадам Чан Кайши знает мою страсть. Есть ангольский кофе, о том, кто мне присылает эти светлые зерна, я умалчиваю, потому что самолет взлетает в Лиссабоне, такими связями не хвастают, могут неверно понять. К сожалению, левые захватили довольно прочные позиции в газетах и на радио, так легко их оттуда не выкуришь. Маккарти напоминает мне порой Дон Кихота; надо будет сосредоточить все наше внимание на телевидении: думаю, эта новая отрасль станет стремительно развиваться, не пропустить бы момент, позиции трудно отвоевывать, занимать с самого начала куда проще...»

– Мы с вами думаем в одном направлении, Аллен... Пить я стану и то, и другое – сначала жасмин, а потом ангольский кофе, не взыщите, издержки образования, я прошел мимо университета, как и Аристотель.

– Предмет разговора, к которому я вас пригласил, Бэн, с проблемой телевидения связан опосредованно... Оно, конечно, будет за-

действовано в том предприятии, о котором пойдет речь, но несколько позже, когда наберет силу... Вы, кстати, финансируете какие-либо проекты в телебизнесе?

– Практически – все. В той или иной мере, не в прямую, конечно, но, как и вы, я понимаю значимость большого ящика...

– Так с чего же мне начать? – задумчиво спросил Даллес, упершись в него своим тяжелым взглядом («Глаза, как льдышки, – подумал Бэн, – айсберг, а не человек, бррр!»). – Я, пожалуй, позволю себе задать вам ряд вопросов... Что вы знаете о нефтяном бизнесе в Колумбии?

– Колумбия как-то не очень входит в сферу моих интересов.

– Зря. Она – предмостье Латинской Америки. Колумбия, Панама, Коста-Рика и Никарагуа – от ситуации в этих странах зависит благополучие нашей страны, – Даллес постучал пальцем по груди (любимый жест). – Если в Никарагуа положение крепкое, Сомоса вполне управляет ситуацией, в Панаме – еще надежнее, наше военное присутствие, то в Колумбии и Коста-Рике дело сложнее... Особенно в Колумбии. Там против наших интересов весьма интенсивно работает британская «Шелл»... С ней мы сладим, мы готовим удар против «Шелл» в прессе, кое-что удалось накопать о связях немцев с британцами, дело может оказаться крутым... Но Рокфеллер озабочен, и я понимаю его тревогу по поводу ситуации в Колумбии – в целом. «Тропикал ойл» Рокфеллера имеет в своем распоряжении концессию Марес возле Барранка-Бермеха, очень серьезное предприятие... Но срок концессии истек, Бэн. И президент Алфонсо Лопес потребовал, чтобы в июне все заводы были переданы правительству Колумбии, – опять-таки под нажимом коммунистов. Кое-как мы смогли добиться в суде переноса срока до лета пятьдесят первого. А что такое пять лет в приложении к историческому процессу? Ничто, пустое, нуль. К президентству рвется лидер левых Хорхе Гаэтан. Если он победит, тогда Рокфеллеру придется уйти из Колумбии еще раньше, Гаэтана поддерживают коммунисты, это – серьезно. Нам стало известно, что Гаэтан уже сейчас, накануне предвыборной кампании, подготовил меморандум, требующий передачи всех без исключения концессий правительству – с последующей национализацией... Мы пытаемся работать в его окружении, у нас есть кое-какие возможности в левом лагере... Они все очень подвижны и, – Даллес усмехнулся, – как бы это точнее выразить... избыточно страстны что ли. Нет еще опыта политической деятельности, вынырнули в последние годы войны, на гребне антифашизма, не научились... А если научатся? Тогда как? У нас есть переходная кандидатура на президента – Оспин Перес, но это не личность, полумера, борьба за время... Что вы предложите?

– Надо посмотреть, – повторил Бэн. – Но ведь нефть – это государственная политика, Аллен, это топливо для самолетов и танков... В какой мере государственный департамент и Пентагон включены в наше соразмышление? Ведь они – не мы. Бюрократы. Им надо долго думать... Я-то сразу просчитал в уме, что Рокфеллеру будет нужна хорошая связь, если он прочно закрепится в Колумбии, а кто ему организует связь, как не ИТТ?

Даллес улыбнулся:

– Вообще-то охотников много, но, как его адвокат, я буду настаивать именно на вашей кандидатуре. Что же касается государственного департамента и Пентагона, то вам предстоит поработать в этом направлении, Бэн. Ваши отношения с военными позволяют сделать это лучше и плодотворнее, чем мне, я же с ними часто ссорился, с проказниками.

...Нефть, армия, политика – и в ту пору, да и поныне – завязаны в тесный узел интересов, которые определяются балансом концернов, миллиардами, отчисляемыми в бюджет, перераспределяемыми затем в конгрессе между Рокфеллером, Морганом и Дюпоном, ибо именно их корпорациям раздавалась и раздается львиная доля самых выгодных заказов – военных. Здесь не страшна конкуренция, как у текстильщиков, поставщиков оборудования для пищевой, медицинской, обувной и лесодобывающей промышленности. Танк и бомбардировщик – вне конкуренции, нет надобности в дополнительных тратах на прессу, рекламу и лобби; система отработана надежно; до тех пор, пока она функционирует без перебоя, стабильность страны обеспечена, считая военно-промышленный комплекс; а перекосит на сторону – возможны неуправляемые последствия, чреватые социальным взрывом.

...Бэн допил чашку ангольского кофе, поднялся, прошелся по маленькому, в высшей мере скромному кабинетику Даллеса («Играет или действительно это его стиль – такое протестантское пуританство?»), остановился возле книжных шкафов, поинтересовался:

– А что по поводу моих военных из Пентагона говорит поэзия эпохи Сун?

– Обязательно что-нибудь говорит. Как все великое, она вневременна и безнациональна, – ответил Даллес и, открыв томик, постоянно лежавший у него на столе, прочитал строки, взятые наугад:

– Соседи забыли песни. Скучно стало в деревне. Женщины, дети плачут, мир этот им не мил. Достану я с полки книги, прочту заклинанья древних: пусть упорядочит небо сферы стихийных сил!

...Назавтра Бэн вылетел в Буэнос-Айрес, как-никак опорная база. Вовремя поданный совет Геринга наладить отношения с никому не известным подполковником Пероном принес свои плоды: президент Перон провел объявленную национализацию ряда иностранных компаний; но это не сопровождалось какими-либо актами произвола, наоборот, Бэн получил громадную компенсацию, штаб-квартира осталась в прежнем здании, штат сотрудников как делал свое дело, так и продолжал делать его. Бэн наведывался в город довольно часто, блистал в свете, сделал подарок сеньоре Перон, очаровательной и острой на язык Эвите, любимице народа, с тех пор она принимала его без протокола.

Уму и шарму этой женщины он не уставал поражаться. Однажды на приеме, увидев Эвиту в роскошном жемчужном ожерелье, по-

следнем подарке президента, Бэн, желая польстить ей, сказал прилюдно:

– Сколько же надо было открыть ракушек, чтобы собрать такую бесценную понизь!

Аргентинцы, стоявшие подле, сконфуженно отвернулись, ибо слово «ракушка» звучит здесь так же, как и слово, обозначающее женский половой орган.

Эвита, однако, ничуть не смутилась, а усмехнувшись, ответила:

– Нужно было открыть одну, полковник.

...Именно там, в Аргентине, на правительственном приеме, Бэн и запустил по известной одному лишь ему цепи пробный шар по поводу контактов в Колумбии.

Пока он ожидал ответа, ситуация в Вашингтоне изменилась еще больше.

Еще в ноябре сорок пятого года, через четыре месяца после того, как Советский Союз, выполнив свой союзнический долг, разгромил опору Японии – ее Квантунскую армию, Трумэн был ознакомлен с документом следующего содержания.

«Совершенно секретно.

Атомная бомба характеризуется огромным истребительным потенциалом, сосредоточенным в металлическом корпусе. Удар по транспортным средствам противника дает существенное снижение возможностей производства и доставки техники к месту военных действий... Однако считается, что, хотя атомные удары по транспортным средствам могут привести к хорошим результатам, для этих целей предпочтительнее применение бомб иной категории...

Производственные мощности СССР доступны для стратегических ударов с воздуха... Выгоднее всего, очевидно, нанесение бомбовых ударов по предприятиям, выпускающим наиболее опасные виды вооружения. К ним относятся заводы по производству авиационных двигателей, танков и радиооборудования.

Большой эффект может дать уничтожение важнейших государственных ведомств и их служащих... Главной особенностью атомного оружия является способность уничтожать скопления людей, и эту особенность необходимо использовать наряду с другими свойствами этого оружия...

Удары по промышленному потенциалу России могут дать существенный эффект только в том случае, если они будут произведены в широком масштабе. В результате разрушения основных металлообрабатывающих предприятий или таких жизненно важных объектов, как электростанции, потребовалось бы многие годы восстановительных работ...»

...С тех пор в недрах штабов – под нажимом нефтяных, авиационных и танковых королей – продолжалась разработка новых документов, развивавших то, что было заложено в первом, основополагающем. Джон Фостер Даллес дал свое заключение на черновой проект нового, совершенно секретного меморандума, подготовленного Пентагоном для Трумэна; через час после этого он встретился с Ал-

леном, проинформировав его о том, что ему стало известно. Память у него была адвокатская, редкостная, поэтому он прочитал документ военных наизусть, с небольшими купюрами, опуская те места, где было еще сыро, слишком много эмоций:

– Новые данные о возможных комплексных целях на территории СССР показывают, что уничтожение нефтедобывающей промышленности может быть обеспечено сравнительно незначительными силами, причем это быстрее всего может привести к снижению военного потенциала русских. Наиболее действенный способ нападения на эту отрасль промышленности – разрушение нефтеперегонных заводов, для чего у нас уже на ранней стадии войны должен быть достаточный тоннаж бомб. Большинство нефтеперегонных мощностей Советского Союза находится на Кавказе, хотя имеется информация о том, что в районе «второго Баку», на Урале, возведены новые установки. Множество предприятий этой отрасли находится в пределах досягаемости бомбардировщиков Б-29, расположенных на базах Британских островов и в районе Каир – Суэц.

Для выяснения сравнительного значения разных районов СССР в формировании военного потенциала этого государства потребовался бы дальнейший детальный анализ. Значение некоторых районов очевидно: Украина – производитель зерна; Донбасс – горно-промышленный район; Москва – место нахождения правительства, транспортный узел и важный центр производства готовых изделий; промышленные центры на Урале и нефтяной район «второе Баку»; наконец, горно-промышленный район Кузбасса.

Полный контроль над СССР мог бы быть, видимо, обеспечен оккупацией ограниченной по размерам территории, однако ввиду значительной площади и числа людей (военнослужащих и гражданских), которых необходимо держать под контролем, потребовались бы довольно значительные вооруженные силы союзников.

В тот же день Джон Фостер Даллес улетел в Майами и сел за свою пишущую машинку: надо было застолбить свою позицию до того, как военные захватят все.

А Бэн тем временем продолжал устраивать роскошные приемы в лучших ресторанах, на которых сводил послов с министрами, а директоров своих филиалов и военных атташе США с местными офицерами («Война – это коммуникации, – повторял он гостям, – порядок в стране не может быть достигнут без надежно работающей телефонной сети»); открывал перспективных честолюбцев на континенте, повторяя сотрудникам без устали, что чин не имеет значения, личности становятся генералами в один день, а то и час; те, кто просиживает кресла в ожидании звезды на погонах, нам не нужен. Он интересовался парагвайским офицером Стресснером; присматривался к чилийскому майору Аугусто Пиночету – совершенно поразительная работоспособность и воистину европейский педантизм; подкрадывался к аргентинскому полковнику Гутиересу, считая «серого кардинала» Перона устрашающе умной личностью.

Зная о том, как много работы у Бэна в Аргентине, Даллес заго-

дя позвонил в его секретариат и попросил отправить телеграмму в Буэнос-Айрес с просьбой пригласить полковника на ленч в любую удобную для него пятницу.

И через три дня, весело разглядывая загорелое лицо Бэна, поинтересовался:

– Где вы так прокалились? Ездили на атлантические пляжи?

– Если бы, – вздохнул Бэн. – Только два дня смог полежать под солнышком, да и то в Байресе... Мой тамошний директор Арнолд построил прекрасный бассейн на крыше дома, завез туда морскую гальку и даже затащил двадцать пальм в ящиках – лихо придумано... Октябрьское солнце весеннее еще, не так печет, как в январскую жару, но загар дает прекрасный. Завидуете?

– Очень. Я хотел слетать к Джону. Последние дни он работал на Майами, но старший брат – он и есть старший. «Времени в обрез, – повторяет мне постоянно, – любовные утехи не для нас уже, к счастью, мы не алкоголики, так что осталось нам лишь одно – дело»... Он закончил там свою работу – на неделю раньше задуманного срока. Вот почитайте, я захватил с собой рукопись, идет в «Лайфе»... Но мне хочется собрать мнения всех тех, кому я по-настоящему верю.

Бэн заколыхался в кресле:

– Вы мне верите?! Полно, Аллен! Вы меня с трудом терпите. И правильно делаете. Я сам себе смертельно надоел – суечусь, придумываю что-то, а старуха с косой смотрит и посмеивается: «Давай, милый, нам такие нужны в аду, у нас с топливом проблемы, повертишься, чтобы котлы были в состоянии постоянного кипения, а то грешники не страдают, а блаженствуют в теплых ваннах»...

– Поскольку я получил визу в чистилище, – попыхивая трубкой, ответил Даллес, – ваши адские сложности меня не волнуют.

Бэн достал очки, отодвинул салат, снисходительно отметив его чахлую скудость (вчерашний ужин у Арнолда был фруктовым – авокадо, ананасы, манго, арбузы, все это залито медом, смешанным с сиропом гауячи, очень тонизирует), и погрузился в чтение. Он читал пожирающе, втягивая в себя строки, как жадный итальянец – спагетти.

– Это грандиозно, – сказал он, окончив чтение. – Все-таки Джон Фостер – гениальный политик... Какой слог, как поразительна его аргументация...

– Аргументация моя, – Даллес пыхнул трубкой. – Слог – тоже. Его здесь только одно – имя на титуле.

– Почему бы и вам тогда это не подписать?

– Потому что я не лезу в политику. Меня это не интересует. Моя страсть – делать реальное дело, Бэн. Все-таки дело всегда было порядком выше политики, которая лишь придает удобную форму свершенному.

– Как будет называться сочинение?

– Называться будет просто: «Мысли о советской внешней политике и что нам делать».

– Чей заголовок? Ваш?

– Нет, не мой.

– И все-таки Джон Фостер – гениальный политик, – повторил Бэн, – формулировка абсолютна.

– Это не его формулировка.

– Чья же?

– Одного из ваших конкурентов, – усмехнулся Даллес. – Раньше был другой заголовок, мы изменили. Берите ручку и вносите вашу правку, я вас за этим и сорвал с аргентинской крыши, где установлен бассейн под пальмами.

– У меня нет замечаний, Аллен. Я со всем совершенно согласен. И потом, главный удар вы наносите по стратегии Советов в Восточной Европе, а это не мой регион. Мы же с вами уговорились, что я сосредоточиваю максимум усилий на юге нашего континента.

– Которые будут по-настоящему результативны только в том случае, – заключил Даллес, – если русские навсегда забудут, где находится Западная Европа, Азия, Африка и – особенно – Латинская Америка. А добиться этого можно лишь в том случае, если мы сформулируем концепцию русской экспансии в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Югославии с Албанией. Ленин верно говорил: идея лишь тогда становится силой, когда она овладевает умами масс.

Бэн усмехнулся:

– Цитируете Ленина? А как со Сталиным?

– Солидарен с Черчиллем: не люблю, но уважаю. В этой связи, не вздрагивайте, пожалуйста, но я включил вас в одну прелюбопытнейшую комбинацию со Сталиным.

– Аллен, вы, случаем не переработали? Не началась горячка? А то заберу на отдых в Байрес.

– Я с радостью полечу, – ответил Даллес, – особенно если вы оплатите билет и гостиницу. Но про комбинацию – я серьезно, полковник. Наши люди тщательно просчитали ряд национальных черт русских и вывели, что в политике они весьма и весьма подозрительны. Это объяснимо с точки зрения их истории: монгольское иго, войны со шведами и немцами, турецкие набеги, Наполеон, Севастополь, мы, наконец, в восемнадцатом. А Сталин хочет быть более русским, чем сами русские, потому что по крови он грузин... Вот бы и помочь ему в его личной и их, русских, государственно-политической подозрительности? Попугать и потемнить, а?

– Не понимаю.

– Это и хорошо. Когда собеседника понимают с полуслова, значит, он не очень-то умный человек. Только не торопите меня, я обсматриваю свою идею еще и еще раз, когда делюсь ею с таким зубром, как вы. Глядите, что произошло в мире... Впервые за всю историю русские вышли из географической изоляции, оказавшись в Вене, Берлине, Праге и Будапеште. Такого еще никогда в их истории не было. Они разрушили традиционный «санитарный кордон», созданный в восемнадцатом году, когда группы Савинкова базировались в Польше, а группы монархистов – в Румынии, Чехословакии и Болгарии. Давайте в разговоре друг с другом называть вещи своими именами: Сталин не нарушил ни одного пункта из тех деклараций, которые подписал в Крыму и Потсдаме. Сталин не просто

имеет право, он прямо-таки обязан – с точки зрения государственных интересов России – сделать все, чтобы страны «санитарного кордона» отныне и навсегда стали его союзницами, а не врагами, как это было раньше. Сталин поступает совершенно справедливо, да, да, Бэн, совершенно справедливо, когда делает все, чтобы у власти в странах Восточной Европы стояли коммунисты; никто так открыто не противостоял нацизму, как они, это – историческая правда. И в этом Сталин опирается на поддержку общественного мнения не только в Париже и Риме, но и у ряда наших политиков, увы: борьба красных против гитлеризма сделалась легендой, и я затрудняюсь сказать, кто больше этому способствовал – русский писатель Эренбург или американские кинематографисты Голливуда. Эрго: выход из создавшегося положения – а оно крайне трудное, нельзя закрывать на это глаза: мы пожинаем плоды деятельности Рузвельта и его либералов – я вижу в том, чтобы сделать все, что в наших силах, дабы дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе. Если мы добьемся этого, тогда Сталин завязнет там, – не до контршагов в Латинской Америке.

– Интересно. Мне всегда несколько тревожно слушать вас, но я считаю мир без тревог – крематорием; скучно; загнивание. Это интересно, – повторил Бэн, – но я исколесил Латинскую Америку вдоль и поперек, пополнил свои былые впечатления и убедился: не большевизм повинен во взрывоопасной ситуации на юге континента, Аллен, не Сталин, а мы с вами – американцы.

– Совершенно верно, – с готовностью согласился Даллес. – Виноваты мы, наша молодая горячность, эгоистическое желание сделать всем добро, а сделать это, как считают все наши, можно только одним: навязав югу нашу социально-экономическую модель. А они являют собой совершенно другую субстанцию. Они говорят по-испански, они дети иной культуры, там солнце иное, там нищета есть норма жизни, и она не кажется им нищетой, как нам, все верно, не спорю. Но я не хочу, чтобы на юге была даже возможность для иной точки зрения на происходящее. Там необходима крепкая власть, которая сможет гарантировать проведение нашего благотворительного эксперимента. В условиях болтовни и парламентский расхлябанности экономический эксперимент невозможен! Кто сможет гарантировать надежность наших вложений на юге, кроме тамошних армий? Ведь только они станут – или не станут – стрелять в безответственных демонстрантов! Я называю кошку кошкой, в этом привилегия тех, кто делает дело, Бэн, а не занимается политикой – в чистом виде.

– Согласен со всем, что вы сказали. Не хватает последнего логического звена, которое свяжет всю цепь.

Даллес кивнул:

– Верно. Только не одного, а двух. Итак, первое: отныне наше благополучие на юге континента будет напрямую завязано с ситуацией в Восточной Европе. Дестабилизация – путь к ослаблению. Всякое ослабление русских – угодно делу демократии. Второе: вы ведь имели кое-какие позиции в Венгрии, не так ли?

– Надо посмотреть.

Даллес снова кивнул:

– Развертывание деловой активности ИТТ в Будапеште не может не вызвать подозрительности со стороны дяди Джо. Пусть он тратит максимум времени на то, чтобы смотреть за происходящим в непосредственной близости от его границ. А если мы еще и поможем ему, если вы направите в Вену и Будапешт тех людей, которые известны секретной службе русских как их коллеги, тогда там может начаться долгая и не всегда управляемая реакция...

– У меня нет таких людей, Аллен.

– У вас есть такие люди, во-первых, а во-вторых, если бы их не было, мы были бы обязаны создать их, придумать легенду и организовать утечку информации: пусть русских разъедает ужас подозрительности. Это такая болезнь, которая может стать хронической, а всякое хроническое заболевание противника – во благо нашему делу...

...Как всегда, Даллес говорил с подкупающей откровенностью, и никто из его собеседников не мог и предположить, что он загодя четко дозировал ту информацию, которой делился. Накануне беседы он проговаривал (запершись в ванной, привычка укоренилась после трех лет, проведенных в Швейцарии, когда за каждым его словом охотилась секретная служба нацистов) всю партитуру предстоявшей встречи.

И сегодня Даллес отдал Бэну сотую часть того, что знал, точно просчитав ту дозу информации, которой можно и – главное – нужно было поделиться с Бэном, причем таким образом, чтобы тот почувствовал себя посвященным в высшую тайну.

Бэн, конечно же, не мог предположить, что многие из тех трудностей, с которыми он сталкивался в Аргентине, Чили, Парагвае и Колумбии, были тщательно спланированы и реализованы доверенными людьми Даллеса: конкуренция не только матерь бизнеса но и надежная помощница политики; точно и ко времени пущенный слух позволял соперникам Бэна наступать ему на мозоли; полковник использовал все свои связи, но оказывался бессильным добиться того, на что ставил; обращался к Даллесу – тот помогал; всякая помощь предполагает благодарность; так и жили.

Бэн не знал и не мог знать, что неприятности последних недель, связанные с упрямством полковника Гутиереса (считай, Перона) были срежиссированы командой братьев Даллесов; телефонограмма, пришедшая в Байрес с предложением о ланче, показалась полковнику прямо-таки божьим знамением: ведь не он о нем просил, а именно Аллен, так что обсуждение вопроса о возникших с Гутиересом трудностях совершенно не обязательно повлечет за собой необходимую (в том случае, если бы он сам добивался свидания) благодарность.

Он, естественно, не знал и не мог знать, что лучшая в Байресе исполнительница танго Кармен-Мария была подведена к Гутиересу людьми Даллеса. Она – конечно же, в определенной степени – влияла на полковника, но ее берегли для главного, бог знает, когда

оно, это главное, может возникнуть. Поскольку Перон считал интриги, наносившие ущерб семье, грехом (должность президента обязывала говорить именно так), компрометация «серого кардинала» порочащей его связью могла – в определенной ситуации – принести существенные дивиденды, а пока Кармен-Мария выполняла поручения нетрудные и вполне объяснимые. На ее концерты народ валил валом, особенно неистовствовали американцы; завязывались контакты; ее часто приглашали к столу, дарили цветы, говорили обо всем – и о том, зачем прилетели в Аргентину тоже, – так что женщина не могла не делиться с любимым щебечущими новостями, а женский нажим – особого рода, тем более если проводится во время любовных утех; это и не нажим вовсе, а нежный каприз, ну как его не выполнить, если и просьба-то пустяковая и никак не связана с теми масштабами, которыми ворочал Гутиерес.

Так что прилет Бэна к Даллесу при всей кажущейся случайности телефонограммы Аллена в Байрес был на самом деле организован загодя.

Не открывал Даллес и того, что он определял подробностями, а они являются ключами в настоящей разведывательно-политической акции. Именно так – разведывательно-политической; ОСС занималась только разведкой и диверсиями, а теперь, после того, как взят курс на создание качественно нового инструмента международного сыска, ему будут приданы функции определения политики, а уж государственному департаменту останется только шлифовать и оформлять содеянное командой Даллеса (пока что разбросанной по всему миру). Придет время – слетятся под крыло, пока рано, надо ждать выборов, тогда и настанет истинное время братьев, тогда они и скажут свое слово, и это будет весомое слово, на многие годы вперед весомое.

Решив разыграть восточноевропейскую карту, Даллес не начинал ничего нового – это было лишь продолжением его давнего замысла, окончательно сформулированного год назад в беседе с братом за десертом в их клубе, когда Джон Фостер хрустяще грыз желто-красное яблоко, пахнувшее детством, рождественскими праздниками и тихим счастьем, сопутствующим каждой семье, где родители являли собой образчик редкой ныне совпадаемости – начиная с общих привычек, симпатий, традиций и кончая постелью, что также весьма важно для той ячейки общества, которая дает жизнь себе подобным.

Он – чем дальше, тем четче – видел, что в странах Восточной Европы оформились три силы, которые и определяли как настоящее, так и будущее этого региона. Первой силой он считал тех, кто нескрываемо выказывал свою преданность Западу; фанатизм этих людей делал их весьма заметными в Варшаве, Бухаресте, Праге, Будапеште, Тиране, Белграде и Софии. Второй силой Даллес называл тех, кто наиболее активно сражался с гитлеризмом и, таким образом, пользовался безусловной поддержкой как своего народа, вкусившего ужасы «нового порядка», так и Кремля. Была и третья сила, в определенной мере нейтральная: технократы, чиновничество и люди искусства. Находясь между двух противоборствующих тенденций,

эта третья напряженно ждала того, как будут развиваться события.

Даллес знал, что первая сила обречена на разгром: фанатики «западной идеи», отвергавшие возможность долговременного контакта с Россией, должны были исчезнуть с шахматного поля политической схватки; это – аксиома. В ближайшем обозримом будущем в странах Восточной Европы люди будут помнить, что от гитлеровской оккупации их спасли русские. Увы! Так же как представители второй силы, то есть коммунисты, еще долго будут увенчаны лаврами борцов против коричневых иноземцев; следовательно, их авторитет вполне естествен, разговорами об «экспорте революции» не отделаться: они работали в условиях подполья, принимали мученическую смерть, черпая надежду – в последние часы перед казнью – в том, что Красная Армия идет на помощь, она, Красная Армия, принесет свободу их замученным народам.

Оставалась надежда на третью силу. План Аллена Даллеса был логичен, а потому жесток. Его цель заключалась в том, чтобы разбить третью силу, разделив ее между второй и первой. Наезды Бэна в страны Восточной Европы должны были – по замыслу Даллеса – породить надежды у симпатизирующих западной ориентации, среди технократов и интеллигентов, что не могло не вызвать ответной реакции со стороны тех, кто стоял там у власти, причем не потому, что они, эти люди, были навязаны русскими, а оттого именно, что они завоевали право на власть самим фактом своей борьбы против гитлеризма.

Подозрение – матерь конфликта; Шекспир достаточно точно препарировал эту проблему, создав образ Яго.

Драка между «своими» угодна концепции братьев Даллесов.

Надо спровоцировать эту драку, помочь ей, тогда покатится.

Полковник Бэн – человек прямолинейный; он верит в чудо, то есть в немедленную победу западной ориентации. Ну и прекрасно...

Он, Даллес, отдает себе отчет в том, что победа эта – на данном этапе – совершенно невозможна и даже в чем-то нецелесообразна; однако же мины закладывают впрок смелые техники, а уж вопрос времени взрыва принадлежит руководителям; он, Даллес, считает себя таковым, он имеет право на это и готов за это право повоевать.

Он никогда не сторонился боев «местного значения»; он загодя продумал все мелочи, даже такую, что в тот будапештский отель, где остановится Бэн, в его отсутствие позвонит доктор Вестрик, назовет свое имя портье и попросит передать полковнику, что ждет его звонка в Гамбурге. Не только в Будапеште, но и во всей Европе имя Вестрика достаточно хорошо известно, он одиозен – связник между Гиммлером и правыми в Штатах накануне начала войны.

Бэна начнут нервировать на Востоке, это еще более прекрасно, пусть: человек, который нервничает, допускает ошибки; они угодны ему, Даллесу, и его задумке.

А потом придет время Фельда. Чистый и убежденный коммунист, эмигрант из Чехословакии, он возглавлял то отделение в ОСС в Берне, которое во время войны поддерживало связи с левыми оппозиционерами в Восточной Европе.

Даллес не сказал ни слова, когда Фельд решил вернуться в Пра-

гу после победы над Гитлером, а ведь он мог многое ему сказать. Нет, пусть он едет. Фельд стал заместителем министра иностранных дел, – тем лучше! Когда придет время, к нему позвонят те, кому не верят коммунисты, и попросят о встрече. Это вызовет такую бурю подозрений, какую даже трудно представить. И прекрасно! Да здравствует драка между своими, нет ничего прекраснее, когда враги уничтожают самих себя, тем будут сильнее он, Даллес, и его дело!

...Через три недели Бэн пригласил к себе племянника выдающегося киноактера Сандерса (как и дядя, Эдгар родился в Петербурге, по-русски говорил лучше, чем по-английски) и предложил ему слетать в Вену, в штаб-квартиру ИТТ, которую возглавлял Роберт Воглер, работавший во время войны в американской разведке.

Москва знала, что Сандерс был капитаном британской секретной службы. Именно этот человек и проводил Бэна и Воглера до венгерской границы, когда те отправились в Будапешт для того, чтобы поставить «дымовую завесу», которая не могла не насторожить русских. Именно он постоянно звонил к ним из Вены и вел весьма двусмысленные разговоры, полагая, что такого рода контакты зубров ИТТ вполне могут быть контролируемы, ибо Бэн нигде и никогда не скрывал своего негативного отношения к коммунистам, пришедшим к власти в Будапеште.

Бэн часто вспоминал слова Даллеса: «Вы – начните, пусть дядя Джо продолжает; спровоцировать нужное нам действие порой значит больше, чем выигранное сражение; в битве мы теряем своих солдат; в том, что следует затем, когда расцвела ядовитая роза подозрительности, потери несет противник».

Он дивился математической точности Даллеса: прибыл в Будапешт в те дни, когда коммунистическая пресса начала комментировать статью Джона Фостера Даллеса в «Лайфе». Он сразу же почувствовал, что на удар, нанесенный Вашингтоном самим фактом его прилета, здесь сумеют ответить.

Вопрос заключался лишь в том: когда и каким образом?

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ПЛАН» (Асунсьон, ноябрь сорок шестого)

Роумэн недоумевал: второй день он приходил на главную почту Асунсьона, но Брунна (все-таки «Брунн» к Штирлицу прилип; есть имена, которые ложатся на человека даже лучше, чем то, под которым он жил раньше) не было.

Разболтанный «фордик», который Роумэн взял в посольстве (уехал экономический советник, автомобиль стоял безнадзорный около его дома со спущенным передним скатом), заводился с трудом, мотор, содрогаясь, ноюще стонал, словно страдал хроническим запором. Роумэн с тревогой смотрел на приборный щиток: стрелки давления масла в двигателе то и дело зашкаливало. Как можно успевать по делам, связанным с экономическими вопросами, на таком драндулете?! Ну и советник, ну и работничек, а в неудачах, конечно, ви-

нит красных; на себя бы оборотился, в таком «форде» только на похороны ездить, а не дела вертеть.

– За вами смотрят, – услышал он тихий голос, – оторвитесь и поезжайте на индейский рынок, я там вас найду...

Роумэн не сразу поднял голову от щитка, узнав голос Брунна, почувствовал, как ухнуло сердце, словно пришел на свидание к женщине. Отсчитав про себя «семь» (красивая цифра – при лебединой грации в ней еще сокрыта некая особая надежность), посмотрел на улицу: сумасшествие какое-то, никого нет. А почему он должен был идти вперед? Удивился своей заторможенности, перевел взгляд на зеркальце: изящно одетый мужчина в легком сером костюме неторопливо шел через дорогу, обогнув машину, – Штирлиц.

«Кто за мной смотрит, – недоумевал Роумэн. – Не может этого быть. Если даже и смотрят, то за ним, поскольку в самолете с ним случилось нечто серьезное; да, но он сказал, что смотрят за мной, – странно».

Мотор наконец схватил. Роумэн нажал на акселератор, тронув «форд» так, что заскрипели покрышки и образовалось легкое голубоватое облачко, повисшее за машиной; оно висело в воздухе, словно грозовые облака в небе, пока Роумэн не завернул за угол. «Хвоста» не было.

Он притормозил машину. «Ну, давайте, мальчики, – подумал Роумэн, – я подожду вас, пристраивайтесь». Улица была по-прежнему пустынной, лишь проехали два красиво расписанных экипажа. «Типично испанский стиль, девять тысяч миль от Севильи, а поди ж ты, что значит конкистадорство».

«Если за мной смотрят, "хвост" должен быть непременно, они же не знают ни того человека, с кем я должен встретиться, ни того места, где назначен контакт. Хорошо, а если они знают и Брунна, и то место, где мы увидимся? Они подхватят нас там. Но от кого они могут узнать место встречи? От Брунна?»

Асунсьон был мало похож на столицу, разве что самый центр, несущий в себе неистребимые следы испанского стиля: громадное здание почты, столь же помпезный, с громадными колоннами парламент, несколько домов, построенных в конце тридцатых годов, – вот и все. Остальной город – особняки, утопающие в зелени за высокими металлическими заборами, и лачуги индейцев – этих куда больше. А уж окраины сплошь состояли из развалюх, сколоченных из листов старой фанеры, картона и тоненьких щепочек; ни водопровода, ни электричества; смрад, мухи, голые детишки, играющие в пыли; коленные чашечки распухли, ручонки тоненькие – рахит.

Рынок, который здесь называли индейским, примыкал к старому меркадо[1]; продавали лекарственные травы, чай матэ, листья и зеленые катышки коки – положишь под язык, прибавится силы, можешь легко одолеть подъем в гору; торговцы, привозившие сюда этот полунаркотик из Перу, знали в нем толк, торговля шла бойко, не зря «грин-

[1] Меркадо – рынок *(исп.)*.

го» делают из этих листьев кока-колу, они денег на ветер не бросают. Продавали здесь глиняные статуэтки, как правило, Сан Мартин на коне в сомбреро и пончо, заброшенным за спину, Симон Боливар возле стяга, раскрашенного желто-голубой краской; солнце похоже на лицо индейца, такое же скуластое, крепко скроенное, и глаза-щелочки; легкие сандалеты – кусок кожи и два шнурка; сумки – как разноцветные хурджины, так и дорогие, из змеиной кожи; седла, отделанные серебром; вязаные многоцветные шапочки; красно-сине-белые опахала; коренья диковинных деревьев, обладающие лечебной силой; игральные кости и кожаные стаканчики для покера; пряности из сельвы; вяленое мясо в кожаных мешочках. Чего тут только не было, бог ты мой!

Гомон был постоянным, он образовывал устойчивый гул, напоминавший чем-то тот, который на рассвете был слышен в Игуасу, когда Шиббл и Штирлиц проезжали мимо громадных, почти как Ниагарские, водопадов, только в предрассветье не было зыбкой радуги; раскаленное бесцветное небо, и солнце бесцветное, духота.

Роумэн шел по рынку, разглядывая товары, купил статуэтку Карла Маркса с трубкой мира во рту. Подарить бы такое сенатору Маккарти – немедленный инфаркт миокарда. Он не оглядывался, зная, что вот-вот Штирлиц подойдет к нему сзади, и почему-то был совершенно уверен, что тот попросит его не оборачиваться и назовет новое место встречи, обязательно ночью, где-нибудь среди шума и многолюдья. «Здесь нет такого места, – возразил он себе, – деревня; и попугаи спать не дают, дразнятся всю ночь; надо будет купить какого-нибудь говоруна Крис, ей понравится, конопушке, как там она, человечек?»

– Слушайте, – услыхал он голос Штирлица; тот стоял у него за спиной и разглядывал деревянную маску, сделанную из белого ствола пальмы, – за вами тут тоже топает высокий, крепкий парень, стриженный бобриком, в сером костюме; глаза маленькие, нос боксерский; он вышел за вами из самолета. Меняет его, как мне кажется, девка, похожа на здешнюю, в белом платьице с большим хурджином на боку; а парень постоянно ходит с портфелем свиной кожи, довольно толстым, в таких таскают разобранные автоматы, по облику – американец.

– Спасибо, – не оборачиваясь, сказал Роумэн.

– Любимую высвободили?

– Да.

– Где она?

– Миссис Роумэн в Штатах. Вы убеждены, что за мной ходят?

– Да.

– Вы больше не прихрамываете. Что, это был камуфляж?

Штирлиц не смог скрыть улыбки, в чем-то даже по-мальчишески тщеславной:

– Заметили в зеркальце?

– Да.

– Это поразительная история, расскажу... Поболтаем здесь, пока ваш паренек не подвалил к нам? Или встретимся позже?

– За мной не было машины, я проверился. Все это довольно странно.

– Я очень рад видеть вас, Роумэн.

– Как ни странно, я тоже.

– Я вас подхватил в аэропорту, как только вы прилетели. Очень ждал. Постарайтесь вспомнить, фамилия Викель из лиссабонского ИТТ вам ни о чем не говорит?

– Нечего вспоминать, Португалия – не моя епархия.

– А Ригельт, штурмбаннфюрер Ригельт, ничего о нем не знаете?

– Нет... А почему бы нам не поговорить в машине? Если увидим «хвост», я смогу оторваться, да и вы не ковыляете больше, уйдете через проходные дворы, заборы-то соломенные, нырк – и нет!

– Идите первым, только попробуйте поскорее завести мотор, – Штирлиц усмехнулся, – тогда я к вам и сяду. Поезжайте к реке, в случае чего – легко оторваться, дорога довольно широкая, преследование заметно, есть хорошие повороты в район порта. На всякий случай, я остановился на калле[1] Менендес Пелайо, семь, ателье художника Бенитеса. К вам в «Эксельсиор» идти нет резона. Телефон ваш знаю, позвоню два раза, опущу трубку – значит, что-то экстренное; на почте, если «хвоста» не будет, впрыгну в машину.

– В машине не могли сказать? – Роумэн, не оборачиваясь, пожал плечами. – Что-то слишком уж вы конспирируетесь. Странно, что за мной топают, неужели ваши?

Они дошли до машины: Роумэн – впереди, а Штирлиц, то и дело задерживаясь у прилавков, – следом.

Рядом с «фордом» никакой машины не было; в другом конце улицы в моторе разбитого «джипа» без левого крыла копался парагваец в белых шортах и сандалетах на босу ногу. Машина экономического советника, постонав, сколько и было положено, наконец завелась, и снова в дрожащем, слоистом воздухе повисло бело-голубое облачко, цветом похожее на грозовую тучу.

Штирлиц быстро сел рядом с Роумэном и сразу же включил радио. Звука не было – мертво.

– Чья машина? – спросил Штирлиц.

– Нашего парня из посольства. Разгильдяй чертов! Не автомобиль, а катафалк, хотя набирает здорово, с места, словно двигатель форсированный... Ну, рассказывайте, старина, сзади чисто, мы одни.

Штирлиц опустился к радиоприемнику, пошарил в приборном щитке, нащупал что-то, жестом попросил Роумэна припарковаться; тот, недоумевая, притормозил возле обочины. Мальчишки, стоявшие до этого кругом и рассчитывавшие друг друга на игру, – как и во всем мире: «квинтер-финтер-жаба, энэ-бэнэ-раба», – бросились к машине; в этом районе автомобиль был диковиной, а в центр их, рваных и босоногих, не очень-то пускала полиция.

Штирлиц уцепил пальцами проводок, присмотрелся – в отличие от других, запыленных и промасленных, – новенький; потянул его на себя, приподнял коврик, перегнулся через спинку кресла, вылез из машины, извиняюще улыбнувшись мальчуганам, которые сразу же что-то закричали про «гринго», открыл заднюю дверь, приподнял

[1] Калле *(исп.)* – улица; аргентинцы произносят «кажже».

сиденье, заглянул туда, запустил руку, вытащил маленький микрофон, выдернул из него шнур, что шел к приборной доске, и бросил штуку Роумэну.

– Вот почему они не сидели у вас на «хвосте», – сказал Штирлиц. – Ну, мудрецы ребята. Это ваши, Пол, это – не мои, слишком уж современная штука. В рейхе таких не делали, закупали через Швейцарию у полковника Бэна. Теперь они засуетятся, так что давайте, жмите по второй дороге, я покажу, там есть съезд к реке, черт не найдет, и славный ресторанчик, подъезд просматривается со всех сторон и к тому же дают сказочную рыбу.

– Ну, вы и дьявол, – заметил Роумэн, косясь на крошечный микрофон с небольшим динамиком, – я бы никогда не додумался.

– Что, вас такой аппаратурой не снабжали в Мадриде?

– Нет. Я слышал про опытную партию, обещали, но, говорят, все загнали в Москву и Восточную Европу, там нужней. Значит, нас топчут мои, Брунн. Вы правы. А если все-таки ваши, значит, они так влезли в Штаты, что можно только диву даваться, грань государственной измены... Ладно, это тема для размышлений, когда я останусь один. Пока рассказывайте, что случилось.

...Выслушав Штирлица, он спросил:

– Ваша версия?

– Как вам сказать... Более всего меня, как ни странно, потряс Шиббл. Почему и он с Ригельтом? Каков смысл? Ведь он англичанин! Резон? Вы можете объяснить?

– Не могу.

– Занятно, нет?

– В высшей мере. Ригельта описать сможете?

– А я его нарисовал. Вам же приглянулась моя живопись у Клаудии... Вот, держите.

Роумэн глянул на кусок картона: портрет был выполнен в цвете.

– Тут и краски продают, в этой дыре?

– Нет. Их привозит из Лимы мой квартиродатель дон Бенитес. Паспорт сможете достать?

– Смогу. Но он будет засвеченным, вас с ним щелкнут на любой границе. Видимо, когда я попрошу об этом, мне дадут именно такой паспорт. Впрочем, можно рискнуть: я вам отдам свой, на сливочном масле, а себе возьму тот, который приготовят в здешней резидентуре... Букву «Р» легко исправите на «Б», «о» на «а» – мистер Баумэн, весьма далеко от Роумэна, ничего, пострадаете с неблагозвучной фамилией Баумэн, главное – будет надежно.

Роумэн глянул в зеркальце: дорога была совершенно пустынной.

– Направо, – сказал Штирлиц. – А потом резко налево и вниз, к набережной.

– Хорошо.

– Как вам эта морда, – Штирлиц кивнул на портрет Ригельта, – не встречалась?

– По-моему, нет. Погодите, когда остановимся, я разгляжу получше. Долго до места?

– С милю. Вы говорили, Спарк работал в Лиссабоне. Он его не может знать?

– Спросим, – ответил Роумэн и с трудом сдержался, чтобы не сказать вслух то, что он сейчас думал про Макайра: «Ну, сукин сын, а?! Но как работает, стервец! Прямо по-бульдожьи! Только зачем я ему? Чем интересен? Ставить за мной "хвост", тратить уйму денег на перелеты, это ж надо пробить через финансовое управление – огромные траты, на это редко идут наши скупердяи, зачем все это?!»

– Хорошо бы поскорее, – сказал Штирлиц. – Тут налево, видите, соломенные крыши, это и есть «Пескадор», встаньте за забором, сверху машину не будет видно.

– Ладно. Валяйте, слушаю вас.

– Ригельт был адъютантом штандартенфюрера Скорцени, вот в чем дело.

– Человека со шрамом?

– Да.

– С какого года?

– Думаю, с сорок второго. Хотя вопрос ваш застал меня врасплох, говоря откровенно. Почему вас интересует год?

– Потому что Скорцени принимал участие в расстреле полковника Штауфенберга и других генералов, участвовавших в покушении на Гитлера. Их убили за пятнадцать минут перед тем, как приехал Геббельс, он должен был лично допросить их, пока в Берлин летел Гиммлер. Кому-то было важно убрать заговорщиков до беседы с Геббельсом. Кому? Нас это интересует по сию пору. Мы до сих пор ищем следы. Значит, если в сорок четвертом Ригельт был со Скорцени, у нас в архивах есть на него материалы.

– Это интересно, Пол. На этом его можно сломать. А если мы его сломим на этом, прижав архивными документами, он отдаст нам имя того человека, который сказал ему, что вы посадили меня на испанский самолет, успел зарезервировать ему место на тот же рейс, сделать визу, снабдить деньгами и снотворным, – бутылка была закупорена на фабрике, значит, у них есть склад такого рода приспособлений... А если он назовет нам имя этого могущественного, судя по всему, человека, тогда дело прояснится, мы поймем, кто есть кто...

– «Мы» поймем, – усмехнулся Роумэн и затормозил. – Пошли есть рыбу, доктор. Кто это «мы»? Обручение секретных служб Америки и России?

– В борьбе против нацистской цепи, – улыбнулся Штирлиц. – Почему бы нет? Ведь мы союзники, а не враги, если, впрочем, согласиться с версией, что я действительно представляю русскую секретную службу... Жареную рыбу будете? Или вареную?

– Да ничего я не буду, – поморщился Роумэн. – Я буду пить минеральную воду.

– Здесь это очень дорого. Лучше закажите сок, очень легкий, зеленоватый, освежает... Ну, и, конечно, нас не может не интересовать этот лондонский журналист Мигель. Кто дал ему материалы на «Стиглиса»? Или «Бользена», это уж как угодно. Кто? Смысл? Интересно, нет? Там тоже потянется цепь, и она приведет к тому, кто дергает веревочки, сообщая нужные телодвижения куклам.

– Послушайте, – сев за столик, стоявший почти у самого берега, спросил Роумэн, – а как вы оцените то, что Гаузнера шлепнули в моем доме? Это по правилам? Или так Гиммлер не действовал – слишком уж рискованно?

– Вы можете рассказать мне – желательно по минутам – все, что там происходило?

Роумэн достал пачку неизменных «Лаки страйк», заказал подошедшему официанту («Спит на ходу, неудивительно, что живут в нищете, поворачиваться надо, а не мух считать, тогда нищих не будет») стакан сока и кофе, Штирлиц попросил себе чашку матэ и взглядом спросил у Роумэна разрешения взять его сигарету; тот кивнул и начал неторопливо, подолгу обдумывая каждое слово, вспоминать все, что случилось в Мадриде.

– Это очень странное дело, – сказал Штирлиц, выслушав рассказ Роумэна. – По почерку похоже на стиль Шелленберга, мой шеф любил внешние эффекты, полагал, что это сокрушающе действует на вербуемого. Но шлепать Гаузнера в вашем доме, шлепать лишь для того, чтобы получить у вас бумажку, да еще при этом открыто выражать вам сочувствие... Черт его знает, это дело нужно очень тщательно обмозговать... Подробности, Пол, мне нужны подробности, самые незначительные, пустые, фасон туфель Пепе, его манера прикуривать, расцветка галстука, стрижка, запах духов...

– Мне казалось, что от него разило козлом, – усмехнулся Роумэн. – Только после того, как он ушел, я понял, что это от меня самого разило потом, я очень потею, когда пугаюсь чего-то...

«Он не играл и не играет, – подумал Штирлиц, – так может говорить только искренний человек; если все же он играет со мной, то есть против меня, можно считать, что я уже проиграл партию, он значительно сильнее».

– Что касается запахов, – усмехнулся Штирлиц, – то надо обращаться к штурмбаннфюреру СС фон Голесофф, он различал нюансы, мог сказать, из каких трав нагнали мед, с каких угодий – горы или равнина, Альпы или, наоборот, Тюрингия. Все «Шанели» различал по номерам и составлял психологический портрет женщины, которая интересовала Шелленберга, по ароматам, какие хранил ее бельевой шкаф; довольно любопытно, нет?

– Следы надо искать в Мюнхене, – хмуро заметил Роумэн.

– Почему именно в Мюнхене?

– У нас в Америке пока еще привлекают к суду за клевету и диффамацию, надо быть очень осторожным с обвинением кого-либо в чем-то... Объясню позже.

– Кого намерены обвинить?

– Я же сказал: объясню позже, когда и е с л и соберу достаточно документов, которые можно квалифицировать как улики. Неопровержимые улики... Этот Пепе... Понимаете, Крис... миссис Роумэн сказала, что глаза его были полны сострадания, когда он наблюдал за тем, как ее мучил какой-то немец... Неизвестный мне немец... Как он задавал ей гнусные вопросы, упивался ожиданием ответа... Женщина чувствует острее нас, Кр... миссис Роумэн – особенно.

– Вам приятно называть жену именно миссис Роумэн? – спросил Штирлиц. – Или – так надо?

– Не знаю... Она как спасательный круг в шторме... Мне приятно сознавать, что она и я – одно целое. А вообще не суйте свой нос не в свое дело. Спрашиваю – отвечайте. И все. Ясно?

– Я теперь стал сильный, Пол, выздоровел. Врежу в ухо – только пятки засверкают.

– Это как? – усмехнулся Роумэн.

– Очень просто. Опрокинетесь на спину, а каблуки ваших туфель, скрывающие розовые пятки, на какой-то миг окажутся у меня перед глазами; когда противник повержен – в глазах высверкивает от радости. Ответ понятен, нет?

– Вполне. Но ваше смешное выражение напоминает перевод поговорки. Чьей только?

– Как это чьей? – удивился Штирлиц. – Конечно, русской... Ладно, давайте дальше про Пепе и про миссис Роумэн...

– Черт с вами, называйте мою жену Крис... Мне вообще-то неприятно, когда ее так называет кто бы то ни было, кроме меня.

– Разъяснением удовлетворен, – улыбнулся Штирлиц.

– Так вот, доктор, у меня создалось впечатление, что этот самый Пепе прилетел из Штатов... У него есть акцент, едва угадываемый акцент, но я убежден, что это отнюдь не ваш немецкий. И не испанский.

– Итальянский?

– К этому я и веду.

– Мафия?

– А почему бы и нет?

– Ваши службы используют мафию?

– Нет, – ответил Роумэн; задумавшись на мгновение, поправил себя: – Скажем лучше так, что мне это неизвестно.

– Шелленберг считал, что ваши люди из ОСС контактировали с мафией в Сицилии... В сорок третьем... Нет?

– Этого не может быть. У нас была информация, что ряд мафиози был завязан на Муссолини... Мы бы не стали иметь с ними дело, это против правил.

Штирлиц внимательно посмотрел на Роумэна, потом рассмеялся:

– Вы мучительно боретесь с самим собой: верить мне или нет, Пол. Вы ответили как дилетант... По поводу «правил»... Что, использование Гаузнера – это по правилам? Или этого самого таинственного генерала Верена. Ладно, у вас будет время еще и еще раз подумать о моих словах... Лицо Пепе никогда и нигде вам не встречалось? Убеждены?

– Убежден.

– Крис описывала вам того мерзавца, который с ней работал в его присутствии?

– Садист...

– Они все садисты... Они считали себя рыцарями национал-социализма, которым надо переступать через самих себя, через сентиментальность и сострадание во имя третьего рейха... Это был очень сложный комплекс, Пол. Они плакали над больным котенком, ко-

торого замечали в развалинах после бомбежек, и спокойно наблюдали за тем, как на снегу замерзал лауреат Нобелевской премии фон Осецки; ведь он посмел выступить вместе с Тельманом против наци, чего ж его жалеть, сорняк, необходимо выполоть. Жестоко, конечно, но ведь это делается во имя здоровья нации... Вот такая штука, Пол...

– Она не могла мне описать его, доктор... Я не смел просить ее, вы, надеюсь, понимаете состояние женщины...

– Я понимаю... Можете достать фотографии людей из центрального штаба гестапо?

– Думаю – да.

– Это замечательно. Можете достать фотографии людей НСДАП, работавших в Австрии до аншлюса?

– Их же были сотни тысяч...

– Значительно меньше. Меня интересуют люди гестапо и СС, типа Скорцени и его группы, Кальтенбруннера и его окружения, Эйхмана и его приближенных... Кальтенбруннера повесили, Эйхман скрылся, Скорцени получает на завтрак поредж со сливками в вашем лагере, судом не пахнет... Австрийские наци были совершенно особыми, они были вхожи в рейхсканцелярию, фюрер был неравнодушен к австрийцам, как-никак своя кровь...

– Вы хотите, чтобы я показал Кристе все фотографии и попросил ее опознать того мерзавца?

– Да. А если вы сможете найти какие-то материалы по поводу мафии... Если информация Шелленберга не была липой, если Донован или Даллес действительно пытались использовать синдикат[1] в своих целях, – в общем-то, не сердитесь, Пол, это по правилам, по их правилам, – тогда мы сможем выйти на Пепе.

– Но если это случится, хотя, ясное дело, все это чертовски трудно, тогда, значит, существует государство в государстве, доктор... Вы хотите в этом убедиться?

– Лучше бы этого не было, Пол.

– Я тоже так считаю.

– Может, тогда и не искать?

– Не провоцируйте меня. Сверкнут ваши ноги.

– Пятки, – поправил Штирлиц. – Если уж цитируете, то делайте это грамотно...

– Сидят два человека разных национальностей на берегу мутной реки и говорят об ужасах... Ваша настоящая фамилия, доктор, как звучит?

– Красиво.

– Я хочу конкретики...

– Перестаньте, Пол... Вы прекрасно обо всем догадывались, только поэтому и решились поверить мне... В определенной, понятно, мере... Во время войны был полковником русской разведки... Был внедрен к Шелленбергу... Да, по документам штандартенфюрера Штирлица, все верно... Против Даллеса и обергруппенфюрера СС Вольфа я работал под фамилией Бользена. В этой работе мне помогала, в частности, Дагмар Фрайтаг. За это ее убили, повесив на ме-

[1] Синдикат *(жарг.)* – мафия.

ня дело. И Рубенау тоже убили... Это сложная и малопонятная история, почему Мюллер поступил именно так... Темная история, которая была, как это ни странно, спланирована впрок, загодя, на сегодняшний день. Зачем? Вот чего я не могу понять...

– Почему вы не пришли в свое представительство и не сказали, кто вы?

– Назвали бы мне адрес нашего представительства в Мадриде – пошел бы.

– Отчего вы не предприняли попыток уйти во Францию? Сесть на пароход?

– Я встал на ноги всего как полгода... То есть смог передвигаться без костыля и палки... У меня был задет позвоночник, вот в чем штука... Семь пуль... Я еще ковылял, когда Черчилль выступил в Фултоне, Пол... И потом – на какие деньги я мог рискнуть идти через границу во Францию? У меня даже на автобус не хватало, чтобы доехать до Сеговии... Мне давали на кофе, булку и кусок сыра. Это все. Меня разрабатывали, я был так или иначе обречен, они бы – те, кто верен Мюллеру, – вычислили меня до конца... Если бы я пришел в ваше посольство и сказал, что я из русской разведки, имя и звание такое-то, член партии коммунистов... Вы бы устроили мне бегство из Испании?

– Вас бы начали проверять.

– Верно. Это и приблизило бы мой конец. Вспомните Эйслера и Брехта...

– Это был амок, доктор... Произнесите еще раз ваше имя...

– Максим.

– Макс по-немецки. По-испански Максимо... Словно бы вам загодя придумывали имя для работы в Германии и Испании...

– Не считайте разведку всемогущей, Пол.

– Не буду, Максим... Так вот, Маккарти успокоился, Америка была шокирована, это все сойдет на нет, мы не можем позорить себя в глазах мира, – Роумэн сказал это словно бы самому себе, убеждающе, с болью.

– Ну-ну...

– Доктор, не надо спорить, я все-таки лучше знаю мою страну.

– Не буду, – ответил Штирлиц, закурив. – Если вы говорите, что с этим делом кончено, не буду. Рад ошибиться. Я очень радуюсь, когда ошибаюсь в лучшую сторону.

– Такой маленький земной шарик, – вздохнул Роумэн, – такие крошечные страны на глобусе, такие тоненькие линии границ, а поди ж ты... Слушайте, а ваша история просто-таки тема для литературы: трагедия упущенного времени.

– Вы повторили те слова, которые рвали мне душу те месяцы, пока я плесневел в своем пансионате... Поищите, кстати, если сможете, кто платил деньги тому старику, что сидел при входе. Ему платили гроши, но он получал эти гроши регулярно, поэтому так тщательно смотрел за мной, проверял мои вещи, отчитывался о каждом моем шаге...

– Хорошо... А почему вы не пошли во французское посольство?

– Они обязаны были поставить в известность испанские влас-

ти... Франкистов... Никто не решился бы вывезти меня по чужим документам. Да и какой резон?

– Дико... Но логично... Вообще-то, дикость не может быть логичной... Ладно, полковник... Хм, ну и ну, Пол Роумэн сидит в Парагвае с полковником русской разведки, который работал против Америки в Берне...

– Я работал на Америку, Пол. Я работал против Даллеса. Я делал все для того, чтобы Америка не покрыла себя позором, заключив сепаратный сговор с Гиммлером... Вы бы не отмылись от этого.

– Даллес никогда бы не пошел на это. Не надо, Максим. Я его знаю и отношусь к нему с уважением. Он честно дрался против наци... В вас говорит профессиональная зависть... Он мог больше, чем вы, поэтому вы на него ополчились. Не спорьте, вы не переубедите меня.

– Не буду, – легко согласился Штирлиц. – Так что, будем разрабатывать план? Или после того, что я сказал, вам требуется время для принятия решения?

– Скажите... если бы вы не встретились в самолете с этим самым Ригельтом, вы бы пошли в русское представительство в Рио или Байресе?

Штирлиц долго молчал, потом, вздохнув, тихо ответил:

– Все-таки, видимо, да... Мне не хочется врать вам, Пол. Я мучительно думал об этом, мне было стыдно, я волновался за вас, я понимаю, что вы один, совершенно один, но, думаю, я бы пришел в русское посольство... Когда вы были рядом – хоть какая-то отдушина... Я ведь был один все эти месяцы... Я на исходе...

– А если я вам скажу, что звеном плана, который я намерен изложить, является ваша поездка в Кордову? Но ведь оттуда легко добраться до Байреса... Вы уйдете оттуда к своим?

– Давайте уговоримся так, Пол... Если мы с вами убедимся, что государства в государстве не существует, мы просто пугаем самих себя случайной пересеченностью совпадений, тогда вы поможете мне уйти... Не считайте, что это просто для русских в Аргентине – помочь мне уехать... Это очень сложно... Там пока еще нет даже консульской службы...

– Откуда вам это известно?

– Я провел день с президентом «Ассоциации по культурным связям»...

– Как его зовут?

– Он натурализовавшийся русский, уехал еще дед, раскольник...

– Как его зовут? – повторил Роумэн.

– Пьетрофф. Вообще-то по-русски это звучит «Петров», но здесь его переиначили, чтобы легче выговаривать на свой лад.

– Интересная личность?

– Очень содержательный человек... Его можно слушать часами.

– Он наш агент, Макс.

Штирлиц вытянул ноги, потянулся, запрокинул руки за спину, как-то изумленно покачал головой и снова попросил взглядом разрешения закурить.

– И мне сдается, во время войны он жил в Европе, – продол-

жил Роумэн. – В оккупированной нацистами Европе... Но это – непроверенные данные. А то, что он работает на нас, – абсолютно, мне назвали его как агента, на которого можно положиться... Мы оплачиваем его телефонные звонки в русское представительство в Рио-де-Жанейро. Мы платим ему, Макс...

– Ладно, – лицо Штирлица вновь постарело, сделалось морщинистым и нездоровым. – Валяйте, излагайте свой план. Или хотите, чтобы я изложил свой?

– Я хочу послушать вас.

– Только сначала ответьте: готовы ли вы к тому, чтобы включить в наше предприятие миссис Роумэн и Грегори Спарка?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Совещание экспертов по вопросам внешнеполитического планирования, представляющих «Дигон продакшэнз» (м-р Лэйб), «Стандард ойл оф Нью-Джерси» (м-р Бим), «Дженерал электрик» (м-р Перл), «Вестингауз электрик корпорэйшн» (м-р Гилпорг), «Интернэшнл бизнес машинз инкорпорэйтэд» (м-р Шварценберг), «Анаконда компани» (м-р Пагирри), «Юнайтэд Стэйтс стил корпорэйшн» (м-р Оливер), «Интернэшнл телефон энд телеграф корпорэйшн» (м-р Грюн), «Боинг корпорэйшн» (м-р Полякофф), «Фэрст Сити нэшнл бэнк» (м-р Болдуин).

Вел встречу директор адвокатской фирмы «Саливэн энд Кромвэл» м-р А. Даллес.

М-р Даллес. – Джентльмены, я рад, что мы собрались, наконец, в таком тесном, воистину дружеском кругу. Полагаю, это подвигнет всех нас на то, чтобы обменяться мнениями по поводу происходящих в мире процессов со всей полнотой и откровенностью. Думается, нет нужды стенографировать наше собеседование. Хочу надеяться, вы поймете меня правильно, если скажу, что как пометки всякого рода, так и запись отдельных фрагментов выступлений присутствующих нежелательны; нет надежнее партнера, чем немой, нет более пылкой возлюбленной, чем слепая, нет более стойкого узника, чем глухой, ибо ему не страшен крик мучителя... Пожалуйста, джентльмены.

М-р Грюн (ИТТ). – Прежде всего я хотел бы остановиться на германской проблеме. Тот взнос, который сделала наша страна для победы над гитлеровским нацизмом, не поддается измерению. Благодарные потомки когда-нибудь еще воздвигнут памятники американским солдатам, принесшим свободу Европе, спасшим ее от чудовищных монстров, правивших в течение двенадцати лет несчастной Германией. Кара, понесенная преступниками, вполне заслуженна, она – предостережение тем, кто вновь решится встать на путь агрессии и милитаризма. Однако, справедливости ради, следует отметить, что кара обрушилась не только на таких чудовищ, как Геринг, Риббентроп и Штрайхер, но и на людей, которые – если исследовать вопрос без гнева и пристрастия – не принимали никакого личного участия в планировании и развязывании агрессии. Разгромлены основные центры традиционного германского бизнеса, такие, как Рур,

Кельн, Зальцгитер, Мюнхен, Констанц. Вновь организующиеся компании пытаются сохранить и хоть как-то спасти традицию германского бизнеса, но, согласитесь, это крайне трудная задача, поскольку в Нюрнберге по-прежнему томится в тюрьме Фридрих Флик, арестованный по явно подтасованному обвинению в том, что якобы на его заводах использовался рабский труд... Честно говоря, мы также использовали на своих военных заводах немецких пленных, и я не вижу в этом ничего противозаконного, война есть война, не сливками же мне поить тех, кто сражался против меня с оружием в руках! Я поэтому спрашиваю: с кем мы можем иметь дело в западных зонах оккупации Германии, если все люди, которые отличимы высокой компетентностью и знанием приводных ремней бизнеса, ныне томятся в тюрьмах?! Кому это на пользу? Холодной букве закона, специально составленного для нюрнбергских трибуналов? Но позвольте, когда и где миру приносил благо специально созданный закон?! Но и это не все, джентльмены... Если в залах судов, в присутствии зрителей и прессы, которая, увы, весьма разностна и исповедует порой диаметральные точки зрения, то и дело говорят об «агрессивности капитала», о «злодействе германских промышленников, подвергавших зверской эксплуатации иностранных рабочих», то это наносит удар по всей системе частного предпринимательства! И проводят суды не только русские, но и наши, американские судьи и прокуроры! Неужели мы не можем оказать соответствующее давление на тот процесс, который воистину тревожен?

М-р Бим («Стандард ойл оф Нью-Джерси»). – Я бы продолжил мистера Грюна в том смысле, что процессы, происходящие ныне в Нюрнберге, расшатывают саму идею западной демократии и свободы предпринимательства. Более того, их продолжение окажется бумерангом, который ударит против нас, против этой страны, и ударит лет через пять, когда западные зоны – в отличие от русской – окажутся экономической пустыней. Мы лишимся партнера, и какого партнера! Понизятся ставки на биржах, сократится нужда в промышленных товарах, возрастет безработица, нас настигнет инфляция... Я вижу будущее в крайне пессимистическом свете, и, если мы не сможем повлиять на администрацию в том смысле, чтобы эти процессы прекратились, могут наступить весьма мрачные времена. В начале войны объем нашего бизнеса с Германией – я имею в виду начало тридцатых годов до тридцать шестого – составлял примерно двенадцатую часть нашего бюджета. Это были заказы на сотни миллионов долларов, десятки тысяч наших рабочих имели работу и получали высокую плату за свой труд. Это позволяло финансировать новые проекты, это в конечном счете означало технический прогресс и расцвет страны. Если положение не изменится, а точнее говоря – если не изменим положение мы, несущие главную ответственность за процветание общества, я не знаю, что нас будет ждать...

М-р Полякофф («Боинг корпорэйшн»). – Происходящее ныне в Европе, которая традиционно была нашим ведущим партнером в серьезном бизнесе, невероятно благоприятно, прямо-таки совершенно великолепно для Кремля. Администрация словно бы нанялась таскать каштаны из огня для дяди Джо, который получает не-

мыслимые дивиденды – как экономические, так и пропагандистские. Мне кажется, что историю с так называемыми процессами по декартелизации и денацификации задумали и осуществляют все те, с кем столь либерально, по-отечески беседуют обходительные джентльмены из комиссии по расследованию. В происходящем я вижу больше, чем доверчивое американское неразумение, я вижу в этом заговор тех сил, которые организованы, натренированы и управляемы Москвой. Как иначе объяснить то, что мы до сих пор не смогли – при всем желании и при всех предпринятых попытках – спасти от позора таких надежнейших партнеров, как мистер Шредер, руководителей «Фарбениндустри», семьи Даймлера и Сименса?! Я рад, что мистер Даллес оказался тем, кто объединил нас всех сегодня. Думаю, мы выработаем позицию на будущее, иначе не было смысла собираться, в конгрессе джентльмены умеют говорить лучше нас с вами, за что они и получают деньги. Мы же умеем делать дело, вот и займемся этим.

М-р Пагирри («Анаконда компани»). – Поскольку наше предприятие более всего тревожится по поводу ситуации, складывающейся в Латинской Америке, позволю себе остановиться на том чрезвычайно пагубном влиянии, которое оказывает на Чили, Бразилию, Парагвай, Колумбию, практически на весь юг континента то, что происходит в Германии. Левые, возглавляемые большевистскими элементами, используют свою прессу для того, чтобы организовывать форменную травлю «империалистов, слуг гитлеризма, банковских воротил и промышленных кровососов, жиреющих на рабском труде несчастных»! Причем это дается со ссылкой не на Москву, а на «Нью-Йорк таймс» и «Балтимор сан»! Пропаганда левых идентифицирует немецких предпринимателей с американскими. Приводятся примеры «грабежа, которому постоянно подвергают нас янки». То и дело публикуются интервью с профсоюзными лидерами типа колумбийского Гаэтана, который обвиняет «империализм янки в эксплуатации и насилии», подтверждая свою правоту ссылками на то, что подобное же делали немецкие «фюреры экономики», не ведая даже, что в Германии был только один фюрер!

М-р Даллес. – «Фюреров военной промышленности» в рейхе было четыреста семьдесят два, мистер Пагирри, прошу простить, что я перебил вас, продолжайте, пожалуйста, ваше выступление чрезвычайно интересно.

М-р Пагирри. – Если их было полтысячи, значит, тем более надо сделать все, чтобы об этом поскорее забыли! Нельзя танцевать на кошмарной могильной плите, которой накрыли Германию! Ее надо заменить ажурным надгробием, плита мешает делу, она мешает нам с вами. Если мы не повлияем на происходящий в Германии процесс, если мы не подключим прессу, которой можем управлять, к тому, чтобы звать мир к забвению ужаса, к соразмышлению над тем, как сделать будущее счастливым и мирным, если мы не начнем немедленно же финансировать университеты, для того чтобы они включили в свои планы исследования, которые докажут людям, что человечество не может развиваться, когда к его ногам привязаны страшные гири зловещей памяти о безвозвратно ушедшем, тогда си-

туация в Латинской Америке станет совершенно неуправляемой и мы потеряем там все позиции, которые были завоеваны в течение многих десятилетий ценой потерь и лишений.

М-р Оливер («Юнайтэд Стэйтс стил корпорэйшн»). – Я посетил Берлин два месяца назад. Я летал, чтобы попробовать помочь расчистить руины и начать восстанавливать заводы. Прихожу в наш военный комиссариат: «Что дома, как Трумэн, где Менжу, правда ли, что Дина Дурбин будет сниматься в ленте Страйдса?» И все такое прочее. Ладно. Ответил им, что правда, а что брехня. Потом говорю: «А как бы мне встретиться с теми, кто намерен заняться строительством?» – «Это устроим, не фокус». Приглашают живчика, лет двадцать пять, рубашка несвежая, шейка как у цыпленка: «Я – Фриц Грове: "Строительные комплексы и производство станков для металлургии". – «Ну?! Раньше этим занимался Крупп или Геше, их я знаю». – «Они были нацистами, мы их вздернем». – «Да? И скоро?» – «Скоро». – «Значит, вы теперь будете иметь со мной дело?» – «Конечно, я поддерживал фельдмаршала Вицлебена, прошел подполье, теперь служу новой Германии». – «Это прекрасно, что вы служите новой Германии. Каков ваш капитал?» – «Он будет зависеть от вашего кредита. Зато у меня есть рабочие руки». – «Сейчас любой может набрать рабочих, они за свиную тушенку по десять часов готовы работать». – «Мы не допустим эксплуатации, новое время!» Вот так. Я его утостил чаем, подарил две пачки сигарет, и на этом мое деловое сотрудничество с компанией «Строительные комплексы» завершилось. Может, нам лучше финансировать наших фермеров, чтобы они поставили в Германию побольше картошки? Хороший бизнес, картошка сейчас в Европе большой дефицит, заработаем по паре сотен тысяч, их всегда недостает в наших миллиардных оборотах... Что делать, я не знаю, но что-то делать нужно. Вот так. Только сейчас важно не собачиться между собой. Я в этикете слаб, не сердитесь. Говорю, что думаю.

М-р Шварценберг («Интернэшнл бизнес машинз»). – Я до сих пор не очень-то понял, – пусть простят меня коллеги, – во имя чего мы собрались? Если мы решили поплакаться друг другу, то это следовало бы делать в ресторане, слезы надо запивать вином, не так солоно во рту. Если мы констатируем факты, то зачем лишний раз сотрясать воздух? Ситуация очевидна, контуры ее понятны, вероятности просчитаны, какие-то прикидки сделаны впрок. Каждым из нас. Говоря откровенно, только чудо может повернуть мое ИБМ лицом к Германии. Только чудо. Это пустыня, на которой растут грибковые паразиты. Впрочем, пусть меня опровергнет мистер Лэйб из «Дигон продакшэнз» и мистер Грюн из ИТТ: по нашим сведениям, коллеги из этих корпораций уже застолбились в Германии. И слава богу! Я отнюдь не против конкуренции, без нее общество гниет на корню, но я за откровенность, к которой всех нас призывал мой друг Аллен.

М-р Грюн (ИТТ). – Мистер Шварценберг, это натяжка ... Мы не поддерживали деловых контактов с наци...

М-р Шварценберг. – Я же не против, мистер Грюн... Речь идет о другом...

М-р Даллес. – Джентльмены, я позволю себе внести коррективу: посещение мистером Дигоном Германии еще не означает начала его деловой активности в Европе. Что же касается ИТТ, то это сообщество действительно поддерживает контакты с врагом, но я свидетельствую: это происходило по просьбе специальных служб, полковник Бэн был награжден за это медалью, Америка зря никого не награждает: при всех наших недостатках давайте согласимся с тем, что это наше достоинство – абсолютно... Простите меня, мистер Шварценберг...

М-р Шварценберг. – Трудности, которые переживают ИТТ и Дигон в Германии, кардинальным образом разнятся от тех, с которыми сталкиваемся мы. Их трудности состоят в том, что у них нет достаточно компетентных контрагентов, приходится работать на ощупь, в темноте, партнеры пока что сидят в Нюрнберге. Но и у ИТТ, и у Дигона там появились свои активы. Это позволяет коллегам давить на администрацию и на военных. А у нас там нет активов. Мы сделали все, что могли, дабы убедить уважаемых джентльменов из наших ВВС не бомбить заводы вычислительной техники, которые могут представлять для нас интерес в будущем. Мы спасли эти заводы, но они были отданы в Ялте – вместе с территорией – дядюшке Джо. Гитлер не очень-то интересовался вычислительной техникой, поэтому среди директоров нашей отрасли не было «фюреров военной экономики». Никто не посажен, но все ждут. Только не нас, джентльмены. Они ждут ослабленной Британии. Или же нищей победительницы Франции. Они очень ждут предложений, но, повторяю, не наших. Мы – конкуренты, которых боятся...

М-р Перл («Дженерал электрик»). – В общем, присоединяюсь к мнению, высказанному м-ром Шварценбергом.

М-р Лэйб («Дигон продакшэнз»). – Отвечу нашему другу Шварценбергу... В его словах – традиционного католика- я с удивлением услышал какой-то плач израилев, более присущий людям моего вероисповедания... Обвинять Дигона или полковника Бэна в том, что они как-то зацепились в Германии, стараясь в потемках нащупать дорогу и понять ситуацию в стране, где царит полнейший хаос, это на самом-то деле значит обвинять свое предприятие в неумении работать. Если у вас не вышло, зачем же сваливать вину на тех, у кого выходит? Это – дезинформация, дорогой Шварценберг, вы дезинформируете свой наблюдательный совет, вместо того чтобы разработать для него проекты, которые необходимо осуществить в интересах и наших пайщиков, и общего дела свободного предпринимательства. Простите за резкость, но, поскольку мы условились говорить друг другу правду, я не мог ее не сказать... Теперь я позволю себе небольшой экскурс в прошлое... В девятьсот четвертом году мои родители приехали в эту страну из Одессы. Богатых евреев там не трогали, во время погрома они отсиделись в купеческом собрании, наблюдая за шествием черной сотни из итальянских окон особняка вместе со своими русскими, немецкими и украинскими коллегами. А нас громили, ох, как громили, даже сейчас помню крики и пух на улицах; они резали подушки, пуховые подушки – главное богатство еврейской бедноты. Здесь нам повезло, отец работал в порту доке-

ром, а меня пристроили в бакалею к Айзику Айзу, в Одессе он был Ицкой Айзманом, хороший человек, бездетный, поэтому и взял меня. Так вот, когда я подрос и стал работать у кассы, – мне тогда было четырнадцать – я путался с монетами, они же лежали в одном ящике, поди отыщи нужную, – а ведь покупатель торопится, если я буду копаться, он станет ходить в лавку напротив, где его быстрее обслужат, и он сэкономит для своего бизнеса пару минут, а это уже деньги, согласитесь! И тогда Айзик Айз, вечная ему память, урезал мой заработок, зато купил новый кассовый аппарат, выпускавшийся фирмой «Вестингаузен». И в этом аппарате для монеты каждого достоинства было свое отделение. Мне стало легко работать, я быстро доставал нужную монету, обслуживал покупателей как метеор, дела наши пошли отменно, и вскоре я вошел к Айзику в пай... Так вот эта грустная ретроспектива должна заставить нас подумать: а не напоминают ли нам эту древнюю кассу те службы, которые обязаны информировать администрацию и бизнес о том, что происходит в мире, где все монеты свалены в одно отделение?! Причем хозяин не очень-то позволяет копаться в этих самых монетах, чтобы поскорее отыскать нужную – для сдачи. А ведь сдача – это начало нового бизнеса! Отданную тобой монету вкладывают в новое дело, растет конкуренция, шевелятся мозги, ширится оборот, богатеет государство... Вывод: стране необходим компетентный разведывательный орган, который работал бы не на войну, как это было с ОСС, но на день сегодняшний, который пока что можно обозначить как день мирный. Не сваленная в кучу информация о положении в Германии, Италии, Китае, Латинской Америке, Греции, Ближнем Востоке, но именно раскассированная по интересам и не под разными крышами – государственного департамента, Пентагона, ВВС, флота, но именно под одной, – надежной.

М-р Болдуин («Фэрст Сити нэшнл бэнк»). – Меня удовлетворило выступление мистера Лэйба. Оно конструктивно. В нем нет патетики, которая мешает серьезному собеседованию. Слов нет, положение в Германии и, как следствие нашей победы над гитлеризмом, – да простится мне некая кощунственность, заложенная в этом противопоставлении, – в странах Латинской Америки, не говоря уже о Греции, где идет гражданская война, и Китае, где она вот-вот разразится, несмотря на успокоительные реляции, которыми нас время от времени подкармливает государственный департамент, чрезвычайно серьезно. Мне хочется повертеть проблему, о которой здесь говорилось, несколько шире тех границ, которые были очерчены. Давайте поставим вопрос: в какой мере бескомпромиссная позиция покойного президента Рузвельта по отношению к имперским колониям Британии была угодна развитию? Бесспорно, угодна, потому что страны, где царствует рабство, являя собой довольно серьезный источник сырья, не могли быть рынком сбыта. А динамизм роста выпуска продукции в нашей стране неумолимо растет. Значит, мы должны быть благодарны покойному президенту за то, что он загнал Черчилля в угол и утихомирил его имперские амбиции? Но готовы ли мы к диалогу с теми лидерами в Азии, Африке, Индии и в тех странах юга Америки, где было традиционным британское влияние?

Увы, нет. Мы оказались к этому неподготовленными, в то время как Кремлю не надо было готовиться: он просто издал новым тиражом труды Ленина, посвященные так называемому колониальному вопросу и национально-освободительному движению. Давайте признаемся: первый раунд борьбы за новое качество послевоенного мира мы проиграли. Мы проиграли его в идейном плане, у нас не было доктрины, чтобы заполнить пустоту, вызванную предстоящим уходом из колоний Британии, да и Франции тоже... Вопрос теперь стоит так: сможем ли мы наверстать упущенное? Сможем ли мы противопоставить марксистской идее свою технику и деньги? Да, сможем. Но пустят ли нас туда? Ведь право пустить или не пустить принадлежит новым лидерам вновь открывшихся стран, а то и континентов. Наши послы мало подготовлены для такого рода работы с этими новыми лидерами. Нам нужны новые кадры. Компетентные, смелые, понимающие смысл нового времени, не утонувшие в трясине довоенных догм и представлений! С тем, что было до эпохи Гитлера, покончено раз и навсегда. Нам нужна доктрина, подтвержденная немедленным, смелым и мобильным действием, — только тогда мы не дадим этим странам впасть в анархию и депрессию.

М-р Даллес. — Как вы понимаете, я не имею права выдвигать предложение о создании единого разведывательного сообщества, которое бы умело работать с новыми лидерами в новых условиях, не боялось бы действия и могло достойно стоять на страже интересов мира и демократии на планете, ибо каждый волен бросить в меня камень: «Кто о чем, а грязный — о турецкой бане». Я весьма рад, что именно вы, представляющие наши финансы и бизнес, то есть люди, несущие ответственность за благополучие всех граждан Штатов, поставили вопрос о необходимости свести разведку, как удачно выразился мистер Лэйб, под одну крышу. Полагаю, что те органы прессы, на которые можно оказать разумное влияние, так или иначе поддержат такого рода идею, высказанную, понятно, не в лоб, а опосредованно.

Теперь ряд замечаний по поводу того, что высказал наш друг Шварценберг... Во многом я согласен с вами, мистер Шварценберг, но кое-что считаю необходимым скорректировать... Во-первых, немецкие картели после того, как они были раскассированы, стали менее конкурентоспособны и, следовательно, более управляемы. Во-вторых, суды над нацистскими пособниками абсолютно необходимы не только для того, чтобы осудить гитлеризм как самое гнусное явление середины двадцатого века, но, если хотите, и для того, чтобы осадить динамическую устремленность немецкого капитала и бизнеса, поставив их — на ближайшее обозримое будущее — в подчиненное по отношению к нам положение. Вопрос, который должен быть поставлен перед новым разведывательным сообществом, таким образом, может быть сформулирован грубо и просто, что называется, без затей: куда можно вкладывать средства, в каком объеме, на какой срок; степень гарантии сохранности вложенного; кто будет гарантировать вложения в той же Германии, Греции, Турции, Бразилии, Колумбии, Китае, Индии, Африке? Я имею в виду не американцев, но как раз немцев, греков, африканцев, китайцев. Может ли

дать такого рода ответы хоть одно из существующих учреждений администрации? Нет, не может. Государственный департамент простреливается прессой, он – на виду. Армия, флот и авиация не компетентны в вопросах политического планирования, их разведка является тактической, сиюминутной. Ни в коей мере не отрицая надобность такого рода разведки, я все же полагаю, что новое сообщество, если оно – под вашим нажимом – будет создано, должно быть построено на принципе тотальной тайны. Вам придется быть готовыми к тому, чтобы поступиться какими-то принципами, столь всем нам дорогими. Да, я убежден, что прекрасный и горячий народ Латинской Америки может направить на путь созидания, а не болтовни, лишь твердая рука, некая форма диктатуры, конечно же, военной, иная там невозможна. Да, я убежден, что нам придется – в недалеком будущем – смириться с тем, что ряд «фюреров военной экономики» вновь сядут в свои кресла, но уже под нашим контролем. Да, я убежден, что всем нам придется – увы, это неизбежно – порой поддерживать совершенно непопулярные режимы и жестоких политиков, но что поделаешь, ведь они в настоящее время являют собой наиболее надежный заслон против международного коммунизма. Либо защита нашей демократии жесткими методами, либо гибель – третьего не дано. Мне бы хотелось послушать ваши соображения по поводу именно этих позиций, прежде чем мы станем обсуждать конкретные предложения, которые я, мои коллеги, для вас подготовил, исходя из моего опыта и как представителя ОСС в Европе, и как бывшего директора банка несчастного Курта Шредера, томящегося пока еще в нюрнбергской тюрьме союзников...

(Для того чтобы стало ясно, кого представляли эти люди, следует дать краткий статистический обзор, полученный в результате исследования великолепных справочников, издающихся на Западе, – «Кто есть кто».

Итак, «Юнайтэд Стэйтс стил» – металлургический трест, самый крупный в мире; его заводы дают столько стали, сколько вся промышленность Великобритании; выпускает также суда, корпуса бронемашин, стволы орудий, цемент; контролирует наиболее богатые месторождения каменного угля, марганцевой и железной руды (причем только в США и Венесуэле запасы железной руды исчисляются миллиардами тонн); корпорация владеет семьюдесятью заводами и сотней сбытовых предприятий в США, Бразилии. .Венесуэле, Габоне, Канаде, на Багамских островах; дочерние предприятия организованы в Испании, Венесуэле, Италии, Канаде, Англии (ныне и в ФРГ); на предприятиях корпорации занято около двухсот тысяч рабочих; оборот составлял тогда около двух миллионов; активы – около четырех миллиардов долларов.

«Анаконда компани» – один из крупнейших в мире поставщиков урановых концентратов и алюминия. Является монополистом по производству меди в Чили; производит бокситы на Ямайке и полиметаллические руды в Мексике; сбытовые организации функционируют в Индии, Италии, Бразилии, Аргентине, Англии (до сорокового года – в Гамбурге и Бремене).

ИТТ – крупнейшая монополия по производству слаботочного

электрооборудования, военной техники, средств связи, бытового электрооборудования; контролирует важнейшие межконтинентальные линии связи; специализируется на выпуске радиолокационной аппаратуры; приобрела пакеты акций в фирмах по сдаче в аренду автомобилей; открыла компании по кредиту населения; активно начала заниматься выпуском вычислительной техники. ИТТ имела сорок два завода в США и двадцать заводов в Голландии, Швейцарии, Италии, Замбии, Нигерии, Иране, Турции, Австралии, Канаде, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Чили, Коста-Рике, Венесуэле, Мексике, Кубе (ныне в ФРГ); владеет семью морскими радиостанциями. На научных работах ИТТ в ее лабораториях и исследовательских центрах занято более десяти тысяч человек; на фирмах – а их более трехсот во всем мире – работают более ста пятидесяти тысяч человек; акционерный капитал – около двухсот миллионов долларов; оборот – более миллиарда долларов; основной капитал – около миллиарда долларов.

ИБМ – крупнейший поставщик военной техники для Пентагона, первая в мире корпорация по количеству выпускаемой электронной техники; единственная корпорация США, не продающая за рубеж свои патенты; заводы ИБМ функционируют в Бразилии, Колумбии, Англии, Бельгии, Испании, Голландии, Италии, Франции, Индии, Мексике (ныне и в ФРГ); станции обслуживания ИБМ работают в семидесяти городах США; свыше двухсот станций и центров открыто в большинстве стран мира; оборот – около двух миллиардов долларов; акционерный капитал – около двух миллиардов долларов; чистая прибыль – около двухсот миллионов долларов; на заводах ИБМ и в научных центрах работают более полутораста тысяч человек.

«Стандард ойл оф Нью-Джерси» – крупнейшая нефтяная монополия в мире; контролирует шестьдесят четыре нефтеперерабатывающих завода в двадцати девяти странах мира; поставщик горючего для Пентагона; ей принадлежат трубопроводы длиной в шестьдесят тысяч километров при пропускной способности в двести пятьдесят миллионов тонн нефти; представительства корпорации есть практически во всем мире (ныне и в ФРГ); акционерный капитал – около полутора миллиардов долларов, оборот – девять, активы – одиннадцать миллиардов (в том числе за границей пять миллиардов), основной капитал – одиннадцать миллиардов, чистая прибыль – восемьсот сорок миллионов, из них пятьсот миллионов получены от эксплуатации нефтеносных месторождений за границами США.

«Боинг« – крупнейшая монополия по производству самолетов для Пентагона, гражданской авиации и вертолетов (ныне прочитываются связи с концерном «Мессершмитт»); оборот – более полутора миллиарда долларов.

«Фэрст Сити нэшнл бэнк» включает в свое правление представителей корпораций «Боинг«, ИБМ, «Анаконда», «Стандард ойл»; имеет около двухсот отделений в Панаме, Гондурасе, Пуэрто-Рико, Чили, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Доминиканской Республике, Франции, Швейцарии, Бельгии, Гонконге; активы составляют около семи миллиардов долларов; работают более чем с пятьюстами

тысяч мелких вкладчиков и заемщиков; активно скупает акции иностранных компаний (в том числе в ФРГ).

Из такого рода справки (именно статистическими данными пристало оперировать, когда речь идет о бизнесе, всяческие эпитеты только мешают делу, девальвируя правду с оскорбительными выпадами пропагандистского плана) явствует, что люди, отвечавшие за финансирование промышленности, за производство авиации, электротехники, стали, танков, средств связи, орудий, то есть представлявшие военно-промышленный комплекс, не могли не собраться на встречу, предложенную Даллесом, чтобы выработать единую концепцию действий, обменявшись мнениями о том, что происходит в мире.

Логика борьбы в равной мере присуща тому, кто плавит сталь, и тому, кто вкладывает деньги в ее выплавку; тому, кто ведет лайнер в небе, и тому, кому он принадлежит; взаимоисключаемость интересов должна быть снивелирована арбитром, то есть администрацией. В равной же мере это требование распространяется и на внешнеполитический аспект проблемы: без надежной защиты интересов корпораций со стороны Белого дома нет и не может быть роста ни выпуска продукции, ни количества скупленного золота в сейфах банков и новейших патентов на новую технологию, спрятанных в бронированные хранилища корпораций.

Логика такого рода борьбы предполагает мобильность и твердость; лучшей формой защиты в определенных ситуациях может и должно быть нападение.

Сил и средств для этого достаточно; дело за организационным осмыслением нового этапа развития мира.

Даллес к нему готов.

Корпорации дали ему на это карт-бланш; настало время от размышлений переходить к конкретным делам; опоздавший – проигрывает.)

ВОТ ТАК СНИМАЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ КИНО! (Лиссабон, декабрь сорок шестого)

– Вот он, – шепнул Спарк режиссеру Флэксу, – видите, спускается вниз? В белом плаще... А вы боялись, что он не придет...

...Район Байру Альто расположен на склоне горы; один из самых интересных в португальской столице; дома старинные, несколько даже декоративные, – такие строят в Голливуде, когда ведут съемки, связанные с любовными историями, разыгравшимися на фоне провинциальных европейских городов. Лиссабонские интеллектуалы называют улочки Байру Альто «Флит-стритом», потому что именно здесь расположены редакции ведущих газет; любители традиционной кухни – «Курфюрстендамом», нигде так вкусно не накормят, как у Сантуша или Марио (владельцы старинных ресторанчиков, где все сохранено так, как в начале прошлого века, только кухню перестроили, сделав ультрасовременной); те, кто любит настоящий черный виноградный сок и ангольский кофе, любовно называют этот уголок «Монпарнасом», за уютными столиками кафе располагаются

безденежные артисты, голодные художники, американские туристы и местные миллионеры, некий паллиатив картонной демократии.

Именно здесь-то Спарк и посоветовал Джону Флэксу установить камеру, а желательно – если ситуация примет неожиданный оборот и объект решит бежать или станет сопротивляться слишком уж рьяно – две камеры: откажет одна или собьют ненароком в потасовке (вполне возможна, кстати говоря), есть надежная страховка, работает вторая, материал будет натуральный, никакой «химии».

...После встречи со Штирлицем, когда план был разработан до мелочей, Роумэн отправил из Асунсьона письмо на имя Люсии Фрэн: Лос-Анджелес, Голливуд, студия «Твэнти сенчури фокс»; верный дружочек, коммерческий директор картин; из семьи, славившейся своими правыми убеждениями, очень состоятельной; в Германии потеряла жениха: летчик, он был расстрелян нацистами, попав под «юрисдикцию» фюрера – немедленная казнь без суда и следствия всех пилотов союзников, сбитых в небе рейха.

Ненависть Люсии к нацистам была постоянной, заточенной; пробивала максимум средств для фильмов о войне, корила режиссеров за то, что они еще не зажглись темой; память о горе должна быть вечной, только тогда трагедия не повторится, а если планета обречена на периодические сумасшествия, все равно надо сделать так, чтобы время, отпущенное людям на мир, было как можно более продолжительным.

Вот ее-то и попросил Грегори Спарк:

– Вьеха[1] (ей было двадцать семь, и ей очень нравилось это обращение, оно мило контрастировало с ее внешностью: вздернутый курносый носик, глаза-блюдца, точь-в-точь как у фарфоровых кукол, треугольный ротик и ни единой морщинки, только сахарный, хрупкий шрам на шее – пыталась покончить с собой после гибели нареченного), у меня к тебе просьба. Она не противозаконна, никакого шпионства, вполне нравственна: надо, чтобы ты передавала мне письма, которые станут приходить на твое имя из-за рубежа.

– Зачем нужна такая секретность?

– Нужна, – отрезал Спарк. – Если ты мне не веришь, скажи честно, я придумаю что-нибудь другое, но пусть о твоем отказе и моей просьбе знаем лишь ты и я.

– Зачем нужна эта секретность, Спарк? – повторила женщина. – Я не сказала нет, но я должна понять, почему тебе это понадобилось.

– Могу тебе сказать лишь одно, Люси... Речь идет о том, чтобы схватить одного затаившегося нации... Это все, что я могу тебе открыть.

– О'кей, пусть пишут. Но как я определю, что это письмо адресовано тебе? Я же получаю каждый день не менее двадцати писем из-за границы.

– Поэтому я к тебе и обратился.

[1] Вьеха *(исп.)* – старуха.

– Господи, я совершенно забыла, что ты был шпионом!

– Я был дипломатом, старуха, не надо катить на меня камень.

– Какая разница? Шпион, дипломат – одна и та же суть, только разная форма... Я согласна, но как я пойму, что это письмо адресовано тебе?

– Ты поймешь по обратному адресу. На конверте будет написано: «Экспериментал синема инкорпорэйтэд».

Прочитав письмо Роумэна дважды, Спарк сжег его (так уговорились) и зашел в съемочную группу Флэкса. Тот делал фильм о работе американской разведки в Европе: много погонь, роковая любовь коварной нацистской шпионки; перестрелки в темноте; зритель должен пойти, касса – судя по предварительным прогнозам – будет хорошая.

– Послушайте, Флэкс, – сказал Грегори Спарк, пригласив его на чашку кофе, – у меня есть идея. Если она вам понравится, я попрошу за нее не очень-то много – полет вместе с вами в Лиссабон; я и моя подруга, три дня от силы.

– Я слушаю.

– Но сначала ответьте на мои вопросы, о'кей?

– Пожалуйста, если только они не будут касаться моих заработков, – улыбнулся Флэкс.

– Как вы относитесь к критике?

– Я ее ненавижу. Продажные шлюхи, несостоявшиеся гении.

– Но вы реагируете на нее?

– Абсолютно равнодушен. Аб-со-лют-но!

По тому, с каким раздражением ответил режиссер, Спарк понял, что к критике в газетах и на радио Джон Флэкс относится – как и все режиссеры – с болью и трепетом: после выхода фильма хватает по утрам газеты и с замиранием сердца открывает восемнадцатую полосу – там обычно печатают статьи литературных и кинокритиков.

– Тогда я обратился не по адресу, – отыграл Спарк. – Я хочу предложить вам сенсацию, выход в новое качество кинематографа, бум в прессе...

– Что значит не по адресу?! Отделяйте злаки от плевел, Грегори! Сенсация существует независимо от благорасположения критиков...

– В общем-то, да. Но вы попали в сложный переплет, Флэкс: ваши продюсеры катают вас как кассового режиссера, они и критиков организовывают именно в этом направлении, нацеливают их на описание динамики ваших лент, но не на творчество художника.

– Вы думаете, я этого не знаю?! – чуть не застонал Флэкс. – Ничего, будущее защитит меня, нет пророка в отечестве своем, придет время, и новая поросль критиков отдаст должное тому, что я сделал для американского кино...

– Вам безразлично, когда наступит это будущее?

Флэкс хотел ответить столь же равнодушным, многократно отрепетированным, а потому мучительно неприятным согласием, но

заметил в глазах Спарка такое понимание всей его, Флэкса, боли, обиды, надежды, что лишь махнул рукой и горестно вздохнул.

– Вот это по делу, – заметил Спарк. – Этому я верю. Так вот, когда я работал в Лиссабоне, – а я там подвизался во время войны, когда город кишел нацистскими разведчиками, – мне попалась информация об одном гитлеровском шпионе... Сволочь, костолом, петля по нему плачет... Он и поныне живет там... И он меня очень интересует. Но еще больше он должен интересовать вас, потому что та сцена похищения нациста, которая написана в сценарии, никуда не годится – картонка, никто из серьезных людей в нее не поверит.

– Ах, Грегори, кто вам сказал, что Голливуд работает для серьезных людей?! Мы потаскухи, шансонетки, клоуны, на нас приходят забываться, расслабившись в удобном кожаном кресле кондиционированного кинозала...

– Кто расслабляется, а кому-то – особенно из молодых, которые еще только рвутся к самим себе, – надо учиться напрягаться. Вот я и предлагаю вам поучить их этому. Вы поставите две камеры в том месте, где пойдет тот нацистский подонок, и начнете снимать: пусть все будет как есть, пусть идут люди, едут машины, все как обычно... Когда его будут брать, он начнет вырываться, орать – пусть! Его надо сунуть в машину. Он будет вопить, кусаться – тем лучше для ленты, это будет настоящая правда... Потом я его вывезу за город, мне надо закончить с ним прерванную беседу, но это уже моя забота...

– Вы сумасшедший?

– Немного. А что?

– Нет, идея, конечно, дьявольски заманчива. Но как можно по-настоящему красть человека на улице? Прибежит полиция, скандал, арестуют камеры, начнется судебный процесс, нет, вы безумец, Грегори.

– Полиция должна стоять рядом, Флэкс. Она должна быть при вас, у ноги. Накануне съемок вы посетите полицейское управление и попросите выделить наряд; надо удержать прохожих, чтобы они не влезли в скандал. Скажете, что у вас отрепетированная сцена; тот, кого похищают, наш артист; он должен вопить и кусаться, такая уж у него роль. Я сижу за рулем, со мной подруга, три статиста сунут беса в машину, свяжут, сядут рядом, всунут кляп, все это можно снимать, потом я отъеду за город, статисты вернутся на место съемок, а я через два дня расскажу вам, как прошла беседа с пациентом.

– Вообще-то, конечно, такого еще, по-моему, никогда не было в кинематографе...

– Не было. И не будет. Если только вы не решитесь.

– Хорошо, но у меня нет денег на полет в Португалию... Смета выбрана, Грегори... Вы же знаете сценарий... Продюсер скупердяй – считает каждый цент...

– Свяжитесь с какой-нибудь фирмой, не мне вас учить... Позвоните к «Форду», предложите снимать сцену погони за похищенным на его машине; гарантируйте, что «форд» оторвется и от «шевроле», и от «кадиллака».

– От «кадиллака» не оторвется.

– Значит, позвоните в «Кадиллак», предложите им оторваться от «фордов» и «плимутов»... Пригласите юриста, посоветуйтесь, узнайте конъюнктуру на бирже, кто горит, кто заинтересован в рекламе, – неужели они не профинансируют наш трехдневный полет в Лиссабон?! Если все получится, как я задумал, подключите прессу, я вам помогу. Но очень осторожно. Об этом разговоре знаете вы и я. Если узнает третий, дело лопнет, ваша сенсация окажется мыльным пузырем...

Полет в Лиссабон профинансировала небольшая фирма «Макинтайр энд бразерс», специализировавшаяся на выпуске дорожных несессеров – мыло, зубная паста, гребенка, станок для бритья, ножницы, педикюрные щипцы, одеколон и крем-бриллиантин: совершенно необходимо для путешествующего бизнесмена. Договорились, что американские разведчики будут пользоваться именно этими несессерами, заключили договор, что сумочка будет показана крупным планом, трижды – в наиболее драматических, запоминающихся местах ленты и не менее полутора минут.

Из отеля «Амбасадор» в Лиссабоне Спарк позвонил Филипе Алваpешу, у которого во время войны снимал особняк; отношения сохранились самые доверительные; попросил аккуратно выяснить, на месте ли сеньор Викель из ИТТ. Назавтра Алвареш ответил, что «сеньор Киккельт, а никакой не Викель, действительно работал в ИТТ, но пять месяцев назад открыл свое дело – запасные части к радиоприемникам и оптовая торговля с Бразилией электробытовыми товарами; да, натурализовавшийся немец, говорит с акцентом, очень надежный бизнесмен, на подъеме; да, лицо боксерское, совершенно верно; нет, я не разговаривал с ним, как вы и просили, просто навел справки и посетил после этого его офис; да, молод, лет тридцать семь, пышет здоровьем, все верно».

– Это он, – повторил Спарк режиссеру Флэксу и быстро сел в машину, взятую напрокат в пятизвездочном[1] отеле; пришлось оплатить услуги шофера, потому что держали только старомодные, все в щитках красного дерева, «испано-сюизы»; двигатель был включен, работал ровно, с какой-то тяжелой заданной надежностью.

Криста сидела сзади, в углу, на коленях держала сумочку, в ней лежал «пёс» – пятизарядный «смит-вессон» тридцать восьмого калибра: рана величиной с кулак, стрелять надо в упор, потому что в этой модели нет никакой прицельности.

– Может быть, ты сядешь за руль? – спросил Спарк. – А?

– Нет.

– Волнуешься?

– Да.

– Только не вздумай нажать курок. Тогда мы пропали, он един-

[1] Отель, обозначенный пятью звездочками, является самым престижным и дорогим.

ственный, кто обязан сказать все.

– А если он станет выпрыгивать?

– Пусть. Разобьется, потеряет сознание, втащим.

– А если он бросится на меня?

– Не должен.

– У него страшное лицо, смотри.

– Есть несколько, – согласился Спарк, – гадюка фашистская...

Сегодня утром он точно разыграл спектакль: сначала Криста позвонила в редакцию «Диариу ду нотишиаш», попросила соединить с отделом рекламы, сообщила, что будет говорить мистер Хамфри, коммерческий директор «Бруклин электрисити инкорпорэйтэд». Хамфри выразил желание встретиться с сеньором директором электрокомпании Киккелем в редакции: «Пусть пригласят его на тринадцать тридцать пять, разговор займет двадцать пять минут; потом можно пойти на ленч куда-нибудь поблизости. Цель встречи – подписание контракта на реализацию через фирму сеньора Киккеля продукции "Бруклин электрисити", реклама должна публиковаться два раза в месяц, в воскресных номерах, оплата будет произведена за полгода, благодарю вас». Через час из редакции позвонили в отель «Эксельсиор» и передали «месседж»[1] для сеньора Хамфри: встреча состоится ровно в тринадцать тридцать пять, сеньор Киккель с интересом отнесся к предложению коллеги из Северной Америки. Администратор «Эксельсиора» был связан со Спарком два года назад, полное доверие; конечно, в случае какой-либо неожиданности получится скандал – так или иначе, – но Спарк был убежден, что беседа с Ригельтом закончится благополучно. Он провел день, наблюдая немца, когда тот выходил из офиса и отправлялся на уголок к дону Рафаэлю перехватить бифштекс и бутылку пива; ел обстоятельно, но при этом жадно, заглатывающе, после еды причесывался, внимательно разглядывая себя в зеркале, к волосам прикасался ласкающе, нежно повторяя ладонью контур головы, оглаживая самого себя; на улице ищуще всматривался в лица встречных, н е с себя осанисто и уверенно; на хорошеньких женщин оглядывался, но делал это както слишком уж торгово, без игры, по-животному.

– А если не получится? – шепнула Криста, наблюдая за тем, как Ригельт, оглядевшись по сторонам, пересек дорогу.

– Получится.

– Нельзя быть таким уверенным.

– Только таким и надо быть, Криста.

– Нет.

– Почему?

– Потому что это грех. Нельзя гневить бога, надо просить у него силы, чтобы свершилось... Почему он остановился?!

– Не знаю. Или причешется, или вытащит сигареты.

Ни то, ни другое. Ригельт достал из жилета большие карманные часы: до встречи оставалось пять минут. «Не хочет приходить раньше

[1] Месседж *(исп.)* – послание.

ше, – понял Спарк, – что ж, правильно делает, престиж прежде всего».

Ригельт пошел медленнее, посмотрел на оператора, замершего у камеры, улыбнулся ему, мазнул взглядом режиссера Флэкса; тот стоял бледный, кусал ноготь, глядел на второго оператора; три статиста – спортсмены, нанятые в клубе «Атлетико» за пятнадцать долларов (деньги сами свалились на голову, вот чудо!), – стояли возле витрины, в пяти шагах от автомобиля, картонно разглядывая бутылки и сыры. «Только бы этот дьявол не обратил на них внимания, только бы шел спокойно, только бы не заинтересовался, отчего возле второго оператора стоят трое полицейских, таращатся по сторонам, хотят угадать артиста, которого будут похищать! Не хватало еще, чтобы они подмигнули мне, – подумал Спарк, – а что, с них хватит. Конечно, если допустить самое хреновое, Ригельт решит выброситься или черт знает что еще надумает, – поведение человека в экстремальной ситуации рассчитать трудно, – тогда, конечно, начнется скандал. Эту машину арендовал приятель Альвареша, на него выйдут, начнут трясти, дойдут и до меня; плохо, провал; я, и правда, слишком уж уверен в успехе, в том, что Ригельт сломается, откроет все то, что должен открыть, назовет имена, пароли и связи, потом спокойно вернется в свой офис, и ему придется молчать, у него не должно быть иного выхода, его надо загнать в угол, лишь тогда скандала не будет, только тогда мы пойдем по его цепи и выйдем на все их опорные базы, – что и требуется».

Ригельт снова глянул на часы; достал их картинно, видимо, представляя со стороны, как это престижно и достойно: большие золотые часы-луковица на толстой золотой цепи в сильной руке, хранившей следы загара. «Наверное, опалился в Латинской Америке, – подумал Спарк, – здешний загар должен уже сойти, декабрь как-никак».

Спарк посмотрел на прыгающую минутную стрелку часов, вмонтированных в красное дерево приборного щитка. «Сейчас он прибавит шагу – время; только бы не подвели эти спортсмены; какие же тупые у них затылки; зачем стричься под скобку? Это рубит человека, отсекает голову от туловища, шея делается беззащитной; хотя у них шеи бычьи, чувствуется, какие они крепкие, на таких можно висеть – голова не шелохнется».

Спарк заметил, как оператор, стоявший в отдалении, припал к камере, начал съемку. «Молодец, пусть будет побольше спокойствия на улице района Байру Альто, только бы не попали в кадр полицейские, что замерли возле Флэкса. Боже, как можно так напрягаться; словно гончие!»

Ригельт поравнялся с машиной; задняя дверь была чуть приоткрыта; спортсмены подхватили его с трех сторон, взяли в кольцо, подняли, Криста ногой распахнула дверь.

– Нет! – неожиданно тонко завопил Ригельт. – Нет! Нет!

Голос у него стал заячьим, но, видимо, страх так пронизал его, что он потерял силы: сопротивлялся ватно, только выставил ногу, упершись каблуком в дверь.

Прохожие сначала замерли (по счастью, их было не так уж мно-

го, с часу дня все сидели в ресторанах и барах, время обеда, на это Спарк и рассчитывал), потом было ринулись к машине, но остановились, потому что тот полицейский, что, судя по шевронам, был старшим, громко крикнул:

– Не мешать съемке! Так снимают кино! Не мешать!

– Ой! Ой! Ой! – продолжал визжать Ригельт. – Нет! Помогите! Помогите! Меня похищают! Нет!

– Руе[1]! – прикрикнула Криста. – Руе! Мы от друзей! Сидеть тихо!

Спарк резко взял с места, спортсмены, как и было уговорено, воткнули Ригельту кляп в рот и споро связали руки и ноги.

Отъехав на соседнюю улицу, Спарк притормозил и, обернувшись, вымученно улыбнулся потным спортсменам:

– Да вы же прирожденные артисты, ребята... Идите к операторам, получайте гонорар, нашего артиста развяжет гримерша, – он показал глазами на Кристу. – Все в порядке, спасибо!

Ригельт начал биться, глаза его лезли из орбит, он мычал что-то. Один из спортсменов похлопал его по плечу:

– А вы классно играете, прямо как по правде.

С этим они вышли из «испано-сюизы», захлопнув за собой дверь.

Спарк вывез Ригельта, лежавшего под ковром на полу (Криста укрыла его, как только спортсмены вышли из машины), за город. Он знал проселочную дорогу, где никогда не было ни единой живой души; вела она к заброшенному дому дяди Алвареша; тот собирался сделать ремонт и открыть пансионат для визитов пожилых мужчин: лучшего места не сыщешь, полная гарантия от посторонних взглядов. Воды в доме не было, но электричество не отключили, слава богу, потому что каждое слово, произнесенное Ригельтом, должно быть зафиксировано на пленку. И его самого надо сфотографировать: сначала с кляпом во рту, потом без кляпа с развязанными ногами; руки по-прежнему скручены за спиной; спортсмены лихо его запеленали, в Пенинсуле[2], умеют вязать, наловчились на бычках, черти, да и потом в каждой семье есть моряк, страсть к узлам, знают их великое множество.

– Если станете орать, – сказала Криста, отбросив ковер с лица Ригельта (здорово он изменился за эти тридцать пять минут! Лицо потекло, лишилось своих рубленых форм, просто какой-то фарш), – у нас не будет возможности сохранить вашу жизнь. Намерены разговаривать с нами?

Он кивнул; Криста вытащила кляп изо рта.

– Вы немка? – жалобно спросил он.

– Да. Я – ваша немка, Ригельт.

– Вы знаете меня, да?

– Знаю.

– Кто это? – Он показал глазами на Спарка.

[1] Руе *(нем.)* – тихо.

[2] Пенинсула – так в Испании и Португалии называют Пиренейский полуостров.

– Мой человек, – она достала из сумки «смит-вессон», пояснив: – Тут не надо взводить курок, бьет сразу, выстрела не услышат, в округе нет ни одного человека...

– Меня будут искать, – еще жалобнее сказал он. – Все знают, что я ушел на торговые переговоры.

– Найдут, когда мы уедем из этой страны, – ответила Криста.

Спарк стоял рядом, прислушиваясь к интонации разговора; немецкий он знал не очень-то хорошо, однако все языки ощущал прекрасно; каждый язык можно просчитать по интонациям. Пока все шло так, как было задумано: голос Ригельта был дрожащим, испуганным, ищущим.

– Развяжите его, – обратилась Криста к Спарку по-английски.

– Он обещал вести себя разумно? – спросил Спарк.

– Вы обещаете вести себя разумно, Ригельт? Вы не поставите меня в положение человека, которому не остается ничего другого, кроме как стрелять?

– Обещаю, конечно, обещаю, я понял ситуацию, я обещаю...

– Развяжите его, – повторила Криста, – он обещает.

(Они не имели ни времени, ни возможности запрашивать Роумэна о том, говорит ли Ригельт по-английски, поэтому Спарк предложил игру: он – подчиненный, партию ведет Криста.)

Спарк развязал ноги Ригельта, Криста толкнула его дулом пистолета в шею:

– Идите. Медленно идите в дом. Следом за этим господином.

Они спустились в подвал. Спарк жестом попросил подождать; включил магнитофон, привезенный прошлой ночью, вполне надежно укрыт, но писать будет каждое слово Ригельта; ввернул лампочку в торшер и крикнул Ригельту и Кристе, стоявшим на лестнице:

– Входите.

Криста пропустила Ригельта, заперла за собой дверь, села в кресло и только сейчас почувствовала, как у нее мелко трясутся колени.

– Ригельт, послушайте меня, – сказала она устало, – часа через два мы вернем вас в город... Мы заинтересованы в том, чтобы вы жили. Более того, в наши планы входит помочь вашему бизнесу. Но все это будет только в том случае, если вы сейчас же, без колебаний и уловок, ответите мне: кто вам дал поручение сесть в самолет и взять у Штирлица паспорт? Не торопитесь говорить. Если скажете неправду, я пристрелю вас. Даю вам слово.

– Почему я должен верить, что вы не убьете меня, если я отвечу правду? – спросил Ригельт, подрагивая всем телом, словно пришел в тепло с мороза.

– Потому что, ответив правду, вы дадите косвенное согласие работать на ту секретную службу, которую он, – Криста кивнула на Спарка, – и я имеем честь представлять в Европе. Секретной службе нужны живые агенты. Итак...

– Я ничего не буду отвечать, – голос его был испуганно дрожащим.

– Вы уже ответили, – сказал Спарк, и Криста быстро перевела. – Вы уже ответили, откликнувшись на фамилию Ригельт. Но дока-

зывать вам что-либо я не собираюсь, нет нужды. Пока не ответите правды, во всяком случае.

– Я прошел денацификацию!

– А зачем тогда менять фамилию? – Спарк подивился, как точно Криста вела свою линию; они успели прорепетировать несколько версий разговора; вообще-то, на подготовку такого рода операции кладут месяцы; у них не было и недели.

– Я ни в чем не виноват!

– Да? – удивился Спарк. – А кто расстреливал генералов вместе со Скорцени двадцатого июля?

– Меня там не было, у вас нет доказательств, меня тогда не было со Скорцени!

– Вы же сами говорили, что с ним незачем нянчиться, – вздохнув, Спарк обернулся к Кристе. – Он нас будет интересовать только как звено в цепи. Если он сейчас же не откроет то, что мы должны перепроверить, – кончайте, надо успеть на пароход.

– Вы поняли? – спросила Криста Ригельта.

– Да. Я понял, – ответил тот; глаза его метались с лица Кристы на лицо Спарка; он мучительно думал, как ему вести себя. «Он оклемается, – понял Спарк, – а этого нельзя допустить». И со всего маха, без подготовки Спарк врезал ему по шее. Ригельт, не ожидавший удара, покатился со стула и пронзительно, по-заячьи закричал; сначала нельзя было понять, что он кричит, потом стало ясно:

– Скккккаааааааажжжжуууу...

Спарк подошел к нему и с силой ударил его ногой в живот:

– Так говори, Ригельт! Имя! Кто тебя снабдил документами и сказал, что Штирлиц отправлен американцем из Мадрида? Ну!

– Гуарази! Гуарази и Лангер!

– Где они сейчас?

– Лангер в своей конторе... Гуарази... Я не знаю, где он сейчас, но он жил в «Плазе».

– Под какой фамилией?

– Не знаю.

– Когда он должен вернуться? Как вы его можете вызвать?

– Это знает Лангер.

– Адрес и телефон.

– Его офис над моим. Телефон – семьдесят три, четырнадцать, сорок.

– Имя?

– Фред.

– Что ему нужно сказать, чтобы он немедленно приехал на встречу? Только не вздумайте врать. Если я не вернусь с ним сюда к условленному часу, она, – Спарк кивнул на Кристу, – пристрелит вас. Ясно?

– Да. Вы должны позвонить ему и сказать, что привезли лекарство для Греты против кашля в осеннее ненастье. Он придет через полчаса в отель «Полана», будет ждать в холле за третьим от двери столиком, перед ним будет пачка сигарет «Данхил» и чашка кофе с минеральной водой, отпитой наполовину... Вы из ФБР?

– А если да? – сразу же спросила Криста. – Вы имеете что-то предложить?

– Нет, ничего, я просто решил, что вас должен интересовать Гуарази, а не мы... Я прошел денацификацию...

– Гуарази говорил вам, что его ищет ФБР?

– Нет, прямо так он никогда не говорил...

– На каком языке вы объяснялись?

– Он владеет испанским, и Лангер прекрасно говорит по-испански. Я только выполнял просьбы Лангера... И Гуарази... Я же думал, что он американец, что все это не противозаконно...

– Если Лангера нет на месте, где его найти?

– Дома.

– Адрес?

– Авенида Республики, двенадцать, второй этаж.

– Сейчас мы свяжем вам ноги и развяжем руки. Вы напишете Лангеру записку... Ту, которая заставит его сесть в мою машину и приехать сюда. Если вы решите пошутить, подумав, что меня схватят и я отдам вас, – вы ошибаетесь. До вашего офиса, – Спарк внезапно перешел на португальский, это словно бы ударило Ригельта, – я проскочу за сорок минут, учитывая возможные приключения на дороге. Полчаса буду ждать его. Сорок пять минут я кладу на возвращение. Если я не вернусь через сто пятнадцать минут, – он запустил руку в его жилетный карман и, вырвав часы с цепочкой, протянул Кристе, – убери его и немедленно уходи на корабль.

Ригельт снова тонко завизжал.

Спарк, опустившись перед ним на колени, стянул его ноги ремнем и освободил руки.

– В первом документе вы напишете обязательство работать на нас, – сказала Криста. – «Я, Ригельт, бывший штурмбанфюрер СС, адъютант Отто Скорцени, обязуюсь работать на секретную службу и выполнять все поручения, которые будут на меня возлагаться. Я пошел на это, отдав Лангера и Гуарази, без какого бы то ни было принуждения, по собственной воле, с единственной целью искупить свои преступления поры национал-социализма». А дальше – условную записку для Лангера. Быстро!

...Лангер выслушал Спарка с некоторым недоумением, с еще большим недоумением прочитал записку Ригельта и, нахмурившись, спросил:

– А что случилось? Где он?

– Около Эстериля. Очень просил срочно привезти вас, какая-то сделка, без вашей помощи он не решается входить в бизнес. Если вы заняты, напишите ему или пошлите кого считаете нужным...

– Да нет, я, конечно же, поеду, только мне надо заглянуть в офис... Простите, вы не представились...

– Я от Хамфри, «Бруклин электрисити»...

– Так это к вам пошел сегодня мой друг в «Диариу»?

– Нет, – ответил Спарк, понимая, что все гибнет, он проваливается, цепь, видимо, все знает. – С ним встретился президент компании, а я юрист: оформление, консультации и советы, как надежнее и законнее обмануть партнера.

– Очень приятно. Мы порадовались за Киккеля. Начать переговоры с таким престижным партнером – мечта каждого, живущего в этой дыре... Вы подождете меня здесь? Или зайдем в офис?

– Как вам угодно... Я могу подождать здесь, выпью кофе... Сколько вам надо времени?

– Двадцать минут... Полчаса от силы.

– Хм, со временем, конечно же, туго... А если я приглашу вас в мою машину?

– О, вы с машиной?! Тогда мы обернемся за десять минут, максимум пятнадцать...

Спарк положил на стол купюру и поднялся:

– Я к вашим услугам, сеньор Лангер.

Он не имел права называть это имя, потому что здесь, в Португалии, Лангер жил по паспорту Лахера; его подлинное имя было известно лишь Гелену.

Но если бы он и не произнес его имя, все равно миссия его провалилась, ибо в той записке, которую отправил с ним Ригельт, не было в конце точки. Это означало сигнал тревоги; давным-давно уже было условлено, что, если нет обычной точки после фамилии, надо спешить на помощь, тревога.

Поэтому, сказав, что он поднимется к себе в офис на пять минут, чтобы запереть сейф и сделать два необходимых звонка, Лангер коротко бросил Паулю Зайбергу, сидевшему в приемной:

– Выгоняй машину и осторожно пристройся к «испано-сюизе», что стоит у нашего подъезда. Возьми Педро и пару автоматов, видимо, будет жарко. А ты, – он обернулся к Фрицу, исполнявшему функцию шефа охраны фирмы, – топай со мной. Я на мгновение замешкаюсь, открывая дверь машины, в это время ты быстренько выйдешь и сядешь рядом с водителем. Пистолет держи так, чтобы его можно было в нужное время пустить в ход. Не в городе, понятно. Все поняли, ребята? За дело, с Ригельтом беда.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ДОПРОСА БЫВШЕГО БРИГАДЕНФЮРЕРА СС ВАЛЬТЕРА ШЕЛЛЕНБЕРГА, ЛОНДОН

Вопрос. – Во время прошлого допроса вы упомянули некоторых руководителей мафии в Сицилии, которые, по вашим сведениям, работали на ОСС. Назовите, пожалуйста, фамилии этих людей и расскажите, откуда пришла к вам эта информация.

Ответ. – Боюсь, что подлинные имена я не смогу назвать... Информация к нам пришла, если мне не изменяет память, из абвера, от Канариса. Он в свое время пытался завязать опосредованные контакты с мафией, используя свои итальянские возможности...

Вопрос. – Поясните.

Ответ. – Муссолини провозгласил «общенациональную борьбу» с мафией, но в то же время изредка использовал тех руководителей «Коза ностры», которые имели выходы на Соединенные Шта-

ты. Он, правда, не думал об оперативном разведывательном интересе, его более всего привлекала возможность сведения счетов со своими политическими противниками...

Вопрос. – С кем именно?

Ответ. – В свое время – за абсолютную точность информации я не ручаюсь, повторяю, мафию у нас вел Канарис – в Нью-Йорке вышла книга некоего журналиста, фамилию я запамятовал, который в прошлом был дружен с дуче, а затем эмигрировал и начал против него кампанию за океаном. Попытка перекупить журналиста не увенчалась успехом. Тогда якобы Муссолини обратился к одному из руководителей мафии США, вынужденному бежать из Нью-Йорка и поселиться в Риме, – если мне не изменяет память, его звали дон Вито – за помощью...

Вопрос. – Назовите полное имя дона Вито.

Ответ. – Я боюсь ввести вас в заблуждение... Я знаю только, что лично Муссолини разрешил ему открыть банк в Риме, зная, что он мафиози и разыскивается прокурором Нью-Йорка...

Вопрос. – Витторио Дженовезе – так звали этого человека?

Ответ. – Может быть, и так... Я же сказал: я не хочу вводить вас в заблуждение. Лучше промолчать, чем дать приблизительную информацию... Словом, этот американский мафиози, проживавший в Риме, организовал устранение противника дуче.

Вопрос. – В каком это было году?

Ответ. – Точно не помню.

Вопрос. – Канарис пытался подойти к Вито Дженовезе?

Ответ. – Адмирал был очень скрытным человеком и наиболее рискованные операции предпочитал проводить лично, без помощников. Моя служба присматривалась к его активности. Кое-что нам удалось выяснить...

Вопрос. – К какому периоду относится наибольшая активность Канариса именно в этом направлении?

Ответ. – До начала сорок третьего года. Конкретно – до вторжения союзников в Сицилию. Затем Дженовезе исчез из Рима. Ни Канарис, ни мои службы не могли его более обнаружить[1].

Вопрос. – Что конкретно вам удалось выяснить в ту пору, когда Канарис работал по Дженовезе?

Ответ. – Видимо, запись бесед Канариса с Дженовезе попала к вам в руки? Вы можете найти там подробности... Информация агентуры, даже такой квалифицированной, какая работала на меня, все равно страдает субъективностью.

---

[1] С осени 1943 года Витторио Дженовезе работал переводчиком штаба американских войск в Неаполе, предав своего покровителя Муссолини еще до того, как петух прокричал во второй раз: он тайно покинул Рим за месяц до свержения дуче. До сих пор не установлено, кто сообщил ему из США о предстоящем вторжении. Можно предположить, что это были люди ОСС, ибо в США Дженовезе занимался не алкогольным или порнобизнесом, а продажей наркотиков, что дало ему гигантские связи в разведывательном сообществе США. В Нолле, под Неаполем, Дженовезе был переводчиком полковника США Чарлза Полетти. Зная о том, что Дженовезе разыскивается в США как преступник, Полетти выдал ему охранную грамоту: «Дженовезе обладает ясным умом, знает итальянцев как никто другой и беззаветно предан своей родине, Соединенным Штатам Америки».

Вопрос. – Пожалуйста, отвечайте на поставленный вопрос. Наши аналитики дадут заключение, насколько ваша, лично ваша, информация приближается к правде. Не надо заботиться о нас, спасибо, мы сами сумеем позаботиться о себе.

Ответ. – Канарис как-то вскользь заметил, – мы с ним тогда встретились в ставке фюрера на Украине, – что военно-морская разведка США стала проявлять особый интерес к мафии. Это было в ту пору – дело было в сорок втором году, – когда речь шла не о вторжении в Европу, а об использовании синдиката в борьбе с диверсантами Канариса, которых он забрасывал на побережье Штатов, чтобы взрывать суда, подготовленные к отправке в Англию и Россию с военными грузами. Если мне не изменяет память, руководителя подразделения морской разведки Соединенных Штатов звали Чарлз...

Вопрос. – А фамилия?

Ответ. – Затрудняюсь ответить...

Вопрос. – Не Чарлз Хаффенден?

Ответ. – Похоже. Только у этого капитана было три имени... Если мне не изменяет память[1].

Вопрос. – Память вам не изменяет. Продолжайте, пожалуйста.

Ответ. – Замысел Канариса сводился к тому, чтобы инфильтровать свою агентуру в мафию Соединенных Штатов. Он полагал, что это даст ему возможность проникнуть в разведку США, поскольку мафия имела, по его словам, поразительные связи в Америке. Канарис, по моим сведениям, имел нелегальные контакты в Лиссабоне с одним из помощников руководителя синдиката господина

[1] Капитан военно-морской разведки США Чарлз Рэдклифф Хаффенден и лейтенант О'Малли получили от прокурора Фрэнка Хоугана исчерпывающие данные на мафиози побережья, в том числе и на Джозефа Ланца (Джо Сокса). Разведка ВМС США нашла подход к адвокату мафиози – Джозефу Гьюэрину. Тот организовал – через третьих людей – контакт разведки с боссом мафии Ланцей. Была достигнута предварительная договоренность, которую затем закрепили договором, подписанным в отеле «Астор» капитаном Чарлзом Хаффенденом и Джозефом Ланца. По этому договору, подписанному в то самое время, когда прокуратура Нью-Йорка возбудила против Ланца уголовное дело, контрразведчики ВМС США были – по указанию мафии – приняты на рыболовецкие суда и в порт. То и другое было организовано лично Ланца, державшим весь рыболовецкий бизнес. Когда же разведка ВМС США обратилась к Ланце с просьбой организовать проникновение агентуры в доки, Ланца выдвинул два требования: «Во-первых, вы должны содействовать освобождению из тюрьмы моего помощника Пепе Гуарази (Педро Гуара), а во-вторых, наладить прямой контакт с моим другом Чарлзом (Лаки) Луччиано, также находящимся в тюрьме». Лаки Луччиано – один из руководителей мафии.

Капитан Хаффенден встретился с выходцем из Румынии Мозесом Полакофф, адвокатом Луччиано, который в ту пору был осужден на двадцать лет тюрьмы, и провел с ним беседу, в которой изложил легальному представителю мафии суть дела.

Полакофф согласился передать Луччиано просьбу ВМС США. Тот ответил согласием: «Я – патриот Америки и готов помогать разведке».

После он был переведен из тюрьмы Клинтон в Данноморе в тюрьму Комсток. Здесь, однако, в дело – помимо капитана Хаффендена, назначенного к тому времени шефом «иностранной разведки» в связи с предстоящей высадкой в Сицилии, – включился один из членов «большой шестерки» мафии Меир Лански, представлявший еврейскую группу синдиката.

Именно из этой тюрьмы Луччиано был заброшен разведкой США в Сицилию – в качестве агента ОСС США. Вместе с ним туда же отправился Пепе Гуарази как руководитель группы боевиков-террористов, исполнитель наиболее дерзких налетов, похищений и убийств неугодных.

Фрэнка Кастелло. Канарис не называл мне имени этого человека, но, поскольку разговор проходил в присутствии генерала Гелена, к которому адмирал относился с большим уважением и абсолютным доверием, можно предположить, что Гелен знает имена, псевдонимы, формы связи... Где он, кстати? На Нюрнбергском процессе он не был привлечен даже в качестве свидетеля. Погиб?

Вопрос. – Какими вопросами занимался Гелен в генеральном штабе?

Ответ. – Разведкой на Востоке, вам же это известно.

Вопрос. – Не вам судить, что нам известно, а что нет. Почему вы полагаете, что Канарис посвятил его в свою работу по американской мафии?

Ответ. – Гелен был «мозговым центром» имперской разведки... Он выдвигал весьма рискованные идеи, зная, что Кейтель, Йодль и Канарис в случае чего прикроют его.

Вопрос. – Канарис работал по мафии с санкции фюрера?

Ответ. – Убежден, что нет.

Вопрос. – Во время допросов, которые Кальтенбруннер проводил в том концентрационном лагере, куда был заключен адмирал, он не касался вопросов о работе Канариса по мафии?

Ответ. – Мне это неизвестно... Если кого и интересовала эта проблема, то прежде всего Бормана и его подопечного – гестапо – Мюллера.

Вопрос. – Почему именно Бормана и Мюллера?

Ответ. – Потому что Борман отвечал за хранение всех ценностей рейха. Я имею в виду живопись, вывезенную из Италии, России, Польши, активы Ротшильдов, ариезированные после аншлюса Австрии и оккупации Парижа и Роттердама... Часть этих ценностей в последний период войны вывозилась из рейха. Золото осело в банках Швейцарии. Часть денег была депонирована в Аргентину, Испанию, в Португалию. Поскольку в Намибии была традиционно сильной община натурализовавшихся немцев, колониальных еще времен, часть драгоценностей ушла туда... Как я слышал, изыскивались возможности депонировать золото и в Соединенных Штатах.

Вопрос. – Цель?

Ответ. – Видимо, в надежде на активизацию идей национал-социализма и в самой демократической стране Запада.

Вопрос. – Это ваше предположение или вы располагаете фактами?

Ответ. – Такого рода глобальные вопросы никогда не фиксировались в документах.

Вопрос. – Кто говорил о возможной активизации идей национал-социализма в Соединенных Штатах?

Ответ. – Я допускаю, что об этом мог говорить рейхсляйтер Боле, комментируя ряд выступлений вице-президента Соединенных Штатов Генри Уоллеса, который открыто предупреждал народ о наличии в стране могущественной группы предпринимателей явно фашистского типа... Он так и называл их: «наши американские фашисты»... Да и к тому же фюрер еще с начала тридцатых годов часто повторял в узком кругу, что будущее Америки должны определять люди

типа Форда-старшего, которые понимают, что конгломерат разных наций и религий, составляющих социальную структуру страны, может удержать в повиновении лишь человек жесткой воли и твердой руки.

Вопрос. – Вам известно о каких-либо конкретных шагах, предпринимавшихся НСДАП в этом направлении?

Ответ. – Нет...

Вопрос. – Мы просим вас подумать...

Ответ. – Я допускаю, что рейхсляйтер Боле способствовал проникновению своих людей – из числа натурализовавшихся немцев – в издательский мир Штатов... Кажется, предпринимались попытки проникнуть в кинобизнес Голливуда, но, судя по всему, они потерпели провал, хотя я знаю, что Боле выделял весьма значительные средства на развертывание антирусской и антисемитской пропаганды именно в Голливуде.

Вопрос. – Кто занимался этой деятельностью в аппарате НСДАП?

Ответ. – Единственно, где я не имел информаторов, так это в ведомстве рейхсляйтера Боле. Тот выходил непосредственно на фюрера или Бормана. Попытка привлечь к сотрудничеству его людей была заранее обречена на неудачу.

Вопрос. – Кто мог зондировать возможность связей с синдикатом для Бормана?

Ответ. – Только Мюллер. Мне Борман не верил, зная, что Гиммлер весьма ревниво относился к моим контактам с кем бы то ни было.

Вопрос. – А мог ли Борман использовать в США контакты немецких банкиров и промышленников?

Ответ. – Лично он – нет. Вряд ли. Тут был важен вопрос уровня. Шпееру рейхсляйтер не очень-то доверял, хотя отношения их были вполне лояльны, значит, речь могла идти лишь об опосредованных контактах, через третьих лиц, скорее всего через отдел заграничных организаций НСДАП рейхсляйтера Боле.

Вопрос. – Кого конкретно – из промышленников и близких им людей – вы могли бы назвать в этой связи?

Ответ. – Затрудняюсь ответить на ваш вопрос.

Вопрос. – Имя доктора Вестрика вам известно?

Ответ. – Вестрик? Разве он жив? Мне говорили, что в последние недели войны он попал под бомбежку...

Вопрос. – Повторяю, имя Вестрика вам известно?

Ответ. – Да. Этот человек выполнял наиболее деликатные поручения Гиммлера и Риббентропа во время своих поездок в страны Европы и Соединенные Штаты. Я с ним контакта не поддерживал.

Вопрос. – До какого года он поддерживал контакты со своими контрагентами за океаном?

Ответ. – Затрудняюсь дать точный ответ.

Вопрос. – Можете ответить приблизительно.

Ответ. – Наше сегодняшнее собеседование носит...

Вопрос. – Это не собеседование. Это продолжение допросов.

Ответ. – Но ведь я дал согласие работать на вашу организацию. Я считал, что наши отношения перешли в иную фазу.

Вопрос. – Судя по тому, как вы увиливаете от прямых ответов, пытаетесь скрыть от нас то, что представляет оперативный интерес, ваше обязательство было неискренним. Это позволяет нам пересмотреть отношение к вам, Шелленберг. Если вы будете продолжать цедить информацию, мы передадим ваше дело в Нюрнберг. Да, мы пообещали вам, что суд над вами пройдет здесь, после того, как в Нюрнберге закончится трибунал, да, мы пообещали вам, что приговор будет крайне мягким и вы окажетесь на свободе, но мы не намерены помогать вам, если вы не выполняете своих обещаний. Итак, о Вестрике...

Ответ. – Во всех своих показаниях я старался быть предельно объективным. Я мог бы сочинять, у меня есть к этому – как у профессионального разведчика – известная склонность, но я полагал необходимым соблюдать избыточную точность, чтобы ненароком не дать вместо информации невольную дезу... Что касается Вестрика, то я не думаю, что он мог быть использован Борманом в плане установления контактов с синдикатом, поскольку чаще всего, – если мне не изменяет память, – он работал с ИТТ, в которой был заинтересован Геринг и его «люфтваффе». Как мне известно, ИТТ в основном нацелена на Испанию и Латинскую Америку, а также на Восточную Европу... Она не заинтересована в синдикате так, как могла быть заинтересована американо-германская корпорация «Гамбург – Америка», – это суда, порты, здесь позиции мафии весьма сильны. Думаю, что какие-то следы можно поискать через связи Чарлза (Лаки) Луччиано или Фрэнка Кастелло, а также того самого Ланца, о котором я уже говорил, и Меира Лански... Но в принципе мне было бы легче отвечать, если бы я до конца ясно понял ваш интерес... Я бы тогда смог комбинировать... Ощущать свою нужность в новом деле...

Вопрос. – «Георг Шредер бэнкинг корпорэйшн» могла оказывать Борману какие-то услуги?

Ответ. – Если они знали, что за делом стоит Борман, то вряд ли, поскольку руководитель гамбургского банка Курт Шредер был штандартенфюрером СС, создателем «кружка друзей рейхсфюрера СС» и замыкался непосредственно на Гиммлере... Ведь именно Курт Шредер, являясь ведущим банкиром Европы, пригласил мистера Даллеса на пост директора своего нью-йоркского банка... Это и послужило поводом к тому, чтобы обергруппенфюрер СС Карл Вольф, начальник личного штаба Гиммлера, вышел именно на Даллеса в Швейцарии в феврале сорок пятого – в надежде, что нам удастся создать единый антибольшевистский фронт.

Вопрос. – Канарис имел выходы на Курта Шредера?

Ответ. – Точно не знаю, но такого рода возможность исключить нельзя.

Вопрос. – А на пароходную компанию «Гамбург – Америка»?

Ответ. – Компания находилась под прямым контролем Канариса, поскольку на судах – до начала войны, вплоть до декабря сорок первого[1], – он отправлял в Соединенные Штаты своих людей. На

[1] США вступили во вторую мировую войну лишь в декабре 1941 года.

кораблях этой компании проходили контакты между резидентами Канариса и его агентурой. Могу допустить, что Канарис налаживал связи с мафией в каютах кораблей этой германо-американской компании. Все материалы по этому вопросу должны быть в архивах Мюллера, поскольку люди гестапо были внедрены на пароходы «Гамбург – Америка» для контроля за экипажем и пассажирами. Если мне не изменяет память, в РСХА говорили о контакте между неким Пепе и офицером Канариса – осенью сорок первого года. Я допускаю, что этим Пепе мог быть помощник одного из боссов мафии Ланцы... Допускаю, что это был Гуарази, возможно, под псевдонимом.

Вопрос. – Какие задания мог давать Канарис мафии, если предположить, что он наладил контакт с синдикатом?

Ответ. – Я допускаю, что до сорок первого года Канарис хотел использовать коррумпированные связи синдиката, чтобы удержать Соединенные Штаты от вступления в войну на стороне Англии и России. После объявления войны рейху Канарис, если его связи сохранились, мог использовать мафию – но, конечно, уже через третьих лиц из нейтральных стран, прежде всего из Испании и Португалии, – для организации явочных квартир и террористических актов. Более исчерпывающую информацию по этому вопросу могли бы дать Пиккенброк, Анц и Гелен, они входили в орбиту ближайших помощников Канариса... Мне, например, известно, что генерал Гелен, в бытность руководителем разведки по Востоку, весьма тщательно работал с моряками Болгарии, Финляндии, Турции и Румынии, совершавшими регулярные рейсы в Штаты... Он также контактировал с соответствующими службами Японии...

Вопрос. – А что вы можете сказать о Вернере Круге?

Ответ. – Он работал в моем управлении... Занимался масонами и контактами с американскими филиалами концернов «Лейк» и «Цейсс».

Вопрос. – Где он сейчас?

Ответ. – Или в Аргентине, или в Швейцарии, в Асконе.

Вопрос. – Скажите, чем объяснить патологическую ненависть фюрера, да и вообще НСДАП, к масонам?

Ответ. – Фюрер боялся их тайной, неподконтрольной организованности и связей с крупнейшими финансовыми центрами. Он ненавидел их незримое могущество.

Вопрос. – В какой форме вы работали по масонам?

Ответ. – Я предпринимал на свой страх и риск кое-какие шаги, чтобы проникнуть в братство, понимая, сколь важной будет информация, если я смогу получить серьезную агентуру среди масонства.

Вопрос. – Но ведь в Германии масонские ложи были разгромлены?

Ответ. – Совершенно верно. Но, несмотря на то, что дуче также вел борьбу с масонами, позиции братства в Италии были настолько сильны и глубинны, что ему не удалось до конца разрушить его структуру. Наиболее законспирированные группы продолжали функционировать, причем отнюдь не безуспешно... Особенно активно с итальянским масонством, да и вообще с Италией, работал Ка-

нарис... Он, в частности, рассказывал мне, как во время испанской кампании, в тридцать седьмом году, он привлек к сотрудничеству чрезвычайно, по его словам, перспективного молодого человека, Личо Джелли[1]. Он воевал против республиканцев в составе особого батальона «чернорубашечников» – личной гвардии Муссолини, владел пером, публиковал очерки, был великолепным оратором... Канарис весьма высоко ценил его, загодя готовя, кстати говоря, к проникновению в круги итальянского масонства, чтобы через них выйти на Нью-Йорк и Лондон, на «Шотландскую ложу».

Вопрос. – Оставим «Шотландскую ложу», это не входит в сферу нашего интереса... Какова дальнейшая судьба Личо Джелли?

Ответ. – Если мне не изменяет память, в конце сорок четвертого года он сумел эмигрировать в Аргентину, опасаясь судебного преследования со стороны союзников. Там его следы затерялись, хотя он весьма интересовал меня, поскольку в Буэнос-Айресе итальянцы довольно влиятельны и имеют серьезный вес в нефтяной промышленности, а для рейха в последний год вопрос о бензине был, как вы знаете, ключевым.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (Даллес – Гелен, друзья-враги, сорок шестой)

К малышам Гелена тянуло с детства: самые счастливые дни были, когда родители отвозили его к тете Марте, двоюродной сестре мамочки. У тети Марты было трое детей – двухлетний Петер и девочки-погодки, Лотта и Гертруда, очаровательные пяти- и шестилетние создания, беленькие, с громадными черными глазами, в длинных юбочках, затянутых поясками на грудке. В дни, когда приезжали гости, их одевали в лаковые лодочки, до того умилительные на ножках маленьких проказниц, что двенадцатилетний Рейнгардт испытывал, глядя на них, щемящее чувство тихой умиротворенной нежности.

Чаще всего они играли «в семью». «Папой» был он, Рейнгардт, мамой – шестилетняя Лотта, «бонной» – Гертруда, а Петер – их «сыном»; называли они его почему-то Маугли, хотя он был такой беленький и толстенький, весь перевязанный, словно незримыми ниточками, что никак – даже при детском воображении, самом что ни на есть раскрепощенном, – не мог ни в чем походить на смуглого сына джунглей...

Рейнгардт часами играл с малышами, причем никогда не позволял себе командовать ими, хотя уже тогда, ребенком еще, определил свое будущее – армия; наоборот, он поддавался их капризам, с радостью выполнял просьбы «мамы» и «бонны», был снисходительно

[1] Джелли – «великий мастер» масонской ложи П-2 (пи-дуэ), тесно связанный с тайным международным фашистским движением, состоялся как лидер наиболее реакционного масонства на спекуляциях нефтью и обмене оружия на нефть в 1950 – 1960 годах. Был президентом корпораций в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

После разоблачения Джелли как одного из организаторов планировавшегося фашистского переворота в Италии в 1977 году улетел на своем самолете в Швейцарию; был там арестован; бежал из тюрьмы; в настоящее время скрывается.

ласков к «сыну», точь-в-точь копируя отношение к нему самому отца, самого любимого человека на земле, «любезного и дорогого папочки».

Самая сильная влюбленность, которая остается в сердце человека на всю жизнь, конечно же, детская; впрочем, натуры грубые, духовно черствые забывают это, хотя каждый из них – это бесспорно – бывал влюблен в детстве, влюблен так, как редко влюблялся взрослым уже, когда властно входило проснувшееся желание, а любовь делалась сладостно-изнуряющей, ночной. То поющее ликование духа, сопутствующее детскому чувству, уступало место любовному быту, который с годами становился привычным, каждодневным, а потому стирающимся, как расхожая монета...

Весной сорок четвертого года, оказавшись в госпитале (слегка задело; фюрер прислал телеграмму – очень любил генералов, которые, как он говорил, «опалены жарким пламенем очистительной битвы»), Гелен, женатый уже человек, отец, счастливый, казалось бы, семьянин, со слезами на глазах вспоминал маленькую Лотту: ее муж попал в плен под Сталинградом, выступил по московскому радио вместе с Паулюсом; несчастную женщину как жену изменника арестовали, бросили в концентрационный лагерь; тетя Марта просила помочь. А что он мог поделать? Любое слово, сказанное в защиту несчастной, обернулось бы против него – «пособник врага нации». Петер погиб еще в сорок первом, под Ельней, прямое попадание русской мины: стоял человек, молоденький офицер в ладно пригнанной форме, и исчез, как не было, вздох взрыва, черное облако – и гудящая пустота; ужас какой-то, нереальность! Только Гертруде повезло – восемнадцатилетней она вышла замуж за шведского промышленника и уехала в Стокгольм; в рейхе с тех пор не бывала, вспоминая бывшую родину с плохо скрываемой неприязнью. Ее соседа по семинару, студента философского факультета в Гейдельберге, заставили языком вылизывать асфальт; парни из «Гитлерюгенда» окружили его, бросили на колени: «Ты должен вылизать нашу землю от твоего паршивого еврейского присутствия» – и мочились на него, захлебываясь от смеха.

«Боже, как ужасно складывается жизнь!» – думал тогда Гелен; в госпитале его часто навещал генерал Хойзингер; каждый раз, возвращаясь от фюрера из его полевого штаба в «Вольфшанце», он находил время навестить своего давнего друга. Включив радио, стоявшее на столике у изголовья, рассказывал об ужасном положении на фронтах: «Нас может спасти чудо, но ведь мы с тобой прагматики, чудес нет, значит, мы обречены, крушение неизбежно, фюрер одержим, отказывается понимать реальность, верит в придуманные им же самим химеры, и ни у кого из окружающих нет смелости открыть ему правду; какой алогичный деспотизм!» (При этом и Хойзингер, и Гелен – начальник оперативного отдела генерального штаба фюрера и шеф его разведуправления «Восток» – как-то даже и не думали, что сами они также являются окружением Гитлера, проводят с ним многие часы на совещаниях, бывают приглашены к обеду, обмениваются дружескими рукопожатиями, имеют, говоря иначе, возможность открыть правду; о, гнусность и малость, «теория пе-

реваливания» на соседа, надежда на смелость другого, вера в озарение, которое придет к тирану со стороны!)

После бесед с Хойзингером генерал Гелен впадал в состояние тяжкой духовной смуты, не мог спать, даже если врачи давали снотворное. Спасением было одно и то же видение: маленькая Лотта в длинном платьице, перехваченном в грудке пояском, и остроносые лаковые туфельки на прелестных крошечных ножках; с этим видением только и засыпал, вызывал его как спасение.

Гелен впервые по-настоящему осознал ужас своего положения, когда фельдмаршал Эрвин Роммель по приказу фюрера покончил жизнь самоубийством. (Вместе с промышленным магнатом из Штуттгарта Робертом Бошем был подготовлен план, по которому он и его начальник штаба Шпейдель открывали фронт на западе и готовили ударный кулак против русских армий, чтобы не пустить их в Польшу и на Балканы; единственное, в чем он расходился с другими генералами, участвовавшими в заговоре, была судьба Гитлера. Он был категорически против устранения фюрера: «Я уговорю его согласиться с нами после того, как все будет сделано; он послушает меня, ведь главное дело его жизни – борьба против русского большевизма – будет продолжено!» За то, что Роммель был против убийства Гитлера, ему была пожалована милость: покончить с собой в присутствии посланцев рейхсфюрера; торжественные похороны и пенсии жене и сыну гарантированы.)

Выйдя из госпиталя, Гелен стал заканчивать работу по «Красной библии», в которую были включены фамилии русских военачальников, политических деятелей, писателей, актеров, ученых; компрометация готовилась высококвалифицированными мастерами своего дела. Фотомастер, который переснимал «Библию», был отправлен на Восточный фронт, на центральное направление. Сопровождавшему его человеку – верен до последней капли крови, был спасен от трибунала, куда угодил из-за языка, – было приказано сделать все, чтобы фотограф (обер-лейтенант, близорук, в армию призван в сорок втором, страдает сосудистым заболеванием, вены на ногах раздуты, поэтому с трудом передвигается) ни в коем случае не попал в русский плен. Теперь руки развязаны – фотограф погиб во время налета русских штурмовиков от пулевых ран. Два экземпляра «Красной библии» были надежно укрыты в Альпах, неподалеку от швейцарской границы; подлинник лежал в сейфе, в помещении генерального штаба, в Цоссене, под Берлином.

Мучительно обдумывая будущее, которое казалось беспросветным, Гелен часто, когда становилось совсем уж невмоготу, уезжал в имение к барону Ридзельцу Эйзенбаху (несмотря на то, что большая часть его поместий находилась в Пруссии, в Гессене его семья также владела прекрасными землями и двумя дворцами). Почти вся семья собралась здесь, спасаясь от налетов. Племянницы барона, Ингеборк и Паула, семилетние создания, похожие чем-то на Лотту и Гертруду, стали его самыми близкими друзьями; он мог проводить с ними целые дни, придумывал уморительные игры, во время «пряток» не гнушался тем, чтобы «водить», и, конечно, не находил маленьких прелестниц, а они, визжа от сладостного страха, счастли-

вые, подбегали к условленному месту: «Чур-чура, меня не нашли!» А еще он очень любил готовить вместе с ними прекрасные обеды из речного песка и листьев; получались невероятно красивые застолья, еда была разложена на деревянных игрушечных блюдечках, и Гелен горестно думал о том, сколько же должно пройти лет после окончания войны, прежде чем люди снова научатся выпускать детские игрушки.

Он возвращался к себе в генеральный штаб освеженным, шутил с офицерами, был любезен с коллегами, почтителен и спокоен во время докладов фюреру; спокойствия хватало на неделю: «Этот трясущийся параноик, ослепленный манией величия, тащит в пропасть несчастных детей. Видимо, потому, что я родился солдатом, в моем сердце живет слабость к малышам, я должен защитить их, а это возможно лишь в том случае, если постоянный враг – восточный медведь – будет плесневеть в своей берлоге, надежно обложенный со всех сторон охотниками со взведенными ружьями, сделанными из крупповской стали».

Он стал рано мечтать о внуках; детство собственных детей прошло незамеченным, – весь в карьере, сумасшедший ритм работы, предложенный фюрером; интриги, чувство неуверенности в завтрашнем дне, самое счастливое время отцовства пронеслось, словно один миг.

После катастрофы, вернувшись из Вашингтона в Пуллах, он пристрастился навещать дом доктора Шверенбаха: его тянули те дома, где звенели детские голоса, а у доктора была внучка, Ане-Лиза, пятилетнее чудо с громадными карими глазами. Гелен попросил ее не называть его «дядя Рейнгардт»: «Зови меня просто Рени, маленькая, потому что неловко называть дядей того, кто больше всего на свете любит играть – особенно в прятки и салочки, не говоря уже о штандере».

Именно здесь, у Шверенбаха, занимаясь переодеванием любимой куклы Ане-Лизы, которая досадливо отчитывала «Рени» за неумение держать на руке «либонка» (так она произносила слово «ребенок», какая нежность, даже щемит сердце от самого присутствия этого доброго пятилетнего человечка), он и услышал передачу гамбургского радио.

– Сегодня, – быстро читал диктор, – состоялось очередное собрание членов недавно созданной по лицензии британских оккупационных властей «Имперской социалистической партии». Среди выступавших были господин Дорльс и граф Вестарп. По их словам, – цитируем, – «Германия не виновата в том, что началась мировая война. Если бы Лондон и Париж приняли руку, предложенную Берлином, и сели за стол переговоров, то конфликта можно было бы избежать. Однако правивший тогда Уинстон Черчилль не хотел внимать фактам, которые свидетельствовали: Данциг – это последний немецкий город в Европе, который был отторгнут от родины. Германия не хотела ни пяди чужой земли, она хотела лишь одного: воссоединения всех немцев в едином государстве, которое открыто провозгласило себя защитником западной цивилизации». Господин Дорльс утверждал, что – цитируем – «единственным законным правительством Германии бы-

ло, есть и останется имперское правительство гроссадмирала Деницa, законного преемника рейхсканцлера, приведенного к присяге президентом фельдмаршалом Гинденбургом. То, что канцлер Денниц был осужден в Нюрнберге, есть нарушение всех норм международного права, которые всегда исповедовали западные демократии. Если бы Германия возглавлялась правительством гроссадмирала, немцы могли бы достойно ответить на безнравственные обвинения в жестокостях, которые якобы имели место в так называемых концентрационных лагерях. Во-первых, в лагерях трудового перевоспитания находились уголовные преступники, осужденные за акты грабежа, насилия, гомосексуализм и разбой, а во-вторых, нигде, никогда и никто не подвергал их издевательствам, как об этом сейчас принято говорить. Пусть небылицы останутся на совести тех безответственных журналистов, которые сочинили это во имя высоких заработков. Никогда немец не позволял, не позволяет и не позволит впредь какой бы то ни было несправедливости по отношению к себе подобным, пусть даже эти люди были падшими, аморальными элементами, отбросами общества. Мы не позволим клеветать на наше прошлое, это унижение нации, которая приняла на свои плечи главное бремя борьбы против большевистской неспровоцированной агрессии!» Другие выступавшие поддержали речи создателей новой партии, квалифицируя их как «слова правды, мужественное отстаивание того дела, которому служили немцы, полагая, что они отдавали все свои силы и врожденный талант созидателей и воинов делу борьбы за цивилизацию».

– Лидеры «Германской правой партии», созданной также по лицензии англичан, выступили с критикой «имперских социалистов», – продолжил диктор, – поскольку их высказывания противоречат духу новой демократии.

Гелен едва сдержался, чтобы не сорваться с места: «Нельзя, маленького ангела это испугает; дети, как и белочки в парках, боятся резких движений взрослых; нет ничего страшнее потери любви маленького создания, невосполнимо, они же так искренни в своих привязанностях, ради их будущего мы живем на земле, ради чего же еще...»

Лишь только после того, как кукла была наряжена в новое платье (в магазинах, понятно, не продавалось, пусты, шаром покати по прилавкам, только «черный рынок», на котором американцы меняют яичный порошок и свиную тушенку с сигаретами на меха, картины и хрусталь; платье сшила дочь доктора, Магда, из старых тряпочек, – разрывается сердце от этой достойной нищеты), Гелен откланялся, поцеловав свою маленькую подругу, и сразу же поехал к себе в резиденцию. Оттуда он – по известным ему одному каналам – связался с секретарем Конрада Аденауэра, которого многие прочили в преемники осужденного в Нюрнберге гроссадмирала Деницa, ибо Аденауэр был женат на фрау Цисснер, сестра которой была замужем за американским генералом Джоном Маклоем, отвечавшим в Вашингтоне за контроль над Германией. Цисснеры были равно богаты и в Штатах, и в Пруссии. К Гамбургу поэтому традиционно относились весьма подозрительно: «Эти ганзейцы могут выкинуть любое коленце, с них хватит».

Ночью Гелен получил ответ от «старого господина»; зарекомендовал себя в пору становления фюрера как один из наиболее выдающихся обербургомистров, возглавлял не какой-нибудь заштатный город, а рурский бастион – Кельн.

– Передача гамбургского радио шокировала всех, кому дороги Германия и ее будущее, – передал Аденауэр.

Лишь после этого Гелен связался с Алленом Даллесом – также конспиративно; их контакты были опосредованными, крайне аккуратными, чтобы ни в чем не повредить республиканской партии, одним из лидеров которой был старший брат – Джон Фостер. Контакт с Мюнхеном может пойти во вред друзьям и склонить выборщиков в Штатах к демократам, что нежелательно, ибо Рузвельт являл собой рупор этой партии, и хотя Трумэн – политик совершенно иного толка, но уж совершенно не считаться с предшественником он не мог.

Смысл предложений генерала заключался в том, чтобы Даллес повлиял на военную администрацию. Желательно, чтобы он упомянул о нем, Гелене (пришло время – хотя бы конфиденциально – начать упоминать об организации, стоящей во главе борьбы за демократию в Европе), в том смысле, чтобы «Имперская социалистическая партия» была немедленно запрещена и ошельмована как «пронацистская» – по требованию истинно германских патриотов, какими стоило бы провозгласить членов «Германской правой партии», столь четко себя заявившей. «Ликвидировать "Имперскую партию" должны мы, ваши истинные союзники, а не кто-либо иной», – настаивал Гелен. Уснул только под утро; в восемь часов был уже у себя, ожидая вестей из Нью-Йорка. Как и все европейцы, прожившие всю жизнь в Старом Свете, он не очень-то представлял себе разницу во времени, хотя мог сказать, который час в Бангкоке или Оттаве, не напрягая памяти: тренировка. Однако всегда негодовал на медлительность Даллеса, отдавая себе при этом отчет, что тот ничего не может сейчас решать, поскольку в Новом Свете еще ночь...

Информацию генерала Аллен Даллес получил только в семь вечера; он провел день в университетской библиотеке, где обычно работал по субботам часов до десяти.

В отличие от Гелена, он не испытывал трепетной любви к малышам. Так уж получилось, что семейная жизнь не сложилась: единственная женщина, которую любил (дочь Артуро Тосканини), осталась в Милане, клан не простил бы развода, шокинг, не ототрешься, Америка не принимает то, что противно традициям. С тех пор еще более увлекся коллекционированием трубок и старинных книг, особенно по истории Китая; очень любил собак, однажды сказал брату: «Если доживу до старости, уеду на ферму, куплю щенков, обязательно овчарок, кобельков, воспитаю их так, чтобы мы понимали друг друга без слов, по вечерам буду сидеть у камина и читать вслух; псы прекрасно ощущают выражение, лучше, чем люди; про модуляцию голоса, запах и предшествие движения они знают больше, чем мы».

Он сидел в библиотеке на самом верху треноги, возле последней

полки стеллажа, не в силах оторваться от книг по истории древнего Китая, – тема эта его завораживала, он воочию, словно в прекрасном цветном фильме, видел происходящее, сопереживая ему так, будто сам был участником событий.

Последние дни (работа по созданию Центрального разведывательного управления, которое, наконец, объединит все службы воедино, шла трудно, масса препон, да еще в условиях абсолютной конспирации, когда ни одна живая душа, кроме пятнадцати посвященных, не имела права ничего знать) он до того изматывался, что находил отдохновение только здесь, во взрывоопасной тишине библиотеки. Но и тут, примостившись, словно петух на жердочке, читая и перечитывая китайских классиков, Даллес ни на минуту не прекращал думать о создании своего детища, которое должно оказаться венцом всей его жизни: то, что начинал в Брест-Литовске генерал Гофман – с его, Даллеса, подачи, – то, что тогда, увы, не осуществилось, не имеет права не быть осуществленным сейчас, когда он отдал всепожирающей страсти действа личную жизнь, возможность семейного счастья и все бесхитростные, но столь прекрасные забавы, которыми живут все его одногодки. Он вновь и вновь перечитывал китайцев, пытаясь найти в их сдержанных, полных недосказанного изящества строках подробности, столь необходимые разведке, особенно накануне принятия главного решения.

Он вновь и вновь перечитывал рассказ о том, как придворный философ Мо Цзу – в пятом веке до рождества Христова – предлагал ввести закон, по которому каждый домовладелец должен быть ответствен перед императором не только за свое поведение, но и за поведение каждого соседа – слева и справа от себя, круговая порука в чистом виде.

До третьего века система философа – создателя разведывательной доктрины императора – была, в общем и целом, незыблемой; но по прошествии трех столетий, во втором уже веке до нашей эры, император Чин Шихуан Ти полностью запретил Конфуция, провозгласив его гуманизм «отвратительным и изменническим покусительством на верховную власть»; главенствующей философской школой сделали легитимизм, утверждавший, что человек по своей природе таков, что ему ни в коем случае нельзя доверять, а уж тем более полагаться на его добрую волю: только железная рука императора может держать в смиренном повиновении толпу, раздирающую самое себя по разным направлениям.

Именно император Чин запретил в Китае литературу, упразднив ее официальным декретом; тот, кого заставали за чтением трудов Конфуция, подлежал немедленной казни.

Необходимость оправдания этих мер требовала нового философского обоснования. По иронии судьбы придворный философ Хан Фэй был призван императором для выполнения этой задачи; ученый прекрасно знал историю и литературу, ему и карты в руки. Император верил только себе, и если он верил философу, то никто не был вправе возразить властелину, – чревато казнью; главный же министр Ли Шу, враг философа, держал в потаенном ларце выдержку из ранней работы ученого: «Дай тому, кому не очень-то веришь, но кто

умен и, следовательно, нужен тебе, кредит доверия на любой его успех; подталкивай его к работе на твое дело, научись шаг за шагом, незаметно подводить его к твоей идее; сделай так, чтобы он получил радость от результатов своего труда, выполненного к твоему благу и с твоей подачи, никогда не уличай его в том, что он поначалу стоял в оппозиции к твоему замыслу, комбинируй!» Поскольку главный министр читал всего Хан Фэя, знал, как император любит его (как правило, тираны страдают слабостью не к тем, кто им безмерно предан, но к тем, кто бесстрашно отстаивает свое и делает это блестяще, не открывая, понятно, свою идею врагам трона), он, руководствуясь новой философией, столь угодной императору, построил Великую Китайскую стену, чтобы сохранить государство от вторжения мужественных северных соседей, и обратил свои взоры на юг, завоевав княжества, имевшие выход к морю. Он провел декрет, запрещавший в империи школы, как разносчики заразы, и ввел управление цензуры, следившее за каждым словом – писанным или произнесенным – всех без исключения мандаринов. Он же лично отобрал семьдесят наиталантливейших учеников из повсеместно запрещенных школ, спас их от пыток, которым были подвергнуты остальные, и посоветовал императору держать их при себе в качестве советников, которые станут оформлять мысли живого бога в законы, угодные традициям.

В своих разведывательных акциях на юге премьер также руководствовался доктриной Хан Фэя; он постепенно, исподволь влиял на противников в том смысле, чтобы они приняли компромиссное решение. При этом задача заключалась в том, чтобы противник был убежден, что это он сам выдвинул компромиссное предложение тирану, тогда как – на самом деле – оно было давным-давно придумано главным министром и исподволь внедрялось в окружение того, кто должен стать жертвой на пути императорского продвижения к морю и теплу.

На приемах главный министр и придворный философ стояли плечом к плечу, ближе всех к трону. Придворные любовались этой достойной мужской дружбой: сила, опыт и знание дополняли друг друга, являя собою гарантию государственного внешнеполитического могущества и стабильности внутри страны.

Незадолго перед смертью императора главный министр обратился к философу с просьбой разработать концепцию внешнеполитической разведки. Хан Фэй принялся за дело со свойственной ему легкостью, много шутил, говорил о том, что душа лазутчика открыта ему, ибо настоящий шпион сродни философу и женщине – он также страдает избыточным любопытством и страстью к острым ощущениям.

Через день после того, как император умер, главный министр приказал арестовать философа, понудил Хан Фэя покончить жизнь ритуальным самоубийством, а его манускрипт тщательно изучил, радуясь главной концепции, высказанной покойным «врагом-другом»: «Основу разведки должны составлять закрытые, глубоко засекреченные сообщества, подчиняющиеся железной дисциплине, обладающие значительными суммами денег для повседневной работы и свя-

то исповедующие религиозную идею императора. Результат работы лазутчиков должен оцениваться и по тому, сколь точна информация и – главное – своевременно доставлена. Ведущей силой разведки являются умные люди, не страшащиеся отстаивать собственное мнение, которое может – в определенной мере – быть противным царствующему при дворе. Оценивать сведения, собранные лазутчиками, должны наиболее доверенные сановники, лишенные страха перед доктриной, являющейся основой власти соседнего императора или князя; только в этом случае они сохранят объективность и широту взгляда... Число такого рода сановников должно быть строго ограничено, чтобы избежать длительности прохождения полученных данных к столу императора...»

Даллес даже рассмеялся, прочитав последние строки, полез во внутренний карман и, не спускаясь с треноги, прямо там, наверху, прочитал документ, подготовленный для него в Калифорнийском университете, – о структуре нового разведывательного сообщества.

...Вернувшись домой, он увидел на столе записку, что трижды звонил Освальд (работал с Даллесом, начиная со Швейцарии; сейчас возглавлял фирму по производству запасных деталей для телефонных аппаратов, принадлежащую клану ИТТ; фактически же был связан с Геленом).

Он-то и сообщил Даллесу о той прямо-таки панической информации, связанной с заявлением «Имперской социалистической партии», которую зашифрованно передал Гелен.

– Это все? – спросил Даллес.

– Да. Наш друг очень волнуется, просит немедленно дать ваши рекомендации, полагает, что высказываниями руководителей партии не преминут воспользоваться красные.

– Видимо, не преминут, – кивнул Даллес, – для них это подарок. Вы попросите Гелена срочно подготовить досье на этого самого графа Вестарпа и господина Дорльса... Если мне не изменяет память, какой-то Дорльс несколько раз выступал – в начале двадцатых годов – вместе с фюрером, не тот ли это?

Не веря никому, даже ближайшим помощникам, Даллес постоянно был вынужден играть и, таясь, посмеиваться, пыхая своей английской трубкой, ибо малейший неверный шаг мог нанести ущерб делу создания его организации; он уже придумал название – Центральное разведывательное управление: прекрасно звучит, в какой-то мере устрашающе, что ж, так и должно быть, в разведке занимаются не массажем или танцами на льду, в его разведке будут заниматься реальной политикой, она будет делать то, что вынудит администрацию идти в ее фарватере, защищая его детище – в случае ошибки – и восторгаясь им, когда станет пожинать лавры содеянного.

Он ничего не сказал Освальду, кроме того, что предложил передать Гелену просьбу о срочном подборе досье на лидеров «какой-то паршивой нацистской партии», а мог бы сказать, что именно его контакты подвели графа Вестарпа и Дорльса к созданию своего «имперского» детища, именно его контакты передали деньги на аренду помещения, приобретение библиотеки и станка для печатания бланков и членских билетов. Не надо об этом говорить даже Ос-

вальду; мало кто поймет уровень его замысла: создать прогитлеровскую партию – через пятых, конечно же, людей, а потом первому положить на стол президента информацию о том, как наци поднимают голову. Необходимо действовать, а не хлопать ушами, как это делают в ставке верховного комиссара оккупационных войск! Такого рода акция Даллеса выдвинет его на новую, еще более высокую позицию главного эксперта по германскому вопросу. Он, Даллес, может то, чего не могут (или не умеют) другие. Создание им, Даллесом, «Имперской социалистической партии» есть форма борьбы за пост руководителя разведывательного сообщества, которым Америка уже беременна, роды должны пройти легко, акушер известен, – не нажим и патронаж старшего брата, но лишь объективное признание его, Аллена, компетентности должно привести его к лидерству в разведке...

Но Даллес не знал и не мог знать, что к «Имперской социалистической партии» весьма пристально присматривался Мюллер, изучая все выступления лидеров с карандашом в руке.

Ни Даллес, ни Гелен не могли предположить, что именно Мюллер создал «Немецкую правую партию» – ту, на которую решил поставить Гелен.

Значительно менее многочисленная – всего тысяча членов, но вполне легальная, при этом «антигитлеровская», эта партия подвергала – по сценарию Мюллера – остракизму злодеяния СС и гестапо, не переставая повторять, словно заклинание, о том, что лишь Германия, «очистившись от скверны гитлеризма, может и должна стать оплотом западных, христианских демократий в защите европейских святынь». Это давало «Правой партии» благорасположение американских и британских оккупационных властей и надежные контакты с медленно и подспудно восстанавливавшейся системой германского бизнеса.

Ни Даллес, ни Гелен не знали, что деньги партии, являвшейся законспирированным центром той идеи, которой служил Мюллер, два раза в квартал передавал штурмбаннфюрер СС Ригельт, который столь случайно встретился со Штирлицем на борту ДС-4, следовавшего из Мадрида в Буэнос-Айрес.

СПАРК (Лиссабон, декабрь сорок шестого)

Когда из подъезда следом за Лангером – маленьким, толстым катышком, – который чуть замешкался, неуклюже открывая дверь, быстро вышел высокий, спортивного кроя парень в коротенькой коричневой кожанке, застегнутой на молнию, и ловко сел рядом с ним, молча кивнув, Спарк понял: «Провал! Конечно, нельзя было все делать с налету; я вечно спешил, боялся не успеть, хотел сделать лучше и заметнее других. Вот почему тебя турнули из разведки, – сказал он себе, – нечего искать виновных, поделом».

Он резко обернулся к Лангеру, сразу же увидев, как правая рука его соседа напряглась и сделала чуть заметное, какое-то пульси-

рующее движение к молнии на куртке. «Пистолет за поясом, – понял Спарк, – наш стиль, быстро же они этому научились, сволочи».

– Мой босс присмотрел домишко за городом, – сказал Спарк. – Сто тысяч – это много по здешним ценам?

– Местная валюта? Или доллары? – поинтересовался Лангер, рассеянно глядя в окно.

– Конечно, доллары, – рассмеялся Спарк. – Все норовят продать за доллары, во франк никто не верит.

Лицо Лангера чуть сморщилось – он выжал из себя улыбку:

– За сто тысяч тут можно купить дворец.

– Ну, а этот домишко вроде бы и есть дворец; два этажа, башенки, огромный подвал, где можно оборудовать прекрасную мастерскую, много земли...

– Много – это сколько? – поинтересовался Лангер.

– Мне еще не передавали документацию...

– А сколько деревьев? Здесь очень ценятся участки с лесом. Сколько там деревьев и каких пород?

– Штук сто...

– Сколько?!

– Ну, семьдесят, – Спарк снова резко, но вполне мотивированно обернулся к Лангеру, и снова рука парня мгновенно передвинулась к молнии на куртке. – А что, это много?

– Это богатство, – ответил Лангер. – Сто тысяч – весьма дешево, если там такой лес. Мы едем туда?

– Да, – ответил Спарк, легко глянув в смотровое зеркальце: машина, пристроившаяся еще в центре, шла следом, не отставая, – «хвост». – Именно туда. Это минут тридцать. Вы, думаю, будете ужинать с моим боссом и мистером Киккелем в городе, дом еще толком не оборудован, ни слуг, ни электроплиты, мы привезем все оборудование из Штатов.

– Прекрасно, в городе, так в городе, – машинально откликнулся Лангер. Он мучительно хотел повернуться и посмотреть, идет ли за ним машина Пауля, но боялся, что водитель заметит его движение. «Нельзя пугать; смешно, конечно, если Ригельт ошалел от счастья, подписав контракт с американцем, забыл все на свете и случайно не поставил в письме нужную точку. Но ведь он обещал позвонить после разговора из редакции и не позвонил; приехал этот американец; назвал мое настоящее имя; нет, явно что-то случилось».

– Когда ваш босс будет оборудовать дом, пусть поставит несколько телефонных аппаратов, в городе отвратительная связь, – по-английски Лангер говорил очень грамотно, ни единой ошибки, но с заметным акцентом; его оплывшее, с нездоровыми отеками лицо замирало от напряжения.

– А там пока еще нет ни одного аппарата, – Спарк сразу же понял, отчего Лангер заговорил про телефоны: хитер, бес. – Мы хотели вам позвонить из Эсториля, это рядышком, а потом решили, что вы все равно нас не найдете, вот меня и погнали...

– Это очень любезно с вашей стороны. Мне совестно, что Киккель доставил вам столько хлопот.

Спарк снова обернулся, и на этот раз рука парня не дернулась

так пульсирующе-судорожно, как раньше, а спокойно лежала на коленях.

– Так ведь бизнес! – рассмеялся Спарк. «Ты хорошо это сделал, – похвалил он себя, – вполне натурально». – Я имею процент с прибыли фирмы, по нынешним временам это неплохо, согласитесь.

– Зависит от того, какой оборот.

– У нас хороший оборот, фирма вполне благополучна, мы верно почувствовали послевоенную конъюнктуру, можете не сомневаться...

«Только, пожалуйста, почаще сомневайся, Спарк, – вспомнил он слова Элизабет, когда она везла их на аэродром, – он всегда прет напролом, – пояснила она Кристе, – береги его, конопушка, он славный парень, ты ведь имела возможность в этом убедиться, правда?»

Спарк только сейчас – с мучительной четкостью – вспомнил глаза Элизабет и то, как она посмотрела на Кристину. Разница в четырнадцать лет, отяжелевшая после родов женщина – любимая, нежная, моя, но – с сединою уже, а рядом Криста: ноги растут из-под лопаток, обсыпана веснушками, волос – грива, смыла краску, снова стали белые, как солома, очень идет. «Глупышка, зачем экспериментировала? Логику женщин невозможно понять; хотя, быть может, именно в этом таится их главная прелесть? Бедная Элизабет, каково ей было везти нас на самолет? Почему я не подумал тогда, что ревность живет в женщине помимо разума? Она ведь раньше никогда и не представляла, что кто-то может добиваться моей любви, она привыкла к тому, что я был ее собственностью, а я ведь и в самом деле был увлечен Кристой, дурак не увлечется, но я растворен в Элизабет, нет, это не страх и не только любовь к мальчишкам, просто в ней всегда было то, что так редкостно в женщинах, – прямо-таки мужская надежность, никаких перепадов настроений, капризов, бабских недомоганий, которые ложатся тяжелым осадком на семейную жизнь: обязательно скандал или слезы в эти их дни. Элизабет всегда умела держать себя, чудо что за дружочек, только сейчас стал по-настоящему понимать, какой я счастливый. Вообще-то такое, видимо, понимаешь в самые последние минуты, когда надо что есть силы жать на тормоза, так сильно, чтобы мои пассажиры полетели со своих мест, выхватывать пистолет из-за пояса парня, бить его рукоятью по виску, выбрасывать на шоссе, велеть Лангеру переваливаться сюда, ко мне, совать ему "смит-вессон" в бок, на двенадцатом километре отрываться от хвоста, свернув направо; там есть хорошие проезды между особняками, я выеду за Эсторилем, не показываясь на трассе, время еще есть, хотя оно на пределе. Не пришлось бы Кристе стрелять – сможет ли? Одно дело говорить, другое – нажать на курок. Главная опасность в том, что я могу потерять темп, когда стану тормозить, выбрасывать на шоссе эту кожаную скотину, что сидит справа, и приказывать Лангеру перебираться ко мне. Ничего, перевалит. Под дулом пистолета быстренько перевалит, только сейчас не надо сдерживать себя: или я их, или они меня. Вторая машина наверняка остановится около кожаного, не могут же они бросить его на дороге? Я в это время под-

нажму на акселератор, я непременно должен оторваться от них, у меня нет иного выхода, иначе мальчишки останутся без отца, вот в чем штука.

А как прекрасно Элизабет улыбалась мне, когда мы с Крис шли по полю к самолету, как весело и белозубо, никакой тревоги в глазах, это надо ж уметь так скрывать свои чувства! Она ведь знала, что за нами с Крис уже там, в Лос-Анджелесе, могут смотреть. Пол не зря предупредил, что его теперь постоянно "страхуют". Элизабет знала, что нам с Крис придется тайно менять самолет в Лондоне, ведь мы летели в Осло улаживать дела с наследством отца Кристы — дом, яхта, все остальное, договаривались по телефону с юристами, назначали время встречи. Телефон теперь слушают, ну и слушайте на здоровье. Про то, что Джон Флэкс дал ему деньги на полет в Лиссабон — из тех, что получил на съемку от фирмы по выпуску дорожных несессеров, не знала ни одна живая душа; нельзя пугать голубков, конспирация.

Так, до поворота мне осталось еще три мили, — подумал Спарк. — Нет, здесь все считают на километры, значит, не три, а полторы мили, сейчас надо замотивировать набор скорости, я должен разогнаться до максимума, иначе они удержатся на своих местах, а они должны полететь; один, кожаный, — на ветровое стекло, а Лангер — с сиденья на пол; салон огромный, он должен покатиться вниз, удариться о спинку и хоть на мгновение потерять ориентацию...»

— Мистер Лангер, вы водите машину? — спросил Спарк.

— Конечно.

— Такую колымагу никогда не водили?

— Это королевская машина, мне не по средствам...

— Вообще-то да, — Спарк оглянулся, улыбнувшись, — глядите, как она резко набирает скорость, практически с места...

— Да, очень сильный двигатель...

— Видите, уже сто десять миль... Лихо, а?

Кожаный, что сидел рядом, вытянул левую руку и уперся ею в приборный щиток. «Ну, сука, погоди, — подумал Спарк, — ты натренирован, но я тоже не зря прожил на земле сорок три года, тоже чему-то научился, а особенно за последние месяцы в Голливуде, — как-никак специалист по разведке, надо было изучать штампы, которые только и понимают наши доверчивые зрители, борьбе ума они научены жизнью, поди не выучись, в момент съедят конкуренты и косточки выплюнут, а вот умению отрываться от слежки, коронному удару апперкотом или ребром ладони по шее, так что голова бессильно отбрасывается в сторону, будто ее срубили, резкому повороту машины в крошечный переулок, так что из-под шин появляется дым, они учатся в кино, платят за это доллары, кстати немалые, поди обмани их надежды, нельзя, не по правилам...»

Спарк сбросил скорость и попросил кожаного:

— Пожалуйста, достаньте в ящичке новую пачку сигарет, мои все искрошились.

Тот открыл крышку, Спарк прибавил газа, парень чуть нагнулся, разглядывая то, что лежало в ящичке. «Ну, давай, машинка, давай, "испано-сюизочка", гони, ты ж такая устойчивая, скорость не-

заметна, идет, как плывет, плыви, голубонька, попробуем-ка выкрутиться, а, милая? Поможешь? Ну-ка, помоги!»

Парень несколько удивленно посмотрел на Спарка, сказал по-португальски:

– Там нет сигарет...

Спарк обернулся к Лангеру, надо отвлечь кожаного от скорости. «Я ведь и рассчитывал, что парень ответит мне по-португальски, ах, как хорошо все получается, просто прекрасно, лучше быть не может!»

– Что он говорит, мистер Лангер? – спросил Спарк, нажимая на акселератор еще сильнее.

– Он говорит, что там нет сигарет.

– Они под бумагой, скажите ему, что они под бумагой.

Лангер перевел.

Парень сунул руку в ящик, и в это мгновение Спарк, обрушив ладонь на кнопку блокировки дверей (и такая была предусмотрена на приборном щитке), а ногу на тормоз, услыхал, как Лангер скатился на пол, увидел голову парня, враз побелевшего от страшного удара темечком о стекло; бросил руль, сунул руку за пояс кожаного, выхватил пистолет, ощутил, какой он тяжелый, успел подумать, что это «парабеллум», и обрушил удар, который с ужасом услышал – такой он получился хрустящий, хотя рукоять вошла в мягкое; парень обмяк, как куль, сполз на пол. «Лежи, сука, если жив! Лежи и не двигайся! Не я это затеял, это твои ригельты и лангеры с фюрерами затеяли все это, прости меня, кожаный, но надо знать, кому служишь; за все блага в этой жизни приходится расплачиваться, вот и расплачивайся!»

Спарк обернулся, перегнувшись через сиденье, и сразу же увидел глаза Лангера: «Щелочки, а не глаза, медведь, надеется на ту машину, что гонит ко мне; валяй, надейся. Руки-то у него лежат вдоль тела, босс паршивый, пистолет с собой не возит, зачем ему, кожаный с пушкой сидел рядом, а сзади машина с двумя головорезами, спешат, поняли; ну-ну, спешите, голубчики!»

– В угол! В угол сразу! – крикнул Спарк срывающимся голосом. – Если увижу движение – убью!

Тот сразу же отполз в угол, Спарк открыл дверь трясущейся рукою, слава богу, трасса пустая, только «хвост» несется, жмут по газам. Вскинув «парабеллум», всадил три патрона в колесо «плимута», который был совсем уже рядом, и попал, потому что машину резко повело в сторону, на левую полосу. «Вот так, – прошептал он, – даже если я повалил шофера, у меня не было выхода».

Положив левую руку с зажатым в ней пистолетом на правое плечо, он увидел в зеркальце мучнистое лицо Лангера; прошло всего несколько секунд, тот еще не очухался. Нажал на акселератор, свернул в переулок так резко, что из-под колес действительно появились синие дымки; на какой-то миг запах жженой резины стал явственным, словно бы прямо здесь, в громадном салоне красного дерева, жгли электрический шнур.

– Двинешься, убью! – крикнул Спарк.

«Сейчас следует кричать, пугая его истерикой, в таких ситуаци-

ях надо играть истерику с воплями, пеной у рта и круглыми от ярости глазами; психологический фактор страха закрепляется криком и истерикой, сейчас не до логики, ею надо будет оперировать, когда я втолкну этого гада в подвал, к Ригельту, время еще есть, мы должны успеть. Это будет ужасно, если я опоздаю. Крис вела себя отменно, только бы она не нажала на курок; если это случится, я не смогу сделать то, что задумано. А выхода у меня нет, я имею дело с военными преступниками, с нацистами, они не имеют права спокойно расхаживать по улицам и смотреть на золотые часы с цепочкой». Спарк почему-то все время вспоминал барский жест Ригельта, когда тот вальяжно расстегивал кремовый плащ, доставал из жилета громадную золотую луковицу: «Отобрал у какого-нибудь несчастного перед тем, как удушить его в газовой камере; они ведь сначала грабили обреченных, а потом подручные выбивали молоточками золотые коронки у задушенных, били очень аккуратно, чтобы не портить золото, каждая пылинка на счету, все идет в "фонд обороны рейха", сволочи».

– Сидеть не двигаясь! – снова заорал Спарк, потому что ему показалось, что Лангер вот-вот потянется рукой к карману. «У него нет в карманах оружия, я успел бы заметить, когда он лежал на полу, я бы увидел, если оттопыривало. У него даже сигарет нет в пальто, хотя он вообще не курит, ни разу за все время не выкурил ни одной сигареты, бережет здоровье. Они все берегут здоровье; чем хуже человек, тем больше печется о здоровье, закономерность какая-то... Вот видишь, Элизабет, пока все хорошо, машины сзади нет, но, если я подстрелил водителя, надо будет сегодня же убегать отсюда. Посмотрим, как все пройдет в Осло, это хорошее прикрытие, пусть ищут, где я был эти дни, пусть доказывают, на это нужно время, а если мы успеем получить то, что нам нужно, все станет на свои места, цель оправдывает средства, тем более мне пришлось уходить от преследования вооруженных нацистов, это проймет присяжных, если начнется процесс, пресса станет на мою защиту, это точно».

Спарк резко свернул направо, потом налево; «хвоста» по-прежнему не было, оторвался. «Отсюда до места ехать десять минут, только бы не было впереди перекопано, у португальцев какая-то страсть раскапывать дороги, забывать об этом и не выставлять предупреждающего знака, поди развернись на такой улочке... А если все-таки те гады меня догонят? Нет, этого не может быть, – сказал он себе, – это будет слишком несправедливо, этого не может случиться».

Спарк притормозил и, не оборачиваясь, но глядя на Лангера в зеркальце, приказал:

– Руки на голову. Вот так, хорошо. Поднимись. Шагни к сиденью и переваливайся сюда. Живо! Я что сказал?! Живо!

«Черт, надо бы научиться трясти лицом, когда изображаешь крайнюю степень ярости, это впечатляет; хотя у меня не получится так, как надо, – слишком худой. Это бы получилось у Роумэна, он всегда страдал, что у него круглое лицо: "Нет ничего хуже, когда у мужика бабья рожа, да, Грегори? Будь ты хоть самым бесстрашным парнем, все равно люди прежде всего смотрят на внешность, а особенно женщины, правда?" Бедненький Пол, как ему не везло с жен-

щинами, появилась Криста и – поди ж ты! Ну и жизнь, настоящее кино, – так уж все неправдоподобно, будто в Голливуде сочиняли».

– Как переваливаться? – тихо спросил Лангер.

«Он может ударить меня носком ботинка в голову, – подумал Спарк. – Нельзя, чтобы он переваливался головой к двери, может распахнуть ее и вывалиться, одно мгновение, не уследишь. – Спарк снова посмотрел на кнопку блокировки дверей: – Не нажал ли я на нее в суматохе? Отсутствием внимания не страдаю, хорошо, что это отложилось в памяти, молодец, – похвалил он себя, – всегда надо оглядываться загодя; в критический момент на это нет времени».

– Перегибайся! – крикнул Спарк, заметив, как впереди появились школьники в синих формочках, успел подумать, как все же здешняя форма уродует детей: «Маленькие манекены! Тут дорогой район, малыши, видно, из какого-то закрытого колледжа, одежда подогнана под фигурки, а в центре на школьников просто горько смотреть». – Переваливайся головой вниз!

Спарк по-прежнему сидел вполоборота, пистолет держал в полуметре от тела Лангера, до странного явственно ощущая, как запахнет кровь, если придется стрелять. «Интересно, пробьет тело насквозь или пуля все же застрянет? Плохо, если прострелит, тогда в машине будет дыра, не расплатишься с фирмой. "Испано-сюиза" считается "золотой" машиной: ручная сборка, каждая деталь пригнана; сначала делают "начерно", ездят тысячу миль, потом всю ее раскидывают – до последнего винтика, ищут дефекты и собирают заново, теперь уж на вечность, эта марка износа не знает».

Лангер нерешительно нагнулся, Спарк, схватив его за шиворот, резко дернул на себя, перевалив на переднее сиденье.

– Повернись к окну! – по-прежнему играя истерику, крикнул Спарк. – Руки за спину!

С того момента, как он оторвался от «хвоста», прошло не более минуты. «Жаль, не засек по ниточной стрелке – действительно, секунды пульсируют; если выцарапаюсь из этой передряги и вернусь домой, будет что вспомнить. Можно продать сценаристам пару любопытных сюжетов. Дудки, хватит, задарма консультировать я более не намерен, и так пишу им целые сцены, они гребут за это гонорары, а мне делают подарок к Рождеству – почему-то все, как один, набор носовых платков...»

Спарк быстро обыскал Лангера; к удивлению, нащупал в заднем кармане брюк плоский, с перламутровой рукоятью, хромированный браунинг. «Значит, развалится, я бы на его месте сделал все, чтобы всадить мне обойму в затылок, какая-то возможность для этого у него была. Или он подстраховался еще чем-то? Чем?»

– Имейте в виду, Лангер, – неожиданно сказал Спарк спокойным, очень тихим голосом, резко изменив манеру поведения, – вам ровным счетом ничего не будет грозить, если вы проявите благоразумие... Я даже готов высадить вас из машины прямо сейчас... Позвоните в «скорую помощь», вызовите карету для вашего сотрудника... Если он еще жив... Я освобожу вас... Если вы здесь, прямо сейчас, ответите на пять моих вопросов...

«Ну, давай, – подумал Спарк, – реагируй, сука. Я дал тебе пищу

для размышления. Жара против холода – это действует. Ты ошалел от моих голливудских номеров, ничего еще не соображаешь, давай, шевели мозгами... А кинокритики у нас абсолютнейшие дубины, схоласты какие-то... Если бог поможет вернуться домой, обязательно заставлю себя просидеть пару дней за столом и напишу статью про фильмы Джона Флэкса: нет, это не просто детективы, где умный сыщик дурачит доверчивых зрителей, это настоящая инструкция для тех, кто попал в безвыходное положение, вот что такое ленты Флэкса... Говорят, что он трус, его публично отлупил пьяный ассистент за то, что Джон был с его девкой, а он даже сдачи не дал, хотя куда здоровей того шибздика... Видимо, он играет в детективах самого себя, но только не настоящего, а некую мечту о себе, он заставляет актера изображать того, каким бы ему хотелось быть. Да здравствует Фрейд! Ну и путаница у нас в мозгах, ну и замесь непонятностей, никогдашеньки в этом не разобраться! А сейчас ты нравишься себе, Спарк, – подумал он. – Ты клял себя и ненавидел, когда кожаный сел в машину, а пуще того, когда заметил за собою "хвост"; тогда ты ощутил себя расплющенным пигмеем со слюнявым, бесформенным ртом. Вот что делает с человеком унижение страхом, это, наверное, самое страшное унижение, нет ничего ужаснее безнадежного ощущения собственной малости и подчиненности обстоятельствам, перед которыми ты бессилен».

– Ну?! – вновь заорал Спарк. «До особняка осталось шесть минут, я успеваю; надо снова ломать манеру; почему же он молчит?» – Ну?!

– Я вам не верю, – тихо, чуть не шепотом, ответил Лангер, с трудом разлепляя пересохшие губы.

И в это время слабо застонал кожаный, лежавший в ногах Лангера.

«Дорога, как на грех, испортилась, сплошные рытвины, здесь не погонишь, рискованно. Что делать, если этот крепыш поднимется? Нет, он в шоке, надо быть Голиафом, чтобы так быстро прийти в себя после такого удара, он не опасен. Не должен он прийти в себя, – поправил себя Спарк, вспомнив слова Кристы, что удачу надо смиренно выпрашивать у бога. – А что, если этот Ригельт развяжется там, в подвале? – с ужасом подумал Спарк. – Этого не может быть! Я надежно захомутал его ноги, несколько раз проверил, это невозможно, чтобы он развязался. А если он сыграл обморок? Или сердечный приступ? И Криста подошла к нему? Нет! Нет! Он чуть было не закричал это "нет". Какое страшное слово, самые распространенные слова во всех языках "нет" и "да", только "нет" произносят чаще. Что за двуногие, эти люди?! "Нет" – словно щит, – нужно ли, не нужно – "нет", и все тут! Боимся горя, заклинаем: "нет, нет, нет", а оно не подвластно заклинаниям, жизнь вокруг нас существует по своим законам; сколько людей – столько законов; у Ригельта – свой, у Кристы – свой и у этого кожаного тоже свой, свои "нет", жалостливые, как заклинания, или решительные, будто удар в нос».

– Поставьте ноги на своего хранителя, – снова перейдя на спокойный, даже сострадательный тон, сказал Спарк. – Если он очухался и решит подняться, нажмите ему каблуками на висок. Ясно?

Лангер молчал.

Спарк резко вытянул правую руку и уперся пистолетом ему в шею.

– Я спрашиваю: ясно?

– Вы не посмеете выстрелить, – по-прежнему тихо, едва шевеля губами, ответил Лангер. – Я вам нужен живым. Уберите оружие.

«Он хорошо думает, – понял Спарк. – Он уже пришел в себя, и у него что-то на уме, он имеет свой план, и мне не дано понять его логику. Если я не поступлю сейчас так, как я должен поступить, считай, что я его упустил».

Спарк взмахнул пистолетом и что есть силы ударил Лангера рукоятью в ухо.

– Ой! – жалобно воскликнул Лангер. – Не надо!

– Понял, что я сказал?! – заорал Спарк.

Из уха Лангера тоненькой струйкой текла кровь: «Какая она у него красная и быстрая; значит, я рассадил ему кость до сосудов; если бы я его просто расцарапал, кровь была бы капельной. Ничего, бог простит, этот бандит понимает тот язык, на котором говорил сам и его окружающие, с палачом смешно говорить языком Сервантеса, он решит, что я – обычная туфта, он поддастся только в том случае, если его напугать; или он властвует, или раздавлен и подмят, третьего для него не существует».

– Ты понял?! – снова закричал Спарк.

– Да, только не бейте, я понял...

Лангер спокойно поставил ноги на лицо своего телохранителя и тихо спросил:

– Можно я вытру кровь с уха? Я не терплю неопрятность.

– Нет.

– На какие вопросы я должен вам ответить?

– Кто сообщил, что Штирлиц был отправлен из Мадрида на испанском самолете за океан?

– Что? – Лангер, казалось, сделался еще меньше, вжался в сиденье.

– Не тяните время, Лангер! Лучше нам договориться сейчас, пока я вас не свел с Ригельтом.

– Что вас еще интересует?

– Сначала ответьте на этот вопрос.

– Я могу рассказать вам все, что вас интересует, если вы гарантируете мой отъезд из Лиссабона, новые документы, средства к существованию и единовременное пособие. Скажем, тысяч пятьдесят долларов.

– О деталях мы будем говорить после того, как вы ответите.

– Нет.

– Видите этот дом? – Спарк кивнул на особняк, окруженный парком.

– Да.

– Там в подвале сидит Ригельт. Будем разговаривать при нем? Или закончим наше собеседование здесь? Ну?!

– Я назвал вам свои условия. Я вам открою все. Мне есть что открыть. Но мне нужны гарантии. Если вы не можете их дать, пусть даст ваш шеф.

«Он думает, что в подвале сидит целая команда, – подумал Спарк. – Это плохо. Когда он увидит там одну лишь Кристу, я не знаю, что он подумает. Двое против троих... Ладно, кожаный не в счет; двое против двоих; что-то я теряю ориентиры, я плохо подготовлен к этому делу, и мы в цейтноте, отсюда надо улепетывать как можно скорее. Салазар не любит, когда незнакомые поднимают стрельбу в его городе, здесь знают цену порядку, такие же фашисты, как и лангеры, только говорят на португальском».

– Как знаете. Повторяю: я готов высадить вас из машины немедленно: напишите адреса ваших тайных явок, имена, телефоны, пароли, формы связи, больше мне ничего не надо.

– И вы мне поверите?

– Если вы солжете или предупредите свою цепь, я не поставлю и понюшки табаку за вашу жизнь и за жизнь членов вашей семьи. Неужели Гуарази не рассказывал вам, как это делается?

При упоминании этого имени Лангер еще больше съежился, как-то по-детски втянул голову в плечи, словно ожидая удара.

– Ну?!

– Тем более мне нужны гарантии... Если вы знаете Гуарази, я должен получить неопровержимые гарантии... Вы обязаны войти в мое положение...

– Вы теряете шанс, Лангер. Или вы начинаете говорить, или...

– Я сказал вам... Я не скажу ничего другого...

– Хорошо. Пеняйте на себя. Кладите правую руку на дверь, нет, выше, на стекло!

Спарк подкатил к дому, припарковал машину за разросшимся кустом жасмина, выключил двигатель, ощутил гулкую тишину и понял, что ему далеко не просто выйти: ноги были ватные, колени мелко дрожали. Еще десять минут назад, когда он был комком энергии, устремленным к спасению, тело было собранным, а сейчас была такая слабость, что он с тоской подумал, сможет ли связать Лангера, а ведь его надо вести в подвал связанным; как оставить в машине кожаного? Что, если он очухался, а сейчас лишь играет беспамятство? «Нет, – повторил он себе, – такого не должно быть, я помню, как я ударил его. Но что же мне сейчас делать? Господи, надоумь меня и помоги!»

– Левой рукой выньте ремень из брюк, – тихо сказал Спарк, позволив себе расслабиться еще больше («Лангер будет вытаскивать ремень секунд тридцать – целая вечность»), как можно мягче и тише. «Когда мышцы мягкие, в них происходит интенсивный обмен веществ, они наполняются кислородом и освобождаются от какой-то гадости, я всегда путал эти газы, то ли углекислый, то ли какой еще, но очень вредный... Интересно, я бы вытаскивал ремень так же покорно, как и он? А что можно сделать, если правая ладонь лежит на стекле, ноги стоят на голове телохранителя, в затылок упирается пистолет, а левой корячишься, расстегивая ремень? Ничего бы я не сделал, только, наверное, молил бы создателя, чтобы все это поскорее кончилось. Нет, я бы что-нибудь придумал, – возразил он себе, чувствуя, что веки сами собой закрываются, – если я позволю им закрыться, то, как ни странно, могу вырубиться, – усталость после ди-

кого напряжения, организм отравлен вредными выбросами, производными страха, у меня так бывало, двухминутный сон, а Лангеру нужны секунды на то, чтобы выскочить».

– Все, – сказал Лангер, вытащив ремень. – Дайте гарантию, я готов отвечать.

– Упустили время, – ответил Спарк. – Будете торговаться с Ригельтом: кто больше скажет, тот и останется жить. Надо было говорить сразу, когда я предложил.

Спарк связал ему руки за спиной: Лангер протянул их покорно, вытянув, как ласточка крылья; пальцы были ледяные. «Они у него холоднее, чем у меня, – подумал Спарк. – Я никогда не мог понять, рассматривая фотографии, когда нацисты целили из пистолетов в затылки своих жертв, почему обреченные покорно стоят на коленях? Все равно ведь через мгновение все будет кончено, отчего бы не рискнуть в самый последний миг?! Неужели надежда на то, что все обойдется и случится чудо?! Неужели и логика подчинена надежде?! Глупо надеяться на счастливый исход, когда имеешь дело с гиенами... Но он-то, Лангер, знает, что я не гиена, поэтому, наверное, и надеется... Я правильно поступил, врезав ему в ухо. Я заявил себя на том языке, который ему понятен... «

– Выходите, – сказал Спарк, обойдя машину.

Лангер неловко сполз со своего сиденья.

– Ложитесь лицом на землю, – сказал Спарк.

– Никогда не думал, что у птиц такие разные голоса, – сказал Лангер, прислушиваясь к гомону неведомых пичуг в кронах деревьев.

«Действительно, – подумал Спарк, не сразу поняв немца, – поют разноголосо, а я и не услышал их».

Он дождался, пока Лангер встал на колени (руки-то заломлены за спину), а уж потом медленно опустился на землю, резко откинув голову назад, словно новорожденный. Лишь после этого Спарк взял за волосы кожаного: лицо было совершенно бескровное, синевато-землистого цвета. «А ведь я его убил, – подумал Спарк с ужасом, – я проломил ему череп». Он разжал пальцы, и голова безжизненно плюхнулась в лужицу темной крови. «Надо будет хорошенько вымыть коврик, – машинально подумал Спарк, – а здесь нет водопровода; плохо... «

Он набросил на кожаного свой макинтош, аккуратно расправил его, чтобы не было видно тела, запер дверь, поднял Лангера за воротник пальто и толкнул пистолетом в спину:

– Спускайтесь вниз.

Тот пошел покорно, по-прежнему втягивая голову в плечи.

...Ригельт лежал в той же позе, что и раньше, словно бы ни разу и не пошевелился за время отсутствия Спарка; бледная Криста, с запавшими глазами, цвет лица землистый, старческий, сидела на стуле, сжимая двумя руками пистолет.

– Слава богу, – прошептала она.

– Пристрели его, – сказал Спарк, кивнув на Ригельта. – Он предупредил своего босса. Да, Лангер?! Он ведь очень ловко тебя предупредил?

– Нет! Нет! – завыл Ригельт. – Нет! Я все скажу!

– Пусть скажет! – крикнул Спарк, потому что четко, как в замедленном кадре кино, увидел палец Кристы, лежавший на курке, – сейчас нажмет. – Погоди! Погоди же!

– Хорошо, – кивнула она. – Пусть скажет.

– Если они обменяются хоть одним словом, – сказал Спарк, – пока я приволоку третьего, – стреляй, не дожидаясь моего приказа. На выбор. Лангер, на пол!

Он бросился наверх, вытащил из машины парня, нахлобучив на его безжизненную голову свой берет, чтобы не оставалось кровавого следа, и поволок за ноги в подвал, не понимая еще – мертв он или в глубоком шоке.

– Он мертв, – сказала Криста, не найдя пульса. Рука кожаного упала на пол, как кусок мягкого пластилина.

– Так вот, – оглядев Лангера и Ригельта, сказал Спарк, закурив сигарету дрожащими руками, – я даю каждому из вас шанс... Тот, кто первым напишет, за что одним из вас был убит этот парень, выйдет отсюда живым... Ответив перед этим на пять известных вам вопросов. Позиция ясна? Минута на размышление. Текст прост: Лангер или Ригельт – решайте сами, за вами право выбора – убил такого-то, заподозрив его в измене, ударом револьвера в висок, находясь в автомашине марки «испано-сюиза». Заявляю это в присутствии двух свидетелей... Кто из вас согласится первым, тому я продиктую наши имена, свидетельствовать-то нам, больше некому...

– Я! Я! Я! – закричал Ригельт. – Я же дал вам адрес Лангера!

– И предупредил его, сука, – сказал Спарк. – Если бы ты не предупредил его, он бы не поволок за собой банду.

– Нет! Нет! Пожалуйста! Я не предупреждал его, он сам догадался!

– Правда, Лангер?

– Делайте вашу работу, – ответил тот. – Я сказал свои условия. Стыдно, Ригельт, надо уметь уходить из жизни достойно.

– Господин Лангер, – тихо спросила Кристина, – вам Гаузнер никогда не рассказывал мою историю?

Что-то дернулось в Лангере, когда Кристина произнесла имя «Гаузнер»; это заметил Ригельт.

– Скорее всего, ему рассказывал Кемп, – добил Спарк.

– Я! Я напишу! – снова закричал Ригельт.

Лангер по-прежнему молчал.

Спарк достал из своего пистолета обойму, вытащил ее, ловко выщелкал пять патронов, методически ведя счет каждому, потом подошел к Лангеру, перевернул его на спину, оттащил к стене и, упершись дулом второго пистолета в его разбитое ухо, спросил:

– Вы поняли, что в патроннике только один заряд, Лангер?

– Да.

– Хотите пристрелить Ригельта? Вы ведь тогда со спокойной совестью напишете, что телохранителя убил Ригельт. А? Иди сюда, – обратился он к Кристе. – Сунь ему свой «смит-вессон» в ухо. Нет,

еще глубже. Вот так, молодец. Если решите баловаться, Лангер, если решитесь поднять руку, чтобы стрелять в меня, она, – он кивнул на Кристу, – нажмет курок, и ваши желтые мозги разнесет по стене. Да, впрочем, и я вам не позволю шелохнуться... Как только замечу движение – выстрелю. Тогда искомую записку – но уже про вас – напишет Ригельт... Правда, Ригельт?

– Да! Да! Да! Конечно, я готов! Я только очень волнуюсь, поверьте, я прошел денацификацию, не давайте ему пистолет, он убьет меня!

Лангер как-то хлюпающе, судорожно вздохнул и тихо сказал:

– Давайте бумагу. Писать буду я.

РОУМЭН (Асунсьон, ноябрь сорок шестого)

В заранее точно обозначенное время Роумэн позвонил – с центральной почты – в лиссабонский пансионат «Пингвин» и попросил к аппарату «сеньора Сарака»; фамилию Спарка специально произнес с ошибкой, невнятно. «Если Грегори не ответит, значит, что-то случилось, надо здесь все бросать и гнать в Европу, там Криста. Я не мог ей запретить сделать то, что она решила. Странно, Штирлиц словно бы знал о нашем разговоре, когда она сказала, что обязана сделать то, без чего невозможно жить: Гаузнер был один из тех, кто сделал ее сиротой и лишил юности. Я не вправе запрещать ей что бы то ни было. В конечном счете все несчастья в семьях проистекают из-за того, что обручальное кольцо становится первым звеном в той цепи, которая рано или поздно закует мужа или жену (все зависит от того, кто с первого же часа стал доминировать в союзе; равенства в браке не бывает – химера; обязательно – как и в любом человеческом сообществе – кто-то становится лидером). Она хочет быть со мной в деле, и она имеет на это право. Сиди она под замком в Нью-Йорке или в Голливуде, я все равно не могу быть спокоен за нее, пока есть кемпы и пепе. Мы живем под топором, нечего закрывать на это глаза; борьба за нашу с ней жизнь конкретно увязана с выходом на сеть наци, которые затаились в ожидании своего часа, вот она, нерасторжимость личного и общественного; голый лозунг университетских леваков оказался практикой моего существования, вот жизнь, а?!»

– Сеньора Спарка нет в номере двенадцать, соединяю с сеньорой, – ответил портье.

«С какой еще "сеньорой", ведь Элизабет осталась с мальчиками!»

– Да.

Говорила Криста; голос до того ровный и спокойный, что Роумэн сразу же почувствовал в нем страшную усталость. Представил ее лежащей на тахте возле телефона с серым, отсутствующим лицом. Он помнил ее такой в Мадриде; потом только понял – такое бывало с ней после встреч с Кемпом.

– Сеньора Сарак? – переспросил Роумэн.

– О, милый!

Голос ожил сразу же, зазвенел; она, наверное, поднялась, потя-

нулась к аппарату, конопушка, но почему «миссис Спарк», не может ведь она жить с Грегори в одном номере?! «А почему?» – спросил его какой-то чужой, подхихикивающий голос. Роумэн даже зажмурился от ненависти к себе; как можно держать внутри такую гадость?!

– Это ты?! Почему ты молчишь?! Милый!

– Я молчу оттого, что дьявольски счастлив тебя слышать. Я так соскучился без тебя! Просто сил нет... Сеньора Сарак...

– Я караулю тебя в его комнате, милый, он у наших друзей, они больны, он ухаживает за ними, какое счастье, что ты жив и здоров, боже! Хорошо, если бы ты мог сюда прилететь! Но сначала ты должен попасть в... Ты должен полюбоваться сказочным местечком в джунглях, там, где до этого был твой друг, тебе хочет рассказать массу интересного мистер Райфель, у него там торговля электротоварами, очаровательный человек, ему раньше помогал мистер Гауз, понимаешь?

– Да, – ответил он, подумав, что об этом друге Гаузнера в Игуасу Штирлиц ничего и не слыхал. – У тебя очень усталый голос...

– Ты позвонил, и все прошло... Мне сейчас стало так хорошо, милый, так спокойно, что просто даже замечательно! Ты слышишь меня? Я ужасно дорого болтаю, да? И непременно посмотри памятники архитектуры в Кордове, это Аргентина, там так много интересного, родной! Тебе много чего расскажет мистер Лопес, он инженер, живет на калле Санта Анна, все знает об истории города. Ты запомнил? Сеньор Хуан-Альфрид Лопес. Это близкие друзья того человека, которого мы отыскали, он и его босс мистер Ланхер тебе уже выслали рекомендательные письма на адрес твоего отеля.

(Так было уговорено: окно до востребования называть «отелем»; как легко и точно она произносит слова-символы, слова пароля, молодец. «А Гаузнеру она говорила так же?» – он ничего не мог поделать с этим страшным голосом, только еще крепче сжал трубку.)

Она, словно бы почувствовав нечто, спросила:

– Почему ты молчишь, милый?

– Я тебя слушаю, конопуша, я живу твоим голосом. Мы встретимся в вашем отеле, когда я вылечу из здешней дыры? Или ты хочешь податься на север, чтобы отдохнуть от жары?

– Мы будем ждать твоего звонка здесь. Только обязательно позвони. Я не спрашиваю, сколько времени займет знакомство с теми местами, которые тебе будет так интересно увидеть, но я очень, просто ужасно жду тебя! Нам бы надо было слетать в Австрию, говорят, под Линцем уже выпал снег... И в Гамбург... Но без тебя мы не решаемся, особенно пока я не отладила все формальности дома...

– Но у вас все в порядке?

– Да, да! – слишком уж торопливо ответила Криста. – Не волнуйся о нас, теперь все в порядке, хотя мы здорово намучились в дороге...

– Но сейчас все хорошо?

– Да...

– Честное слово?

– Честное слово, не волнуйся, пожалуйста, и будь крайне осто-

рожен в джунглях, там смертельно опасно, любимый, рыси обычно нападают со спины, мне говорили знающие люди...

«Все ясно, они караулят где-то в пригородах Ригельта и его связника или босса, которого зовут Ланхер, эта фамилия мне незнакома. Они караулят их, потому что не верят ни единому их слову, и правильно делают, так было уговорено... Но неужели ты не веришь женщине, которая стала твоей женой?»

Роумэн вышел в декабрьский зной, показавшийся ему липким и грязным. «Неужели ты ревнуешь ее к прошлому? – спросил он себя. – Ты спокоен, лишь когда держишь ее, словно вещь, около себя; фактор постоянного присутствия; вижу – спокоен, отвернулся – не верю. Но это значит, что ты не веришь себе самому, вот что это значит. Тогда грош цена твоему чувству, – подумал он, – просто с ней у тебя получается, и ты с ней лишен комплексов. И нет никакой любви, если ты позволяешь себе слышать тот мерзкий голос, который подбрасывает вопросы; нет, он ничего не утверждает, этот чужой голос, он только спрашивает. Неужели вопрос – понятие, прилежное доверчивому детству, побудитель прогресса в зрелости – в моем случае есть форма замаскированного и гнусного неверия в самого себя?»

Роумэн даже зажмурился от стыда, и в черно-зеленой темноте – словно при вспышке магниевой лампы фоторепортеров – возникло лицо Кристы, обсыпанное веснушками, с копной тяжелых волос, у нее очень белая, как у всех северянок, кожа, поэтому глаза кажутся двумя озерцами в сосновом бору, это же так красиво и беззащитно: человек, хоть в чем-то отличный от окружающего его людского сообщества, беззащитен, потому слишком заметен. Если человек выделяется – его не любят, завидуют или презирают. Наверное, поэтому народными лидерами становятся люди, похожие на массу; редко рождаются маленькие Наполеоны или толстые Черчилли, все остальные похожи на сограждан, пусти их в толпу без свиты и орды репортеров, – никто на них и не взглянет...

«Грегори твой друг, – сказал он себе, – он караулит гадов, рискуя жизнью; это бесстыдно думать так, как ты подумал, бессовестно и грязно. А если бы он не был твоим другом? Если бы Кристе пришлось делать наше дело с другим человеком, который не был бы твоим ближайшим другом, тогда как? Или верить, как себе, навсегда и во всем, – подумал Роумэн, – или рвать сейчас же, сразу! Бежать, не оглядываясь! Она права, когда говорила, что не всякое знание нужно человеку, но почему же именно мужчина так норовит все вызнать о прошлом любимой, отчего?!»

Он сел за руль раздрызганного «форда». Мотор завыл, сотрясаясь как в лихорадке, потом заревел; облачко дыма из выхлопной трубы сегодня было не сахарным, грозовым, но темным. «Надо подлить масла, гонки на второй скорости губят мотор, останусь без машины. Я еще не готов к тому, чтобы сейчас же ехать к Штирлицу. Я могу навести на него "хвост", а этот чертов "хвост" где-то таится, видимо, за мной смотрят весьма квалифицированные люди; я – после разговора с Крис – слишком в себе, чтобы стать таким собранным, каким следует быть перед началом операции. Итак, Райфель в

Игуасу и Хуан-Альфрид Лопес в Кордове. Я не смогу поехать в оба места, я сойду с ума, не видя Кристу; я возьму на себя Игуасу, а оттуда вернусь в Европу. За Штирлицем – Кордова. Я не выдержу, если мне придется проторчать здесь еще недели две. Просто не выдержу, сломаюсь: нет хуже вина, чем перебродившее, нет бессильнее человека, чем тот, который ждал хотя бы на один час больше того, что по силам думающему существу... »

В тот же день, двумя часами позже, получив письмо из Лиссабона и обговорив срок и формы связи, Роумэн расстался со Штирлицем, а сам отправился в Игуасу.

– Мистер Райфель? Я не ошибся? – Роумэн посмотрел на пожилого мужчину, сидевшего под вентилятором за столом, что стоял возле окна, выходившего в складское помещение.

– Сеньор Райфель принимает товар. А кто вы, простите?

– Я из Мадрида, по вопросам, представляющим для сеньора Райфеля коммерческий интерес.

– Пожалуйста, подождите его. Присаживайтесь, – предложил мужчина, оценивающе, по-торговому глянув на Роумэна.

– Как долго ждать?

– О, не более получаса...

– Нет, я не располагаю таким временем. Если сеньор Райфель свободен в обеденное время, я бы с радостью пригласил его на ленч в отель «Палома». Скажем, в тринадцать пятнадцать...

– Погодите, может, я сбегаю за ним?

– Это было бы в высшей мере любезно с вашей стороны...

Фигура человека, оторвавшегося от вентилятора, странно дисгармонировала с его головой. Лицо – крупное, в тяжелых морщинах, что прорезали щеки сверху вниз, – оказалось посаженным на тоненькую шею, которая была словно приделана к совершенно бабьему торсу: бедра у человека были расплывшиеся, живот торчал вздувшимся громадным шаром, пояс на нем не держался, съехал куда-то вниз; ножки были непропорционально тоненькие, вроде шеи, и очень маленькие – шестой размер, не больше, шел он тоже по-женски: семенил, раскачивая задом, словно шлюха.

«Неужели "голубой"? – подумал Роумэн. – С таким-то мужественным лицом; какая гадость! Единственное, кого никогда не смогу понять, так это гомосексуалов, брррр, гнусь!» Вспомнил анекдот: в медицинском колледже профессор проводит ознакомительную беседу с будущими врачами-сексологами; в группе собрались одни девушки. Профессор: «Как называется мужчина, который хочет, но не может?» Хор голосов: «Импотент». – «Верно. А тот, кто может, но не хочет?» Женский голос: «Сволочь!» – «Нет, скорее всего гомосексуалист... Итак, рассмотрим строение предстательной железы гомосексуала, которая, как правило, анормальна»...

Штирлиц рассказывал, что Гиммлер санкционировал расстрел своего племянника за то, что тот грешил нездоровым влечением к

мужчинам. «Если эти наци в Игуасу тоже балуются, тогда я набрал очко еще до начала состязания; впрочем, почему я решил, что они педики? Это еще надо доказывать, а у меня нет на это времени. Мне хватит того, что Грегори прислал в своем письме, этот Райфель не может не дрогнуть. Хотя, судя по тому, что он написал мне про Ланхера, эти люди умеют держаться».

Райфель был полной противоположностью толстопузой и вертлявозадой женщине с лицом страдающего монастырского аскета или же тренера по боксу. Он был поджар, степенен в движениях, ступал мягко, совершенно беззвучно, будто шел по толстому ковру, хотя в офисе пол был красного дерева, – его здесь много, разных оттенков, очень дешево.

– Я Райфель. Вы искали меня? Здравствуйте.

– Я Ниче, – ответил Роумэн на своем прекрасном немецком. – Думаю, мое предложение нам бы следовало обсудить с глазу на глаз.

– Сеньор Луарте, – Райфель кивнул на женщину, – не понимает по-немецки, его британская мама очень не любит нас с вами, говорите спокойно.

– У меня нет оснований волноваться, я всегда спокоен, спокойствие – мое обычное состояние, но я приехал от Ланхера, у него сестра приболела, нужны здешние травы, да и мое к вам предложение не изложишь в такой душной комнате, может, пообедаем вместе?

– Я не знал, что вы оттуда, – сразу же поднялся Райфель. – Пошли, перед обедом можно выпить кружку пива, я приглашаю.

– Спасибо, только я плохо переношу пиво в такую жару, – улыбнулся Роумэн.

Он поднялся следом за Райфелем, с трудом выбравшись из-за низкого, очень неудобного канцелярского стола с какими-то чрезвычайно острыми углами, хотя на первый взгляд этот стол ничем не отличался от тысяч ему подобных, только разве что слишком уж был аккуратен, – какая-то пронзительная гордость бедного, который вынужден скрывать свою нищету.

– Хотите посмотреть мои склады? – поинтересовался Райфель.

– Я, честно говоря, ни черта в этом не смыслю. Моя специальность – параграфы законоуложений и гарантированность банковских счетов.

– Вы получили образование в...

– И там, и там, – ответил Роумэн. – Во всяком случае, немецкие законы я проходил в рейхе.

– Ах, вот как...

Когда они вышли на знойную улицу, забитую повозками, полными даров сельвы, всадниками, – лица в основном смуглые, много индейской крови, – медлительными женщинами, продававшими товар вразнос (широкополые соломенные шляпы скрывают верхнюю часть лица, губы чувственные, очень яркие, взгляд – когда вскидывают голову – обжигает), Роумэн сказал:

– У меня для вас письмо.

– Я все понял, господин Ниче... Ваш немецкий прекрасен, но все же, сдается, родились вы не в Германии.

– Вы правы, я родился в Ирландии. Моя мать немка, господин

Райфель. Или вам хочется, чтобы здесь, на улице, когда мы одни, я называл вас настоящим именем?

– Не надо. Нет, нет. И не потому, что я боюсь... Просто это доставляет известную боль: потеря родины всегда сопряжена с личной трагедией.

– Я понимаю. Да и ваша нынешняя профессия предполагает вычленение прошлого. В противном случае возможен провал...

Райфель улыбнулся:

– Об этом я как-то не думал, господин Ниче... Мне не грозит провал, я вполне легален...

– Человек, живущий под другой фамилией, да еще немец, никогда не может быть гарантирован от провала. Так что – осторожность и еще раз осторожность... Пошли ко мне в отель, там нет ни одного гостя, лишь я... Такой уникальный уголок в тропиках, водопады, охота, рыбалка – и ни одного туриста... Поле для бизнеса, подумайте об этом.

– Мы уже думали.

– Полагаю, одним Шибблом не обойтись.

– Я тоже так думаю. Нужны как минимум три-четыре проводника...

– Мы можем кое-кого порекомендовать.

– Спасибо, – Райфель отвечал односложно, выжидающе.

«Он же еще не прочитал записку Ланхера, – подумал Роумэн, – только после того, как он получит "рекомендательное письмо", я могу начинать разговор, сейчас рано; можно спугнуть, они очень напряжены, когда говорят с человеком, которого не знали лично по прежней службе в СС или абвере».

...Прилетев в Игуасу, Роумэн первым делом о б с м о т р е л маленький домик аэропорта, где ютились пограничная стража, таможня и крошечное бюро по размещению приезжающих.

Рекламы «охотничьих экспедиций», которая, по словам Штирлица, сразу же бросилась бы ему в глаза, не было. Девушка, сидевшая в бюро, объяснила, что эти объявления расклеивали только один раз, да и то без разрешения муниципалитета, самовольно: «Приехали ночью и расклеили по всем стенам за час до прибытия рейса из Рио, не срывать же при пассажирах?! Нет, с той поры больше не расклеивали, может, договорятся с властями, тогда другое дело, но все равно надо сделать щиты из фанеры, не портить же деревянные стены, клей у нас плохой, остаются желтые следы, некрасиво, а мы как-никак первый аргентинский город на стыке границ с Парагваем и Бразилией, не престижно, согласитесь... »

До того как отправиться к Райфелю в его склады, Роумэн заглянул в типографию, зашел к хозяину, сеньору Карлосу Эрмида Игуэрасу (выпаливает сто слов в минуту, усы нафабрены, закручены вверх по-кавалерийски, невероятно порывист в движениях, несостоявшийся репортер, мечтает о литературной карьере, выпустил свою книгу стихов тиражом в сто экземпляров, разослал всем друзьям, родственникам и в столичные газеты, ответа ни из одной не получил, рецензий, как ни ждал, не дождался). Поинтересовавшись, можно ли к сегодняшнему вечеру напечатать пять объявлений – оп-

лата наличными, организация отдыха и рыбной ловли на Паране, – Роумэн заметил:

– За ценой не постою, начало бизнеса предполагает вложения.

– Размер? – сразу же спросил Игуэрас. – Я могу напечатать прекрасные объявления в два цвета, черный и синий, прекрасный шрифт, возможна переработка в рифмованном стиле, стоить будет ерунду, десять процентов от общего объема работы, довольно дороги воспроизведения фотографического материала, впрочем, и качество не слишком-то хорошее. Я всегда говорю правду в начале разговора, чтобы не было каких-либо недоразумений в конце; мы, аргентинцы, люди чести, прежде всего доверие друг к другу, согласитесь, что я прав?!

Дважды Роумэн пытался перебить сеньора Эрмида Игуэраса, но понял, что дело это безнадежное, – солист; ну, и слава богу, в таких только надо нащупать нужную точку – скажут все, в чем заинтересован. Упоминание о «рифмованном стиле» помогло Роумэну верно построить разговор, он сразу же попросил хозяина подумать, как можно положить на стихи простой текст: «Желающие отрешиться от суеты могут провести три прекрасных дня на Паране, отдаваясь рыбалке и созерцанию сказочной тропической природы».

– Вообще-то вы довольно красиво сказали текст в прозе, – заметил сеньор Эрмида Игуэрас, но в глазах его уже зажегся алчный блеск творчества, и он подвинул к себе чистый лист бумаги. – Через пять минут я предложу вам варианты.

Роумэн достал свои «Лаки страйк», подумал, что бы сказала Криста об этом человеке (она давала поразительно точные и в высшей мере краткие характеристики, схватывая самую суть человека), закурил и задумался, как лучше поставить вопрос о том объявлении, что было расклеено в авиапорту: называть имя одного лишь Шиббла или Райфеля тоже? Впрочем, вероятно, хозяин сам назовет эти имена, надо только ждать, из него льется; как каждый поэт, он, видимо, алчет аудитории.

– Вот, – сказал сеньор Игуэрас; прошло не пять, а всего полторы минуты. – Извольте: «Кто хочет неги и покоя, объятий древней старины, кто хочет спать не сидя – стоя, рыбачьте в дельте Параны!» Как?

Роумэн понял, что сейчас самое время для сакраментальной фразы: «Неужели вы это сами сочинили прямо сейчас?» Ничто не делает поэта твоим другом быстрее, как открытая некомпетентная лесть.

– Ах, ну, конечно, сам и прямо сейчас... Но это следствие той работы, – дон Карлос Эрмида Игуэрас постучал себя по лбу, а потом ткнул пальцем в сердце, – которая происходит здесь постоянно, даже во сне.

– Прекрасно, – повторил Роумэн, – просто не верится, что за одну минуту можно написать такие прекрасные строки... Только что вы подразумеваете под строкой «кто хочет спать не сидя – стоя»?

– Как это «что»?! Человек прибыл в Игуасу вымотанный ритмом большого города, нарушение жизненно важных циклов организма, кишечник ни к черту, позывы появляются в самое неподходящее

время, унизительное бурчание в животе, невозможность нормального сна, а ничто так не изводит, как бессонница, человек мечтает о часе сна, как о манне небесной, возможность уснуть на ходу, то есть стоя, кажется ему верхом счастья, – неужели не понятно?!

– Нет, нет, теперь я все понял, – Роумэн с трудом сдержал улыбку. – А вот как объяснить про дельту Параны? Она же в другом месте, людей может отпугнуть необходимость добираться до дельты...

– Во-первых, слово «дельта» можно набрать мелко, а «Парану» укрупнить. Во-вторых, если вас это смущает, я пишу просто, без искусов: «рыбачьте в водах Параны!» Пожалуйста! Но, поверьте, в словосочетании «дельта Параны» есть что-то магическое, притягивающее...

– Лучше все же оставим «воды Параны», – заметил Роумэн. – Сколько я вам должен?

– Сотня. Включая рифму. Десять объявлений – сотня. По-моему, это вполне по-божески. А где текст с адресом и телефоном вашей фирмы?

– Шиббл не рифмовал свой адрес? – усмехнулся Роумэн.

– Кто? – Сеньор Эрмида Игуэрас нахмурился. – Шиббл? Почему он должен рифмовать свой адрес?

– Ну, его фирма... Они ведь пару недель назад печатали у вас такое же объявление...

– Это не он... Откуда у него деньги? Его фирма на грани банкротств... Это печатал дон Мигель Райфель.

– Кто? Откуда он?

– Из фирмы по сбыту электротоваров. По-моему, сеньор Райфель перекупил фирму охотничьих экскурсий на корню, он здесь набирает силу, очень хваток... Но совершенно не понимает, как в рекламе важна рифма... Я здорово заработал, когда для фирмы «Дарвин» прорекламировал их крем в Буэнос-Айресе... Прислали текст: «Покупайте крем фирмы "Дарвин"». Лично я бы никогда не купил крем с таким названием. Во имя чего? Я понимаю – крем «Марлен Дитрих» или «Вивьен Ли». Ну, я и сочинил: «Не знал ни Дарвин и ни Брэм, как популярен этот крем! Сеньоры, помажьте им кожу и станьте лет на сто моложе!» Крем расхватали за неделю! О, рифма в рекламе – это золотое дно, прямой путь к человеческой памяти, вы же помните все детские стихи, не так ли?! Ждите, я вернусь с пробным оттиском через двадцать минут.

Роумэн поблагодарил, уплатил деньги и сказал, что придет за оттиском к вечеру, не горит; он узнал все, что ему было нужно.

...В отеле было пусто, ни одного человека, даже портье куда-то ушел из-за стойки. Обычно этот креол сидел, не отлучаясь, сосредоточенно ковыряя в носу, если в холле никого не было, а когда заходил случайный посетитель, лениво, но в то же время пристально его разглядывал, чтобы вечером было о чем поговорить с друзьями.

Ресторанчик был вынесен на улицу – столики стояли под соломенными крышами, вместо стульев – пни красного дерева, совер-

шенно неподъемные; прейскурант был довольно скудный, печатали, видимо, в типографии сеньора Игуэраса, потому что под названием отеля «Сэнт Джордж» красовались строки: «Пьющий "Натураль де колониа" не знает ни подагр, ни аллергии!» Сегодня давали пиво «Шнайдер де Санта-Фе», сопа негра[1], карнэ эн салса, арроз и эн салада[2], карнэ асада[3] и хуго наранха[4] – вот и все, не густо.

– Хорошо кормят в парижке «Пилинчо», – заметил Райфель, – хозяин дон Педро Рохо раньше был немцем, – он улыбнулся. – Забыл, бедняга, как делаются айсбайны, но прекрасно жарит мясо на огне. Если хотите, заглянем вечером.

– Спасибо, я не знаю еще, как у меня сложится вечер. Вот, это вам, – и Роумэн положил на стол конверт. – Если там есть что-то такое, что может наследить, – сожгите, об этом попросил тот, кто передал послание.

Райфель кивнул, вскрыл конверт, быстро прочитал письмо, снова кивнул, словно бы соглашаясь с написанным, и подвинул листок Роумэну.

– Зачем? Это же не мне адресовано, а вам, – Роумэн пожал плечами.

– Там указано, чтобы я и вас ознакомил с текстом.

– Да? Вообще то я этого не люблю, знаете ли. Я получаю за свою работу деньги, выполняю то, что предписано, – и все. Чем меньше знаешь, тем лучше. А?

– Верно, – Райфель посмотрел на Роумэна иначе, чем раньше, глаза ожили, в них появился несколько недоумевающий, но, тем не менее, плохо скрываемый интерес к этому человеку: письмо Ланхера давало к тому основания.

Роумэн прочитал письмо и, так же как Райфель, недоумевающе пожал плечами: «Дорогой друг! Податель этого письма уполномочен проверить, как идет наш бизнес в регионе. Его рекомендации следует учесть. Человек компетентен в сфере бизнеса и деловых связей. По прочтении ознакомь его с текстом. Затем надлежит сделать то, что положено. Передай с ним отчет о работе филиалов фирмы по пути следования товаров к границе. Полное доверие! Эрнесто Ланхер, генеральный директор "Бытовая химия, краски и лаки". Лиссабон».

Роумэн положил письмо в карман, снова закурил и, попросив появившегося портье принести два скотча, спросил:

– Ну?

– Почему вы не сожгли послание?

Роумэн усмехнулся:

– Здесь? На глазах у всех? Для чего же тогда строят сортиры в отелях и ресторанах?

– Давайте я пойду и сожгу в туалете.

– Я это тоже умею делать. Если я таскал письмо в кармане не один день и пока что ничего не случилось, оно полежит у меня еще полчаса.

---

[1] Сопа негра *(исп.)* – бобовый суп.

[2] Карнэ эн салса, арроз и эн салада *(исп.)* – мясо с салатом.

[3] Карнэ асада *(исп.)* – жареное мясо.

[4] Хуго наранха *(исп.)* – оранжевый джус.

– Тогда вы были один. А сейчас мы сидим вместе, сеньор Ниче.

– У вас есть какие-то основания для опасений? За вами смотрят?

– Нет... Мне так, во всяком случае, не кажется. Да и потом я пока в резерве, не за чем смотреть...

– А дело с Шибблом? Кто передал вам сообщение о необходимости срочно напечатать объявление?

– Киккель. Он позвонил мне из Рио.

– Это он дал вам указание расклеить объявления без согласования с местным муниципалитетом?

Райфель усмехнулся:

– Что, возникли какие-то осложнения? Я бы узнал, у меня тут хорошие связи.

– Если я задаю этот вопрос, значит, у меня есть к тому определенные основания.

– Значит, тем более необходима осторожность. Давайте-ка я сожгу этот листок.

«Не может быть, чтобы Спарк не сделал нотариальных копий, – подумал Роумэн. – Хотя вряд ли такое возможно в Португалии, фашизм, все нотариусы на крючке, текст – при всей его деловитости – тем не менее хранит в себе нечто непривычное, значит, лучше – от греха – поставить в известность тайную полицию. Но Спарк мог и обязан был сделать фото; в конечном счете графологическую экспертизу можно работать и по негативу».

– Валяйте, – Роумэн протянул Райфелю конверт, – если вам так будет спокойней.

– Нам, – поправил его Райфель. – Обоим.

Сунув конверт в карман, он отправился в туалет, там прочитал текст еще раз – в высшей мере внимательно. «Точки поставлены, запятые на месте, значит, все в порядке. Случись какой провал в цепи, Ланхер был бы обязан пропустить хоть одну из точек. Предпоследняя точка, правда, очень легкая, одно касание, но, тем не менее, это явная точка, и чернила те же. Странно, почему я должен писать отчет? Такого еще не было, – подумал Райфель (штурмбаннфюрер СС Гуго Лаурих, рожден в Линце, до аншлюса Австрии работал в "пятерке" Эйхмана с правом выхода на руководителя подполья НСДАП доктора Кальтенбруннера). – Я могу изложить этому Ниче на словах то, что его интересует, но зачем писать? Неужели снова начинается канцелярская мука? Разве мыслимо? Не может быть, чтобы мы уже так окрепли; архив – это риск; впрочем, фюрер организовал архив партии, когда мы были еще в подполье, ибо он верил. Посмотрим, как пойдет беседа, но что-то я не хочу ничего писать, не знаю почему, но к себе все же стоит прислушиваться».

Он вернулся; на столе стояли два высоких стакана со скотчем; лед уже растаял, жарища декабрьская, под сорок, вот-вот Рождество, будут посыпать пальмы ватой, снега здесь никогда в жизни не видели. Зимой, в июле, температура падает до тридцати, это здесь называют холодом, температура воды всего двадцать четыре градуса, кто ж в такой ледяной купается?!

– Все в порядке, – сказал Райфель. – Теперь можно спокойно разговаривать.

– И раньше можно было спокойно этим заниматься, – усмехнулся Роумэн. – Пейте виски, пока оно не закипело.

«А если рискнуть и связаться с Лиссабоном, – подумал Райфель. – Что-то мне не очень нравится эта просьба Ланхера: почему я должен писать то, что храню в голове? Но я не имею права к нему звонить, это нарушение конспирации, только связник может осуществлять контакт; положение не из приятных; посмотрим, как этот Ниче – впрочем, какой он к черту Ниче, псевдоним, ясно, – станет вести разговор, надо постараться его открыть».

– Это местное виски? – спросил Райфель.

– Нет. Я попросил шотландское.

– Так и дадут! Конечно, это здешнее пойло, – Райфель понюхал стакан, – сразу можно отличить.

– Какая разница? И то, и другое – дерьмо. Если бы мы пили с вами в Шотландии, в деревенском доме – одно дело, а так... В какое время вам позвонил Риг... Киккель?

Райфель усмехнулся:

– Можете не поправляться, настоящая фамилия Киккеля мне знакома, как и вам...

– Разве вы тоже из Линца?

– Да. Кто вам сказал?

– Я прочитал объявление в газете, – усмехнулся Роумэн. – Воскресный выпуск аргентинской «Кларин»: что, мол, в Игуасу проживает штурмбаннфюрер СС Лаурих, работающий ныне под фамилией Райфель, а к нему на связь едет член заграничной организации НСДАП Пол Ниче, он же Пауль Найджер, наделенный функциями инспектора, – по согласованию с центром.

Райфель расслабился – впервые за время всего разговора:

– Если вы знаете мою настоящую фамилию, мне легче разговаривать. Согласитесь, просьба нашего с вами общего друга написать сообщение о проделанной работе выглядит несколько странно.

– Каждый уровень к делу конспирации относится по-своему, – ответил Роумэн, посмотрев на портье; тот медленно выплыл из-за своего бюро и отправился к бару наливать новую порцию скотча. – Вы обязаны бояться слова написанного, а мне, увы, с ним только и приходится иметь дело... Так вот, о Штирлице, Ригельте и Шиббле. Центр интересует это дело. Расскажите мне подробно, желательно по часам: когда позвонил Ригельт из Рио, что он произнес, почувствовали ли вы в его голосе волнение? Панику? Растерянность?

– Волнения не было... Особого волнения, так будет точнее...

Портье поставил два стакана, сказав при этом обязательное «сеньорес». «В Испании бы непременно сказали "кабальерос", – подумал Роумэн, – врожденное преклонение перед всадником. Действительно, на английский это слово переводится как "всадник" или "наездник"; смешно, если бы в Нью-Йорке в кафе мне говорили, передавая тарелку с сандвичем, не "мистер", а "всадник"! Сюжет для юмористического скетча».

– Принесите мне пива, – сказал Райфель, не глядя на портье, – только холодного.

– Да, сеньор.

Проводив взглядом его сутулую спину («Странно, такой молодой парень!»), раздраженно заметил:

– Обязательно принесет теплое. Они слышат только себя или же оратора на площади, все остальное проходит мимо них.

Роумэн посмотрел на часы; Райфель понял его:

– Нет, я бы не сказал, господин Ниче, что Киккель был особенно взволнован. Он просто очень настаивающе сказал, чтобы я немедленно, прямо сейчас, напечатал объявления о возможности уйти в сельву на охоту – с запоминающимся адресом – и развесил их в самых броских местах аэропорта.

– В связи с чем?

– Он не объяснил... – Райфель испытующе взглянул на Роумэна. – Да и потом это не по правилам...

– А звонить по телефону, по международному телефону, это по правилам? – Голос Роумэна сделался металлическим. – У нас нет к вам никаких претензий, вы поступили верно, речь идет о том, что Ригельт завалил операцию, вот о чем идет речь...

– Неправда, господин Ниче. Мы передали информацию о том пансионате, где остановился объект наблюдения...

– Да?! В какое время?

– Как только Шиббл вернулся из Асунсьона.

– Вы получили подтверждение, что информация верная?

– Я и не должен был ее получать.

– А Ригельт должен! А тот мальчишка-индеец, которого он отправил за Штирлицем, перепродался! За гроши! И сказал Штирлицу, что «инглез» поручил ему смотреть за «сеньором», пока тот покупал себе костюм, брился, снимал комнату в другом пансионате и посещал здание почты! И после этого Штирлиц у ш е л! Мы не знаем, где он. Ясно вам, отчего от вас требуют письменного отчета?! Вы звонили по цепи? Или, надеюсь, поступили не как Ригельт, а по правилам?

– Я не могу отвечать за него... Он жил в «Александере»...

– Сделаете так, чтобы получить все его счета в отеле. Они должны хранить его счета. Принесете мне квитанции за оплату телефонных переговоров, там должны быть номера, по которым он звонил. Сделаете копию, оставьте ее себе, ясно?

– Да... Но где мне ее хранить? Я стараюсь соблюдать полнейшую легальность.

– Меня совершенно не интересует, где вы будете хранить копию. Закопайте в вашем складе. Спрячьте в сортире, мне все равно. Но если мой самолет грохнется в океан и я не пришлю вам открытки с видом Лиссабона, отправьте копию Ланхеру... Вместе с другими документами вашей фирмы... Соберите ворох бумаг, это не вызывает подозрений на почтовой таможне...

– Вызывает. Здесь все вызывает подозрение.

– Но ведь у вас есть контакты на границе?

– Да.

– Значит, отправите телеграммы в тот день и час, чтобы номера телефонов, по которым звонил Ригельт, – если он все же звонил – соответствовали датам отправки корреспонденции. Не мне вас учить азам ремесла.

– Хорошо.

– А что вы такой натянутый, Райфель? – Роумэн откинулся, полагая, что обопрется о спинку стула, и чуть не упал, забыв, что сидит на пне красного дерева. «Идиоты, за такой материал получили бы десять удобных кресел из сосны или пальмы, что за неповоротливость?! Совсем растеклись под солнцем, пошевелиться не хотят!»

– Я совершенно не натянутый, господин Ниче... Отнюдь... Просто все это несколько неожиданно...

«Я иду ощупью в полнейшей темноте, – подумал Роумэн. – Я могу провалиться в и х яму каждую секунду. Они умеют конспирировать, как никто другой. Пока что я вроде бы не сделал рокового шага, но я иду по краю обрыва, и первый же его конкретный вопрос будет сигналом тревоги, не пропустить бы».

– Если бы научились загодя планировать провалы, их бы не было. Увы, как правило, планируют победы, а не поражения, Райфель. Вы сможете выполнить мое поручение, скажем, к пяти часам?

– Постараюсь.

Роумэн понял, что именно сейчас настал тот момент, когда вспыхнул сигнал тревоги: «Этот эсэсовец не имеет права говорить "постараюсь" посланцу из их вонючего центра, это не по их правилам, он пробует меня. Или же я так и не понял в них ни черта».

Роумэн недоуменно обсмотрел собеседника, неторопливо поднялся, достал из кармана две долларовые монетки, бросил их на стол и, не попрощавшись, пошел к выходу.

Райфель догнал его возле двери, тронул за локоть:

– Господин Ниче, постарайтесь понять меня.

– Пусть этим занимается ваша жена, Райфель. У меня другие задачи. Если вы намерены покрывать Ригельта – так и скажите, а финтить со мной не надо, у меня мало времени и достаточно много дел, о которых я обязан отчитаться. И я отчитаюсь, уверяю вас. Я не умею подводить тех, кто отдает мне приказ и платит деньги.

– Господин Ниче, вы, как и я, понимаете, что писать отчет о работе и передавать его незнакомому человеку... Такого еще не было...

– А просьбы вроде той, с которой к вам обратился Ригельт, случались и раньше?

– Нет, это было впервые, меня это тоже удивило, не скрою.

– Что из себя представляет Шиббл?

– Лондонский уголовник. Мы к нему обращаемся в редких случаях.

– Кто к нему обращался, кроме вас?

– Я думаю, Фройбах.

– Псевдонимы?

– Я знаю только один: Шнайдель.

– От кого он получил санкцию на обращение к чужому?

– Речь шла о переправке Зибера...

– Я спрашиваю, кто дал ему санкцию?

– Мне казалось, что он получ...
– Казалось? Или убеждены?
– Я не располагаю фактами.
– Он обсуждал с вами этот вопрос?
– Нет.
– Так и напишите: «Со мной вопрос о переправке Зибера не обсуждался, санкции получено не было, Фройбах обратился к Шибблу по собственной инициативе». Ясно?
– Да. Я понимаю.
– Понимает теоретик от математики! Я спросил: «Ясно?»
– Да, мне ясно.
– Нам в Европе приходится работать в условиях разрухи и террора. Германия лежит в руинах. Голод. Мы вынуждены скрываться и каждую минуту быть готовыми к выстрелу в спину! А вы здесь, видите ли, решили, что центр далеко, и начали делать, что душе угодно, да?!
– Мне было приказано легализоваться и наладить бизнес. Я выполнил это задание. Придет другое – выполню и то.
– Приведете с собой Фройбаха... Ко мне, вечером...
– Да, но ведь он в Монте-Карло...
– По мне хоть в Париже. Сколько туда километров? Сто? Меньше? Достаньте машину и привезите его к восьми часам.
– Я не успею к восьми, его лодочная станция закрывается только в семь... Мы сможем приехать к девяти.
– Кто в Эльдорадо мог знать о звонке Ригельта? И вообще о Штирлице?
– Вальдман. Он приезжал к Ригельту, пока тот ждал возвращения Шиббла.
– Достаньте мне машину. Я не знаю, как вы это сделаете, но машина должна быть. Счет за нее передадите мне, предложите любые деньги. Как найти Вальдмана?
– Зоосад Вер-Майера. Он там живет постоянно, слева от дороги есть указатель.
– Ваш к нему пароль?
– «Заказанные вами генераторы находятся в пути, сейчас это дефицит в Европе».
– Отзыв?
– «Да, но в Канаде нет того сечения, которое мне нужно, поэтому приходится искать в Британии».
– Оставайтесь здесь, пишите отчет, можете сделать это моими чернилами, – Роумэн передал ему пузырек с симпатикой – раствором луковой эссенции, абсолютно незаметным между строками. – Фройбаха я навещу после визита к Вальдману. Пароль?
– «Нельзя ли организовать лов исключительно большой рыбы, поддающейся обработке в мастерской Хорхе, где делают чучела?» Отзыв: «Придется ждать до завтра, сегодня вода мутная, большая рыба не возьмет наживу».
– Каких-либо иных условных фраз нет?
– В случае, если вы решите принять на себя руководство этими людьми, назовите номер татуировки «братства» СС вашего шефа.

Если она в сумме будет в два раза меньше моей, они перейдут в ваше подчинение... Какой, кстати, ваш номер?

– Дело в том, Райфель, что я никогда не состоял в СС. Никогда. Ясно? Я всегда выполнял личные поручения партайляйтера Болe. А номер моей членской карточки НСДАП запомните, может пригодиться: семьдесят две тысячи триста двадцать два.

«Штирлиц не зря назвал мне номер своего партийного удостоверения. То, что я сказал Райфелю на единицу больше, дела не изменит. Пусть ищет, если все же решится отправить запрос. Да, они до сих пор раздавлены страхом перед тем, кто стоит над ними; это хорошо – до поры; когда они наберут силу, будет плохо; слепая устремленная масса, готовая на все, лишенная права на вопрос, – штука страшная. На короткое время, понятно, потом развалятся, слепота общества – гарантия его гибели, но могут успеть такое натворить, что мир снова содрогнется...»

...Через два дня Роумэн вернулся в Асунсьон, встретился со Штирлицем, передал ему информацию, которую смог получить в Игуасу, Эльдорадо и Монте-Карло, и сразу же вылетел в Лиссабон, понимая, что Грегори просто-напросто не сможет дольше держать в схороне Ригельта и Ланхера – слишком опасно.

РОУМЭН, КРИСТА, СПАРК
(Лиссабон, декабрь сорок шестого)

Пансионат «Пингвин» оказался небольшим красивым особняком в довольно запущенном парке, на спуске к реке. Роумэн подъехал на автобусе к центральной площади, затерялся в шумной толпе (близилось Рождество, магазины работали до девяти часов вечера, чтобы люди успели загодя присмотреть подарки), дважды проверился в салоне готового платья и лавочке, где торговали игрушками, но ни того парня, которого ему по памяти нарисовал в Асунсьоне Штирлиц («Он вас *топчет*, поверьте мне, но он не знает, что за вами смотрит кто-то еще; я того, второго, определить не смог, видимо, агент очень высокой квалификации»), ни кого-то еще, холоднoглазого, упершегося в спину стоячими глазами, не было. «Или я не заметил его, – сказал себе Роумэн. – И в самолете – я не зря поменял рейс в Рио – тоже не было никого подозрительного; тем не менее надо взять такси, посмотреть, нет ли кого сзади, поменять на другое, а потом, отдав заранее деньги шоферу, перескочить на трамвай, – только после этого я вправе идти к Кристе».

(Именно то, что он выпрыгнул из такси, отдав заранее деньги шоферу, спасло его от «хвоста»; его вели с первой же минуты, как он прилетел в Лиссабон. Джек Эр сообщил, что Роумэн приобрел билет со сменой рейса человеку, который ждал его в аэропорту Асунсьона; сам он получил приказ взять в наблюдение Штирлица; Роумэна же в Лиссабоне *подхватила* частная детективная контора – наняло представительство ИТТ; объекта столь высокой квали-

фикации не чаяли встретить, особенно когда он выскочил на ходу из вагона трамвая и скрылся в проходном дворе.)

Роумэн надел очки, которые заметно меняли его внешность (подсказал Штирлиц), спрятал свои седые пряди, столь заметные каждому, кто встречал его, под кепи, которое надвинул на лоб, и вошел в дверь пансионата, зажав в руке – так, чтобы видел портье, – трубку-носогрейку: это легко запоминается, пусть себе ищут человека с трубкой – на здоровье!

Он сразу же прошел на второй этаж; обычно портье не обращают внимания на тех, кто идет смело и сосредоточенно; окликают, как правило, тех, кто проявляет хоть тень нерешительности.

Около комнаты Кристы он остановился и заставил себя отдышаться: сердце вдруг часто-часто замолотило. «Черт тебя подери, заячья лапа, хватит же! Ну, стучи же, – сказал он себе, – стучи вашим условным стуком, чего ты ждешь?» «А может, я подслушиваю?» – услыхал он в себе тот давешний п о д л ю ч и й, чужой голос, что впервые, помимо его воли, заговорил еще в Асунсьоне, когда он позвонил Спарку, а трубку в его номере сняла Криста.

Он удивился тому, что сначала решил откашляться, а уж потом стучать; это привело его в бешенство, он положил ладонь на холодную, скользящую эмаль цвета слоновой кости и выбил дробь: «тук-тук – здравствуй, друг!» – так переговаривались узники в камерах нацистских тюрем.

Никто не ответил.

«Девочка спит, – подумал Роумэн, – уже почти неделю они где-то держат этих паршивых наци: р а б о т а, которую совсем не просто делать бригаде здоровых мужиков, а их здесь двое, Спарк и Криста, каково такое выдержать? Конечно, она спит, бедненькая».

Он постучал еще раз.

Молчание.

Сердце замолотило еще чаще, в горле сразу появилась горечь, спазм, голова закружилась: «В каком же номере живет Грегори? – подумал он. – Наверное, Криста у него, они ведь ждут меня, мы условились заранее, что я уложусь, должен, не могу не уложиться в неделю после того, как – и если – им удастся сделать то, что мы задумали; им удалось. Черт, в каком же номере поселился Грегори? Я не знаю. Я попросил портье соединить меня с "сеньором Сараком", подошла Криста. "Сеньора Спарка, – он произнес фамилию верно, – нет в двенадцатом номере, соединяю с сеньорой"».

Роумэн посмотрел на металлическую цифру, прикрепленную к двери: «двенадцать». «Идиот, – сказал он себе, – ты же стучишься к нему, что с тобой? Да, но ведь она сказала: "Я караулю тебя в его комнате". Надо идти вниз, к портье, спрашивать, где живет сеньора. Это плохо. Все портье здесь – осведомители тайной полиции, они обязаны сообщать обо всем, что происходит в пансионате, о любой мелочи; фашизм особенно интересуют подробности, так уж они устроены, чтобы подглядывать в замочную скважину, рефлекс гончей».

Роумэн глянул на часы – четверть десятого. «Я могу постучать в соседнюю дверь, еще не поздно, извинюсь».

В четырнадцатом номере (тринадцатого, как во всех дорогих

пансионатах, не было) никого не оказалось; в пятнадцатом ему ответил низкий мужской голос:

– Не заперто.

Роумэн приоткрыл дверь – она тяжело, зловеще заскрипела («Как хорошо покрашена, эмаль прекрасна, а петли не смазаны, дикость!»)

Маленький, щуплый человек лежал на высокой кровати; ноги его, обутые в модные, остроносые, черно-белые лаковые туфли, лежали на атласном покрывале кровати.

Увидав Роумэна, человек как-то стыдливо спустил ноги с атласа, потер тонкими пальцами виски, потом досадливо махнул рукой, словно бы сердясь на самого себя, и спросил:

– Что вам?

– Простите, здесь живет сеньора, – Роумэн с трудом подбирал португальские слова (трудно объясняться на языке, который близок к тому, который знаешь; совсем иное произношение: португальский чем-то похож на русский, такой же резкий, утверждающий), говорил медленно, как-то подобострастно улыбаясь, – очень красивая, с веснушками?..

– Спросите портье, я не слежу за соседями! – Человек снова вскинул ноги на покрывало и устало опустил маленькую голову на низкую, словно бы расплющенную подушку.

Роумэн прикрыл дверь, которая заскрипела еще пронзительнее...

– Сеньора живет рядом, – услыхал он чей-то шепот, знакомый, громкий; ее, господи!

Он резко обернулся: Криста стояла в проеме двери номера, что был напротив двенадцатого; она была в халатике, лицо бледное, усталое, но такое в нем было счастье, так сияли ее глаза-озерца, так она тянулась к Роумэну, хотя была внешне совершенно недвижна, что он даже зажмурился от счастья, бросился к ней, обнял, вобрал ее в себя и замер, почувствовав легкую, о с в о б о ж д а ю щ у ю усталость.

– Ну, Ригельт, спасибо вам, – сказал Роумэн, подчеркнуто не глядя на заросшее седой щетиной лицо Лангера, – вы крепко меня выручили, без вашей помощи я бы ни черта не сделал.

Грегори, натянув макинтош на голову, спал на колченогом диване с выпирающими пружинами. Он уснул через десять минут после того, как Криста привезла Роумэна; они тогда вышли из подвала во двор; ночь была прохладная, чуть подморозило; звезды стыли в черной бездне неба; они вдруг начинали мерцать и калиться изнутри; порой казалось, что некоторые, самые яркие, вот-вот лопнут; потом снова наступало затишье, все успокаивалось, и на земле из-за этого становилось еще тише.

Роумэн выслушал желтого, похудевшего Спарка; тот еле шевелил губами, спал по два часа в сутки: караулил немцев. Когда Криста приносила еду, кормил их с ложки; гадили они под себя, запах был страшный, въедливый.

– Судя по тому, что их не ищут, те записки – «Уехали по делам, скоро вернемся, бизнес», – которые я заставил их написать в их под-

лючие офисы, подействовали. Полиция не включилась в дело, ей, видимо, ничего не сообщали... А этого самого кожаного Фрица, который жил здесь по фальшивым португальским документам, похоронил Лангер, я его заставил. Вполне квалифицированно волок тело в яму... Гад... Я сделал ему узлы на ногах пошире, так, чтобы не упал, работал в условиях, приближенных к их концлагерям, все время плакал, сука... Оказывается, этого самого Фрица присудили к петле... Заочно... В Кракове...

– А ты привел приговор в исполнение... Не казни себя. Ты не мог иначе, – сказал Роумэн.

– Конечно. Только я никак не могу отделаться от того ощущения, понимаешь? Я до сих пор чувствую, как рукоять пистолета мягко входит в его висок...

– Не ты это начал. Не мы это начали, – жестко сказала Криста. – Они звери. Так с ними и надлежит обращаться.

– Львы – тоже звери, конопушка, – вздохнул Грегори. – Пошли вниз, они могут подползти друг к другу, начнут еще зубами развязываться, они на все готовы...

– Кто из них легче разваливается? – спросил Роумэн, проводив глазами Кристу, спустившуюся в подвал первой.

– Ригельт.

– Ты не чувствовал в них игры?

– Какой?

– Не знаю... Игры – и все тут... Они все ведут какую-то игру, Грегори... Надо ж было придумать такое: за два часа напечатать объявления об охоте в джунглях, развесить их там, где они бросаются в глаза, просчитав, что Штирлиц не преминет прийти по этому адресу... Надо же иметь такие мозги?! Они живут играми, понимаешь?

– Здесь игры не было, – убежденно ответил Грегори. – Но я должен поспать. Потом я отвечу тебе, продумав все еще раз, сейчас у меня плохо варит голова, прости.

– Я очень рад, – ответил Ригельт, подобострастно глядя на Роумэна, – я рад, что смог вам помочь... За эти дни я переоценил всю свою жизнь... Я сделал выбор.

– Не вы сделали выбор, Ригельт. Выбор за вас сделал я, – Роумэн достал из кармана конверт, в котором лежали рапорты Райфеля, Вальдмана из Эльдорадо, Александра фон Фройбаха из Монте-Карло, Зибера из «Колониа Филадельфиа» под Асунсьоном – всех тех, кого он прошел по цепи, по тайной нацистской цепи, внедрившейся вдоль по Паране, – перевалочные пункты по дороге нацистов в Чили, Боливию, Перу, Колумбию; явки, пароли, номера счетов, шифры – все было здесь. – Сейчас я развяжу вас, и вы ознакомитесь с этими документами. И внесете свои предложения.

Роумэн подошел к нему – обгаженному, вонючему; не скрывая отвращения, задержал дыхание, развязал ему руки и ноги; Криста стояла рядом, сжимая в руках свой «смит-вессон».

– Он не будет поступать неблагоразумно, – заметил Роумэн, отходя от Ригельта, который медленно массировал руки в запястьях. –

Ему теперь придется вести себя очень продуманно. Верно, Ригельт? Ваши ведь не станут чикаться, они не понимают нашей дурацкой мягкотелости, верно?

– О чем вы? – удивился Ригельт, пытаясь подняться; ноги не держали его; серые брюки, сделавшиеся от мочи и экскрементов темными, бесформенно болтались на нем, словно лагерная роба. – Я же все сказал вашему коллеге, я понимаю, что все случившееся обязывает меня к...

– Договаривайте, – сказала Криста. – Договаривайте, Ригельт. Могу помочь: к сотрудничеству. Вы это хотели сказать? Да? Вы молчите, потому что вам мешает Лангер?

– Я... Нет, то есть...

– Вот смотрите, – сказал Роумэн. – Знаете руку ваших людей? Почерк знаком?

– Почерк знаком мне, – тихо сказал Лангер. – Вы же это прекрасно знаете, потому что имена людей называл я, а не Ригельт.

– Я бы и сам вышел на Райфеля, – Роумэн покачал головой. – Вы не просто назвали их имена, вы дали к ним ключи. Теперь это наши люди. Но Ригельт помог нам в другом... Правда, Ригельт? Вы поглядите, поглядите на документы, в этом заслуга не только Лангера, но и ваша... Вы крепко напортачили в Рио, вы засветились, этого вам было делать нельзя, никак нельзя.

Ригельт со страхом глянул на документы, лежавшие на пыльном столике, потянулся к ним. Роумэн одернул его:

– Не трогать руками! Глаза есть? Вот и смотрите. А когда наглядитесь, возьмете ручку и подтвердите правильность написанного. Писать будете на мое имя. Назовете меня «Герберт». И напишете, что указание на работу со Штирлицем вы получили от Пепе и Лангера. Укажете точное время, когда он сообщил вам о вылете Штирлица из Мадрида. Все ясно?

– Все ясно.

– Очень хорошо... А теперь с вами, Лангер... К вам позвонили из Мадрида по поводу Штирлица, не правда ли?

– Да.

– Кемп?

– Да.

– Вы понимаете, что наш разговор записывается на пленку?

– Да.

– Вы открываете мне секретные сведения по собственному желанию, без какого бы то ни было принуждения с моей стороны?

– Я отвечаю добровольно, без давления.

– Меня не устраивает такой пассаж. Я спросил: вы открываете мне ваши секретные сведения без давления?

– Да, я открываю вам секретные сведения без давления... с вашей стороны.

– Ригельт, вы это подтверждаете?

– Да, да, конечно, – ответил тот, по-прежнему завороженно глядя на бумаги, что лежали на столе.

– Ригельт, вы подтверждаете, что Лангер убил своего телохранителя Фрица ударом рукоятки «парабеллума» в висок?

– Но я этого не видел...

– Меня не устраивает такой ответ.

– Да, подтверждаю.

– Нет, меня и этот ответ не устраивает, вы знаете, как даются показания такого рода. Их дают развернуто, исчерпывающе, подробно.

– Лангер устранил своего телохранителя...

Роумэн перебил его:

– Имя! Вы забыли назвать имя. Имя и фамилию.

– Фриц Продль, живший в Лиссабоне по документам на имя Васко Алвареша, работавший личным секретарем Лангера, был убит им во время ссоры, произошедшей на моих глазах, ударом «парабеллума» в висок...

– Вы это видели лично?

– Да.

– Вы свидетельствуете это свое показание под присягой?

– Да, я готов присягнуть.

– Лангер, вы подтверждаете показания Ригельта?

– Нет.

– Подумайте еще раз.

– Мне нечего думать. Это он, Ригельт, убил моего секретаря Фрица Продля, действительно жившего здесь по паспорту Васко Алвареша, когда понял, что тот получил документы, из которых можно было сделать вывод о провале миссии Ригельта в Латинской Америке.

– Какой именно?

– Миссии, связанной с транспортировкой Штирлица на нашу опорную базу.

– Какую? Штирлиц должен был поселиться в Асунсьоне?

– Да, первое время там, вы правы. Но – подконтрольно. А Штирлиц ушел, скрылся. По его вине. Это не было случайностью. Вот за это Ригельт и устранил Фрица Продля. На моих глазах.

– Так кто же из вас говорит правду? – Роумэн смотрел то на одного, то на другого. – А?

– Я! – Ригельт снова опустился на пол, ноги, верно, не держали его. – Я вам выгоднее, чем Лангер, хотя он и является руководителем лиссабонской группы. Я вам выгоднее, потому что, когда Отто Скорцени вернется, – а он скоро вернется на свободу, – я снова буду с ним, а он знает то, что и не снилось Лангеру. Я выгоднее вам, Герберт, даю честное слово!

– Какое вы мне даете слово?

– Честное слово! Я всегда был зеленым СС, я не носил эту страшную черную форму! Лангер из гестапо, их организация осуждена по решению трибунала в Нюрнберге!

– Не теряйте лицо, Ригельт, – поморщился Лангер. – Ни вас, ни меня не убьют, мы нужны им живыми. Вы, как и я, в дерьме, не марайтесь еще больше. Берите на себя Фрица, это нужно им для того, чтобы крепче нас держать, неужели не понятно? Все знают, что у меня не хватит силы его убрать, я из другой породы, зачем лжесвидетельствовать?

– Помолчите, – сказала Криста. – Я должна поменять пленку в диктофоне.

– В том, что сказал Лангер, – заметил Роумэн, как-то наново рассматривая Ригельта, – есть резон. Он дает вам дельный совет, соглашайтесь. И развяжите вашего друга... Вот так, молодец... Лангер, когда вы узнали, что ваш телохранитель осужден к повешению в Кракове?

– Месяца два назад.

– А точнее?

– В начале октября сорок шестого года.

– Так, может, мы сформулируем ваше показание иначе? «Я, Лангер, штурмбаннфюрер СС, живущий в Лиссабоне по документам Энрике Ланхера и возглавляющий фирму... – Назовете ее правильно, я могу ошибиться, ладно? – Я, Лангер, узнав, что мой секретарь Фриц Продль, он же Васко Алвареш, осужден в Кракове – приговорен к смертной казни через повешение за то, что во время войны служил в Аушвице и принимал участие в массовых убийствах узников, поручил Ригельту, штурмбаннфюреру СС, работающему ныне в Лиссабоне под фамилией Киккель, устранить Продля, поскольку правительство Польши официально потребовало его выдачи. Необходимость такого рода акции вызвана возможностью провала одного из звеньев нашей глубоко законспирированной цепи: Линц – Ватикан – Мадрид – Лиссабон – Канарские острова – Рио – Игуасу – Асунсьон – Кордова – Сантьяго-де-Чили – Ла-Пас – Богота».

– Я перезарядила пленку, – сказала Криста. – Пусть говорит.

– Вы согласны с моей версией, Лангер? – спросил Роумэн.

– Я скажу то, что вы требуете.

– Ну, и прекрасно. Только добавите: проверив работу Ригельта, я лично похоронил Продля, так как Ригельт почувствовал себя плохо после ликвидации. Да?

Лангер с трудом поднялся, раскачиваясь, приблизился к стене и, закрыв глаза, вздохнул; постоял недвижно, потом, повторив – слово в слово – то, что продиктовал ему Роумэн, спросил:

– Теперь мы свободны?

– После того, как собственноручно напишете это же, – да, – ответил Роумэн.

– Я напишу, – кивнул Лангер. – Только вам – хотите вы того или нет – придется ответить мне на вопрос: я обязан поставить мое руководство в известность о случившемся, если меня вдруг спросят?

– А кто вас может об этом спросить? – Роумэн пожал плечами.

– Тот, кто поддерживает контакт с вашими людьми. Или все происшедшее здесь и в Игуасу ваша личная инициатива?

– Если вы поставите в известность о случившемся, – сказала Криста, – вас уберут так же, как убрали Гаузнера. Это говорю вам я, его агент. Я работала с вами в Лиссабоне против этого господина, – она кивнула на спящего Спарка. – Я с американцами – поэтому жива, здорова и благополучна. Еще вопросы есть?

Роумэна поразило то, как Криста произнесла эту фразу; закрыл глаза, полез за сигаретами.

– Вопросов больше нет, – задумчиво глядя на Кристину, ответил Лангер.

«Только бы он не начал спрашивать ее, – подумал Роумэн, – только бы он не стал интересоваться ее работой, я не смогу это выдержать, это как разорвать мне грудь и вынуть сердце».

– Отведите Ригельта в чулан, – попросил он Кристину; говорил сухим, начальственным тоном. – Подождите там час, – пояснил он Ригельту, – потом я освобожу вашего начальника, и мы продолжим беседу с вами.

Поддерживая локтями сползавшие брюки, Ригельт, шаркая ногами, словно старик, вышел. Кристина шла сзади, упираясь ему в голову пистолетом. «Он может играть слабость, – подумал Роумэн, – а когда закроется дверь, кинется на нее, он – может».

– Стой! – крикнул он сорвавшимся голосом. – Стоять!

Криста испуганно обернулась. Ригельт, вжав голову в плечи, резко согнулся, видимо, опасаясь выстрела в затылок.

Лангер усмехнулся:

– Он не станет нападать на девушку. Он теперь ваш. С потрохами.

– Как и вы, – ответил Роумэн, оставил Кристину в подвале, сам запер Ригельта в чулане. Тот шепнул, что потом, когда они останутся одни, расскажет еще кое-что: «У меня есть многое, о чем надо рассказать».

Роумэн вернулся в подвал, сел возле спящего Спарка и сказал:

– Ну, а теперь давайте говорить как члены одного содружества, Лангер. Ваша история – с самого начала. По дням. С девятого мая сорок пятого. Как удобнее: сначала написать, а потом наговорить на пленку? Или наоборот?

– Я буду это делать одновременно. Вы же видели мой почерк, он вполне разборчив, пишу я быстро, говорю медленно. Только, в отличие от Ригельта, который ошалел от животного счастья, мне бы хотелось выйти на улицу, снять брюки и вымыться...

– Перебьетесь, – жестко сказала Криста. – Свое дерьмо не пахнет.

– Он думает о нас, – Роумэн улыбнулся Кристе. – Пойдемте, Лангер. Здесь, правда, нет водопровода, но я видел бочку, ночью прошел дождь, вода прекрасная, пошли.

«Двадцатого апреля, когда русские танки были на ближних подступах к Берлину, мой непосредственный руководитель Бист вызвал меня к себе на конспиративную квартиру и сказал, что по решению группенфюрера СС Мюллера я должен немедленно уходить из города и пробиваться на юг. Он вручил мне паспорт на имя Густава Лингера и документы, удостоверяющие, что я освобожден союзными войсками из концентрационного лагеря "Пу-зет 41-12" семнадцатого апреля; арестован гестапо 21 августа сорок четвертого года за принадлежность к группе лиц, покушавшихся на жизнь Гитлера. В справке было также сказано, что я подозревался гестапо в тайных контактах с моей двоюродной сестрой Матильдой Вольф, эмигриро-

вавшей из рейха в Швейцарию в 1937 году. Бист дал мне явку Матильды Вольф в Асконе, виа Коммунале, семь, второй этаж, квартира направо. Я смог перейти границу в районе Базеля. Поскольку Бист снабдил меня тремя тысячами швейцарских франков, семью тысячами долларов и двумя бриллиантовыми перстнями, пересечь Швейцарию не составило труда. В Швейцарии я ни с кем не входил в контакт, поскольку в этом не было необходимости; хотя я получил запасную явку в Лугано, виа Венета, двенадцать, Гуго Аксель.

Матильда Вольф после того, как я назвал ей пароль: "Я перенес стенокардию, здешний климат прекрасен, но все же хочется к теплу" и получил отзыв: "Напрасно, здесь нужно акклиматизироваться, но если у вас язва, то лучше ехать на воды", – дала мне явку в Риме, виа Данте Алигьери, девять, сеньор Бартоломео Фраскини. Этот человек, служащий Ватикана, свел меня с секретарем монсеньора Алоиза Худала, который поселил меня за городом, в небольшой деревушке на берегу моря (названия не помню) в семье рыбака, зовут Витторе. По прошествии двенадцати дней он вручил мне паспорт и билет на пароход в Барселону. Там меня встретил неизвестный, не назвавший своего имени, передал билет на поезд в Мадрид. На перроне в Мадриде ко мне подошел Кемп и приказал в тот же день прийти в ИТТ, представиться моим новым именем и попросить любую должность. Он же передал мне диплом об окончании Боннского университета, физический факультет, специальность – радиотехника. После трех месяцев работы в качестве механика в гарантийной мастерской Кемп откомандировал меня в Португалию, где я четыре месяца совершенствовал язык, а затем меня нашел Ригельт и передал портфель с сорока семью тысячами фунтов стерлингов. Эти деньги я должен был обратить на приобретение электромеханической мастерской, что я и сделал. Прибыль, получаемую с оборота, я должен был распределять следующим образом: пятьдесят процентов – переводить на счет №76146 в швейцарский банк, Цюрих; двадцать пять процентов – обращать на расширение дела, добиваясь максимальной прибыльности; десять процентов – вносить на счет №548921 в отделение "Крэди лионэ" в Лиссабоне, дав право распоряжаться этим счетом сеньору Хайме Варвалью (с упомянутым человеком я не встречался ни разу, хотя он периодически берет деньги со счета; дважды положил взнос в сумме девяносто пять тысяч), а остальные деньги шли на оплату содержания моих сотрудников. Все они были транспортированы в Лиссабон из Германии в начале апреля сорок шестого года. Пауль Гаузе, унтершарфюрер СС, сотрудник гестапо Бремена, разыскивается французской полицией, номер в СС 964218, членский номер в НСДАП 641867; Вильгельм Полан, унтершарфюрер СС, работал в концентрационном лагере Дахау, номер в СС 426748, членский номер в НСДАП 1465822, разыскивается полицией Великобритании, Югославии, Франции и Польши; Фриц Продль, ликвидированный Ригельтом после того, как Польша приговорила его к смертной казни по поводу службы в Освенциме, шарфюрер СС, номер в СС 995165, членский номер в НСДАП 954428. Гаузе и Полан живут по паспортам, полученным через монсеньора Алоиза Худала, который, как считают, был духовником старшего сына Бормана, принявшего сан.

Продль, Гаузе, Полан, Тройст, Ригельт и я составляли "оперативную лиссабонскую пятерку" с выходами на Мадрид и Латинскую Америку (Райфель в Игуасу – руководитель "тройки" в том районе).

Задание взять в наблюдение Штирлица я получил по телефону из Мадрида от Кемпа, который назвал "пароль подчинения", звучавший: "Срочно подписывайте контракт с Моррисом, послезавтра в семь двадцать истечет срок". После этого Кемп изложил задание, которое мой связник передал Ригельту. Что касается Гуарази, который прилетал сюда, то звали его обычно "Энрике", хотя однажды его сопровождавший обратился к нему как к "Пепе".

Его указания чаще всего были связаны с расширением моего бизнеса на Латинскую Америку. Могу предположить, что он работает с синдикатом.

Раз в месяц меня посещает курьер из Германии; последние три посещения состоялись в первые воскресенья сентября, октября и ноября. Как правило, курьером является Хайнц-Ульрих Вогт, в прошлом штурмбанфюрер СС, сотрудник кёльнского гестапо; разъезжает по аргентинским документам, выданным полицией Кордовы.

Если допустить, что и впредь он будет посещать меня по первым воскресеньям месяца, то, следовательно, его надо ожидать завтра.

Я обязуюсь провести с ним беседу в помещении, оборудованном для звукозаписи и наблюдения со стороны "Герберта".

Я обязуюсь после его визита отправиться с "Гербертом" в Аскону и посетить Матильду Вольф, которая переправляла меня в Италию.

Я обязуюсь сделать так, чтобы она назвала мне новый пароль и дала существующие ныне явки в Италии и других странах мира.

Написано собственноручно, без какого-либо принуждения, и может служить в качестве моего обязательства работать на "Герберта" во имя продолжения борьбы за справедливость.

Подписано собственноручно мною, Леопольдом Ланхером (Лангером), номер в СС 41265, членский номер в НСДАП – 152557».

– Хорошо, – сказал Роумэн, прочитав документ. – На первый раз хорошо. Намажьте указательный и большой палец чернилами и оставьте свои отпечатки. Сами доберетесь до города? Или подождете, пока я кончу заниматься Ригельтом?

– В таком виде я не могу появиться в городе.

– Сейчас ночь... – Роумэн посмотрел на часы. – Половина четвертого... Вы убеждены, что ваши люди – после того, как им передали вашу записку, – не предпринимали шагов к вашему поиску?

– Убежден.

– Что вы им скажете по поводу вашего шестидневного отсутствия?

– Не знаю.

– Надо придумать... Они сообщили по цепи о случившемся?

– Если в мое отсутствие приезжал связник – да. Если он еще не приезжал, они не имеют своих каналов, все осуществляется через меня.

– Вам надо им сказать, – Кристина говорила глухо, зябко кутаясь в жакет (сильно похолодало), – что после встречи с неизвестными из центра вам пришлось допрашивать Фрица, а затем прятать его. Вы должны сказать им именно это.

– Но почему я должен был делать это шесть дней? – Лангер развел руками; его брюки сразу же стали сползать, потому что он сильно сдал за эти дни, ремень Роумэн ему еще не отдал; надо было постоянно прижимать локти к бокам.

– Вы это должны были делать шесть дней, – сказал Роумэн, – потому что открылось множество новых обстоятельств... Скажете, что вас вызвали на встречу люди Гуарази. Сообщите связнику, что вы удивлены странным визитом людей Гуарази, те потребовали немедленно ликвидировать Фрица. За ним, скажете вы, оказывается, охотятся секретные службы... Он, Фриц, как вам сказали, был завязан на какой-то тайный бизнес – кажется, с драгоценностями. Подумайте в этом направлении, не мне вас учить.

– Меня будет допрашивать курьер из Германии, – сказал Лангер. – Его не удовлетворят обтекаемые ответы.

– Что вы предлагаете?

– Я предлагаю устроить вам встречу с ним. Придумайте легенду вы, вам это легче сделать, как-никак Гуарази из-за океана...

– Этот связник говорит по-английски?

– Говорит. Не очень хорошо, но – говорит.

– Хорошо, я обдумаю ваше предложение...

– А что касается возвращения... Лучше бы вы сняли мне где-нибудь отель... В тихом местечке на берегу океана... Я бы позвонил оттуда моим людям завтра и попросил приехать ко мне через два дня: надо же привести себя в порядок, не думаю, что мое лицо слишком уж благополучно.

– Разумно. Сейчас я поработаю с Ригельтом, а потом отвезем вас на побережье.

– И, наконец, последнее: вы полагаете, что я буду работать на вас без вознаграждения?

– Вас уже вознаградили, – откликнулась Криста. – Жизнью. Очень, кстати, ценное вознаграждение, вы же так любите свою жизнь, Лангер.

– Смотрите, – Лангер снова пожал плечами. – Я понимаю свое положение, я растоптан, пути назад нет, я обязан вам служить, но я могу это делать пассивно, без всякого интереса, а могу проявлять инициативу. Если вы берете меня на оплату – я готов вносить вам предложения, а не дожидаться ваших вопросов.

«Что ж, – подумал Роумэн, – сам Макайр разослал в резидентуры депеши; он считал возможным привлекать бывших наци к сотрудничеству; есть основание, чтобы вызвать Лангера в Мадрид и там зачислить его в агентуру, с меня взятки гладки».

– Если мы станем вам платить, значит ли это, что Ригельт, да и вообще вся ваша пятерка автоматически – без дополнительной оплаты – переходят в мое подчинение?

– Да. Только если вы решите... Впрочем, теперь можно говорить «если мы решим». Так вот, если мы решим их послать куда-то, оп-

лату билетов и отелей вы берете на себя. Я не имею права брать деньги со своих счетов, я же объяснял вам.

– Хорошо, Лангер, – повторил Роумэн. – Идите и думайте над легендой своего исчезновения. Вот вам ключ от чулана, где страдает Ригельт, приведите его сюда, это третья дверь налево.

Лангер взял ключ и, поддерживая брюки локтями, пошел из подвала. Криста двинулась следом.

– Не надо, – остановил ее Роумэн. – Теперь мистер Лангер больше нас с тобой заинтересован в том, чтобы Ригельт предстал передо мной.

Через три минуты Лангер действительно привел Ригельта.

– Пока вы с ним будете говорить, могу я взять свой макинтош? – спросил он. – В том чуланчике можно поспать, я валюсь с ног от усталости, – и он усмешливо посмотрел на Спарка, лежавшего на диване.

ШТИРЛИЦ (Санта-Фе, декабрь сорок шестого)

В Корриентес, когда иностранных пассажиров самолета аргентинской авиакомпании пригласили в зал ожидания, Штирлиц сразу же отправился в буфет и сел за тот столик, где устроился коротко стриженный парень с лицом профессионального спортсмена – именно тот, что прилетел одним рейсом с Роумэном и пас его два дня, пока они не оторвались от слежки в Асунсьоне, – Джэк Эр.

– Сандвич, пожалуйста, – попросил Штирлиц подошедшего официанта. – Тут очень вкусные сандвичи, – пояснил он парню, простодушно улыбаясь. – Советую попробовать.

– Я не понимаю по-испански, – ответил тот, несколько растерянно. – Я не говорю на вашем языке.

– Американец? – Штирлиц перешел на английский. – Из Штатов?

– Из Канады, – неумело солгал Джек Эр. – Из Оттавы.

– О, я прекрасно знаю этот город, как приятно! – заметил Штирлиц, сразу же поняв, что парень лжет. – Где вы там живете?

– Я? На этой... На Спринг-роад, такой большой дом, знаете?

«Суки, – подумал он о своих преподавателях, – что ж они не объяснили, как себя надо вести, если объект заговаривает с тобою? "Тебя не должно интересовать, кто он, откуда, о чем думает; ты обязан знать, куда он пошел, с кем контактировал, по какому телефону звонил, от кого получал деньги или же, наоборот, кому их передавал, все остальное – наше дело; когда ты натаскаешься и пересядешь в мое кресло, тогда станешь принимать решения; а пока что – забудь о себе, ты – всего лишь глаза и уши нашей борьбы против нацизма"».

– Ну, как же! Такой красный, угловой, там еще внизу аптека? – Штирлиц играл снисходительно, ему это было просто, жизнь прошла в такого рода игре, будь трижды неладно это постоянное лицедейство, приучающее к тому, чтобы настраиваться на каждого чело-

века, который приближается к тебе ближе, чем ты считаешь это возможным. Самое страшное, если в тебе рождаются стереотипы: можно проглядеть врага и пройти мимо друга — последнее, кстати, страшнее.

— Да, вообще-то, да, — растерянно ответил Джэк Эр, который ни разу в Оттаве не был. — Сейчас я вернусь. В туалет схожу, ладно?

— Я подержу ваше место, — пообещал Штирлиц, — здесь очень непоседливые люди, стоит отойти, как сразу же занимают стул...

Парень пошел в туалет. «Наверняка его проинструктировали, что он должен пробыть там не меньше трех минут, — подумал Штирлиц, — пока-то расстегнул ширинку, постоял над писсуаром, пока помыл руки, все ведь должно быть замотивировано, все по правде. Я успею выскочить на площадь и сесть в машину, — только я поеду за город. Он тоже схватит машину — если она есть, — но обязательно поедет в город. Он заинструктирован, он будет поступать по правилам. Выигрывает тот, кто живет своей головой; за следование инструкции можно получить отличные оценки в их секретных школах, но ты никогда не уследишь за мной, курносый парень с добрыми, испуганными глазами. Плохо, конечно, если меня пасут два человека, тогда я проиграл, но ведь попытка — не пытка; давай, Исаев, двигай!»

Он положил на столик доллар, быстро поднялся и, вбирающе разглядывая людей в зале ожидания, — тот, кто слишком резко отведет глаза, скорее всего и есть тот искомый второй — бросился к выходу.

Такси — огромный «плимут» без переднего левого крыла — стояло возле дверей. Шофера за рулем не было. Штирлиц распахнул переднюю дверь (вообще-то здешние шоферы не любят, когда пассажир едет рядом: здесь врожденно почтительны к тому пассажиру, который сидит сзади), потянулся к рулю, нажал на сигнал и даже испугался того лающего рева, который вырвался из-под капота.

— В чем дело? — Штирлиц услыхал у себя за спиной сердитый голос: — Что случилось?

Он обернулся: шофер медленно поднимался с заднего сиденья — спал, видимо, — лицо помятое, потное, волосы слиплись, цветом — вороньe крыло, такие же смоляно-черные, но с каким-то глубинным серебристым отливом.

— Кабальеро, мне надо срочно отъехать отсюда, — сказал Штирлиц. — Я не хочу, чтобы меня увидели в этой машине. Держите деньги, — он протянул ему тридцать песо, — и поторопитесь, в дороге я объясню вам причину.

Как и всякий испаноговорящий человек, шофер обожал интригу и тайну; от сонливости его не осталось и следа, он мигом очутился на своем месте, включил зажигание и резко тронул свой грохочущий, как консервная банка, «плимут», нажав до отказа на акселератор.

Штирлиц посмотрел на часы: прошло две минуты. «Писай, милый, — подумал он о сыщике, — не торопись, тебе надо как следует облегчиться, когда-то еще придется, предстоит хлопотный день, бедолага». Он оглянулся: у дверей маленького аэропорта пока еще ни-

кого не было. «Парнишка выскочит через пару минут, – понял он, – только бы не подъехало какое такси; если не будет второй машины, можно свободно ехать в город, останавливаться возле автобусного вокзала и садиться на первый попавшийся рейс, который идет на юг, куда угодно, только на юг. В Кордову я должен приехать один, если только Райфель сказал Роумэну правду и там именно обосновался особый нацистский центр».

– Сеньора преследуют? – спросил шофер.

– Да.

– Полиция?

– Ну, что вы... Неужели я похож на преступника?

– Соперник?

– Ближе к истине.

– Сеньор прибыл из Испании?

– Да.

– Я бывал в Испании.

– Как интересно... Где же?

– В Барселоне. До того как я смог купить машину и лицензию, я плавал на сухогрузах. Хотите остановиться в нашем городе?

– Да. Лучше, чтобы моя подруга приехала сюда... Сколько времени сюда идет автобус из Буэнос-Айреса?

– Депенде[1]... Часов тридцать, кажется... Точно не знаю... Поселитесь в отеле? Или отвезти в пансионат?

– В центр. Там я определюсь.

– Хорошо, – шофер посмотрел в зеркальце; на шоссе всего лишь три крестьянские повозки, два велосипедиста и никого больше.

– Пусто? – спросил Штирлиц.

– Мы оторвались, – ответил шофер, но, тем не менее, еще круче поднажал на акселератор; машина загрохотала совершенно угрожающе.

– Не развалимся? – поинтересовался Штирлиц.

Шофер пожал плечами:

– Может отвалиться правое крыло, но это не опасно.

– Лучше бы избежать этого.

– Тогда не будет хорошей скорости... Да и вообще я не очень-то понимаю, зачем нужны крылья? Чем больше обдув – тем лучше для деталей. Мой коллега Фернандес – он тоже ездит на «плимуте» – позавчера приварил крылья, и у него тут же стали сдавать баллоны. Три раза пришлось менять их, представляете? Три раза за один день! А ведь сейчас наступает лето, согласитесь, корячиться под солнцем – работа не из приятных.

– Сколько такси в городе?

– О, масса! Уже пятнадцать. А еще два года назад было всего пять. Тут работал один «гринго», взял лицензию на уборку города, ну, он и объяснил, как выгодно истратить деньги на такси, чтобы выгадать время на бузинес.

– На что? – Штирлиц снова оглянулся – все чисто, шоссе пустое.

---

[1] Депенде *(исп. оборот)* – зависит от чего-либо или кого-либо.

– На бузинес, – повторил шофер. – На языке «гринго» это означает «дело».

«"Бизнес", – понял Штирлиц и в который раз подумал – бедные немцы... Гитлер огородил их колючей проволокой от мира, тоже произносили иностранные слова по-написанному, вот только "бузинес" все-таки их минул, это слово было на слуху до тридцать третьего, множество американских фирмачей жило в Германии, особенно в Гамбурге и Бремене. Сколько же времени Гитлер мог бы эксплуатировать талант народа, не сломай мы ему голову? Да, немцы очень талантливая людская общность, к тому же от природы наделенная дисциплинированностью, – поди, не наработай ее в себе, как уживешься на том небольшом пространстве, которое отпущено ей историей?! Вмиг передрались бы! Да, немцы умеют работать так, как мало кто умеет, но, ведь получи они возможность лучше и больше знать, что происходит в университетах Штатов, Союза, Лондона, как бы они могли рвануть! Действительно, кого хочет наказать бог, того он лишает разума...»

Он вышел из машины в центре, возле отеля «Трес рейес», подождал, пока шофер отъедет, заглянул в лавочку, где продавали продукты, поинтересовался, как найти автобусную станцию, пришел туда («Какое счастье путешествовать без чемодана и сумки!»), посмотрел расписание, обратился к старику в широкополой черной шляпе, сидевшему с большим баулом под навесом, выставив ноги на солнце, и попросил у него совета, как лучше добраться до Санта-Фе (Кордову называть не стал. «Черт его знает, этот американка вполне может приехать сюда через двадцать минут. Господи, надо поскорее отсюда убираться!»). Выслушав его совет «взять поезд» – можно поспать и не так трясет, как в автобусе, – отправился на вокзал, благо он был всего в трех «блоках» от лавки.

«Надо запомнить, – подумал Штирлиц, – мелочь – основа основ моей профессии. Впрочем, какая у тебя сейчас профессия, нет ее. Разве понятие "беглец" можно определить профессией? Это состояние. А оно не может быть бесконечным. Стоп, – сказал он себе, – хватит! Не смей об этом. Ты в деле, им и живи! А если так, то запомни, что "блоком" здесь называют промежуток между двумя улицами; в Испании распространено "близ", "около", "наискосок"; тут же заметно американское влияние, никакой приблизительности, количество блоков – и все в порядке, только держи в памяти, не заплутаешься».

По счастью, поезд отправлялся через полчаса. Штирлиц купил билет второго класса и сел в последний вагон, к окну: отсюда виден перрон. «Если парнишка появится, я его непременно замечу. А что ты будешь делать, если он появится? Снова выскакивать и зайцем петлять по улицам? Бежать на автобусную станцию? Какая-то страшная магнитная привязанность существует между преследователем и преследуемым; среди всех сотен тысяч людей, которые спокойно ходят по улицам, лишь между ним и мною существует некая таинственная связь, возможностей наших пересечений куда как больше, чем у всех, живущих здесь. Почему так? Зачем эта дьявольская мистика, не поддающаяся объяснению? Это поддается объ-

яснению, – возразил он себе. – Ты и он думаете об одном и том же. Если бы ты заставил себя забыть о преследователе и смог жить, как все те, за кем не гонятся, ты бы пошел в кино или начал толкаться в магазинах, присматривая рождественский подарок, или же отправился в музей, – тогда возможность твоей с ним встречи была бы сведена до минимума. Но ведь ты думаешь о том, где можно затеряться или уехать, и он знает, что ты об этом думаешь. Он знает, что ты будешь стремиться на вокзал, на автобусную станцию или на пристань; он поэтому пойдет по твоим следам и вытопчет тебя, как охотник вытаптывает выводок вальдшнепов в августовском лесу. Если бы я заставил себя сесть в кафе на центральной площади, он бы не нашел меня. Он, этот парень, – егерь. А я ринулся в то место, которое подобно тому, где в лесу таится зверь, и егеря ведут сюда безошибочно. И вот я начал плавать. Это плохой симптом. Так что ж, выходить из вагона? – спросил он себя. – И отправляться на открытую веранду кафе? Заказывать стакан минеральной воды и ждать, пока мой егерь, обессилев от усталости, просчитает и эту мою мысль, сядет рядом за столиком и начнет рассказывать про свой красный кирпичный дом в Оттаве? Он, кстати, там никогда не был, я его оглушил верно. Это заставит его повертеться и не быть таким наглым. Пусть будет наглым, – сказал он себе, – только бы поскорее отошел поезд, пусть он тогда хоть сто раз нагличает!»

...Парень на перроне не появился. Поезд, провожаемый сотнями людей («Чисто испанское, – отметил он про себя, – поездка в соседнее село здесь расценивается как событие всемирно-исторического значения, будто на войну провожают или в тюрьму; каждый третий плачет. Ну что за люди, а?!»), медленно набрал скорость.

Штирлиц вытянул ноги, расслабился и сразу же уснул; спал он спокойно, без сновидений, только перед тем самым мгновением, когда открыл глаза, ему показали его дом под Бабельсбергом и ту молоденькую девочку из Саксонии, которая убирала у него и готовила ужин; какая же она была хорошенькая. («Я люблю седых мужчин, наше поколение слишком инфантильно».) «Дурашка, это же не твои слова, нельзя повторять заученное».

В Санта-Фе он приехал ночью. Город спал уже, и, хотя центр был похож на Испанию – такие же затаенные улочки, такое же подобие Пласа Майор, – людей не было, а ведь в полночь все испанские города полны народа («Кроме разве что Барселоны, – поправил себя Штирлиц, – но ведь это Каталония, ближе к Франции с ее буржуазной размеренностью и привычкой религиозно ценить время, которое следует обращать на дневное дело, а не полуночное бражничество»).

Перед тем как выйти в город, он посмотрел расписание поездов на Кордову; запретил себе запоминать время отправления экспресса на Буэнос-Айрес («семь сорок пять» – попробуй забудь, теперь это будет врублено в память навечно). «Ничего, из Кордовы тоже есть поезд в столицу. После того как я сделаю то, что мне надлежит сделать, отправлюсь туда. Хирург, который не провел до конца чистку

раны, зная, что гниль осталась еще, нарушает клятву Гиппократа; полководец, позволивший смертельному врагу оторваться от преследования и встать на отдых для переформирования, обязан быть судим как изменник; я не вправе не открыть их сеть, я знал, что она есть – тайная сеть наци, но я никогда не думал, что она может быть столь могущественной и разветвленной. И я не знаю, что мне еще удастся открыть в процессе поиска. Нам, – поправил он себя, – не мне, а нам, Роумэну и мне. Двое – не один».

В городе он остановился в пансионате «Кондор». Хозяин спал уже, позднему гостю, однако, не удивился:

– Вы из Корриентес?

– Да.

– Слава богу, теперь поезда стали ходить без опозданий, чувствуют руку сеньора президента Перона.

– Хорошая рука? – поинтересовался Штирлиц.

– Крепкая. Нам нужна именно такая рука... Нам и тем инглез, которые владеют всеми нашими железными дорогами.

– Разве дороги еще не ваши?

Хозяин покачал головой:

– Нет. Пока что они принадлежат Англии. Поэтому и был бордель: не боялись власти, имели дело только с Лондоном... Так, у вас есть паспорт, сеньор?

– Конечно.

– Заполняйте анкету.

– Обязательно? Я уеду утром.

– А ночью может прийти полиция. И составит бумагу, что я принимаю клиентов без занесения в реестр, чтобы не платить налог с прибыли. Знаете, чем это для меня кончится?

«Не надо ему давать мой американский паспорт, – подумал Штирлиц. – Я не знаю почему, но я чувствую, что этого делать не надо. Тем более Роумэн сказал, что документ вполне может быть меченым. Неужели против него играет кто-то из своих? Кто? Он боготворит Даллеса: "Его обманули, он не знал, кто такой Вольф, он не мог и предположить, что с ним говорит высший чин СС, он вел переговоры с генералом, это по-солдатски". Я не смогу его переубедить, он относится к числу тех людей, которые по-настоящему верят тем, кому верят. Наверное, поэтому он мне так симпатичен, хотя верит Даллесу, который знал, с кем он садился за стол переговоров. Жать на Роумэна бесполезно, такие люди должны убедиться сами, а любое вторжение в свою убежденность они воспринимают как нарушение личного суверенитета, нет ничего обиднее этого – возникает ощущение собственной малости и незащищенности. Впрочем, – подумал Штирлиц, – малость и незащищенность суть синонимы, неужели мир обрушивается в то, чтобы исповедовать примат силы? Но тогда человечество окажется совершенно незащищенным, ибо первыми погибнут как раз те, кто не умеет защищаться: поэты, композиторы, философы, ведь нет никого ранимее, чем они. Их субстанция приближена к женской: поначалу – чувство, потом – мысль. Ощущение несправедливости рождало строки Гарсии Лорки; новое чувство времени подвигало Пикассо к "Гернике"; атака кинематографа на слово при-

вела не к краху литературы, но к четкому покадровому выявлению мысли в строках Пастернака и Хемингуэя».

– Можно посмотреть ваши комнаты? – спросил Штирлиц.

– Если у вас нет документа, я не смогу пустить вас, сеньор, очень сожалею.

– Что делать...

– У вас неприятности с полицией?

– Нет. Просто я иностранец... Не знаю, нужно ли мне было получать визу на посещение других городов, кроме Буэнос-Айреса?

– Зачем? Зайдете в полицию, зарегистрируете свое дело или объясните, почему вы приехали сюда, – вот и все... Надеюсь, вы не «гринго»?

По тому, как он это спросил, Штирлиц понял, что говорить о зеленом паспорте с гербом Соединенных Штатов нецелесообразно.

«Отчего они так не любят их? – подумал он. – Все как один говорят об американцах "гринго", это же бранное слово, почему? Воевать с ними не воевали, люди доброжелательные, открытые, шумные, – правда, чрезмерно, – но ведь это от детства, молодая нация. Почему такая въедливая нелюбовь к Северу? А вот то, что он мне посоветовал "зарегистрировать дело", – это серьезно. Как это говорили русские преферансисты – "курочка по зернышку клюет"?» (Он несколько раз ездил в поездах вместе с русскими; был тогда в черной форме; впитывал родную речь, наблюдал за «пульками», слушал споры, вдыхал пьянящий запах черного хлеба, нет такого в мире, нигде нет, ни в одной стране; и колбасы сказочные есть, и роскошные сыры, и прекрасные вина, но нигде нет такого черного хлеба – странно!)

– Я не «гринго», – ответил Штирлиц. – Я немец.

– Изгнанник?

– Да.

– Ну, к вам в полиции относятся хорошо, если только вас не разыскивают в Нюрнберге...

– А что, я похож на такого?

– Разве сеньор Адольфо Хитлер был похож на людоеда? Вполне респектабельный человек... А в Нюрнберге рассказали про него такое, что волосы становятся дыбом.

– Вы верите тому, что там рассказывали?

– Здешние немцы говорят, что все выдумано... Но есть и такие, кто убежден, что в Нюрнберге сказали только половину правды... Здесь ведь живут и те, которые убежали от Хитлера... Тоже очень порядочные люди... У них есть свой клуб имени немецкого ученого Гёте...

– Гёте был поэт, – заметил Штирлиц и сразу же подумал, что не прав: «Поэт, если он не только сочинитель строк, но и мыслитель, обязательно являет собой новый шаг в истории цивилизации; информация, заложенная в его творчестве, сообщает миру новое качество, слово легче запомнить, чем формулу, рифму – тем более. Пушкин – зарифмованная философия девятнадцатого века, кодекс морали, прозрение и одновременно ретроспектива человеческой истории, преломленная сквозь судьбу России».

– Возможно, – согласился хозяин, – я его не знаю. А те, кто приехал сюда после войны, вступили в клуб моряков крейсера «Граф Шпее». Тоже очень хорошие люди. Но слишком громко поют песни про сеньора дона Адольфо Хитлера, когда перепьют пива... Неужели вы все пьете так много пива?

– Как один, – ответил Штирлиц и, попрощавшись, вышел из пансионата.

По тихим, совершенно безлюдным улицам он прошел по городу, задержался около одной из витрин: Дед Мороз в сомбреро держал за руку Снегурочку; кукла была черноволосая, с глазами, наведенными, как у оперной певицы, настоящая Кармен. «Любопытно, – подумал Штирлиц, – а по прошествии лет, когда мир станет еще более крошечным, а самолеты будут летать не с нынешней сумасшедшей скоростью пятьсот километров в час, а с еще большей (мысль ученого, работающего в военном конструкторском бюро над преодолением скорости, вполне может оказаться более революционной, чем бунт Лютера или утверждение Галилея; только те вошли в историю, а этот останется безымянным), что станет с людскими представлениями, объединяющими человечество? Станет ли Снегурочка, пришедшая сюда из Европы, голубоглазой, беленькой, в платьице с рюшечками или по-прежнему будет такой же черноволосой Кармен в обтягивающем платье и с шалью за спиной? Или родится какой-то новый, единый эталон для всего мира? Хорошо, – возразил он себе, – а почему Снегурочка должна обязательно стать голубоглазой блондиночкой, а не желтенькой, нежной японочкой? Потому что, – ответил он себе, – я думаю так, как привычно; это дурно; мысль не имеет права на удобство, – это от лености; конец прогресса. Пусть здешняя Снегурочка остается жгучей брюнеткой, – сказал он себе устало, – а мне бы неплохо поспать в кровати, все-таки поезд – это мучительное ожидание приезда, плохо думается; самолет в этом смысле лучше, тебя растворяет небо, предлагая свой закон, ты подвластен во время полета ему, а не земле, не только иной ритм, но даже объем тех проблем, о которых думаешь».

В пансионате «Альпараисо»[1] («Чем хуже комнаты, тем громче название. Неужели в раю могут быть такие узенькие оконца?!») хозяйка поинтересовалась, не из Испании ли сеньор: «Моя бабушка была испанка, я неравнодушна к людям с Пенинсулы, даю им скидку на пять процентов». На вопрос, требует ли она у испанцев паспорта, ответила: «Нет, конечно»; пообещала разбудить в шесть тридцать, принесла кувшин с водой: «Водопровод безумно дорог, трубы приходится покупать у проклятых "гринго". Вот вам тазик для умывания, ничего, так мылись наши родители и жили неплохо, лучше нас; согласитесь, люди живут все хуже и хуже от поколения к поколению».

– Если вы сделаете водопровод, – заметил Штирлиц, – к вам не будет отбоя от желающих, хорошо заработаете...

Женщина улыбнулась (лицо у нее было чуть опухшее от сна,

[1] Альпараисо *(исп.)* – рай.

мягкое, прелестное, Штирлиц только сейчас понял, как она мила).

– «Все, что имеешь, раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мной». Услыхав же это, человек опечалился, ибо был очень богат. Увидав его печаль, Иисус сказал: «Легче войти верблюду в ушко иглы, чем богатому войти в царство божие». И сказали услышавшие: «Кто же может быть спасен?» Он же сказал: «Невозможное людям возможно богу».

Штирлиц, вздохнув, продолжил:

– И сказал Петр: «Вот мы, оставив то, что имели, последовали за тобой». Он же сказал им: «Истинно говорю вам, что нет никого, кто, оставив дом, или жену, или братьев, или родителей, или детей ради царства божия, не получил бы во много раз больше во время сие, а в веке грядущем – жизнь вечную».

– А дальше? – сказала женщина, пропуская его в маленькую комнату.

– Вы помните?

– Конечно.

– Прочтите.

– Я больше люблю слушать. Прочтите вы, ваш язык такой испанский, такой чудный, у нашего священника такой же, я его слушаю и плачу...

– Отозвав же двенадцать, он сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и свершится все написанное чрез пророков о сыне человеческом: ибо он будет предан язычниками и подвергнется поруганию и оскорблению и оплеванию, и по бичевании убьют его, и в день третий он воскреснет...» И они ничего не поняли из этого, и слово это было сокрыто от них, и не разумели они того, что говорилось...

– Вы не священник? – спросила женщина.

– Нет.

– Я очень люблю учить наизусть... Это помогает мне заполнять документы для налоговой инспекции, все в голове, не напутаешь, а то ведь такой штраф сдерут.

– Не кощунствуйте, – мягко улыбнулся Штирлиц. – Если вы учите Евангелие для того, чтобы оперировать с банковскими счетами, бог вас накажет.

– Если бы он был по-настоящему справедлив, – тихо сказала женщина, – он бы давно наказал тех, кого надо... А они живут себе, злорадствуют и даже в церковь не ходят...

– Вы плакали сегодня? Я чем-нибудь могу вам помочь?

Женщина покачала головой:

– Спасибо, что вы это сказали... Нет, вы не можете мне помочь... Хотите кофе?

– А это не очень трудно?

– Нет, нет, я сделаю вам. Сколько положить ложек? Одну? Две?

– Если можно – две.

– Хорошо. С сахаром? Почему-то европейцы предпочитают сахарин...

– Без сахара и без сахарина, я пью горький кофе... И, если это не составит труда, пожалуйста, принесите мне несколько листков бумаги и ручку...

«Красивая и зеленоглазая ящерка, здравствуй!

Как много горя затаилось вокруг нас, бог ты мой! Каждая крыша – хранительница печалей людских. Почему мы так тщательно скрываем несчастья и столь доверчиво выставляем напоказ свою радость? Ты боишься дурного глаза? Я – очень.

Хозяйка пансионата только что принесла мне бумагу, перо и кофе, она очень мила, но не в моем вкусе. Если женщина все-таки может переступить "не в моем вкусе", то мужчине это сделать значительно труднее, пожалуй, невозможно даже, и дело тут не только в физиологии. Старый и мудрый циркач Раунбреннер из Вены говорил мне, что львицы податливы в дрессуре; глядя на них, начинают работать и львы; если же готовить номер с одними гривастыми, ничего путевого не получится, одно рычание.

Здесь очень тихо, стены дома побелены так же, как в Испании, я слышу скрип пера, и моя зыбкая тень (хозяйка зажгла свечу, экономит на электричестве) громоздится на этой беленой стене неким кряжем, выдутым ветром, – вот-вот до конца рассыплется.

Мне приятно писать тебе это письмо, потому что ты единственный человек из тех, что милы моему сердцу, кто досягаем ныне для меня. Ты заметила: я сказал ныне. Пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Я не вправе лгать тебе, каждый из нас хранит свою тайну; никогда и никто не открывает себя до конца – даже, увы, в те минуты, когда, кажется, люди растворены друг в друге.

Я пишу тебе второе письмо. Первое писал в самолете, зажатый фанерными стенками (впрочем, они задекорированы прекрасным материалом: какой-то атлас, очень красивое соседство голубого, розового и светло-зеленого; эти три цвета – в общем-то тривиальные – здесь, в небе, казались мне очень земными, а потому – прекрасными).

Мне совестно задавать тебе вопрос, но я задам его, сказав предварительно, что мое прошлое принадлежит одному мне, так же как и будущее. Я не знаю, когда оно, это будущее, настанет, – может быть, через полгода, а может быть, через три, но оно грядет, следовательно, нам с тобой может принадлежать лишь настоящее. Готова ли ты к тому, чтобы удовлетвориться настоящим? Только, пожалуйста, не торопись отвечать.

Можно обманывать врага (хотя лучше побеждать его в бою). Во время осенней охоты в горах можно обманывать кабана: шансы равны, обман можно квалифицировать как хитрость, необходимую в схватке. Нельзя обманывать детей и женщин: ничто так не взаимосвязано, как дитя и женщина. Художники создали много картин, посвященных материнству, однако никто еще не написал картины "Отцовство". Если ты читала книгу русского писателя Николаса Гоголя про истинного кабальеро Тараса Бульбу, ты должна была задуматься об отцовстве: отношение старого казака к молодому сыну совершенно отлично от отношения матери. Для нее идея, битва, мор – все на втором плане! Сначала – жизнь ее дитяти, все остальное вторично.

Если ты хочешь в этом отрезке настоящего, которое мне отпускает (или – точнее – к которому меня понуждает) жизнь, быть рядом со мной, я буду счастлив.

Но и это не все. Мои средства (аргентинский менталитет предполагает умение хорошо считать, здесь это не обидно) составляют тысячу семьсот сорок четыре доллара. Для меня это огромные деньги. Для нас с тобой это гроши. Не знаю, смогу ли я обратить твои деньги (если они у тебя есть) в дело и обеспечить тебя так, как ты к этому привыкла. Пожалуйста, извини, что я пишу тебе это, но я не могу иначе: с самого начала должно говорить правду, обозначая все исходные условия.

Мы – подданные импульсов. Более всего я боюсь, что ты, не взвесив все толком, ответишь, что готова прилететь ко мне. Жертвенность, как правило, оборачивается катастрофой. По прошествии месяцев начинается разочарование, которое чревато душевным кризом.

Я был бы законченным мерзавцем, если бы сказал, что не могу жить без тебя. Могу, зеленоглазая. Увы, могу. Жизнь приучила меня жить головою, подчиняя поступки разуму, а не эмоциям.

Я обязан сказать тебе со всей честностью, что мне нужна твоя помощь. Пожалуй, ты единственный человек, которому я здесь верю. Я не знаю почему, но верю. Ты вправе возразить: "Это же импульс, чувство, где логика?" Я соглашусь с этим. Альберт Эйнштейн, однако, начал свою теорию относительности с постулата: "Допустим, бог существует. В таком случае скорость света будет равняться..." – и пошло дело!

Я бы очень хотел, чтобы ты ответила мне – по размышлении здравом: "Мне было приятно увидеть тебя после десяти лет разлуки, но я не хочу довольствоваться настоящим, а тем более таким настоящим, в котором тебе нужна лишь моя помощь. Женщина значительно больший мечтатель, чем мужчина, она в большей мере живет надеждой на будущее, чем воспоминанием о былом; настоящее тем и ужасно, что оно быстролетно. Твое письмо слишком логично и взвешенно, чтобы я могла мечтать о чувстве".

Пожалуйста, напиши так. Не строй иллюзий. Мир жесток и сложен, каждый из нас несет в себе частицу этого мира; мы в долгу у прошлого; долги необходимо отдавать; сейчас я этим и занимаюсь. Это мужская работа – отдавать долг и доделывать то, чего не успели твои друзья. Нет ничего греховнее предательства памяти. Когда человечество забывает историю, подлинную историю, а не придуманную ленивыми неудачниками от политики, карликами, лишенными интеллигентности, тогда начинаются болото, гниение, застой. В сорок шесть лет я более чем когда-либо вижу то, что не успел доделать. Живописец, если он мастер, может создать школу. Человек моей профессии лишен возможности иметь учеников, тем более что я лишен дара слова, которым можно описать все то, что я знаю. Поэтому я обрек себя на действие. Оно всегда превалировало в моей жизни, а сейчас – тем более.

Пожалуйста, подумай, на какую муку ты себя обречешь, если ответишь согласием.

Ты обязана спросить: "Зачем ты говоришь в начале письма, что ждешь меня и что моя помощь нужна тебе, а в конце просишь отказать тебе?"

Это вполне честно. Откровенный разговор возможен только в письмах, потому что ты не видишь моих глаз, не ждешь возражения, не ищешь во мне того, что хотела бы найти. Слово должно быть выражением правды, а не лжи, тем более написанное, а не произнесенное. Чувство в слове написанном переплавляется в логику; пусть оно безжалостно, но именно в этом и сокрыто высшее милосердие слова.

И на этот твой возможный вопрос я отвечу: я пишу тебе потому, что мне больше некому написать. Я отвечу тебе: да, я понимаю, как это жестоко. Я скажу тебе: если живописец боится взять кисть, полагая, что картина, стоящая у него перед глазами, не под силу ему, тогда он не творец. Я скажу тебе: мир устал от условностей и закрытости. Хочется, наконец, – хотя бы сейчас, когда ночь лежит над тем миром, в котором я живу, – сказать правду листу белой бумаги. Мне совестно за это мое письмо, потому что я вижу в нем торг. Но я не мог его не написать, ибо в нем – надежда.

Сейчас я лягу спать, а утром решу, отправлю его или нет. Я должен прочесть его при солнце. Если я решу его отправить, то адрес, по которому ты мне ответишь, будет простым: Ричард Майр, Кордова, центральная почта, Аргентина, до востребования».

...Он проснулся за несколько минут перед тем, как хозяйка мягко постучала в его дверь:

– Сеньор, пора...

– Спасибо, – ответил он. – Вы так любезны, я бы наверняка проспал.

– Я приготовила вам кофе.

– Благодарю вас.

Он быстро умылся, прочитал письмо, лежавшее на столе, не садясь; поморщился: «Философствую, как человек, ожидающий приговора, а я ведь уже приговорен. А об этом я не написал. Это плохо. Приехав ко мне, она окажется на мушке. Как и я. За мной идет охота, я ненадолго оторвался, они найдут меня через Роумэна, они сделают все, чтобы он приехал ко мне. Или я к нему. И тогда я уже не оторвусь. Мой провал – дело времени. Нельзя это таить от себя, а уж от нее тем более».

Он посмотрел на часы: «У меня есть пять минут, никогда нельзя откладывать то, что можешь сделать сейчас».

Штирлиц присел к столу и дописал:

«Зеленоглазая моя! Я прочитал это письмо утром. В комнате много солнца, оно пронизывает маленькую комнату, и нет уже на белой стене моей зловещей тени. Ночь – время призраков, день предполагает правду. В первую очередь с самим собой. Так вот, я загнан, за мной идут по пятам, меня ищут и обязательно найдут. Увы, ты будешь бессильна помочь мне, но обречешь себя на горе. Точнее: я обреку тебя на горе. Еще точнее: тебя обрекут на горе те, кто меня ищет. Я уходил от этого, главного, прошлой ночью. Я хитрил с самим собой, я тешил себя надеждой. Так что в том настоящем, которое нам, возможно, отпущено, бог знает, сколько дней нам придется провести вместе. Боюсь, что мало...»

– Сеньор, вы опоздаете, – услышал он тихий голос хозяйки.

Штирлиц посмотрел на часы: «Время. Я допишу письмо в поезде, в конце концов можно купить вечное перо на вокзале, не обязательно брать "монблан", можно писать и обыкновенной здешней "самопиской", не может быть, чтобы здесь их не было в продаже».

Женщина ждала в маленьком холле; всего пять столиков. «Действительно, семейный пансионат. Вот бы где спокойно пожить, продумав, как поступать дальше. А что думать? – спросил он себя. – Тебе не надо думать. От Роумэна ты имеешь данные, что в Кордове работает штандартенфюрер СС Танк, автор авиационных моторов, человек Геринга; есть у тебя адрес одного из звеньев цепи: неизвестный, калле Сармьето, пятнадцать, связник Райфеля, перевалочная база в направлении на Чили. Ты имеешь еще одного человека, он инженер, работает на заводе, Хуан-Альфрид Лопес; ты должен быть там, в Кордове, и делать свое дело, которое есть продолжение того, которому ты отдал добрую треть жизни, лишившись дома, семьи, Сашеньки, сына...»

– Вы любите горячий хлеб? – спросила женщина. – Или только слегка подогретый?

– Слегка подогретый... Как это любезно, что вы встали в такую рань.

– А почему вы говорите шепотом?

– Чтобы не разбудить ваших постояльцев.

– У меня их нет.

– Почему? Прекрасный пансион, очаровательная хозяйка.

– Очаровательную хозяйку муж обвинил в неверности... А в нашей стране нет развода... И поэтому в моем пансионате мало кто теперь останавливается...

Штирлиц мягко улыбнулся:

– У человека было двое детей, и он, подойдя к первому, сказал: «Дитя мое, сегодня иди работать в винограднике». Он же ответил: «Иду, господин» – и не пошел. И подойдя ко второму сыну, человек сказал то же. И тот ответил: «Не хочу». А после раскаялся и пошел. Кто из двоих исполнил волю отца? Говорят: последний. Говорит им Иисус: «Мытари и блудницы идут впереди вас в царство небесное...»

– Это из Матфея?

– Да. Вы хорошо знаете тексты...

Женщина вздохнула:

– Ночью я сказала вам неправду. Я постоянно читаю эту книгу не для того, чтобы легче считать деньги и делать финансовые отчеты. Деньги трудно считать, когда их много, а у меня их нет... Просто одной очень страшно, особенно если нет детей...

– По-моему, трудности жизни куда страшнее, если есть дети.

– Так считают мужчины. Вы не правы. Когда есть дитя, женщина обретает силу и лишается страха.

В вагоне он зашел в туалет и письмо к Клаудии сжег, полагая, что в Кордове напишет новое; иного выхода нет; рядом с ним должна быть женщина; ничто так не легализует мужчину, как это.

«Ты сам сказал эти слова, – спросил себя Штирлиц, – или их кто-то другой произнес в тебе? Если это сказал ты, тогда тебе должно быть очень за них стыдно; цель, которую оправдывают средства, всегда оказывается бесполезной. Я должен написать Клаудии всю правду; нельзя начинать то дело, которому ты отдашь себя, с безверия. Или я решу открыться ей по-настоящему, или не напишу ни слова».

То, что он не отправил письмо Клаудии из Санта-Фе, спасло его: после того как Роумэн вылетел в Асунсьон, все его контакты (Клаудиа в том числе) были взяты под наблюдение теми или иными секретными службами: корреспонденция перлюстрировалась, телефонные разговоры прослушивались, а банковские счета подвергались самому тщательному изучению.

ДАЛЛЕС, МАКАЙР
(Нью-Йорк, декабрь сорок шестого)

Выслушав Макайра с несколько отстраненным, рассеянным интересом, Даллес, покачав головой, заметил:

– Я бы не сказал, что эта история может вас радовать, Боб. Помните строки Ли Ю? «Так много, много тысяч ли прошел за десять лет, но где я горя не видал, где не видал я бед? Чуть-чуть погреюсь у костра, и снова в дальний путь, но прежде, чем поводья взять, мне хочется вздохнуть: жалею и скорблю о том, что муки зря терплю, я наш родимый Юйгуань не отстоял в бою...» Помните?

– Да, я читал его стихи.

– Наверное, засыпаете над ними? – усмехнулся Даллес. – Ничего не попишешь: если нравится мне, должно нравиться и вам, не так ли?

Макайр хотел было возразить, но, взглянув на Даллеса, ожидавшего его ответа с улыбкой, весело рассмеялся:

– Вообще-то вы правы, Аллен. Я действительно засыпаю над этими чертовыми китайцами. Читать поэзию – удел избранных.

– Это вы хорошо заметили. Именно так: не только создавать поэзию, но и уметь ее читать – дано отнюдь не многим... Но вы запомните это имя, Боб, запомните... Ли Ю написал десять тысяч стихотворений... Вернее, написал-то он много больше, я имею в виду лишь сохраненные неблагодарными потомками... За свою поэзию он пять раз был в ссылке и восемь раз отмечен высшими наградами императора. – Даллес повторил: – У них ссылка являлась формой университетского образования, без нее поэт не поэт, а так, недоразумение... Ну, хорошо... Давайте подведем итог. Роумэна вы проиграли?

– Я бы так категорически ситуацию не определял.

Даллес недовольно поморщился:

– Вносите предложения. Определяйте сложившуюся ситуацию так, как вам представляется целесообразным ее определить...

– Я исхожу из того, что чем хуже на этом этапе, тем лучше в будущем.

– Ну, знаете ли, оставьте эту концепцию футурологам. Мы с вами реалисты... Точнее говоря, мы обязаны ими быть... Судя по всему, информация о наших связях с Геленом, которую вырвали Роумэн и Штирлиц, будет носить шоковый характер... Вы понимаете, какой подарок получат русские для своей аргументации, по испанскому вопросу в частности? Что бы вы потом ни говорили про этих людей, как бы убедительно ни доказывали наличие большевистской конспиративной сети Гаузнер – Штирлиц – Роумэн, информация о людях Гелена, работающих на вас, окажется сильнее.

– Информация только тогда становится информацией, когда ее печатают в газетах или передают по радио. В противном случае это слухи.

Даллес кивнул:

– С этим согласен, спору нет, вы правы. Держите прессу под контролем?

– Буду держать.

– Убеждены?

– Убежден.

– На случай каких-то непредвиденных поворотов имеете альтернативные предложения?

– Да, я связался с адвокатом Лаки Луччиано...

Даллес сразу же перебил:

– Меня не интересует, с кем вы связываетесь, это ваша забота, ваша, а не моя. Я присматриваюсь к вам, мне нравится ваша хватка, но порой вы видите лишь те вопросы, которые составляют тактику ближнего боя, но никак не стратегию предстоящего сражения... Не заскучаете, если я прочитаю вам маленькую лекцию?

– Аллен, для меня счастье быть с вами каждую минуту, я стольким вам обязан...

– Вы мне абсолютно ничем не обязаны, – улыбка сошла с лица Даллеса, которое сразу же сделалось безжизненной маской: глаза-льдышки; прорубленная щель узкого рта; полнейшее отсутствие. – Не следует строить наши отношения по принципу «ты – мне, я – тебе». Ваша позиция угодна сегодняшнему дню, только поэтому я поддерживаю вас. Чисто дружески, иначе не умею... Да и вообще, – лицо вновь сделалось живым, – что может бывший сотрудник разведки? Бывшие ничего не могут, кроме одного: думать на досуге и делиться кое-какими соображениями с теми, на кого они имеют определенные виды.

Макайр усмехнулся:

– Вы не рассердитесь, если я спрошу вас?

– На вопросы сердятся дураки и склеротики. А я не дурак, и врачи пока что не находят у меня признаков склероза.

– Зачем вы постоянно кокетничаете? – спросил Макайр, пугаясь собственной дерзости.

Даллес раскурил трубку, изучающе посмотрел в глаза Макайру, пыхнул ему в лицо дымом, сделав это вполне демонстративно; серые глаза его, сделавшись голубыми, потеплели из-за того, что Макайр не двинулся, сидел, как изваяние.

– Кокетничают старые женщины, Боб, – ответил Даллес после

тяжелой, выжидающей паузы, когда в глазах собеседника появилась тревожная растерянность. – Я вполне нормальный человек, поэтому кокетство для моей субстанции противоестественно. Это моя обычная манера поведения. И мышления. Я такой, Боб. И другим не буду. Я очень люблю собак, знаете ли. И беспредельно им верю. А вы, я слышал, держите дома двух сиамских кошек. Следовательно, мы в чем-то полярны. Поэтому и с вами я обязан говорить с известной долей страховки. Если вы настоящий разведчик, то и вы, в свою очередь, обязаны не верить мне, проверяя и перепроверяя каждое мое слово. Любая разведывательная комбинация есть система постоянно перемещающихся данностей... Похоже на химическую реакцию... Тут не верить надо, а следить... За приборами... Так вот, сейчас в Белом доме, – неожиданно сменив тему, продолжил Даллес, – созрела комбинация... Ее смысл сводится к следующему... Генерал Джордж Маршалл, герой войны, знающий ужасы войны не понаслышке, выносит на суд народа страны свой план мира. Согласно плану Маршалла, Соединенные Штаты готовы оказать помощь Европе в восстановлении несчастного континента. А Европа, как известно, начинается в Дублине, а заканчивается на Урале. Без нашей помощи Европе будет очень трудно подняться из пепла, согласны?

– Совершенно согласен... Но ведь Урал находится в России, Аллен.

– Вы против того, чтобы мы помогли нашему союзнику по антигитлеровской коалиции? – Даллес пожал плечами, посмотрев на собеседника с удивлением.

Макайр задумчиво заметил:

– Искусству постоянной игры, конечно, никому не дано научиться, это врожденное. Я подчас теряюсь, разговаривая с вами.

– А я этого именно и добиваюсь. Из вашего замечания я понял, что вы не одобряете желания Маршалла помочь русским в их восстановительной работе?

– Вы как ледокол, Аллен. Вы лишаете собеседника права на собственную точку зрения. Мне ничего не остается, как идти за вами – покорно, словно мусульманская женщина.

– А вы боритесь против меня, Боб. Отстаивайте себя, спорьте, иначе мне неинтересно, я не вижу в вас собеседника, мне не на ком оттачивать лезвие мысли...

– Конечно, я считаю безумием помогать русским!

Даллес убежденно возразил:

– Мир не поймет нас, если мы станем помогать Англии и Франции и не протянем дружескую и щедрую руку России. Вопрос заключается в том, чтобы сама Россия отвергла эту помощь, Боб. Мы предложили – они отказались: вопрос стоит именно так... Как этого добиться? Русские, став сверхдержавой, не примут предварительных условий. А мы должны подвигнуть Белый дом к тому, чтобы эти условия были сформулированы в высшей мере тактично и двоетолкуемо. К счастью, люди не подготовлены к государственному мышлению, мы приучили их следовать *слову тех*, кто выступает на радио, пишет в газете или снимает кино... Следовательно, нам нужно срочно, именно срочно, Боб, *вымести* из газет, с радио, из Голли-

вуда всех левых, заменив их теми, кто станет формировать общественное мнение так, как это нужно нашей демократии. Для этого-то и реанимирована комиссия по антиамериканской деятельности, для этого-то мы и подвигнули туда Маккарти: большинству американцев понятна его жизненная концепция – фермерская, традиционная, обстоятельная, чурающаяся всего иностранного... Второе... Поскольку людям нужен хлеб и зрелища, его комиссия должна ставить интересные спектакли. Американцы должны слушать его допросы левых с захватывающим интересом: красные шпионы наводнили Америку, агенты ГПУ готовят переворот и захват власти в Вашингтоне... Смешно? Ну и смейтесь на здоровье! А люди должны пугаться... Вот зачем вам был нужен «четырехугольник» Эйслер – Роумэн – Штирлиц – Гаузнер... Боюсь, что вы не успеете подготовить этот спектакль именно сейчас...

– Успею.

Даллес покачал головой:

– Нет, Боб, не успеете. Не обольщайтесь. И – как ни странно – хорошо, что вы опоздали. Порой надо идти за событиями, это иногда выгоднее, чем пытаться предвосхитить их... Не ясно? Объясняю... Конечная цель плана Маршалла, – но об этом знаете в государственном департаменте только один вы, даже заместитель секретаря до конца не посвящен в задумку, – состоит в том, чтобы, начав помогать Англии, Франции, Италии, Греции, Турции, Норвегии, мы создали новую европейскую общность, вместо потерянного из-за Рузвельта прошлого санитарного кордона, который проходил через Варшаву, Вильну, Ригу и Бухарест... Значит, надо сделать так, чтобы он проходил по Берлину, Вене, Копенгагену... А там посмотрим, что произойдет в Праге, Будапеште и Софии... Чем больше мы нагнетем ситуацию в нашей стране, чем интереснее и страшнее будет ставить свои спектакли Маккарти, тем вероятнее ответ Сталина, а он ведь дока на свои представления, вот пусть он их и режиссирует у себя дома... Мы помогли ему, начав спектакль Маккарти, будем помогать и с планом Маршалла, да и еще кое в чем. Но ведь вы заметили, что, когда я говорил о новой европейской общности, Германия не была даже упомянута мной? Полагаете, я забыл эту страну? Нет, Боб, я люблю эту страну, и я никогда ее не забуду. По прошествии года-двух мы начнем оказывать мощную и открытую экономическую помощь Германии, ее западным зонам... И – одновременно – начнем развернутое наступление на юг нашего континента. Русские будут заняты европейской проблемой. Следовательно, у нас развязаны руки на юге. Ясно? Вот тогда-то мне и понадобится тот «четырехугольник», который к тому времени, возможно, сделается «пятиугольником», – чем больше углов, тем лучше, страшный спектакль привлекает большее количество зрителей... Следовательно, конспиративная группа Роумэна – Штирлица более всего будет мне сладостна чуть позже... Так что думайте о сценарии впрок... В Голливуде скоро не останется ни одного левого, это я вам обещаю, заведите дружбу с теми, кто пишет сценарии, не грех поучиться искусству интриги, право... Не смейтесь... Вы даже не представляете себе, как я серьезно сейчас говорю... Кстати, как вы относитесь к Роумэну?

Макайр не ждал этого вопроса. Даллес умел так ломать темп и предмет разговора, что далеко не каждый выдерживал нагрузку собеседования с ним.

– Я бы не сказал, что достаточно хорошо его знаю, Аллен...

– Зря вы так, – Даллес поморщился. – Я не случайно присматриваюсь к вам. Я заинтересован в вашем будущем, научитесь быть самим собой, не бойтесь ошибиться, а пуще того – не угодить собеседнику... Постарайтесь понять: если я, лично я, убежден в вашей беспредельной преданности, то, поверьте, мне значительно более угодно, чтобы вы принимали волевые решения, не боялись брать на себя ответственность, не страшились ошибок... В пределах той линии, границы которой я оговорил с вами заранее, – жмите, разыгрывайте свое действо, чем активнее будете раскручивать м о е дело, тем больше очков наберете... Знаете, как бы я ответил на вашем месте?

– Нет.

– Хорошо, а как вам кажется, что бы я сказал на вашем месте?

Макайр вздохнул:

– Вы сотканы из парадоксов... Наверное, вы бы сказали, что Роумэн честно воевал против наци, славный парень, не очень-то ловкий, слишком прямолинеен...

Даллес снова пыхнул табачным дымом в лицо Макайра.

– Нет, я бы ответил не так... Я бы сказал, что восторгаюсь честностью и мужским благородством Роумэна... Вы бы не стали жениться на такой подруге... И я бы не стал... Не хватило бы смелости, во-первых, и, во-вторых, рыцарского отношения к женщине... А он пренебрег нашими паршивыми условностями... И правильно поступил, Боб... Он будет счастлив со своей женой... Он будет с ней так счастлив, как ни вы, ни я не были счастливы и минуты... – Даллес положил трубку рядом с пустой чашечкой, поманил официанта, попросил повторить кофе мистеру Макайру и себе, задумчиво продолжив: – Я бы ответил, Боб, что Роумэн такой человек, которого лучше держать в друзьях, чем во врагах... Он настоящий американец, он знает, чего хочет, и умеет драться против тех, кого считает нашими врагами... Он отнюдь не так прямолинеен, как вам кажется... Да, подчас он сначала поступает, а потом думает, но ведь думает же! И он совершенно лишен того, чем вас с избытком наградил бог, Боб...

Макайр долго ждал, что Даллес закончит фразу; тот, однако, молчал.

– Чего же он лишен, Аллен?

– А вы как думаете?

– Не знаю.

– Вам не очень-то идут впрок мои уроки... Я понимаю, что вы не знаете... Меня интересует, что вы думаете по этому поводу... Вы говорите так, словно человек, продающий корову на субботнем рынке, – постоянно боитесь показаться смешным.

Макайр вдруг набычился:

– Так не говорите столь покровительственно, вот я и не буду бояться!

Даллес улыбнулся:

— Теплее... Таким вы мне больше нравитесь, Боб. Только это не демократично: требовать от собеседника менять его манеру разговора. Надо самому разговаривать так, чтобы беседа шла на равных. Не сердитесь, я говорю это потому, что в будущем вам придется встречаться с людьми куда более высокими, чем бедный адвокат Даллес, смотрите, не продешевите, будьте личностью, отстаивайте самость. Кстати, это русское выражение, и оно таит в себе весьма глубокий смысл... Так чего же лишен Роумэн, по-вашему?

— Ловкости.

— Холодно.

— Пробойности.

— Еще холоднее... Он более пробойный, чем вы, потому что переживает пору любви, а это такое состояние, когда человек может сдвинуть с места Большой Каньон... Он лишен страха, Боб, вот в чем дело... А это очень опасное человеческое качество. Оно присуще либо дуракам, либо очень умным людям... Я во многом разделяю его ненависть к нацистскому подполью, Боб, очень во многом... Но, увы, лошадей нельзя перепрягать на ходу, тем более что у нас нет запасной лошади. Нацисты типа Гелена — да, да, он нацист, и не закрывайте на это глаза, он фанатик немецкой идеи, с этим и умрет, — должны, перед тем как они окончательно исчезнут с политической арены, очистить запад Германии от всех левых, уступив место разумному, угодному и управляемому нами правому центру. Вот моя стратегия. Союз России с Германией — это европейская тенденция, и она мне очень не по душе. Альянс Германии с Америкой — американская тенденция по своей сути, и меня это вполне устраивает. Мы не удержим Германию без того, чтобы Гелен сейчас не провел той работы, которую он проводит, особенно против русских. А это не может не вызвать в Кремле такое чувство недоверия к немцам, такую подозрительность по отношению к ним, что и в будущем они станут смотреть на Германию сквозь призму именно этой исторической памяти... Той, которую мы с вами сейчас создаем... И не падайте со стула, Боб, но через какое-то время я был бы не прочь разрешить русским кое-что узнать об организации Гелена — пусть еще больше шарахнутся! Именно это понудит их относиться к Аденауэру, — а мы поставили на старца — как к пугалу. Сталин, получив такого рода информацию, никогда не сядет с ним за стол переговоров, что и требовалось доказать. Сталин будет ждать левого правительства в Германии и не дождется. Парадоксально, но факт: с помощью нациста Гелена нам надо умертвить немецкий национальный дух, растворив его в нашем экономическом могуществе, вот о чем я думаю, когда представляю себе то горе, на которое вы обречете столь симпатичного мне американца по имени Пол Роумэн... Вообще-то, было бы совершенно идеально, сделай вы так, чтобы Роумэн — со всей его информацией — исчез...

— Я уже думал об этом. Увы, я был обязан рассмотреть и эту горестную возможность... Нет, нет, я не подделываюсь под вас, Аллен, мне так же, как и вам, жаль его...

— Вы с ума сошли! — Даллес рассмеялся, откинувшись на спинку высокого стула (в его клубе мебель была англиканского стиля,

очень строгая и конкретная). – Вы сошли сума! Я имею в виду исчезновение Роумэна на какой-то срок из этой страны... Пусть Маккарти ставит свой спектакль по Эйслеру и Брехту без Роумэна. Эти немцы отнюдь не агнцы, они умеют стоять так твердо, что их не свалишь, я проанализировал их поведение на допросах, крепки... Позиция, ничего не попишешь...

– Не понял.

– Вот и хорошо, что не понял, еще бы вы все во мне понимали... Словом, у вас есть над чем поразмышлять, хотя времени на раздумье осталось в обрез...

– Как вы отнесетесь к включению в наши дела синдиката? У ме...

Даллес резко оборвал Макайра:

– Повторяю, Боб, подробности – это ваша забота. За ремесло вам платят деньги. Меня совершенно не интересует, как вы будете делать, меня занимает лишь то, что вы в конце концов сделаете. Где Штирлиц?

– Не знаю. Ищем. Найдем.

– Где Роумэн?

– Под контролем.

– А его замыслы?

Макайр ответил не сразу:

– Да... В общем и целом – да. Я его чувствую.

– Чувствуют китайскую поэзию эпохи Сун. Врага надо знать... Как славно мы посидели, Боб, я всегда отдыхаю с вами душой. Расскажите, кто проиграл вчера на корте – Гиббер или Спатс?

...Столь резкий поворот в задуманной комбинации был сделан Даллесом не случайно: бывший фюрер военной экономики рейха Гуго Стиннес только что прислал ему личное и сугубо конфиденциальное письмо, в котором вносил деловое предложение, в высшей мере интересное для клана Рокфеллеров, но просил подстраховать те шаги, которые будут предприняты им по воссозданию металлургического и станкостроительного производства, примерно через год; раньше – нет смысла.

Аналитический мозг Даллеса сразу же просчитал, что именно «дело» Роумэна может оказаться самой надежной страховкой; комиссия Маккарти уже покатила, не остановишь, идет все, как задумано, Роумэн еще пригодится.

А поздно вечером, после концерта Орманди, он встретился с полковником Бэном. Тот, мучаясь, посещал все премьеры, особенно когда выступали звезды; классическую музыку терпеть не мог, обожал французских шансонье – гитара и аккордеон, музыка рассветной грусти. Однажды во время исполнения бостонским оркестром пятой симфонии Чайковского почувствовал на себе недоумевающие взгляды соседей (племянник Меллона и заместитель государственного секретаря Самнер Вэлс) и понял их недоумение спустя минуту – как обычно, гадал в кармане на удачу, ощупывая ключи: если палец ощутит цифры – сбудется; гладкая поверхность – считай дело пропащим. Ключи зве-

нели, неловко, черт побери; затаился, стал чуть заметно двигать головой в такт музыке, выражая этим сопереживание чувствам русского гения, которые столь талантливо передавал Юджин Орманди.

– Послушайте, Аллен, – сказал Бэн, – следуя вашему совету, я прокатился в Колумбию. Вы правы: мы на грани того, чтобы потерять эту страну. Там нужен спектакль, подобный тому, какой начал раскручивать Джозеф[1]. Только это позволит нам привести к власти нужных людей. Если дело оставить без внимания, левые возьмут верх на выборах, в этом нет сомнения.

И снова точный, холодный мозг Даллеса – быть бы ему математиком, сколько бы принес пользы науке! – просчитал, что Штирлиц, связанный с Роумэном, является фигурой, в высшей мере выгодной для того шоу, которое нужно тщательно отрепетировать и сыграть в самый подходящий момент.

Маккарти пригласил его к себе и дал прочитать стенограммы всех допросов Эйслера и Брехта. «Обвинение – ребенку понятно – построено на песке, – думал Даллес, – но пресса работает отменно, страсти накаляются, тем более что привлекают людей не американского происхождения, – ату их, все беды от чужих! Это съедят, такое угодно толпе! Сломать Брехта и Эйслера на Роумэне не удастся, слишком уж все шито белыми нитками. Тем не менее, судя по всему, блок Штирлиц – Роумэн оформился как данность, и это прекрасно, такое надо грохнуть в нужный момент, и ударить это должно в конечном-то счете не по кому-нибудь, а по Белому дому. То разведывательное сообщество, которое будет создано и которое он возглавит, должно заявить себя не картонной (как Эйслер или Брехт) декорацией заговора, а серьезной конспирацией, – а она вполне доказуема. Конечно, Макайром потом придется пожертвовать, но без того, чтобы посвятить его в проблему, дела не сделаешь. В конечном счете он вполне вписывается в возможную схему дела: Роумэн – Макайр – нацисты – Штирлиц. Почему нет? Можно и нужно вспомнить того гитлеровского агента, которого Макайр пустил в Штаты; пусть докажет, что это не случайность; поначалу важно облить грязью, пусть потом отмывается. Как раз Макайр станет говорить – во время шоу – то, что ему напишут в сценарии, его так или иначе погубит жадность. Он и труслив оттого, что жаден. Гувер не зря познакомил меня с записью бесед Макайра с женой, когда они планировали покупки; ужасно; совершенно бабий характер. Интересно, отчего мужчины с рыцарскими, словно бы рублеными лицами так женственны? Все-таки природа справедлива: одно компенсируется другим... За деньги и обещание оправдательного вердикта Макайр скажет в комиссии все, что будет соответствовать необходимости того момента, который настанет. Полковник Бэн внесет на его счет деньги, нет проблем... Роумэн с его округлой, детской физиономией – несмотря на седину, в нем много детского, как это прекрасно, действительно, отменный человек, – истинный мужчина, а Макайр наделен женским характером, поэтому так осторожничает в разговоре, а ведь лицо голливудского супермена...

[1] Джозеф – имеется в виду Маккарти.

А ты, – спросил себя Даллес, – ты с твоей внешностью профессора-сухаря, каков твой характер?»

Ему стало неприятно отвечать на этот вопрос, и, открыв шкаф, он достал потрепанный томик китайской поэзии; любопытно, конкретика эйслеровских песен во многом идет от китайцев: при всей внешней мягкости – жесткая твердость духа и абсолютная последовательность позиции.

Укрывшись пледом, – Даллес обычно спал у себя в кабинете, на низкой тахте, возле книжного шкафа с наиболее любимыми книгами, – он вдруг ощутил острое, как в детстве, чувство счастья: какое же это высокое и тайное блаженство – конструировать мир, оставаясь при этом в тени! «Юноши завидуют кинозвездам, появляющимся на экране. Глупые, завидовать надо режиссеру, которого никто не видит, но он так строит мизансцену, что будущая лента – а ведь это новый мир – делается подвластной ему, и зрители начинают играть в этот выдуманный мир, подражать героям и делать то, что было угодно тому, кто придумал слово и коллизию...»

...Впервые он ощутил подобное счастье, когда ушел Рузвельт. Через семь дней после похорон тот, кто был с ним в деле, дал прочесть запись беседы министра финансов Моргентау с президентом. Будучи другом и старым соратником, Моргентау был приглашен Рузвельтом в коттедж, куда он уехал на каникулы из Белого дома: «Двадцатого апреля я отправлюсь из Вашингтона в Сан-Франциско, Генри, чтобы выступить на церемонии создания Организации Объединенных Наций. В три часа дня появлюсь на сцене и скажу то, что должен сказать, а первого мая вернусь в Гайд-парк». «Мистер президент, – как обычно, гнул свое Моргентау, – ситуация с Германией чрезвычайно сложна, вопрос стоит крайне остро... Я хочу успеть сделать книгу по Германии, одна из глав которой должна быть посвящена тому, как шестьдесят миллионов немцев сами, без чьей-либо помощи, должны прокормить себя... Как страстно я сражался за наше вступление в войну против наци, так же страстно я намерен сражаться за то, чтобы земля получила мир, а Германия никогда впредь не смогла развязать новую бойню». «Генри, – ответил президент, – я поддерживаю вас на сто процентов». «Тогда вы должны быть готовы к тому, что у меня появится множество новых врагов, причем весьма могущественных, из числа наших реакционеров с юга». «Я понимаю». «Очень многие в этой стране предпримут все возможное, чтобы сорвать мой план по Германии. Уверяю вас, они сделают все возможное, чтобы не допустить работы Рура на Англию, Францию и Бельгию. Они захотят вернуть его Германии, чтобы та вновь начала строить пушки. Уверяю вас, они предпримут все, чтобы сорвать мое предложение о разрушении всех без исключения военных заводов Германии. Наши реакционеры слишком тесно связаны с германской промышленностью, чтобы разрешить моему плану сделаться фактом истории». «Но мы с ними поборемся, Генри, – улыбнулся президент, – у нас есть силы, чтобы одолеть одержимых». «Мистер президент, правая болезнь в Штатах загнана вглубь, но не уничтожена. Очаги гниения существуют, они пока что сокрыты от наших глаз, но они невероятно злокачественны. Я не убежден, что

эти люди согласятся заставить Германию выплатить двадцать миллиардов контрибуции, они заинтересованы в том, чтобы Германия снова сделалась могущественной промышленной державой правого толка». «Не позволим, – ответил президент, – не позволим, Генри».

Рузвельт был весел, спокоен, улыбчив, много шутил с дамами, которые были приглашены им на ужин...

Следующим утром он умер.

...Даллес усмехнулся чему-то – жестко, сухо усмехнулся – и почувствовал, какие у него сейчас глаза. Ему нравилось, когда дочь Тосканини, единственная женщина, которую он любил, говорила: «Моя льдышечка». «Они у меня сейчас серо-ледяные, – подумал Даллес, – они особенно хороши, когда я ношу очки, стекла увеличивают их, они доминируют в лице, а это прекрасно, когда лицо человека определяют глаза...»

Даллес помнил, с какой методической жестокостью Трумэн – с подачи правых – уничтожил Моргентау: тот был вынужден уйти в отставку уже в июне, еще до Потсдама. «Все, конец "жесткому курсу" против Германии; не суйся, Моргентау! Ты был нужен безногому идеалисту, но ты совсем не нужен нам, суетливый еврей! Не замахивайся на то, в чем не смыслишь! Дело есть дело, оно диктует свои неумолимые законы, каждый, кто попробует стать против них, – обречен на уничтожение...»

Открыв многое, Даллес, тем не менее, не говорил и не мог сказать Макайру главного: работа комиссии по расследованию антиамериканской деятельности была последним и самым решающим залпом, задуманным им и его командой, по Рузвельту и его политике. «Тот же Моргентау посмел сказать, что коммунизм в Америку не был занесен извне, но родился как чисто американское рабочее движение, возмущенное безумием финансовой олигархии, ростом безработицы и инфляцией. Ишь! Маккарти докажет, как дважды два, что коммунизм сюда принесли русские и только русские – насильственно и коварно. Придет время, и он же докажет, что безработицу провоцировал Кремль, инфляция – работа специального отдела ГПУ, кому она выгодна, как не Москве?!»

Даллес знал, что Моргентау, уже обреченный на уход, третируемый Трумэном и его командой, сказал министру иностранных дел Франции Бидо: «Меня очень беспокоит работа нашей комиссии по главным немецким военным преступникам... Наша странная медлительность позволит СС и гестапо организованно закончить перевод своих членов в глубоко законспирированное подполье... Я говорю вам об этом лишь потому, что вижу главную цель своей жизни в том, чтобы дать Европе сто лет мира – хотя бы...»

Моргентау сказал об этом Бидо сразу же после разговора с Трумэном. Президент поморщился, когда Моргентау, формально остававшийся еще членом его кабинета, сказал ему об этом же; ответил: «Не надо драматизировать события, зачем вы уподобляетесь англичанам, которые алчут крови немцев? Даже Сталин согласился с тем, что к суду над ними следует основательно подготовиться».

Даллес был о б я з а н узнать об этом, потому что именно в эти дни он привез в Вашингтон генерала Гелена и держал его на конспиратив-

ной квартире, дав инструкцию охране, чтобы гостя возили в Пентагон в машине со специальными зеленоватыми стеклами типа «я тебя вижу, ты меня – нет». Если бы Моргентау тогда прослышал об этом, как бы взвилась рузвельтовская команда, какой бы она подняла гвалт!

После того как Даллесу сообщили об этих словах Моргентау, он сделал так, что переговоры с Геленом проводились не в здании, а в маленьком коттедже. Ни один человек, кроме посвященных, не имел права знать о его, Даллеса, плане. «Эта сенсация может оказаться подарком для одержимых левых; нужно время, чтобы вымести их на свалку; постепенность, да здравствует постепенность!»

Даллес вдруг резко поднялся с кушетки, не надевая стареньких, разношенных шлепок, подошел к столу, включил свет, записал на листочке бумаги: «А что, если подвести Роумэна к Моргентау? Или к Гарри Гопкинсу?! К Генри Уоллесу?! Сейчас мы бьем Рузвельта косвенно, и Маккарти делает это вполне квалифицированно. А что, если моя организация, которая будет называться Центральным разведывательным управлением, одним из своих первых и коронных дел раскрутит конспирацию, в основании которой будет не кто-нибудь, а Моргентау, наиболее доверенный человек Рузвельта?! Если Макайр не позволит Роумэну сделать задуманное им, бедному парню будет просто некуда идти, кроме как к тем, кто был с Рузвельтом».

Он не умел думать, не записав поначалу мысль на листочке, лишь тогда это врубалось в мозг навечно; сжег бумажку, подошел к шкафу, достал томик китайской поэзии, раскрыл наугад страницу (больше всего верил именно такому гаданию), зажмурившись, ткнул пальцем в строку, открыл глаза, прочитал: «Холодный ливень хлещет день и ночь, в реке Жаньхэ теченье трупы гонит». Странно, не поддается толкованию! Прочти он этот абзац во времена Рузвельта, ждала бы бессонная ночь, очень страшно; посмотрел, чем кончалось стихотворение: «Там некому ослабшему помочь, умершего никто не похоронит, я, девушка, обижена судьбой, мне, сироте, найти ли утешенье? О небеса, взываю к вам с мольбой: возьмите жизнь – и дайте избавленье!»

«Странно, – подумал Даллес; он любил гадания, верил им, порой сам разбрасывал на себя карты, больше всего боялся, когда выпадал пиковый валет и десятка – к смерти; очень любил шестерку бубен – веселая дорога; радовался, когда выпадали четыре туза – исполнение всех желаний. – Эти строки нельзя проецировать на себя, – сказал он себе, – они вполне толкуемы как возможное будущее тех, кто стоит на моем пути; это – к успеху моего предприятия; смерть другого – твой лишний шанс». Самым счастливым предзнаменованием он считал встречу с похоронной процессией; впервые поверив в это, несколько даже пугаясь самого себя, подумал: «Неужели я смею считать, что уход любого человека угоден мне? Минула меня чаша сия, спасибо тебе, боже! Какая безнравственность, это чуждо мне, нельзя так, грех!»

ШТИРЛИЦ (Кордова, декабрь сорок шестого)

Доктор Хосе Оренья жил неподалеку от церкви Ла Компанья в

старой части Кордовы; в маленьком домике он занимал две комнаты; каждая имела свой выход в патио – мавританский дворик. Великую культуру арабов, изгнанных испанцами с Пиренейского полуострова, принесли за океан те же испанцы. Если допустить, что земля действительно будет пребывать вовеки, смогут ли ученые будущего объяснить этот парадокс?

Если не выходить на улицу, то казалось, что находишься в деревне, так здесь было тихо, особенно в вечерние часы, когда на улицах заканчивалось движение автобусов.

Именно у него Штирлиц и снял комнату: кровать (типично испанская, низкая, широкая, красного дерева), маленький письменный стол, кресло, обтянутое красным плюшем, этажерка с книгами по истории латиноамериканской литературы, шкаф красного дерева для белья и прекрасные гравюры Гойи из цикла «Тавромахия».

Штирлиц узнал доктора случайно. Впрочем, эта кажущаяся случайность была следствием закономерности, ибо, приехав в Кордову, проверившись (скорее по укоренившейся привычке, чем предполагая, что слежка уже настигла его), он купил в киоске кипу газет, старых в том числе, и начал неторопливо, полосу за полосой, изучать их. Без серьезной работы с прессой нельзя предпринимать ни единого шага; сначала следует проштудировать полосы с объявлениями: там можно найти наиболее подходящий вариант жилья. В отеле останавливаться не стоит, в пансионате тоже; увы, слишком мало встречается хозяек, которые ищут утешение в текстах писания, большинство исповедуется в полиции – надежнее.

В газетах сообщалось о том, как много внимания президент Перон уделяет военно-воздушным силам республики; говорилось, что экономическая делегация Аргентины во главе с генеральным секретарем министерства коммерции и индустрии Роландо Лагомарсино прибыла в Рио для переговоров о сотрудничестве; «совершенно надежные источники» сообщали о тайных контактах в Париже между советским послом Богомоловым и испанским – Хосе Антонио де Сангрониц об «установлении дипломатических отношений»; приводились сообщения с фронтов гражданской войны в Греции – громадная шапка на всю полосу: «Войска Великобритании начали интервенцию в Афины»; печаталась информация из Египта о предстоящих переговорах между Каиром и Лондоном об эвакуации британских войск, – «в противном случае возникнет угроза войны»; из Питтсбурга, США, передавали об аресте лидера независимых профсоюзов Джорджа Мюллера; приводились выдержки из речи Генерального секретаря ООН Трюгве Ли в Оттаве на заседании Всемирной организации труда; сообщалось, что один из лидеров британской консервативной оппозиции Антони Иден выступил в Лондоне с комментарием о недавнем заявлении генералиссимуса Сталина: «Выступление русского лидера дает прекрасную возможность Западу начать серьезные переговоры с Москвой по поводу преодоления разногласий между членами ООН»; сообщалось также, что новый министр торговли США Аверелл Гарриман прокомментировал выступление Сталина в том смысле, что с Россией надо вести переговоры, «новая война просто-напросто невозможна»; на этой же полосе го-

ворилось о наращивании военно-морского присутствия Северной Америки в Тихом океане; петитом давалось сообщение из Рио: «Лидер коммунистов Бразилии сенатор Луис Карлос Престес заявил, что в районах Белен и Наталь расположены военные базы США; бразильский представитель в ООН сеньор Педро Жао Велосо отверг это утверждение, заявив в Совете Безопасности, что на территории Бразилии нет ни одного солдата янки»; широко комментировалось сообщение о битве «советского блока» за то, чтобы Эритрея была эфиопской; «русские выступают против колониализма, несмотря на оппозицию британского и американского представителей»; сообщалось о продолжающейся дискуссии в палате депутатов Аргентины, вопросу о допустимости открытия в Буэнос-Айресе русского посольства, ряд правых депутатов по-прежнему выступает против; семьюдесятью одним голосом против семнадцати палата депутатов выступила в поддержку Гватемалы, которая начала борьбу против Британии за возвращение ей Белиса, который был оккупирован англичанами начиная с тысяча семьсот восемьдесят третьего года; сообщалось о дискуссиях в сенате Буэнос-Айреса, прежде всего о благоустройстве итальянского района Палермо; решались проблемы новых очередей метрополитена; много говорилось об исключительной власти «Подер Экзекутива»[1] и его взаимоотношениях с районными легислатурами; осторожно критиковался Центральный банк Республики; в рисунках Сусаны Ликар рекламировались коротенькие юбочки; всячески нахваливались вина марки «Того»; мебельная фирма «Сагатти» сообщала о дешевой распродаже гарнитуров (гостиная — триста девяносто песо, спальня и кабинет — девятьсот двадцать); писали о первой в истории Аргентины выставке аэронавтики, организованной министерством авиации; сообщалось, что отныне кооперативы (Штирлиц не сразу понял, что именно так портеньяс[2] называют маленькие автобусы) будут ходить восемнадцать часов в сутки; давали фотографию с церемонии подписания договора между министром труда и призрения доном Хосе Мария Фрейре и руководством североамериканской компании «Стандард электрик»; приводилось расписание прямых рейсов теплоходов в Швецию, Англию, Бельгию, Норвегию, Голландию; рекомендовался итальянский лайнер «Андреа Гритти»; приглашали посетить гала-представление «Та-Ба-Рис», поставленное Викторио Карабатто при участии звезды испанской эстрады Лассо Д'Аргаса, танцовщицы «новых ритмов тропиков» Альба дель Ромераль и исполнительницы новых песен Вирджинии Лэй; давался репортаж о «братском сотрудничестве рабочих и предпринимателей» районов Тигре и Оливос; светская хроника о встрече представителей синдикатов с Эвитой Перон печаталась под громадной шапкой: «Рабочие не хотят ничего другого, кроме надежды на народный социализм!»; чаще всего встречались имена Перона, сеньоры Эвиты Дуарте де Перон и военного губернатора провинции Буэнос-Айрес полковника Мерканте; взрослых зрителей приглашали в кинотеатр «Альвеар» на фильм о сексуальных преступлениях;

[1] «Подер Экзекутива» *(исп.)* — орган исполнительной власти, созданный Пероном.

[2] Портеньяс *(исп.)* — жители Буэнос-Айреса.

рекламировалась картина «Мечты матери» с Мэри Андерсон в главной роли; в театре «Астраль» шла премьера музыкального спектакля Шандора, Гуррачаги и Портера «Пенелопа», в кинотеатрах «Американ», «Аризона», «Атлантик», «Каталунья», «Эклэр», «Гран Сине Трокадеро», «Либертадор», «Версаль», «Сан Тельмо» гремела лента «Ночь романтики»; сообщалось, что на скачках призы принесли Побретон под руководством жокея Мернье и Проекто под управлением Батисты; футбольный клуб «Нуэва Чикаго» со счетом три – два победил «Барракас сентраль».

В отделе объявлений среди множества текстов Штирлиц остановился на одном: «Доктор Хосе Оренья, профессор филологии и истории в отставке, ищет компаньона не моложе шестидесяти лет; предоставляет комнату со всеми удобствами за весьма умеренную плату; от компаньона требуются эрудиция и желание познать судьбу континента».

«Что касается эрудиции, не знаю, – подумал Штирлиц, – а вот желания познать континент хоть отбавляй, тем более после знакомства с газетами: в стране сотни тысяч немцев, приехавших сюда после разгрома Гитлера; Роумэн считает, что в Кордове существует законспирированный центр бывших наци, но ни в одной полосе, среди тысяч сообщений, ни одного упоминания немецкой фамилии; трудно приходится цензорам, глаз да глаз...»

...Дон Хосе Оренья оказался очень высоким седоглавым стариком; впрочем, назвать его «стариком» можно было, лишь узнав, что профессору семьдесят девять лет; лицо без морщин, ясные голубые глаза, крепкое тело, великолепная осанка – больше пятидесяти не дашь, мужчина в расцвете сил.

– Почему вы первым делом назвали свой возраст? – поинтересовался Штирлиц, представившись.

– Потому что мне нравится эпатировать собеседников, че[1]. Здоровая старость – форма эпатажа. Мечтаю лишь о том, чтобы умереть здоровым: пусть сердце остановится во сне, упаси всевышний от болезней... Меня несколько смущает ваша национальность, дон Макс... Позвольте и я, в свою очередь, задам вопрос: почему вы – с вашим-то испанским – представились мне «гринго»?

– Вам нужен компаньон... Начинать компаньонство со лжи? И потом я хочу познать судьбу континента, действительно хочу... Очень не любите американцев?

– Каждому в отдельности – симпатизирую, милые, доверчивые дети, а всех вместе – боюсь. Какая-то слепая устремленность дела, сплошная духовная бронированность... Что вас привело в Кордову, че?

– Я же сказал: желание познать судьбу континента... Я филолог, моя специальность – немецкий и испанский языки, чуть-чуть понимаю по-польски...

– Здесь неподалеку живет поляк, дон Эухенио Запаньский, вполне милый человек...

– Кто по профессии?

[1] Че *(аргент. жаргон)* – человек, парень.

– Ассенизатор. Прибыльное дело, в дерьме он открыл золотое дно... Где учили немецкий?

– В Берлинском университете.

– Очень престижно. Кстати, университет в Кордове тоже был открыт в семнадцатом веке, великолепная библиотека, удивительный архив, совершенно не проработанный. Там есть целая подборка: «Немцы в Аргентине», однако никому ни до чего нет дела, только бизнес, вернее, его зыбкая тень, погоня за иллюзией. Женаты?

– Нет.

– И никогда не были?

– Нет.

– Значит, как и я, лишены счастья отцовства, че?

– Да, – чуть поколебавшись, ответил Штирлиц. – Лишен.

– Но у вас были дети? Просто вы их мало видели?

– Вы меня верно поняли.

– Вам неприятно об этом говорить, дон Макс?

– Горько.

– Сколько вам лет?

– Сорок шесть, дон Хосе.

– Выглядите значительно старше.

– Зато умру здоровым.

– Постучите по дереву, че.

Штирлиц прикоснулся к старинному столу, побарабанил по нему пальцами:

– Ничто так легко не угадывается, как возраст дерева.

– Возраст моды, – поправил профессор. – Дерево старше моды. Этот стол начала девятнадцатого века, но дерево, я полагаю, вылеживалось лет двадцать, лучшая чилийская порода... Кстати, искусство мебельного производства здесь налаживали швейцарские и немецкие иммигранты... В Кордове живет дон Клаус Манрат, потомок первых иммигрантов из Швабии, лучший краснодеревщик континента...

Штирлиц кивнул, поинтересовался:

– Вы что предпочитаете в компаньоне: слушателя или развлекателя?

– Конечно, слушателя, – улыбнулся, наконец, Оренья. – Где вы встречали старика, лишенного лихорадочного желания научить человечество уму-разуму? Сколько сможете платить за комнату?

– Я бы не сказал, что я состоятельный «гринго», – ответил Штирлиц. – Чем меньше, тем, конечно, лучше...

– Скажем, сто пятьдесят песо в месяц. Это вас устроит? Еду будем готовить попеременно, через день. Рыба крайне дорога, не обещаю, а мясо у нас самое дешевое в мире, на доллар можно купить килограмм, всего в два раза дороже батона. Мясо, зелень, хлеб и вино. Устраивает, дон Макс?

– Еще как, дон Хосе!

– Идите осматривайте свою комнату, полагаю, она вам понравится. Но прекраснее всего мое патио, здесь так прекрасно под солнцем, тишина и пахнет спелым виноградом – даже весной. Если вас станут убеждать, что виноград не имеет запаха, – не верьте, чушь и нежелание видеть окрест себя прекрасное.

– Запах ощущают, профессор.

– Неверно. Ассоциативно вы видите громадную, светящуюся изнутри желто-зеленую гроздь, угадывая на плодах капли дождя, они подобны следам от слез на щеках загорелого карапуза, потерявшего мячик...

– Как вы прекрасно сказали... Это строка из хорошей поэзии...

– О, че, если б я обладал поэтическим даром! Каждый латиноамериканец считает себя поэтом, и это главное заблуждение наших народов. Поэзия – удел избранников, сладостная трагедия индивида.

– Я обязательно должен зарегистрироваться в полиции? – спросил Штирлиц.

– Зачем? – Профессор пожал плечами. – Если вы не контрабандист, живите себе на здоровье, нет большей гнусности, чем общение с людьми в мундирах...

Назавтра Штирлиц отправился в библиотеку университета, передал хранителю архива дону Эрнандесу записку от профессора Оренья, получил запыленные папки с документами, посвященными немцам в Аргентине, и погрузился, наконец, в свое привычное, давно, впрочем, забытое состояние: прикосновение к листам бумаги, испещренным словами, таящими в себе правду и ложь – одновременно, ибо в каждом факте сосуществует истина и фантазия, расхожее мнение и свидетельство очевидца.

В документации, подобранной, как показалось Штирлицу, весьма квалифицированно, утверждалось – со ссылкой на секретные архивы португальского двора, – что в команде Магеллана было много немцев, среди которых выделялись Ганс Варгу (в корабельном журнале его называли «мастер Ансе»; был командиром артиллерии на шхуне «Консепсьон») и помощник капитана на «Виктории» Йорг. В сноске, написанной готикой, не подтвержденной ссылкой на источники, подчеркивалось, что именно немец и воскликнул ту знаменитую фразу, которая определила открытие Нового Света: «Монте виде!» – что значит: «Вижу гору!» Отсюда – «Монтевидео», столица Уругвая; обозначено немцем, им сюда и дорога!

Особенно много страниц – в связи с экспедициями в Южную Америку – было уделено перечислению блюд в аристократическом дворе Нюрнберга: «Впервые в Европе именно здесь в середине шестнадцатого века (1519-1525 годы) мы находим первое упоминание об американском "перце", "форели с шафраном", "южных пряностях". Уже с конца пятнадцатого века немецкие купцы из Равенсбурга Фуггер и Вельсер начали широкие торговые связи с Испанией и Португалией. Якоб Фуггер вкладывал деньги в горные предприятия Тироля, Венгрии, снабжал золотыми монетами папскую курию; именно он финансировал избрание на императорский трон Карла Пятого (это стоило ему семь миллионов золотых франков), именно он первым в Европе, утверждалось в документе, начал последовательную южноамериканскую экономическую политику, именно ему принадлежит концепция колониальной торговли с вновь открытым континентом.

Несмотря на то, что экспедиция в направлении Моллукских островов, которую финансировали Фуггер и Вельсер, кончилась неудачей и Вельсер, не пережив катастрофы, умер, племянник Антон продолжил дело Фуггера вместе с испанцами; благодаря ему первый немец Ганс Брунбергер достиг берегов Аргентины и основал здесь первую немецкую семью, – и было это в 1526 году! Именно Антон Фуггер был первым европейцем, который начал освоение индейского континента – от Чинчи в Перу до Магелланова пролива и Чили. Трудно сказать, почему он расстался с конкистадором Писсаро в 1531 году; может быть, не обладал столь железными нервами, как его покойный дядя? Это вполне можно допустить, если пристально вглядеться в те его портреты, что сделаны Гольбейном и Гансом Малером, – размытость форм рта вполне предполагала в нем мягкость, невозможную для настоящего политика, посвятившего себя открытию для нации нового, совершенно еще не обжитого континента. Антон избрал свой путь: он принял участие в открытии как Патагонии, так и Пампы: "Пусть другие ищут Серебряные Горы; я хочу найти всего лишь плодородные земли". Прекрасная мысль, которую надо было подтвердить твердостью; увы, это ему не было суждено свершить.

В экспедиции дона Педро Мендосы по реке Ла Плата приняли участие уже восемьдесят немцев. Каждому понятно, что так называемые "австрийцы" и "нидерландцы", упоминаемые в летописях, на самом деле были саксонцами и выходцами из Бремена».

Это замечание насторожило Штирлица, пахнуло той «немецкостью», которую так пропагандировали в рейхе.

«...Нужно всегда помнить, что одним из создателей столицы Буэнос-Айреса был сын бургомистра Штраубингера – двадцатипятилетний Утц Шмидль. Прибыл он туда на корабле, который был построен и оснащен на деньги банкира из Аугсбурга г-на Себастиана Нейтара. (Попытки представить его "французом Нейтаром" являются – что очевидно каждому непредубежденному исследователю – попытками враждебной историографической науки принизить величие нации немцев и скорее всего принадлежат перу тех "историков", чья работа финансировалась евреями.) Именно ариец Шмидль первым построил европейский дом в Мендосе и поставил ограду вокруг европейского кладбища в Буэнос-Айресе – на месте нынешнего парка Лесама.

Но мы не вправе закрывать глаза на ошибку, допущенную Шмидлем и его товарищами, когда они совершили неподготовленную экспедицию против индейцев. В отместку город был осажден, жители съели всех кошек и собак, потом стали поедать трупы... Тем не менее после снятия осады немцы поднялись по Паране и основали первую христианскую обитель "Нуэва Эсперанса". Затем Шмидль принял участие в экспедиции в Парагвай и участвовал в сражении против гуарани, когда две тысячи индейцев погибли, убив при этом всего девятнадцать испанцев; ни один немец из тех, что несли цивилизацию в глубь континента, не пострадал».

...Штирлиц оторвался от рукописи. «Ишь, – подумал он, – а ведь это настоящая программа принадлежности Латинской Америки – особенно Аргентины, Чили, Перу и Парагвая – немцам; чувствуется рука экспертов Геббельса; его научные консультанты проводили дни и ночи в совещаниях с людьми Альфреда Розенберга и Гиммлера, которые разрабатывали эталон а р и й ц а. Много хлопот было с итальянцами, никак не укладывались в утвержденное представление о сверхчеловеке, – иная форма черепа, оттопыренные уши, нечто, пугающе похожее на семитов; надо было обосновать то, что с точки зрения науки обосновать невозможно. Но что такое наука в условиях тоталитарной диктатуры, базировавшейся на расовой теории?! Как угодно, любым путем – все допустимо – следует доказать дикость славян, их о к р а и н н о с т ь, темноту, неспособность сказать свое слово в литературе, музыке, живописи; варвары, раскосые скифы; евреи еще хуже, паразиты на теле мировой культуры и науки: все эти Канты, Спинозы, Эйнштейны на самом деле "шаманы" и "трясуны", не говоря уже о Корбюзье и ему подобных. Французы дали миру легковесность, их литература порочна и рассчитана на слабых мужчин; что касается англичан, то надо еще решить меру влияния саксов на их менталитет. Примат немцев во всем и везде! Всякий гений – если проследить его генеалогию – так или иначе несет в себе великое таинство немецкой крови! Швеция и Норвегия – просто-напросто о т в а л и в ш и е с я районы великогерманской империи, не говоря уже о Нидерландах. Главное – заявить право собственности на страну, народ, личность; доказательства найдутся позже; действие, прежде всего действие, мотивировка его необходимости будет придумана в министерстве рейхспропаганды! Эк ведь куда копают, – подумал Штирлиц, – как обосновывают историей право на будущее! Так вот почему такое массовое бегство нацистов именно сюда, в Латинскую Америку! Земля обетованная, открытая немцами, – вот в чем дело!»

«Район Ла Плата, – Штирлиц продолжил чтение материала, – не может считаться иной землей, кроме как европейской; любая другая теория есть надругательство над историей; столкновение нового и старого всегда конфликтно, но угодно прогрессу. немцы должны были прийти на дикие земли индейцев и придать испанским конкистадорам необходимую созидательную дисциплину. Они сполна выполнили свой долг перед человечеством. Не будем забывать, что еще до Америго Веспуччи именно немцы Матиас Рингман и географ Мартин Вальдзеемюллер уже сказали свое слово, нанеся на географические карты контуры новых земель!

Именно немецкие, а не какие-либо другие, миссионеры-иезуиты первыми прибыли в Буэнос-Айрес, чтобы начать оттуда свой просветительский путь по таинственному континенту; в Буэнос-Айресе поначалу было десять тысяч жителей; множество из них являлись немцами, именно этот фактор придал динамику градостроительству; становление города проходило в острой, хотя и не всегда заметной борьбе с испанскими грандами, которые категорически запрещали жителям города торговать как с Бразилией, так и с неиспаноговорящей Европой. Несмотря на это, "фламандцы" (на самом

деле немцы) Лука и Александр Конрад все же смогли получить у досточтимого испанского губернатора Эрнандариаса разрешение на постановку мельницы; осознав, что испанцы чинят препятствие немецкому созидательному духу, немецкие миссионеры-иезуиты внесли далеко еще не оцененную лепту в окультуривание вновь открытых земель. Одним из наших первых миссионеров был патер Зепп; он прошел сельву, населенную индейцами гуарани, вплоть до Боливии, поставил тридцать иезуитских миссий и открыл в Буэнос-Айресе церковь Нуэстра Сеньора дель Пилар. Именно он, Антон Зепп, открыл здесь школы, детские сады, музыкальные училища, именно он издал прекрасную книгу о природе Парагвая.

Столь же громадный вклад в колонизацию этого региона, который столь многим обязан немцам, нашей культуре, созидательному таланту и врожденной настойчивости, внес патер Флориан Бауке из Силезии. Рожденный в Винциге, район Воллау, он принес с собою в Латинскую Америку научные знания; при этом очевидцы говорят о нем как об одном из самых веселых людей, которых им когда-либо приходилось встречать в жизни. Он начал свой путь по югу Америки из Колониа Санктиссими Сакраменти (ныне город Колониа). Он был первым миссионером, пришедшим из Буэнос-Айреса в Кордову; оттуда он отправился в Санта-Фе. Здесь и в других миссиях он сразу же организовывал хоры; его флейты, скрипки и арфы пошли отсюда по всему континенту. Когда в Сан Ксавьере его посетил брат по ордену австрийский патер Брингель, он во всеуслышание заявил: "Вы настоящий пруссак, ибо сделали не меньше, чем ваш единокровец Фридрих Великий". А как много принес обитателям этих земель, обжитых немцами, патер Мартин Добрицхофер! Вся Парана знала этого благороднейшего человека, прожившего там с 1726 по 1769 год! Из Буэнос-Айреса в Парагвай – только в один Парагвай! – отправилось более ста отцов-иезуитов. Баварец Иозеф Шмидт, Иоханес Краус из Пильзеня, Карл Франк из Инсбрука, Иохан Неуман из Вены... Патер Сигизмунд Апрегер произнес вещие слова: "Если бы не было немецких миссионеров, не было бы ни Аргентины, ни Парагвая, ни Чили с Боливией!" Воистину так! В семнадцатом веке Ла Плата имела сто семьдесят тысяч жителей, тогда как Лондон в это же время (пора Елизаветы) насчитывал всего сто пятьдесят две тысячи обитателей! Именно в пору расцвета этого района туда и прибыл Захариас Хелмс, и было это уже в 1789 году: "В то время как испанцы давят на индейцев, мы, немцы, должны предпринять все, чтобы наладить с ними добрые отношения, развивая торговлю и обучая их ремеслу!" И – сразу же отправился в Кордову, где тогда жило полторы тысячи испанцев и креолов и около четырех тысяч черных рабов; именно там он начал разработку минеральных ископаемых, – и здесь немец впереди! Отсюда он начал продвижение в Боливию – в Ла Пас и Перу; повсюду его люди с т а в и л и горное дело и лаборатории. Он, а не американцы, начал впервые в мире разрабатывать коку, организовал плантации и выпустил напиток под таким названием. Разговоры о том, что он был "евреем", следует считать отвратительной клеветой на выдающегося немца. А сколь много сделал для Аргентины Таддеус Хёнке! Крушение испанского

владычества под ударами Наполеона и Британии открыло новые возможности для германской устремленности в Южную Америку. Нельзя не сказать, что в ту пору немцы проводили совершенно блистательную разведывательную работу, анализируя активность французских агрессоров в попытках глобального проникновения на американский юг: было бы преступлением против континента допустить туда бунтарство революционной мысли, требовавшей радикальных перемен и равенства, которое – по вполне понятным причинам – было невозможно между индейцами и европейскими колонистами. Эдуард Кайлитц Фрейер фон Хольмберг, австриец, служивший в прусской армии, был одним из выдающихся борцов против Первого консула, а затем императора Наполеона. С помощью британского лорда Файва он отправился в Буэнос-Айрес на шхуне "Хорхе Каннингс" – вместе с полковником Хосе де Сан-Мартином и Карлосом де Алвеаром – бороться против испанского колониализма. Один из повстанцев, известный генерал Бельграно, дал Хольмбергу должность командующего артиллерией. Да, у него было много врагов среди повстанцев, оттого что он требовал дисциплины, которую кое-кто называл "палочной", однако без его помощи юг Америки не завоевал бы независимости. Еще придет время – и настоящая, а не фальсифицированная история скажет свое слово о его руководящей роли в борьбе армии против испанцев, как и о его соратниках – Георге Видте из Страссбурга и Мартине Гуемюсе, командовавшем бригадой гаучо на северном фронте. Именно герои немецкого оружия открыли двери на юг Америки немецким коммерсантам и промышленникам.

Благодаря тому, что мы завоевали право на создание своих поселений, называемых немецкими колониями, во время войны Аргентины с Бразилией было создано первое немецкое соединение на земле Южной Америки в количестве тысячи ружей – "Иностранное братство"».

Штирлиц откинулся на спинку стула, полез за сигаретами; курить, понятно, не стал – библиотека. «Так вот почему возник здесь Эрнст Рэм, – подумал он, – который пришел сюда сто лет спустя; это не случайность, как казалось всем в рейхе, не бегство от преследования веймарской полиции, а расширение плацдарма, первый шаг в гитлеровской геополитике. Воистину, "век живи, век учись, а дураком помрешь"...»

Он снова углубился в чтение, заставляя себя не заглядывать в конец рукописи: «Интересно, каким годом она обрывается? Если сюда включена немецкая активность времен войны, тогда я получил поразительный материал: именно экономические связи помогут мне воссоздать хотя бы предположительную схему тропы, по которой идут наци; они не любят начинать с чистого листа, они привыкли использовать то, что было заложено раньше».

«Немцы принесли в Аргентину практически все ремесла, – продолжил он чтение документа. – Из Чакариты, немецкого района, самого прекрасного во всей округе, вышел коннозаводчик Петер Бест; Адам Михель создал лучшую мельницу; Мартин Кёниг сделался лучшим сапожным мастером; Иоханес Хагнер поставил лучшую конди-

терскую; Ханс Брак открыл в городе лучшие кафе; Ханс Шерер впервые открыл самую уютную гостиницу (ныне угол улиц Бартоломео Митре и Леонардо Алем). Даже пианино здесь первыми начали делать немцы во главе с Фалкенбергом, не говоря уже о первом человеке, выпустившем адресную книгу (Готтхелф Райнике из Фрейберга в Саксонии), которая была напечатана в типографии Рудольфа Кратценштайна из Ольденбурга. Позже Отто Бемберг из Кёльна организовал в Аргентине первые мощные фабрики, и за это был назначен аргентинским консулом в Париже, получив доступ к высшим секретам государства: именно он открыл путь немецким колонистам к необжитым берегам реки Параны. Уже в середине прошлого века мы начали издавать в Аргентине немецкую газету "Фрайе прессе", организовав при этом ее испанское издание "Пренса либре".

Если в Соединенные Штаты – с 1820 по 1928 год – приехало тридцать семь миллионов иммигрантов, то шесть миллионов из них были немцами; в сравнительных цифрах – по отношению к Аргентине- их было еще больше. Это так, ибо и Санта-Фе, и Эсперансу, и Энтре Риос обживали именно немецкие колонисты. Поэтому, когда Германия разгромила Францию под водительством Бисмарка, немцы в Аргентине стали организовываться в немецкие союзы: "Родина прежде всего! Кровь зовет!" Становление единого немецкого государства придало немецким колонистам еще больше динамизма. Ведь именно немец в конце прошлого века создал в Аргентине первый автомобиль; лаки – Фелиппе Шварц; парфюмерию – Лёдерер; мясные консервы – Александр Дауль и Хельмут Толе; микроскопы – Онон и Шнабль.

Немцы же начали освоение Анд на границе с Чили, вышли к Тихому океану в районе Пуэрто Монт, обжили горные районы, открыли путь в бескрайние поля Патагонии, подготовив, таким образом, освоение Огненной Земли. Мы никогда не забудем, что городу на берегу сказочного и таинственного озера Науэль-Уапи дано имя Сан-Карлос де Барилоче не кем-либо, а именно немцем Карлом Видерхольдом. Наиболее плодородные долины Рио-Негро и Рио-Колорадо обжиты немцами; Кордильеры обжиты нами же: в крошечных, затерявшихся в ущельях деревушках варят немецкое пиво и угощают немецкими сосисками – родина продолжается и в Аргентине! И даже горный курорт в Барилоче с его лыжными спусками организовали мы, немцы, – первыми на территории Южной Америки!

Именно мы, немцы, научили местное население культурной работе на плантациях уникального чая матэ-йерба в северной провинции Мисионес; именно мы – в этом некогда безлюдном крае – создали в 1931 году наши поселения Монте-Карло, Эльдорадо, да и сам город Посадос. К чести немцев, следует отметить, что школы здесь работают немецкие, в больницах сестры и врачи говорят на нашем языке, а в магазинах вас обслуживают так, как это принято в Мюнхене или Штуттгарте.

А кто обжил Мендосу и Сан Хуан?!

А кто построил автомобильную промышленность Кордовы? Где, как не здесь, функционируют немецкие институты, школы, детские сады, церкви?! Где, как не здесь, работают Институт Гёте, книжные магазины и клубы?!

А разве не мы, немцы, создали в горных окрестностях Кордовы такие прекрасные поселки, как Ла Фальда, "Вилла Хенераль Бельграно", Ла Пас?! А разве не немецкий офицер Роберт Балке построил отель "Эден" в Ла Фальда?! Разве не здесь собирались самые выдающиеся инженеры и ученые Аргентины (в основном немцы) на свои конференции, посвященные развитию индустрии этой страны?! А разве выдающийся ботаник Ганс Сект не живет и поныне в Кордове, являясь самым признанным корифеем науки?! А разве замечательные физики Эмиль Бозе, Рихард Ганс, Фриц Филхеллер не были создателями стройной научной теории и организаторами первых научных центров Аргентины?!»

«Стоп, – споткнулся Штирлиц и прочитал фамилии еще раз. – Но ведь когда гестапо арестовало Рунге и Холтофф мучал его бесконечными допросами, несколько раз всплывала фамилия "атомщика" Филхеллера. Неужели он был десантирован сюда во время войны? Не может быть! Мне помнится, речь тогда шла о теоретике; значит, здесь не занимались, просто не могли заниматься расчетами атомной бомбы, зачем им, для какой цели?! Аргентина – в качестве прикрытия? Ах, да о чем я! – прервал он себя. – Ведь если в этих документах есть хотя бы четверть правды, тогда, значит, вся Аргентина пронизана немецкой сетью!»

Он посмотрел последние страницы; много говорилось о немецких фильмах начала сороковых годов, о концертах музыкантов, о новых немецких фабриках, но ни слова о «ФА», то есть о той организации, про которую ему позволили узнать в Испании, – тайном опорном пункте НСДАП на юге континента «Феррокарилес алеманес».

...Директор библиотеки заметил:

– Вы умеете работать с архивными документами, дон Максимо (профессор написал его имя именно так – «Максимо»: «Знаете, "Макс" будет настораживать, наши немцы здорово помогли в организации нелюбви к янки, – все же союзники коммунистов в войне против любимой здесь Германии; право, будьте лучше нашим "Максимо", чем американским "Максом", мы ценим испанцев, несмотря на то, что всего сто двадцать лет назад воевали против них, как против самых жестоких колониальных угнетателей»).

– Да, это моя профессия, спасибо за комплимент, – откликнулся Штирлиц. – А кто составлял этот материал?

– Кажется, профессор Карлос Гунманн, если мне не изменяет память.

– Историк?

– Нет, географ. Занимался планированием аэродромов в немецких колониях по всей округе... Очень коричневый немец... Но дело свое знал...

– Он умер?

– Нет, просто перестал преподавать... Перешел на работу к Танку.

– Профессору Танку? Курту Танку?

– Да. Вы знаете его? Он теперь живет здесь, не очень-то появляется в обществе, ездит с охраной: дом – институт аэронавтики, никаких отклонений... Откуда вы знаете это имя?

– Право, не помню, – солгал Штирлиц; он прекрасно знал штандартенфюрера СС профессора Курта Танка, создателя самых мощных истребителей Геринга, лауреата премии имени Адольфа Гитлера, одного из самых уважаемых в рейхе «фюреров военной экономики».

– Документы действительно интересны? – спросил директор архива. – Они написаны готическим шрифтом, мы их не читаем...

– В определенной мере интересны... Если бы вы позволили взять их домой, я бы смог кое-что уточнить у профессора Оренья.

– Напишите на мое имя просьбу, я разрешу, – директор улыбнулся. – Немцы приучили нас к порядку. Еще два года назад в университете было не так уж много аргентинцев, сплошь немцы, после войны как-то рассосались, хотя все продолжают жить в городе...

– А почему этот документ хранится в вашем архиве?

– Раньше библиотеку и архив возглавлял сеньор Гунман, он требовал, чтобы подлинники материалов, которые были написаны на основании документов нашего хранилища, оставались здесь. Навечно. По-моему, это правильно...

– О, еще как, – согласился Штирлиц. – Спасибо сеньору Гунману за его пунктуальность и неизбывную тягу к порядку...

Получив папку с архивом, Штирлиц не торопился приступать к делу: «поспешишь – людей насмешишь», хотя при этом всегда исповедовал рапирно-ленинское – «промедление смерти подобно».

Он легко получил номера телефонов и адреса немецких профессоров, которые работали в университете, – как тех, кто эмигрировал от Гитлера, так и «патриотов великого рейха», прибывших в Аргентину вскоре после пробного вояжа Эрнста Рэма, и ветеранов – потомков первых иммигрантов, состоявших в «Немецком клубе».

На каждого из них он собрал информацию; получил все возможные данные на тех немцев, которых Райфель назвал Роумэну; работал аккуратно, сопоставлял, прикидывал, вбирал информацию, без и вне которой ни одна акция не приносит желаемых результатов.

Штирлиц был убежден, что лишь компетентность человека, доскональное знание предмета, абсолютная незашоренность, умение настроить себя на противоположную точку зрения могут создать благоприятные условия для рождения информации. Когда полученные сведения закладываются в пустоту, когда человек бездумно слушает то, что говорит объект, попавший в сферу интереса, когда он не умеет задать вопросы, которые бы заинтересовали того, с кем необходимо встретиться, – считай, что беседа проведена впустую, зряшная трата времени. Лишь в том случае, когда в дело вступает содержательный человек, личность, представляющая общественную позицию, можно надеяться, что он справится с возложенной на него задачей, поймет главное и отсечет второстепенное; орех ценен ядром, а не скорлупой.

С Хосе Оренья, милым седовласым профессором, Штирлиц уютно располагался в патио под вечер, после обязательного визита на центральную почту к оконцу получения корреспонденции «до

востребования», – Роумэн молчал. Штирлиц отгонял от себя ночные мысли о самом плохом: американская обстоятельность, хочет сделать максимум, выдать залп информации, чтобы мне было легче разворачивать дело здесь, опираясь на то, что он соберет в Европе.

Они пили чай матэ-йерба, терпкий, зеленый; тянули его из трубочек с серебряными набалдашничками. Штирлиц умел слушать, он воистину вбирал в себя слово; ничто так не ощущается в собеседнике, как мера интереса, с которой он относится к твоим словам. Профессор раскручивал свою концепцию не сразу, поначалу надо было ему самому увлечься; очень любил, когда Штирлиц открыто восторгался его пассажами; неужели к старости все превращаются в таких честолюбцев?!

– Немцы на юге Америки, – заметил дон Хосе, когда они передвинули кресла в тень, под навес, завитый виноградом, – сейчас, при нынешней ситуации в мире, стали явлением тактического порядка, дон Максимо. Победи Гитлер, мы были бы вправе говорить о тенденции глобального торжества национал-социализма... Почва здесь была подготовлена. Суда Гитлера входили бы в порты, которые обслуживали немцы, а десантные самолеты садились бы на аэродромы, загодя построенные ими же по всей стране... По счастью, сейчас не они определяют здешнюю ситуацию. Можно ли их использовать? Еще как! Но теперь не они будут диктовать, они вынуждены писать под диктовку...

– А кто же определяет ситуацию?

– Я бы внес в ваш вопрос коррективу, если позволите, че... Не «кто», а «что». Во-первых, победа союзников; во-вторых, связанный с этим взлет левой тенденции, ибо большевизм был главной антинацистской силой, это истина в последней инстанции; в-третьих, отсутствие института устойчивых демократических свобод, чехарда переворотов, уход политической жизни из парламента на страницы романов и поэм, это типично для нашего континента, и, наконец, трагическая ситуация, сложившаяся в Ватикане, неподготовленность идеологического штаба западного мира к свершившимся на земле событиям... Без церкви и вне ее мы невозможны, это наша история, но церковь ныне не в силах, точнее даже – не вправе вести пастырей, она растеряла авторитет, наработанный Ватиканом практикой девятнадцатого века.

– Интересно, – откликнулся Штирлиц. – Первая и вторая позиции являют собой констатацию факта, а в двух последних сокрыты рецепты действия.

Дон Хосе кивнул:

– Вот именно. Вы думаете на шаг вперед, че, это подстегивает меня, люблю гонки на прямой... Зайдите в любую церковь города: все так же величаво, как и раньше, также торжественно и выспренно, но ведь на самом деле это фикция, дань привычке, установившейся форме! Если вы вспомните, что было с церковью накануне взятия Бастилии, можете смело проводить параллель с нынешним днем. Тогда Ватикан рассылал гневные энциклики против «уродства мерзкого капитала», против «суеты паствы, которая обращает себя на безудержные земные дела», в поддержку незыблемости привычно устоявшегося феодально-

го смысла общества. Конечно, куда легче править, когда пастор и феодал являются владыками паствы, а поди управься со свободным ремесленником, которого обуяла жажда инициативной деятельности! Я поражаюсь, отчего вместе с французской монархией не рухнул Ватикан! Ведь он же поддерживал совершенно одряхлевшее, рутинное, то, что изжило само себя! Потому-то парижане и стали носить по улицам чучела повешенных священников. Разве такое было когда-либо мыслимо?! Экономическое развитие общества вошло в противоречие с известной идеей Христа. Священники, коррумпированные феодальной властью, забыли, что Библия – многотолкуема, они подгребали ее под себя, обратили ее на пользу своего личного у д о б с т в а! Сколько пришлось Ватикану принять мер, чтобы спасти свой престиж?! Это тема для огромного исследования. Я пытался, но мне было сказано, что без поддержки епископа я обречен на провал. Ну и, конечно, епископ назвал мою тему преждевременной, – они научились душить мысль, используя новые слова, раньше бы объявили еретиком и – на костер. Тем не менее впервые в истории нашего континента церковь не может набрать послушников; монахи в ужасе; семинарии сделались полупустыми, молодежь не хочет идти в священники... Молодежь помнит, что наместник бога на земле папа Пий Двенадцатый не скрывал свой восторг перед Гитлером и Муссолини, призвал к крестовому походу против коммунистов, а они теперь вошли в сенаты и конгрессы, каково?! А ведь у нас, на юге, рядом с конкистадором шел миссионер-иезуит: священник есть традиционная принадлежность деревни и городской улицы! Вы пойдите в церковь, пойдите! Она полна, но вы присмотритесь к происходящему: молодежь о б ж и м а е т с я, потому что не может купить себе квартиру или снять комнату – дорого! Они не слушают слова Христовы, они думают о похоти!

– Любовь – это, по-вашему, похоть?

– Любовь Петрарки – вот любовь! Все остальное – похоть!

– Дон Хосе, а вы когда-нибудь... любили женщину?

– Конечно! Возвышенно, как мечту! Как недосягаемое!

– А предметно? – Штирлиц улыбнулся. – Так, как об этом пишут в книгах.

– Это давно кончилось, че, – профессор махнул рукой. – Незачем вспоминать то, что ушло.

– Не лишайте молодых того, что прошли сами, это несправедливо.

– Но я же не ходил в церковь, чтобы гладить ляжки подруги!

– Значит, у вас была комната, где вы могли заниматься этим прекрасным делом, не богохульствуя...

– Вообще-то вы правы, че, с возрастом мы забываем самих себя, рождается завистливая жестокость по отношению к молодым, вы еще этого не чувствуете, хотя сорок шесть – тоже возраст... Вы почувствуете возраст месяцев через семь после вашего пятидесятилетия. У вас непременно заболит в боку. Или начнет ломить сустав. Утром, сразу же после того, как вы откроете глаза... Да, я, наверное, неправ, вы хорошо возражали мне, я сразу не понял суть ваших возражений, умеете уважительно дискутировать – это редкость, у нас дискуссия обычно кончается арестом...

– Вы любопытно заметили, что на юге американского континента литература вобрала в себя функцию политической борьбы... Журналистика – тоже?

– И да, и нет, че. Поскольку ни один литератор континента не может жить на деньги, полученные от продажи его книг, многие уходят в журналистику. Поначалу они, конечно же, пытаются политизировать журналистику, но это довольно быстро пресекают, превращая их в правщиков – вычитчиков официальных материалов, платят за это хорошо, иначе говоря, людей покупают... Редко проскакивает настоящая публицистика, в которой чувствуется перо... Ничто так не вмещает в себя логику и чувство, как маленький кусочек металла, именуемый пером, че! Подумайте, как странно, – удивившись своим словам, дон Хосе посмотрел на Штирлица. – Я красиво сформулировал, согласитесь?!

– Великолепно, – Штирлиц кивнул. – Действительно великолепно...

– Вот видите... Значит, старость имеет свои преимущества... А вообще – страшно, че. Я старше вас почти на тридцать лет...

– Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует, – заметил Штирлиц; он часто повторял эту фразу, она была неким спасательным кругом, – что бы ни было, но самое хорошее еще впереди; живи этим, верь в это, как в утреннюю молитву, все остальное – суета сует.

– Хорошо сказано, че, – дон Хосе улыбнулся. – Ваши слова?

– А разве можно считать слова собственностью? Любое слово было произнесено до нас с вами миллион, миллиард раз... А потом я, вы, он несколько иначе составили слова – причем случайно, не думая, – и получилась ваша, моя, его фраза... Это же высказывалось до нас сотни тысяч раз, только другими людьми, при других обстоятельствах, на иных языках.

– Занятно... Почти так же говорил наш Хорхе Борхес... Читали его книги?

– Только эссе. Его мало переводят в Европе и Штатах.

– Европа и Штаты поучают нас в сфере техники и эксплуатируют в экономике. А им бы поучиться у нас тому, что я бы определил как национальный синтез при расовом разнородстве. Вся Латинская Америка суть одна нация, которая включает в себя креолов и индейцев, испанцев и африканцев, немцев и русских, англичан и сербов; это никого еще не занимало в мире, кроме как наших литераторов, – именно в этом они политики, причем весьма опасные для режимов в силу их талантливости... Возьмите Борхеса, он останется в памяти как глыба аргентинской прозы, поверьте мне, че. Он насквозь политизирован, претендует на то, чтобы быть правым, но талант всегда стоит в левом ряду прогресса... Он как-то прекрасно сказал: никто не покушался на право Расина считаться французским поэтом за то, что он выбрал для своих трагедий античные темы... Правда ведь, а? Бедный Шекспир был бы изумлен, прикажи ему писать только на темы английской жизни с обязательным описанием привычного для британцев пейзажа. Гамлет рожден в Дании, Отелло – мавр, леди Макбет – шотландка... Между прочим, наш культ преклонения пе-

ред местным колоритом пришел из Европы, нам его европейские националисты навязали... Разве важно описывать, что происходит на похоронах индейцев? Необходимо понять суть их веры, а внешнее, видное легко описывать; осознать глубинное, принадлежное всему человечеству, значительно труднее, че. Подлинно национальная литература, одержимая социальной проблематикой, не очень-то нуждается в местном колорите... В самой мудрой арабской книге – я имею в виду Коран – нет ни одного упоминания о самом типичном арабском животном – верблюде. Для Магомета верблюд был частью родной ему повседневности, он не интересовал его как колорит... Зато верблюд очень интересует туриста, приехавшего на Нил, или бездарного поэта, спекулирующего описательством того, что дается без труда, да еще проливающего при этом слезу о горькой судьбе погонщика... Борхес провозгласил верно: наша литература должна сделаться по-настоящему аргентинской и без удобного описания быта гаучо. Будущее ныне решается в городе, нравится это традиционалистам, которые всегда опрокинуты в национализм, или нет.

– Но ведь прославленный аргентинский роман «Дон Сегундо Сомбра» посвящен гаучо и весь пронизан местным колоритом, – возразил Штирлиц. – Я не вижу в нем национализма, мне эта идеология отвратительна, как и вам...

Дон Хосе рассмеялся. Как истинный спорщик, измученный одиночеством, он ликовал, когда компаньон подставлялся:

– Че, вы не представляете себе, как вы неправы! Автор «Дон Сегундо» Гуиральдес многие годы прожил в Париже и при этом в совершенстве знал английский! Его литературные гаучо, ставшие, кстати, аргентинским эталоном, говорят совершенно не так, как истинные гаучо Патагонии! Его герои говорят на жаргоне Монмартра, где жил писатель! А сюжет романа подобен «Киму» Редьярда Киплинга! Но ведь и сам Киплинг вышел из твеновского «Геккельбери Фина»! Если бы Гуиральдес не вобрал в себя французскую метафористику и американо-британскую структурность, мы бы не имели классической аргентинской прозы! Классика без предшественников невозможна. Задача аргентинской литературы состоит в отдаче идей мировой культуры нашему народу. Про нас говорят, что мы как молодая нация оторваны от истории. Наоборот, че, именно молодая нация алчно набрасывается на историю, она чувствует ее значительно более остро, чем старые нации... Нигде не было таких яростных споров между поклонниками нацистов и патриотами союзнической идеи, как в Аргентине! Нигде! Вы себе не представляете накал борьбы, который здесь был в конце тридцатых и начале сороковых годов! Между «традиционалистами», которые поддерживали нацистов, и левыми, стоявшими за интернационал...

– Крики по поводу традиций, новаций, национализма, исключительности, как правило, присущи малоталантливым людям, лишенным общественной идеи, – сказал Штирлиц. – Важнее рассуждать не о том, сколь Дон Кихот «типично испанский», но почему он, обращаясь с речью к крестьянам, чуть ли не дословно цитирует фрагменты из «Трудов и дней» Гесиода... Греко-средиземноморское влияние времен античности на средневекового рыцаря печального

образа... Об этом, кстати, в Испании запрещено спорить: «Дон Кихот абсолютный испанец, не подверженный никаким влияниям извне, только беспочвенный интернационалист может позволить себе такое кощунство!»

– Вот видите, – задумчиво откликнулся дон Хосе. – А мы, аргентинцы, к испанской культуре, включавшей – как вы настаиваете – элементы древнегреческой, прибавили магическое искусство индейцев, идеи французских энциклопедистов; алчное колонизаторство британцев вынудило нас выучить английский; уже в начале сороковых годов «По ком звонит колокол» здесь знали лучше, чем в Штатах, не говоря уже о Европе... Мы – бурлящий котел, че, наша литература, являющаяся выразителем идей, чревата провозглашением манифеста, и этот манифест очень не понравится на севере, не сердитесь, что я это говорю вам, янки... Границы не могут охранить ту или иную традицию, особенно в наше время... Армия, которую мы содержим, не в силах сдержать чье бы то ни было нашествие в Кордильерах или в сельве Параны, – сама история так распорядилась... Армия охраняет не страну с ее традициями, а президентский дворец, че.

– Видимо, ваша литература стоит перед важнейшей задачей: понять новую суть времени, – заметил Штирлиц. – За последние двадцать лет гений науки взорвал изнутри понятие о времени и пространстве... В Европе и Штатах это поняли уже... У вас еще, видимо, предстоит понять. Это вызовет ломку укоренившихся представлений о литературе.

– Заметьте, первая реакция почти на все великие романы мелкорослых критиков определялась однозначно: «Какой это роман, пародия на литературу!» – дон Хосе вздохнул. – Мир еще до сих пор живет под гнетом Золя, который говорил, что писатель должен погрузиться в маленький район, раствориться в нем, понять его, а уж потом живописать то, что стало для него самого бытом... А ведь это дезориентирует литератора: посетив народный праздник, он описывает действие, но не задумывается над внутренними причинами, то есть проходит мимо истинной традиции...

– Верно, – согласился Штирлиц.

– Вы читали роман гватемальца Мигеля Анхела Астуриаса «Сеньор президент», че?

– Нет. Когда он вышел?

– Только что... Сюда его не очень-то ввозят, есть некоторое сходство между президентами – нашим и литературным. Это динамит под нынешние устои Латинской Америки, че, это страшнее любого лозунга, потому что это правда, причем написанная с захватывающим интересом. А про Хорхе Амаду слыхали? Бразилец... Почитайте его «Страну карнавала» или «Мертвое море»! Это же призыв к борьбе... Вы спрашивали меня о журналистах, которые могут писать по-настоящему... Где-то в Буэнос-Айресе работает Хуан Карлос Онетти, он эмигрировал из Уругвая, там его гоняли за роман «Бездна»... Если попадете в столицу, обязательно повстречайтесь с ним, он – кладезь знаний и чувств, совершенно поразительный мастер.

– И никто из журналистов такого класса, как он, не занимался вопросом немецкой иммиграции в Латинскую Америку?

– Наших писателей больше занимают проблема индейско-креольского синтеза и вторжение янки... Правды ради надо отметить, что немцы вели себя здесь значительно тише «гринго», че. Не сердитесь за «гринго», это у нас в крови, – помните Джека Лондона, его «Мексиканца»? Это же он канонизировал кличку «гринго», до него такого понятия не существовало в литературе... Лишнее доказательство того, что книга – главный свидетель прогресса...

Штирлиц кивнул, задумчиво спросил:

– Кто может иметь информацию о немцах в Кордове?

– Хм... Зачем вам это, че?

– Зачем? – переспросил Штирлиц. – Да как вам ответить... Наверное, затем, что я воевал с наци... Довольно трудно и долго...

– Хотите писать книгу?

– Не знаю... Сначала хочу собрать материалы, а там видно будет.

– У вас есть печатные труды?

– Пока нет.

– Готовите?

– Обдумываю...

– С кого хотите начать? С тех, кто был за Гитлера? Или с противников?

– Тот, кто был за Гитлера, за него стоит и поныне, только молчит, дон Хосе. Гитлеризм – въедливая зараза... Примат национального, вседозволенность во имя торжества этого постулата, пьяное ощущение собственной исключительности... Щекочет нервы, слабым дает силу, бездарным – надежду на самовыявление.

– А вот я иногда думаю, дон Максимо: отчего мир столь часто оказывается зависим от бездарей?! Если у какого экономиста, историка, художника или поэта не ладится дело, так он рвется в политику... Первым это понял Цицерон. Надежнее всего остаться в памяти человечества, если будешь произносить речь в сенате, а не в суде: больше слушателей, да и каждое слово записывается десятками секретарей...

– Да, это так.

– Значит, вас интересуют немцы... Что ж... Попробуйте побеседовать с профессором Хорстом Зуле, че, он сбежал сюда от Гитлера... В сорок четвертом его квартиру подожгли молодые наци, с тех пор он редко выходит из дома, не преподает в университете, дает приватные уроки немецкого языка и истории – только аргентинцам. Он пытался разоблачать наци, знает немало, начните, пожалуй, с него... Но после того пожара он испугался, очень испугался, поимейте это в виду... Ну, а тот документ, который вы мне принесли из библиотеки, принадлежит перу моего доброго знакомца профессора Гунмана. Нацист он или нет, не знаю, но то, что компетентен в сборе фактов, – это бесспорно, могу написать рекомендательное письмо...

Хорст Зуле был мал ростом (метр шестьдесят от силы), приволакивал левую ногу (она была у него высохшая), – ступни до того крошечные, что носил детские сандалии.

Зуле не сразу открыл дверь; она была на цепочке из нержавеющей стали; долго расспрашивал, откуда приехал дон Максимо, дважды спросил, отчего дон Хосе не написал хотя бы несколько слов на визитной карточке, потом, наконец, смилостивился и пригласил Штирлица в маленькую квартирку на последнем этаже в доме на набережной пересохшей реки.

От пола и до потолка комната была заставлена стеллажами (самодельные, дерево плохо простругано, но довольно тщательно выкрашено масляной краской); стеллажи стояли и в коридоре; даже на кухне одна стена была отдана книгам и папкам с документами.

«Наверное, и в туалете у него лежат папки с вырезками, – подумал Штирлиц, – скорее всего вырезки из нацистской прессы; доктор, судя по всему, относится к типу людей, которые таят ненависть в себе, опасаясь ее выплеснуть; правду говорят лишь в кругах близких, да и то втихомолку, для собственного удовлетворения, получая высшее наслаждение от того, что познали истину; впрочем, они вполне искренне ненавидят ложь и варварство, честны перед собой, а кругом пусть все идет так, как идет: "плетью обуха не перешибешь"».

– Дон Хорст, я хотел бы...

– Не надо «дон», – оборвал Зуле. – Просто «доктор», не терплю выспренности...

– Простите, пожалуйста, доктор. Но дон Хосе сказал, что вы всегда высоко чтили традиции той страны, куда вам пришлось уехать с родины. «Дон» – это традиция.

– Что он еще вам рассказал обо мне?

– Еще он рассказал, что молодые наци разгромили ваш дом и сожгли библиотеку.

Зуле усмехнулся:

– Именно поэтому я и забрался на последний этаж.

– Не считайте это оптимальным вариантом. Если у вас остались враги, если здешние наци еще могут кусаться, к вам вполне можно забраться через чердак.

По тому, как глаза Зуле непроизвольно взметнулись к потолку, Штирлиц понял, что такую возможность доктор не очень-то допускал. «Надо закрепить, – подумал Штирлиц, – я должен стать ему нужным, такие люди ценят практическую сметку».

– Мы можем осмотреть чердак вместе с вами, – предложил Штирлиц. – Если, конечно, у вас есть ключ и фонарик.

– Ключ не нужен, там всегда отворена дверка, а фонаря я не держу.

– Свечу?

– Незачем смотреть, – тихо ответил доктор Зуле, – потолок тоненький, когда хозяин проверяет состояние водопроводных баков, мне кажется, что он может провалиться...

– Решетки на окна не хотите укрепить?

– Увольте. Я жил в стране, где решетки были повсюду, не только на окнах... За год Германию удалось обнести громадной, незримой решеткой, а еще через год решеткой – вполне эластичной, незаметной с первого взгляда – опутали каждого немца... В конце концов,

будь что будет, да и потом я практически не выхожу из дома, а мой сосед – прекрасный человек, шофер на грузовике, очень сильный и добрый... Да и потом наци теперь поджали хвосты, не посмеют...

– Они убеждены, что после разгрома вашей прежней квартиры все материалы, представлявшие для них какую-то опасность, уничтожены?

– А почему вы, собственно, думаете, что у меня есть такие материалы?

– Так считает дон Хосе.

– Сколько времени вы у него живете?

– Порядочно, – солгал Штирлиц. – Я занимаюсь проблемой нацизма. Не только в Германии, но и в Испании, Австрии, здесь, на юге нашего континента.

– Вы американец?

– Канадец.

– Воевали?

– Да. Именно поэтому и занимаюсь этой темой.

– Можно почитать ваши труды?

– Нельзя. Их нет. Я занимаюсь этой проблемой для того, чтобы подбросить работу нюрнбергским судьям... А поскольку, как и вы, я убежден, что нацизм не уничтожен, а затаился, чтобы восстать из пепла, свою работу целесообразнее держать вот здесь, – Штирлиц постучал себя по лбу, – чем хранить дома.

– Если они узнают об этом, ваша жизнь будет ежедневно и ежечасно подвержена опасности.

– Но ваша ведь не подвергается – после пожара?

– Потому что я после этого капитулировал. Они знали, что делали. Каждый приехавший из рейха напуган, до конца дней своих напуган, и ничто его не спасет от самой заразной и въедливой бациллы – страха.

– Вы не могли бы ответить на ряд моих вопросов, доктор Зуле?

– Нет.

– Вы даже не хотите знать, какие вопросы меня интересуют?

– Я понял, что вас интересует. Вы делаете благородное дело. Вы и обязаны его делать: демократии виноваты, что Гитлер пришел к власти. Вам и карты в руки – смойте позор с тех, кто спокойно смотрел, как преступник рвался в рейхсканцелярию, хотя одного вашего демарша перед Гинденбургом хватило бы, чтобы остановить мерзавца.

– Согласен, – кивнул Штирлиц. – Принимаю каждое ваше слово. Но и вы, немец, тоже виноваты в том, что Гитлер стал фактом политической жизни. Что вы, лично вы, сделали, чтобы он не стал канцлером? Бранили его в университетской столовой? Говорили друзьям, что карикатурный истерик мнит себя вторым Фридрихом? Или просто отмахивались: «Бред, такое невозможно, покричит и успокоится, мы слишком культурны, чтобы пустить его»? Что вы сделали, доктор?

– Я бранил его в университетской столовой, вы правы. А моя жена – она лежит в клинике, ей, слава богу, лучше – выступала против него на митингах и составляла прокламации... Она принадлежа-

ла к берлинской организации социал-демократов. Ну и что? Ах, как она честно и красиво выступала, дон Максимо, как отважно! Ну и что?

– Вам неприятен мой приход? Вы поэтому так подчеркнуто презрительно назвали меня «доном»?

– Да, ваш приход мне отчего-то неприятен. И я не намерен этого скрывать.

– Вы не посмели бы так говорить, – Штирлиц даже набычился от внезапно охватившей его ярости, – если бы я не был тем, кто дрался с наци... Если бы я был здешним затаившимся гадом, вы бы покорно отвечали на мои вопросы, потому что прекрасно знаете – не ответь вы на то, что меня интересует, и я отправлю вас к праотцам! Или отравлю в клинике вашу жену!

Штирлиц резко поднялся, успев подумать: «Какое счастье, что нет привычной боли. Господи, как важно ощущать себя здоровым и сильным!»

– Отстегните цепочку на двери, дон Хорст. Мне как-то совестно быть в вашем антинацистском доме.

Лицо Зуле странно стекло, стало видно, какое оно нездорово-отечное, глаза сделались испуганными, заячьими, руки мелко, по-стариковски затряслись...

– Я могу закричать, – прошептал он осевшим, совершенно иным голосом. – Я стану кричать.

– Ну и кричите. Нельзя так трястись. Такая паническая боязнь есть форма страха за шкуру, а не за жизнь. Простите за резкость, но после окончания войны я получил привилегию говорить то, что думаю.

– Подайте мне вон тот пузырек, – еще тише сказал Зуле, кивнув на подоконник. – У меня останавливается сердце.

Лицо его сделалось синюшным. «Зря я так, – подумал Штирлиц, – в конце концов, он просто трус, как и большинство обывателей от науки. Они ниспровергают все и вся в кругу близких, а прилюдно молчат, – самый горький балласт истории».

– Сколько капель? – спросил Штирлиц, по-прежнему раздраженно.

– Я пью из пузырька, скорее, пожалуйста.

Зуле приник посиневшими губами, прорезанными ярко-красными склеротическими сосудиками, к пузырьку, сделал большой глоток, откинулся на спинку стула и, расслабившись, закрыл глаза.

– Давайте я помассирую вам грудь, – сказал Штирлиц, сердясь отчего-то на себя, а не на этого мышонка: «Собрал информацию, классифицировал ее и спрятал, низость какая!»

Старик кивнул, показал рукой на сердце.

– Это не сердце, – сердито сказал Штирлиц. – Обыкновенный невроз. Если плохо с сердцем, печет в солнечном сплетении. И отдает в локоть... «Дьявол лозою лезет по жилам, источенным тленьем», – последнюю фразу из популярной берлинской песенки тридцатых годов Штирлиц произнес по-немецки.

– Я сразу понял, что ваш родной язык немецкий, – не открывая глаз, прошептал Зуле. – Что вам от меня надо? Вы правильно

поняли: если я пойму, кто вы на самом деле, – я отвечу на все ваши вопросы, мои жилы разъедены страхом...

– Ну, а если я скажу, что я не немец? Если я признаюсь, что работал против Гитлера? Нелегально? Что тогда?

– Мне трудно в это поверить... Я очень недоверчив... Государственная жестокость учит не доверять: никому, нигде, ни в коем случае, ни при каких условиях.

– Один раз проиграли – и второй проиграете, – сказал Штирлиц, продолжая массировать грудь старика, – если не научитесь уверенности. Нельзя бороться, то есть стоять на своем, никому не веря. Ну, легче?

– Да. Спасибо.

– Вздохните глубоко.

– Я боюсь.

– Вздохните носом!

Старик снова сжался в комочек, но вздохнул глубоко, отвалившись при этом на спинку шаткого стула.

– Еще раз!

Он послушно вздохнул еще раз и начал застегивать пуговицы на старенькой, штопаной рубашке ватными пальцами.

– В туалете у меня собраны папки по нацистам в здешнем регионе. Если вас не затруднит, принесите их, я вам кое-что объясню... Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня... Если я умру, жене будет не на что купить хлеба, она плохо говорит по-испански... А кому здесь нужны старые немецкие социал-демократы?

– Почему не возвращаетесь в Германию?

– Кому я там нужен? Да и потом я теперь гражданин Аргентины... Я получил гражданство... Понимаете? Я был убежден, что Гитлер – надолго.

– Почему вы спрятали папки с нацистами в туалет?

– Поближе к нечистотам, вот почему, – озлившись чему-то, ответил Зуле. – Если бы вам удалось найти тех, кто до переворота в сорок третьем вел в сенате расследование антиаргентинской деятельности, вы бы получили исчерпывающие материалы. Опираясь на те материалы, можно понять суть происходящего и поныне... С осени сорок четвертого года сюда пришли две волны нацистской эмиграции: одна – в декабре, тайная, а весной и летом сорок пятого – сверхтайная. Декабрьская волна – их было всего пять – десять человек, одного из них зовут Нибель. Он работает в банке, ведет операции с иностранными фирмами, тихий и незаметный человек, сторонится «Немецкого клуба», где собирались фанатики... Весенние эмигранты – те, что прибежали сюда после краха, – вообще не выходят из своих домов... Но в Аргентине, как и в Испании, трудно хранить секрет, о профессоре Курте Танке знают в городе... Но знают ли об этом за границами Аргентины? Сюда не очень-то любят пускать иностранцев... Кроме тех немцев, которым верят в Буэнос-Айресе. А вот про Рольфа Ритнера не знает никто, а знать про него надо, потому что он возглавлял банду СС в том университете, где я читал лекции... Я знал его там, в рейхе, и я увидел его здесь. Но я сделал вид, что не узнал его, потому что именно он санкцио-

нировал все аресты в нашем университете: я панически боюсь его – до сих пор.

(Имя Рольфа Ритнера отдал Роумэну в Игуасу Райфель; большой начальник, только он вправе разрешать споры, возникающие между «партайгеноссен», только он и никто другой. Адреса Райфель не знал, телефона тоже, выход – по связи. Штирлиц в разговоре с Роумэном предположительно определил этого человека как ключевую фигуру. «Что ж, я довольно быстро на него вышел, шесть дней – не срок, на такие выходы порой тратят месяцы. Выход есть, а вот как его реализовать? Как заставить говорить этого самого Ритнера? Но не менее важен банкир Нибель, сидящий на операциях с иностранными фирмами, я почему-то убежден, что он весьма и весьма интересен. Подход, как найти подход?»)

– Скажите-ка, доктор, – спросил Штирлиц, – а что вы знаете о профессоре Карлосе Гунмане?

– Откуда он вам известен? – старик снова испугался, сжавшись на своем колченогом, скрипучем стуле.

– Я хочу его узнать. Увы, я не знаю его. Мне нужен немец, который дружит с ним, кому он безусловно верит, но который может на чем-то дрогнуть и таким образом открыть мне подступы ко всем этим людям, профессору Гунману в частности.

– Они из гранита. Непрошибаемы.

– Еще как прошибаемы, – Штирлиц, наконец, усмехнулся и пошел в туалет. «Черт, мне показалось или я действительно решил, что он здесь хранит свои материалы? – спросил он себя. – Горько жить лишенным иллюзий: постоянная тяга приблизиться к правде; отсутствие права на ошибку, ну, жизнь!»

– Они непрошибаемы, – повторил Зуле, – я их знаю.

Штирлиц взял несколько папок, покрытых пылью. «Значит, старик давно их не смотрел, это к добру, сам заинтересуется, начнет вспоминать. Как ужасно работать экскурсоводом, – подумал он вдруг и сразу же вспомнил музей природоведения, март сорок пятого, последнюю весну войны, когда он ходил по пустым залам и ждал приезда рейхсляйтера Бормана и туда пришла несчастная женщина-экскурсовод в рваных мужских башмаках. Она привела учеников, рассказывала им про виды, а наши армии уже стояли у ворот Берлина. – Ну и ну, поди придумай такую деталь! Но как ловко Борман исчез! Его место демонстративно пустовало в Нюрнберге, приговорен к повешению. Что-то он сейчас делает? К чему готовится? Он знает свою работу, как никто другой в рейхе, он знает, что и как сказать, он ждет своего часа, "фюрер национал-социализма, призванный спасти мир от большевистских орд"».

– Как вы знаете это? – спросил Штирлиц, кивнув на ворох папок, которые принес на кухню. – Отлично, хорошо или поверхностно?

Зуле ответил:

– Человек, лишенный права на действие, мыслит обостренно и помнит фотографически.

Они перешли на немецкий, как-то заново обсматривая друг друга. Воистину сокровенное таинство общего языка не познано на-

укой, это надежнее любого пароля; если слова пароля произносит иностранец, ему все равно меньше веры, чем своему, даже когда свой на самом-то деле принадлежит к числу врагов.

– Кто из коричневых немцев пил, скандалил, разводился с женой, был замечен в нарушении финансовых законов? – спросил Штирлиц.

– Только один Вайц. Но он совершенно безграмотен, пьяница и бабник, – Зуле начал отвечать по-немецки – деловито, несколько автоматически. – Даже коричневые не очень-то пускали его в клуб...

– Кто он, этот Вайц?

– Как вам сказать... То он был шофером в банке, то решил открыть пивную возле авиазавода, – после работы люди с радостью выпивали пару кружек, он привозил мюнхенское пиво, белое, кажется, из Мендосы... Потом разорился, устроился мастером по наладке канализации, это было довольно выгодно, здесь многие строились во время войны, – продавали мясо голодной Европе, зарабатывали золото... Потом вдруг стал уборщиком в университете... Он всегда кричал, что он истинный национал-социалист, служит идее, а не фюреру: «Мы, коричневые, пришли в мир, чтобы дать свободу рабочим». И что-то еще в этом роде...

– В каком году он сюда приехал? – насторожился Штирлиц. – В тридцать четвертом?

– Видимо, да... Откуда вы знаете? В тридцать четвертом или тридцать пятом, именно тогда, вы правы... Ладно, Вайц неинтересен, давайте я буду рассказывать о здешних лидерах, которые связаны со столицей, Мендосой, Посадос, Санта-Фе и Патагонией...

– Я Теодор Вайц, – ответил человек с красным, рубленым лицом в рабочей джинсовой робе. – Да заходите, чего там...

Квартира его была на первом этаже нового дома, маленькая прихожая, две комнаты и кухня; в дальней комнате шумели дети.

– Внучки, – объяснил он, и его лицо изменилось, сделавшись на какое-то мгновение мягким.

– Благодарю вас, партайгеноссе Вайц.

– Я исключен из рядов, – ответил Вайц, приглашая его в комнату, которая служила и гостиной, и спальней: рядом со столом стояла большая тахта, накрытая толстым зелено-красным пледом. – Садитесь. Вы кто?

Штирлиц был в темном костюме (купил на распродаже, почти даром), фасон сорок третьего года, в белой рубашке и бабочке, очки в толстой роговой оправе (чудовищно дороги, но зато меняют лицо до неузнаваемости), волосы тщательно набриалинены, зализаны набок, так он никогда еще не причесывался, любого собьет со следа, если Вайцу будут задавать вопросы о визите незнакомца.

– Мы знаем, что вы исключены из рядов, Вайц. В каком году вы писали апелляцию?

– Последний раз в тридцать восьмом.

– Дайте мне копию.

– Зачем?

– Затем, что изменились времена.

– Верно. Гитлер привел нас к тому, что погубили великую идею. Если бы он не продался финансистам, если бы он не уничтожил партайгеноссен Рэма и Штрассера, мы бы построили в Германии новое общество национальной справедливости...

– Кому вы передавали свою апелляцию?

– Зандштете и Людвигу Фрёйде, специально ездил в Буэнос-Айрес.

– Ну и что?

– Они сказали, чтоб я ехал в рейх... Все, мол, в порядке, восстановят в СА, тебя оклеветали, а я в это время получил письмо из Бремена, – двух моих братьев арестовало гестапо как родственников человека, предавшего фюрера...

– Что вы после этого предприняли?

– А ничего... Что может сделать простой человек? Я же денег не имею, по-английски не говорю, на испанском с трудом... Крутился, как мог...

– Вы понимаете, что в НСДАП были изменники?

– Чего ж не понимать, конечно, понимаю.

– Вы понимаете, что из-за них мы проиграли?

– А из-за кого ж еще, ясно, из-за них... Чаю хотите?

– Благодарю, с удовольствием.

– Тогда пошли на кухню. Девчонки! – крикнул он, улыбаясь закрытой двери. – Спать! Быстро в кроватки! Время! Шалуньи, – продолжая улыбаться, он обернулся к Штирлицу. – Никогда не думал, что дедом быть интересней, чем отцом... А вы, между прочим, кто такой?

– Я представляю национал-социалистов... Кстати, у вас можно говорить? В квартире нет аппаратуры?

– Слушают тех, кто что-то может, а что я могу? Трубы могу починить, вот что я могу... Как вас зовут?

– Я не могу назвать свое подлинное имя. Обращайтесь ко мне «Шнайдер». Или как хотите, неважно... Мне бы хотелось просить вас вспомнить, кто из здешних немцев, богатых немцев, тех, которые забыли идею и погрязли в финансовых авантюрах, нечистоплотно вел себя по отношению к другим членам колонии. Как вы можете охарактеризовать, к примеру, профессора Гунмана? Вы же работали в университете, должны были его встречать...

– Я у него трубы ремонтировал... Нет, сам-то он неплохой человек, скромный такой, ничего дурного не совершал... Я тогда в рейх не вернулся еще и потому, что арестовали этого самого придурка, который Гитлера хотел в Мюнхене взорвать, помните, в тридцать девятом? Наших ветеранов тогда в Бюргерброе положили множество, а Гитлер оттуда вовремя уехал... Ну, а здесь стали говорить, что, мол, это дело затеял Отто Штрассер, а я ж с ним дружил, он фотографию мне подарил с надписью... А, вспомнил, есть тут один сукин сын, Анцель... Хотя нет, он не наш, он монархист... Вас же интересуют наши... Меня исключили, а я все равно больше наш, чем все здешние сеньоры... Погодите, вспомнил, у Зитауэра брата арестовали за грабеж... Яблоко от яблони недалеко падает...

– Это какой Зитауэр? Эрнст? Девятьсот третьего года рождения?

– Да нет, это как раз его брат, он молодой, а самому-то под шестьдесят, с завода самолетов, знаете?

– В каком году арестовали его брата? Как зовут? Где судили? – Штирлиц знал, как говорить с ветеранами; пусть он исключен, все равно коричневый, «идеалист», такие никогда не прозреют, плюнь в глаза, все равно скажут, что божья роса: «Если бы фюрер послушал нас, все было бы прекрасно»; а ведь из рабочих, что за ужасная притягательность сокрыта в идее национальной исключительности, почему, когда это состоялось?!

– Арестовали его, значит, в сорок втором... Только он не Эрнст, а Пабло, он здешнее имя взял – растворился... Судили его в Санта-Фе, поэтому сюда не дошло, а Зитауэр никому не сказал, его бы за это с работы вытурили, такое не прощают... Братец-то его из тюрьмы бежал, да снова схватили...

– Кто вам сказал об этом?

– Так моя дочь за здешнего вышла, а он секретарем в суде работал, все подробности знает...

– Почему вы убеждены, что Зитауэр не поставил об этом в известность наших?

– Хорошую жизнь любит... Я его на этом...

– Ну, давайте, давайте, договаривайте! Вы же на этом его взяли, когда решили открыть пивную?

Вайц покачал головой и, как-то странно усмехнувшись, спросил:

– Он уже признался?

Через три дня Зитауэр передал Штирлицу имена коллег, которые приезжали из Европы в начале ноября этого года. Они – доверительно – представляли бывшие корпорации «Мессершмитт», «Дорнье», «Опель» и «Клёкнер». Гиганты поверженного рейха еще не функционировали, однако их золото – основа основ любого дела – хранилось в швейцарских банках. Подставные лица уже мягко обсуждали вопрос о получении лицензий от американских и британских оккупационных властей на развертывание производства.

Таким образом, первым зарубежным вояжем людей, создавших военную экономику Гитлера, оказался полет в Аргентину и встречи с профессором Танком и его ближайшими коллегами.

– О чем они говорили, я не знаю, – потухшим голосом, словно заученное, отвечал Зитауэр. – Если вы обещаете помочь мне с братом, который попал, как кур в ощип, я выясню все, что вас интересует. Пока же я открыл вам то, что мог, не взыщите.

– Скажите-ка мне, какова подлинная фамилия инженера Хуана-Альфрида Лопеса? – спросил Штирлиц. – Он работает у вас, живет на калле Санта Анна...

– Он только что сюда прибыл, кажется, из Европы, точно не знаю... Профессор Танк однажды назвал его «герр Виккерс», но это было только один раз...

«Роумэн зацепил звено, – удовлетворенно подумал Штирлиц, – его жена славно поработала в Лиссабоне, еще бы – "герр Виккерс" – это Кемп, вот куда он залетел, голубь долгожданный, вот кто та-

кой "Лопес", не зря я начал работу с флангов, хорош бы я был, явись к нему на улицу Санта Анна: "Здрасьте, я ваша тетя!"»

В тот же день Штирлиц отправил письмо Роумэну – по заранее обговоренному адресу. Тайнописью сообщил обо всем, что ему удалось сделать; запрашивал информацию, которую Роумэн получил в Европе. Купив «лейку» (сто семь долларов) и высокочувствительную пленку, сделал на улице нужные фотографии; качество получилось вполне пристойное. Вложил в письмо фотографии трех людей с надписями: «от любящего дяди» (это был Рольф Ритнер, палач из университета), «дружески, на память» («банкир» Нибель), «от верного тебе брата» (профессор Гунман).

...Изо всех предъявленных к опознанию портретов Лангер ткнул пальцем в Нибеля:

– Он приезжает за деньгами...

РОУМЭН (Нью-Йорк, декабрь сорок шестого)

Роумэн брился неторопливо, о ц е н и в а ю щ е, с какой-то особой тщательностью; перед трудным разговором он простаивал в ванной минут по десять; звук скрипящего по коже лезвия действовал на него успокаивающе. Он рассматривал свое изображение в зеркале так, словно перед ним был совершенно незнакомый человек; поглаживал новые морщины, появившиеся за последний месяц, осунулся; лицо, тем не менее, продолжало оставаться округлым.

– Конопушка! – крикнул он, не оборачиваясь. – Ты не находишь, что я несколько оплыл?

Криста готовила завтрак (они остановились в пансионате, где была предусмотрена кухонька с электроплитой и маленьким, но очень вместительным холодильником), откликнулась сразу же, словно бы постоянно ждала его вопроса:

– Ты прекрасно выглядишь.

– Это тебе кажется. Я действительно оплыл.

– Давай проверим почки.

– Они функционируют отменно.

– Может быть, камни?

– Это сердце. Когда я волнуюсь перед д е л о м, у меня молотит сердце и отекают глаза. С моей-то бабьей рожей...

– Если ты еще раз посмеешь так сказать о своем лице, я уйду от тебя. Я считаю, что мой муж самый красивый мужчина на земле! Пожалуйста, не разубеждай меня, это нечестно: либо я вышла за тебя замуж по расчету, либо ты женился на дуре с ужасным вкусом: только безвкусные дуры выходят за мужиков с бабьими лицами.

– Да? Ну, хорошо, – Роумэн улыбнулся своему изображению. – Пожалуйста, повторяй это почаще... Что у нас на завтрак?

– Тебе – омлет с сосиской, стакан апельсинового сока и подогретый хлебец. Мне – кефир.

– Ты и так худая.

– Я не «и так худая», а потому худая, что утром пью кефир, днем

ем вареное яйцо; это позволяет мне пировать с тобою вечером, проклиная себя за это утром. С завтрашнего дня сяду на голодную диету, я вычитала про это новшество в «Балтимор сан».

– Когда меня морили голодом в камере у наци, на третий день ноги и руки сделались совершенно ледяными... Ужасное ощущение... Пожалуйста, не садись на эту дурацкую голодную диету, прошу тебя... Ну-ка, быстро, в каком ухе звенит?

– В левом! – ответила Криста, потому что видела в полуоткрытую дверь ванной, что Роумэн стоял, прижавшись левым плечом к стене; звенит обычно в том ухе, которое ближе к стене, странно. – Угадала?

Звенело в правом ухе.

– Умница, – сказал Роумэн. – Угадала. Слушай, когда мы начнем ссориться, а? Все знающие люди говорят, что после первого месяца супружества неминуемо должна случиться ссора... По пустяку, глупая, но обязательно ссора.

– Мне тоже так говорили. Это бы случилось, не будь ты Роумэном, а я Кристой.

– Не будь я старше тебя на пятнадцать лет...

– Не будь ты умнее меня в семьсот тридцать четыре раза... Я совсем от тебя голову потеряла, когда ты до конца ломал Лангера... А особенно, когда ты сказал, чтобы он сам открыл чулан и привел Ригельта... Они ведь могли оба убежать.

– В обкаканных штанах далеко не убежишь...

Криста засмеялась:

– Сюжет для Уолта Диснея – «волки в обкаканных штанишках».

Роумэн протер лицо одеколоном и вышел в комнату.

– Ты прекрасно сказала: «в штанишках»... Очень по-детски, так маленькие девочки говорят... Я очень гордился – мне тогда было лет шесть, – когда мне начали покупать брюки, а не штаны... Давай завтракать, время. Я должен быть у моего босса секунда в секунду, он педант, и за это я его ценю.

Криста знала, что в номере говорить нельзя. Роумэн предупредил ее, что, вполне возможно, друзья поставили их жилье на запись. Про то, чтобы она упомянула имена Лангера и Ригельта, они договорились заранее, на улице, – так или иначе он будет рассказывать о них Макайру, пусть тот знает загодя, но ни одного другого имени тех, которые они узнали во время стремительной поездки по Европе – Рим, Аскона, Гамбург, Стокгольм, называть не надо; еще рано; все зависит от того, как пойдет разговор в кабинете босса, какова будет его реакция на ту информацию, которую собрали Роумэн, Спарк и Штирлиц.

Криста молча улыбнулась Роумэну, показав глазами на отдушину; он отрицательно покачал головой, кивнув на телефон.

– Знаешь, конопушка, если сегодня разговор пройдет так, как я надеюсь, и мне удастся за неделю закончить дело, мы с тобой, наконец, возьмем отпуск и отправимся на какой-нибудь маленький остров... Чтоб ни души... Сейчас стали рекламировать Сан Блас, всего час лёта от Панамы, крошечные островки в океане, живут индейцы, ловят рыбу и собирают кокосовые орехи. Правда, было бы чудно?

– Я даже боюсь об этом мечтать.
– Всегда надо мечтать о самом прекрасном.
– Только мечтай без оглядки.
– Буду.
– Какой мне надеть костюм?
– Поскольку их у тебя всего два, надень первый.
Роумэн рассмеялся:
– Первый – это серый? Или синий?
– Синий. К твоей седине идет синий цвет.
– А галстук? Серый?
– Красный. Почему все американцы так любят черные костюмы и черные галстуки? Вы одеваетесь, как гробовщики.
– Не оскорбляй нацию. Я патриот.
– Разве можно считать оскорблением замечание, которое продиктовано желанием лучшего?
– Можно, – вздохнул Роумэн и поднялся из-за стола. – Омлет был прекрасен, только ты забыла его посолить, конопушка.
– Правда? Почему же ты не сказал?
– Потому что у нас нет соли. Купи. Ладно? И потом никуда не уходи из дома, портье предупрежден. Двери запри на цепочку. Телефон, куда в случае чего звонить, ты знаешь. Ругай меня.
– Мои друзья из театра говорили иначе: «Пожелай мне счастья и удачи».
– Так это ж актеры, конопуша...

...Выслушав Роумэна, – тот рассказал дело выборочно, Штирлица не упомянув, профессора Танка тоже, – Макайр поднялся и, закинув руки за спину, начал быстро и сосредоточенно ходить по кабинету; лоб разрезала продольная морщина, вокруг глаз собрались мелкие морщинки; остановившись у окна, он тихо сказал:
– Но ведь это ужасно, Пол... Значит, они выжили! Неужели жертвы были принесены понапрасну?
– Нет. Будь наши жертвы напрасными, наци действовали бы открыто. И не только в Европе, но и в нашей стране...
– В какой мере ваши материалы против них носят уликовый характер?
– Против каждого из тех людей, которых я назвал, есть по крайней мере два свидетельских показания. Все они члены НСДАП, люди СС, СД, гестапо или абвера. За каждым из них – преступление. Они должны быть отданы в руки правосудия...
– Легко сказать... Те, кто живет в Германии, – одно дело, там легче... А как быть со Швецией? Или Аргентиной? У нас и так натянутые отношения с Пероном... А Испания? Португалия? Как быть там?
– Очень просто: брать их там и вывозить. И передавать в руки Нюрнбергского трибунала.
– «Вывозить»? Называйте вещи своими именами, Пол... Не «вывозить» и не «брать», а организовывать похищения... И вы прекрасно понимаете, что назавтра же после случившегося государственный

департамент будет завален нотами протеста по поводу вмешательства во внутренние дела Мадрида или Байреса...

– Что вы предлагаете? – Пол нахмурился, полез за сигаретами – плохой признак.

– Ничего. Предлагаю подумать. Есть некоторая разница между вами, человеком, совершившим подвиг, – да, да, я понимаю, каково было собрать подобную информацию, это настоящий подвиг! – и мною, чиновником, который обязан санкционировать действия. Будь проклят мой пост, черт его совсем побери! Как вы отнесетесь к тому, чтобы подключить к операции дипломатов?

– То есть? – Роумэн несколько опешил, достал из пачки «Лаки страйк» сигарету, закурил.

– Пусть наши юристы подумают, как можно побольнее нажать на Аргентину, Испанию, Парагвай... На режимы, скрывающие у себя наци... Чтобы они выдали нам преступников...

– Ну, зачем же так усложнять задачу? – Роумэн тяжело затянулся. – Лучше пошлите телеграммы скрывающимся нацистам, адреса я могу вам сейчас продиктовать, с просьбой добровольно отдаться в руки нюрнбергского правосудия.

– Мне не до смеха, Пол, – сухо заметил Макайр. – Я ошарашен случившимся. Я думаю, как лучше поступить. Думайте и вы.

– Я же внес предложение: я вылетаю с бригадой ваших ребят и привожу всех этих наци в Нюрнберг. Как я это сделаю – моя забота. Риск беру на себя.

– Нет, я беру на себя риск. Я, именно я, Пол, не обольщайтесь. Потому что я подпишу приказ на командирование вместе с вами моей бригады... Я и никто другой... А я не готов к тому, чтобы подписать такой приказ – его попросту не утвердят... Как вы отнесетесь к тому, чтобы попросить совета у Аллена?

– Я считаю это оптимальным.

– Думаете уговорить его на встречу? Он же отошел от дел, сидит в своем «Саливэн энд Кромвэл», делает бизнес...

– А вы не уговорите?

– Боюсь, что нет. Я для него никто. Вы – это вы, за вами история нашей разведки.

– Будет вам, Роберт. Не надо льстить в глаза, я себя чувствую законченным остолопом, потому что не знаю, как на это реагировать.

– Решать, как реагировать, надо, если вам льстят в глаза. А я говорю правду. И вы это прекрасно знаете...

«Зря я на него пёр, – подумал Роумэн, – и я бы, видимо, на его месте всаживал аппаратуру прослушивания в те места, где появляется мой сотрудник, женившийся на бывшем агенте врага... Для профессионала понятия "бывший" не существует... Он ни разу ни словом не посмел даже тронуть Кристу. А может быть, тебе так удобнее себя чувствовать? – спросил себя Роумэн. – Это ведь ужасно, когда недоверие к своим не исчезает, а живет в тебе постоянно. Нет ничего ужаснее, когда ты должен оглядываться и перепроверять каждое слово человека, сидящего напротив тебя. Высшая привилегия гражданина – полнейшее доверие к окружаю-

щим и убежденность в том, что тебе платят тем же. Ничто так не поднимает человека, не вселяет в него уверенность в успехе начинания, ничто так не способствует рождению в нем борцовских качеств, как абсолютное, гарантированное законом доверие. Это угодно обществу – средство против коррозии людских отношений, верный залог выявления в личности всего самого хорошего, что заложено в генах».

Аллен Даллес встретился с Роумэном в маленьком баре на сорок второй улице, после ланча, который он провел с Макайром в своем клубе. Здесь, в этом маленьком баре, он никогда раньше не бывал, масса народа, все проходящие, клиентура случайная, что вполне соответствует конспиративному характеру встречи разведчика отставного, каким он себя представлял знакомым, и разведчика функционирующего, каким он назвал Роумэна, запнувшись самую малость, когда тот к нему позвонил: «Роумэн? Роумэн... Ах, да, Роумэн, ну, как же, конечно, помню! Помню и горжусь, мой дорогой функционирующий разведчик!»

Обсмотрев Роумэна со всех сторон, Даллес пыхнул трубкой, заметив:

– Вы здорово набрали в сравнении с сорок пятым годом. Я вас видел в последний раз в сорок пятом весной, не так ли?

– Именно так, мистер Даллес.

– Что это вы говорите как заштатный адвокат в бракоразводном процессе? Аллен, я для вас Аллен, дорогой Пол.

– Спасибо, я страшно рад, Аллен, что вы нашли для меня время.

– Что будете пить?

– Хайбол.

– Орешки?

– С удовольствием. Только позвольте мне угостить вас, о'кей?

– Спасибо, я никогда не отказываюсь от угощения. Вам чертовски идет седина, завидую. Чем больше я седею, тем отчетливее становлюсь похожим на старую китайскую мышь, которую берегут для обращения в кисточки, столь важные в иероглифописи. А вы начинаете походить на матерого голливудского ковбоя.

– С моей-то круглой мордой?

– Никогда не отзывайтесь дурно о своей внешности, – заметил Даллес. – Это позволит вашим недругам повторять эти слова, и вы не сможете их одернуть: «Мы же цитируем самого мистера икс, он говорил это о себе не далее как вчера, беседуя с мистером игрек!»

Роумэн улыбнулся:

– Мне всегда казалось, что, если ты сам подтруниваешь над своими недостатками, это выбивает козыри у недоброжелателей.

– Зависит от талантливости недоброжелателей, Пол. Кстати, если уж вы меня действительно угощаете, попросите, пожалуйста, крохотный кусочек сыра, люблю сухой сыр.

– С удовольствием угощу вас самым сухим сыром, Аллен.

– Ну, рассказывайте, что стряслось?

– Стряслось то, что по прошествии девятнадцати месяцев после нашей победы нацисты успели воссоздать свою цепь, – Роумэн достал «Лаки страйк» и начал крошить маленькую круглую сигарету.

– Двадцати месяцев, – Даллес вздохнул. – Дальше.

– Это, собственно, главное, – Роумэн несколько смешался от такой реакции собеседника.

– И вас это действительно удивляет?

– Конечно.

– Почему? Вы что, не понимаете, с какого уровня врагом мы имеем дело? Неужели вы всерьез полагали, что шесть миллионов членов НСДАП так легко смирятся с поражением, да еще таким неслыханным? Нельзя быть наивным, Пол. Все, что угодно, только не наивность.

– Больше это похоже на отчаяние, Аллен.

– Ну, это уж совсем стыдно. Неужели вы сомневаетесь в том, что у нас найдутся силы для истребления этих гаденышей?

– Я – нет. Другие – да.

– Кто именно?

– Те люди, от которых зависит принятие решений.

– Вы говорите со мной как с представителем конкурирующей фирмы, Пол. Вряд ли я могу быть вам полезен, если вы не знаете имен. Кто конкретно сомневается в том, что мы обязаны придушить нацистских гаденышей?

– Человек, к которому я в общем-то хорошо отношусь, – Роберт Макайр.

– Хм... Это для меня несколько неожиданно... Не скажу, что я его очень хорошо знаю, но по тем эпизодам, что у меня на памяти, могу судить о нем как о человеке, склонном к волевым решениям.

– Дело в том, что сеть разбросана не только в Германии, но и в Швеции, Испании, Португалии, Парагвае, Аргентине, Бразилии, Швейцарии, Ватикане... Более того, сейчас я собираю улики против синдиката... У меня есть основания полагать, что нацисты нашли подходы и к этим людям...

– А вот это крайне тревожно. Крайне, Пол. Есть имена?

– Да. Некий Пепе. Судя по всему, одна из его фамилий -Гуарази, на контакт с лиссабонским братством прилетал из Нью-Йорка, акцент – бруклинский.

– Так говорит агентура?

– Так говорю я.

Даллес улыбнулся; его жесткое лицо собралось морщинками, подобрело («У него самые счастливые внуки, – подумал Роумэн, – какая радость иметь такого мягкого, но в то же время мужественного деда, человека из легенды; и с Вольфом он говорил не как с генералом Гиммлера, а как с немецким солдатом, это не есть нарушение правил, это по-мужски, Штирлиц неправ, потому что ему-то как раз доносила агентура»).

– Вы думаете, меня это радует? – лицо Даллеса было по-прежнему мягким, морщинистым, усталым. – Меня это, наоборот, печалит. Я вам прочитаю Ян Ваньли, великого китайского поэта, вслушайтесь в его строки, Пол: «Пороги, слепя белоснежною пеной, как

гром, оглушают разгневанным ревом. Потоки воды – изумрудные стены, а волны подобны горам бирюзовым. Подъем по дорогам – над бездной победа, путь вниз по реке – за победу награда. Багорщикам трудно, им отдых неведом, и сердце подъемам и спускам не радо... Нелегок, опасен подъем по порогам! Оставь самомнение, пускаясь в дорогу...»

Читая поэта, Даллес вдруг пожалел, что открылся: китайская литература – это его слабость, это известно только самым близким в его кругу: «Никто больше не имел права знать; ни перед кем нельзя открываться; в разведке порой запрещено верить даже брату – увы, закон профессии. Я становлюсь сентиментальным, первый признак прогрессирующего склероза; я засветил себя, и, если дело пойдет не так, как надо, я многим рискую: Роумэн получил в руку шальной козырь».

– Я не очень-то страдаю самомнением, – ответил Роумэн. – Скорее наоборот.

– Просто, получив данные агентуры, – заметил Даллес, – то есть множество разных мнений, вам было бы легче прийти к более или менее определенному выводу, Пол. А так вы до всего дошли сами. Если вы ощущаете внутри себя гениальность – одно дело, но если вы такой же нормальный человек, как и я, тогда дело плохо. Нормальный человек не может не страдать комплексами. Однако же комплексы свидетельствуют о чрезвычайно увлекающейся натуре, а увлеченность мстит отсутствием должного самоконтроля. А это путь к провалу, Пол. Не сердитесь, я говорю это человеку, к которому отношусь с симпатией.

– Спасибо, Аллен, – мягко улыбнулся Роумэн. – Учту на будущее.

«У него очень хорошие глаза, – подумал Даллес, – чистые, как у ребенка; Макайр прав, – будь проклята наша профессия, без которой любое общество не сможет существовать. Появись хоть какая-то альтернатива, можно было бы отказаться от того, что необходимо сделать. Да, Макайр может отвести его от беды, а должен, наоборот, подтолкнуть его к ней: лучшей кандидатуры на роль тайного коллаборанта ГПУ у нас, увы, нет и вряд ли будет. Линия, протянутая между ним и нацистом Штирлицем, свидетельствует о зловещем заговоре; такого еще не было в нашей практике. Это необходимо обществу, как ни жесток мой план. Боже праведный, за что служение идее требует от человека таких ужасных жертв?!»

– Ваше здоровье, Пол, – сказал Даллес, прикоснувшись губами к виски. – Сыр действительно очень хорош, не думал, что здесь может быть такой соленый, жесткий, деревенский сыр...

Роумэн кивнул.

– Как в Каталонии...

– Я там не был.

– Когда свалят Франко, вы должны туда съездить, Аллен.

– Непременно, – ответил Даллес («Упаси бог, если Франко свалят, это будет трагедия; Испания всегда тяготела к красным; потеря Средиземноморья невосполнима»). – И вы будете моим гидом... Ну ладно, вернемся к стрижке овец... Что за сеть? Направленность?

Численность? Финансовые возможности? Мера авторитетности членов?

Роумэн рассказывал обстоятельно, с трудом удерживаясь от того, чтобы не открыть все. «Я дал честное слово Штирлицу, – сказал он себе, – да, я полностью доверяю Даллесу, кому верить, как не ему? Но я дал слово, и я не вправе его нарушить».

Он прочертил линии связи между Германией, особенно Гамбургом и Мюнхеном («Слава богу, – отметил Даллес, – он не назвал Пуллах[1]»), Асконой, Ватиканом, Испанией, Лиссабоном, Аргентиной, Парагваем, Чили («На ближневосточные контакты он еще не вышел, очень хорошо»); умолчал о «банкире» Нибеле в Кордове (слово есть слово), ничего не сказал о том, что в процессе операции был убит гестаповец Фриц Продль из Освенцима: за этим – Спарк, нельзя распоряжаться всуе жизнью друзей, только собой, это – пожалуйста.

– Любопытно, – сказал Даллес, выслушав его рассказ. – Честно говоря, я не думал, что дело приобрело такой размах... И вы это раскрутили один?

– Я тоже не думал, что дело приобрело такой размах, когда начинал его, – Роумэн ушел от прямого ответа, так же, как и Даллес, прикоснулся губами к стакану с виски, отломил ломтик сухого сыра, но не стал есть, – напряженно слушал, что скажет собеседник.

– Ну, и что же вам ответил Макайр? Помимо того, понятно, что поздравил с феноменальной удачей.

– Он сказал, что дело надо обсмотреть со всех сторон, потому что нам придется вмешиваться во внутренние дела других стран. А для меня Испания сейчас не страна, а поганый застенок. И чем активнее мы туда вмешается, тем будет лучше и для испанцев, и для нас, американцев. Я очень хочу, чтобы мы были первыми, кто принесет им освобождение...

– А кто может им принести освобождение кроме нас?

– Те же русские.

– У вас есть реальные основания так полагать?

– Их встретят с восторгом... Они там оставили о себе добрую память...

– В Аргентину, конечно, лезть трудно, Пол... Почти невозможно... Наши позиции там весьма шатки... Слушайте, а почему вы считаете, что мы вообще должны лезть? Если вы взяли в кулак такое звено, тогда вся их работа станет подконтрольной. Это же нам в тысячу раз выгоднее, чем разом их всех прихлопнуть...

Роумэн словно бы споткнулся, ответил с болью:

– Именно об этом Макайр прислал мне в Мадрид телеграмму месяцев семь назад.

– Вы так давно вышли на сеть?

– Нет, тогда еще не вышел... Просто он уже тогда считал возможным обращать наци в нашу агентуру...

– Вы с этим не согласны?

– Нет.

[1] Пуллах – штаб-квартира Гелена.

– Почему?

– Потому что нацизм – это зараза, Аллен. Это оспа, чума, холера... Они прокаженные, понимаете? Они несут в себе фермент умирания общества... Любого общества... Их надо обезвреживать – чем быстрее, тем лучше...

– Это как?

– Обезвреживать, – повторил Роумэн, поняв вдруг, что он не готов к ответу, поэтому сказал упавшим голосом: – Обезвреживать, Аллен.

Тот согласно кивнул:

– Прекрасно, прекрасно, с этим я не спорю. Меня занимает тактика, стратегию я приемлю. Что надо сделать? Арестовать? Похитить? Устранить на месте? Требовать вынесения заочного приговора, передав на них информацию в Нюрнберг? Ваше предложение?

– Их надо вывозить... Сюда... Они здесь назовут недостающие звенья... А их звеньев – громадное множество, и они опасны...

– Чем? Помимо того, что нацизм – проказа, чем конкретно они опасны для этой страны?

– Они функционируют не просто так, не абы общаться друг с другом, Аллен...

– Вот я и интересуюсь: во имя чего они общаются? Вы предлагаете заняться выяснением этого вопроса, выкрав их и посадив за решетку. Я предлагаю то же самое, но не выкрадывая их, а внедряя в их сеть наших людей, которые поймут самое важное надолго вперед.

– У вас есть такие люди? – спросил Роумэн: – Назовите их. Я, пожалуй, поддержу такой план, хотя мне он, признаться, не по душе.

– Во-первых, у меня нет людей, потому что я «экс»-разведчик, Пол. Я не у дел, и меня это не очень-то огорчает; работая в моей конторе, я приношу не меньше пользы этой стране, чем в ту пору, когда мы служили в Берне. Если я когда-либо понадоблюсь Штатам, меня позовут, и я не посмею отказаться, хотя, повторяю, я мечтал бы до конца дней моих сохранить ту позицию, которую я теперь занял в бизнесе. Во-вторых, объясните мне, отчего вам этот план не по душе? Только без эмоций, ладно? Про опасность проказы вы говорили, я согласен, но мы с вами привыкли к риску, да и прокаженных лечат врачи, а они тоже люди, как вы и я.

– Они их не лечат. Они смотрят за ними и облегчают страдания. Вылечить проказу нельзя. Мне это дело не по душе потому, что можно упустить время, Аллен. Зараза разрастется. Раковую опухоль надо устранять как можно раньше, пока она не разрослась...

– Позиция, – согласился Даллес. – У вас – своя, у меня – своя. Они, видимо, не пересекаются. Тогда вам надо обязательно, непременно настоять на своем. «Да, конечно, – обязаны вы сказать Макайру, – я подбрасываю вам много хлопот с похищением мерзавцев, да, видимо, мы не имеем права выходить с этим к руководству департамента...»

– Он поправит меня: «Не “мы”, а “я”»...

– Вы обязаны с этим согласиться, Пол. Ведь он скажет правду, если, конечно, скажет... Я продолжу?

Роумэн смущенно улыбнулся:

– Простите, Аллен.

– Пустяки, я понимаю ваше волнение... Мне легче быть хладнокровным, я не перенес ужаса нацистских застенков... Мне, однако, приходилось пожимать руки мерзавцам из СС, смешно оправдываться незнанием, да и вряд ли кто в это поверит... Мне приходилось считать минуты, пока не вымоешь пальцы горячей водой с мылом, – Даллес отщипнул маленький кусочек сыра, положил его под язык, вздохнул. – Буду ходить сюда покупать этот сыр: чертовски вкусно, запах фермы, символ спокойствия, возвращения в детство... Так вот, вы обязаны указать Макайру, что необходимость похищения выявленных вами нацистов продиктована не одной лишь вашей к ним ненавистью, вы в этом не оригинальны, их ненавидит сейчас все человечество, сейчас такого рода ненависть даже поощряется... Нет, дело в том, чтобы преступников открыто назвать преступниками, и это должен сделать не кто-нибудь, а именно мы, наша страна, исповедующая принципы демократии и гуманизма... Нажмите на пропагандистский аспект вопроса, Пол...

– Но тогда Макайр переадресует меня на радио или в «Нью-Йорк таймс», Аллен! Он скажет, что департамент не занимается пропагандой, и будет прав... Если бы вы поддержали меня, Аллен... Достаточно вашего звонка – и Макайр подпишет все, что он должен подписать...

– Думаете, он прислушается к моим словам? – недоверчиво усмехнулся Даллес.

– Он порекомендовал мне встретиться с вами. Вы для него непререкаемый авторитет...

– Сколько времени вам нужно на подготовку операции?

– Все готово.

– Проведете в одиночестве?

– Втроем. Или вчетвером. План разработан, – Роумэн постучал себя по виску, – все здесь, все – до мелочей.

– Кроме одной, – лицо Даллеса снова сделалось жестким, непроницаемым. – Какая тюрьма в Штатах примет их? На каком основании?

– Их примут в Нюрнберге.

– Убеждены?

– Абсолютно.

– Их примут русские, – возразил Даллес. – Это верно. Они и примут, и помогут, это вполне реальная сила.

– Вы против?

– Разве я так сказал? – удивился Даллес. – Хорошо, Пол, я попробую позвонить Макайру, но, пожалуйста, не обольщайтесь по поводу меры моего влияния на него...

– Да, он звонил, – Макайр выглядел усталым, лицо помятое, хотя, как всегда, тщательно – до синевы – выбрито. – Еще вчера.

Как я его понял, вы берете на себя организацию всей операции?

– Да.

– Какая нужна помощь с моей стороны?

– Нужна санкция, Роберт.

– Вы ее получили.

– Спасибо. Это чертовски здорово, у меня камень свалился с сердца...

– Ваш камень свалился мне на голову, – Макайр хмуро улыбнулся. – Не знаю, кто вам взваливал его на грудь и как вы его на себе носили, но у меня, чувствую, на макушке растет страшная шишка... В подробности вашей операции посвятите сейчас или накануне вылета? Да, кстати, с моей бригадой дело очень сложное... Я не убежден, что...

– В таком случае я вылечу один.

– Вы сошли с ума? Что вы сделаете один? Хотите брать ваших подопечных по очереди? Розошлете телеграммы: «Пока я буду похищать Франца, Герберту и Гуго не выходить из дома»?!

Роумэн рассмеялся:

– Удар будет нанесен одновременно. В Германии я полагаюсь на помощь армии, там будет хлопотно, девятнадцать людей СД и гестапо, брать их надо в один час, вы правы... В Лиссабоне надо будет выкрасть только одного, это для меня сделают те, кто знает, как работать такого рода комбинации... В Мадриде я задействую испанскую тайную полицию... Через час после того, как дело будет сделано в Старом Свете, я вылетаю в Аргентину...

– Куда именно?

– Я отправлю вам телеграмму перед вылетом, Роберт. Возможно, там мне понадобится помощь. Я смогу обратиться к Джону Джекобсу? Он же по-прежнему похваляется, что представляет на юге континента вас, только вас и никого, кроме вас...

– Он ревнив и будет вам мешать, Пол. Обращайтесь в посольство, к военным, я попробую с ними договориться... К Джекобсу не следует... Да, ведь и вы знаете, что он отстаивает идею, прямо противоположную вашей: нацистов надо бесстрашно использовать, они подготовлены к работе и подготовлены великолепно... И с точки зрения трат – на них можно экономить, работают... готовы работать за одно лишь то, что мы их не выдадим трибуналу... Вы знаете, как я отношусь к этому, но я не хочу выламывать руки моим противникам, пусть Джекобс сам обожжется... Самый противный вопрос: сколько на это нужно денег?

– Семь тысяч долларов.

– Вы сошли с ума? – устало спросил Макайр.

– Роберт, мне очень неловко, но я подсчитал все и экономил на чем мог...

– Я приготовил для вас десять тысяч, но был убежден, что вы едва-едва уложитесь в двадцать... Пол, я очень прошу вас, продумайте все еще раз... Давайте погодим лишнюю неделю, возьмите пару ребят отсюда, пусть я схожу в Каноссу, пусть об меня вытрут ноги наши скряги из финансового управления, но все же вы избежите такого риска, на который идете... Это неоправданный риск, Пол... Лавры по-

бедителя и так достанутся вам, это ваша победа, никто не посмеет на нее покуситься, – последний раунд вашей борьбы против наци, но мне хотелось бы, чтобы вы получили приз, вы, а не ваша вдова...

– Мне этого хочется не меньше, чем вам.

– Смотрите... Моя настойчивость может быть неверно понята, я не хочу навязываться в соавторы вашей победы... Смотрите, Пол. Тогда – последнее. Это по-прежнему – теперь даже в большей мере, чем раньше, – ваша операция, только ваша и никого другого... Будет очень славно, если вы сейчас напишете заявление с просьбой об увольнении... И датируете его любой удобной для вас датой – днями десятью, девятью тому назад. Вы понимаете, что мне – как чиновнику – это необходимо?

Роумэн растерялся:

– Не очень.

– Объясняю: в случае, если произойдет какая-то неувязка, я предам вас, Пол. Я буду обязан это сделать. Штаты не вправе подставляться, если вы проиграете и вас арестуют во время похищения нацистского креза в Мадриде... Я должен буду прокомментировать эту новость – стучу по дереву, чтобы ее не было, – следующим образом: «Мистер Роумэн не является сотрудником разведки с такого-то и такого-то числа, все его поступки представляют собой личную инициативу упомянутого джентльмена, ответственность за действия которого не несет ни одно правительственное учреждение Соединенных Штатов».

– Мне это не очень нравится, Роберт.

– Мне тоже. Поэтому я снова предлагаю: садитесь в мой кабинет, разрабатывайте операцию, будем пытаться ее утвердить на самом верху, – в чем, правда, я мало уверен, – берите моих людей, готовьте их к делу, летите вместе: тогда мне придется быть повязанным с вами – волей-неволей...

– Сколько шансов, что вы утвердите этот план у начальства?

– Десять из ста.

Роумэн вынул из кармана португальскую самопишущую ручку, взял со стола Макайра лист бумаги и написал заявление.

Тот спрятал его в сейф, достал оттуда пачку денег, протянул их Роумэну, заметив при этом с горестным сожалением:

– Вы что-то скрываете от меня, Пол... Это ваше право, я не навязываюсь в друзья, но все же мне кажется, что вы делаете глупость...

ШТИРЛИЦ (Кордова, сорок шестой)

Он купил субботнее приложение к журналу, издававшемуся в Буэнос-Айресе, не случайно: на обложку были вынесены крупные заголовки: «Подкомитет, созданный Советом Безопасности для сбора документации о ситуации в Испании, благодаря тому, что русский посол Громыко воздержался от голосования, все-таки намерен передать дело по обвинению Франко на Генеральную Ассамблею ООН! Но мы не допустим обвинения Франко на этом форуме!», «Попытки русских нанести удар по генералиссимусу Франко будут

[1] «Арриба Испания!» – официальное приветствие фалангистов.

блокированы англо-американцами!», «Западные демократии не позволят Москве ударить по каудильо!», «Европейский бастион антикоммунизма выстоит!», «Арриба Испания!»[1]. Более мелким шрифтом было набрано: «Сокращенная стенограмма сенсационной схватки в Совете Безопасносати! Образец стойкости западных демократий! Громыко – человек "вето"! Попытки русского посла заставить Совет Безопасности принять немедленное решение против каудильо получают отпор со стороны янки, англичан и австралийцев!»

Штирлиц сел на лавочку неподалеку от той площади, где по субботам обычно собирались художники – местный Монмартр; неторопливо закурил, с наслаждением затянулся и углубился в изучение документа.

...Начиная с тридцать четвертого года, когда вместо рейха, демонстративно вышедшего из Лиги Наций, туда приехала советская делегация и Литвинов, полный, внешне похожий на большого, доброго плюшевого мишку, начал вбивать свои резолюции, направленные против фашизма, за мир и коллективную безопасность, Штирлиц внимательно следил за работой международного форума, поражаясь той позиции, которую заняла западная дипломатия. Он, находившийся в Германии Гитлера, видел воочию, что безнаказанность прямо-таки подвигала фюрера на агрессию; порой казалось, что его подталкивали к самоутверждению в абсолютной вседозволенности, – нет ничего страшнее этой отвратительной человеческой функции, сделавшейся государственной стратегией национал-социализма...

И сейчас, приступая к исследованию документов, собранных еще с весны сорок шестого года, – с р а ж е н и е против Франко началось не вчера, а вскоре после фултонской речи Черчилля, когда в Америке стали в о р о ч а т ь с я всяческие Маккарти, – Штирлицу надлежало понять т е н д е н ц и ю, ибо, судя по заголовкам, столь броско поданным в газете Перона, речь шла не о чем-либо, а о первом открытом столкновении тех, кто звал немедленно покончить с остатками фашизма на земле, с определенными, весьма могущественными силами, рассчитывавшими на Франко как на резерв, который может быть введен в игру – в нужный момент и при соответствующих обстоятельствах. Политик, Штирлиц отдавал себе отчет, что для реакции дело отнюдь не в существе режима Франко; речь идет о военном балансе: после того, как англичане совсем недавно высадили свои оккупационные войска в Греции – недалеко от границ Советского Союза, вмешавшись в гражданскую войну; в те дни, когда Вашингтон все более бесцеремонно оказывал нажим на Рим, с тем чтобы из правительства были удалены коммунисты во главе с Пальмиро Тольятти, то есть те люди, которые внесли главенствующий вклад в дело антифашистской борьбы, когда такого же рода нажим продолжался и на Париж, чтобы заставить де Голля вывести из кабинета Мориса Тореза, защита Франко становилась также одной из форм сражения за доминирующую роль англо-американского присутствия на Средиземноморье с целью запереть Россию в Черном море, – стратегия девятнадцатого века, все возвращается на круги своя. «Но неужели военные в Штатах, – подумал Штирлиц, – успели набрать такую силу,

что могут диктовать свою волю политикам? Как не вертись, но защита фашизма неотмываема! Неужели солдафонство сделалось столь сильно там, что вопросы политической этики – а она формулируется не на год, а на эпоху – уже отошли на второй план, уступив место стратегии силы?!»

«А. А. Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Собранные Подкомитетом материалы, поступившие от стран – членов Организации Объединенных Наций и от испанского республиканского правительства Хираля, полностью подтверждают правильность обвинений, выдвинутых против режима Франко представителем Польши в его письмах на имя Генерального секретаря. Многочисленные факты, приведенные в вышеупомянутых документах, подтверждают, что существование фашистского режима Испании представляет серьезную угрозу для поддержания мира и что поэтому положение в Испании нельзя рассматривать как чисто испанское дело. Это положение, поскольку оно чревато серьезными последствиями для мира, не может не являться предметом тщательного рассмотрения Советом Безопасности с целью принятия соответствующих мер, предусмотренных Уставом Организации Объединенных Наций.

Известно тесное сотрудничество германской и испанской военной разведки в период войны. По этому вопросу мной были переданы копии заявлений генерал-лейтенанта Гюнтера Краппе, бывшего германского военного атташе в Мадриде, и полковника Ганса Реннера, бывшего германского военного атташе в Танжере. Оба являются теперь военнопленными и находятся в Советском Союзе. Эти заявления представляют интерес в том отношении, что раскрывают как сам факт, так и степень сотрудничества германской и испанской разведки, направленного против союзников.

Вчера я получил из Москвы по бильд-аппарату копию довольно интересного документа. Этот документ представляет собой заявление генерал-лейтенанта Бамлера, бывшего начальника третьего отдела разведывательной германской организации, так называемого абвера. Генерал Бамлер был одним из ближайших сподвижников адмирала Канариса, имя которого известно по Нюрнбергскому процессу. Генерал Бамлер вскрывает связи Франко с германской разведкой. Оказывается, что связи эти идут довольно далеко. Они были установлены задолго до гражданской войны в Испании.

Вот что говорит генерал Бамлер: "Франко, предоставляя в распоряжение Канариса свои связи, дал ему возможность развернуть работу германской разведки в Марокко. Таким образом Франко стал важным звеном в структуре германской разведки". И далее Бамлер говорит следующее: "Как уже отмечалось выше, Канарис лично руководил и осуществлял связь со своими важнейшими агентами. К их числу в Испании относились: министр внутренних дел и полиции в правительстве Примо де Ривера – генерал Мартинес Анидо, а также Франко".

И далее, касаясь своих бесед на эту тему с Канарисом, Бамлер пишет в своем заявлении следующее: "В беседе об этих событиях Канарис высказал мне сожаление по поводу смерти Мартинеса Анидо,

так как он не считал Франко его равноценной заменой". По словам Канариса, Франко не обладал ни военным талантом, ни талантом государственного деятеля. При данных условиях он являлся все же наиболее подходящим человеком для осуществления германских интересов, так как своим долголетним сотрудничеством доказал, что на него можно положиться. Это заявление, которое написано, как я уже указал, одним из ближайших сподвижников адмирала Канариса, представляет большой интерес с точки зрения действительных связей между Франко и фашистскими гитлеровскими кругами в Германии.

Не менее сильным является продолжающееся влияние немцев в так называемой культурной области. Чтобы оценить значение этого влияния, достаточно отдать себе отчет в том, какое содержание вкладывают германские фашисты, да и вообще фашисты, в понятие "культура". Разве не известны слова Геббельса, заявившего в свое время: "Когда я слышу слово "культура", то я хватаюсь за рукоятку своего револьвера"?

Влияние германского фашизма как в области экономики, так и в других областях подчеркивает особую опасность, которую представляет Испания Франко как фашистское гнездо. Первым шагом, могущим сыграть положительную роль в решении испанской проблемы, может быть разрыв дипломатических отношений всех государств – членов Организации Объединенных Наций с Франко. Ситуация в Испании такова, что она уже требует не только морального осуждения режима Франко, но и практических действий в соответствии с Уставом Организации. Иначе Совет Безопасности не выполнит своих задач, которые диктуются существующей обстановкой. Иначе Совет Безопасности будет похож на форум для обсуждения данного вопроса, а не на высокоавторитетный орган, принимающий решения, назначением которых является устранение возникающей угрозы миру.

В заключении Подкомитета содержится важное, но неправильное предложение. Я имею в виду пожелание Подкомитета не принимать решения в Совете Безопасности о разрыве дипломатических отношений с Франко, а рекомендовать вынести такое решение Генеральной Ассамблее, имея, вероятно, в виду очередную сессию Ассамблеи. Это предложение имеет два недостатка:

Во-первых, оно противоречиво по своему характеру. С одной стороны, Подкомитет считает, что Совет Безопасности не имеет права выносить в данном случае решения о разрыве отношений с Франко, исходя из указанного выше неправильного утверждения, будто бы ситуация в Испании в настоящее время не представляет угрозы миру. С другой стороны, Подкомитет считает необходимым разрыв отношений с Франко, даже с оговорками, которые сделаны в последнем варианте предложенной сегодня резолюции, рекомендуя, однако, чтобы этот разрыв был осуществлен Генеральной Ассамблеей. Противоречивость этого предложения налицо.

Во-вторых, утверждая, будто бы Совет Безопасности в данном случае не имеет права выносить решения о разрыве отношений с Франко, и рекомендуя сделать это Ассамблее, Подкомитет в отношении данного вопроса как бы меняет местами Совет Безопасности

и Генеральную Ассамблею. На Совете Безопасности лежит главная ответственность за поддержание мира, и в силу этого именно Совет Безопасности должен и призван разрешить вопрос о мероприятиях по отношению к режиму Франко.

Советская делегация по-прежнему считает, что предложение о вынесении Советом Безопасности решения о разрыве дипломатических отношений с Франко является абсолютно правильным и обоснованным.

Сэр Александр Кадоган (Соединенное Королевство): Я согласен с представителем Польши, который заявил, что у него нет намерения помешать Ассамблее рассмотреть этот вопрос. Поэтому было бы, пожалуй, возможно указать в пятом абзаце предложенной им резолюции: "Совет Безопасности... постановляет держать ситуацию в Испании под непрерывным наблюдением...", после чего я бы включил слова: "впредь до сессии Генеральной Ассамблеи..." Если представитель Польши согласится на включение этих слов, то это разрешит мои сомнения. Я должен сказать, что и я сам, и Совет, надеюсь, также поймем это в том смысле, что, когда соберется Ассамблея, Совет Безопасности будет обязан в силу этой поправки снять вопрос с повестки дня и передать его в Ассамблею. Если представитель Польши может принять эту поправку, то я, со своей стороны, смогу принять соответствующую часть его резолюции.

При условии внесения этих поправок я мог бы принять всю резолюцию, за исключением той части, на которую уже обратил внимание представитель Австралии и где говорится, что, согласно расследованию Подкомитета, "фашистский режим Франко представляет серьезную угрозу поддержанию международного мира и безопасности". Как и представитель Австралии, я считаю это неверным. Расследование Подкомитета отнюдь этого не установило.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Поправка, предложенная господином Кадоганом, совершенно устраняет основной смысл и основное содержание резолюции, предложенной представителем Польши господином Ланге.

Господин Ланге рекомендует, чтобы Совет Безопасности, оставив испанский вопрос в повестке дня, решил, какие меры он в дальнейшем может принять в связи с рассмотрением испанской проблемы.

Значит, согласно проекту, Совет Безопасности решит, какие меры он должен принять... Господин Кадоган предлагает, чтобы Совет Безопасности вынес решение передать этот вопрос в Генеральную Ассамблею.

Я считаю, что было бы неправильным в настоящее время соглашаться, с одной стороны, на то, чтобы испанский вопрос остался в повестке дня, а с другой стороны, заявить, что когда Совет Безопасности возвратится к этому вопросу, то он должен передать испанский вопрос в Генеральную Ассамблею. Одно другое исключает. Одно положение противоречит другому. Если Совет оставляет этот вопрос в повестке дня, то, следовательно, он должен принять меры и вынести решение. Если он не оставляет этого вопроса в повестке дня, тогда он допускает грубейшую ошибку, несовместимую с прин-

ципами Устава, требующими, чтобы Совет Безопасности был начеку и обеспечивал мир. По соображениям, которые я высказал, я, к сожалению, не могу дать согласия на принятие поправки, которая была предложена господином Кадоганом.

Г-н Пароди (Франция): Я понял предложение Польши не совсем так, как его только что изложил представитель СССР. Я понимал, что предложение господина Ланге имеет в виду держать испанский вопрос под непрерывным наблюдением Совета Безопасности, как сказано в английском тексте, до того момента, пока он не будет снова возбужден в Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее, но это не означает, что Ассамблея сама не может принять вопрос к рассмотрению.

Поэтому, следуя моему личному убеждению и при условии, быть может, внесения некоторых чисто редакционных изменений, я поддерживаю поправку, внесенную сэром Александром Кадоганом.

Г-н Джонсон (Соединенные Штаты Америки): Я не считаю сколько-нибудь целесообразным снова объявлять об отношении правительства Соединенных Штатов к режиму Франко. Об этом говорилось неоднократно ясным и определенным образом. Я только хочу сказать, что не смогу принять предложения представителя Польши, если не будет принята поправка сэра Александра Кадогана, дабы установить совершенно определенным образом, что Ассамблее предоставляется полная свобода в отношении рассмотрения этого вопроса.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Мне кажется, что вопрос в результате дискуссии не стал яснее, чем он был вначале. Я бы сказал, что он стал еще более неясным. Дело в том, что резолюция, предложенная господином Ланге, не содержит никакого положения, которое бы говорило, что Генеральная Ассамблея ни при каких условиях не будет обсуждать этого вопроса. Такого пункта не содержится в резолюции господина Ланге. Но согласиться с предложением господина Кадогана – это значит уже сейчас решить вопрос о том, что Совет Безопасности, когда он возвратится к рассмотрению испанской проблемы, должен передать этот вопрос Генеральной Ассамблее... Вот что означало бы принятие поправки господина Кадогана. Спрашивается: для чего же тогда испанский вопрос оставлять в повестке дня Совета Безопасности?

Г-н Ланге (Польша): Есть причина, побуждающая меня возражать против поправки сэра Александра Кадогана. Заявить сейчас, что в определенный день дело будет передано Ассамблее, равносильно некоторым образом лишению Совета Безопасности его компетенции. Уже было сказано, что мы не будем обсуждать вопрос в определенный день, и я никоим образом не желаю причинить ущерб компетенции Генеральной Ассамблеи. В то же время я настаиваю на сохранении за Советом Безопасности полной его компетенции по данному делу. Я думаю, что в своем предыдущем выступлении представитель СССР имел в виду именно это, и я вполне разделяю его мнение...

Наш Председатель внес весьма интересное предложение – дать

представителям время переговорить друг с другом и выработать общий подход к делу...

Г-н Эватт (Австралия): Я согласен с предложением господина Ланге попытаться выработать резолюцию, приемлемую для всех. Из его слов я заключаю, что он не намерен ни препятствовать Генеральной Ассамблее осуществить свою компетенцию, ни обойти заключение Подкомитета. Таков смысл его речи. Я полагаю, что можно будет найти формулу, на которую мы все могли бы согласиться, и сделаю со своей стороны все возможное, чтобы в этом помочь.

Председатель: Представитель Польши предложил назначить комитет. Он предоставляет мне решить, будет ли этот комитет состоять из трех, четырех или пяти членов. Он и подготовит проект резолюции.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Я прошу Председателя разъяснить, которое из предложений будет голосоваться первым. Мне представляется, что первым должно голосоваться предложение господина Ланге, ибо оно было представлено первым. После этого должно голосоваться предложение господина Эватта и господина Кадогана.

Председатель: Я совершенно определенно указал на то, что предложение сэра Александра Кадогана является поправкой к последнему предложению, внесенному представителем Польши. Поэтому я собираюсь поставить на голосование оба проекта резолюций...

Г-н Эватт (Австралия): Данный текст является поправкой к польской резолюции, и в его основу положена часть этой резолюции, а потому я прошу, чтобы этот текст был поставлен на голосование первым.

Председатель: Я решил, что это поправка, и поставлю его на голосование первым.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Я хочу заявить, что я не согласен рассматривать предложение господина Кадогана и господина Эватта в качестве поправки к резолюции господина Ланге. Я считаю, что это есть самостоятельное предложение, в котором мало что осталось от предложения господина Ланге.

Председатель: Я прошу Совет решить, считает ли он предложение большинства за поправку.

Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты:

За: Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция.

Против: Польша, Союз Советских Социалистических Республик.

Председатель: Таким образом, предложение большинства рассматривается как поправка, и теперь я ставлю на голосование текст.

Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты:

За: Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция.

Против: Польша, Союз Советских Социалистических Республик.

Председатель: Измененный проект резолюции принимается.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Ваше заявление, будто резолюция принята, я считаю результатом недоразумения. Резолюция отклонена ввиду того, что один из постоянных членов Совета голосовал против этой резолюции. Один непостоянный член Совета Безопасности также голосовал против этой резолюции.

Резолюция эта не является процедурной. Она имеет дело с вопросами существа... Я решительно заявляю, что резолюция не является одобренной, она является отклоненной, каковой ее и следует считать.

Если бы было возражение против этого утверждения, то я бы потребовал от Совета решения вопроса о том, является ли этот вопрос вопросом существа или вопросом процедуры. В зависимости от решения и интерпретации, которая будет вами дана, будет зависеть дальнейшее решение данного вопроса...»

Штирлиц оторвался от текста, полез за сигаретами, закурил и только после этого улыбнулся: «Лихо мы их посадили! Прямо как медведя на задние лапы! Не очень-то я себе представляю, как бедный Кадоган выкрутится. Трудно. Процедура или существо?! Каждый, кто может думать, ответит: "существо"; ответивший иначе – солжет».

Штирлиц затянулся, по-прежнему удовлетворенно улыбаясь, словно бы не читал стенограмму, а сам присутствовал на этой бескровной битве в Нью-Йорке; вспомнил Монтеня; «Действительно, лживость – гнуснейший порок, свидетельство презрения к богу и страха перед людьми. Наше взаимопонимание осуществляется через слово; тот, кто извращает его, – предатель по отношению к обществу; слово – единственное орудие, с помощью которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и чувствах, толмач нашей души; если оно обманывает нас, делается невозможным всякое общение человека с себе подобными. С какого времени возникло обыкновение тщательно взвешивать наши слова, сообразуя их с понятием чести? У греков и римлян этого не было... Цезаря нередко честили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг на друга потоки брани, причем за слова у них расплачивались только словами, и эта перепалка не влекла за собой иных последствий...

Хорошее было время, – подумал Штирлиц, вздохнув, – в Нью-Йорке каждое слово чревато последствиями, да еще какими...»

«Председатель: Основной пункт резолюции заключается в том, чтобы вопрос был оставлен на повестке дня. Это – вопрос процедуры. Если, по мнению представителя СССР, в остальной части резолюции имеется что-либо, относящееся к существу вопроса, то он может указать на это, и мы это обсудим.

Г-н ван Клеффенс (Нидерланды): По моему личному мнению, не может быть никакого сомнения в том, что это вопрос процедурный.

Г-н Эватт (Австралия): Не может быть лучшего примера процедурного вопроса. Поэтому я считаю, что если кто-нибудь заявляет, что это не процедурный вопрос, то прежде всего мы должны поставить это на голосование, а также подвергнуть голосованию правильность председательского постановления.

Председатель: Мы можем немедленно приступить к голосованию. Тех, кто поддерживает постановление о том, что этот вопрос является процедурным, прошу поднять руку.

Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты:

За: Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки.

Против: Союз Советских Социалистических Республик, Франция.

Воздержались: Польша.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Какое заключение из этого голосования сделает Председатель?

Председатель: Два постоянных члена Совета, Советский Союз и Франция, решили, в противовес остальным, что это вопрос существа.

Г-н Пароди (Франция): Я сожалею, что наше сегодняшнее заседание достигло настоящей стадии. Думаю, что у тех, кто сражается за свободу Испании, значительно меньше оснований для радости, чем у генерала Франко.

Что касается вопроса процедуры, который мы в настоящее время рассматриваем, а именно, содержит ли данная резолюция только вопросы процедуры или же и вопросы по существу, то я бы хотел, чтобы господин Громыко объяснил нам точно, что он в данном случае подразумевает под вопросами процедуры и вопросами существа.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Непроцедурным является утверждение, будто ситуация в Испании такова, что она способна лишь повести в дальнейшем к угрозе миру. Этот тезис противоречит позиции, которую занимают советская делегация и некоторые другие делегации, утверждающие, что ситуация в Испании в настоящее время представляет угрозу миру. Что же здесь процедурного?

Содержится утверждение, гласящее, что оставление испанского вопроса в повестке дня Совета Безопасности не затрагивает права Генеральной Ассамблеи рассматривать этот вопрос. Причем интерпретация этому положению дается такая, согласно которой Генеральная Ассамблея может рассматривать испанский вопрос и предпринимать действия безотносительно к тому, будет ли он передан Генеральной Ассамблее Советом Безопасности или не будет передан, то есть безотносительно к тому, будет ли Совет Безопасности рассматривать испанский вопрос или нет. Что же здесь процедурного?

Г-н Эватт (Австралия): Как я понимаю, положение сводится к следующему: несмотря на решение, вынесенное девятью голосами против двух, Председатель решает теперь — в результате этих двух голосов, — что вопрос не является процедурным.

Выходит так, что Председатель считает решение господина Громыко обязательным для Совета, так как последний не согласился с подтвержденным большинством Совета председательским постановлением о том, что это вопрос процедурный. Я считаю, что подобное положение не может быть оставлено без внимания. Я не думаю, чтобы сегодняшнее заседание было подходящим случаем для дальнейших прений по вопросу точной интерпретации, ибо действительно державы-инициаторы вынесли в Сан-Франциско свое в этом смысле постановление. Но, как на это указал господин ван Клеффенс, это постановление не было принято каким-либо авторитетным органом в Сан-Франциско; оно не было принято ни каким-либо комитетом, ни какой-либо комиссией, ни самой Конференцией на ее открытом заседании, и против правильности этого постановления были заявлены протесты.

Сэр Александр Кадоган (Соединенное Королевство): У нас первоначально имелась польская резолюция, содержащая абзац относительно условий, на которых этот вопрос должен быть оставлен на повестке дня Совета. Это не для всех было приемлемо, и поэтому это было передано редакционному комитету для выработки доклада, который был представлен нам сегодня. Он был принят подавляющим большинством. Господин Громыко своим отрицательным голосованием не дал этому решению вступить в силу. Затем он делает другое предложение. Он не только не дает этому решению вступить в силу, но он хочет – простите за вульгарное выражение – "всучить" нам также абзац первоначальной польской резолюции, который для большинства неприемлем...»

«Эк разнервничался, – подумал Штирлиц, – совсем не дипломатично заговорил сэр Кадоган». Снова вспомнил Монтеня, когда тот писал об упрямых женщинах: они приходят в бешенство, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, никак не разделяя их возбуждения. Оратор Целий был по природе необычайно раздражителен. Когда он ужинал с одним знакомым, человеком мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять все, что бы он ни говорил, во всем с ним соглашаясь. Не выдержав отсутствия повода для гнева, Целий под конец взмолился: «Во имя богов! Будь же хоть в чем-то несогласен со мною, чтобы нас было двое!» Точно так же и женщины: они гневаются только с одной целью – вызвать ответный гнев, это вроде взаимности в любви... Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Фокиона и обрушился на него с резкой бранью, Фокион замолчал, дав ему излить ярость. После того, ни словом не упомянув о происшедшем, он продолжил свою речь с того самого момента, на котором его прервали. Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание... «Ай да Монтень, – подумал Штирлиц, – он чувствовал будущее именно потому, что блистательно знал прошлое. Мы хотим превратить Совет Безопасности в действенный инструмент мира, поскольку слишком хорошо знаем историю Лиги Наций. Что ж, позиция – не сдвинешь, но как же эта позиция нервирует партнеров Громыко, а?!»

«Г-н Эватт (Австралия): То, что здесь происходило, совер-

шенно очевидно: применено право "вето", и оно будет применяться до тех пор, пока не останется только одно предложение – предложение, которое поддерживается господином Громыко. Если Совет готов это одобрить, то я, со своей стороны, на это не согласен и буду голосовать против.

Г-н Ланге (Польша): Я очень сожалею, что испанский вопрос совершенно запутан и, я сказал бы даже, искажен разного рода юридическими вопросами. В начале нашего обсуждения я имел случай указать, что, как ни важны юридические положения, они должны служить нашим целям, а не руководить ими.

А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Господин Кадоган в своем выступлении выразил опасение, что если моя поправка не будет принята, то я не дам согласия на остальной текст. Господин Эватт выразил то же опасение. Я думаю, что это недоразумение. Господин Эватт и господин Кадоган ломятся в открытую дверь. Дело в том, что если моя поправка не была бы принята, то это не значит, что я, не давая согласия на остальной текст, могу не допустить принятия этого текста. Мы же говорим уже на протяжении часа, что эта часть резолюции является процедурной. Откуда эти опасения? Это недоразумение.

Г-н Джонсон (Соединенные Штаты Америки): Я хочу выразить мое общее согласие с позицией господина Эватта. Я должен заявить Совету, что я не могу поддержать какое-либо изменение в этой резолюции, которое могло бы помешать Генеральной Ассамблее вынести те рекомендации, касающиеся ситуации в Испании, которые она сочтет нужными.

Председатель: Я прошу господина Громыко зачитать его предложение.

А.А.Громыко: "Принимая во внимание, что Совет Безопасности назначил Подкомитет для расследования ситуации в Испании, и принимая во внимание, что произведенное Подкомитетом расследование полностью подтвердило факты, которые привели к осуждению режима Франко Потсдамской и Сан-Францисской конференциями, Генеральной Ассамблеей на первой части ее первой сессии и Советом Безопасности в его резолюции от вышеупомянутого числа,

Совет Безопасности постановляет оставить ситуацию в Испании под постоянным наблюдением и сохранить этот вопрос в списке дел, находящихся на его рассмотрении, с тем чтобы в любое время быть готовым принять те меры, которые будут необходимы для поддержания международного мира и безопасности. Совет Безопасности вернется к этому вопросу для того, чтобы определить, какие надлежащие практические меры, предусмотренные Уставом, следует принять. Каждый член Совета Безопасности может во всякое время до вышеуказанного срока потребовать рассмотрения этого вопроса Советом".

Г-н Джонсон (Соединенные Штаты Америки): Совет не может принять решения, которое умалит права и обязанности Ассамблеи, указанные в Уставе. Совет, как я понимаю, не может принять решения, которое ограничило бы право Ассамблеи обсудить или

рассмотреть какой-либо вопрос. Но, решив оставить какой-либо вопрос на своей повестке дня, Совет может лишить Генеральную Ассамблею возможности сделать какие-либо конструктивные рекомендации для принятия тех или иных мер в этом деле.

Я не думаю, чтобы мне надо было снова говорить о позиции Соединенных Штатов в отношении правительства Франко. Мне не в чем извиняться и нечего объяснять, когда я говорю, что для того, чтобы дать возможность Генеральной Ассамблее обсудить и рекомендовать те или иные меры, которые она считает нужными при данной ситуации, я вполне согласен, чтобы в случае необходимости Совет снял испанский вопрос со своей повестки дня, чтобы позволить Ассамблее рассмотреть этот вопрос.

Но редакция измененной резолюции в том виде, как она предложена представителем СССР, может привести к стеснению свободы действий Генеральной Ассамблеи, той свободы, обеспечение которой я считаю желательным.

Председатель: Я думаю, что мы имеем право голосовать поправку, предложенную представителем СССР.

Г-н Эватт (Австралия): Если Председатель ставит на голосование поправку первой, то я вношу предложение добавить в текст господина Громыко после слова "постановляет" следующие слова: "без ущерба для прав, принадлежащих по Уставу Генеральной Ассамблее". Я прошу Председателя поставить это на голосование в первую очередь.

Председатель: Я не могу это предложить из-за практических соображений. Господин Громыко уже заявил, что включение этой фразы создает для него вопрос существа, так что у нас получится только одно лишнее голосование и одно лишнее "вето".

Г-н Эватт (Австралия): Я не вижу никаких указаний на то, как может поступить господин Громыко в дальнейшем. Я не уверен в том, наложит ли он "вето" на этот текст или нет; он не высказался определенно по этому вопросу.

Председатель: Господин Громыко ясно заявил, что он воспользуется правом "вето".

Г-н Эватт (Австралия): Я в этом не уверен. Я хочу, чтобы он принял на себя ответственность за этот шаг, а не грозил им! Я не согласен уступать давлению такого рода в том, что, по-моему, является вопросом принципа. Я не намерен уступать методу повторения одного и того же предложения, чтобы добиться известного результата путем наложения "вето" на все другие предложения, – а это-то здесь как раз и происходит!»

«Ну и рубка, – подумал Штирлиц. – Это же настоящая битва! Каждое слово, а не то что фраза, несет в себе совершенно определенный смысл: либо Совет Безопасности принимает решение против фашизма, либо он передает это на общий форум и отводит от себя судьбу Франко, – пусть все идет, как идет, куда торопиться, зачем?

А на общем форуме Перон будет вновь защищать генералиссимуса Франко. Да один ли он?! А Бразилия, Парагвай, Перу, Куба, Никарагуа?! Они пойдут за Белым домом, они будут смягчать удар,

все рассчитано загодя, в политике репетируют тщательнее, чем в театре. Да, американцы бьются за Испанию насмерть; тактически они могут выиграть; стратегически – проиграют; народ ненавидит Франко и не простит тех, кто помогает ему выжить. Бедный Пол, каково ему читать все это!.. Как же я чувствую накаленность страстей! Вот о чем надо снимать кино или делать радиоспектакль. А готовы ли слушатели, – возразил он себе, – чтобы понять, сколь сложна эта битва, когда одно слово типа "процедура" или "существо" может определить ситуацию в мире и тенденцию будущего? Куда проще смотреть ленту про то, как ковбой стреляет из "смит-вессона" по индейцам; все заранее известно, победят наши, плохого не будет, щекотка, а не искусство. Вопрос приобщения людей к политике – главная проблема демократии. И очень слаб тот политик, который позволяет себе гневаться».

Штирлиц всегда помнил, как отец рассказывал ему притчу о Плутархе, когда один из его рабов, человек порочный, но имевший понаслышке кое-какие познания о философии своего великого господина, был по приказу Плутарха приговорен к наказанию плетьми. За дело. Сначала раб кричал, что его наказывают зря, а потом принялся поносить Плутарха: «Ты же сам говорил, что гневаться грешно!» Плутарх усмехнулся: «На основании чего ты решил, что я охвачен гневом? Разве на моем лице или в моем голосе есть признаки возбуждения? Или я говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-либо, в чем бы мог раскаяться? Дрожу ли я от ярости?» И, повернувшись к тому, кто держал в руках плеть, Плутарх заметил: «А ты продолжай, братец, свое дело, пока мы тут рассуждаем о природе гнева...»

«А.А.Громыко (Союз Советских Социалистических Республик): Я уже сказал, что не считаю необходимым принимать какую бы то ни было другую резолюцию Советом Безопасности. Я также не считаю необходимым принимать поправку в духе предложения господина Эватта к тексту, который был одобрен Советом Безопасности. Я думаю, что попытки дать лучшее определение прав и функций Генеральной Ассамблеи, чем это дано в Уставе Организации, обречены на неудачу. Лучшего и более точного определения прав и функций Ассамблеи, чем это дано в Уставе, мы не сможем дать. Не в этом наша задача. Наша цель состоит в том, чтобы точно выполнять задачи и функции, предписанные Совету Безопасности. Это наша задача.

Я заявляю, что я уже однажды голосовал против положения, сформулированного несколько иначе в тексте резолюции, который был представлен господами Эваттом и Кадоганом. Я поэтому и сейчас буду голосовать против этого положения. Я считаю его неприемлемым и заявляю, что это предложение я считаю не процедурным, а вопросом существа.

Г-н Джонсон (Соединенные Штаты Америки): Моя цель – воспрепятствовать тому, чтобы Генеральная Ассамблея была лишена возможности из-за решения Совета рассмотреть вопрос, который при иных условиях она имела бы право рассматривать. Мне безразлично, если мы теперь же снимем испанский вопрос с нашей пове-

стки дня, но лишь при условии, чтобы Генеральной Ассамблее была предоставлена возможность обсудить этот вопрос и сделать конкретные рекомендации, если она того пожелает.

Председатель: Вопрос ставится на голосование.

Производится голосование:

За: Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция.

Против: Польша, Союз Советских Социалистических Республик.

Резолюция не принимается, так как против нее голосовал один из постоянных членов Совета».

Штирлиц сложил газету, сладко потянулся, словно после хорошего боя на корте, когда противник — достойный, чувствует удар загодя, умеет ответить и, тем не менее, проиграл в счете.

Он отправился на вокзал, купил конверт и лист бумаги, написал — левой рукой — текст: «Гитлеровский генерал Фаупель, о котором шла речь в Совете Безопасности (сэр Кадоган в свое время утверждал, что его нет в Испании) проживает в Мадриде: калле Серрано, дом девять, второй этаж, слева; последние полгода работает главным экспертом по внешнеторговым связям в компании «Телефоника», являющейся дочерним предприятием ИТТ».

Заклеив конверт, он опустил его в ящик, сказав себе: «Вот так-то. Пусть теперь сэр Кадоган покрутится».

...По настоянию Советского Союза и Польши ведущие страны Запада отозвали своих послов из Мадрида, победа.

РОУМЭН, ШТИРЛИЦ (декабрь сорок шестого)

«Дорогой друг!

Сегодня я положил в сейф Швейцарского банка на мое и Ваше имя по условленному нами коду конверт, так что в случае, если что-либо случится со мной, вы сможете получить подлинники; если же Вас изолируют, я смогу довести до сведения общественности правду по поводу трагической кончины Дагмар-Ингрид Фрайтаг.

Именно потому, что документы вне досягаемости кого бы то ни было, кроме нас с Вами, я намеренно открыто рассказываю в этом письме все подробности; теперь никому не под силу ошельмовать Вас.

Хочется, чтобы письмо прочитали наши недруги. Это, возможно, остановит их от авантюрных шагов, но, поскольку я опускаю конверт в аэропорту, оно скорее всего достигнет Вас без перлюстрации, если только Вас уже не обнаружили в Кордове.

Итак, по порядку.

Я согласился с тем Вашим соображением, что мне совершенно невозможно сотрудничать с эсэсовским палачом Штирлицем, уничтожившим двух ни в чем не повин-

ных людей: Дагмар-Ингрид Фрайтаг и Вальтера-Питера Рубенау.

Поскольку Гаузнер помог мне в Мюнхене получить материал, связанный с уничтожением Рубенау, стало ясно, что задание Мюллера выполнял никак не Штирлиц, а некий неизвестный, который был в курсе акции по устранению Фрайтаг.

Таким образом, еще в ноябре в Мадриде Вы были косвенно оправданы – по эпизоду с Рубенау. Но меня это не устраивало – и не только потому, что любая косвенность двоетолкуема, но оттого, что я должен был до конца выяснить для себя, с кем я решил начать непростое дело по поиску затаившейся нацистской сети. С точки зрения моих принципов я не мог, не имел морального права пуститься в предприятие с тем, кто еще полтора года назад злодействовал по приказам Мюллера.

Те фотографии покойной Фрайтаг, которые я передал Вам в Мадриде во время нашей первой встречи, позволили мне – после того, как я и мои друзья вчерне закончили крайне важную работу в Лиссабоне, – приступить к исследованию загадки убийства несчастной женщины, в котором Вас вполне официально обвинил журналист Майкл Сэмэл из лондонской "Мэйл".

Как Вы помните, на той фотографии помимо трупа Фрайтаг были запечатлены два немецких чиновника, один из которых служил по консульской части, а второй – в посольстве; как выяснилось, сотрудником СД был именно посольский, его подлинное имя доктор Иоахим фон Шонс.

Как Шонс, так и чиновник консульского отдела Вернер Кубе после войны остались в Швеции, причем, будучи пять месяцев интернированными, оба затем были освобождены и получили вид на жительство.

Найти их не представляло особого труда, тем более что мы искали втроем, а это, как понимаете, облегчало задачу.

Но после того, как оба эти мерзавца были установлены, мы не торопились идти на встречу с ними.

Сначала я посетил паром и установил фамилии всех, кто там работал в марте – апреле сорок пятого года. Каждому из обнаруженных мной моряков я предъявлял к опознанию фотографию Фрайтаг и спрашивал, не помнит ли мой собеседник трагического случая на борту, когда в каюте первого класса была обнаружена мертвая женщина, отравленная неизвестным ядом.

Девять человек ответили, что они помнят тот случай, но Фрайтаг не опознали.

Четыре человека, в том числе и капитан Есперсен, не только помнили тот трагический эпизод, но и опознали фрау Дагмар-Ингрид Фрайтаг.

Два человека – помощник капитана Рольф-Август

Круудберг и дежурный на борту Ханс-Хенрик Бринсен – подтвердили под присягой, что они видели мужчину, стоявшего на пирсе неподалеку от автомобиля, который махал рукой фрау Фрайтаг, стоявшей на борту.

Когда я предъявил им к опознанию фотографии семи человек, среди которых был и Ваш портрет, помощник капитана Рольф-Август Круудберг заявил в присутствии свидетелей и под присягой, что мужчиной, стоявшим на берегу в то время, когда паром отчаливал, а на борту его находилась живая фрау Дагмар-Ингрид Фрайтаг, был именно фон Штирлиц.

Следовательно, даже эти показания свидетельствовали о том, что Штирлиц не мог – во всяком случае, на территории рейха – отравить фрау Дагмар-И. Фрайтаг, ибо он находился на берегу, а она на борту парома.

Вопрос о том, каким образом стакан с отпечатками пальцев Штирлица, в котором были обнаружены следы яда, – уже на шведской территории – оказался в каюте покойной Д.-И. Фрайтаг, представлял следующий этап нашего исследования. Выяснилось, что в каютах парома не было посуды, так как пассажиров первого класса обслуживал буфет.

Кельнер Енс Дригиссен показал под присягой, что в каюту, которую занимала фрау Д.-И. Фрайтаг, он принес бутылку пива и стакан по ее просьбе и сделал это как раз в то время, когда паром отчаливал от германского пирса.

Каким же образом на стакане могли оказаться отпечатки пальцев Штирлица, если он более не заходил в каюту фрау Дагмар-Ингрид Фрайтаг, ибо не мог этого сделать, так как находился на берегу, в пяти метрах от парома, который отчаливал от пирса?

Лишь после того, как была проведена эта работа, я решился на встречу с бывшими немецкими функционерами – г-ми Кубе и Шонсом.

Беседа с г-ном Кубе прошла результативно. Перед встречей с г-ном фон Шонсом я получил официальное уведомление, что именно он, Шонс, в течение многих лет сотрудничал с СД; именно этот факт он тщательно скрывал от шведских властей; документы, свидетельствующие об этом, позволили мне соответствующим образом разговаривать с г-ном фон Шонсом.

Ниже привожу расшифрованную запись беседы, купировав ряд фраз, не имеющих отношения к делу, а также заключительную часть нашего разговора.

Я, Пол Роумэн. – Г-н фон Шонс, я благодарю вас за то, что вы нашли время для встречи.

Он, Иоахим фон Шонс. – Не стоит благодарности.

Я. – Мне бы хотелось задать вам ряд вопросов.

Он. – В качестве кого?

Я. – В качестве сотрудника государственного департамента.

Он. – В таком случае обратитесь в местный МИД. Я предпочитаю, чтобы наше собеседование проходило в присутствии официального представителя той страны, где я ныне имею честь проживать.

Я. – На какой срок вам выдан вид на жительство?

Он. – Повторяю, я готов беседовать с вами в присутствии представителя здешнего министерства иностранных дел.

Я. – Что же, согласен. Только сначала вспомните: вы поставили в известность здешний МИД, что сотрудничали с СД и гестапо, то есть с теми организациями, которые – по решению Нюрнбергского трибунала – признаны преступными?

Он. – Это голословное утверждение.

Я. – Прошу вас ознакомиться с материалами, свидетельствующими об этом с неопровержимой очевидностью.

Он (ознакомившись с документами). – Я готов к разговору.

Я. – Ваше решение кажется мне разумным.

Он. – Я готов ответить на ваши вопросы при условии, что вы не сообщите о нашей беседе здешним властям.

Я. – Хорошо. Ознакомьтесь с этой фотографией... Вы ее знаете, вам показывали ее мои коллеги несколько месяцев назад... Что вы можете рассказать об эпизоде, связанном с гибелью фрау Дагмар-Ингрид Фрайтаг?

Он. – Я не имел к этому трагическому случаю никакого отношения.

Я. – Имей вы прямое отношение к факту отравления госпожи Дагмар-Ингрид Фрайтаг, вы бы давали показания местному суду, ибо факт убийства был зафиксирован не в рейхе, а в Швеции, когда паром причалил к здешнему берегу. Меня интересует все, относящееся к этому делу, с иной точки зрения... Когда и от кого вам стало известно о трагедии?

Он. – Если мне не изменяет память, я получил указание встретить эту женщину... На пристани я и узнал о трагедии.

Я. – Как часто вы получали указания встречать подданных рейха? Особенно вне Стокгольма, в семистах километрах от столицы?

Он. – Это был первый случай.

Я. – Чем вы объясните такого рода заботливость по отношению к фрау Дагмар-Ингрид Фрайтаг?

Он. – Теряюсь в догадках.

Я. – От кого вы получили телеграмму с указанием встретить женщину?

Он. – Из Берлина...

Я. – Понятно, что не с Мадагаскара... Вы же прекрасно понимаете, о чем я вас спрашиваю: это было указание МИД или СД?

Он. – Не помню...

Я. – Господин фон Шонс, я обещал вам не передавать эти документы здешним властям. Но я не давал вам слова, что документы, связанные с вашим сотрудничеством с СД, не будут переданы мной в здешнюю прессу... Вы живете в демократической стране, здесь не нужна санкция на публикацию сенсационного материала о пособнике нацистских преступников... Итак, вы получили указание МИД рейха или СД?

Он. – СД.

Я. – Вспомните – что было написано в телеграмме?

Он. – "Вам надлежит прибыть к приходу парома из рейха для того, чтобы встретить Дагмар Фрайтаг"...

Я. – Это все?

Он. – Если не изменяет память, все.

Я. – Вы сообщили кому-либо об этой телеграмме?

Он. – Не помню.

Я. – Господин фон Шонс, как вы относитесь к лжецам?

Он. – Я не понимаю вопроса...

Я. – Я повторяю: как вы относитесь к лжецам?

Он. – Как и всякий нормальный человек...

Я. – То есть?

Он. – Вас что-то не устраивает в моих ответах?

Я. – Хорошо, я помогу вам: считаете ли вы заведомого лжеца мерзавцем? Или же – по-вашему – это вполне нормальное явление – лгать всем и каждому? Отвечайте развернуто, иначе я прерву наш разговор, и вам придется пенять на себя за последствия.

Он. – Ложь бывает вынужденная, и вы как работник государственного департамента прекрасно знаете, что иной раз обстоятельства вынуждают говорить заведомую неправду, чтобы не принести ущерба своей стране.

Я. – С такого рода замечанием согласен. Однако мой вопрос носит более общий характер, и я намерен получить на него однозначный ответ... Итак?

Он. – Людей, не выполняющих указание руководства, но лгущих без всякой к тому надобности, я считаю недостойными личностями.

Я. – Благодарю вас. Этот ответ меня устраивает. Вы сейчас находитесь на государственной службе?

Он. – Нет.

Я. – На какие средства живете?

Он. – На то, что было мной накоплено во время дипломатической работы.

Я. – Вы настаиваете на том, что ни на какой службе – ни официальной, ни тайной – не состоите?

Он. – Да, настаиваю.

Я. – В таком случае, я имею все основания считать вас – по вашим же словам – недостойной личностью. Вы

лжете без указания на то руководства... Я хочу ознакомить вас с письменным показанием, данным при свидетелях и под присягой работником консульского отдела вашего посольства Вернером Кубе. Зачитываю: "В конце марта сорок пятого года, вечером, что-то около шести часов, меня пригласил к себе советник посольства г-н Иоахим фон Шонс и сообщил, что я должен срочно собраться для того, чтобы вместе с ним выехать к парому, поскольку на борту произошел трагический случай, жертвой которого стала гражданка рейха Фрайтаг. Он поручил мне связаться с полицейскими властями и уведомить их, что крипо РСХА[1] подозревает в преступлении некоего Штирлица, он же Бользен, и просит – в случае его появления на территории Швеции – немедленно задержать на предмет выдачи властям Великой Римской империи германской нации. Г-н фон Шонс сообщил, что первой же почтой сюда, в Стокгольм, будут пересланы отпечатки пальцев Штирлица (Бользена), который, как полагают в Берлине, является глубоко законспирированным русским агентом, уничтожившим Фрайтаг, поскольку она – истинный патриот рейха – командировалась в Швецию для содействия в успешном завершении мирных переговоров, которые в то время вели г-н Гиммлер и граф Бернадотт. На мой вопрос, зачем нужны отпечатки пальцев Штирлица (Бользена), если мы не знаем, каким образом убита фрау Дагмар-Ингрид Фрайтаг, г-н фон Шонс ответил, что отпечатки пальцев упомянутого выше преступника обнаружена на борту парома, в каюте несчастной, на стакане, в котором он дал ей смертельный яд, производящийся в секретных лабораториях ГПУ". Можете ознакомиться с показанием...

Он. – Я... Позвольте же... Тут какая-то ошибка...

Я. – Я дал слово не передавать документы о вашей работе на преступную организацию СД, пока не получу доказательств, что вы законченный лжец, Шонс. Слово, данное лжецу, теряет свою силу. Я предупреждал, что пенять вам придется на себя...

Он. – Не уходите... Пожалуйста... Я расскажу все.

Я. – Вы намерены рассказать мне все не только про эпизод с Фрайтаг, но и последующую эпопею, а именно – кто и когда, уже после окончания войны, приезжал к вам по этому вопросу? Да или нет?

Он. – Да. Я расскажу все, если вы подтвердите данное вами слово.

Я. – Мое слово я смогу подтвердить, когда вы кончите давать показания. Лишь чистосердечное признание во всем заставит меня выполнить свое обещание. И не потому, что я сочувствую вам, но оттого лишь, что намерен использовать вас в борьбе против тех, кто приезжал к вам

[1] Крипо РСХА – управление криминальной полиции.

после краха рейха и беседовал о Штирлице, являющемся, по словам этого человека, "русским агентом", а также о том, как вы должны оформить дело по обвинению Штирлица в отравлении Фрайтаг, чтобы это устроило местные власти и вынудило их выписать ордер на немедленное задержание Штирлица (Бользена), где бы он в настоящее время ни находился. Вам ясен мой интерес?

Он. – Да.

Я. Начнем с фамилии человека, который к вам приезжал... Когда это было, назовите точную дату.

Он. – Тот человек представился мне Лорхом...

Я. – Я предъявляю вам к опознанию пятнадцать фотографий. Вот они. Укажите мне того человека, который приезжал к вам.

Он. – Вот он.

Я. – Вам известно, что настоящая фамилия этого человека Мерк? И в прошлом он был штурмбанфюрером СС?

Он. – Даю честное слово, мне неизвестно об этом.

Я. – Он вам об этом не говорил?

Он. – Нет.

Я. – По чьему поручению он приезжал к вам?

Он. – Господин Лорх...

Я. – Называйте его настоящей фамилией...

Он. – Господин Мерк, назвавший себя Лорхом, сказал, что он представляет патриотическую организацию германских офицеров во главе с участником антигитлеровского заговора генералом Вереном. Главная цель организации заключается в том, чтобы – по словам господина Мерка, представившегося мне Лорхом, – остановить проникновение русских на Запад. Он и обратился ко мне с просьбой проконсультировать его по поводу дела по убийству фрау Дагмар Фрайтаг русским секретным агентом, внедренным Мюллером в ряды гестапо. Он подчеркнул, что русский агент Штирлиц, он же Бользен, был доверенным сотрудником Мюллера, выполнявшим его наиболее деликатные поручения. Господин Мерк, назвавший себя Лорхом, сказал, что в данном эпизоде невозможен никакой срыв, Штирлиц, он же Бользен, должен быть ошельмован как военный преступник, настоящее «исчадие ада». Для этого он попросил меня встретиться с рядом журналистов, известных по моей прежней работе в посольстве, и выяснить меру их интереса к данному делу. Я встретился с рядом журналистов и сообщил господину Мерку, представившемуся мне Лорхом, что дело это, с точки зрения моих собеседников, будет представлять сенсационный интерес не только здесь, в Швеции, но и во всем мире...

Я. – Сколько денег вы получили от Мерка?

Он. – Я не получал от него никаких денег.

Я. – Видимо, вы плохо поняли мой вопрос... Я облегчу его: какую сумму выделил вам Мерк на консультирование этого вопроса?

Он. – На расходы, связанные с консультацией, Мерк, представившийся мне Лорхом, дал под расчет двести сорок семь долларов.

Я. – Сколько времени Мерк провел в Швеции?

Он. – Мерк, представившийся мне Лорхом...

Я. – Почему вы постоянно подчеркиваете, что Мерк представился вам Лорхом?

Он. – Потому что вы сказали, кто такой Лорх на самом деле. Если бы я знал это, я бы ни в коем случае не стал выполнять просьбу штурмбанфюрера СС... С прошлым покончено раз и навсегда, я сделал выбор...

Я. – Похвально. Продолжайте...

Он. – Я забыл, о чем вы меня спрашивали...

Я. – Был задан вопрос: сколько времени Мерк прожил в Швеции?

Он. – Не знаю.

Я. – Сколько раз вы с ним встречались?

Он. – Два раза.

Я. – Сколько дней прошло между первой и второй встречей?

Он. – Три дня.

Я. – Вы успели провести за это время все консультации?

Он. – Я?

Я. – Именно так, вы.

Он. – Не помню.

Я. – Господин фон Шонс, я помогаю вам в последний раз. Меня интересует адрес, по которому вы должны были отправить отчет о всех ваших консультационных встречах...

Он. – Теперь я до конца понял, что вас интересует... Да, Мерк, представившийся Лорхом, оставил мне адрес компании ИТТ в Мадриде и попросил отправить развернутый отчет о преступлении Штирлица (он же Бользен) господину Кемпу.

Я. – Он просил вас писать тайнописью?

Он. – Ни в коем случае. Да я бы отказался! Я же сказал: с прошлым покончено! Я помогал и, согласитесь, не мог не помочь изобличению русского секретного агента, являвшегося к тому же ближайшим сотрудником нацистского преступника Мюллера.

Я. – Значит, вы были убеждены в том, что фрау Дагмар Фрайтаг убил именно Штирлиц, он же Бользен?

Он. – Да.

Я. – Вернемся к показаниям сотрудника консульского отдела Вернера Кубе, господин фон Шонс. Вы можете опровергнуть их?

Он. – После тех событий прошло так много времени...

Я. – Как часто вам приходило указание встречать трупы, господин фон Шонс?

Он. – Нет, конечно, теперь я понял, что дело это весьма странное... Но ведь тогда я находился на государственной службе и не мог не выполнить приказа. Всю ответственность несут те, которые ныне осуждены в Нюрнберге.

Я. – Хочу ознакомить вас со свидетельскими показаниями господина Есперсена, капитана того парома, который курсировал между Швецией и Германией. Он засвидетельствовал под присягой, что видел фрау Фрайтаг на борту в то время, когда судно отвалило от немецкого пирса. Она была жива. Более того, помощник капитана господин Круудберг подтвердил под присягой, что он видел на пирсе, когда паром уже отошел от берега, господина Штирлица-Бользена. Паром отошел от берегов Германии в семнадцать часов сорок девять минут. Штирлиц стоял на берегу, Фрайтаг находилась на борту парома – живая и невредимая. А через двенадцать минут вы получили из Берлина от ваших начальников из СД телеграмму – цитирую Кубе: "Около шести часов меня пригласил советник господин фон Шонс и сообщил, что на борту парома произошел трагический случай, жертвой которого стала гражданка рейха Фрайтаг". Более того, вы сказали, что "крипо подозревает некоего Штирлица (он же Бользен) и просит задержать его"... Как можно просить задержать того человека, который в это время находился в рейхе и стоял на берегу рядом с машиной, в которой сидел шофер СД?

Он. – Теперь я понимаю, что это была какая-то комбинация СД. Но ведь тогда я не подозревал ни о чем, я лишь выполнял приказ, пришедший из Берлина...

Я. – Господин фон Шонс, как много граждан рейха получало в ту пору разрешение покидать рейх?

Он. – Считанные единицы.

Я. – Кто из подданных рейха прибыл с тем рейсом?

Он. – Это надо посмотреть в регистрационных книгах пограничной службы Швеции.

Я. – Это уже сделано. Меня интересует – кто из подданных рейха посетил посольство Германии после того, как этот паром прибыл в Швецию?

Он. – Я не помню.

Я. – Фамилия Иозеф Руа говорит вам о чем-либо?

Он. – Прошло столько времени...

Я. – Господин фон Шонс, объясните, как я смогу использовать вас в будущем, – а это вам куда более выгодно, чем мне, – если вы продолжаете лгать даже в том случае, когда ответ на вопрос не таит для вас никакой угрозы?!

Он. – Вспомнил! Мне кажется, я вспомнил! Совершенно верно, вы правы, на том пароме прибыл господин Иозеф Руа, он посетил посольство и попросил разрешения срочно связаться с Мюллером... Мне неизвестно, была ли ему разрешена связь, но со следующим же паромом он отплыл в рейх, это я свидетельствую со всей определенностью.

Я. – Но вам не было известно, что Иозеф Руа выполнял задания группенфюрера Мюллера по устранению неугодных ему людей – без занесения в какие бы то ни было документы РСХА?

Он. – Если бы я знал об этом, я бы отдал его в руки местного правосудия.

Я. – Похвально, господин фон Шонс. Скажите, вы отправили Кемпу сообщение по поводу Штирлица написанным на машинке? Или от руки?

Он. – От руки.

Я. – Пожалуйста, напишите обязательство консультировать меня и впредь по делам, связанным с поиском и разоблачением нацистских преступников. Здесь же укажите, что штурмбаннфюрер СС Мерк представился вам Лорхом. И отметьте, что он, по его словам, представляет организацию немецких офицеров во главе с генералом-патриотом Вереном, участником покушения на фюрера... И еще: передайте мне, пожалуйста, копию вашего письма господину Кемпу... Только не вздумайте сказать, что у вас не осталось копии, это даст мне возможность заподозрить вас в нелегальной работе, а вы ведь утверждаете, что вполне легально работали ныне против секретного агента Штирлица, он же Бользен, не правда ли?

...После того, как работа по фон Шонсу была закончена, я смог получить информацию о том, что яд, которым были убиты как Фрайтаг, так и Рубенау, производился в Мюнхене в лаборатории биохимии начиная с 1939 года – по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Как мне удалось установить, именно этот яд был передан Гиммлером бригадефюреру СС Вальтеру Шелленбергу для убийства Отто Штрассера в Лиссабоне в сороковом году.

Я запросил у специальных служб Великобритании соответствующее подтверждение этому, поскольку Шелленберг содержится в английской тюрьме. Ответа я не получил и связался с Робертом Харрисом, которого вы представили мне в доме очаровательной дамы в Бургосе. Он сразу же ответил мне, пообещал навести справки по своим каналам. Пожалуйста, запишите его адрес, если у Вас его нет: Роберт Харрис, Нью-Бонд стрит, 12, Лондон, Великобритания. Я не смог скрыть от него, что интересующая меня информация связана с Вашей судьбой...»

«Господи, – подумал Штирлиц, – какая же умница Пол! Вот кто мне сейчас нужен! Роберт Харрис, как я мог исключить его из дела?! Уж если кого он и ненавидит, так это нацистов! А еще – как человек, связанный с корпорацией "Бэлл", – он всегда отзывался об ИТТ как о гитлеровском гнезде, и говорил он это еще в конце тридцатых!

Да, мне необходим Харрис, а для этого я должен отправить телеграмму Клаудии. Кстати, уж если кто и может быть ей нужен до конца дней – прекрасной, зеленоглазой, доброй женщине – так это именно Роберт.

Стоп, – остановил себя Штирлиц, – не лги. Не надо. Нельзя. Ты же видел, как она относится к нему. Она жалеет его и совершенно к нему равнодушна. Не появись я в ее доме, кто знает, быть может, у них бы что-то и сложилось. "Память" – жуткое слово, но ведь именно оно породило понятие "забвение". Постепенно она бы забыла меня, он так добр к ней, так ласков и корректен...

А если я отправлю телеграмму ему одному? Да, но после того, как Роумэн связался с ним, наверняка он под колпаком. И дело будет обречено на проигрыш с той минуты, когда он получит мое сообщение. Он привезет на "хвосте" слежку, ясное дело. А Клаудиа – я молю бога, чтобы за ней не смотрела Пуэрта-дель-Соль – прилетит в Лондон и пригласит его ко мне, ей он не откажет.

Погоди, – Штирлиц снова остановил себя, – а вправе ли я так поступать? Вправе ли я обращаться к ней с такой просьбой?»

Он перевернул последнюю страницу письма; несколько ничего не значащих фраз, которыми обычно заканчивают послание, но лишь запятая и тире, поставленные там, где следовало бы поставить точку, заставили Штирлица опустить страницу в содовый раствор, а потом прогладить утюгом (у профессора в доме был лишь старинный, громадный агрегат, заправлявшийся углями; пришлось купить американский плоский, который довольно быстро нагревался на электроплите).

Роумэн, видимо, торопился, когда писал, потому что почерк его, обычно довольно разборчивый, округлый, в тайнописи был стремительным, буквы словно громоздились одна на другую.

Прочитав сообщение, Штирлиц понял, отчего так торопился Пол.

> «Я воспользовался Вашим советом и достал довольно значительное количество фотографий людей СД и абвера. Мне удалось это сделать в Мюнхене – по пути в Скандинавию. Миссис Роумэн опознала человека, который жестоко и безнравственно допрашивал ее в то время, пока у меня сидел Гаузнер. Этого человека зовут Кирзнер, он из СД, работал в Риме, Вене, Будапеште и Бремене, штурмбанфюрер. А затем он был отправлен Шелленбергом в Италию для работы по тем группам мафиози, которые имели выходы на Сицилию и Неаполь, – уже после того, как туда вошли наши войска. Итальянский он знал в совершенстве, потому что – с санкции Шелленберга – сожительствовал со своей секретаршей

по имени Беатриче. Я не рискую высылать Вам копию его фото, потому что намерен навестить его в Мадриде. С помощью полковника Эронимо я надеюсь найти его. Видимо, он был в той же машине, что и Кемп, дожидаясь того момента, когда Гуарази прикончит Гаузнера. Это имя – Ваша лишняя карта в разговоре с теми, кто так или иначе знал Кемпа-Виккерса. Не говорит ли Вам что-либо фамилия Кирзнер? Если да – срочно сообщите по обговоренным адресам.

Судя по разговору с фон Шонсом, он отправил письмо о "злодеяниях" Штирлица в Мадрид Кемпу как раз накануне того дня, как там появился Гаузнер. Почему? Подумайте об этом. Копия его письма также хранится в нашем с Вами сейфе в Швейцарском банке.

Мне осталось посетить еще два города, и тогда я буду располагать достаточной информацией для того, чтобы ударить по всей сети Верена,которую я сумел обнаружить здесь, в Европе.

Подробно напишите, что сделано Вами. Это необходимо для разговора с теми, кто будет санкционировать мой удар».

«Нет, – подумал Штирлиц, аккуратно складывая письмо, – я не напишу тебе всего, Пол. Не сердись, пожалуйста, я очень испугался в Мадриде, когда услышал про то, с каким ликующим интересом всяческие маккарти внимали маниакальному бреду Рут Фишер, когда та обвиняла своих братьев в коммунистическом заговоре, а здесь я только что прочитал, как твои сограждане в Совете Безопасности выгораживают Франко; ты американец, тебе хочется верить в лучшее, это твое право, более того – обязанность; но я все-таки подожду, пока ты нанесешь свой удар по наци. Мне очень важно узнать, как тебе в этом помогут люди Макайра. Может быть, я дую на воду, но несчастный крохотный доктор Зуле прав: если бы в тридцать втором или даже в тридцать третьем году твоя страна стукнула кулаком по столу, Гитлера бы не было в рейхсканцелярии. А те, кто ему помогал туда прийти, вроде генерала Гофмана, кичились своей дружбою с Даллесом, директором американского филиала банка Шредера, который платил деньги Гиммлеру, возглавляя кружок его друзей. Я погожу, Пол, не взыщи...»

В это же время на другой части планеты в квартире Майкла Сэмэла, раздался телефонный звонок. «Странно, в эти часы звонить не принято, шокинг; что-то случилось; только бы не с мамочкой!»

– Я бы не посмел вас тревожить, – сказал человек, который передавал ему первые материалы на «Штиглица», – если бы не чрезвычайное обстоятельство. Увидимся, несмотря на поздний час? Или намерены ждать до завтра?

– Конечно, я бы предпочел увидеться утром.

– Ваше право... Но завтра вечером в Испании может появиться сенсационный материал об интересующих нас с вами преступни-

ках... Вы начали эту тему, жаль, если ее перехватят... Речь идет о новом преступлении... Пауки в банке... Нацист убивает нациста... И за всем этим стоит герой вашего исследования, но в несколько ином качестве... Так мне, во всяком случае, кажется...

– Хорошо, я приеду в то кафе, где мы с вами встречались...

– Когда вас ждать?

– Через полчаса.

Операция, задуманная Макайром, вступала в завершающую стадию. Были задействованы лондонская и лиссабонская резидентуры; Мадрид включили в дело опосредованно, через директора испанского ИТТ Эрла Джекобса.

Необходимость завершения первой стадии комбинациии именно сейчас диктовалась тем, что наружное наблюдение, поймавшее, наконец, Роумэна, зафиксировало отправку им в аэропорту письма, которое, увы, не поддавалось перехвату.

...Сэмэл опоздал на четыре минуты, извинился: «Такси по-прежнему не хватает, бензина нет, что вы хотите, раны войны быстро не залечишь!» Заказал две чашки кофе, поинтересовался, не голоден ли его неизвестный друг («лорд Вестминстер» или «сэр Эдвард»), выслушал вежливый отказ и приготовился слушать.

Человек достал из кармана маленькую восковку, спросил, читает ли Сэмэл по-испански, и протянул ему сообщение ЭФА[1]:

– Что не поймете, я прокомментирую.

– Боюсь, что я ничего не пойму. Я продираюсь сквозь их язык только со словарем. Переведите, пожалуйста.

– Извольте... «Пуэрта-дель-Соль сообщила сегодня, что в окрестностях Мадрида недавно был обнаружен полуразложившийся труп мужчины, не поддававшийся идентификации. Исследование костюма и обуви покойного, умершего от огнестрельных ран в области печени, позволило экспертам выдвинуть версию о немецком происхождении неизвестного. Эта версия подтверждалась также тем, что в подкладке пиджака убитого были найдены два документа. Один на английском, а другой на немецком языке. Пуэрто-дель-Соль обратилась в североамериканское посольство за содействием в идентификации трупа, а также попросила дать официально заверенный перевод английского документа, в котором упоминается имя советника Пола Роумэна. По первой позиции североамериканское посольство ответило Пуэрто-дель-Соль в том смысле, что ФБР согласилась обратиться к оккупационным властям в Германии за содействием, в то время как вторую позицию работник консульского отдела отказался прокомментировать. Следствие продолжается...»

– Любопытно... Так кто же был убит? Штиглиц?

– Нет. Штиглиц, он же Макс фон Штирлиц, он же Бользен, он

[1] ЭФА – испанское телеграфное агентство.

же Брунн, исчез из Мадрида, как и некий Кемп, через несколько часов после того, как в городе на чьей-то квартире был убит Морсен, он же Гаузнер, в прошлом офицер абвера, возможно, перевербованный русскими.

– Черт, это невероятно интересно!

– Нет, это еще не интересно, мистер Сэмэл... Самое интересное – дальше... Дело в том, что немецкий текст, обнаруженный в пиджаке Морсена-Гаузнера, являет собой отчет, подготовленный для Штирлица, о работе, проделанной за последние месяцы шпионской группой по разложению изнутри некоей патриотической организации немецких офицеров – участников покушения на бесноватого.

– На кого, простите?

– На Гитлера, – поморщился человек, – неужели не ясно?! Так вот, Гаузнер-Морсен вез Штирлицу – псевдоним, под которым тот работал на русских, предположительно звучит как «Юстас», впрочем, это мы нашли в материалах гестапо, в этом еще следует разбираться, – рапорт о работе, которая вполне позволяет шельмовать немецких патриотов, обвинив их в прогитлеровских настроениях... Как вам известно, именно гестапо возглавляло аресты и проводило казни немецких генералов из антигитлеровской оппозиции... А русские были главными обвинителями германского генерального штаба в Нюрнберге...Их судья написал протест по поводу оправдания трибуналом германской армии, они знают, кого им следует бояться. Вы понимаете, какого рода с м ы к а н и е вырисовывается во всем этом деле? Штирлиц, выполнявший самые кровавые задания гестапо – Мюллера по устранению госпожи Фрайтаг и господина Рубенау, которые, как выясняется, пытались спасти от Гитлера военных оппозиционеров рейха, был завербован русскими и работал на них!

– Это феноменально, – заметил Сэмэл. – Это надо отметить. Скотч?

– Нет. Благодарю вас. И вам не советую. Потому что вам предстоит всю ночь писать. А утром – в девять – быть в испанском посольстве и попросить прокомментировать вашу информацию... Попробуйте обратиться к министру Игнасио-Мария Пухоль-и-Сараису, он один из немногих, кто мыслит широко и непредвзято, он незашоренный франкист, с ним можно говорить...

– Хорошо, а что было написано по-английски?

Человек сделал маленький, какой-то птичий глоток кофе, быстро запил водой из высокого стакана, словно пил горькое лекарство, и, пытливо взглянув на Сэмэла, ответил:

– Но это не для печати... Пока что – во всяком случае... Документ, написанный американским дипломатом, есть обязательство выполнять секретную службу...

– Чью? – Сэмэл даже подался вперед, не заметив, как пепел с его сигареты осыпался в кофе.

– Не английскую же, право...

– Фамилия?

– Дайте честное слово, что не напишите об этом, – вплоть до моего к вам звонка...

– Я даю вам слово.

– Это советник американского посольства в Мадриде мистер Пол Роумэн.

Сеньор Игнасио-Мария Пухоль-и-Сараис выслушал Сэмэла с открытым доброжелательством, заметил, что пресса ее величества работает в лучших традициях английского детективного романа, категорически отказался комментировать сообщение по поводу документа, написанного на английском языке, порекомендовал («Я понимаю, что вы вправе поступать, как знаете, мистер Сэмэл, мы никак не посягаем на свободу прессы») повременить с публикацией, потому что пропавший сеньор Кемп, как представляется возможным считать, оказался жертвой группы Морсена – Штирлица, он был им чем-то опасен... «Следствие продолжается, будем ждать, я согласен с вами, все это в высшей мере интересно. Испанские газеты склонны получить исчерпывающую информацию от следственных органов. Их молчание не означает посягательства на свободу слова, которое гарантировано в Испании законом генералиссимуса Франко, так же как и во всех других демократических государствах».

(Пухоль-и-Сараис провел беседу так, как было оговорено на конспиративной встрече с представителем Макайра; повод для беседы был закамуфлирован вполне понятным беспокойством государственного департамента по поводу престижа его сотрудника Роумэна, имя которого шельмовалось в обнаруженном у Морсена документе: «Мы не можем поверить в случившееся, это чудовищно! Проверка и еще раз проверка. Мы живем в стране свободы, каждый имеет право на защиту. Конституция гарантирует честь и достоинство любого американца».)

Публикация Майкла Сэмэла – хотя ее и подрезали – была озаглавлена: «Кому же теперь служат нацисты? ГПУ?»

О Роумэне, понятно, не говорилось ни слова. Впрочем, редакция уведомила читателей, что журналист намерен продолжить расследование, ибо он уже имеет материалы, неопровержимо подтверждающие вину Штирлица в устранении госпожи Фрайтаг, отправленной в Швецию немецкими офицерами, членами антигитлеровской оппозиции...

О сенсационном разоблачении английского журналиста в Аргентине напечатала лишь столичная «Кларин». Фамилия Штирлица была, как всегда переврала – «Эстиглиц»; зато имя «Кемп» было напечатано правильно.

ШТИРЛИЦ (Кордова, январь сорок седьмого)

Он теперь знал расписание Кемпа по минутам: в восемь тридцать тот выходил из дома на калле Санта Анна («Почему здесь калле произносят «кажже»? Наверное, скоро провозгласят «аргентинский» язык, за Пероном не станет»), шел пешком на завод, охранявшийся вооруженной гвардией; в двенадцать тридцать заходил в

ресторан «Ла Чарча», как правило – один, проводил там не менее часа и возвращался на завод; после окончания работы домой шел не сразу, порой уезжал в центр, заходил в кинотеатр, чаще всего в тот, где демонстрировались немецкие картины, снятые еще во времена рейха; более всего любил музыкальные комедии; «Девушку моей мечты» с Марикой Рокк в главной роли смотрел пять раз; после этого ужинал в одном из небольших ресторанчиков и отправлялся домой.

В субботу посещал «дом танго», здесь собиралось множество людей, причем не только молодежь; в Аргентине танго танцуют и поют все – от мала до велика, «домов танго» масса, в каждом районе свой. Кемп предпочитал тот, что был расположен на окраине. Проституции в Аргентине нет, народ чистый, к любви относятся достойно, не по-мещански: понравились друг другу, приладились в танце, – отчего бы не провести вместе время, в порядке вещей, живые люди.

Штирлиц дождался, пока Кемп вышел из «дома танго» с немолодой уже женщиной, довольно крупной, с низким, но в то же время невыразимо мягким голосом; тесно прижимаясь друг к другу, они пошли по направлению к Санта Анне.

«Валяй, голубь, – подумал Штирлиц, – воркуй, пока можешь. Ты здорово облегчил мне задачу, уговорив эту толстуху, ты же поволок ее к себе без санкции, а ты ничего не имеешь права делать без санкции, потому что живешь нелегально и состоишь на службе у бандитов, которые не любят, если их человек входит в контакт с неизвестной, да тем более неарийского происхождения.

Бедный профессор Хосе удивится, отчего я не пришел ночевать. Как он смешно бранил молодежь, которая обжимается в храмах; вообще-то это действительно ужасно. Он только один раз горестно вздохнул за все то время, пока я живу у него, когда сказал, что я моложе его почти на тридцать лет; все восполнимо, кроме старости. Чтобы не дразнить старика попусту, придется сочинить, что я встретил друга. Хотя откуда в Кордове мой друг? Иностранцев – кроме нацистов – мало, их сюда не очень-то любят пускать; мне здесь опасно засиживаться, завод штандартенфюрера Танка не игрушки делает, а по Танку в Нюрнберге плачет скамья подсудимых. Уеду, – сказал себе Штирлиц, – но сейчас я должен ждать, пока Кемп выключит свет в квартире, а потом звонить в дверь. Он мне откроет, испуганный приходом ночного гостя; такова уж их психология, не сможет не открыть; он убежден, что пришел кто-то из своих, он спрячет толстуху и отворит дверь. Если же он будет держать в руке пистолет, я теперь набрался сил для того, чтобы выбить оружие у него из рук».

Он закурил, снова вспомнив самого себя, когда полтора года назад в Линце не советовал штурмбанфюреру СС Хёттлю курить на улице. «То же самое, кстати, мне говорил Джонсон на авениде Хенералиссимо всего два месяца назад. Господи, а ведь кажется прошла вечность... Но почему Кемп никак не прореагировал на статью этого самого "Мигеля Сэмэла" в "Кларине"? Он не мог не прочитать ее, подали весьма броско, хотя, видимо, смягчили вы-

сказывания по поводу нацистских преступников; зато как расписали русских шпионов, просто чуть подредактированная версия старой кампании о "руке Москвы"... Или Кемп так убежден в своих документах и в поддержке Танка, который дружен с Перoном, что ему вообще ничего не страшно? Убежден, что не выдадут? А если нажать? Если весь мир узнает, что Перон укрывает у себя преступника? Если нажмет не кто-нибудь, а Вашингтон? Ну, и как ты намерен это организовать, – спросил себя Штирлиц. – Напишешь письмо президенту Трумэну? Обратишься к Аллену Даллесу или, того пуще, к его брату Джону Фостеру? Но почему же отдали на заклание Кемпа? Он ведь одна из ключевых фигур. Мной играют; видимо, играют по-крупному, но эта их игра гроша ломаного не стоит после того, как Роумэн собрал доказательства, что я не убивал ни Фрайтаг, ни Рубенау. А кто? Иозеф Руа? Другие? Пусть ищут. Это их забота. Главное заключается в том, что я не мог этого сделать. Кому же тогда выгодно на меня вешать это? Погоди, – сказал он себе, – оставь эти вопросы для Кемпа. Не надо заранее строить схему, может войти в противоречие с тем, как пойдет с ним разговор. Если пойдет, – поправил себя Штирлиц, – не замахивайся на неизвестное тебе будущее; "если пойдет" – так надо думать, только тогда желаемое сбудется...»

Штирлиц дождался, когда свет в окнах погас, и сразу же вошел в подъезд дома. «В аргентинских подъездах – испанские запахи, – отметил он машинально, поднимаясь по деревянным ступеням винтовой лестницы, – оливковое масло, кофе и жареные чулос[1], очень аппетитно».

Остановившись возле двери Кемпа, он отчего-то потрогал костяшку, которую повязала ему на руку Канксерихе, прислушался к тишине, царившей в квартире, усмехнулся, подумав, какие слова говорит сейчас этой несчастной толстухе Кемп, укладывая ее в кровать, и нажал на кнопку звонка.

«Он может не открыть цепочку, – подумал Штирлиц, – с него станется». Прикоснувшись ладонями к двери, он ощутил тепло старого дерева; жара все эти дни стояла по-настоящему летняя, январская. «Ничего, – сказал он себе, – если он не откроет даже после того, что я ему скажу, я высажу дверь, сил теперь хватит, индианка собрала меня, спасибо, индианка, ты добрая волшебница, я вновь ощущаю продольные мышцы спины, так было раньше, когда я выходил на корт, чтобы выиграть». Он отчего-то вспомнил подвал гестапо, куда его привел Мюллер, разложенные на столике шприцы и щипцы – орудия пытки должны быть примитивными и понятными, только тогда это пугает, – и того молодого эсэсовца, который был дежурным по коридору. За два года до этого он играл с ним против группенфюрера СС Поля, начальника хозяйственного управления РСХА. Молодой эсэсовец слишком уж подхалимски подыгрывал высокому начальнику, тот разгневался, Штирлиц с большим трудом спас его от разжалования, и отец эсэсовца привез

[1] Чулос *(исп.)* – коржики.

в подарок цветы и ветчину, сказав, что семья всегда будет благодарна господину фон Штирлицу. А когда Мюллер посадил Штирлица в подвал, тот молодой эсэсовец перебросил в камеру записку с просьбой съесть ее по прочтении: «Если вы на допросе не будете говорить, что мой папа присылал вам подарки, я стану бить вас вполсилы»...

– Кто? – голос Кемпа был глухим, и в нем явно чувствовался испуг.

– От сеньора Каверича, – ответил Штирлиц; он знал, что этот усташ возглавлял одно из подразделений безопасности в особо секретном конструкторском бюро профессора Танка. – По срочному делу.

Штирлиц не очень-то изменил голос, просто говорил, покашливая, с аргентинским акцентом, который сразу же отличим от настоящего испанского.

Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась, Кемп, машинально протянув руку за пакетом, хотел было что-то сказать, но, увидев Штирлица, не смог скрыть ужаса.

Штирлиц легко распахнул дверь, вошел в темную прихожую и тихо спросил:

– Надеюсь, вы один?

– Нет, – так же тихо, чуть не шепотом, ответил Кемп, – у меня друзья... Три человека... Они укладываются спать... Сейчас я их позову, я приглашу их сюда...

– Я пришел к вам без зла, – усмехнулся Штирлиц. – Не тревожьте друзей, давайте пройдем куда-нибудь, где можно пошептаться...

– Нет, нет, приходите завтра, Брунн. Сегодня я не могу...

– Полноте, Виккерс, вы что так испугались? Есть основания бояться меня?

Кемп метнулся взглядом в зрачки Штирлица, когда тот произнес его настоящую фамилию; обернувшись, странно-заискивающе крикнул в темноту:

– Я сейчас вернусь, через пять минут!

– Ну-ну, – Штирлиц усмехнулся. – Страхуетесь?

Кемп снова впился кроличьим взглядом в его зрачки, а потом как-то по-звериному, выбросив перед собой руку, бросился на Штирлица, успев – за мгновение – ощупать его карманы: оружия не было. Глаза Кемпа сразу же обрели нормальное выражение, в них не было уже испуганной, чисто животной затравленности.

– Идите вперед, – сказал Кемп. – Вас не будет шокировать, если мы поговорим на кухне?

– Отнюдь. Тем более, если вы уже успели ее оборудовать так же, как в Мадриде, на немецкий манер.

– Не успел, – ответил Кемп и включил свет; изразцовый пол (белое с голубым, цвета Андалусии), разностильный гарнитур, старая плита с потрескавшейся эмалью – полное ощущение временности быта. – Я сейчас вернусь, присаживайтесь.

– Повторяю, я к вам не со злом, Виккерс. Не надо ходить за пистолетом, нет смысла... Впрочем, если вам так удобнее, – валяйте, я подожду.

– Да, мне так удобнее, – ответил Кемп и вышел.

«Только бы он не сбежал, – подумал Штирлиц. – Задушит толстую дуреху, запрет меня с ней на ключ, вот и прыгай из окна, очень весело. А что, вполне может, страх подвигает человека на непросчитываемые поступки».

Кемп, однако, вернулся. В кармане его легкого шлафрока явственно т о п ы р и л с я пистолет.

– Ну, пожалуйста, – сказал он, сунув руку в тот карман, где лежало оружие. – Я весь внимание.

– Послушайте, Виккерс, – усмехнулся Штирлиц, – поскольку вы в Аргентине недавно, запомните: люди здесь сугубо отличимы от испанцев, Перон их еще не успел сломать... Женщина, которая лежит у вас в спальне, не станет лжесвидетельствовать, а убивать сразу двоих – ее и меня – слишком рискованно, Мерк вам этого не простит.

При упоминании фамилии Мерка лицо Кемпа вновь обрело выражение испуганной загнанности, Штирлицу показалось, что у него от волнения краснеют глаза, маленькие сосудики наливаются кровью, сообщая лицу нечто заячье, когда косой чувствует, что его вот-вот настигнет свора и надежды на спасение нет.

– Что вам от меня нужно? Почему вы здесь? Зачем?

– От вас мне нужно немногого – правды, Виккерс. Здесь я потому, что представляю интересы б р а т с т в а. Зачем я у вас? За тем, чтобы принять решение. Такой ответ вас устраивает?

– У вас пять минут. Излагайте то, что считаете нужным.

Штирлиц покачал головой:

– Нет, Виккерс, у меня столько минут, сколько нужно для дела. Если такая постановка вопроса вас не устраивает, я уйду, но узел фон Шонса, который вы с ним вязали в связи с убийством Фрайтаг, эпизод с Гаузнером, завершившийся его убийством – по вашему приказанию – Пепе Гуарази в квартире Роумэна, показания штурмбанфюрера СС Кирзнера по поводу попытки вербовки вашей организацией гражданина Соединенных Штатов на шантаже против мисс Кристиансен и ваши фотографии, сделанные мной здесь, в Кордове, – все это будет завтра же предано гласности. А этого вам генерал никогда не простит. И вы знаете, как поступит Мерк, когда вы – фактом своего скупердяйского отношения ко времени, пять минут, десять, двенадцать – нанесли непоправимый удар по всей нашей сети...

По мере того как Штирлиц неторопливо называл имена, Кемп все более и более вжимался в стул, словно бы готовясь к прыжку.

Щелчок металла прозвучал, словно выстрел, хотя это была лишь предтеча выстрела, – Кемп спустил предохранитель.

Штирлиц досадливо поморщился:

– Да погодите вы... Дайте мне кончить, Виккерс... Повторяю, я пришел к вам без зла. Дослушайте, а потом стреляйте... О том, что я к вам пришел, знают те, кто меня сюда отправил. Дом оцеплен, вам же знакома наша система, сами, как говорят, не первый раз замужем... Штандартенфюрер СС профессор Танк, который тщательно отвергает свою принадлежность к практике национал-социализ-

ма, представляющий ныне интересы Гуго Стиннеса, контактирующего с американским бизнесом в Германии, никак не заинтересован в скандале, связанном с именем «инженера Лопеса»... Тем более в квартире, которая предоставлена Лопесу-Виккерсу-Кемпу начальником охраны его предприятия сеньором Каверичем... Беда заключается также и в том, что вы, переселившись в этот благословенный край, перестали высылать деньги вашей жене и детям – этого вам не простят в ИТТ, там чтут культ семьи, пуритане... Я открыл вам незначительную часть того, что на вас собрано.

– Кем?

– Нами, Виккерс, нами... Вы оказались между молотом и наковальней, поймите меня правильно. Запад вам никогда не простит работы, вашей доброй старой работы, в частности и по Кристине Кристиансен. Не простит, Виккерс, тем более что она стала миссис Роумэн. Синдикат не пощадит вас потому, что мне открылось имя Пепе Гуарази. Мне известна и сумма, которая была ему уплачена вами за работу. Ну, а генерал не простит вам того, что все это знаю я. Каково?

Кемп медленно поднялся, подошел к холодильнику, достал бутылку с минеральной водой, налил стакан до краев и медленно выпил; рука его чуть дрожала.

– Что вам от меня нужно? – спросил он, пряча бутылку в холодильник.

– Правды. Зачем вы хотели подвести меня под гильотину? Зачем нужно было крутить дело Фрайтаг и Рубенау? Кто вам поручил это? Когда?

– Неужели вы не понимаете, что я никогда не отвечу на ваш вопрос, Брунн?

– Правда? Вот здорово! Что же, тогда я перейду на испанский, позову из спальни вашу знакомую, и мы продолжим разговор при ней. При всем отличии аргентинцев от испанцев и те, и другие любят тайны и сенсации. Я скажу ей все, что считаю нужным, а засим откланяюсь. Итак?

Глаза Кемпа снова сделались красными, кроличьими, за секунду перед тем, как он потянулся к левому карману шлафрока (воистину, страх провоцирует непредсказуемый алогизм поступка), Штирлиц – прежним, ловким, колющим движением – выхватил его пистолет и небрежно сунул в карман своего пиджака, словно мать, отобравшая у ребенка то, чем он проказливо баловался.

– Подумайте о себе, Виккерс, – продолжил Штирлиц, словно бы ничего и не случилось. – Если вы откажетесь рассказать правду, вас ждут трудные времена, поймите! Вы сделаетесь зверем, загнанным зверем, у которого на пятках висят гончие. Судя по тому, как убрали Гаузнера, вас ждет такая же участь, нет? Ну, ответьте же себе! Разве нет? Гаузнер в Мюнхене открылся Роумэну не до конца и с глазу на глаз, без скандала. Он сразу же поставил об этом в известность генерала. И что же? Его пощадили? А почему вы думаете, что вас пощадят, если завтра в Лондоне жахнут информацию, о которой я вам сказал только что? Да, я в сложном положении, но, борясь за себя, я утоплю вас. Вы знаете, как в Западной Европе лю-

бят сенсацию, не так ли? Ну и представьте себе заголовок: «Исповедь Штирлица». В которой он, Штирлиц, то есть я, Брунн, повторяю про вас слово в слово то, что сказал вам только что, да плюс еще многое другое... В частности, назову вашу мадридскую тройку, которую я смог получить от Гаузнера.

– Вы?!

– Не важно – он, я, они. Она у меня в кармане. Франко пытается сделать все, чтобы выслужиться перед Белым домом, он отдаст этих людей на заклание, поверьте, Виккерс! Дедушка играет в демократический поворот, ему нельзя иначе, Совет Безопасности давит, грозит санкциями, вы же политик, неужели не понятно?! Ну, а уж про синдикат, про Пепе Гуарази я и не говорю... Я дам такие подробности, которые знали только вы. И это означает, что в самые ближайшие дни вы обнаружите лошадиную голову в своей кровати[1]. И мои показания будут подтверждены письменными свидетельствами Ригельта, который развалился до задницы, Лангера и фон Шонса. Да и беседа Роумэна с Гаузнером записана – вплоть до дыхания.

– Что вам от меня надо? – спросил Кемп, и руки его бессильно упали вдоль тела.

– Сначала мне нужно полное имя генерала, Виккерс. Его псевдоним «Верен» меня не устраивает.

– Писать я вам ничего не буду.

– Повторяю, сначала назовите мне имя генерала...

– У вас же нет звукозаписывающей аппаратуры, я в любой момент откажусь от своих слов.

– Если вы скажете мне все, что меня интересует, вам не придется ни от чего отказываться. Нам выгодно, чтобы вы спокойно жили в этой квартире и работали на Танка... Итак?

– Зачем вам это нужно? – Голос Кемпа за эти мгновения изменился, сделавшись чуть хрипловатым, словно бы простуженным. – Зачем?

– Только не надо меня убеждать, что малые знания означают малые печали, Виккерс. Писание я знаю лучше вас. Мне это нужно для того, чтобы предпринять шаги, связанные с защитой собственной чести: по указанию генерала против меня начали комбинацию. Я хочу понять: зачем? Если меня убедят, что это угодно делу нации, что же, возможно, я соглашусь продолжить игру против самого себя.

– Послушайте, ну, конечно же, все было подчинено цели возрождения нации! – Виккерс даже потянулся к Штирлицу, глаза сделались нормальными, ничего кроличьего: «Как же часто у него приливает кровь к голове, а на вид такой здоровый... Эк, лихо он проглотил наживку, ам – и нету!»

– Вы это можете чем-то доказать?

– Словом! Моим офицерским словом чести!

– Меня не устраивает офицерское слово чести, Виккерс. Я хочу, чтобы это слово мне дал генерал. Вот, – он достал из кармана пачку долларов, – деньги на билет в Германию. Вот, – он показал

[1] Таким образом мафия выносит смертный приговор предателю.

Кемпу свой паспорт («Все равно меченый, по такому долго не проживешь»), – документ, который позволяет мне отправиться туда завтрашним рейсом. Поэтому я повторяю свой вопрос и прошу вас, просто очень прошу не финтить, а дать определенный ответ. Это в ваших же интересах, и после того, как вы мне назовете фамилию генерала, который санкционировал игру против меня, я объясню, почему это в ваших интересах.

– Гелен...

– Я не слышу! Громче!

– Гелен, – все так же шепотом повторил Кемп. «Боится подслушки; я ее, кстати, тоже боюсь, – подумал Штирлиц, – но его бы слушали в том случае, если бы кто-то знал, что я нахожусь здесь, а они не знают, что я в Кордове...»

– Рейнгард Гелен, генерал вермахта, руководитель разведуправления армии «Восток», я вас верно понял?

Кемп молча кивнул.

– Да или нет?

– У вас же нет аппаратуры, зачем вам мой голос?

Штирлиц достал из кармана металлическую коробочку из-под сигарет; он взял ее на всякий случай, не очень-то полагаясь на то, что Кемп поверит.

– Вот она, – сказал он. – Кстати говоря, делают на ИТТ, только в Штатах, испанцам такие не показывают.

Глаза Кемпа снова сделались кроличьими. «Господи, как же вдавлен страх в их души, – подумал Штирлиц, – как безнадежно жить, когда каждую секунду опасаешься, что твое слово, хуже того, мысль могут быть зафиксированы на магнитную пленку и стать уликой против тебя, расплата за которую однозначна – смерть».

– Мы уже начали с вами работу, Кемп, так что, пожалуйста, не затягивайте ее попусту, вас ждет подруга... Да или нет?

– Да, – ответил Кемп шепотом.

– Штука, – Штирлиц тронул тот карман, куда положил коробочку, – берет голос на расстоянии двадцати метров, а шепот – с пяти. Вы сидите в трех метрах от меня, так что можете говорить еще тише... Кто меня выведет на Гелена? Мерк?

Кемп снова кивнул.

– Да или нет?

Кемп отрицательно покачал головой, потом не удержался, заметив:

– Он же ваш! Костолом гестапо!

– Да? А себя вы считаете Вацлавом Нижинским?

Кемп вздрогнул:

– Почему изо всех танцовщиков в мире вы упомянули имя русского, Брунн?!

– Это к вопросу о том, не являюсь ли я русским агентом? Генерала интересовало именно это, нет? Слушайте, завтра утром сходите к хорошему врачу, инженер Лопес. У вас ни к черту сосудистая система, хватит инсульт... Лангер сказал, что у вас уже был однажды криз в Лиссабоне... Да не пугайтесь вы все время, право же! Я бы не пришел с этим разговором, не знай всего того, что вынудит вас на-

чать диалог... Теперь слушайте меня внимательно: я отдам вам себя, Виккерс... Да, да, отправите генералу сообщение, что вы меня настигли. Дадите ему наводку, но только после того, как я скажу вам о целесообразности и своевременности этого шага... Более того, я придумаю безупречную легенду о том, как вы меня нашли. Вы будете оперировать фактами, которые не смогут не заинтересовать генерала... Вы должны будете стать моим владельцем, Виккерс, понимаете, что я имеют в виду?

– Пройдемте на балкон...

– Вы действительно полагаете, что нас могут слушать люди Танка?

Он кивнул.

– Пошли, – согласился Штирлиц, поднялся первым и пошел к балконной двери, не оборачиваясь, зная, что Кемп может в любую минуту броситься на него. «Ну, валяй, кролик, прыгай; я готов; я собран; я переброшу тебя через голову; только бы мне не оглянуться, все сразу рухнет, если он ощутит мой страх, он сейчас раздавлен, между нами такая дистанция, которую ему уже никогда не преодолеть, если только я не обернусь...»

Возле двери Штирлиц чуть посторонился:

– Открывайте.

Кемп повернул ручку и вышел на балкон первым.

– Объясните мне ваше предложение, – сказал он. – То, что вы сказали сейчас, может оказаться взаимоустраивающим вариантом. Если я вас верно понял, вы предлагаете начать игру, в условиях которой записано, что лишь я, Лопес, знаю, как и где можно найти Штирлица?

– Именно. Только вы упустили немаловажное звено: через кого найти Штирлица...

– Через кого?

– А вот именно это я вам скажу чуть позже, когда мы кончим собеседование. Повторяю, Кемп, я в вас заинтересован так же, как и вы во мне. Готовы к диалогу?

– Да.

– Ну и прекрасно. А если бы вы угостили меня холодной минеральной водой, то жизнь бы сделалась сказочной. Пока я буду пить, успокойте толстушку, скажите, что ваш друг через пятнадцать минут уйдет, о кэй?

Утренним поездом Штирлиц (оставил дону Хосе записку о друге, который прилетел в Байрес, будет там сутки, нельзя не повидаться) выехал в столицу, с вокзала пошел на Центральный почтамт – это совсем рядом – и заказал разговор с Голливудом: ответила женщина; понял, что жена Спарка; Роумэн предупреждал, что она в курсе; произнес неторопливо:

– Скажите, чтобы взяли с собой Роберта Харриса и его коллегу сеньора Мигеля. Очень жду там, где условились.

И положил трубку.

Как ему ни хотелось посмотреть Буэнос-Айрес, он остановил

такси и попросил отвезти его в городскую библиотеку. Шофер порекомендовал поехать в университетскую, богаче. Там Штирлиц провел три часа, изучая подшивку немецкой антифашистской газеты. Запомнил фамилии двух наиболее острых высококомпетентных публицистов, выступавших с резкими, но при этом аргументированными статьями против Гитлера, – экс-сенатор М. Осорио и профессор Фриц Зееле, – и сразу же вернулся на вокзал, поезд в Кордову уходил через сорок минут. Купив билет первого класса, он приобрел в киоске карту города (Кемп назвал адреса, которые надо выучить наизусть), в книжном магазинчике купил брошюру о дивном озере возле города Барилоче (то, что Кемп сказал про Рихтера и его проект, не очень-то реально, в это верится с трудом, но если это так, то дело пахнет керосином, это последнее гитлеровское злодейство не имеет права быть осуществленным) и сел в купе, заказав себе у пробегавшего мимо вагонов чико две бутылки «кока-колы» и сандвич с сыром...

Служба взяла в работу имена Роберта Харриса и Мигеля через пять минут после того, как данные телефонного прослушивания легли на стол Макайра.

Немедленно были задействованы люди резидента в Байресе Джона Джекобса; в дело включился директор местного ИТТ Арнолд – со всеми его здешними связями: фотография Штирлица, отправленная в Аргентину загодя, была передана в уголовную полицию столицы; однако Макайр не мог предположить, что Штирлиц приедет в Байрес лишь для одного телефонного звонка, – этим и объяснялось то, что его фото не были сразу же отправлены во все крупнейшие города республики. Штирлиц был готов к началу охоты, он знал, на что шел, поэтому с позавчерашнего дня не брился; спасибо английскому проводнику Шибблу, подрабатывающему на осведомлении нацистов: «С бородой вы похожи на ковбоя, совсем другое лицо». «Роумэн прилетит дней через пять, не раньше, к этому времени я обрасту щетиной, черт не узнает. Бедный дон Хосе, он лишился компаньона, возвращаться к нему нельзя, простите, дон Хосе, но, право, я не могу поступить иначе: дело...»

РИКТЕР, ШИББЛ (декабрь сорок шестого)

Несмотря на то, что сэр Александр Кадоган и мистер Джонсон, представлявшие Англию и Соединенные Штаты в Совете Безопасности, работали, что называется, в унисон, тем не менее традиционные противоречия между Уолл-стритом и Сити, между финансовыми империями Рокфеллеров и Ротшильдов продолжали сохраняться, тщательно скрытые от людских взглядов.

Встречи лидеров Британии и Штатов происходили в «обстановке сердечной дружбы и полнейшего взаимного понимания», газеты отмечали, что политическая программа сэра Уинни в Фултоне принята к исполнению англоговорящим миром; все, казалось бы, в полнейшем порядке, ан – нет...

...Кадровый разведчик Честер Шиббл был отправлен в Латинскую Америку с довольно ловкой легендой: человек скрывается от правосудия, и хотя Лондон не требует его выдачи – так, грехи молодости, суета, – тем не менее лучше держаться подальше от столиц; мир ныне стал таков, что в джунглях спокойнее, чем в городах.

В Игуасу он был направлен отнюдь не случайно. Во-первых, стыковка трех границ; новости из Парагвая и Бразилии стекаются сюда каждодневно, ибо именно здесь сосредоточен центр торговли, перевалочная база грузов, аэропорт, склады на Паране. Во-вторых, Лондон имел информацию от Шелленберга, что уже в марте сорок пятого года крупные национал-социалисты, связанные с финансами НСДАП и СС, были перемещены в глубинные районы юга Америка; поскольку немцы имели сильные позиции в экономике Аргентины, Парагвая и Бразилии, необходимо было знать, на что будет обращено золото Гитлера, если действительно его намерены обратить в бизнес, а не положить в банки, чтобы спокойно жить на проценты с капитала; такое вероятие разведчики МИ-6 также допускали. В-третьих, нельзя не считаться с тем, что мобильный капитал Соединенных Штатов в самое ближайшее время неминуемо начнет наступление на юг, а поскольку железные дороги Аргентины принадлежали Лондону, поскольку именно Англия держала в своих руках ключи от основных банков Буэнос-Айреса и Сантьяго-де-Чили, королевский кабинет должен быть загодя осведомлен обо всем, что предполагает начать младший брат. И, наконец, в-четвертых, Англия прекрасно знала, что в Аргентине поселились ведущие инженеры с немецких военных заводов: с кем они намерены сотрудничать? С американцами? Или с Пероном? Если с Пероном, их следует поддержать, поскольку все, что слегка мешает младшему брату, оказывает на деле значительную помощь Лондону. Так как Перон не скрывал своего негативного отношения к янки (это давало ему дополнительные голоса на выборах: народ не терпел тех, кто захватывал экономику), Лондон был готов закрыть глаза на немецкую активность, – понятно, на определенном этапе, пока банки не наладят контроль над всем тем, что происходит и будет происходить в военном секторе экономики Аргентины.

Круг вопросов, который интересовал Шиббла, был поэтому весьма широк, но, однако, лично его – и чем дальше, тем больше – занимал Риктер.

Шелленберг, начавший давать показания британской секретной службе сразу же после его ареста в мае сорок пятого, довольно подробно коснулся работы Канариса, связанной с попыткой проникновения в «атомный проект американцев». Среди фамилий, которые были у него на памяти, дважды промелькнуло имя штурмбанфюрера СС доктора Риктера и штандартенфюрера СС Штирлица – в связи с делом физика Рунге, арестованного гестапо.

Следы Штирлица затерялись, поди найди человека во взбаламученной послевоенной Европе. Да и жив ли он вообще?!

А вот Риктер май сорок пятого встретил в британском лагере для

военнопленных; с ужасом ждал допросов, понимая, что случится, если англичане докопаются до истории о его участии в допросах Рунге.

Однако же в сентябре (через две недели после того, как Шелленберг закончил давать показания по «атомному проекту») Риктера пригласили в комендатуру, побеседовали, не задав ни единого вопроса о его прошлой работе, и объявили об освобождении, предложив зарегистрироваться в Гамбурге; адрес дали странный: особняк на берегу, в уединенном месте; ни вооруженной охраны, ни джипов; тишина и благодать, шум прибоя и птицы поют.

Человек в штатском, принявший его и также не задавший тех вопросов, которых Риктер страшился более всего, осведомился, чем будет заниматься бывший офицер, поинтересовался, не потерял ли он навыки теоретической работы в сфере физики, и по завершении беседы вручил временное удостоверение, дававшее возможность свободного передвижения по британской зоне оккупации.

Пугаясь собственной смелости, Риктер спросил тогда, не может ли он рассчитывать на такие документы, которые позволят ему уехать из Германии:

– Семья погибла, я один, кругом руины, что мне здесь делать?

Англичанин пообещал обдумать просьбу Риктера и предложил зайти через неделю.

Все эти дни Риктер мучительно колебался: идти или нет? Явно. бес; в таких коттеджах селится секретная служба, ну их всех к черту, лечь на дно, затаиться, там видно будет; но желание вырваться отсюда, страх, что его найдут и отправят в Нюрнберг (он даже не мог себе представить, что английская разведка все уже о нем знала), подвигли его на то, чтобы – выпив две таблетки снотворного, только так можно было унять нервы, – по прошествии недели отправиться к англичанам.

Тот же мужчина с невыразительной внешностью (встретишь через час на улице – не узнаешь), что принимал его в первый раз, вручил ему документ, дающий право покинуть Германию, потом пригласил к столу, угостил чаем с бутербродами (за последние два года впервые попробовал сливочного масла, отвык: Германия сидела на маргарине) и завел разговор о том, почему Гитлер проиграл войну; Риктер слушал доброжелательно, во многом с ним соглашался, а потом неожиданно спросил:

– Если нам понадобится ваша помощь в той отрасли знаний, где вы наиболее активно работали, можно ли рассчитывать на ваше сотрудничество?

– Конечно, – ответил Риктер, – конечно, я готов помогать во всем. Отблагодарю, как могу. – Он подумал, что сейчас-то и начнется самое страшное – вопросы о Рунге, о том, что вытворяли с несчастным на допросах, однако англичанин произнес несколько ничего не значащих фраз и посоветовал Риктеру непременно посетить – по прибытии в любую страну, куда он намерен переселиться – британское консульство.

– Дело в том, – пояснил он, – что по тому документу, который мы вам сейчас выписали, ни одна страна не предоставит вам право

гражданства. Наше консульство выдаст вам другое удостоверение – оно-то и позволит апеллировать к местным властям с просьбой о виде на жительство...

Психологически все было рассчитано верно: немец – он и есть немец, «орднунг мус зайн»[1]: если сказано, что надо зайти и поменять, – непременно зайдет и поменяет. Именно поэтому британская секретная служба зафиксировала прибытие Риктера в Буэнос-Айрес. Удостоверяющую справку оформили за неделю, без проволочек; семи дней вполне хватило на то, чтобы выяснить, где Риктер живет и чем занимается: портовый рабочий, ничего интересного.

И лишь когда по прошествии тринадцати месяцев из разных источников – англичане работать умеют, спешить не любят, вживаются на года – поступили данные о том, что Риктер вошел в сферу интереса полковника Гутиереса, ближайшего помощника Перона, а потом и вовсе исчез из Буэнос-Айреса в связи с каким-то в высшей мере серьезным делом, Лондон понял: птичка клюнула, внимание, наступает время охоты! Об «атомных грезах» Перона в Лондоне узнали; весьма ревниво относились к тому, что младший брат секрета штуки не открывал. Денег и возможностей на собственные исследования не хватало, отчего бы не подлезть к тайне через Перона?!

По странному стечению обстоятельств Шиббл и Риктер прочитали перепечатку о «нацистском изувере Штирлице» одновременно: дело в том, что в Барилоче, где часто бывал Риктер (изредка наведываясь в Кордову), и в Игуасу, где Шиббл по-прежнему играл роль спившегося проводника, развлекающего несчастных гостей провинции охотой и рыбалкой, почта приходила с опозданием в три дня.

Шиббл немедленно проинформировал свой центр (безобидное письмо маме в Лондон) о том, что человек, которым весьма интересовались здешние немцы, является на самом деле фон Штирлицем, ему, Шибблу, известен, был транспортирован в Асунсьон; в случае, если он действительно представляет оперативный интерес, сообщите.

Лондон отреагировал не сразу, сначала надо было поднять все показания Шелленберга. Изучив их заново, провели прямую линию между Риктером и Штирлицем. Ответили в Игуасу (милое письмо старой мамочки непутевому сыну), что человек этот представляет серьезный интерес, в случае его обнаружения – сообщить незамедлительно; из-под опеки не выпускать; если же его обнаружат в других районах, Х-75[2] об этом не преминут сообщить; необходимо срочно посетить Асунсьон и выяснить, не осел ли мистер Штирлиц в столице Парагвая, деньги на поездку можно снять со счета.

В Асунсьоне Шиббл проторчал неделю. Повстречал своих, Штирлица, конечно же, не нашел, но получил информацию, что этот человек (фотографию из газеты «Мэйл» постоянно возил с со-

[1] «Должен быть порядок!» *(нем.)*

[2] Х-75 – кодовое обозначение Шиббла.

бой) встречался с каким-то «гринго»; куда уехал – неизвестно; пропал человек, попробуй найди – иголка в стоге сена.

А Риктер, прочитав, в свою очередь, о Штирлице, поначалу испытал шок, подумав: «А что, если и про меня такое бабахнут?!» Первым побуждением было немедленно связаться с Гутиересом; впрочем, тот наверняка видел эту газету еще три дня назад; если не вызывает, значит, нет нужды. А что потом?!

Как всякий человек, лишенный полета, не обладавший даром фантазии, Риктер не мог представить себе, что Гутиерес, занятый делами государственного уровня, не имел времени читать газеты: шифротелеграммы, приходившие от послов из тех стран, с которыми поддерживались дипломатические отношения, сводки секретной полиции, изучение ситуации на биржах занимали не менее десяти часов в сутки, не считая обязательных приемов, файв-о'клоков, бесед с министрами, руководителями ведущих иностранных фирм (ИТТ, «Дженерал электрик», «Шелл», «Ферст Сити бэнк»), личными осведомителями. Дома валился в кровать без сил; любовницу, великолепную исполнительницу танго, мог видеть только по воскресеньям, отдохнув за неделю, – какой смысл ехать к женщине, если мечтаешь о том, как бы поскорее лечь и сладко уснуть?!

Поэтому, не получив от Гутиереса никакого известия, – а ведь он пообещал сделать все, чтобы Штирлица, если тот жив, разыскать, – Риктер решил затаиться: «Посоветуюсь с Танком, светлая голова, он подскажет, как поступить, не мозг, а счетное устройство».

Мысль об ужасающей статье про Штирлица, о ликвидации им Фрайтаг и Рубенау, тем не менее, покоя не давала; пришлось снова прибегнуть к снотворным препаратам; правда, здесь, в Аргентине, они были значительно мягче, чем в Европе; по ночам явно видел перед собой лица личного посланца Мюллера и его спутника: «Мы очень заинтересованы в вашей работе; мы понимаем, что у вас сейчас трудное время, приходится выполнять все указания Перона; выполняйте, они разумны. Вполне вероятно, к вам подойдут какие-то люди из Германии, скорее всего бывшие военные; о контакте с ними поставите нас в известность, опубликовав в "Кларин" объявление, что вы – понятно, не называя себя, – намерены приобрести двух сиамских котят, обязательно с азиатской родословной. После этого мы найдем вас и обсудим ситуацию; главное – совершеннейшее спокойствие. И еще – вы слишком тихо себя ведете: крупный ученый обязан зарекомендовать себя психом; это угодно вашим руководителям, Аргентина еще только создает свою науку; здесь полны почтения к мыслителям, воспользуйтесь этим. Если же ситуация не будет терпеть отлагательств и вам станет необходимо срочно посоветоваться с нами, отправляйтесь в Игуасу, поселитесь там в отеле "Александер", обедать ходите в парижжу[1] – единственную, где собираются все европейцы; к вам подойдут. Пароль: "Вы еще не посетили водопады? Советую

[1] Парижжа (так аргентинцы произносят испанское слово «парилья») – ресторан, где готовят национальное аргентинское мясное блюдо, жаренное на углях.

сделать это перед заходом солнца, очень впечатляет"; отзыв: "А мне говорили, что самое интересное время на рассвете". Вам возразят: "Не верьте, сказки, – закат». С этим человеком можете говорить, как с нами".

Зная, что лучший способ успокоить нервы, – это отправиться в путешествие, Риктер послал телеграмму Гутиересу, в которой просил его санкционировать поездку в северные районы, совершенно не исследованные в плане минералогии, во-первых, и, во-вторых, бесспорно перспективные с точки зрения энергоресурсов.

Гутиерес не ответил; вместо него телеграмму отправил полковник Энрике Гонсалес: «Командировка сроком на семь дней санкционирована сеньором Гутиересом; просьба представить отчет в десятидневный срок».

Риктер вспомнил людей, которые пришли к нему от Мюллера: «Они правы, со мной разговаривают, как с послушным исполнителем; сейчас самое время застолбиться, потом может быть поздно, привыкнут к моей покорности».

Всю ночь он составлял ответную телеграмму, пошел в библиотеку, взял в абонементе Плутарха, ничего подходящего не нашел; заставил себя вспомнить латынь, в университете это был обязательный предмет; кроме «сик транзит глория мунде» на ум ничего не шло; под утро, в отчаянье уже, написал в Буэнос-Айрес: «Наука не умеет подчиняться времени, ее задача подчинить время себе; о десяти днях для отчета не может быть речи».

Отправив телеграмму, пошел в лабораторию, но понял, что работать не сможет, текст и формулы п л ы л и. «Какого черта я послушался этих мюллеровских изуверов?! Проклятье прошлого! Я сломан и растерт подошвой об асфальт! Жив – чего еще надо?! А если Гутиерес ответит, что я волен заняться проблемой подчинения времени в Германии?! Рабство страха – самое страшное рабство, но еще ужаснее высокомерная утеря памяти, легомысленное забвение недавнего прошлого! Кто ты такой? – спросил он себя. – Мышь, палач, мусор. Что ты можешь? Да ничего, кроме как разве по-немецки четко организовать здесь некое подобие индустрии атома, базируясь на тех огрызках знаний, которые тебе чудом попали в руки».

Он решил было немедленно заказать разговор с федеральной столицей, но сразу же вспомнил, что по соображениям безопасности – п р о е к т был глубоко засекречен – разговоры были не р е к о м е н д о в а н ы. К ограничительным намекам такого рода был приучен в рейхе; пошел на почту, решив отправить новую телеграмму: мол, прошу дать мне на составление отчета хотя бы две недели, намерен сделать его развернутым и тщательно аргументированным, поспешность в таких вопросах чрезвычайно нежелательна. Повертевшись вокруг окошка, где принимали розовые бланки (срочные), понял все же, что это будет выглядеть до неприличного жалко. На вероятный о к р и к Гутиереса лучше всего ответить болезнью, сердечным кризом, – большие начальники любят сострадать, моральное меценатство.

Днем в институт принесли «молнию», открыл трясущимися паль-

цами: «Дорогой доктор, мы очень спешим с нашим делом, только поэтому так резко ограничиваем во времени – и самих себя, и наших друзей. Не сердитесь. Сердечно ваш Гутиерес».

Риктер почувствовал, как перехватило горло от волнения; лица посланцев Мюллера, которых ночью костил мерзавцами и костоломами, сейчас вспомнил с нежностью: все-таки немец никогда не подведет немца, нет ничего выше единства крови, почвы и языка.

Назавтра вылетел в Игуасу. Три дня в «Александере» к нему никто не подходил. В парижке, которую, как оказалось, держал немец, им никто не интересовался. Лишь на четвертый день, когда он кончил фотографирование водопадов, изучил все минералы, которые сюда везли из Бразилии, на улице, вечером уже, его окликнули, – слова пароля были абсолютны, слово в слово.

– Не сердитесь, что я не сразу подошел к вам, сеньор Риктер. Меня зовут Райфель. Все это время приглядывался, всякое может быть, как-никак, живем в чужой стране.

– Вы легальны? – поинтересовался Риктер.

– Вполне.

– В таком случае, передайте пожалуйста, что мне необходимо повидаться с теми господами, которые привезли техническую документацию.

Этот текст означал, что Риктер требует немедленной связи с людьми Мюллера. Поскольку формально Райфель работал на организацию Гелена, но состоял на учете в картотеке Мюллера, ему приходилось лавировать между двумя системами, работая то на одну, то на другую. О том, что люди Мюллера надежно инфильтрованы в организацию, он, конечно же, догадывался, поэтому вел себя крайне осторожно. Понятно, он не знал, жив ли Мюллер или братство возглавляет какой-то другой функционер; ясно было лишь одно: сеть трехъярусна – Гелен, гестапо и НСДАП, знай вертись вентилятором, особенно после того, как курьер[1] из Европы сухо потребовал письменного отчета о всей проделанной работе. Несколько раз ловил себя на мысли, особенно после того, как бизнес пошел в гору: «Вот бы родиться каким парагвайцем или голландцем! Нет ничего более спокойного, чем быть подданным маленького государства, особенно если оно к тому же конституционная монархия».

– Хорошо, – ответил Райфель, – через день-другой вас найдут.

Риктер сразу же вспомнил советы посланцев Мюллера, недоуменно посмотрел на Райфеля, заметив:

– Вы меня плохо поняли, сеньор Райфель. Встреча мне нужна немедленно; озаботьтесь тем, чтобы контакт состоялся не позднее завтрашнего ланча. Я буду ждать у себя в отеле в тринадцать тридцать.

– У нас пограничный город, – Райфель покачал головой. – Я не исключаю возможности, что ваш номер оборудован.

– Проверить нельзя? – так же требовательно поинтересовался Риктер.

[1] Именно так Лангер представил ему Роумэна.

– Рискованно.
– Хорошо, назначьте встречу в ресторане.
– В каком?
– При отеле.
Райфель снова покачал головой:
– Нет, не годится, слишком болтливый портье. У меня там был контакт, и об этом узнали в городе. Встречу организуем в «Джордже» – большой дворик, столы отстоят друг от друга на значительном расстоянии, беседу можно проводить без оглядки...
Райфель действительно узнал, что о его встрече с курьером в холле «Александера» болтали в городе, – любой новый человек в Игуасу на виду. Он, конечно, не мог предположить, что Шиббл сделал портрет Роумэна и отправил пленку в Лондон. Эта новость вызвала там шоковый интерес; столкнулись два мнения: одни считали, что этот факт необходимо срочно сообщить Вашингтону, другие – из старой гвардии: «прежде всего интересы империи» – такого рода сообщение полагали преждевременным, наиболее разумно сначала самим посмотреть за Райфелем и Роумэном, он, видимо, ключевая фигура. Вторая точка зрения возобладала.

Назавтра Шиббл не только сфотографировал Риктера с неизвестным, но и смог услышать часть разговора (к счастью для Мюллера – незначительную часть). То, что Шиббл смог услыхать, весьма заинтересовало его: Риктер, человек, на которого он был сориентирован еще десять месяцев назад, обсуждал вопрос о том, как быть со Штирлицем (Шиббл увидел в руках Риктера вырезку из «Мэйл»).
Риктера интересовало, как быть со Штирлицем, потому что «он держит те нити, которые, возможно, определят успех предприятия; но если он связан с русскими, имеем ли мы право приобщать его к делу? Я-то поначалу рассчитывал, что его можно привлечь. Но сейчас я думаю, что это сумасшествие». «Привлечь его можно двояко, – усмехнулся собеседник Риктера. – Либо как друга нашей идеи, либо как врага. Если бы он был другом, он бы жил рядом с вами и пользовался всеми благами аргентинского рая. А поскольку он враг, ему придется работать на немецкое дело в таком месте, по сравнению с которым Освенцим покажется ему санаторием».
В свое время Шиббл получил информацию, что где-то в Андах нацисты создали свой закрытый лагерь, – жизнь там идет точно так, как в рейхе. «Что же, – подумал он, – проводник имеет право охотиться не только в сельве».
Попытка Шиббла пасти человека, который пришел на встречу с Риктером, окончилась неудачей: сразу же после встречи он поехал на аэродром, сел в маленький самолет – без опознавательных знаков – и улетел в неизвестном направлении.
За Риктером, однако, Шиббл наладил наблюдение, которое и привело англичан в район Ла Плата и в Барилоче, где лаборатория охранялась молчаливыми людьми в штатских костюмах, но с хорошей военной выправкой.

План, задуманный МИ-6[1] в Гамбурге в далеком сорок пятом году, получил свое развитие: события раскручивались именно так, как прикинули асы политической разведки. Да, Риктер нашел хозяев для своей идеи, да, он обосновался в Аргентине, да, здесь начали свое атомное дело; этим можно торговать с младшим братом, который не подпускает Британию к своей штуке; подпустит, вынужден будет подпустить, если испугать как следует. Именно страх заставит американских экспертов начать диалог с британскими коллегами, ибо атомная бомба в руках Перона равно опасна и Вашингтону, и Лондону.

Шиббл решил, что ему вменят в обязанность наладить слежку за каждым шагом Риктера, он мог это сделать, крезы из Буэнос-Айреса, которых он водил по сельве, примут его с распростертыми объятиями.

Однако очередное указание, поступившее из Лондона, оказалось совершенно иным. «Мамочка» писала тайнописью, что необходимо продумать вопрос о том, чтобы Шиббл организовал утечку информации о том деле, которое раскручивал Риктер. Причем сослаться следует на Штирлица; как это сделать – задача Шиббла. Но выпустить информацию надо никак не в Аргентине, но в Бразилии или Парагвае, и таким образом, чтобы об этом узнали представители американской прессы, и опять-таки не любой газеты, но в первую очередь журнала «Нью Рипабликэн».

Шиббл написал в Лондон, что задача эта практически неосуществима. Где Штирлиц? Как его найти? Кто знает этот новый американский журнал? Как к нему можно подкрасться в Латинской Америке, где у них нет своих корреспондентов? Один шанс из миллиона.

Лондон ответил в обычной своей манере, сдобренной старым островным юмором: «Вот и реализуйте этот шанс».

Ответили так те люди из британской секретной службы, которых связывала старая и добрая дружба с ОСС, и отвечать так они считали нужным потому, что директором нового журнала был не кто-нибудь, а бывший вице-президент Соединенных Штатов Генри Уоллес.

К этой глубинной комбинации Аллен Даллес – а именно он был ее автором – Макайра не подпускал, работал наощупь, как слепой, читающий текст мягкими подушечками пальцев на особой странице, напечатанной в типографии Артура Баксли.

Его давешняя задумка каким-то образом связать Штирлица и Роумэна с людьми типа Уоллеса обрела реальную возможностью именно в тот день, когда вышел первый номер журнала «Нью Рипабликэн», который выступал за дружеский диалог с Москвой и требовал немедленного и бесспорного запрещения производства ядерного оружия.

Множественность угодна зрелой политике. Даллес не имел права позволить Макайру произнести при нем слово «синдикат», хотя он был прекраснейшим образом осведомлен о том, каким образом мафия задействована в комбинации; он понимал, сколь выгоден был бы сейчас в Голливуде и Вашингтоне «треугольник» Ро-

[1] МИ-6 – подразделение английской разведки.

умэн – Эйслер – Штирлиц; он, однако, держал в поле зрения ситуацию в Колумбии, где дело идет к победе левого кандидата в президенты Гаэтана, а это недопустимо, – дурной пример заразителен, в Латинской Америке нет и не может быть левых режимов, это противно интересам Соединенных Штатов. Следовательно, дуэт Роумэн – Штирлиц может оказаться значительно более необходимым в экстремальной ситуации, которую необходимо создать в Колумбии, пограничной с Панамой (крупнейшая военная база США), Венесуэлой (нефтяная империя Рокфеллеров, интересы которых защищает «Саливэн энд Кромвэл»), Бразилией, Эквадором, предоставившими военно-морские базы США, и Перу (ключевая страна Тихоокеанского побережья). Именно этот дуэт вынудит русских убраться с юга, именно так, им здесь не место. Но венцом всего предприятия может стать «треугольник» Уоллес – Роумэн – Штирлиц (то есть гестапо плюс ГПУ), в основании которого лежит аргентинский атомный проект. На этом троица вполне сойдется, ибо ключевыми фигурами атомного дела Перона являются немцы с нацистским прошлым, – гарантия того, что Роумэн не сможет промолчать, – Дон Кихот, вертикальный характер; Уоллес будет тянуть свою политическую линию на разоружение и запрет бомбы; ну, а Штирлиц, видимо, станет отстаивать свое.

«Я чувствую комбинацию, – думал Даллес, – ауф видерзеен, курс мистера Рузвельта!»

РОУМЭН (зима сорок седьмого)

...Во время налета на явки нацистов в американской и британской зонах оккупации, которые ему удалось открыть, Роумэн отправился с двумя «джи ай» на квартиру вице-президента Имперской социалистической партии Лонца.

В коттедже не оказалось ни души; ощущение такое, будто отсюда только-только ушли.

– Обыщите дом, – сказал Роумэн военным, почувствовав внезапный озноб. – Весь дом, каждый ящик. Перетрясите все книги, тут должно быть то, что меня интересует.

Он отошел к телефону, снял трубку, но аппарат был гулко-безжизненный, словно тыква.

Закурив, Роумэн задумчиво посмотрел на то, как ловко работали военные контрразведчики, и сказал:

– Продолжайте, ребята, я вернусь через час.

Позже он не смог вернуться, потому что должен был вылететь в Женеву, там пересесть в машину Лангера, который привезет его в Аскону, в дом Матильды Вольф, хозяйки перевалочной базы, что снабжала людей СС и СД липой, по которой надо было явиться в Вечный город, на улицу, находящуюся в трехстах метрах от Ватикана. На этой же машине поездка в Австрию – не так уж далеко, американская зона оккупации. Оттуда возвращение в Швейцарию и вылет к Штирлицу. В это время Эронимо берет в Мадриде трех «контрабандистов» Гаузнера и Кемпа (их надо брать именно по обвинению в контрабанде кокаина, еще рано тревожить весь улей); глав-

ное, чтобы они просидели на Пуэрто-дель-Соль хотя бы три дня; основные улики даст банкир Нибель из Кордовы, он – ключевая фигура, возит нацистские деньги по миру.

Предприятие было рассчитано по часам – с учетом разницы во времени на континентах.

Однако все рухнуло; когда Роумэн приехал в штаб-квартиру оккупационного корпуса, дежурный офицер протянул ему телефонограмму: «Группа, состоявшая из сержанта Никльсона и рядовых Дэвиса и Рэндольма, при налете на квартиру, указанную в вашем рапорте, взорвалась на мине, заложенной в пустом доме; Дэвис погиб на месте, жизнь Никльсона и Рэндольма в критическом состоянии».

...Лангера на аэродроме в Женеве не было; в бюро информации на имя «доктора Брэдиса» (так было оговорено) никто не оставлял никакого сообщения.

Роумэн заказал Мадрид; полковника Эронимо не было ни на работе, ни дома: «Коронель уехал в командировку». Так было и в тот день, когда появился Гаузнер; что же могло произойти за это время, черт?!

Роумэн отошел к киоску, купил американские газеты. не для того, чтобы читать, а скорее, чтобы сосредоточиться и принять какое-то решение. Страницы пролистывал машинально, не очень-то обращая внимание на заголовки; споткнулся – совершенно неожиданно – на самых броских: «Немецкий композитор из Голливуда на службе ГПУ и Коминтерна!»; «Ганса Эйслера защищает Элеонора Рузвельт!»; «Первая леди под подозрением в симпатиях к красным!»; «Москва задействовала всю свою агентуру на Западе!»; «Чарли Чаплин, Матисс, Пикассо и Кокто обратились в Белый дом!»; «негодование Альберта Эйнштейна!»; «Ничто не спасет русского шпиона от кары!»

Сначала Роумэн не поверил глазам; ведь Макайр сказал, что с этим безумием все кончено, Америка убедилась в шаманстве Рут Фишер[1], катившей черт знает что на братьев: «Не может быть, бред какой-то!»

Он отошел к стойке бара, попросил кофе, принялся читать сообщение о предварительном допросе Ганса Эйслера, композитора, которого по праву называли одним из самых великих музыкантов века.

«Эйслер. – Господин председатель, могу ли я просить у вас разрешения сделать заявление перед началом собеседования?

Председатель. – Дайте мне ваше заявление. (Читает его.) Нет. Я не разрешаю вам выступить с этим заявлением...

Эйслер. – Вы не хотите позволить мне выступить с заявлением после всего того, что мне довелось пережить начиная с прошлого года?!

Председатель. – Следователь, задавайте свои вопросы.

Следователь. – Я хочу зачитать выдержки из газеты "Дейли уоркер" от пятнадцатого января тридцать пятого года... Цитирую: "Выдающийся революционный композитор Ганс Эйслер прибывает

[1] Сестра Ганса Эйслера, бывший член КПГ.

двадцать седьмого января... С тех пор, как в Германии к власти пришел Гитлер, Ганс Эйслер проживает в Париже и Лондоне; всему миру известны произведения этого блистательного музыканта; нельзя не восторгаться его высокоталантливыми операми, песнями и фильмами, такими, как – немецкое название я произношу по буквам – кэй-ю-эл-и-даблью-ай-эм-пи-и..." Что это значит, Эйслер?

Эйслер. – Это опера и фильм, сделанные мною в Берлине в тридцать втором году. Называется "Куле Вампе".

Следователь. – Продолжаю цитату: "эм-ай-эс-эс-эн-ай-эм-и..." Что это такое?

Эйслер. – Это мое произведение "Масснаме"... По-немецки это звучит как "мероприятие", "целесообразность"...

Следователь. – Продолжаю цитату: "Рот фронт"... Это все вы сочинили, Эйслер?

Эйслер. – Да.

Следователь. – В статье говорится, что вы один из выдающихся композиторов современности, вас называют борцом-коммунистом против гитлеровской тирании, утверждают, что вы не только великий музыкант, но и товарищ, стоящий в первой линии борьбы. Вы подтверждаете, что это написано про вас?

Эйслер. – Про меня так много писали, что я не могу помнить каждую статью...

Следователь. – Я просмотрел нью-йоркские газеты этого же периода, о вас нигде не писали как о великом композиторе, кроме как в газете американских коммунистов.

Эйслер. – Вы плохо смотрели, я могу показать вам сотни статей обо мне, они где-то валяются в моих архивах.

Следователь. – Подойдите ко мне и посмотрите фото в газете "Дейли уоркер". Это ваша фотография?

Эйслер. – Совершенно верно, моя.

Следователь. – Что за жест вы делаете на фото?

Эйслер. – Это салют немецких ра...

Следователь (перебивает). – Вы подтверждаете, что на фото изображены именно вы и именно вы держите правую руку над головой, причем пальцы сжаты в кулак?

Эйслер. – Подтверждаю, поскольку...

Следователь (перебивает). – Вы не отвергаете, что вы держали руку в коммунистическом салюте?

Эйслер. – Да, подтвер...

Следователь (перебивает). – Продемонстрируйте комиссии этот жест!

Эйслер демонстрирует коммунистический салют, подняв правую руку, сжатую в кулак.

Председатель. – Вы не хотите опровергнуть подлинность фотографии?

Эйслер. – Нет. Это салют не только коммунистов, но и всех антифашистов. Это не партийное приветствие, а салют антифашистов всего мира.

Следователь. – Вы писали музыку к фильмам режиссера Йориса Ивенса, работавшего с Хемингуэем в Испании?

Эйслер. – Да.

Следователь. – Им мы еще займемся, этим Ивенсом... В статье про вас написано, что вы заявили: "В единстве голосов и действий – надежда на будущее мира". Вы говорили эти слова корреспонденту?

Эйслер. – Журналист вправе писать, что он хочет. Я могу отвечать только за себя...

Следователь. – Это вы написали оперу "Мать"?

Эйслер. Да. Опера "Мать" написана по мотивам повести Горького.

Следователь. – В одной из арий этой оперы есть слова: "Учи азбуку, не бойся, ты только начни, рабочий, и ты возьмешь власть, ты победишь!" Вы писали музыку и к этим словам?!

Эйслер. – Не мог же я писать музыку к одним словам и не писать ее к другим?!

Председатель. – Вы имеете в виду, что сейчас надо быть готовым к тому, чтобы "взять власть и победить"?!

Эйслер. – Я не понимаю вопроса...

Председатель. – Где вы писали эту оперу?

Эйслер. – В Берлине, в двадцать девятом, мне кажется...

Председатель. – Значит, ваша опера обращена к немецким рабочим?

Эйслер. – Не только... Это же опера, произведение искусства.

Председатель. – Но это "произведение искусства" показывали в Соединенных Штатах?

Следователь. – Да.

Председатель. – Значит, эти слова из вашей оперы обращены не только к немцам, но и к итальянцам, французам, американцам?

Эйслер. – Повторяю, опера написана по мотивам повести великого Максима Горького... Слова песни соотнесены с ситуацией, которая существовала в России в девятьсот пятом году...

Председатель. – Могли бы вы написать подобную оперу в Соединенных Штатах с призывом "захватить власть и победить" здесь, в этой стране?

Эйслер. – Нет.

Председатель. – Вы изменили своей позиции?

Эйслер. Нет. Просто здесь я гость, путешественник... Ваше рабочее движение будет само решать свои дела...

Следователь. – Вы когда-нибудь посылали приветствия в Советский Союз?

Эйслер. – Конечно.

Следователь. – Вы ненавидите Сталина?

Эйслер. – Простите, я не понял вопроса?

Следователь. – Вы ненавидите Сталина? Мы слышали, что вы говорили офицерам иммиграционной службы, что вы ненавидите Сталина.

Эйслер. – Я был бы идиотом, если бы говорил им это. Я считаю Сталина весьма серьезным персонажем современной истории.

Следователь. – В советской энциклопедии, изданной в

тридцать третьем году в Москве, дано ваше фото и заметка: "Эйслер, композитор, коммунист, глава пролетарского направления в германской музыке..." Вы член коммунистической партии, мистер Эйслер?

Эйслер. – В России коммунистом называют каждого, кто так же активен в своем творчестве, как я. Я не имею права – особенно после тех пятнадцати лет, когда германские коммунисты сражались в подполье против Гитлера, – считать себя членом партии, потому что все они были героями, настоящими героями... Да и в любой стране, где коммунисты работают в подполье, – они герои. А я не герой. Я просто композитор...

Следователь. – Как зовут вашу сестру, мистер Эйслер?

Эйслер. – Ее зовут Рут Фишер.

Следователь. – Вы получили от нее письмо, датированное двадцать четвертым апреля сорок четвертого года?

Эйслер. – Что за письмо?

Следователь. – В этом письме миссис Фишер обвиняет вас в том, что вы являетесь агентом ГПУ. Она пишет следующее: "Если местное отделение ГПУ попытается устроить мне "естественную" смерть, то это у вас не получится, – ни у тебя, ни у Герхарда Эйслера, являющегося шефом германского отдела ГПУ в Соединенных Штатах. Это так легко вам не сойдет с рук. Вы всегда играли терроризмом и всегда боялись нести ответственность за это. Я сделала следующие приготовления на случай ваших террористических актов: во-первых, три врача провели тщательное медицинское обследование и засвидетельствовали, что я абсолютно здорова, так что нет никаких оснований для моей естественной смерти. При этом я нахожусь под постоянным врачебным надзором и тщательно слежу за своим состоянием. Доктора проинформированы обо всем, и в случае какого бы то ни было ухудшения моего здоровья они незамедлительно примут соответствующие шаги. Во-вторых, престижные журналисты и политики получили копию этого письма, так же как и ряд немецких иммигрантов..."

Мистер Эйслер, вы подтверждаете получение этого письма?

Эйслер. – Письмо совершенно сумасшедшее...

Председатель. – Вы получили это письмо?

Эйслер. – Я неоднократно читал подобные послания...

Следователь. – Зачитываю цитату из журнала "Советский Союз сегодня", май тридцать шестого года, страница тридцать три: "В день Первомая трудящиеся всего мира наравне с "Интернационалом" и "Вставай, проклятьем заклейменный" поют песни Эйслера и Брехта". Конец цитаты. Вы ни разу не называли человека, который писал слова для таких ваших песен, как "Вперед, мы не забыли", "Общий фронт", а ведь в этом журнале говорится, что для вас писал Бертольт Брехт? Да или нет?! Почему вы молчите?! Господин председатель, у меня больше нет вопросов к Эйслеру, я требуют его отправки в Голливуд для новых допросов на месте.

Член комиссии. – Мистер Эйслер, вы написали "Балладу о параграфе 218"?

Эйслер. – Да.

Член комиссии. – Вы помните слова?

Эйслер. – Конечно.

Член комиссии. – Вы написали "Балладу о нигтере Джиме"?

Эйслер. – Да.

Член комиссии. – Вы помните слова?

Эйслер. Да.

Член комиссии. – Вы читали слова этой баллады перед тем, как написать музыку?

Эйслер. – Да.

Член комиссии. – Вы написали "Песню о черством хлебе?"

Эйслер. – Да.

Член комиссии. – Вы читали слова перед тем, как писать музыку?

Эйслер. – Конечно.

Член комиссии. – Господин председатель, я считаю, что все члены комиссии должны тщательно проанализировать песни, которые я упомянул, и в авторстве которых Эйслер сознался. Тексты этих песен нельзя послать по почте Соединенных Штатов. Это нечто такое, что выходит за рамки политики, это должно быть отправлено на заключение медикам! "Безумное безобразие" – бедные и слабые слова, чтобы определить эту мазню на нотной бумаге! Такое "искусство" не имеет права на то, чтобы существовать в цивилизованном обществе!

Эйслер. – Слова этих песен признаны великой поэзией.

Член комиссии. – Чем, чем они признаны?!

Эйслер. – Великой поэзией.

Член комиссии. – Мы в Америке иначе понимаем великую поэзию! Ясно вам?! Помимо всего прочего, в словах ваших песен есть высказывание против закона об абортах. Да или нет?!

Эйслер. – Да.

Член комиссии. – Песня смеет выступать против закона об абортах?!

Эйслер. – Да.

Член комиссии. – Значит, с вашей, коммунистической, точки зрения, вы вправе высказываться против закона об абортах?!

Председатель. – Мы еще вернемся к вопросу о высказываниях против закона об абортах.

Член комиссии. – Мистер Эйслер, вы где-то позволили себе заметить, что наша комиссия мучает и травит вас...

Эйслер. – Да.

Член комиссии. – Наша комиссия по расследованию антиамериканской деятельности создана в рамках закона и действует в рамках закона. Чем же мы травим вас и мучаем?

Эйслер. – Если вы допрашиваете меня без перерыва в течение двенадцати месяцев, собираете против меня факты, которые не имеют ничего общего с правдой, если вы начали фантастическую кампанию в прессе против меня, да и вообще против художников и артистов, вы просто-напросто хотите уничтожить всех нас, особенно тех, кто не скрывает и никогда не скрывал своей антифашистской, красной идеологии...

Член комиссии. – Мистер Эйслер, это вы написали музыкальную поэму "Об убийстве"?

Эйслер. – Да, это я написал.

Член комиссии. – Господин председатель, я хочу привести девять строк из этой – с позволения сказать – поэзии...

Эйслер. – Я не убежден, что вы достаточно компетентны в вопросах поэзии.

Председатель. – Все члены этой комиссии компетентны в поэзии!

Член комиссии. – Цитирую: "Нет ничего ужаснее, чем пролитая кровь, страшно и горько учиться убивать, мучительно видеть молодых людей, погибших раньше времени на полях битв, но мы должны научиться этому, – для того лишь, чтобы кровь никогда не проливалась более!"

Эйслер. – Вы довольно точно перевели слова. Эта антифашистская песня написана мной... И когда Гейдрих был убит чехами на улицах Праги, когда партизаны пролили его кровь, я был согласен с ними... Пойдите в Голливуд... В каждом газетном киоске вы купите журналы с описанием ужасных гангстерских зверств, вы купите их свободно, и мне очень не нравится это, с позволения сказать, искусство... А моя поэма – это призыв к борьбе против кровавых гангстеров.

Член комиссии. – Господин председатель, американские парни погибали, сражаясь против Гитлера, но мне не нравится, когда кое-кто приехал в эту страну из Европы и призывает народ к революции в Соединенных Штатах!

Председатель. – Мистер Эйслер, вам необходимо находиться здесь, пока мы не освободим вас.

Эйслер. – Где я должен находиться?

Следователь. – В Соединенных Штатах. В Вашингтоне. В этой комнате».

Роумэн закрыл глаза, испугавшись, что заплачет. Он явственно увидел лицо композитора. Он ведь такой наивный, сидит дни напролет у рояля и сочиняет ту музыку, которую слышит в себе и которой восторгается мир, а с ним говорили как с мелким жуликом. С ним говорили больные люди. Или очень страшные мерзавцы. А скорее всего – и то и другое. Кто сказал, что параноики не могут быть мерзавцами и при этом править страной?!

«Вот почему я не мог найти его, – понял Роумэн. – Они допрашивали его все эти месяцы, а он боялся встречаться с кем бы то ни было, чтобы не бросить тень на друзей».

Роумэн попросил бармена сварить ему двойной кофе, полез за сигаретами, закурил, тяжело затянулся, а потом – неожиданно для себя – бросил газету на пол и наступил на нее ногой, словно на какую-то гадину...

«Ну, Макайр, – сказал он себе, – ну, мерзавец, ты ведь из этой же банды, ты все знал заранее, ты сделал так, чтобы спасти открытых мной черных наци в Германии, и погубил из-за этого наших ре-

бят, позволив взорвать их на мине, наци ведь не так страшны для тебя, как несчастный Эйслер или Брехт, к которому подбираются другие мерзавцы! Да что же это такое, боже милостивый?! Что происходит с моей страной? Как остановить этот психоз, они ведь возрождают инквизицию. Это страшно, что они делают, я бы не мог в это поверить, не прочитай своими глазами, я бы полез с кулаками на каждого, кто посмел бы рассказать мне то, что я только что узнал!

Ох, как хочется выпить, – подумал Роумэн, – напиться хочется, завыть по-волчьи, задрав голову к луне, хочется кричать так, чтобы меня все услышали, собрались вокруг меня и решили бы, что я спятил, а я бы – когда соберется много людей – замолчал и рассказал бы им то, что обязан рассказать, и тогда все эти безумцы из антиамериканского комитета, большие знатоки поэзии, вздрогнули бы, они бы испугались, потому что правда, которую я теперь узнал, пострашнее их лжи...

Нельзя мне пить, – сказал он себе, – нельзя пить, когда ты в деле, надо быть трезвым и собранным, как никогда».

Он пошел на переговорный пункт и заказал Голливуд. До отправления самолета оставалось еще больше часа; к телефону подошел Грегори; голос какой-то фальшивый, чересчур спокойный и бодрый.

– С Крис все в порядке, ждем тебя, Пол, очень скучаем...

– Ты что, еще не читал?

Голос сломался, потух:

– Неужели в Европе уже перепечатали?! Ах, Пол, как я не хотел, чтобы ты узнал об этом там... Но еще не все потеряно, Элеонора Рузвельт требует, чтобы реакционеры с юга были убраны из комиссии, пусть туда пустят нормальных американских либералов... Ты слышишь меня, Пол?

– Да. Ты веришь, что их так легко оттуда убрать?

– Когда так ужасно, надо быть всем вместе, Пол, мы ждем тебя...

– Да, надо быть всем вместе... Только я сначала залечу в Вашингтон...

– Что-нибудь случилось?

– В том-то и дело, что ничего не случилось, старина... Все пошло прахом... Все, понимаешь? Дай мне Крис...

Он явственно увидел, как она выхватила трубку из рук Грегори. «Как это ужасно – говорить по телефону, зная, что каждая твоя интонация, не то что слово, записывается на медленно двигающуюся пленку диктофона, над которой склонились люди, вроде тех, что мучали Эйслера. Будь ты проклята, техника двадцатого века! Бедная моя конопушка, из одного ужаса попала в другой...»

– Милый, здравствуй, любовь моя!

– Здравствуй, – ответил он, подумав, что девочка забыла самое себя: «Ведь именно она учила меня, что нельзя открываться перед гадами, они умеют играть тем, что любишь более всего на свете. Бедная девочка, какая-то обреченность кругом, давит, сил нет, сейчас замолотит заячья лапа, не сердце, а какая-то тряпка, черт его забери... Ты не смеешь так думать, – сказал он себе, – ты должен быть крепким и здоровым, потому что есть Крис и ты ей нужен, а все

большие дела в мире начинаются с любви – к ребенку, женщине, маме...» И как раз в этот миг он вновь услыхал в себе тот давешний, подлючий голос, который так ненавидел, но который жил в нем помимо его воли и желания: «А может быть, именно любовь толкает человека к тому, чтобы примиряться с обстоятельствами?»

– Милый, почему у тебя такой ужасный голос?!

– Немного простудился, конопушка... Это пройдет, как только я увижу тебя.

– Я буду молиться, чтобы самолет благополучно перелетел этот чертов океан.

– Обещаю тебе, что он перелетит.

– Если случилось что-то не так, не огорчайся уж очень-то, всегда надо уверенно думать о том, что задуманное рано или поздно сбудется, тогда непременно все случится так, как ты хочешь.

– Бросай математику, конопушка... – усмехнулся Роумэн. – Переходи в Армию спасения, там нужны талантливые лекторы. И платят хорошо.

– Ладно, я начну готовиться, только скорее прилетай...

– Ну его к черту, этот Вашингтон, – сказал вдруг Роумэн. – Я сейчас поменяю билет и возьму тот рейс, где не надо ждать в нью-йоркском аэропорту, и сразу же прилечу к вам...

– Ох, как это хорошо, милый, я так счастлива... Погоди, тебе что-то хочет сказать Элизабет...

– Целую тебя, конопушка.

– А как я тебя целую, милый, если б ты только знал!

Голос у Элизабет был какой-то сломанный, затаенный:

– Здравствуй, седой братик, рада тебя слышать...

– Здравствуй, девочка. Как дети?

– Орут, бьют посуду, играют с Крис в прятки с утра и до вечера. Свою докторскую она пишет по ночам... Слушай, милый, тут, оказывается, очень нужен Роберт Харрис и Мигель...

Роумэн не сразу понял:

– Что?!

– Спарк и Крис были против того, чтобы я это говорила тебе... Но я все же решила сказать...

«Это Штирлиц, – понял Роумэн. – Он звонил к ним. Что-то случилось, видимо, крайне важное. "Мигель" – это Майкл Сэмэл. Харрис – понимаю, они давно знакомы, но отчего Майкл Сэмэл?!»

– Передай-ка трубку Крис, сестреночка...

– Я целую тебя, седой брат. У тебя замечательная жена, лучше не бывает.

– Пока терплю, – сказал Роумэн и ему сделалось стыдно этих своих слов, но он заставил себя сказать именно так, он-то уж никак не имеет права до конца открываться перед макайрами, хотя те все знают, не надо обольщаться, они знают все.

– Милый, ну и что? – голос Кристы был тревожный, какой-то звенящий.

– Все хорошо, конопушка. Все так, как надо. Жизнь – это драка, в ней надо уметь проигрывать...

– А ты что, прочитал и "Мэйл" тоже?

– Нет. Что там напечатано?

– Нет, нет, ничего...

– Ответь мне, пожалуйста, что там было напечатано?

– В позавчерашнем номере... Про Гаузнера... Про то, что он был убит каким-то Штирлицем... Нам прислали эту газету сегодня, ума не приложу, кто... Я думала, тебе ее уже вручили...

– Хорошо, человечек, жди, скоро я вернусь, обсудим все на спокойную голову... Когда плохо – Грегори прав – всем надо быть вместе, ты поняла меня?

Он сдал билет в Вашингтон и купил место в самолет, следовавший в Лондон; по счастью, одно место в салоне первого класса оказалось пустым, кто-то опоздал, спасибо ему. А может быть, ей. Только очень плохо, если опоздал не «он» или «она», а просто это место держали для него «они», макайры.

– Как это мило, что вы нашли меня, Пол, – Харрис действительно обрадовался Роумэну; он даже не очень-то удивился, отчего американец приехал к нему в редакцию без звонка; помнил, как добр был к нему в Мадриде Роумэн, как щедро делился информацией, особенно когда дело касалось ИТТ, а Харриса это не могло не интересовать, потому что дела корпорации «Бэлл», в которой его семья играла не последнюю роль, шли все хуже и хуже: полковник Бэн относится к числу людей с челюстями; шагает по трупам; лишен каких бы то ни было сантиментов, акула.

– Я рад еще больше, Боб, – ответил Роумэн и, не ожидая приглашения, сел в маленькое кресло, стоявшее возле окна; за последние два дня он спал всего пять часов, не брился, лицо поэтому выглядело так, словно в редакцию пришел запойный. Как еще пустили внизу? Мистер Патрик весьма внимателен, следит за каждым, кто приходит в газету, сейчас много психов, фронт калечит людей, бывали уже скандалы, шокинг, удар по престижу. – Слушайте, вы как относитесь к Штирлицу?

– Вы же читали "Мэйл"... Кто бы мог подумать...

– Это гнусная формулировка. Боб, – «кто бы мог подумать»... Это отвратительная формулировка... Почему же тогда вы не подумали?!

– Пол, вы несносны, – Харрис улыбнулся, почувствовав растерянность; он отвык от американца, от его манеры вести себя; прелестные, добрые заокеанские дикари; ничего не попишешь, они еще не наработали в себе культуры поведения, но человек он славный; смешно, конечно, и думать, чтобы пригласить его в дом отца, старик сляжет в постель от такого гостя, все можно изменить, кроме островных традиций. – Вы сегодня выглядите несколько утомленным. Кофе?

– Ну его к черту, я и так им опился за последние дни. Дайте холодной воды. Только сначала ответьте мне про Штирлица.

– Он производил впечатление интеллигентного человека, как ни

странно. Он выделялся изо всех тех наци, которые создавали Франко в Бургосе.

– Вот видите... Вы представляете его себе в роли злодея-отравителя?

– Говоря откровенно, не очень. Но материалы Майкла Сэмэла вызвали бурю, они довольно крепко аргументированы.

– Нацистами.

– Что?!

– То, что слышите. Ему всунули гестаповские материалы. Кому-то надо вымазать Штирлица дерьмом, как грязного уголовника, вот в чем дело... А кто этот Сэмэл? Не из парнишек сэра Освальда[1]?

– Нет, нет, он вполне пристойный консерватор, из хорошей семьи, он никогда не имел ничего общего с Мосли...

– Воевал?

– Ему двадцать три года и минус пять зрение.

– У меня минус три.

– Давно?

Роумэн пожал плечами:

– Давно. С наци нужно воевать вне зависимости от зрения. Пусть носит очки.

– О, Пол, вы слишком строги к нему, я убежден, что мистер Сэмэл – джентльмен.

– Берете на себя ответственность?

– Вы не объяснили мне предмет вашего к нему интереса.

– Меня интересуете вы не меньше, чем он.

– В качестве?

– В качестве человека, который может получить кое-какую информацию о нацистских связях ИТТ.

– Это очень любезно с вашей стороны, но почему вы убеждены, что меня так уж интересует ИТТ?

– Боб, не вертите задницей.

– Если бы я не помнил вас в Мадриде и не ценил вашу доброту, я был бы вынужден прервать разговор, Пол.

– Мало ли, что бы вы решили... Я бы его не прервал. Словом, Штирлиц ждет нас. Сэмэла и вас. Он хочет сделать заявление.

– Это в высшей мере интересно, но сколь тактично с моей стороны встречаться с ним, если о нем пишет мистер Сэмэл?

– А вы познакомились со Штирлицем десять лет назад в Бургосе. И он хочет увидеть Сэмэла в вашем присутствии. Билет за океан готов оплатить я.

– Если мистер Штирлиц действительно обладает интересной информацией об ИТТ, я попробую – как вы посоветовали мне – обратиться в «Бэлл».

– Звоните Сэмэлу... Хотя нет, не надо... Едем к нему.

– Но это не принято, Пол! Я не могу приезжать к человеку без предварительной договоренности.

– Слушайте, Боб, идите-ка вы к черту с вашим островным этикетом, а?!

---

[1] Освальд Мосли – лидер английских фашистов.

Харрис секунду раздумывал – обидеться или пропустить мимо ушей эти слова, рассмеялся и, поднявшись из-за стола, сказал:

– Пошел.

Того парня, что пас его в Асунсьоне, Роумэн заметил сразу же, как только самолет, на котором летели Харрис, Сэмэл и он, приземлился в международном аэропорту Буэнос-Айреса «Изейза». Его машина не отставала ни на метр от их такси, когда они переезжали в «Аэрогару», – именно оттуда летали самолеты местной авиакомпании. Он сел в тот же самолет, который летел в Кордову. «Ну, погоди, Макайр, – думал Роумэн, то и дело оглядываясь на парня, – мы с тобой сочтемся, завтра вечером я сочтусь с тобой, плачет по тебе мой коронный правый – снизу вверх с перенесением тяжести тела на стопу левой ноги. Как же потешался Эйслер, когда я показывал ему этот удар, сколько грусти было в словах Брехта: "Милый Пол, это хорошо для американцев, когда они смотрят голливудские фильмы; фашизм побеждают не апперкотом, а головой, рассудком, логикой и убежденностью; идеей, говоря иначе"».

Джек Эр теперь уже не делал вид, что читает газету; он тоже смотрел на Роумэна с неотрывной ненавистью; честный человек не будет так убегать от того, кто должен защищать его от нацы; не зря во вчерашней телеграмме от Макайра было сказано, чтобы он был во всеоружии, вполне возможно, что объект перестал быть тем, кем был, допустимо предположить, что он на грани измены присяге: внимание и еще раз внимание...

«Ничего, – подумал Роумэн, когда они через два часа приземлились в Кордове, – в конце концов даже если этот стриженый не один, мы сможем отделаться от них, нас четверо, только пока ничего не надо предпринимать, сначала увидаться со Штирлицем, я потом дам Штирлицу уйти, да и доказательства его невиновности в том, в чем его обвиняют, теперь абсолютны, пусть поцелуют меня в задницу все эти макайры и его стриженые ублюдки атлетического сложения».

Штирлиц ждал его именно там, где уговорились, заранее подтвердил тайнописью в последнем письме.

Штирлиц не успел еще даже толком обменяться приветствием с Харрисом, когда возле них затормозило такси, из которого вылез Джек Эр.

– Узнаете? – спросил Роумэн, кивнув на Эра. – Придется чуток помять этого парнишку. Он следит, – пояснил он Харрису и Сэмэлу. – Он следит за нами. Он из нашей разведки. Ему надо дать отлуп, и я это сделаю.

Штирлиц пожал плечами:

– Зачем? Не надо. Наоборот, мы не станем обижать парня из вашей службы. Более того, я намерен пригласить его к нам за стол. Сотрудник американской разведки должен знать про нацистскую сеть, которая оформилась в довольно крепкую подпольную силу,

разве нет, Харрис? Э, мистер, – Штирлиц улыбнулся Джеку Эру. – Могу я просить вас составить нам компанию? Я угощаю. Я буду рассказывать этим английским журналистам кое-что про гитлеровского генерала Гелена и про его тайную сеть, про Отто Скорцени, который руководит своим «Пауком» из американского лагеря для пленных, я намерен передать журналистам материалы о нацистах, которые живут – совершенно свободно – в Испании, Португалии, здесь, в Парагвае, в Германии, Австрии, возле Ватикана... С именами, паролями и явками... Право, не отказывайтесь, старина, – он снова улыбнулся Джеку Эру, – это необходимо знать каждому, кто искренне намерен задушить всех гитлеровцев на земле, очень прошу, пошли вместе с нами.

– Вы напрасно сказали все то, что сказали, – Макайр положил перед собой на стол крепкие кулаки. – Вы оскорбили меня, Пол, сделали это в запальчивости. У вас нет никаких данных, чтобы обвинять меня в сговоре с наци. Я понимаю, что вы переживаете сейчас, но это плохой тон – незаслуженно оскорблять тех, кто помогал вам, чем мог.

– Ты грязный нацистский наймит, – повторил Роумэн – Ты засосан Геленом, у тебя на шее следы от его засосов, тварь... Ты думаешь, если я рухнул, то ты еще больше возвысишься? Нет, Макайр, когда выйдет газета с рассказом о том, что ты есть на самом деле, тебе не отмыться, ты будешь ходить, как обгаженный клоун на вернисаже предателей...

– Мы живем в демократическом обществе, Пол, не надо меня пугать разоблачениями в прессе. За клевету придется отвечать не вам, а несчастному журналисту... Вы погубили троих наших парней в Германии, заставив их взорваться на мине, не надо губить других, научитесь проигрывать...

– Меня давно научили этому ремеслу... Меня этому красиво научили, сначала наци, а потом ты... Помимо прессы есть сенат и есть комиссия по расследованию антиамериканской деятельности... Пусть они попробуют ответить, что занимаются только паршивыми интеллигентами, которые сочиняют песенки, вроде Эйслера... Я скажу все. Не им, так другим. А я не журналист. Я сотрудник разведки Соединенных Штатов.

– Бывший сотрудник государственного департамента, Пол... Вы же написали заявление, и мы удовлетворили вашу просьбу. Вы измотаны, вы на грани истерического срыва, зачем нам быть черствыми по отношению к тому, кто так мужественно воевал? Вы уволены, Пол, уволены по вашей просьбе.

Роумэн с трудом удержался, чтобы не броситься на Макайра. «Он побьет меня, он сильнее», – жалобно, как в детстве, подумал он.

Поднявшись, он спросил:

– Хочешь, я харкну тебе в морду?

– Если ты и на это способен, – лицо Макайра вдруг сделалось белым, – тогда я ничем не смогу помочь, когда дело по обвинению в убийстве Грегори Спарком и Кристиной Роумэн португальского

подданного – в прошлом гражданина Германии Фрица Продля – уйдет в федеральный суд... Там ведь было три свидетеля, не правда ли? Твоя жена, Лангер и Ригельт. Иди и проспись, Роумэн. Вон отсюда!

В пансионате Роумэн тупо уставился в телеграмму, которую ему протянул портье: «Срочно позвони, похищены мальчики. Криста».

Роумэн ринулся в свой номер, перескакивая через три ступени, лифта не мог дождаться, скорее бы бросить вещи в чемодан и на аэродром: «Господи, какой ужас, они ударили по самому больному. Что может быть больнее, чем случившееся? Масенькие, в прятки играли, пахнут ягодным мылом, голосенки звонкие, счастье в доме, что станет с Элизабет, она же умрет, у нее разорвется сердце, что делать, боже всемилостивый, помоги, надоумь!»

Телефонный звонок прозвучал так неожиданно, что Роумэн выронил из рук чемодан. «Это Криста, – подумал он, – дети нашлись, все в порядке, слава богу...»

– Мистер Роумэн, добрый день, полагаю, вы меня узнали?

«Я б тебя и на том свете узнал, – подумал Роумэн, – Пепе; Гуарази; профессионал со страдающими глазами».

– Я вас узнал.

– Вы уже в курсе?

– Да.

– Хотите со мной повидаться?

– Это может помочь делу?

– Конечно.

– Называйте адрес, еду.

Они встретились неподалеку от набережной. Улочка была маленькая; откуда-то доносилась музыка, протяжная, мелодичная, видимо, мелодия из Кантона. Пепе появился неожиданно, вышел из полуподвального китайского ресторанчика, взял Роумэна под руку и тихо сказал:

– Если вы – а я понимаю ваше состояние – решите шлепнуть меня, дети погибнут... Готовы к конструктивному разговору?

– Да, – ответил Роумэн, не разжимая рта.

– Только не сердитесь, мистер Роумэн. Я выполняю работу, это жизнь, а она не спрашивает, нравится тебе или не нравится то, что тебе приходится делать. Словом, Ригельт убит. При необходимости можно доказать вашу причастность к этому делу. А Лангер сидит у нас на квартире и дает показания... При свидетелях... Он говорит то, что следует, мистер Роумэн... Про вашу жену – тоже. Он называет ее соучастницей убийства.

– Дети, – по-прежнему не разжимая рта, сказал Роумэн. – Что с детьми?

– Если вы отойдете от дела, Мистер Роумэн, детей вернут домой, пока вы будете лететь в Лос-Анджелес.

Роумэн кивнул.

– Они живы?

– Играют в прятки с женщиной, которая их опекает... Мы подобрали очень славную женщину, которая чем-то похожа на миссис Роумэн... Детям сказали, что папа с мамой уехали в гости. Крис тоже, поэтому их привезли в другой дом... Им купили пони, мистер Роумэн, они в порядке.

Роумэн, наконец, выдохнул; он никак не мог выдохнуть все это время, словно бы раскаленный ком ворочался в солнечном сплетении.

– Скажите, мистер Гуарази...

– Я бы не рекомендовал вам употреблять это имя, мистер Роумэн. Давайте уговоримся о том, что меня зовут Пепе. И хватит. О'кэй?

Роумэн снова кивнул:

– В Мадриде вы говорили о ста тысячах... Вы назвали эту сумму сами... Допустим, я наберу эти деньги, продам дом, яхту...

– Мистер Роумэн, боюсь, что в эпизоде с детьми названные мной сто тысяч будут недостаточны... Мы можем вернуться к этому разговору позже... Я так думаю... Но сейчас я должен сказать моим, что вы отошли от дела, мистер Роумэн... Во всяком случае, на этом этапе... Вы же понимаете, что в случае нарушения вашего слова ситуация повторится, и я не убежден, что она не кончится трагически...

– А если я обращусь в ФБР?

– Можете... Почему бы и не обратиться? Но тогда детей вы живыми не получите. Увы. Это – по правилам, мистер Роумэн. По тем правилам, которые сейчас вступили в силу. Я не скажу, что они мне нравятся, но факт есть факт, и я не вправе скрывать это от вас.

– Так или иначе, но информация о том, что происходило в последние месяцы, будет опубликована в английских газетах, Пепе. Я не в силах это остановить, дело сделано...

Тот вздохнул, покачав головой:

– Отчет не будет опубликован. И мистер Харрис, и мистер Мигель Сэмэл, – Пепе усмехнулся чему-то своей горькой улыбкой, – уже встретились с моими коллегами...

– Если я отхожу от этого дела, вы и те, кто вас нанял, оставляют в покое Штирлица?

– Этот вопрос я не уполномочен обсуждать, мистер Роумэн... Вы очень плохо выглядите... Поберегите себя, без вас Крис погибнет.

– Вы имеете в виду миссис Роумэн?

– Я имею в виду именно ее.

– Мне бы хотелось увидеться с вами через пару месяцев Пепе.

– Я обещаю вам обсудить это предложение с моими боссами, мистер Роумэн. Но я еще не слышал определенного ответа на главный вопрос: вы отходите? Или намерены продолжать дело?

– А если я отвечу так... Да, я отхожу... Но я продолжаю дело... Такой ответ вас устроит?

– Пожалуйста, повторите еще раз... Вы любопытно сформулировали мысль, я хочу понять ее истинный смысл...

– Да. Я отхожу. А вы возвращаете Спаркам детей. Но я продолжаю мое дело.

– Знаете, все-таки лучше, если я передам моим боссам лишь первые две фразы. А третью я повременю передавать кому бы то ни было... Я найду вас, мистер Роумэн. И тогда я вам отвечу. Но это произойдет не в этой стране, мистер Роумэн, потому что на днях вас пригласят в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности... В связи с делом Брехта. Вам известно это имя, не правда ли? Так вот, вам не надо появляться в комиссии... Вас не станут объявлять в розыск... И вы сможете жить в Норвегии, там же хороший дом и яхта... Сказав «а», вам не остается ничего другого, как произнести «б». Мне совестно говорить вам это, я тоже дрался против наци, так, как я это умею, – Пепе усмехнулся, – но я обязан вам сказать и это...

– Я вас должен понять так, что спектакль в комиссии должен быть сыгран в мое отсутствие?

– Вы меня поняли верно, мистер Роумэн. Если вы твердо обещаете отойти, его можно вообще отменить.

– Я хочу, чтобы вы связались с кем следует и сказали, что я отхожу. А я после этого позвоню в Голливуд. И я должен услышать голоса детей.

– Это по правилам, мистер Роумэн. Мне нужно часа два, чтобы вернуть малышей миссис и мистеру Спарк. Где бы вы хотели увидеться через два часа?

– В аэропорту. Это вас устроит?

Через два часа тридцать минут Роумэн позвонил в Голливуд. Он не очень-то понимал слова Грегори, тот смеялся и плакал. «Странно, у него визгливый голос, мне всегда казалось, что он говорит басом». Мальчишки, захлебываясь, кричали в трубку, как было интересно у «тети Марты». Потом подошла Крис; голос у нее был такой же, как тогда, ночью, в Мадриде; мертвый голос старой, измученной женщины.

– О'кэй, – сказал Роумэн, повесив трубку, – я удовлетворен, Пепе. Я отхожу. Только передайте вашим боссам, что они теперь больше заинтересованы во мне, чем я в них. Поэтому я бы хотел получить телефон, по которому – в случае острой нужды – смогу найти вас.

– Нет, – ответил Пепе. – Это невозможно, мистер Роумэн. За вами будут смотреть наши люди. И как только мои боссы поймут, что вы им очень нужны, я приеду. Обещаю вам...

Пепе сдержанно кивнул Роумэну. «Хорошо, что ты не протягиваешь мне руку, – подумал Пол, – я вижу, как ты хочешь это сделать, парень, и я не могу понять, намерен ты это сделать искренне или продолжаешь свою игру? У тебя странные глаза. Крис была права, когда говорила мне про твои глаза, они у тебя не простые, и я вижу в них боль. Мальчишки дома, теперь можно подумать и про такие детали, как глаза гангстера, почему бы нет?»

Роумэн проводил взглядом Пепе: тот шел как бы сквозь толпу,

остроплечий, тонкий, словно хлыст, очень высокий, с откинутой назад головой. Он дождался, когда Пепе вышел из дверей аэропорта, а потом медленно двинулся в туалет. Там, пустив холодную воду, он сунул голову под струю и долго стоял так, до тех пор, пока не почувствовал рядом с собою человека: тот тщательно мыл руки, словно хирург перед операцией.

Не глядя на Роумэна, высокий, коротко стриженный, бесстрастный парень, почти не разжимая рта, сказал:

– Он ездил на семьдесят третью улицу, дом девять, апартамент три; арендуют люди босса мафии Чарльза Луччиано. Туда приехали Меир Лански и Ланца. Они провели вместе сорок минут. Потом Пепе Гуарази поехал сюда. Три его человека стояли возле дверей аэропорта, наблюдая за вашим разговором.

Вытирая голову полотенцем, Роумэн сказал:

– Спасибо тебе, Джек Эр. Ты хорошо поработал. Иди. Когда потребуется, я найду тебя. А пока делай то, о чем мы договорились.

ШТИРЛИЦ, ГЕЛЕН (Барилоче, Мюнхен, март сорок седьмого)

«Генералу Гелену.
Строго секретно.
№54/285-А

Служба визуального прослушивания интересующих "организацию" разговоров, пользующаяся услугами наших ученых, работающих в подразделении ИТТ, – в интересах возрождения немецкой государственности – решила провести опробование опытных образцов, позволяющих записывать беседы людей, находящихся в лесу, на реке или в поле с расстояния в 400 – 500 метров, и получила санкцию на эксперимент в городах Малаге и Бургосе (Испания), Асунсьоне (Парагвай), Кордове и Барилоче (Аргентина).

В Барилоче, где начались атомные исследования Перона, службе было рекомендовано – и в интересах нашего дела – опробовать качество записи на Штирлице, работающем инструктором горнолыжного спорта в прокатной станции политического эмигранта г. Отто Вальтера, подозреваемого в давних связях с левыми.

Записанные в горах разговоры Штирлица и Вальтера оперативного интереса не представили.

Однако в воскресный день 21.III.1947 служба, следившая за Штирлицем во время его уединенной прогулки в горах, записала тексты, которые он читал самому себе, разложив костер на берегу озера.

Приводим расшифровку текстов, записанных с расстояния в 420 метров:

Странное слово «доверие»,
Похоже на жеребенка,

Нарушишь – чревато отмщением,
Словно обидел ребенка.
Нежное слово «доверие»,
Только ему доверься,
Что-то в нем есть газелье,
А грех в газелей целиться.
Грозное слов «доверие» -
Тавро измены за ложь.
Каленым железом по белому,
Только так и проймешь!
Вечное слово «доверие»,
Сколько бы ни был казним,
Жизнь свою я им меряю -
Принцип неотменим.

* * *

Я в своей жизни часто пил,
Смеялся много, пел немало,
И если счастья не хватало,
То хвастался избытком сил.
Я зря собак своих не бил,
Друзей любил, врагов дразнил,
И когда горе обступало,
Судьбу свою я не корил:
Пустили в жизнь, так будь с ней мил,
Равно приемля свет и жало.

* * *

Не говори: «Последний раз
Я прокачусь сейчас по склону».
Не утверждай: «В рассветный час
Звезда бесстыдна в небосклоне».
Не повторяй ничьих причуд,
Чужих словес и предреканий,
Весна – пора лесных запруд
И обреченных расставаний.
Не плотью измеряют радость,
Не жизнью отмечают смерть.
Ты вправе жить. Не вправе падать.
В неискренности круговерть.
Упав – восстань! Опрись о лыжу,
Взгляни на склона крутизну.
Я весел. Вовсе не обижен
И в черном вижу белизну.

* * *

Снег идет, и слава богу,

Отдыхаю понемногу,
Скоро, видимо, в дорогу,
Что ж, наверное, пора.
Снег идет, катанья нет,
Александр и бересклет,
Склон другой, в Николке осень,
В облаках заметна просинь,
Восемь бед, один ответ,
Кому страшно, а мне – нет.
Ожидание барьера -
Звук разорванный холста,
Жизнь прошла; не жизнь – химера,
Сделанное – полумера,
Да, наверное, пора.
Долги ль сборы, коль решил?
Сам себе давно не мил,
Боль в лопатке, лидерал,
Срок отпущенный так мал,
Холода стоят всю осень,
Нет Николки, не та просинь,
Восемь бед, один ответ:
Бузина и бересклет.
До свиданья. Не до встреч.
Встану снова. Дайте лечь.

* * *

Срок – веселью, грусти – мера,
Смысл порочного примера,
Необъятность бытия
И непознанность причины
В чем-то наподобье мины,
Или таинству огня,
Или алогизму слова...
Что-то подтолкнуло снова
К рассуждениям меня.

* * *

Есть возраст? Есть. А если «нет»?
Отвергни однозначность истин,
Тебе сегодня столько лет,
Как в Безинги подводных быстрин.
Есть возраст? Нет. А если «да»?
Но в Безинги бурлит вода,
Она умчит тебя туда,
Куда не каждому повадно,
Но ощущение отрадно:
Прозрачна с выси быстрина.

* * *

Зачем нам всем глаза даны?
Чтобы смотреть в них беспрерывно,
Все понимая неразрывно,
На что владельцы их годны.
Зачем всем руки нам даны?
Чтоб прикасаться кожей пальцев
К щекам случайных постояльцев,
Которые нам не верны.
Зачем даны всем нам сердца?
Лишь только для вращенья крови?
...С годами истины суровей
И четче облик подлеца.

* * *

Когда идешь в крутой вираж
И впереди чернеет пропасть,
Не вздумай впасть в дурацкий раж.
Опорная нога – не лопасть.
Когда вошел в крутой вираж,
И лыжи мчат тебя без спроса,
И по бокам каменьев осыпь,
Грешно поддаться и упасть.
Прибегни к мужеству спины,
К продолью мышц, к чему угодно.
Запомни: спуски не длинны,
Они для тренажа удобны.
Иди в вираж, иди смелей,
Ищи момент врезанья в кручу,
Судьба еще готовит бучу
Тем, кто весы и водолей.
И, наконец, опор ноги,
Буранный снег под правой лыжей
И солнца отблеск сине-рыжий,
Но самому себе не лги.
Не лги. Иди в другой вираж.
Спускайся вниз, чтобы подняться,
Не смеешь просто опускаться,
Обязан сам с собой сражаться,
Чтоб жизнью стал один кураж,
Когда смешенье света с темью
Несет тебя, как к возрожденью,
А в снежной пелене – мираж.

По моей просьбе отдел математических исследований проработал тексты, записанные службой визуального прослушивания.

Предварительный анализ строк, проведенный русскими офицерами из армии А.А. Власова, свидетельствует, что прочитаны они были русским, скорее всего петербуржцем. Немцы, рожденные в Прибалтике и России, привлеченные в качестве экспертов, отвергли версию о том, что родители Штирлица были гражданами нашей страны, натурализовавшимися в одном из русских городов.

Таким образом, следует утверждать, что Штирлиц, автор текстов, записанных службой визуального слежения, является по национальности русским.

Генрих фон Крух».

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИРМА ЭГСИ»

Уважаемые читатели!

Наше издательство, обладающее эксклюзивными правами на продолжение издания собрания сочинений **Юлиана Семенова**, с удовлетворением сообщает Вам, что в 1996 году будут выпущены очередные пять томов, в которых планируется опубликовать следующие произведения:

- **Аукцион**
- **Без единого выстрела**
- **Бомба для председателя**
- **Горение**
- **Иди и не бойся**
- **Испанский вариант**
- **Ощупью в полдень**
- **При исполнении служебных обязанностей**
- **Провокация**
- **Псевдоним**
- **Схватка**
- **Тайная война** и ряд других.

Для оптовых покупателей
телефон/факс: (095) 452-8816 и (095) 446-1469

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:

– магазин №2 Южного Агентства Печати,
Б. Факельный пер., 3, метро «Таганская», телефон ***911-2107***

– ООО «Восход»
Ярцевская ул., 34, метро «Молодежная», телефон ***149-1125***

– ТОО «Тотем»
Минская ул., 14, метро «Филевский парк», телефон ***146-9550***

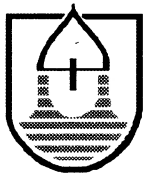
– ТОО «Аскольд»
Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», телефон ***148-9480***

Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежем. Читателям, приславшим открытки с заказами на следующие тома, предоставляется скидка.

Заказы присылать по адресу:
121353, г. Москва, п/о 353, «Фирма ЭГСИ»

С уважением к таланту и личности автора

Коммерческий банк



Русич

г. Москва тел. 452-88-16

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 12. Роман – М.;
ООО «Фирма ЭГСИ», 1995г. – 432 стр.

В двенадцатый том собрания сочинений Ю. Семенова вошла вторая книга трилогии «Экспансия».

ББК 84.3Р7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Редактор Д.О. Грошев
Художники М.Н. Шестопал, В.С. Помочилин, В.М. Беляков
Технический редактор Г.В. Жигалова
Корректор Г.Н. Грошева

ЛР № 064288 от 14.11.95 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.11.95, Формат 84x108 $^{1}/_{32}$,
Бумага типографская № 2, Гарнитура Литературная, Печать офсетная.
Усл. печ. листов 21,84. Усл. кр. отт. 22,47. Уч.-изд. листов 32,39.
Тираж 26000, Заказ № 1297
117454, г. Москва, пр-т Вернадского, 62 "а" ООО «Фирма ЭГСИ»

Полиграфическая фирма **«Красный пролетарий»**
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В ...
...ажни...
...едоум...
2. ...
...дел...
...ское С...
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к...
...ну и его банде создать камеры ...
...нки, Катыни, а его ученикам - п...
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест...
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ивенчества:
...в квартиру, накор...

...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-

...ния пропагандистской ше-
...Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это

...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...

...пнивающей") стра-

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

...ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
... v. Henrici